

ПЕДВОК
САШКЕВИЧ
МОТОП

Annotation

Широкую известность польскому писателю Генрику Сенкевичу (1846-1916) принесла трилогия «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский», посвященная поворотным событиям в истории его родины. В романе «Потоп» изображена феодальная шляхетская Польша в период, когда на ее территории в жестоких сражениях развертывалась польско-шведская война. Молодой хорунжий, а затем полковник Анджей Кмициц совершает не только ратные подвиги во имя родины, но и находит свою любовь — Александру Белевич.

- [Генрик Сенкевич](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ВСТУПЛЕНИЕ](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ГЛАВА VII](#)
 - [ГЛАВА VIII](#)
 - [ГЛАВА IX](#)
 - [ГЛАВА X](#)
 - [ГЛАВА XI](#)
 - [ГЛАВА XII](#)
 - [ГЛАВА XIII](#)
 - [ГЛАВА XIV](#)
 - [ГЛАВА XV](#)
 - [ГЛАВА XVI](#)
 - [ГЛАВА XVII](#)
 - [ГЛАВА XVIII](#)
 - [ГЛАВА XIX](#)
 - [ГЛАВА XX](#)
 - [ГЛАВА XXI](#)
 - [ГЛАВА XXII](#)
 - [ГЛАВА XXIII](#)

- [ГЛАВА XXIV](#)
- [ГЛАВА XXV](#)
- [ГЛАВА XXVI](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ГЛАВА VII](#)
 - [ГЛАВА VIII](#)
 - [ГЛАВА IX](#)
 - [ГЛАВА X](#)
 - [ГЛАВА XI](#)
 - [ГЛАВА XII](#)
 - [ГЛАВА XIII](#)
 - [ГЛАВА XIV](#)
 - [ГЛАВА XV](#)
 - [ГЛАВА XVI](#)
 - [ГЛАВА XVII](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)

- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)

- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)

- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)

- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

[Другие книги серии «Огнем и мечом»](#)

Приятного чтения!

Генрик Сенкевич
Потоп. Том 1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Был в Жмуди знатный род Биллевичей со многими отраслями, происшедший от Мендога^[1] и во всем Россиенском повете почитавшийся более прочих родов. Никому из Биллевичей не случилось стать вельможею, правили они только у себя в повете, однако на поле Марса оказали отчизне памятные услуги, за что в разное время были щедро жалованы наградами. Родовое гнездо их, сохранившееся и поныне, называлось тоже Биллевичами, но, кроме него, они владели многими другими поместьями и под Россиенами, и дальше к Кракинову по Лауде, Шое, Невяжи, и даже за Поневежем. Со временем род Биллевичей разделился на несколько домов, и родичи потеряли друг друга из виду. Съезжались все только в ту пору, когда в Россиенах, на равнине, называвшейся Станами, происходили смотры жмудского шляхетского ополчения^[2]. Встречались иной раз и под знаменами постоянного литовского войска да на сеймиках, а так как были сильны и богаты, то считаться с ними приходилось даже всемогущим в Литве и Жмуди Радзивиллам^[3].

При короле Яне Казимире^[4] патриархом рода был Гераклиуш Биллевич, полковник легкой хоругви, подкоморий^[5] упитский. Он не жил в родовом гнезде, принадлежавшем в то время Томашу, мечнику россиенскому; сам Гераклиуш владел Водоктами, Любичем и Митрунами, которые лежали неподалеку от Лауды и, словно морем, были окружены землями мелкопоместной шляхты.

Кроме Биллевичей, богатых домов в округе было немного: Соллогубы, Монтвиллы, Шиллинги, Корызны, Сицинские (впрочем, и мелкопоместной братии с такими прозваниями тоже было немало), и по всему лауданскому поречью раскинулись так называемые «околицы», или, проще сказать, застьянки^[6], в которых обитала доблестная и славная в истории Жмуди лауданская шляхта.

В других местах род принимал название от застьянка или застьянок от рода, как бывало в Подляшье, а тут, в лауданском поречье, было по-иному. Тут в Морезах жили Стакьяны, которых в свое время поселил на здешних землях Баторий в награду за храбрость, проявленную под Псковом^[7]. В Волмонтовичах на плодородной земле хозяйствовали Бутрымы; великаны на всю Лауду, малоречивые, с тяжелой рукой, они во время сеймиков, набегов и войн привыкли молча ломить стеною. В Дрожейканах и Мозгах

возделывали землю многочисленные Домашевичи, славные охотники: в пуще Зелёнке они хаживали на медведя под самый Вилькомир. Гаштовты обитали в Пацунелях; девушки их славились своею красотой, так что в конце концов всех красавиц в окрестностях Кракинова, Поневежа и Упиты стали звать «пацунельками». Соллогубы Малые выпасали на лесных пастбищах табуны коней и стада отличной скотины; Гостевичи из Гощун курили смолу в лесах, почему их и прозвали Гостевичами Черными, или Дымными.

Были и другие застянки, были и другие роды. Названия многих сохранились поныне; но и застянки по большей части лежат не там, где прежде лежали, и люди, которые живут в них, зовутся иначе. Пришли войны, бедствия, пожары; люди не всегда отстраивались на старом пепелище, словом, многое изменилось. Но в те времена еще цвела древняя Лауда, живя по старине, и слух о лауданской шляхте шел по всему краю, ибо незадолго до этого она под водительством Януша Радзивилла сражалась под Лоевом против взбунтовавшихся казаков^[8] и покрыла себя великою славой.

Все лауданцы служили в хоругви старого Гераклиуша Билевича: кто побогаче — товарищами одвуконь, кто победнее — об один конь, а самые бедные — простыми солдатами. Всегда это была воинственная шляхта, особенно любившая рыцарское свое искусство. Зато в тех делах, которыми обычно занимались сеймики, она мало разбиралась. Знала, что король — в Варшаве, Радзивилл и пан Глебович, староста^[9], — в Жмуди, а пан Билевич — в Водоктах на Лауде. Этого с нее было довольно, и голосовала она так, как учил пан Билевич, твердо веря, что он хочет того же, что пан Глебович, тот в свой черед идет нога в ногу с Радзивиллом, Радзивилл — королевская рука в Литве и Жмуди, а уж король — супруг Речи Посполитой и отец всего шляхетского сословия.

Для могущественных биржанских владык пан Билевич был не слугою, а скорее другом, притом неопределимым, ибо по первому зову у него была наготове тысяча голосов и тысяча лауданских сабель, а саблей в руке Стакьянов, Бутрымов, Домашевичей или Гаштовтов в то время не отважился пренебречь еще никто на свете. Все переменялось со временем, особенно после кончины пана Гераклиуша Билевича.

А не стало отца и благодетеля лауданской шляхты в тысяча шестьсот пятьдесят четвертом году. Страшная война разгорелась в ту пору по всей восточной границе Речи Посполитой. Пан Билевич не пошел уже на эту войну, годы не позволили и глухота; но лауданцы пошли. И вот когда

пришла весть, что Радзивилл потерпел поражение под Шкловом^[10], а лауданская хоругвь чуть не вся порублена в бою с наемной французской пехотой, удар разбил старого полковника, и он отдал богу душу.

Весть о поражении привез некий пан Михал Володыёвский, молодой, но прославленный воитель, который по приказу Радзивилла командовал вместо пана Гераклиуша лауданской хоругвью. Уцелевшие лауданцы тоже возвратились в родные дома; измученные, подавленные, изголодавшиеся, они, как и все войско, роптали на великого гетмана^[11], который уверовал в свою непобедимость и, решив, что одно его имя внушит страх врагу, с малыми силами бросился на вдесятеро сильнейшего противника и тем нанес много урону войску и всей отчизне.

Но ни один голос не поднялся при этом против молодого полковника, пана Ежи Михала Володыёвского. Напротив, те, кто ушел от погрома, превозносили полковника до небес и рассказывали чудеса о воинском его опыте и доблестях. Единственным утешением для уцелевших лауданцев были воспоминания о том, какие подвиги они совершили под предводительством пана Володыёвского: как одним ударом пробилась в атаке сквозь первые ряды свежих войск, как потом, наткнувшись на французских наемников, впрах разнесли саблями лучший полк, причем пан Володыёвский собственноручно зарубил полковника, как, наконец, окруженные со всех сторон, отчаянно прорывались из огненного кольца, и падали, сраженные насмерть, и крушили врага...

С сожалением, но и с гордостью внимали этим рассказам лауданцы, не служившие в регулярном литовском войске, обязанные выступать только с шляхетским ополчением. Всюду ждали, что ополчение, эта последняя защита отчизны, в скором времени будет созвано. Наперед уговорились, что лауданским ротмистром выберут пана Володыёвского, который, хоть и был нездешний, но такой покрыл себя славой, что среди местной шляхты не было ему равного. Уцелевшие лауданцы рассказывали, что он спас от гибели самого гетмана. Поэтому вся Лауда на руках его носила, а застанки наперехват зазывали в гости. Особенно спорили при этом Бутрымы, Домашевичи и Гаштовты: все хотели, чтобы пан Володыёвский погостил у них подольше. Сам же он так полюбил эту храбрую шляхту, что, когда остатки радзивилловского войска потянулись в Биржи, чтобы там оправиться после поражения, он не поехал с ними, а разъезжал себе по застанкам, пока не осел, наконец, прочно у Пакоша Гаштовта, который был старейшиной в Пацунелях.

По правде сказать, пан Володыёвский и не мог бы уехать в Биржи, он

тяжело хворал: сперва томила его злая горячка, потом от контузии, которую он получил еще под Цибиховом^[12], отнялась правая рука. Три дочери Пакоша, знаменитые красавицы, стали заботливо за ним ухаживать и дали клятву вернуть столь славному кавалеру прежнее здоровье, а шляхта, кто только остался жив, занялась похоронами старого своего полковника, пана Гераклиуша Биллевича.

После похорон было вскрыто духовное завещание покойного, из которого обнаружилось, что наследницей всех владений, за исключением деревни Любич, старый полковник назначил внучку свою, Александру Биллевич, упитскую ловчанку^[13], опеку же до ее замужества вверил всей лауданской шляхте.

«...Пусть те, кто ко мне был приятен, — гласило духовное завещание, — и любовью платил за любовь, таковыми же будут и для сироты и в нынешние времена злонравия и злокозненности, когда никто не огражден от людского своеволия и злобы и не может не ведать страха, в память обо мне примут сироту под кров свой и защиту.

Надлежит блюсти им также, дабы она без препон пользовалась владениями, за исключением деревни Любич, каковую я в дар приношу, завещаю и отписываю пану Кмицицу, хорунжему^[14] оршанскому, дабы в том оному никто не чинил препятствий. Да ведают те, кто будет дивиться моему к вельможному пану Анджею Кмицицу благорасположению или усмотрит в том обиду для внучки моей родной, Александры, что с молодых лет и до смертного часа я знал от родителя оного Анджея Кмицица лишь приятнь и братскую любовь. С ним вместе мы в походы ходили, и он мне не однажды жизнь спасал, а когда злоба и invidia^[15] панов Сицинских замыслили отнять у меня имение, он и в той беде мне помог. Тогда я, Гераклиуш Биллевич, подкоморий упитский, недостойный грешник, ныне предстоящий судилищу Христову, четыре года тому назад (еще живой и земную юдоль попиравший) отправился к пану Кмицицу-отцу, мечнику оршанскому, дабы благодарность ему принести и дать залог верной дружбы. Там же по старому обычаю, шляхетскому и христианскому, постановили мы с общего согласия, чтобы дети наши, сиречь сын его Анджей и внучка моя Александра, ловчанка, сочетались браком, дабы потомство произвести во славу божию и на благо Речи Посполитой. Чего я всем сердцем желаю и внучку мою Александру к исполнению означенной моей воли обязываю, разве только пан хорунжий оршанский, упаси бог, зазорными делами себя опорочит и чести будет лишен. Буде вотчины лишится, что на той границе, под Оршей, легко может статься, и тогда

надлежит ей с благословения моего поять его в супруги, и буде Любича лишится, на то не взирать.

Буде же, по особому соизволению божию, внучка моя пожелает во славу господа бога принести на алтарь его свое девство и принять монашеский чин, тогда может она совершить сие, ибо слава божия превыше славы человеческой...»

Так распорядился пан Гераклиуш Билевич своими владениями и внучкой, чему никто особенно не удивился. Панна Александра давно уже знала, что ее ждет, и шляхта давно слыхала о дружбе между Билевичем и Кмицицами, да и умы в ту смутную пору другим были заняты, так что в скором времени о духовном завещании и думать забыли.

Но в усадьбе в Водоктах только и разговору было что о Кмицицах, верней, о пане Анджее, потому что старого мечника тоже не было уже в живых. Кмициц со своей небольшой хоругвью и оршанскими охотниками был под Шкловом. Потом пропал из виду; однако никто не думал, что он погиб, ибо смерть столь знатного кавалера, наверно, не прошла бы незамеченной. В Оршанской земле Кмицицы принадлежали к знати и владели большими поместьями: но в том краю все погибло в огне войны. Целые поветы и земли были обращены в пустыню, имения разорены, люди перебиты. После поражения Радзивилла никто уже больше не давал отпора врагу. Госевский, гетман польный, не располагал силами; коронные гетманы с остатками войск сражались на Украине и не могли прийти ему на помощь, так же как и сама Речь Посполитая, истощенная войнами с казачеством. Вражеская волна все глубже заливала край, лишь кое-где разбиваясь о крепостные стены; но и крепости пали одна за другой, как пал Смоленск^[16]. Смоленское воеводство, где лежали владения Кмицицев, почитали потерянным. Во всеобщем смятении и всеобщем страхе люди рассеялись, как листья, гонимые ветром, и никто не знал, что случилось с молодым оршанским хорунжим.

Но до Жмудского старства война еще не докатилась, и лауданская шляхта начала понемногу оправляться после шкловского поражения. Застянки съехались на совет о делах державных и приватных. Бутрымы, самые воинственные, ворчали, что надо ехать в Россиены на congressus^[17] шляхетского ополчения, а там и к Госевскому, чтобы отомстить за шкловское поражение. Домашевичи Ловецкие углублялись в леса, в Роговскую пуцу, и, доходя до самых вражеских отрядов, привозили оттуда вести: Гостевичи Дымные вялили мясо в дыму для будущих походов. Из дел приватных решено было послать людей бывалых и опытных на

розыски пана Анджея Кмицица.

Совет держали лауданские старики под предводительством Пакоша Гаштовта и Касьяна Бутрыма, двоих здешних патриархов; вся шляхта, чрезвычайно польщенная доверием, оказанным ей покойным паном Билевичем, поклялась неукоснительно выполнить его волю и окружить панну Александру родительской заботой. Потому-то и было спокойно на берегах Лауды, хотя даже в тех краях, куда война еще не дошла, вспыхивали раздоры и смуты. Никто не оспаривал прав молодой помещицы, не запахивал ее меж, не срывал межевых холмиков, не вырубал меченых сосен на лесных рубежах, не захватывал пастбищ. Напротив, все помогали богатой помещице, чем только могли. Стакьяны, которые жили на берегу реки, присылали соленую рыбу; из Волмонтовичей, от ворчливых Бутрымов, поступало зерно, от Гаштовтов — сено, от Домашевичей Ловецких — дичь, от Гостевичей Дымных — смола и деготь. Панну Александру иначе не называли, как «наша панна», а красавицы шляхтянки поджидали пана Кмицица с таким же нетерпением, как и она.

Тем временем пришли вицы^[18] о созыве шляхетского ополчения, и зашевелилась шляхта на Лауде. Юноша возмужалый и муж, еще не согбенный годами, — всяк должен был садиться на конь. Ян Казимир прибыл в Гродно и назначил там общий сбор. Туда все и направились. Первыми двинулись в молчании Бутрымы, за ними прочая шляхта, а Гаштовты, как всегда, поехали последними, потому что жаль им было покидать своих красоток. Из других земель явилось мало шляхты, и отчизна осталась без обороны; но верная Лауда явилась вся.

Пан Володыёвский не поехал, он не владел еще рукою и остался с красавицами как бы за войскового. Опустели застьянки, одни только старики да женщины сживали вечерами у очагов. Тихо было в Поневеже и Упите, всюду ждали новостей.

Панна Александра тоже заперлась в Водоктах и никого не видела, кроме слуг да своих лауданских опекунов.

ГЛАВА I

Наступил новый, тысяча шестьсот пятьдесят пятый, год. Январь стоял морозный, но сухой; белым покровом толщиной в локоть одела святую Жмудь суровая зима; под тяжестью инеягнулись и ломались деревья, днем на солнце снег слепил глаза, а ночью при свете луны словно искры пробегали по насту; зверь подходил к людскому жилью, а бедные птицы стучали клювами в запушенные инеем, украшенные морозным узором оконца.

Однажды вечером панна Александра сидела в людской с сенными девушками. Старый это был обычай в роду Билевичей — проводить вечера с челядью, когда не было гостей, и петь божественные песни, на собственном примере воспитывая простолюдинов. Так поступала и панна Александра, тем охотней, что ее сенные девушки были все больше шляхтянки, убогие сироты. Они делали всякую, даже самую черную работу, были у госпожи служанками, зато их учили добронравию и обходились с ними лучше, нежели с простыми девками. Впрочем, были среди них и холопки, которых можно было отличить по языку: многие из них не умели говорить по-польски.

Панна Александра со своей родичкой панной Кульвец сидела посредине людской, а девушки по бокам на лавках, все за прялками. В большом очаге с нависшим шатром горели сосновые корневища и бревна, то притухая, то снова вспыхивая ярким огнем или рассыпаясь искрами, когда паренек, стоявший у очага, подкидывал березовых поленьев и щепок. При вспышках пламени были видны темные бревенчатые стены огромной избы с очень низким, перекрытым балками потолком. На балках, покачиваясь от тепла, висели на нитках разноцветные звездочки, вырезанные из облаток, а с балок глядели мотки чесаного льна, свисавшие по обе стороны, словно добытые в бою турецкие бунчуки. Балки были сплошь завалены ими. Оловянная посуда всяких размеров, поставленная на длинные дубовые полки или прислоненная к темным стенам, блестела, как звезды.

В глубине людской, у двери, косматый жмудин, мурлыча под нос заунывную песенку, крутил оглушительно гудевшие жернова; панна Александра в молчании перебирала четки; девушки пряли, тоже ни слова не говоря друг другу.

Отблески огня падали на их молодые румяные лица, а они под

суровым оком панны Кульвец усердно, словно наперегонки, пряли свою пряжу, левой рукою щипля мягкий лен, а правой крутя веретена. Они то переглядывались, то вскидывали быстрые глаза на панну Александру, словно в ожидании, скоро ли она велит жмудину перестать молоть и запоет божественную песню, но работать не переставали, все пряли да пряли; вились нити, жужжали веретена, мелькали спицы в руках панны Кульвец, а косматый жмудин гудел на своих жерновах.

Однако порой он прерывал работу, видно, что-то портилось у него в жерновах, потому что тут же раздавался его сердитый голос:

— Padlas!^[19]

Панна Александра поднимала голову, словно пробужденная тишиной, которая воцарялась после возгласа жмудина; огонь освещал тогда ее белое лицо и спокойные голубые глаза, глядевшие из-под черных бровей.

Она была хороша собою, с льяными косами, тонким лилейным личиком. Белого цветка была у нее красота. В черном смирном платье девушка с виду казалась строгой. Сидя у очага, она предалась своим мыслям, как снам, верно, думала о своей судьбе, о будущем, которое было темно.

По духовному завещанию в супруги ей был предназначен человек, которого она не видала с десяти лет; ей шел теперь двадцатый год, и у нее осталось лишь смутное воспоминание о шумном подростке, который в бытность свою с отцом в Водоктах больше носился с ружьем по болотам, чем глядел на нее.

«Где-то он и каким стал теперь?» — вот вопросы, которые теснились в уме сумрачной девушки.

Правда, она знала его по рассказам покойного подкомория, который за четыре года до своей кончины совершил далекое и трудное путешествие в Оршу. По этим рассказам это был «кавалер беззаветной храбрости, но горячая голова». После того как старый Билевич и Кмициц-отец сговорили детей, кавалер должен был сразу же приехать в Водокты на смотрины; но тут разгорелась великая война, и вместо того, чтобы ехать к невесте, кавалер отправился на поля Берестечка^[20]. Там его подстрелили, он лечился дома, потом ухаживал за умирающим отцом, а там снова вспыхнула война — и так прошли четыре года. Немало воды утекло и со времени кончины полковника, а меж тем о Кмицице и слух пропал.

Было о чем подумать панне Александре, а может, тосковала она о суженом своем незнакомом. Чистое сердце ее, еще не знавшее любви, было исполнено великой готовности любить. Достаточно было искры, чтобы в

нем зажегся огонь, спокойный, но яркий, ровный, сильный и неугасимый, как священный языческий огонь у литвинов.

Тревога охватывала ее, порою сладкая, порой томительная, и в душе она все задавала себе вопросы, на которые не было ответа, и прийти он мог только с далеких полей. И первый вопрос был: по доброй ли воле женится он на ней и ответит ли на зов ее сердца, готового любить? В те времена было обычным делом сговаривать детей, и даже после смерти родителей связанные благословением дети чаще всего не нарушали родительской воли. Так что панна Александра ничего особенного не видела в том, что ее просватали; но одно дело добрая воля, а другое дело долг, — не всегда они ходят в паре. Вот и эта дума томила белокурую ее головушку: «А полюбит ли он меня?» И нахлынули мысли, словно стая птиц слетелась на одинокое дерево в широком поле: «Кто ты? Каков ты? Живой ли бродишь по свету или сложил уже свою голову? Далёко ль ты, близко ли?» Открытое сердце девушки, будто дверь, открытая навстречу милому гостю, невольно взывало к далекой стороне, к заснеженным лесам и полям, окутанным ночью: «Отзовись же, добрый молодец! Нет ведь ничего горше на свете, чем ждать!»

И вдруг, точно в ответ на ее зов, снаружи, из этих заснеженных, окутанных ночью дальше до слуха ее долетел звон колокольчика.

Девушка вздрогнула, но тут же вспомнила, что из Пацунелей почти каждый вечер присылают за лекарствами для молодого полковника; то же подумала и панна Кульвец.

— От Гаштовтов за териакон, — сказала она.

Частый звон колокольчика, подвязанного к дышлу, звучал все явственней и вдруг смолк; видно, санки остановились у крыльца.

— Погляди, кто там приехал, — велела панна Кульвец жмудину, крутившему жернова.

Жмудин вышел из людской, но через минуту вернулся и снова взялся за ручку жерновов.

— Панас Кмитас, — сказал он невозмутимо.

— И слово стало плотью! — воскликнула панна Кульвец.

Пряхи повскакали с мест; прялки и веретена попадали наземь.

Панна Александра тоже встала; сердце колотилось у нее в груди, лицо то краснело, то бледнело; она нарочно отвернулась от очага, чтобы не показать своего волнения.

Но тут в дверях появилась чья-то высокая фигура в шубе и меховой шапке. Молодой мужчина шагнул на середину избы и, поняв, что находится в людской, звучным голосом, не снимая шапки, спросил:

— Эй, а где же ваша панна?

— Я здесь, — довольно твердым голосом ответила панна Александра.

Услышав эти слова, приезжий снял шапку, бросил ее наземь и сказал с поклоном:

— Я — Анджей Кмициц.

На одно короткое мгновенье глаза панны Александры остановились на лице Кмицица, девушка тотчас потупила взор; но за это короткое мгновенье она успела заметить светло-русую, как рожь, высоко подбритую чуприну, быстрый взгляд серых глаз, темный ус, орлиный нос и лицо, смуглое, молодое, веселое и смелое.

Он же левой рукой в бок уперся, правую к усу поднес и вот что сказал:

— Не был я еще в Любиче, птицей летел сюда, чтобы панне ловчанке в ноги поклониться. Прямо из ратного стана принес меня сюда ветер, дай-то бог, чтобы счастливый.

— Знал ли ты, пан, про смерть дедушки моего, подкомория? — спросила девушка.

— Не знал, но, как сказали мне об его кончине твои сермяжнички, что отсюда приезжали ко мне, горькими слезами оплакал я моего благодетеля. Истинным другом, можно сказать, братом был он покойному моему родителю. Верно, и ты, панна, хорошо знаешь, что четыре года назад приезжал он к нам, под Оршу. Тогда и обещал мне покойный тебя и портретец твой показал, с той поры и вздыхал я по тебе по ночам. Я бы и раньше приехал, да война не родимая матушка, людей сватает только со смертью.

Смутили немного девушку эти смелые речи, и, желая переменить разговор, она спросила:

— Так ты, пан, еще не видал своего Любича?

— Успеется. Тут у меня дела поважней и наследство подороже, хочу его вперед получить. Только что же это ты, панна, все отвертываешься от огня, я и в глаза заглянуть тебе не могу. Вот так, сюда повернись, а я со стороны печи зайду! Вот так!

С этими словами смелый солдат схватил не ожидавшую этого Оленьку, крутнул ее, как волчок, и повернул к огню.

Она еще больше смутилась и, прикрыв глаза длинными ресницами, стояла так, устыдившись и света, и собственной своей красоты. Кмициц отпустил ее наконец и хлопнул себя по кунтушу.

— Ей-же-ей, чудо как хороша! На сто служб дам за упокой души моего благодетеля, что мне тебя отписал. Когда свадьба?

— Не скоро, я еще не твоя, — ответила Оленька.

— Но будешь моей, хоть бы мне дом пришлось поджечь! Боже мой! Я думал, живописец польстил тебе, а вижу, он далеко метил, да промашку дал. Сто плетей такому мастеру, печи ему малевать, а не такую красу писать, что гляжу вот — и не нагляжусь. Милое дело — получить такое наследство, разрази меня гром!

— Верно мне покойный дедушка говорил, что ты, пан, горячая голова.

— Мы, смоленские, все такие, не то что ваши жмудины. Раз, два — и быть по-нашему, а нет, так смерть!

Оленька улыбнулась и сказала уже совсем твердым голосом, поднимая на кавалера взор:

— Э, да у вас, верно, татары живут?

— Все едино, ты, панна, моя и по родительской воле, и по сердцу.

— Вот по сердцу ли, я того еще не знаю.

— Коли нет, я ножом себя пырну!

— Ты, пан, все с шуточками!.. Что же это, однако, мы в людской стоим! Прошу в покои. После дальней дороги и поужинать не мешает — прошу!

Тут Оленька обратилась к панне Кульвец:

— Вы, тетушка, с нами?

Молодой хорунжий бросил быстрый взгляд.

— Тетушка? — спросил он. — Чья тетушка?

— Моя, панна Кульвец.

— Стало быть, и моя! — подхватил он и стал целовать панне Кульвец руки. — Боже ты мой, да ведь у меня в хоругви есть товарищ по прозванию Кульвец-Гиппоцентаврус. Скажи, пожалуйста, не родня ли он тебе, тетушка?

— Сродни! — приседая, ответила старая дева.

— Хороший парень, но ветрогон, как и я! — прибавил Кмициц.

Тем временем появился слуга с огнем, и все прошли сперва в сени, где пан Анджей снял шубу, а потом на другую половину, в покои для гостей.

После их ухода пряхи тотчас сбились тесной кучкой и все разом заговорили о приезде, слова не давая сказать друг дружке. Статный молодец очень им понравился, и девушки наперебой расхваливали его.

— Так весь и сияет! — говорила одна. — Как взошел, думала, королевич.

— А глаза-то как у рыси, так и сверлят, — подхватила другая. — Попробуй такому слово поперек скажи!

— И думать не смей! — поддержала третья.

— Панну, как веретено, завертел! Видно, очень она ему по сердцу

пришлась, да и кому бы не пришлось она по сердцу?

— Ну, он тоже не хуже ее! Случись тебе такой, небось и в Оршу пошла бы за ним, хоть она на краю света.

— Счастливица панночка.

— Богатым на свете всегда лучше живется. Эх, не рыцарь — загляденье.

— Девушки из Пацунелей говорили, будто ротмистр, что живет у них, у старого Пакоша, тоже красавец.

— Не видала я его, но куда ему до пана Кмицица! Такого, верно, на всем свете не сыщешь.

— Radlas! — крикнул внезапно жмудин, у которого снова разладились жернова.

— Эй, косматый, шел бы ты отсюда со своею бранью! Помолчи, а то ничего не слышно! Да, да! Лучше пана Кмицица на всем свете не сыщешь! Пожалуй, и в Кейданах нету такого!

— Смотри, еще во сне приснится!

— Да хоть бы приснился...

Такой разговор шел у шляхтянок в людской. Тем временем в столовом покое поспешно накрывали на стол, а в зале панна Александра осталась одна с Кмицицем, потому что тетушка ушла готовить ужин.

Пан Анджей глаз не сводил с Оленьки, и они все больше у него разгорались.

— Есть люди, которым богатство всего дороже, — сказал он наконец, — другие на войне за добычей охотятся, иные лошадей любят, а я, моя панна, тебя вот не променял бы ни на какие сокровища. Ей-ей, чем больше гляжу на тебя, тем больше охота берет жениться, право же, хоть завтра под венец! Брови-то, верно, жженой пробкой чернишь?

— Слыхала я, есть такие ветреницы, только я не из их числа.

— А глазки-то лазоревые! Слов у меня от смущения не хватает.

— Не очень-то ты смутился, пан, коли так ко мне приступаешь, даже мне удивительно.

— Это тоже наш смоленский обычай: на бабу и в огонь смело идти. Ты, моя королева, к этому привыкай, так всегда будет.

— Ты, пан Анджей, от этого отвыкай, так не должно быть.

— Может, я тебя и послушаюсь, чтоб мне головы не сносить! Хочешь — верь, моя панна, хочешь — не верь, а я бы тебе под ноженьки небо подостлал! Я для тебя, моя королева, и другим обычаям готов научиться. Знаю ведь, простой солдат я, больше в ратном стане доводилось бывать, нежели в панских покаях.

— Одно другому не мешает, мой дедушка тоже был солдатом, а за добрые намерения спасибо тебе! — ответила Оленька и так сладко поглядела на пана Анджея, что сердце у него растаяло тотчас, как воск.

— Ты, моя панна, на веревочке будешь меня водить!

— Что-то непохож ты на тех, кого на веревочке водят! Хуже нет, чем с такими строптивцами.

Кмициц в улыбке открыл белые, точно волчьи, зубы.

— Как! — воскликнул он. — Неужто мало розог обломали в школе об мою спину святые отцы, чтобы выбить из меня эту строптивость и вбить в голову всякие честные правила?

— А какие же вбили лучше всего?

— Коли любишь, падай в ноги — вот так!

При этих словах пан Кмициц уже был на коленях, а панна Александра, пряча ноги под стулец, кричала:

— Ради бога! Этого тебе в школе в голову не вбивали! Ах, оставь, оставь, не то я рассержусь... да и тетка сейчас войдет!

Не вставая с колен, он поднял голову и заглядывал ей в глаза.

— Да пусть целая хоругвь теток придет, я не откажусь, что охота мне любить тебя!

— Вставай же, пан Анджей!

— Встаю.

— Садись, пан Анджей!

— Сижу!

— Злодей ты, Иудушка!

— Вот и неправда, я когда целую, так от всей души! Хочешь, докажу?

— И думать не смей!

Однако панна Александра смеялась, а он весь сиял от радости и молодости. Ноздри у него раздувались, как у молодого жеребца благородных кровей.

— Ай-ай! — говорил он. — Что за глазки, что за личико! Спасите, святые угодники, а то не усижу!

— Нечего угодников звать. Четыре года сидел, покуда сюда собрался, так сиди и теперь!

— Ба! Да я ведь знал только портрет. Я этого живописца велю в смоле вымазать да в перьях вывалить и в Упите кнутом прогнать по рынку. Я тебе все скажу, как на духу: хочешь, прости, нет — так голову руби! Думал это я себе, глядя на портретец: красивая девка, ничего не скажешь, да ведь красивых девок хоть пруд пруди — успею! Покойный отец все торопил ехать, а я ему одно твердил: успею, не уйдет женитьба, девушки на войну

не ходят и не погибают! Бог свидетель, не противился я отцовской воле, только хотел сперва повоевать, все испытать на собственной шкуре. Теперь только вижу, глуп был, ведь на войну и женатым мог бы пойти, а тут бы меня утеха ждала. Слава богу, что насмерть меня не зарубили. Позволь же, моя панна, ручки тебе поцеловать.

— Нет уж, не позволю.

— А я и спрашивать не стану. У нас, оршанских, так говорят: «Проси, а не дают — сам бери!»

Тут пан Анджей схватил ручки девушки и стал осыпать их поцелуями, а она не очень противилась, боялась показаться неучливой.

Но тут вошла панна Кульвец и, видя, что творится, подняла очи к небу. Не понравилась ей эта близость, но не посмела она сказать что-нибудь детям, только к ужину позвала.

Взявшись под руки, как брат с сестрою, направились они оба в столовый покой, где стол ломился под множеством всяких блюд; особенно много было отменных колбас, стояла там и обомшелая сулейка вина, дающего крепость. Хорошо было молодым вдвоем, легко и весело. Панна Александра уже успела отужинать, так что за стол уселся только пан Кмициц и принялся за еду с той же живостью, с какой перед тем разговаривал.

Оленька поглядывала на него сбоку, радуясь, что он ест и пьет, но, когда он утолил первый голод, снова стала выспрашивать:

— Так ты, пан Анджей, не из Орши едешь?

— Да разве я знаю, откуда еду? Сегодня тут, а завтра там. Как волк к овце, подкрадывался я к врагу, — где можно было куснуть, там и кусал.

— Как же ты отважился пойти против такой силы, перед которой отступил сам великий гетман?

— Как отважился? А я на все готов, такая уж у меня натура!

— Говорил мне про то покойный дедушка. Счастье, что голову ты не сложил.

— Э, прихлопывали они меня там, как птицу в западне, но только прихлопнут, а я уж ускользнул и в другом месте укусил. Так я им насолил, что они цену назначили за мою голову... Отменный, однако, полоток!

— Во имя отца и сына! — воскликнула Оленька, с непритворным ужасом и в то же время восторгом глядя на этого молодца, который мог говорить зараз и о цене за свою голову, и о полотке.

— Верно, были у тебя, пан Анджей, большие силы?

— Две сотни своих драгун было, молодцов как на подбор, да за месяц их всех перебили. Потом ходил я с охотниками, набирал их, где ни попадая,

без разбору. Завзятые вояки, но — разбойники над разбойниками! Кто еще не погиб, рано или поздно пойдет вороною на закуску...

При этих словах пан Анджей опять рассмеялся, опрокинул чару вина и прибавил:

— Таких сорвиголов ты, моя панна, отродясь не видывала. Чтоб их черт побрал! Офицеры все — шляхтичи из наших краев, родовитые, достойные и чуть не все уже под судом. Сидят теперь у меня в Любиче, что же мне с ними делать?

— Так ты, пан Анджей, прибыл к нам с целой хоругвью?

— Да. Неприятель заперся в городах, зима ведь лютая! Мой народишко тоже обтрепался, как обитый веник, вот князь воевода и назначил меня на постой в Поневеж. Ей-ей, заслуженный это отдых!

— Кушай, пан Анджей, пожалуйста.

— Я бы для тебя, моя панна, и отравы скушал!.. Оставил я тогда часть моей голытьбы в Поневеже, часть в Упите, ну а самых достойных товарищей к себе в Любич в гости зазвал... Приедут они к тебе на поклон.

— А где же тебя, пан Анджей, лауданцы нашли?

— Они меня встретили, когда я шел уже на постой в Поневеж. Я бы и без них сюда приехал.

— Пей же, пан Анджей!

— Я бы для тебя, моя панна, и отравы выпил!..

— А про смерть дедушки и духовную ты только от лауданцев узнал?

— Про смерть — от них, помяни, господи, душу моего благодетеля!

Не ты ли это, панна Александра, послала ко мне этих людей?

— Ты, пан Анджей, такого не думай! У меня на мысли одна печаль да молитва была!

— Они то же мне толковали... Ох, и гордые сермяжнички! Хотел я их за труды наградить, так они как напустятся на меня: это, может, говорят, оршанская шляхта в руки глядит, а мы, лауданцы, не таковские! Крепко меня изругали! Послушал я их, да и думаю себе: не хотите денег, дам-ка я вам по сотне плетей.

Панна Александра за голову схватилась.

— Иисусе Христе, и ты это сделал?

Кмициц посмотрел на нее с удивлением.

— Не пугайся, панна Александра. Не сделал, хоть как гляну на такую вот шляхетскую голытьбу, что за ровню хочет нас почитать, так с души у меня воротит. Думал только, ославят они меня безо всякой вины насильником да перед тобой еще оговорят.

— Какое счастье! — со вздохом облегчения сказала Оленька. — А то

бы я и на глаза тебя не пустила!

— Это почему же?

— Убогая это шляхта, но старинная и славная. Покойный дедушка всегда любил их и на войну с ними ходил. Весь век они вместе прослужили, а в мирное время он их дома у себя принимал. Старая у нас дружба с ними, и ты уважать ее должен. Есть ведь у тебя сердце, и не нарушишь ты святого согласия, в каком мы до сих пор жили!

— Да ведь я ничего не знал, разрази меня господь, не знал! И признаюсь, не лежит у меня душа к этой нищей шляхте. У нас так: коль ты мужик, так мужик, а шляхта все родовитая, на одну кобылу вдвоем не садятся. Право же, такой голи равняться с Кмицицами или Биллевичами все едино, что вьюнам со щуками, хоть и вьюн и щука одинаково рыбы.

— Дедушка говорил, что богатство ничего не стоит, кровь и честь — вот что важно, а они люди честные, иначе дедушка не назначил бы их моими опекунами.

Пан Анджей от удивления глаза раскрыл.

— Опекунами? Дедушка назначил их твоими опекунами? Всю лауданскую шляхту?

— Да. И не хмурься, пан Анджей, воля покойного свята. Странно мне, что посланцы не сказали тебе об этом.

— Да я бы их!.. Нет, не может быть! Ведь тут добрых два десятка застанков... И все эти сермяжники тут судят и рядят? Неужто и со мной будут судить и рядить, раздумывать, по душе ли я им или нет? Эй, не шути, панна Александра, а то у меня кровь кипит!

— Я не шучу, пан Анджей, истинную правду говорю тебе. Не будут они судить и рядить; и коль ты, по примеру дедушки, станешь им за отца, не оттолкнешь их, не будешь чваниться, то не только их, но и мое сердце покоришь. Буду я с ними помнить это до гроба, до гроба, пан Анджей!..

В голосе ее звучала нежная мольба; но морщины у него на лбу не разгладились, он по-прежнему хмурился. Правда, подавил вспышку гнева, только порой словно молнии пробегали у него по лицу, — но ответил девушке заносчиво и надменно:

— Вот уж не ждал! Волю покойного уважаю и вот что думаю, — до моего приезда пан подкоморий мог назначить эту серую шляхту твоими опекунами, но коли нога моя ступила сюда, никто, кроме меня, опекуном больше не будет. Не только этой серой шляхте, самим биржанским Радзивиллам опекать тут нечего!

Панна Александра нахмурилась и ответила, помолчав минуту времени:

— Нехорошо ты, пан Анджей, делаешь, что так кичишься. Волю

покойного деда либо целиком надо принять бы, либо отвергнуть, я не вижу иного выхода. Лауданцы не станут надоедать тебе или навязываться, люди они мирные и достойные. Не думай, пан Анджей, что они могут быть тебе в тягость. Когда бы начались распри, они могли бы сказать свое слово, а так, я думаю, все будет тихо и мирно и такая это будет опека, словно бы ее и нет совсем.

Он помолчал еще минуту, потом махнул рукой и сказал:

— И то сказать, со свадьбой, все кончится. Не из-за чего спорить, пусть только сидят смирно и не мешают мне, а то я, ей-богу, не дам себе в кашу наплевать! Впрочем, довольно о них! Дай согласие, панна Александра, обвенчаться поскорей, и все будет хорошо!

— Не пристало сейчас, в дни печали, говорить об этом.

— Эх! А долго ли придется мне ждать?

— Дедушка сам написал, что не более полугода.

— Иссохну я до той поры, как щепка. Ну давай не будем больше ссориться. Ты уж так сурово стала на меня поглядывать, будто я всему виною. Ну что это ты, королева моя золотая! Чем я виноват, что такая у меня натура: рассержусь на кого, так, сдается, на куски бы его разорвал, а отойдет сердце, и вроде наново сшил бы.

— Страшно жить с таким, — повеселев, ответила Оленька.

— За твое здоровье! Хорошее вино, а для меня сабля да вино — первое дело! Ну чего там — страшно жить со мною! Да ты меня в сети уловишь своими очами, рабом сделаешь, хоть я ничьей власти над собою не терпел. Вот и теперь, чем панам гетманам кланяться, предпочел с хоругвью один на свой страх воевать. Королева ты моя золотая, коли что не так, прости меня, я ведь обхождению не в покоях у придворных дам, а около пушек учился, не за лютней, а в солдатском game. Сторона у нас беспокойная, сабли из рук не выпустишь. Засудили тебя, приговорили, головы твоей ищут — все это пустое! Будь только смел да удал, и люди тебя уважают. Eхemplum^[21] мои товарищи, в другом месте они бы давно по тюрьмам сидели... а ведь тоже достойные кавалеры! Даже бабы у нас ходят в сапогах, с саблей на боку, отряды в бой водят, как пани Кокосинская, тетка моего поручика, которая пала на поле битвы, а племянник ее под моей командой мстил за нее, хоть при жизни ее не любил. Где уж нам, хоть и самым родовитым, учиться придворному обхождению? Одно мы знаем: война — так в поход иди, сеймик — так горло дери, а языка мало — за саблю хватайся! Вот какое дело! Таким меня покойный подкоморий знавал и такого для тебя выбрал!

— Я всегда с радостью исполняла волю деда, — ответила девушка, потупя взор.

— Дай же мне еще твои рученьки поцеловать, солнышко мое ненаглядное! Право, очень ты мне по сердцу пришлась. Так я разомлел, что не знаю, как и попаду в этот самый Любич, которого еще не видал.

— Я тебе дам провожатого.

— Э, обойдется. Я уже привык ездить по ночам. Есть у меня солдат родом из Поневежа, он должен знать дорогу. А там меня Кокосинский ждет с товарищами... У нас Кокосинские, Пыпки по прозванию, большая знать. Этого безвинно чести лишили за то, что он пану Орпишевскому дом спалил и дочку увез, а людей вырезал. Достойный товарищ! Дай же мне еще рученьки. Время, вижу, ехать!

Тут большие гданские часы, стоявшие в столовом покое, стали медленно бить полночь.

— Ах ты, господи! — вскричал Кмициц. — Время, время! Ничего я уж больше сделать тут не успею! Любишь ли ты меня хоть крошечку!

— В другой раз скажу. В гости-то будешь ко мне ездить?

— Каждый день, разве земля подо мною расступится! Ей-ей, хоть голову на плаху!

С этими словами Кмициц поднялся, и они вдвоем вышли в сени. Санки ждали уже у крыльца; Кмициц надел шубу и стал прощаться с панной Александрой, упрасывая ее вернуться в покои, потому что с крыльца тянет холодом.

— Спокойной ночи, милая моя королева, — говорил он, — спи сладко, я-то уж, верно, глаз не сомкну, все буду думать про твою красоту!

— Только бы чего плохого не углядел. А все-таки дам-ка я тебе лучше человека с плоской, а то под Волмонтовичами и волки не редкость.

— Да что же я, коза, что ли, чтоб волков бояться? Волк солдату друг-приятель, он из его рук часто поживу имеет. Да и мушкетон есть в санках. Спокойной ночи, голубка моя, спокойной ночи!

— С богом!

С этими словами Оленька ушла в покои, а Кмициц шагнул на крыльцо. Но по дороге в щель неплотно притворенной двери людской он увидел несколько пар девичьих глаз, — это девушки не ложились спать, чтобы еще раз на него посмотреть. По солдатскому обычаю, пан Анджей послал им воздушный поцелуй и вышел. Через минуту зазвенел колокольчик, сперва громко, потом все тише и тише, пока, наконец, не умолк совсем.

И сразу так тихо стало в Водоктах, что эта тишина испугала панну Александру; в ушах ее все еще звучал голос пана Анджея, она все еще слышала его веселый и непринужденный смех, перед ее глазами все еще стояла его сильная фигура, а тут, после потока слов, смеха и веселья, такое

странное вдруг воцарилось безмолвие. Девушка напрягла слух, не донесется ли еще звон колокольчика. Но нет, он гремел уже где-то в лесах, под Волмонтовичами. Тяжелая тоска напала на нее, никогда еще она не чувствовала себя такой одинокой.

Медленно взяв свечу, она прошла в опочивальню и опустилась на колени, чтобы помолиться. Пять раз начинала она молиться, пока с надлежащим усердием прочла все молитвы. Но потом мысли ее как на крыльях полетели за санками, за седоком. По одну сторону бор, по другую бор, посреди дорога, а он мчится себе, пан Анджей! Как наяву, увидела Оленька вдруг светло-русый чуб, серые глаза и смеющиеся губы со сверкающими, белыми, как у молодого щенка, зубами. Трудно было строгой девушке признаться себе, что очень ей по сердцу пришелся неукротимый этот молодец. Растревожил ее, напугал, но и прельстил своей удалью, непринужденным своим весельем и искренностью. Стыдно было ей сознаться, что и гордостью своей он ей понравился, когда в разговоре об опекунах поднял голову, как турецкий скакун, и сказал: «Самим биржанским Радзивиллам опекать тут нечего». «Нет, не баба он, истинный муж! — говорила себе девушка. — Солдат, каких дедушка больше всего любил... Да они того и стоят!»

Так предавалась девушка раздумью, и ее то обнимало блаженство, ничем не смущенное, то тревога, но и тревога эта была какой-то сладкой. Панна Александра уже разделась, когда дверь скрипнула и вошла тетка Кульвец со свечой в руке.

— Страх как вы засиделись! — сказала она. — Не хотела я мешать вам, молодым, чтобы вы одни в первый раз наговорились. Кавалер, сдается, учтивый. А как он тебе понравился?

Панна Александра сперва ничего не ответила, только подбежала к тетке босыми ножками, закинула ей руки на шею и, склонив свою светлую голову ей на грудь, сказала нежным голосом:

— Тетушка, ах, тетушка!

— Ого! — пробормотала старая дева, поднимая вверх глаза и свечу.

ГЛАВА II

" Когда пан Анджей подъехал к усадьбе в Любиче, окна пылали и шум голосов долетал даже во двор. Услышав звон колокольчика, из сеней выбежали слуги, чтобы приветствовать нового хозяина; о том, что он должен приехать, они узнали от его товарищей. Встречали они хозяина, униженно целуя ему руки и обнимая ноги. Старый управитель Зникис стоял в сенях с хлебом-солью и низко кланялся; все с тревогой и любопытством смотрели, каков из себя новый их господин. Он бросил на блюдо кошелек с талерами и стал спрашивать о товарищах, удивленный тем, что никто из них не вышел навстречу его милости, хозяину дома.

Но они не могли выйти ему навстречу, потому что часа три уже пировали за столом, то и дело наливая чары, и, верно, совсем не слышали колокольчика за окном. Однако, когда пан Анджей вошел в комнату, из всех грудей вырвался громкий крик: «Haeres! Haeres^[22] приехал!» — и все товарищи повскакали с места и с чарами в руках пошли ему навстречу. Увидев, что они уже распорядились в его доме и до его приезда успели даже подвыпить, он уперся руками в бока и засмеялся. Он смеялся все громче, видя, как они опрокидывают стульцы, как, покачиваясь, выступают с пьяною важностью. Впереди всех шел великан Яромир Кокосинский, по прозванию Пыпка, славный солдат, забияка со страшным шрамом через весь лоб, глаз и щеку, с одним усом короче, а другим длинней, поручик и друг Кмицица, его «достойный товарищ», приговоренный в Смоленске к лишению чести и смертной казни за увоз шляхтянки, убийство и поджог. Его-то теперь и хранили от казни война да покровительство Кмицица, который был ему ровесником и соседом, — поместья их в Оршанской земле, до того как пан Яромир прогулял свое, лежали межа к меже. Шел пан Яромир, держа в руках ковш, наполненный медом. За ним выступал Раницкий герба Сухие Покои, родом из Мстиславского воеводства, откуда был изгнан за убийство двух помещиков. Одного он зарубил в поединке, а другого так, без боя, пристрелил из ружья. Имущества у него теперь не было никакого, хотя после смерти родителей он получил в наследство много земли. Война и его хранила от рук заплечного мастера. Буян это был, и не было равных ему в поединке на саблях. Третьим шел Реуц-Лелива, руки которого если и были обагрены кровью, то только вражеской. Зато имение он пропил и проиграл в кости — и вот уже три года таскался за Кмицицем. С ним вместе шел четвертый, Углик, тоже смоленский шляхтич,

который за разгон трибунала лишен был чести и приговорен к смертной казни. Кмициц оказывал ему покровительство за то, что он хорошо играл на чакане. Кроме них, были тут и Кульвец-Гиппоцентаврус, такой же великан, как и Кокосинский, но превосходивший его силой, и Зенд, объездчик, который умел подражать птицам и зверям, человек темного происхождения, хоть и выдававший себя за курляндского дворянина; имения у него не было, и он выезжал Кмицицу лошадей, за что получал жалованье.

Все они окружили смеющегося пана Анджея; Кокосинский поднял ковш и запел:

Выпей-ка с нами, хозяин милый,
хозяин милый!
Чтобы пить вместе нам до могилы,
нам до могилы!

Остальные подхватили хором, после чего Кокосинский протянул Кмицицу ковш, а ему Зенд тотчас подал другую чару.

Кмициц поднял свой ковш и крикнул:

— За здоровье моей любушки!

— Vivat! Vivat!^[23] — крикнули все в один голос, так что стекла задребезжали в оловянных переплетах.

— Vivat! Траур кончится, свадьбу сыграем!

Посыпались вопросы:

— А какая она из себя? Что, Ендрусь, очень хороша? Такая, как ты думал? Среди наших оршанских найдется такая?

— Среди оршанских? — воскликнул Кмициц. — Да против нее нашими паннами только трубы затыкать! Сто чертей! Нет такой другой на свете!

— Мы тебе этого желали! — сказал Раницкий. — Так когда же свадьба!

— Как кончится траур.

— Плевать на траур! Дети черными не родятся, только белыми!

— Будет свадьба, так и траура не будет. Не жди, Ендрусь!

— Не жди, Ендрусь! — начали кричать все хором.

— Оршанским хорунжатам уже хочется с неба на землю! — крикнул Кокосинский.

— Не заставляй ждать бедняжек!

— Ясновельможные! — тонким голосом сказал Рекуц-Лелива. — Напьемся на свадьбе вдрызг!

— Милые мои барашки, — взмолился Кмициц, — пустите же меня, а проще сказать, идите к черту, дайте же мне дом посмотреть!

— Незачем! — возразил Углик. — Завтра посмотришь, а теперь пойдем к столу: там еще стоит парочка сулеек, да с полными брюшками.

— Мы уж за тебя тут все посмотрели. Любич — золотое дно, — сказал Раницкий.

— Конюшня хороша! — крикнул Зенд. — Два бахмата отменных гусарских, парочка жмудских да калмыцких пара, и всех по паре, как глаз в голове. Табун завтра поглядим.

Тут Зенд заржал, как конь, и все удивлялись, что он так здорово ржет, и смеялись.

— Так вот какие тут порядки? — воскликнул обрадованный Кмициц.

— И погребок отменный, — пропищал Рекуц. — И смоленые бочки, и обомшелые сулеи стоят, как хоругви в строю.

— Вот и слава богу! Давайте садиться за стол!

— За стол! За стол!

Не успели рассесться и налить по чаре, как Раницкий снова вскочил.

— За здоровье подкомория Биллевича!

— Дурак! — оборвал его Кмициц. — Что это ты? За здоровье покойника пьешь?

— Дурак! — подхватили остальные. — За здоровье хозяина!

— Ваше здоровье!

— Дай бог в этом доме нам во всем удачи!

Кмициц невольно повел глазами по столовому покою и на почерневшей от старости лиственничной стене увидел ряд суровых глаз, устремленных на него. Это глаза Биллевичей глядели с портретов, висевших низко, в двух локтях от земли, потому что потолки в доме были низкие. Над портретами ровным рядом висели черепа зубров, оленей, лосей, увенчанные рогами; некоторые из них, видно, очень старые, уже почернели, другие сверкали белизной. Все четыре стены были украшены ими.

— Охота тут, верно, хороша, вижу, зверя много! — заметил Кмициц.

— Завтра и отправимся, а нет, так послезавтра. Надо и со здешними местами познакомиться, — подхватил Кокосинский. — Счастливцев ты, Ендрусь, есть тебе где голову приклонить!

— Не то что мы! — вздохнул Раницкий.

— Выпьем в утешение! — сказал Рекуц.

— Нет, не в утешение! — возразил Кульвец-Гиппоцентаврус, — а еще раз за здоровье Ендруся, нашего дорогого ротмистра! Это ведь он, ясновельможные, приютил в своем Любиче нас, бедных изгнанников, без крова над головой.

— Правильно говорит! — раздалось несколько голосов. — Не такой дурак Кульвец, как кажется.

— Тяжела наша доля! — пищал Рекуц. — Одна надежда, что ты нас, бедных сирот, за ворота не выгонишь.

— Полноте! — говорил Кмициц. — Что мое, то ваше!

При этих словах все повставали с мест и кинулись его обнимать. Слезы текли по суровым и пьяным лицам растроганных товарищей Кмицица.

— На тебя только надежда, Ендрусь! — кричал Кокосинский. — Дай хоть на гороховой соломе поспать, не гони!

— Полноте! — повторял Кмициц.

— Не гони! И без того нас выгнали, нас, родовитых шляхтичей! — жалобно кричал Углик.

— Сто чертей! Кто вас гонит? Ешьте, пейте, спите, какого пса вам еще надо?

— Ты, Ендрусь, не говори так, — ныл Раницкий, на лице которого выступили пятна, как на шкуре у рыси, — не говори так, Ендрусь, пропали мы ни за денежку...

Тут он оборвал речь, приставил палец ко лбу, словно напрягая мысль, и, оглядев бараньими глазами присутствующих, сказал вдруг:

— Разве только фортуна переменится!

И все закричали хором:

— А почему бы ей не перемениться!

— Мы еще за обиды заплатим!

— Добудем богатство!

— И почести!

— Бог благословляет невинных. За наше благополучие, ясновельможные!

— За ваше здоровье! — закричал Кмициц.

— Святые слова, Ендрусь! — произнес Кокосинский, подставляя ему свои пухлые щеки. — За наше счастье!

Чаши пошли вкруговую, вино в голову ударило. Все говорили разом, и никто никого не слушал: один только Рекуц свесил голову на грудь и дремал. Через минуту Кокосинский запел: «Лен я мялкою мяла!» Услышав песню, Углик достал из-за пазухи чакан и давай вторить, а Раницкий,

великий фехтовальщик, голой рукой фехтовал с невидимым противником, повторяя вполголоса:

— Ты так, я так! Ты колешь, я мах! раз, два, три! — шах!

Великан Кульвец-Гиппоцентаврус уставился на Раницкого и некоторое время следил за ним глазами, наконец махнул рукой и сказал:

— Дурак ты! Маши, маши, а против Кмицица на саблях тебе не устоять.

— Против него никто не устоит; ты вот попробуй!

— И со мной на пистолетах не выиграешь.

— Дукат за выстрел!

— Дукат! А цель?

Раницкий окинул глазами комнату, наконец крикнул, показывая на черепа:

— А вон между рогов! Дукат за выстрел!

— Куда? — спросил Кмициц.

— Между рогов! Два дуката! Три! Давайте пистолеты!

— Согласен! — крикнул пан Анджей. Три так три! Зенд, неси пистолеты!

Все загалдели, стали препираться; Зенд тем временем вышел в сени и через минуту вернулся с пистолетами, мешком пуль и рогом пороха.

Раницкий схватил пистолет.

— Заряжен? — спросил он.

— Заряжен!

— Три! Четыре! Пять дукатов! — орал пьяный Кмициц.

— Тише! Промажешь! Промажешь!

— Попаду! Смотрите, вот в тот череп, между рогов... Раз, два!

Все обратили внимание на могучий череп лося, висевший напротив Раницкого; тот вытянул руку. Пистолет дрожал у него в руке.

— Три! — крикнул Кмициц.

Раздался выстрел, комнату наполнил пороховой дым.

— Промазал? Промазал! Вон где дыра! — кричал Кмициц, показывая рукой на темную стену, от которой пуля отколола щепку посветлей.

— До двух раз!

— Нет! Давай мне! — кричал Кульвец.

На звуки выстрелов сбежались испуганные слуги.

— Вон! Вон! — крикнул Кмициц. — Раз! Два! Три!

Снова раздался выстрел, на этот раз посыпались обломки костей.

— Дайте же и нам пистолеты! — закричали все вдруг.

Повскакав с мест, друзья стали бить кулаками слуг по загривкам,

чтобы те поторопились. Не прошло и четверти часа, как вся комната наполнилась громом выстрелов. Дым заслони́л свет свечей и фигуры стреляющих. Грому выстрелов вторил голос Зенда, который кричал вороном, клекотал соколом, выл волком и ревел туром. Его ежеминутно прерывал свист пуль, летели обломки черепов, щепки от стен и рам портретов; в суматохе шляхтичи стреляли и по Биллевичам, а Раницкий, разъярясь, рубил портреты саблей.

Изумленные, перепуганные слуги стояли в оцепенении, тараща глаза на эту потеху, больше похожую на татарский набег. Завыли и залаяли собаки. Весь дом поднялся. Во дворе собрались кучки людей. Дворовые девки подбегали к окнам и, прижавшись лицами к стеклу, приплюснув носы, смотрели, что творится в покое.

Наконец их заметил Зенд; он свистнул так пронзительно, что у всех зазвенело в ушах, и крикнул:

— Ясновельможные! Девушки под окнами! Девушки!

— Девушки! Девушки!

— Давай плясать! — безобразно заорали шляхтичи.

Пьяная ватага через сени выбежала на крыльцо. Мороз не отрезвил разгоряченных голов. Девушки, истошно крича, разбежались по всему двору; шляхтичи ловили их и пойманных уводили в дом. Через минуту в дыму, среди обломков костей и щепок они пустились с девушками в пляс вокруг стола, на котором разлитое вино образовало целые озера.

Так потешались в Любиче Кмициц и дикая его ватага.

ГЛАВА III

Следующие несколько дней пан Анджей был ежедневным гостем в Водоктах и каждый раз возвращался все больше млея от любви и восторга. Он и товарищам превозносил свею Оленьку до небес, пока в один прекрасный день не сказал им:

— Милые мои барашки, сегодня поедете на поклон, а потом мы уговорились с панной Александрой съездить всем в Митруны, на санях в лесу покататься и посмотреть третье наше поместье. В Митрунах панна Александра будет нас радушно принимать, ну а вы тоже ведите себя пристойно, смотрите, искрошу, если кто оплошает...

Кавалеры с радостью бросились одеваться, и вскоре четверо саней везли удалых молодцов в Водокты. Кмициц сидел в первых, очень красивых санях в виде серебристого медведя. Везла их калмыцкая тройка, захваченная в добычу, в пестрой упряжи с лентами и павлиньими перьями, по смоленской моде, которую смоляне переняли от восточных своих соседей. Кучер правил, сидя в медвежьей шее. Пан Анджей в бархатной зеленой бекеше на соболях, с золотыми застежками и в собольем колпачке с цапельными перьями, был весел, игрив. Вот что толковал он сидевшему рядом с ним Кокосинскому:

— Послушай, Кокошка! Покуролесили мы в эти вечера сверх всякой меры, особенно в первый вечер, когда досталось и черепам и портретам. А с девками и того хуже. Вечно это черт Зенд подстрекнет, а потом кому все отзовется? Мне! Боюсь, как бы люди болтать не стали, ведь о моем добром имени речь идет.

— Можешь на нем повеситься, больше оно, как и наше, ни на что не годится.

— А кто в том повинен, как не вы? Помни, Кокошка, через вас и оршанцы считали меня мятежной душой и зубы точили об меня, как ножи об оселок.

— А кто пана Тумграта по морозу прогнал, привязавши к коню? Кто зарубил того поляка из Короны, который спрашивал, ходят ли оршанцы уже на двух ногах или все еще на четырех? Кто изувечил панов Вызинских, отца и сына? Кто разогнал последний сеймик?

— Сеймик я разогнал свой, оршанский, это дело домашнее. Пан Тумграт, умирая, отпустил мне вину, а что до прочего, то нечего мне глаза колоть, драться на поединке может и самый невинный.

— Я тебе тоже не про все сказал и про сыск по двум делам не напомнил, что ждет тебя в войске.

— Не меня, а вас, потому я только в том повинен, что позволил вам грабить обывателей. Но довольно об этом. Заткни глотку, Кокошка, и словом не обмолвись обо всем этом Оленьке: ни о поединках, ни особенно о стрельбе по портретам да о девушках. Откроется что, я вину на вас взвалю. Я уж челядь упредил, пикни только кто, ремни велю из спины кроить.

— Ты уж, Ендрусь, и обротать себя дай, коли так своей девушки боишься. Дома ты был другой. Вижу я, вижу, быть бычку на веревочке, а это ни к чему! Один древний философ говорит: «Не ты Кахну, так Кахна тебя!» Попался ты уже в сети.

— Дурак ты, Кокошка! А с Оленькой и ты с ноги на ногу станешь переминаясь, как ее увидишь, другой такой разумницы не сыщешь. Что хорошо, она тут же похвалит, что худо, не замедлит осудить, она по совести судит, и на все у нее своя мера. Так ее покойный подкоморий воспитал. Захочешь перед ней удаль свою показать, похвастаешься, что закон попра, так тебе же самому потом стыдно будет: она тотчас скажет тебе, что достойный гражданин не должен так поступать, что это против отчизны. Скажет, а тебе будто кто оплеуху дал и даже чудно станет, как ты раньше этого не понимал. Тьфу! Срам один! Набезобразничали мы, страшное дело, а теперь вот и хлопай глазами перед невинной и честной девушкой... Хуже всего эти девки!

— И вовсе не хуже. Я слышал, что в здешних околицах шляхтянки кровь с молоком, и похоже, совсем не кобелятся.

— Кто тебе это говорил? — живо спросил Кмициц.

— Кто говорил? Да кто же, как не Зенд! Вчера он объезжал пегого скакуна и заехал в Волмонтовичи; только по дороге проехал, но увидел много девушек, они от вечерни шли. «Думал, говорит, с коня упаду, такие чистенькие да пригожие». И на какую ни взгляни, так сейчас все зубы тебе и покажет. И не диво! Шляхтичи, кто покрепче, все в Россиены ушли, вот девкам одним и скучно.

Кмициц толкнул товарища кулаком в бок.

— Давай, Кокошка, как-нибудь вечерком съездим, будто заблудились, а?

— А как же твое доброе имя?

— Ах, черт! Помолчал бы! Ладно, поезжайте одни, а лучше и вы не ездите! Шуму много будет, а я со здешней шляхтой хочу жить в мире, потому покойный подкоморий назначил их опекунами Оленьки.

— Ты говорил об этом, только я не хотел верить. Откуда у него такая дружба с сермяжниками?

— Он ходил с ними воевать, я еще в Орше слышал, как он говорил, что у этих лауданцев храбрость в крови. Сказать по правде, Кокошка, и мне поначалу было удивительно, — старик их прямо как стражу приставил ко мне.

— Придется тебе подлаживаться к ним, в ножки кланяться.

— Да прежде их чума передушит! Помолчи уж, не гневи меня! Они мне будут кланяться и служить. Кликну клич — и хоругвь готова.

— Только кто-то другой будет ротмистром в этой хоругви. Зенд говорил, будто есть тут у них какой-то полковник. Забыл, как его звать... Володыёвский, что ли? Он под Шкловом ими командовал. Здорово, говорят, они дрались, но их же там и посекли!

— Слышал я про какого-то Володыёвского, славного солдата... А вот и Водокты уж видно!

— Эх, и хорошо живется людям в этой Жмуди, — страх, какой тут всюду порядок. Старик, видно, был ретивый хозяин. И усадьба, я вижу, прекрасная. Неприятель их тут не так часто палит, вот и строиться можно.

— Думаю, вряд ли успела она узнать об этих безобразиях в Любиче, — уронил словно про себя Кмициц. Затем он обратился к товарищу: — Приказываю тебе, Кокошка, а ты еще раз повтори всем прочим, что вести себя здесь надо пристойно. Пусть только кто позволит себе невежество, ей-ей, искрошу!

— Ну, и оседлала же она тебя!

— Оседлала не оседлала, тебе до этого дела нет!

— Не гляди на невест, тебе дела до них нет! — невозмутимо сказал Кокосинский.

— Ну-ка щелкни бичом! — крикнул кучеру Кмициц.

Кучер, стоявший в шее серебристого медведя, размахнулся бичом и щелкнул весьма искусно, другие кучера последовали его примеру, и под щелканье бичей санки весело и лихо подкатили к усадьбе, словно поезд на масляной.

Сойдя с саней, все вошли сперва в небеленые сени, огромные, как амбар, откуда Кмициц проводил свою ватагу в столовый покой, убранный, как и в Любиче, звериными черепами. Тут все остановились, пристально и любопытно поглядывая на дверь в соседний покой, откуда должна была появиться панна Александра. А тем временем, памятуя, видно, предостережение Кмицица, беседовали друг с другом шепотом, как в костеле.

— Ты парень речистый, — шептал Кокосинскому Углик, — приветствуй ее от всех нас.

— Да я уж обдумывал по дороге речь, — сказал Кокосинский, — вот только не знаю, получится ли гладко, мне Ендрусь мешал думать.

— Лишь бы побойчей! Чему быть, того не миновать! Вот уже идет!..

Панна Александра в самом деле вошла в покой и на мгновение остановилась на пороге, точно удивленная такой многочисленной ватагой, да и Кмициц замер на мгновение, так поразила его красота девушки: до сих пор он видел ее только по вечерам, а днем она показалась ему еще краше. Глаза у нее были лазоревые, черные как смоль брови оттеняли белоснежное чело, льняные волосы блестели, как венец на голове королевы. И смотрела она смело, не потупляя взора, как хозяйка, принимающая гостей в своем доме, с ясным лицом, которое казалось еще ясней от черной шубки, опущенной горностаем. Эти забияки отродясь не видывали такой важной и гордой панны, они привыкли к женщинам иного склада, поэтому встали в шеренгу, как хоругвь на смотре, и, шаркая ногами, кланялись тоже всей шеренгой, а Кмициц шагнул вперед и, поцеловав девушке руку, сказал:

— Вот и привез я к тебе, сокровище мое, моих соратников, с которыми воевал на последней войне.

— Большая честь для меня, — ответила панна Билевич, — принимать в своем доме столь достойных кавалеров, о храбрости которых и отменной учтивости я уже наслышана от пана хорунжего.

С этими словами она взялась кончиками пальцев за платье и, приподняв его, присела с необычайным достоинством, а Кмициц губу прикусил и даже покраснел оттого, что его любушка говорит так смело.

Достойные кавалеры шаркали ногами и в то же время подталкивали вперед Кокосинского.

— Ну же, выходи!

Кокосинский сделал шаг вперед, прокашлялся и начал так:

— Ясновельможная панна подкоморанка...

— Ловчанка, — поправил Кмициц.

— Ясновельможная панна ловчанка, милостивая наша благодетельница! — повторил в замешательстве пан Яромир. — Прости, вельможная панна, что в титуле ошибся...

— Пустая это ошибка, — возразила панна Александра, — и такому красноречивому кавалеру она ничуть не вредит...

— Ясновельможная панна ловчанка, милостивая наша благодетельница! Не знаю, что мне славить приличествует от всей Оршанской земли, то ли красоту твоей милости и твои добродетели, то ли

несказанное счастье ротмистра и соратника нашего, пана Кмицица, ибо если бы даже воспарил я до облаков, вознесся до облаков... до самых, говорю, облаков...

— Да слезай уж с этих облаков! — крикнул Кмициц.

Все кавалеры при этом так и прыснули со смеху, но тут же, вспомнив наказ Кмицица, поднесли руки к усам.

Кокосинский вконец смешался, покраснел и сказал:

— Приветствуйте сами, идола, коль меня смущаете!

Но панна Александра снова взялась кончиками пальцев за платье.

— Не сравняться мне с вами в красноречии, — сказала она, — одно только знаю, что недостойна я тех почестей, которые воздаете вы мне от имени всех оршанцев.

И она снова присела с необычайным достоинством, а оршанским забиякам не по себе стало в присутствии этой благовоспитанной панны. Они силились показать свою учтивость, но все у них как-то не получалось. Тогда они усы стали щипать, нести какую-то околесицу, руки класть на сабли, пока Кмициц не сказал наконец:

— Мы сюда целым поездом приехали, как на масленой, хотим взять тебя, панна Александра, с собой и прокатить лесом в Митруны, как вчера уговорились. Санний путь чудесный, да и морозец бог послал знатный.

— Я уже тетю послала в Митруны, чтобы она приготовила нам покушать. А сейчас подождите немного, я потеплей оденусь.

С этими словами она повернулась и вышла, а Кмициц подскочил к своим друзьям:

— А что, милые барашки, не княгиня?.. Что, Кокошка? Мне говорил: оседлала, а почему же сам как мальчишка стоял перед нею? Где ты видал такую?

— Нечего было надсмехаться; хоть и то надо сказать, не думал я, что придется держать речь перед такой особой.

— Покойный подкоморий, — сказал Кмициц, — больше с нею не дома, а в Кейданах живал, при дворе князя воеводы или у Глебовичей, там она и набралась придворных манер. А хороша-то как, а? Да вы всё еще рот раскрыть не можете!

— Показали себя дураками! — со злостью воскликнул Раницкий. — Но самый большой дурак Кокосинский!

— Ах ты предатель! Меня небось локтем подталкивал, а надо было самому с твоей рябой рожой попробовать!

— Мир, барашки, мир! — сказал Кмициц. — В восторг приходите можете, а браниться — нельзя.

— Я бы за нее в огонь и воду! — воскликнул Рекуц. — Руби голову, Ендрусь, с плеч, я от своих слов не откажусь!

Однако Кмициц и не думал рубить ему голову с плеч, напротив, он был доволен, крутил ус и победоносно поглядывал на друзей. Тем временем вошла панна Александра в куньей шапочке, под которой ее белое личико казалось еще белей. Все вышли на крыльцо.

— Мы в этих санях поедем? — спросила панна Александра, показывая на серебристого медведя. — Отроду таких красивых саней не видывала.

— Не знаю, кто на них раньше ездил, это добыча. Теперь мы вдвоем с тобой будем ездить, и они очень нам придутся, — ведь у меня в гербе нарисована панна на медведе. Есть еще другие Кмицицы, по прозвищу Хоругви, те, что ведут свой род от Филона Кмиты Чернобыльского, но он не из того дома, от которого пошли Великие Кмиты.

— Когда же ты, пан Анджей, добыл этого медведя?

— А теперь вот, в этой войне. Мы, бедные exules^[24], потеряли все богатства, наше только то, что даст в добычу война. Ну, а я верой и правдой служил этой владычице, вот она меня и наградила.

— Дай-то бог тебе владычицу посчастливей, а то эта одного наградит, а у всей дорогой отчизны от нее слезы льются.

— Один бог переменит это да гетманы.

С этими словами Кмициц закутал панне Александре ноги белой волчьей полостью, крытой белым же сукном, затем уселся сам, крикнул кучеру: «Трогай!» — и тройка рванула и понесла.

От скачки морозный воздух захватил дыхание, и они смолкли; слышен был только свист мерзлого снега под полозьями, фыркание лошадей, топот копыт и крик кучера.

Наконец пан Анджей склонился к Оленьке:

— Хорошо ли тебе, панна Александра?

— Хорошо, — ответила она, подняв муфту и прижав ее к губам, чтобы ветер не захватывал дух.

Сани летели стрелой. День был ясный, морозный. Снег сверкал так, словно кто искрами сыпал, над белыми кровлями хат, похожих на снежные сугробы, высокими столбами поднимался, алая, дым. Стаи воронья с громким карканьем носились впереди саней, между безлистных придорожных деревьев.

Отъехав с версту от Водоктов, свернули на широкую дорогу, в темный бор, который стоял безмолвный, седой и тихий, словно спал под шапками инея. Деревья, мелькая перед глазами, казалось, убегали куда-то назад, а сани неслись все быстрее и быстрее, точно у коней выросли крылья. Есть

упоение в такой езде, кружится от нее голова, закружилась она и у панны Александры. Откинувшись назад, она закрыла глаза, вся отдавшись стремительному бегу. Грудь стеснило сладкое томление, и почудилось ей, что этот оршанский боярин похитил ее и мчится вихрем, а она млеет, и нет у нее сил ни противиться, ни кричать... А кони летят все быстрее и быстрее... И слышит Оленька, обнимают ее чьи-то руки... слышит, наконец, жаркий, как пламя, поцелуй на губах. И невмочь девушка открыть глаза, она как во сне. А кони летят, летят! Сонную девушку разбудил только голос, спрашивавший:

— Любишь ли ты меня?

Она открыла глаза:

— Как свою душу!

— А я не на жизнь, а на смерть!

Снова соболий колпак Кмицица склонился над куньей шапочкой Оленьки. Она сама не знала теперь, что же слаще: поцелуи или эта волшебная скачка?

И они летели дальше все бором и бором! Деревья убегали назад целыми полками. Снег скрипел, фыркали кони, а они были счастливы.

— Я бы до конца света хотел так скакать! — воскликнул Кмициц.

— Что мы делаем? Это грех! — шепнула Оленька.

— Ну какой там грех. Дай еще погрешить.

— Больше нельзя. Митруны уже недалеко.

— Ближе ли, далёко ли — все едино!

И Кмициц встал на санях, поднял руки вверх и закричал так, словно грудь его не могла вместить всей радости:

— Эй-эй! Эй-эй!

— Эй-эй! Ого-го! — откликнулись друзья с задних саней.

— Что это вы так кричите? — спросила девушка.

— Просто так! От радости! Крикни же и ты, Оленька!

— Эй-эй! — раздался звонкий и тоненький голосок.

— Моя ты королева! В ноги тебе упаду!

— Товарищи будут смеяться.

После упоения их охватило веселье, шумное, сумасшедшее, как сумасшедшей была и скачка. Кмициц запел:

Девушка красная в поле глядит,

В чистое поле!

— Конница, мама, из лесу летит.

О, моя доля!

— Дочка, на рыцарей ты не гляди,
Пусть едут мимо!
Рвется сердечко твое из груди
Следом за ними!

— Пан Анджей, кто научил тебя такой красивой песне? — спрашивала панна Александра.

— Война, Оленька. Мы ее в стане от тоски певали.

Но тут разговор прервал отчаянный крик с задних саней:

— Стой! Стой! Эй, стой!

Пан Анджей повернулся, рассерженный и удивленный тем, что друзья вздумали вдруг звать и останавливать их, и в нескольких десятках шагов от саней увидел всадника, который мчался к ним во весь опор.

— Иисусе Христе! Да это мой вахмистр Сорока: должно быть, что-то стряслось! — сказал пан Анджей.

Вахмистр тем временем подскакал к ним и, осадив коня так, что тот присел на задние ноги, крикнул, задыхаясь:

— Пан ротмистр!..

— Что случилось, Сорока?

— Упиту жгут, дерутся!

— Господи Иисусе! — вскрикнула панна Александра.

— Не бойся, Оленька!.. Кто дерется?

— Солдаты с мещанами. В рынке пожар! Мещане заперлись там и послали в Поневеж за гарнизоном, а я сюда прискакал, к твоей милости. Прямо дух захватило...

Пока они разговаривали, подъехали сани, которые шли позади; Кокосинский, Раницкий, Кульвец-Гиппоцентаврус, Углик, Реуц и Зенд соскочили в снег и окружили Кмицица и Сороку.

— Откуда сыр-бор загорелся? — спрашивал Кмициц.

— Мещане не хотели давать ни припасу людям, ни корма лошадям, ассигновок будто бы не было; ну солдаты и стали брать силком. Мы в рынке осадили бурмистра да тех мещан, что заперлись с ним. Стрельба началась, ну мы два дома и подожгли; гвалт теперь страшный, и в набат бьют...

Глаза Кмицица загорелись гневом.

— Надо и нам идти на помощь! — крикнул Кокосинский.

— Потопчем сиволапое войско! — кричал Раницкий, у которого все лицо пошло красными, белыми и темными пятнами. — Шах, шах,

ясновельможные!

Зенд захохотал совершенно так, как хохочет филин, даже лошади испугались, а Рекуц поднял глаза и пропищал:

— Бей, кто в бога верует! Петуха пустить сиволапым!

— Молчать! — взревел Кмициц, так что эхо отдалось в лесу, а стоявший ближе всех Зенд покачнулся, как пьяный. — Вам там нечего делать! Никакой резни! Всем сесть в двое саней, мне оставить одни и ехать в Любич. Ждать там, может, пришлю за подмогой.

— Как же так? — стал было возражать Раницкий.

Но пан Анджей ткнул его кулаком в зубы и только глазами сверкнул еще страшней.

— Ни пикни у меня! — грозно сказал он.

Все примолкли; видно, боялись его, хотя обычно держались с ним запанибрата.

— Возвращайся, Оленька, в Водокты, — сказал Кмициц, — или поезжай за теткой в Митруны. Вот и не удалось нам покататься. Я знал, что они не усидят там спокойно. Но сейчас ничего, поуспокоятся, только несколько голов слетит с плеч. Будь здорова, Оленька, и не тревожься, я буду к тебе поспешать...

С этими словами он поцеловал ей руки и закутал ее волчьей полостью, потом сел в другие сани и крикнул кучеру:

— В Упиту!

ГЛАВА IV

Прошло несколько дней, а Кмициц все не возвращался, зато в Водокты к панне Александре приехали на разведку трое лауданцев. Явился Пакош Гаштовт из Пацунелей, тот самый, у которого гостил пан Володыёвский, патриарх застянка, он знаменит был своим достатком и шестью дочерьми, из которых три были за Бутрымами и в приданое, кроме всего прочего, получили по сотне серебряных талеров. Приехал и Касьян Бутрым, самый старый старик на Лауде, хорошо помнивший Батория, а с ним зять Пакоша, Юзва Бутрым. Хотя Юзва и был в цвете сил — ему едва ли минуло пятьдесят, — однако в Россиены с ополчением он не пошел, так как на войне с казаками у него пушечным ядром оторвало ступню. По этой причине его прозвали Хромцом, или Юзвой Безногим. Страшный это был шляхтич, медвежьей силы и большого ума, ворчун и судья решительный и строгий. За это шляхта в округе побаивалась его, не умел он прощать ни себе, ни другим. Когда ему случалось подвыпить, он становился опасен, но бывало это редко.

Эти-то лауданцы и приехали к панне Александре, которая приняла их ласково, хотя сразу догадалась, что явились они на разведку и хотят что-то выведать у нее о пане Кмицице.

— Мы хотим ехать к нему на поклон, а он, сдается, еще из Упиты не воротился, — говорил Пакош. — Вот мы и приехали к тебе, голубка, поспрошать, когда можно съездить к нему.

— Думаю, пан Анджей вот-вот приедет, — ответила им панна Александра. — Рад он вам будет, опекуны мои, всей душой, много слышал он про вас и когда-то от дедушки, и теперь от меня.

— Только бы не принял он нас так, как Домашевичей, когда те приехали к нему с вестью про смерть полковника! — угрюмо проворчал Юзва.

Но панна Александра услышала и тотчас ответила с живостью:

— Вы за это сердца на него не держите. Может, он и не совсем учтив был с ними, но вину свою признал. И то надо помнить, что он с войны шел, где столько принял трудов! Не диво, коль солдат и погорячится, нрав-то у них, что сабля острая.

Пакош Гаштовт, который хотел жить в мире со всем светом, махнул рукой и сказал:

— Да мы и не дивились! Кабан на кабана и то рыкнет, когда вдруг

повстречает, отчего же человеку на человека не рыкнуть! Мы, по старому обычаю, поедem в Любич на поклон к пану Кмицицу, чтобы жил он тут с нами, в походы с нами ходил да в пуцу на охоту, как хаживал покойный пан подкоморий.

— Ты уж скажи нам, дитятко, пришелся ли он тебе по сердцу? — спросил Касьян Бутрым. — Наш это долг тебя спрашивать!

— Бог вознаградит вас за доброту. Достойный кавалер пан Кмициц, а когда б и не пришелся мне по сердцу, не пристало мне говорить об этом.

— А ты ничего за ним не заприметила, душенька?

— Ничего! Да и никто тут не имеет права судить его или, упаси бог, не верить ему! Возблагодарим лучше господа бога!

— Что тут до времени господа бога благодарить?! Будет за что, так поблагодарим, а не за что будет, так и благодарить не станем, — возразил мрачный Юзва, который, как истый жмудин, был очень осторожен и предусмотрителен.

— А про свадьбу был у вас разговор? — снова спросил Касьян.

Оленька потупилась.

— Пан Кмициц хочет поскорее...

— Ну, еще бы ему не хотеть, — проворчал Юзва, — дурак он, что ли! Где тот медведь, которому не хочется меду из борти? Только к чему спешить? Не лучше ли поглядеть, что он за человек? Отец Касьян, вы уж скажите, что держите на уме, не дремлите, будто заяц в полдень в борозде!

— Не дремлю я, только думаю думаю, как бы сказать об этом, — ответил старичок. — Господь Иисус Христос так сказал: как Куба богу, так бог Кубе! Мы тоже пану Кмицицу зла не желаем, пусть же и он нам не желает. Дай нам того, боже, аминь!

— Был бы он только нам по душе! — прибавил Юзва.

Панна Биллевич нахмурила свои соболиные брови и сказала с некоторой надменностью:

— Помните, почтенные, нам не слугу принимать. Он тут будет господином, не наша, его воля тут будет. Он и в опеке вас сменит.

— Стало быть, чтобы нам больше не мешаться? — спросил Юзва.

— Стало быть, чтобы вам быть ему друзьями, как и он хочет быть вам другом. Он ведь тут об своем добре печется, а своим добром всяк волен распорядиться, как ему вздумается. Разве не правду я говорю, отец Пакош?

— Святую правду, — ответил пацунельский старичок.

А Юзва снова обратился к старому Бутрыму:

— Не дремлите, отец Касьян!

— Я не дремлю, только думаю думаю.

— Так говорите, что думаете.

— Что я думаю? Вот что я думаю: знатен пан Кмициц, благородной крови, а мы люди худородные! К тому же солдат он славный: сам один пошел против врага, когда у всех руки опустились. Дай-то бог нам таких побольше. Но товарищи у него отпетый народ! Пан сосед Пакош, вы от Домашевичей это слышали? Подлые это люди, суд их чести лишил, в войске сыск их ждет и кара. Изверги они! Доставалось от них недругу, но не легче было и обывателю. Жгли, грабили, насильничали, вот что! Добро бы, они зарубили кого, наезд учинили, это и с достойными людьми бывает, а ведь они, как татары, промышляли разбоем, и давно бы уж им по тюрьмам гнить, когда бы пан Кмициц им не покровительствовал, а он — сила! Он любит их и покрывает, а они вьются около него, как слепни летом около лошади. А теперь вот сюда приехали, и все уже знают, что это за люди. Ведь они в первый же день из пистолетов палили, и по кому же? По портретам покойных Биллевичей, чего пан Кмициц не должен был позволять, потому что они его благодетели.

Оленька заткнула уши руками.

— Не может быть! Не может быть!

— Как не может быть, коли так оно и было! Благодетелей своих позволил им перестрелять, с которыми породниться хотел! А потом затащил в дом дворовых девок для разврата! Тьфу! Грех один! Такого у нас не бывало! Первый же день со стрельбы начали и разврата! Первый же день!

Тут старый Касьян разгневался и стал стучать палкой об пол; лицо Оленьки залилось темным румянцем.

— А войско пана Кмицица, — вмешался в разговор Юзва, — которое осталось в Упите, оно что, лучше? Каковы офицеры, таково и войско! У пана Соллогуба скотину свели, — говорят, люди пана Кмицица; мейшагольских мужиков, которые везли смолу, на дороге избили. Кто? Они же. Пан Соллогуб поехал к пану Глебовичу бить челом об управе на них, а теперь вот в Упите шум! Богопротивное дело! Спокойно тут было, как нигде в другом месте, а теперь хоть ружье на ночь заряжай и дом стереги, а все почему? Потому что приехал пан Кмициц со своею ватагой!

— Отец Юзва, не говорите этого, не говорите! — воскликнула Оленька.

— А что же мне говорить! Ежели пан Кмициц ни в чем не повинен, тогда зачем он держит таких людей, зачем живет с такими? Скажи ему, вельможная панна, чтобы он прогнал их или отдал в руки заплечному мастеру, не то не знать нам покоя. А слыханное ли это дело стрелять по

портретам и открыто распутничать с девками? Ведь вся округа только о том и говорит!

— Что же мне делать? — спрашивала Оленька. — Может, они и злые люди, но ведь он с ними на войну ходил. Разве он выгонит их, коли я его попрошу?

— А не выгонит, — проворчал про себя Юзва, — то и сам таковский!

Но тут гнев забурился в крови девушки, зло взяло на этих друзей пана Кмицица, мошенников и забияк.

— Коли так, быть по-вашему! Он должен их выгнать! Пусть выбирает: я или они! Коли правда все, что вы говорите, а об том я еще сегодня узнаю, я им этого не прощу, ни стрельбы, ни распутства. Я одинокая девушка, слабая сирота, а их целая ватага с оружием, но я не побоюсь...

— Мы тебе поможем! — сказал Юзва.

— Боже мой! — говорила Оленька со все возрастающим негодованием. — Пусть себе делают, что хотят, только не здесь, в Любиче. Пусть себе остаются, какими хотят, это их дело, они головой за это ответят, но пусть не толкают пана Кмицица на разврат! Стыд и срам! Я думала, они грубые солдаты, а они, вижу, подлые предатели, которые позорят и себя и его. Да, зло читалось в их глазах, а я, глупая, не увидела. Что ж! Спасибо вам, отцы, за то, что вы мне глаза открыли на этих иуд. Я знаю, что мне теперь делать.

— Да, да! — сказал старый Касьян. — Добродетель говорит твоими устами, и мы тебе поможем.

— Вы пана Кмицица не вините! Ежели он и поступает противу правил, так ведь он молод, а они его искушают, они его подстрекают, своим примером они толкают его на распутство и навлекают позор на его имя! Да, покуда я жива, этому больше не бывать!

Гнев все больше бурлил в крови Оленьки, и ненависть росла в ее сердце к друзьям пана Анджея, как боль растет в свежей ране. Тяжкая рана была нанесена и женской ее любви, и той вере, с какой она отдала пану Анджею свое чистое чувство. Стыдно ей было и за него и за себя, а гнев и стыд искали прежде всего виноватых.

Шляхта обрадовалась, увидев, как грозна их панна и какой решительный вызов бросила она оршанским разбойникам.

А она продолжала, сверкая взорами:

— Да, они во всем виноваты и должны убраться не только из Любича, но и из здешних мест.

— Мы, голубка, тоже не виним пана Кмицица, — говорил старый Касьян. — Мы знаем, что это они его искушают. Не таим мы в сердце ни

яда, ни злобы против него и приехали сюда, сожалея, что он держит при себе разбойников. Дело известное, молод, глуп. И пан староста Глебович смолоду глуп был, а теперь всеми нами правит.

— А возьмите пса? — растрогавшись, говорил кроткий пацунельский старичок. — Пойдешь с молодым в поле, а он, глупый, вместо того чтобы идти по следу зверя, у твоих ног, подлец, балует и за полы тебя тянет.

Оленька хотела что-то сказать и вдруг залилась слезами.

— Не плачь! — сказал Юзва Бутрым.

— Не плачь, не плачь! — повторяли оба старика.

Но как они ее ни утешали, а утешить не могли. После их отъезда остались печаль, тревога и обида и на них, и на пана Анджея. Больше всего гордую девушку уязвило то, что надо было вступаться за него, защищать его и оправдывать. А эта его ватага! Маленькие кулачки панны Александры сжались при мысли о них. Перед глазами ее встали лица Кокосинского, Углика, Зенда, Кульвец-Гиппоцентавруса и других, и она увидела то, чего раньше не замечала: что это были бесстыдные лица, на которых скоморошество, разврат и преступления оставили свою печать. Чуждое Оленьке чувство ненависти обожгло ей сердце.

Но в этом смятении духа с каждой минутой поднималась все горшая обида на пана Анджея.

— Стыд и срам! — шептала про себя девушка побелевшими губами. — Каждый вечер возвращался от меня к дворовым девкам!

Она чувствовала себя униженной. От невыносимой тяжести стеснялось дыхание в груди.

На дворе темнело. Панна Александра лихорадочным шагом ходила по покою, и все в ней кипело по-прежнему. Это не была натура, способная переносить удары судьбы и покоряться им. Рыцарская кровь текла в жилах девушки. Она хотела немедленно начать борьбу с этим легионом злых духов — немедленно! Но что она может сделать? Ничего! Ей остается только плакать и молить, чтобы пан Анджей разогнал на все четыре стороны этих своих друзей, которые позорят его. А если он не захочет?

— Если не захочет?

Она еще не решалась подумать об этом.

Мысли девушки прервал слуга, который внес охапку можжевельных дров и, бросив их у печи, стал выгребать угли из золы. Оленька внезапно приняла решение.

— Костек, — сказала она, — сейчас же садись на коня и скачи в Любич. Коли пан уже вернулся, попроси его приехать сюда, а нет его дома, пусть управитель, старый Зникис, сядет с тобой на коня и тотчас явится ко

мне, — да поживее!

Парень кинул на угли смолистых щепок, присыпал их корневищами сухого можжевельника и бросился вон.

Яркое пламя вспыхнуло и загудело в печи. У Оленьки немного отлегло от сердца.

«Бог даст, все еще переменится, — подумала она про себя. — А может, все не так худо, как рассказывали опекуны. Посмотрим!»

Через минуту она вышла в людскую, чтобы, по дедовскому обычаю Билевичей, посидеть со слугами, приглядеть за пряжами, спеть божественные песни.

Через два часа вошел продрогший Костек.

— Зникис в сенях, — сказал он, — пана в Любиче еще нет.

Панна Александра вскочила и стремительно вышла. Управитель в сенях поклонился ей в ноги.

— Каково поживаешь, ясновельможная панна? Дай тебе бог здоровья!

Они прошли в столовый покой, Зникис остановился у двери.

— Что у вас слышно? — спросила панна Александра.

Мужик махнул рукой.

— Э, что там толковать! Пана дома нет.

— Я знаю, что он в Упите. Но что творится в доме?

— Э, что там толковать!

— Послушай, Зникис, говори смело, волос у тебя с головы не упадет. Говорят, пан хороший, только товарищи своевольники?

— Да, когда бы, ясновельможная панна, своевольники!

— Говори прямо.

— Да нельзя, панна... боюсь я. Мне не велено.

— Кто тебе не велел?

— Пан...

— Ах, вот как? — сказала девушка.

На минуту воцарилось молчание. Панна Александра, сжав губы и насупя брови, быстро ходила по покою, Зникис следил за нею глазами.

Вдруг она остановилась перед ним.

— Ты чей?

— Я Билевичей. Не из Любича я, из Водоктов.

— В Любич больше не воротись, тут останешься. А теперь приказываю тебе говорить все, что знаешь!

Мужик как стоял у порога, так и повалился ей в ноги.

— Ясновельможная панна, не хочу я туда ворочаться, там светопреставление! Разбойники они, грабители, там не то что за день, за

час нельзя поручиться.

Панна Билевич покачнулась, словно сраженная стрелой. Она страшно побледнела, однако спокойно спросила:

— Это правда, что они стреляли в доме по портретам?

— Как же не стреляли! И девок таскали в покои, что ни день — одно распутство. В деревне стон стоит, в усадьбе Содом и Гоморра! Волон режут к столу, баранов к столу! Людей давят. Конюха вчера безо всякой вины зарубили.

— И конюха зарубили?

— Да! А хуже всего девушек обижают. Дворовых им уже мало, ловят по деревне...

На минуту снова воцарилось молчание. Лицо у панны Александры пылало, и румянец уже больше не потухал.

— Когда ждут там пана?

— Не знаю, слышал только я, как они между собой толковали, что завтра надо всем ехать в Упиту. Приказали, чтобы лошади были готовы. Должны сюда заехать, просить, чтобы дали им людей и пороху, будто там могут понадобиться.

— Должны сюда заехать? Это хорошо. Ступай теперь, Зникис, на кухню. В Любич ты больше не воротисься.

— Дай бог тебе здоровья и счастья!

Панна Александра допыталась всего, что ей было нужно, и знала теперь, как ей поступить.

На следующий день было воскресенье. Утром, не успела еще панна Александра уехать с теткой в костел, явились Кокосинский, Углик, Кульвец-Гиппоцентаврус, Раницкий, Рекуц и Зенд, а вслед за ними мужики из Любича, все вооруженные и верхами, так как кавалеры решили идти на подмогу Кмицицу в Упиту.

Панна Александра вышла к ним спокойная и надменная, совсем не такая, как несколько дней назад, когда она приветствовала их; она едва головой кивнула в ответ на их униженные поклоны; но они подумали, что это она потому так осторожна, что с ними нет Кмицица, и ничего не заподозрили.

Ярош Кокосинский, который стал теперь смелее, выступил вперед и сказал:

— Ясновельможная панна ловчанка, благодетельница наша! Мы сюда заехали по дороге в Упиту, чтобы упасть к твоим ногам и просить об *auxilia*^[25]: пороху надо нам и ружей, да вели своим людям седлать коней и ехать с нами. Мы Упиту возьмем штурмом и сделаем сиволапым маленькое

кровопускание.

— Странно мне, — ответила им панна Биллевич, — что вы едете в Упиту, я сама слыхала, что пан Кмициц велел вам сидеть смирно в Любиче, а я думаю, что ему приличествует приказывать, а вам как подчиненным повиноваться.

Услышав эти слова, кавалеры с удивлением переглянулись. Зенд выпятил губы, точно хотел засвистеть по-птичьи, Кокосинский стал поглаживать широкой ладонью голову.

— Клянусь богом, — сказал он, — кто-нибудь мог бы подумать, что ясновельможная панна говорит с обозниками пана Кмицица. Это верно, что мы должны были сидеть дома, но ведь уже идет четвертый день, а Ендруся все нет, вот мы и подумали: видно, там такая сумятица поднялась, что пригодились бы и наши сабли.

— Пан Кмициц не воевать поехал, а наказать смутьянов-солдат, что и с вами легко может случиться, коли вы нарушите приказ. Да и сумятица и резня там скорее начнутся при вас.

— Трудно нам, ясновельможная панна, рассуждать об этом с тобой. Мы просим только пороху и людей.

— Людей и пороху я не дам, слышишь, пан, не дам!

— Не ослышался ли я? — воскликнул Кокосинский. — Как это не дашь? Пожалеешь для спасения Кмицица, Ендруся? Хочешь, чтобы с ним беда приключилась?

— Горше нет беды для него, как ваша компания!

Глаза девушки блеснули гневом, подняв голову, она сделала несколько шагов к забиякам; те в изумлении попятнулись к стене.

— Предатели! — воскликнула она. — Вы, как бесы, вводите его в грех, вы его искушаете! Но я уже все знаю про вас, про ваше распутство, про ваши бесчинства. Суд ищет вас, люди от вас отворачиваются, а на чью голову падает позор? На его! И все из-за вас, изгнанников, негодяев!

— Иисусе Христе! Вы слышите, друзья? — крикнул Кокосинский. — Что же это такое? Уж не сон ли это, друзья?

Панна Биллевич сделала еще один шаг и показала рукой на дверь:

— Вон отсюда! — сказала она.

Мертвенная бледность покрыла лица забияк, ни один из них не смог слово выговорить в ответ. Они только зубами заскрежетали в ярости, и глаза их злоеце блеснули, а руки готовы были судорожно схватиться за сабли. Но через мгновение страх обнял их души. Ведь этот дом находился под покровительством могущественного Кмицица, эта дерзкая девушка была его невестой. Молча подавили они гнев, а она все еще стояла, сверкая

взорами, и показывала пальцем на дверь.

Наконец Кокосинский процедил, захлебываясь от бешенства:

— Что ж, коли нас тут так мило встречают... нам не остается ничего другого, как поклониться учтивой хозяйке... поблагодарить за гостеприимство и уйти.

С этими словами он поклонился с нарочитой униженностью, метя шапкою пол, за ним стали кланяться остальные и выходить один за другим вон. Когда дверь закрылась за последним, Оленька, тяжело дыша, в изнеможении опустилась в кресло; силы оставили ее, их оказалось меньше, чем храбрости.

А забияки, сойдя с крыльца, сбились толпою около лошадей, чтобы посоветоваться, как же быть; но никто не хотел первым взять слово.

Наконец Кокосинский сказал:

— Ну, каково, милые барашки?

— А что?

— Хорошо ли вам?

— А тебе хорошо?

— Эх, когда бы не Кмициц! Эх, когда бы не Кмициц! — произнес Раницкий, судорожно потирая руки. — Мы бы тут с паненкой по-свойски погуляли!

— Поди тронь Кмицица! — пропищал Рекуц. — Сунься против него!

Лицо у Раницкого пошло пятнами, как шкура рыси.

— И сунуть, и против него, и против тебя, забияка, где хочешь!

— Вот и хорошо! — сказал Рекуц.

Оба схватились было за сабли, но великан Кульвец-Гиппоцентаврус встал между ними.

— Вот этим кулаком, — сказал он, потрясая кулачищем с каравай хлеба, — вот этим кулаком, — повторил он, — я первому, кто выхватит саблю, голову размозжу!

Тут он стал поглядывать то на Рекуца, то на Раницкого, как бы вопрошая, кто же первый хочет попробовать; но они после такого немого вопроса тотчас успокоились.

— Кульвец прав! — сказал Кокосинский. — Милые мои, мир сейчас нам нужен больше чем когда-либо. Мой совет: скакать к Кмицицу, да поскорее, чтобы она раньше нас его не увидала, не то распишет нас, как чертей. Хорошо, что никто не зарычал на нее, хоть у меня самого чесались и язык и руки... Едем же к Кмицицу. Она хочет вооружить его против нас, так уж лучше мы его сперва вооружим. Не приведи бог, чтобы он нас покинул. Шляхта тотчас устроит на нас облаву, как на волков.

— Глупости! — отрезал Раницкий. — Ничего она нам не сделает. Теперь война, мало, что ли, людей шатается по белу свету без приюта и без куска хлеба? Соберем ватагу, милые друзья, и пусть гонятся за нами все трибуналы! Дай руку, Рекуц, я тебя прощаю!

— Я бы тебе уши обрубил! — пропищал Рекуц. — Ну да уж ладно, помиримся! Обоих нас одинаково осрамили!

— Выгнать вон таких кавалеров! — воскликнул Кокосинский.

— Меня, в чьих жилах течет сенаторская кровь! — подхватил Раницкий.

— Людей достойных! Родовитых шляхтичей!

— Заслуженных солдат!

— И изгнанников!

— Невинных сирот!

— Сапоги у меня на смушках-выпоротках, а ноги все равно уже мерзнут, — сказал Кульвец. — Что это мы, как нищие, стоим перед домом, гретого пива нам все равно не вынесут! Нечего нам тут делать. Давайте садиться на конь и ехать! Людей лучше отошлем, ни к чему они нам без оружия, а сами поедем.

— В Упиту!

— К Ендрусю, достойному другу! Ему пожалуемся!

— Только бы нам не разминуться с ним.

— По коням, друзья, по коням!

Они сели и медленно тронулись, кипя гневом и сгорая от стыда. За воротами Раницкий, у которого от злобы все еще сжималось горло, повернулся и погрозил дому кулаком.

— Крови жажду, крови!

— Пусть бы она только с Кмищицем поссорилась, — сказал Кокосинский, — мы бы сюда с трутом приехали.

— Все может стать.

— Дал бы бог! — прибавил Углик.

— Чертова девка! Змея подколотная!

Так, браня и проклиная на все лады панну Билевич, а порою ворча и друг на дружку, доехали они до леса. Едва вступили они в его недра, как огромная стая воронья закружилась над их головами. Зенд тотчас пронзительно закаркал; тысячи голосов ответили ему сверху. Стая спустилась так низко, что лошади стали шарахаться, пугаясь шума крыльев.

— Заткни глотку! — крикнул Зенду Раницкий. — Еще беду накаркаешь! Каркает над нами это воронье, как над падалью...

Но другие смеялись, и Зенд по-прежнему каркал. Воронье спускалось все ниже, и они ехали так словно среди бури. Глупцы! Не могли разгадать дурного предзнаменования.

За лесом уже показались Волмонтовичи, и кавалеры перешли на рысь, потому что мороз был сильный, и они очень озябли, а до Упиты было еще далеко. Но в самой деревне они вынуждены были убавить ходу. Как всегда по воскресеньям, на широкой дороге застянка было полно народу. Бутрымы с женами и дочками возвращались пешком или на санях из Митрун от обедни. Шляхта с любопытством глазела на незнакомых всадников, смутно догадываясь, кто это такие. Молодые шляхтянки уже слышали про распутство в Любиче и про знаменитых грешников, привезенных паном Кмицицем, и потому смотрели на них с еще большим любопытством. А те, красуясь молодецкою выправкой, гордо ехали на своих скакунах, разодетые в бархатные ферязи, захваченные в добычу, и рысьи колпаки. Видно было, что это заправские солдаты: важные да спесивые, правая рука в бок уперта, голова поднята вверх. Они никому не уступали дороги, ехали шеренгой, покрикивая время от времени: «Сторонись!» Кое-кто из Бутрымов бросал на них исподлобья угрюмый взгляд, но дорогу уступал; а кавалеры вели между собою разговор про застянок:

— Взгляни-ка, — говорил Кокосинский, — какие рослые парни: один к одному, как туры, а каждый волком смотрит.

— Когда бы не рост да не саблищи, их можно было бы принять за хамов, — сказал Углик.

— Нет, только поглядите на эти саблищи! — заметил Раницкий. — Сущие коромысла, клянусь богом! Я бы не прочь с кем-нибудь из них побороться!

Тут пан Раницкий начал фехтовать голой рукой.

— Он вот так, а я так! Он вот так, а я так — и шах!

— Ты легко можешь доставить себе такое *gaudium*^[26], — заметил Рекуц. — С ними это просто.

— А по мне, лучше бороться с теми вон девушками! — сказал вдруг Зенд.

— Уж и статны, не девушки, свечи! — с восторгом воскликнул Рекуц.

— Ну что это ты говоришь: свечи? Сосенки! А мордашки у всех ну прямо как шафраном нарумянены.

— Картина — на коне не усидишь!

Беседуя таким образом, они выехали из застянка и снова наддали ходу. Через полчаса подскакали к корчме под названием «Долы», которая лежала на полдороге между Волмонтовичами и Митрунами. В этой корчме, на

пути в костел и из костела, Бутрымы в морозные дни останавливались обычно отдохнуть и погреться. Вот почему кавалеры увидели перед корчмой десятка два саней, застеленных гороховой соломой, и столько же лошадей под седлом.

— Давайте выпьем горелки, а то холодно! — сказал Кокосинский.

— Не мешало бы! — раздался в ответ дружный хор голосов.

Всадники спешили, привязали лошадей к коновязям, а сами вошли в огромную и темную избу. Там они застали пропасть народу. Сидя на лавках или стоя кучками перед стойкой, шляхтичи попивали гретое пиво, а кое-кто и горячий мед, вареный на масле, водке и пряностях. Тут были одни Бутрымы, мужики рослые, угрюмые и такие молчаливые, что в корчме почти не слышно было говора. Все они были одеты в бараньи полушубки, покрытые серым понитком или грубым россиенским сукном, и подпоясаны кожаными поясами, все при саблях в черных железных ножнах; в одинаковой этой одежде они казались солдатами. Но это были либо люди немолодые, которым уже перевалило за шестьдесят, либо юноши, не достигшие и двадцати лет. Они остались дома для зимнего обмолота, а все мужчины в цвете сил уехали в Россиены.

Увидев оршанских кавалеров, Бутрымы отодвинулись от стойки и стали на них поглядывать. Красивый рыцарский наряд понравился воинственной шляхте; порою кто-нибудь ронял: «Это из Любича?» — «Да, ватага пана Кмицица!» — «Ах, это те!» — «Они самые!»

Кавалеры пили горелку; но уж очень пахло в корчме горячим медом. Первым учуял его Кокосинский и велел подать. Друзья уселись за стол и, когда им принесли дымящийся чугунок, стали попивать мед, оглядывая избу и шляхту и щуря при этом глаза, потому что в избе было темновато. Окна замело снегом, а длинное, низкое чело печи, в которой горел огонь, совсем заслонили чьи-то фигуры, обращенные к избе спинами.

Когда мед заиграл в жилах кавалеров, разнося по телу приятное тепло, и они воспрянули духом и забыли о приеме, оказанном им в Водоктах, Зенд так похоже закаркал вдруг вороном, что все лица обратились на него.

Кавалеры смеялись, шляхтичи, развеселясь, стали подвигаться поближе, особенно молодежь, крепкие парни, широкоплечие и круглощекие. Люди, сидевшие у огня, повернулись, и Рекуц первый увидел, что это девушки.

А Зенд закрыл глаза и каркал, каркал, потом вдруг перестал, и через минуту присутствующие услышали голос зайца, которого душат собаки; заяц хрипел при последнем издыхании все слабее и тише, потом взвизгнул отчаянно и смолк навеки, а вместо него взревел, ярься, сохатый.

Бутрымы застыли в изумлении, хотя Зенд уже умолк. Они надеялись услышать еще что-нибудь, однако на этот раз услышали только писклявый голос Реуца:

— Девушки сидят около печи!

— В самом деле! — сказал Кокосинский, прикрывая рукой глаза.

— Клянусь богом, — подхватил Углик, — только здесь так темно, что я не мог разглядеть.

— Любопытно знать, что они тут делают?

— Может, пришли на танцы?

— Погодите, я спрошу у них! — сказал Кокосинский. Повысив голос, он спросил: — Милые девушки, что это вы делаете около печи?

— Ноги греем, — раздались тонкие голоса.

Тогда кавалеры поднялись и подошли поближе к очагу. На длинной лавке сидело с десяток девушек, постарше и помоложе, поставив босые ноги на колоду, лежавшую у огня. С другой стороны колоды сушились сапоги, промокшие от снега.

— Так это вы ноги грееете? — спросил Кокосинский.

— Да, озябли.

— Прехорошенькие ножки! — пропищал Реуц, нагибаясь к колоде.

— Да отвязись ты, пан! — сказала одна из шляхтянок.

— Я бы не отвязаться рад, а привязаться, потому знаю надежное средство получше огня, чтобы разогреть озябшие ножки. Вот оно какое мое средство: поплясать в охотку, и ознобу как не бывало!

— Поплясать так поплясать! — сказал Углик. — Не надо ни скрипки, ни контрабаса, я вам на чакане сыграю.

И, добыв из кожаного футляра, висевшего у сабли, свой неизменный инструмент, он заиграл, а кавалеры с приплясом двинулись к девушкам и давай тащить их с лавки. Те как будто оборонялись, но не очень, так, визжали только, потому что на самом деле не прочь были поплясать. Может, и шляхтичам тоже припала бы охота, потому что поплясать в воскресенье, после обедни, да еще на масленой, не возбраняется, но слава о «ватаге» докатилась уже и до Волмонтовичей, поэтому великан Юзва Бутрым, тот самый, у которого оторвало ступню, первый поднялся с лавки и, подойдя к Кульвец-Гиппоцентаврусу, схватил его за шиворот, остановил и угрюмо сказал:

— Коли припала охота поплясать, так не пойдешь ли со мной?

Кульвец-Гиппоцентаврус прищурил глаза и грозно встопорчил усы.

— Нет, уж лучше с девушкой, — ответил он, — а с тобой разве потом...

Но тут подбежал Раницкий, лицо у него уже пошло пятнами, он почувал драку.

— А это еще что за бродяга? — спросил он, хватаясь за саблю.

Углик бросил играть, а Кокосинский крикнул:

— Эй, друзья, в кучу! В кучу!

Но за Юзвой бросились уже Бутрымы, могучие старики и парни великаны; они тоже сбились в кучу, ворча, как медведи.

— Вы чего хотите? Шишки набить? — спрашивал Кокосинский.

— Э, что там с ними толковать! Пошли прочь! — невозмутимо сказал Юзва.

В ответ на эти слова Раницкий, который больше всего боялся, как бы дело не обошлось без драки, ударил Юзву рукоятью в грудь, так что эхо отдалось в избе, и крикнул:

— Бей!

Сверкнули рапиры, раздался женский крик и лязг сабель, шум поднялся и суматоха. Но тут великан Юзва, выбравшись из свалки, схватил стоявшую у стола грубо отесанную лавку и, подняв ее вверх, как легонькую дощечку, крикнул:

— Дуй его! Дуй!

Пыль поднялась с земли и заслонила дерущихся; в суматохе только стали слышны стоны...

ГЛАВА V

В тот же день вечером в Водокты приехал Кмициц, ведя с собою из Упиты добрую сотню солдат, чтобы отослать их к великому гетману в Кейданы; он сам увидел теперь, что в таком маленьком городке, как Упита, не разместишь столько народу, что, приев хлеб у горожанина, солдат вынужден насильничать, особенно такой солдат, удержать которого в повиновении может только страх перед начальником. Достаточно было одного взгляда на охотников Кмицица, чтобы убедиться в том, что хуже людей не сыщешь во всей Речи Посполитой. Да иных у Кмицица и быть не могло. Разбив великого гетмана, неприятель завладел всем краем. Остатки регулярного литовского войска отошли на время в Биржи и Кейданы, чтобы там оправиться после поражения. Смоленская, витебская, полоцкая, мстиславская и минская шляхта либо последовала за войском, либо укрывалась в воеводствах, еще не захваченных врагом. Те же из шляхты, кто был смелее духом, стали собираться к подскарбию ^[27] Госевскому в Гродно, где королевскими универсалами был назначен сбор шляхетского ополчения. Увы, немного нашлось таких, кто внял универсалам, да и те, что подчинились велению долга, собирались так медленно, что все это время никто не давал отпора врагу, кроме Кмицица, который делал это на собственный страх, побуждаемый не столько любовью к отчизне, сколько рыцарской удалью и молодечеством. Легко понять, что за недостатком регулярных войск и шляхты он брал кого попало, то есть таких людей, которые не обязаны были идти к гетманам в войско и которым нечего было терять. Набежали тогда к нему бродяги без крова и пристанища, людишки подлого рода, холопы, бежавшие из войска, одичалые лесовики, городская челядь да разбойнички, которых преследовал закон. Все они надеялись найти в хоругви Кмицица защиту, да вдобавок поживиться добычей. В железных руках своего начальника они превратились в храбрых солдат, храбрых до отчаянности, и будь сам Кмициц человеком степенным, они много могли бы сделать для блага Речи Посполитой. Но Кмициц сам был своевольник, у которого вечно кипела душа, да и откуда было взять ему провиант, оружие и лошадей, если он, охотник, не имевший даже королевских грамот на вербовку войска, не мог надеяться на самую малую помощь от казны Речи Посполитой. Брал поэтому силой и с неприятеля и со своих. Сопротивления не терпел и за всякую попытку противодействия расправлялся без пощады.

В постоянных наездах, битвах и набегах он одичал и так привык к кровопролитию, что сердце его, от природы доброе, нелегко было теперь растрогать. Полюбились ему люди, на все готовые, необузданные. Вскоре само имя его стало внушать страх. В той стороне, где рыскал грозный партизан, небольшие вражеские отряды не смели носа высунуть из городов и станов. Но и обыватели, разоренные войной, боялись его ватаги не меньше, чем неприятеля. Когда люди Кмицица не были у него на глазах, когда над ними начальствовали его офицеры: Кокосинский, Углик, Кульвец, Зенд и особенно Раницкий, невзирая на свое высокое происхождение, самый дикий и жестокий из них, тогда и впрямь можно было усомниться, а защитники ли это отчизны, не враги ли ее. Под сердитую руку Кмициц, случалось, карал без пощады и своих людей, но чаще брал их сторону, не глядя ни на закон, ни на слезы, не щадя человеческой жизни.

Товарищи, кроме Рекуца, на котором не тяготела невинная кровь, только подстрекали молодого предводителя, чтобы он давал еще больше воли своему буйному нраву.

Такое-то войско было у Кмицица.

Теперь он увел свою голытьбу из Упиты, чтобы отослать ее в Кейданы. Когда солдаты остановились в Водоктах перед усадьбой, панна Александра в ужас пришла, увидев их в окно, так живо напоминали они разбойников. Пестрое это было сборище: кто в шлеме, захваченном у неприятеля, кто в казачьей шапке или колпаке, кто в выцветшей ферязи, кто в тулупе, с ружьями, копьями, луками и бердышами, на тощих, заиндевелых лошаденках под польскими, московскими и турецкими чепраками. Успокоилась она только тогда, когда пан Анджей, красивый и веселый, как всегда, вбежал в покой и тотчас с жаром приник к ее руке.

Хотя Оленька и решила принять пана Анджее с суровой холодностью, однако при виде его не могла сдержать порыв радости. А может, была в этом и женская хитрость, — ведь ей надо было сказать пану Анджее, что она выгнала за дверь его ватагу, вот лукавая девушка и решила привлечь его сперва на свою сторону. Да и приветствовал он ее так горячо, с такой любовью, что сердце ее растаяло, как снег от огня.

«Любит он меня! Нет в том сомнения!» — подумала девушка.

А он говорил:

— Так я стосковался, что всю Упиту хотел спалить, только бы поскорее прилететь к тебе. Чтоб их мороз задавил, этих сиволапых!

— Я тоже беспокоилась, как бы у тебя там дело не дошло до битвы. Слава богу, ты приехал.

— Э, какая там битва! Солдаты стали было трепать сиволапых!..

— Но ты их утихомирил?

— Сейчас все тебе расскажу, мое сокровище, только вот присяду, а то очень устал. Ах, и тепло же здесь у тебя, ах, и хорошо же в этих Водоктах, прямо как в раю. Век бы тут сидел, глядел бы в эти очи милые и никуда не уезжал!.. Но выпить чего-нибудь горяченького тоже не помешало бы, мороз на улице лютый.

— Сейчас прикажу согреть вина с яйцами и сама принесу.

— Дай же и моим висельникам бочонок горелки и вели пустить их в коровник, чтобы они хоть от коровьего духу погрелись. Одежонка у них подбита ветерком, совсем они заоченели.

— Ничего для них не пожалею, это же твои солдаты.

При этих словах она так улыбнулась, что у Кмицица даже взор прояснел, и исчезла тихо, как кошечка, чтобы в людской отдать распоряжения.

Кмициц ходил по покою, то поглаживая свою чуприну, то крутя молодой ус, и раздумывал о том, как же рассказать ей о том, что произошло в Упите.

— Надо правду сказать, начистоту, — бормотал он про себя, — ничего не поделаешь, хоть и будут смеяться товарищи, что бычок уже на веревочке.

И снова ходил, и снова чуприну пятерней начесывал на лоб, наконец потерял терпенье оттого, что девушка долго нейдет.

Но тут слуга внес свет, поклонился в пояс и вышел, а потом сразу же вошла красавица хозяйюшка, держа обеими руками блестящий оловянный поднос с горшочком, над которым поднимался ароматный пар разогретого венгерского, и чаркой граненого стекла с гербом Кмицицев. Старый Билевич получил ее в подарок от отца пана Анджея, когда был у них в гостях.

Пан Анджей, увидев хозяйюшку, подбежал к ней.

— А! — воскликнул он. — Рученьки-то обе заняты, теперь не вырвешься.

И перегнулся через поднос, а она запрокидывала свою светлую головку, которую защищал только пар, поднимающийся над горшочком.

— Изменщик! Оставь, оставь же, а то вино уроню!..

Но он не испугался этой угрозы.

— Клянусь богом, — воскликнул он наконец, — от таких утех разум может помутиться!

— Он у тебя давно уж помутился... Садись же, садись!

Он послушно сел, она налила ему чарку вина.

— Ну рассказывай теперь, как ты в Упите суд чинил над виновными?

— В Упите? Как Соломон!

— Вот и слава богу! Очень мне хочется, чтобы все в округе почитали тебя человеком достойным и справедливым. Так как же все было?

Кмициц отхлебнул изрядный глоток вина и сказал со вздохом:

— Придется сначала начать. Вот как было дело: сиволапые со своим бурмистром требовали ассигновок на припас от великого гетмана или от пана подскарбия. «Вы охотники, — говорили они солдатам, — и поборов чинить не можете. На постой мы вас пустили из милости, а припас дадим, когда видно будет, что нам заплатят».

— Были они правы или нет?

— По закону они были правы, но у солдат были сабли, а, по старому обычаю, у кого сабли, тот всегда больше прав. Говорят тогда солдаты сиволапым: «Вот мы вам на вашей же шкуре выпишем ассигновки!» Ну тут и поднялся содом. Бурмистр с сиволапыми загородились в улице, а мои стали их добывать; не обошлось и без стрельбы. Подожгли бедняги солдатики для устрашения парочку риг, ну и из сиволапых кое-кого успокоили...

— Как это успокоили?

— Да уж кто получит саблей по голове, тот спокоен, как кролик.

— Иисусе Христе, это же убийство!

— Потому я туда и поехал. Солдаты тотчас ко мне с жалобами на утеснения, — вот, мол, в какой мы крайности живем, вот, мол, как нас безо всякой вины преследуют. «Животы у нас пустые, — говорят они, — что нам делать?» Велел я бурмистру явиться ко мне. Долго он думал, наконец пришел с тремя сиволапыми и давай плакаться: «Пусть бы уж и ассигновок не давали, а зачем же драться, зачем город палить? Пить-есть мы бы дали им за спасибо, так ведь им сала подай, меду да лакомства, а у нас, бедных людей, у самих этого нет. Мы на них управы будем искать, а твоей милости за своих солдат придется перед судом ответить».

— Бог тебя благословит, пан Анджей, — воскликнула Оленька, — коли ты рассудил по чести, по справедливости.

— Коли рассудил?

Тут пан Анджей скривился, как школяр, который должен сознаться в своем проступке, и стал начесывать пятерней на лоб свою чуприну.

— Моя ты королева! Мое ты сокровище! — воскликнул он наконец жалобным голосом. — Не гневайся ты на меня...

— Что же ты опять натворил, пан Анджей? — с тревогой спросила Оленька.

— Велел дать по сто батожков бурмистру и советникам! — выпалил пан Анджей.

Оленька ничего не ответила, только руками в колени уперлась, голову опустила на грудь и погрузилась в молчание.

— Руби голову с плеч! — кричал Кмициц. — Только не гневайся!.. Я еще не во всем тебе повинился...

— Не во всем? — простонала девушка.

— Они ведь потом послали в Поневеж за подмогой. Пришла сотня плохоньких солдат с офицерами. Солдат я распугал, а офицеров — не гневайся ты, Христа ради! — велел голыми прогнать по снегу канчуками, как когда-то в Оршанщине сделал с паном Тумгратом...

Панна Биллевич подняла голову, суровые глаза ее горели гневом, лицо пылало.

— Нет у тебя, пан Анджей, ни стыда, ни совести! — сказала она.

Кмициц поглядел на нее удивленно и на минуту умолк.

— Ты это правду говоришь, — спросил он наконец изменившимся голосом, — или только так, прикидываешься?

— Правду говорю, потому что такой поступок достоин не кавалера, а разбойника! Правду говорю, потому что мне дорога твоя честь, потому что мне стыдно, что не успел ты приехать, а уже все обыватели видят в тебе насильника и пальцем на тебя тычут!

— Что мне до ваших обывателей! Десять халуп одна собака сторожит, и той нечего делать.

— Но никто из этих худородных не навлек на себя бесчестия, никто не опозорил своего доброго имени. Никого тут суд не будет преследовать, кроме тебя одного, пан Анджей!

— Э, не твоя это забота. Всяк сам себе пан в нашей Речи Посполитой, у кого только сабля в руках и кто может собрать хоть плохонькую ватагу. Что они мне сделают? Кого мне тут бояться?

— Коли ты, пан, никого не боишься, так знай же, что я боюсь гнева божьего... и слез людских боюсь, и обид! А позор я ни с кем не стану делить; хоть я слабая женщина, доброе имя мне, может, дороже, чем иному кавалеру.

— Господи боже мой, да не грози ты мне отказом, ты ведь еще меня не знаешь...

— О, я вижу, что и мой дед тебя не знал!

Глаза Кмицица сверкнули гневом, но и в ней закипела кровь Биллевичей.

— Беснуйся, пан Анджей, скрежещи зубами, — смело продолжала

она, — я тебя не испугаюсь, хоть я одна, а у тебя целая хоругвь разбойников, невинность моя мне защитой! Ты думаешь, я не знаю, что вы в Любиче портреты перестреляли и девушек водили в дом для распутства? Это ты меня не знаешь, коли думаешь, что я покорно смолчу. Я хочу, чтобы ты стал достойным человеком, и требовать этого мне не запретит никакое завещание. Да и дед мой завещал, чтобы я стала женой только человека достойного...

Кмициц, видно, устыдился бесчинств в Любиче, потому что, потупя взор и понизив голос, спросил:

— Кто тебе сказал об этой стрельбе?

— Вся шляхта в округе об этом толкует.

— Я им это попомню, сермяжникам, предателям, — нахмурился Кмициц. — Но все ведь это под пьяную руку... в компании... солдаты, они ведь народ необузданный. А девок я в дом не водил.

— Я знаю, что это все эти бесстыдники, эти разбойники тебя подстрекают...

— Не разбойники они, а мои офицеры.

— Я этих твоих офицеров выгнала вон из моего дома!

Оленька ожидала взрыва негодования, а меж тем, к величайшему ее удивлению, весть об изгнании товарищей не произвела на Кмицица никакого впечатления, напротив, он как будто даже воспрянул духом.

— Выгнала вон? — спросил он.

— Да.

— И они ушли?

— Да.

— Ей-же-ей, кавалерская у тебя удаль! Страх как мне это нравится, ведь это, знаешь, очень опасное дело ссориться с такими людьми. Не один человек дорого за это заплатил. Но и они трепещут перед Кмицицем! Вот видишь, убрались смиренно, как овечки, вот видишь! А все почему? А потому, что меня боятся!

Тут пан Анджей посмотрел хвастливо на Оленьку и стал крутить свой ус; а ее уж вовсе рассердила и эта переменчивость, и эта похвальба не ко времени, поэтому она сказала решительно и гордо:

— Пан Анджей, выбирай между мною и ими, иначе я не могу!

Кмициц будто и не заметил той решительности, с какой говорила Оленька, и ответил небрежно, чуть ли не весело:

— А зачем мне выбирать, коль и ты моя, и они мои! Ты, панна Александра, можешь в Водоктах делать все, что тебе вздумается, но если мои товарищи не допустили здесь никакого своевольства и ничем тебя не

обидели, за что же мне их выгонять? Тебе не понять, что это значит — служить под одним знаменем и вместе ходить в походы. Никакое родство так не связывает, как служба. Знай же, они мне тысячу раз спасали жизнь, и я им спасал, и сейчас, когда они без крова и пристанища и суд их преследует, я тем более должен дать им приют. Все они родовитые шляхтичи, один только Зенд темного происхождения, но такого объездчика не сыщешь во всей Речи Посполитой. А когда б ты слышала, как он подражает всяким зверям и птицам, ты бы сама его полюбила.

Тут пан Анджей рассмеялся так, точно между ними отродясь не бывало ни раздора, ни несогласия, а она даже руки заломила, видя, как ускользает из ее рук своевольная эта натура. Все, что толковала она ему о людской молве, о достоинстве, о чести, отскакивало от него, как тупая стрела от панциря. Этот солдат с непробудившейся совестью не мог понять, почему восстает она против всякой несправедливости, против всякого наглого самоуправства. Как же пронять его, как с ним говорить?

— Твори бог волю свою! — сказала она наконец. — Коли ты, пан Анджей, от меня отказываешься, иди своей дорогой! Господь останется покровом сироте!

— Я от тебя отказываюсь? — с величайшим изумлением спросил Кмициц.

— Да, коли не словом, так делом, коли не ты от меня, так я от тебя. Потому что не пойду я за человека, на чьей совести людские слезы и людская кровь, на кого пальцем показывают, кого отщепенцем зовут и разбойником и почитают предателем!

— Каким предателем? Не вводи ты меня в грех, не то я такое сотворю, что сам потом буду жалеть. Чтоб меня громом убило, провалиться мне на этом месте, коли я предатель, это я-то, что стал на защиту отчизны, когда у всех опустились руки!

— Ты стал на ее защиту, пан Анджей, а поступаешь как враг, потому что топчешь ее, потому что наших людей истязает, потому что попираешь божеские и людские законы. Нет, пусть у меня сердце разорвется, не хочу я тебя такого, не хочу!

— Не говори мне об этом, не то я взбешусь! Пресвятая богородица, спаси и помилуй! Да не захочешь ты добром пойти за меня, силком возьму, хоть бы вся голытьба из застянков, хоть бы сами Радзивиллы, сам король и все черти рогами тебя обороняли, хоть бы душу дьяволу пришлось продать...

— Не поминай нечистого, услышит! — вскричала Оленька, протягивая руки.

— Чего ты от меня хочешь?

— Будь же ты достойным человеком!

Они оба умолкли, и в покое воцарилась тишина. Слышно было только, как тяжело дышит пан Анджей. Его все-таки проняло от последних слов Оленьки, совесть в нем заговорила. Он чувствовал себя униженным. Не знал, что ответить ей, как оправдаться. Быстрыми шагами стал ходить по комнате; она сидела неподвижно. Облако раздора повисло над ними, обиды и раздражения. Тяжело им было обоим, и долгое молчание становилось все несносней.

— Прощай! — сказал вдруг Кмициц.

— Поезжай, пан Анджей, и пусть бог наставит тебя на путь истинный, — ответила Оленька.

— Поеду! Горько было твое питье, горек хлеб! Желчью и оцтом меня тут напоили!

— А ты думаешь, пан Анджей, что меня сладостью ты напоил? — ответила она голосом, в котором дрожали слезы.

— Прощай!

— Прощай!

Кмициц шагнул было к двери, но вдруг повернулся, и, подбежав к панне Александре, схватил ее за руки.

— Господи, неужто ты хочешь, чтобы я в дороге мертвый упал с коня?

Тут Оленька дала волю слезам; он обнял ее и держал, трепещущую, в объятиях, повторяя сквозь стиснутые зубы:

— Бей же меня, кто в бога верует, бей, не жалей! — Наконец он не выдержал: — Не плачь, Оленька, ради Христа, не плачь! В чем я перед тобой провинился? Я все сделаю, что только ты пожелаешь. отошлю их прочь. В Уните все улажу, жить стану по-иному, потому что люблю тебя!.. Ради Христа, сердце у меня разорвется... я все сделаю, только не плачь... и люби меня хоть немножко!..

Так он утешал ее и голубил, а она, выплакавшись, сказала ему:

— Поезжай, пан Анджей. Господь примирит нас. Я на тебя не в обиде, только болит мое сердце...

Луна высоко поднялась уже над белыми полями, когда пан Анджей отправился в Любич, а за ним тронулись шагом солдаты, вытянувшись лентой на широкой дороге. Они ехали не через Волмонтовичи, а напрямик через болота, скованные морозом, по которым сейчас можно было безопасно проехать.

Вахмистр Сорока поравнялся с паном Анджеем.

— Пан ротмистр, — спросил он, — а где нам в Любиче остановиться?

— Пошел прочь! — ответил Кмициц.

Он ехал впереди, ни с кем не говоря ни слова. В сердце его кипели горькие чувства сожаления, порою гнева, но прежде всего досады на самого себя. Это была первая ночь в его жизни, когда он держал ответ перед совестью, и упреки ее были тяжелей самой тяжелой кольчуги. Ехал он сюда, а за ним дурная слава бежала, и что же он сделал, чтобы поправить ее? В первый же день позволил товарищам в Любиче стрелять и распутничать и солгал, будто сам не распутничал, а на самом-то деле распутничал, а потом каждый день позволял им бесчинствовать. Дальше: солдаты обидели горожан, а он усугубил эту обиду. Хуже того, набросился на поневежский гарнизон, людей избил, офицеров голыми гонял по снегу... Предадут его суду — и конец. Лишат имущества и чести, а может, и к смертной казни присудят. Ведь не сможет же он по-прежнему, собрав ватагу вооруженной гольтыбы, глумиться над законом, ведь он жениться хочет, осесть в Водоктах, служить не на свой страх, а в войске, а там закон найдет его и настигнет кара. А если кара и минует его, все равно дурные это поступки, недостойные рыцаря. Может, ему и удастся замять дело, но память о них останется и в людских сердцах, и в его собственной совести, и в сердце Оленьки... И как вспомнил он тут, что она еще не оттолкнула его, что, уезжая, он прочитал в ее взоре прощение, доброй она ему показалась, как ангелы небесные. И взяла его охота не завтра, а сейчас вот воротиться к ней, прискакать и повалиться в ноги и просить забыть все и целовать ее сладостные очи, которые слезами оросили сегодня его лицо.

Ему хотелось самому зарыдать, и чувствовал он, что любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Пресвятая дева! — думал он в душе. — Я все сделаю, что она только пожелает; щедро оделю товарищей и отправлю их на край света, потому что это правда, что они толкают меня на злые дела».

Тут пришло ему на ум, что вот приедет он в Любич и, наверно, застанет их пьяных или с девками, и такое взяло его зло, что захотелось броситься на кого-нибудь с саблей, хоть на тех же солдат, которых он вел, и рубить без пощады.

— Ну и задам же я им! — ворчал он, теребя ус. — Они меня еще таким не видали, каким нынче увидят!

Тут он в ярости стал шпорить коня, дергать и рвать поводья, так что разгорячил своего аргамака. Видя это, Сорока проворчал, обращаясь к солдатам:

— Взбесился ротмистр. Не приведи бог попасть ему под сердитую руку!

Пан Анджей и впрямь бесился. Великий покой царил вокруг. Ясно светила луна, в небе сверкали тысячи звезд, даже ветерок не шевелил ветвей на деревьях, — только в сердце рыцаря была целая буря. Дорога до Любича показалась ему длинной, как никогда. Какой-то неведомый доселе страх стал надвигаться на него из мрака, из лесных дебрей, с полей, залитых зеленоватым лунным светом. Наконец усталость овладела паном Анджеем, потому что, говоря правду, всю прошлую ночь он в Упите пропьянствовал и прогулял. Но он хотел клин клином выбить, быстрой ездой стряхнуть с себя тревогу, повернулся к солдатам и скомандовал:

— Рысью!

Он понесся стрелой, а за ним весь отряд. Они мчались по лесам и пустым полям, словно тот дьявольский легион рыцарей-крестоносцев, который, как рассказывают в Жмуди, появляется в ясные лунные ночи и несется по воздуху, предвещая войну и небывалые бедствия. Топот летел вперед и назад, взмылились кони, и только тогда, когда за поворотом показались заснеженные крыши Любича, отряд убавил ходу.

Ворота были отворены настежь. Когда двор наполнили люди и кони, Кмициц удивился, что никто не вышел спросить, кто же это приехал. Он думал, что окна будут пылать огнями, что он услышит чакан Углика, скрипку или веселые клики пирующих; меж тем только в двух окнах столового покоя мерцал слабый огонек, всюду было темно, тихо и глухо. Вахмистр Сорока первый спешил, чтобы поддержать ротмистру стремя.

— Ступайте спать! — сказал Кмициц. — Кто поместится в людской, пусть спит там, остальные — по конюшням. Коней поставить в риги и хлева и принести им сена из сарая.

— Слушаюсь! — ответил вахмистр.

Кмициц соскочил с коня. Дверь в сени была распахнута настежь, сени выстудились.

— Эй, там! Есть там кто?

Молчание.

— Перепились!.. — проворчал пан Анджей.

И его охватила такая ярость, что он зубами заскрежетал. По дороге сюда он трясся от гнева, думая, что застанет пьянство и гульбу, теперь эта тишина бесила его еще больше.

Он вошел в столовый покой. На большом столе, мерцая, горел красный огонек чадной масляной светильни. Струя воздуха, ворвавшись из сеней, заколебала пламя так, что с минуту пан Анджей ничего не мог разглядеть. Только тогда, когда огонек успокоился, он увидел ряд тел, ровно вытянувшихся на полу у стены.

— Перепились на смерть, что ли? — с беспокойством пробормотал он.

Затем нетерпеливо подошел к телу, лежавшему с краю. Лица он не мог разглядеть, оно было погружено в тень, но по белому кожаному поясу и белому футляру чакана он узнал Углика и начал бесцеремонно пинать его ногой.

— Вставайте, чертовы дети, вставайте!

Но Углик лежал неподвижно, и руки его были бессильно брошены вдоль тела, а за ним лежали остальные; никто не зевнул, не шевельнулся, не проснулся, не забормотал. В ту же минуту Кмициц заметил, что все они лежат навзничь, в одинаковом положении, и сердце его сжалось от страшного предчувствия.

Подбежав к столу, он трясущейся рукой схватил светильню и приблизил ее к лицам лежащих.

Волосы встали у него дыбом на голове, такая страшная картина открылась перед его взором. Углика он смог признать только по белому поясу, потому что лицо и голова его представляли собой бесформенное, отвратительное, кровавое месиво, без глаз, носа и губ — только усищи торчали из этой страшной лужи. Кмициц посветил дальше. Следующим лежал Зенд с оскаленными зубами; в глазах его, выкатившихся из орбит, застыл предсмертный ужас. У третьего, Раницкого, глаза были закрыты, и все лицо было в белых, багровых и черных пятнах. Кмициц светил дальше... Четвертым лежал Кокосинский, самый любимый его товарищ, старый близкий сосед. Он, казалось, спокойно спал, только сбоку, на шее, виднелась огромная колотая рана. Пятым лежал великан Кульвец-Гиппоцентаврус в жупане, изодранном на груди, с иссеченным лицом. Кмициц подносил светильню к каждому лицу, и когда он поднес ее, наконец, к глазам шестого, Рекуца, ему почудилось, что веки у несчастного затрепетали от света.

Кмициц поставил светильню на пол и легонько встряхнул раненого.

— Рекуц, Рекуц! — позвал он. — Это я, Кмициц!..

У раненого затрепетало лицо, глаза и рот его то открывались, то снова закрывались.

— Это я! — сказал Кмициц.

На мгновение глаза Рекуца открылись совсем, — он узнал друга и тихо простонал:

— Ендрусь, ксендза!..

— Кто вас порубил?! — кричал Кмициц, хватаясь за голову.

— Бу-тры-мы... — раздался такой тихий голос, что он едва расслышал.

Тут Рекуц вытянулся, застыл, открытые глаза остекленели, — он умер.

В молчании подошел Кмициц к столу, поставил светильню, опустился на стул и стал водить руками по столу, как человек, который, пробудившись ото сна, сам не знает, проснулся ли он или все еще видит злые сонные грезы.

Затем он снова бросил взгляд на лежавшие во мраке тела. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы встали дыбом, и вдруг он крикнул так страшно, что стекла задребезжали в окнах:

— Эй, сюда, кто жив, сюда!

Солдаты, которые устраивались в людской на ночлег, услышали этот крик и опрометью бросились в столовый покой. Кмициц показал им рукой на трупы, лежавшие у стены.

— Убиты! Убиты! — повторял он хриплым голосом.

Они кинулись посмотреть; некоторые из них прибежали с лучинами и стали подносить свет к лицам покойников. После первых минут потрясения шум поднялся и суматоха. Прибежали и те, что легли уже спать в хлевах и конюшнях. Весь дом запылал огнями, наполнился людьми, и в этом смятении, среди криков и возгласов, одни только убитые лежали у стены ровно и тихо, безразличные ко всему и — вопреки своей натуре — спокойные. Души покинули их тела, а тела не могли пробудить ни трубы, зовущие на бой, ни звон чар, зовущий на пир.

В шуме солдатских голосов все ясней слышались грозные и яростные клики. Кмициц, который до сих пор был точно в беспамятстве, вскочил внезапно и крикнул:

— По коням!

Все, как один, ринулись к дверям. Не прошло и получаса, как добрая сотня всадников мчалась во весь опор по широкой снежной дороге, а во главе их неся, как одержимый бесом, пан Анджей, без шапки, с саблей наголо. В ночной тишине раздавались дикие крики:

— Бей! Руби!

Луна на своем небесном пути достигла зенита, когда блеск ее стал внезапно мешаться и сливаться с красным светом, словно вырвавшимся из-под земли; небо алело все больше и больше, точно от встающей зари, пока наконец багровое зарево пожара не залило всю окрестность. Море огня бушевало над огромным застянком Бутрымов, а дикий солдат Кмицица в дыму, огне и пламени, столбом вырывавшемся вверх, крушил перепуганных и ослепших от ужаса людей.

Повскакали с постелей жители ближайших застянков. Гостевичи Дымные, Стакьяны, Гаштовты и Домашевичи собирались толпами на

дорогах, перед домами и, глядя в сторону пожара, передавали из уст в уста страшную весть: «Верно, неприятель ворвался и палит Бутрымов... Это небывалый пожар!»

Гром ружейной пальбы, долетавший по временам, подтверждал это предположение.

— Идем на помощь! — кричали те, кто посмелей. — Не дадим погибать братьям!

Пока старики еще только толковали об этом, молодые, которые не пошли в Россиены, чтобы зимою обмолотить хлеб, уже садились по коням. В Кракинове и в Упите стали бить в костелах в набат.

В Водоктах тихий стук в дверь разбудил панну Александру.

— Оленька, вставай! — крикнула панна Францишка Кульвец.

— Войдите, тетушка! Что там творится?

— Горят Волмонтовичи!

— Во имя отца, и сына, и святого духа!

— Пальба слышна даже у нас, там бой! Боже, будь милостив к нам, грешным!

Оленька страшно закричала, соскочила с постели и стала поспешно набрасывать на себя платье. Девушка тряслась как в лихорадке. Одна она сразу догадалась, что это за неприятель напал на несчастных Бутрымов.

Через минуту со всего дома сбежались со слезами разбуженные женщины. Оленька бросилась на колени перед образом, они последовали ее примеру, и все стали громко читать молитву на отход души.

Не успели они прочесть и половину молитвы, как от внезапного стука затряслась входная дверь. Женщины вскочили на ноги, крик ужаса вырвался у них из груди.

— Не отпирайте! Не отпирайте!

Стук повторился с удвоенной силой, казалось, двери вот-вот сорвутся с петель. В эту минуту в толпу женщин ворвался слуга Костек.

— Паненка, — крикнул он, — кто-то стучит, отпирать или нет?

— Он там один?

— Один.

— Поди отвори!

Слуга выбежал, а панна Александра, схватив свечу, прошла в столовый покой, за ней последовали панна Францишка и все пряхи.

Только панна Александра поставила свечу на стол, как в сенях раздался лязг железного засова, скрип отпираемой двери, и перед глазами женщин показался Кмициц, страшный, черный от дыма, окровавленный, задыхающийся, с безумными глазами.

— Конь у меня пал под лесом! — крикнул он. — За мной гонятся!

Панна Александра устремила на него взор.

— Ты, пан, спалил Волмонтовичи?

— Я! Я!

Он хотел еще что-то сказать, но со стороны дороги и леса донеслись внезапно крики и конский топот, который приближался со страшной быстротой.

— Дьяволы! За моей душой!.. Хорошо же! — крикнул, как в бреду, Кмициц.

В ту же минуту панна Александра повернулась к пряхам:

— Будут спрашивать, сказать, никого нет, а теперь ступайте в людскую и принесите сюда свет! Затем Кмицицу: — Сюда, пан! — и показала на смежную комнату.

Чуть не силком втолкнув его в открытую дверь, она тотчас ее заперла.

Тем временем вооруженные люди наполнили двор усадьбы, и в мгновение ока Бутрымы, Гостевичи, Домашевичи ворвались в дом. Увидев панну Александру, они остановились в столовом покое; стоя со свечой в руке у двери, ведущей в смежную комнату, она заслоняла от них эту дверь.

— Люди добрые! Что стряслось! Чего вам здесь надо? — спросила она, не опуская глаз перед грозными взглядами и зловещим блеском обнаженных сабель.

— Кмициц спалил Волмонтовичи! — хором крикнула шляхта. — Поубивал мужчин, женщин, детей! Кмициц это сделал!

— Мы его людей перебили, — раздался голос Юзвы Бутрыма, — а теперь хотим его головы!

— Головы его! Крови! Зарубить убийцу!

— Бегите же за ним! — воскликнула панна Александра. — Что же вы тут стоите? Бегите!

— Разве он не здесь спрятался? Мы коня нашли под лесом...

— Нет, не здесь! Дом был заперт! Ищите в конюшнях и хлевах.

— В лес ушел! — крикнул какой-то шляхтич. — Айда, братья!

— Молчать! — могучим голосом крикнул Юзва Бутрым.

Затем он подошел к панне Александре.

— Панна! — сказал он. — Не прячь его! Проклятый он человек!

Оленька подняла обе руки над головой.

— Я проклинаяю его вместе с вами!

— Аминь! — крикнула шляхта. — Обыщем двор — и в лес! Мы его найдем! Айда, на разбойника!

— Айда! Айда!

Снова раздался лязг сабель и топот ног. Шляхтичи сбежали с крыльца и торопливо садились по коням. Часть их еще некоторое время обыскивала постройки, конюшни, хлева, сеновал, потом голоса стали удаляться в сторону леса.

Панна Александра прислушивалась, пока голоса не пропали совсем, после чего лихорадочно постучала в дверь комнаты, где укрыла пана Анджея.

— Никого нет! Выходи, пан!

Кмициц вышел из комнаты, шатаясь, как пьяный.

— Оленька! — начал было он.

Она встряхнула распутившимися косами, которые плащом покрыли ей спину.

— Не хочу тебя видеть, не хочу тебя знать! Бери коня и уходи отсюда!

— Оленька! — простонал Кмициц, протягивая руки.

— Кровь на твоих руках, как на Каине! — крикнула она, отпрянув от него, как от змеи. — Прочь! Навеки!

ГЛАВА VI

День встал хмурый и осветил в Волмонтовичах груды развалин, пожарище, оставшееся на месте домов и хозяйственных построек, обгорелые или порубленные мечами трупы. На пепелище кучки осунувшихся людей искали в дотлевавших угольях тела погибших или остатки имущества. Это был день скорби и печали для всей Лауды. Правда, многочисленная шляхта одержала победу над отрядом Кмицица, но это была тяжкая, кровавая победа. Больше всего погибло Бутрымов; но не было застанка, где бы вдовы не оплакивали мужей, родители сыновей, дети отцов. Дорогой ценой досталась лауданцам победа над обидчиками, так как самых сильных мужчин не было дома, одни только старики да юноши на заре юности приняли участие в бою. Однако из людей Кмицица не спасся никто. Одни погибли в Волмонтовичах, где защищались так отчаянно, что даже, будучи ранеными, все еще продолжали сражаться, других на следующий день переловили в лесах и поубивали безо всякой пощады. Сам Кмициц как в воду канул. Все терялись в догадках, что могло с ним случиться. Одни говорили, будто он зарезался в Любиче; но тут же выяснилось, что это неправда; предполагали, что он пробился в пущу Зелёнку, а оттуда в Роговскую, где выследить его могли только Домашевичи. Многие твердили, что он перебежит к Хованскому^[28] и приведет врагов, но это были опасения по меньшей мере преждевременные.

Тем временем уцелевшие Бутрымы потянулись в Водокты и расположились там лагерем. В доме было полно женщин и детей. Кто не поместился, ушли в Митруны, которые панна Александра отдала в распоряжение погорельцев. Кроме того, около сотни вооруженных людей, сменяя друг друга, стояли в Водоктах на страже: опасались, что Кмициц не смирился с поражением и в любой день может учинить на Водокты вооруженное нападение, чтобы похитить панну Александру. Надворных казаков и гайдуков прислали на подмогу и самые богатые семейства в округе: Шиллинги, Соллогубы и другие. Водокты напоминали город, которому угрожает осада. А среди вооруженных людей, среди шляхты, среди толп женщин бродила скорбная, бледная, измученная панна Александра, внимая людским слезам и людским проклятиям пану Анджею, которые, как мечи, пронзали ей сердце, потому что она была косвенной причиной всех бед. Ради нее приехал сюда этот безумец, он возмутил их

покой и оставил по себе кровавую память, закон попра, людей перебил, селенья, как басурман, предал огню и мечу. Просто удивительно было, как мог один человек за такое короткое время причинить столько зла, и притом человек не такой уж плохой и не такой уж безнравственный. Кто-кто, а панна Александра, которая ближе всех знала его, хорошо это понимала. Целая пропасть лежала между самым паном Анджеем и его делами. Как жестоко терзала панну Александру мысль, что этот человек, которого она полюбила со всем жаром молодого сердца, мог быть иным, что были у него хорошие задатки, что он мог стать образцом рыцаря, кавалера, соседа и заслужить не презрение людей, а восхищение и любовь, не проклятия, а благословения.

Минутами панне Александре казалось, что это какое-то несчастье, какие-то могущественные злые силы толкнули его на все бесчинства, которые он совершил, и тогда в ней просыпалась непобедимая жалость к этому несчастливцу, и в сердце вновь пылала неугасшая любовь, подогреваемая свежими воспоминаниями о рыцарском его образе, речах, клятвах, любви.

А тем временем сотня жалоб была подана на него в шляхетский суд, сотня процессов грозила ему, и староста Глебович послал солдат, чтобы схватить преступника.

Закон должен был покарать его.

Но от приговоров до кары было еще далеко, ибо смута росла в Речи Посполитой. Ужасная война надвинулась на страну и кровавой поступью приближалась к Жмуди. Могущественный Радзивилл биржанский мог один вооруженной рукой восстановить порядок; но он более предавался утехам светской жизни, а еще более великим замыслам, касавшимся его дома, который он хотел возвысить над всеми прочими домами в стране, пусть даже ценою всеобщего блага. Другие магнаты тоже думали больше о себе, нежели о Речи Посполитой. Со времени казацкой войны^[29] стало давать трещины могущественное здание Речи Посполитой.

Густо заселенная, богатая страна, полная отважных рыцарей, становилась добычей чужеземцев, в то же время самоволие и своеволие все выше поднимали голову и попирали закон, — они чувствовали за собой силу.

Лучшей и едва ли не единственной защитой угнетенных против угнетателей была собственная сабля; потому-то вся Лауда, подавая жалобы на Кмицица в шляхетские суды, долго еще не сходила с коней, готовая на насилие ответить насилием.

Но прошел месяц, а о Кмицице не было ни слуху ни духу. Люди

вздохнули с облегчением. Богатая шляхта отозвала свою вооруженную челядь, посланную для охраны Водоктов. Мелкопоместная братия тоже рвалась к себе в застьянки, чтобы взяться за работу, да и поразвлечься на досуге, и стала тоже понемногу разъезжаться по домам. А по мере того как остывал ее воинственный пыл, все больше разгоралась у нее охота искать судом свои обиды на отсутствующем пане Кмицице, в трибуналах добиваться их удовлетворения. Приговоры не могли настичь самого Кмицица; но оставался Любич, прекрасное большое поместье, готовая награда за понесенные потери. Панна Александра усердно подогревала у лауданской братии эту охоту к тяжбам. Дважды приезжали к ней старики лауданцы, и она не только держала с ними совет, но и руководила ими, удивляя всех не женским умом и такой рассудительностью, которой позавидовал бы не один стряпчий. Старики лауданцы хотели тогда силой занять Любич и отдать его Бутрымам; но «паненка» решительно отсоветовала это делать.

— Не платите насиллием за насиллие, — говорила она старикам, — ибо и ваше дело будет неправым; пусть ваша сторона будет чиста и невинна. Он знатен, у него связи, он найдет сторонников и в трибуналах, и если только вы подадите к тому повод, может нанести вам новую обиду. Пусть же ваша невинность будет столь очевидна, чтобы любой суд, даже если в нем будут одни его братья, мог вынести приговор только в вашу пользу. Скажите Бутрымам, чтобы они не брали в Любиче ни утвари, ни скотины, чтобы ничего не трогали там. Все, что понадобится, я дам из Митрун, там всякого добра больше, чем когда-нибудь было в Волмонтовичах. А воротится пан Кмициц, пусть и его не трогают, пока не будет приговора, и не покушаются на его жизнь. Помните, что искать на нем свои потери вы можете только до тех пор, покуда он жив.

Так говорила рассудительная панна Александра с ее трезвым умом, а они хвалили свою разумницу, невзирая на то, что промедление могло пойти на пользу пану Анджею и что жизнь его она, во всяком случае, спасала. А может, Оленька и хотела уберечь эту несчастную жизнь от какой-нибудь внезапной случайности? Но шляхта вняла ее речам, потому что с давних пор привыкла почитать за непреложную истину все, что исходило из уст Билевичей; и Любич остался нетронутым, и пан Анджей, если бы вздумал явиться, мог бы некоторое время пожить там спокойно.

Но он не явился. А через полтора месяца к панне Александре пришел посланец с письмом, человек чужой, никому неведомый. Письмо было от Кмицица, гласило оно следующее:

«Сердце мое, возлюбленная моя, бесценная Оленька, незабвенный

друг мой! Всякой твари, особливо человеку, даже самому слабому, свойственно мстить за нанесенные обиды, и если кто ему зло сотворит, он готов выплатить ему тем же. Видит бог, я вырезал эту гордую шляхту не по жестокосердию, а потому, что они товарищей моих, вопреки законам божеским и человеческим, невзирая на молодость их и высокое происхождение, предали такой лютой смерти, какая не постигла бы их нигде, даже у казаков и татар. Не стану отпираться, гнев обуял меня нечеловеческий; но кого же удивит гнев за пролитую кровь друзей? Это души покойных Кокосинского, Раницкого, Углика, Рекуца, Кульвеца и Зенда, невинно убиенных в цвете сил и в зените славы, вложили меч в мои руки тогда, когда я — бога призываю в свидетели! — помышлял лишь о мире и дружбе со всей лауданской шляхтой и, вняв сладостным твоим советам, желал изменить всю мою жизнь. Слушая жалобы на меня, не отвергай и моей защиты и рассуди по справедливости. Жаль мне теперь этих людей из застянка, ибо пострадали, быть может, и невинные; но солдат, когда он мстит за кровь братьев, не может отделить невинных от виновных и никого не щадит. Не бывать бы лучше этой беде, не пал бы я тогда в твоих глазах. За чужие грехи и вины, за справедливый гнев тяжчайшая постигла меня расплата, ибо, потеряв тебя, я засыпаю в отчаянии и пробуждаюсь в отчаянии, и не в силах я забыть тебя и мою любовь. Пусть же меня, несчастного, трибуналы засудят, пусть сеймы утвердят приговоры, пусть лишен я буду славы и чести, пусть земля расступится у меня под ногами, — я все перенесу, все перетерплю, только ты — Христом-богом молю! — не выбрасывай меня из сердца вон. Я все сделаю, что только ты пожелаешь, отдам Любич, отдам, когда враг уйдет, и поместья оршанские; есть у меня казна, добытая в бою и зарытая в лесах, и ее пусть берут, только бы ты сказала, что будешь верна мне, как велит тебе с того света покойный твой дед. Ты спасла мне жизнь, спаси же мою душу, дай вознаградить людей за обиды, позволь к лучшему изменить жизнь, ибо вижу я, что коли ты меня оставишь, то господь бог оставит меня, и отчаяние толкнет меня на дела еще горшие...»

Кто отгадает, кто сможет описать, сколько жалостных голосов зазвучало в душе Оленьки в защиту пана Анджея! Если любовь как семечко в лесу, ее быстро уносит ветерок, но когда разовьется она в сердце, как дерево в лесу, вырвать ее можно разве что с сердцем. Панна Биллевич принадлежала к тем, кто любит беззаветно, всем своим чистым сердцем, и слезами облила она письмо пана Анджея. Но не могла она по первому его слову все забыть, все простить. Раскаяние его было, конечно, искренним, но душа осталась дикой, и неукротимый его нрав, верно, не изменился

после всех событий так, чтобы можно было без страха думать о будущем. Не слов, а дел ждала она от пана Анджея. Да и как могла она ответить человеку, залившему кровью всю округу, имени которого никто по обоим берегам Лауды не произносил без проклятия: «Приезжай, за трупы, пожары, кровь и слезы людские я отдаю тебе свою любовь и свою руку».

Иной ответ она дала ему:

«Я сказала тебе, пан Анджей, что не хочу тебя знать, не хочу тебя видеть, и не изменю своему слову, если даже сердце мое разорвется. За обиды, которые ты нанес людям, не платят ни поместьями, ни казной, ибо мертвых не воскресишь. Не богатство ты потерял, а славу. Пусть же простит тебя шляхта, которую ты пожег и поубивал, тогда и я прощу тебя; пусть она тебя примет, тогда и я приму тебя; пусть она первая за тебя вступится, тогда я внемлю ее заступничеству. Но вовек этому не бывать, и потому ищи себе счастья в другом месте, и прежде всего моли о прощении не людей, а бога, ибо его милость тебе нужней...»

Каждое слово своего письма панна Александра облила слезами, потом запечатала его перстнем Билевичей и сама вынесла посланцу.

— Откуда ты? — спросила она, окинув взглядом странную фигуру полумужика, получелядина.

— Из лесу, панночка.

— А где твой пан?

— Этого мне не велено говорить... Только он далеко отсюда: я пять дней ехал и лошадь загнал.

— Вот тебе талер! — сказала Оленька. — А твой пан не болен?

— Здоров, как тур.

— Живет не в голоде? Не в бедности?

— Он пан богатый.

— Ступай себе с богом.

— Земно кланяюсь.

— Скажи пану... погоди... скажи пану, пусть бог ему будет защитой!..

Мужик ушел — и снова потекли дни, недели без вестей о Кмищице; зато вести о делах державных приходили одна другой хуже. Войска Хованского все шире заливали Речь Посполитую. Не считая украинских земель, в самом Великом княжестве были захвачены воеводства: Полоцкое, Смоленское, Витебское, Мстиславское, Минское и Новогрудское; только часть Виленского, Брест-Литовское и Трокское воеводства и староство Жмудское еще дышали свободной грудью, но и они со дня на день ждали гостей.

Видно, на последнюю ступень бессилия скатилась Речь Посполитая,

ибо не могла дать отпор тем силам, которыми до сих пор пренебрегала и которые всегда победоносно усмиряла. Правда, эти силы поддерживал неугасимый и непрестанно возрождавшийся бунт Хмельницкого, эта истинная стоглавая гидра; но, невзирая на бунт, невзирая на урок, понесенный в прежних войнах, и государственные мужи и военачальники ручались, что одно только Великое княжество не только в состоянии отразить нападение, но и вторгнуться победоносно со своими хоругвями в чуждые пределы. К несчастью, внутренние раздоры препятствовали этому, лишая возможности действовать даже тех граждан, которые готовы были пожертвовать за отчизну жизнью и имуществом.

А тем временем в землях, еще не занятых врагом, укрывались тысячи беглецов как из шляхты, так из простолюдинов. Города, посады и деревни в Жмуди были полны народа, доведенного военными неудачами до нищеты и отчаяния. Местные жители не могли ни предоставить всем кров, ни прокормить всех; люди низкого сословия мерли от голода, случалось, силой отнимали то, в чем им отказывали, и все ширились поэтому смута, стычки и грабежи.

Зима была необычайно суровой. Апрель уже наступил, а снежный покров все еще лежал не только в лесах, но и на полях. Когда иссякли прошлогодние запасы, а до новины еще было далеко, стал свирепствовать голод, брат войны, все шире и шире распространяясь по стране. Выехав из дому, обыватель в поле, у дороги встречал окостенелые трупы, объединенные волками, которые размножились чрезвычайно и целыми стаями подходили к деревням и застямкам. Их вой мешался с человеческими криками о помощи; в лесах и в полях и у самых селений по ночам пылали костры, у которых несчастные грели переязбшие члены, а когда кто-нибудь проезжал мимо, бежали вслед за ним и выпрашивали денег и хлеба, со стонами, проклятиями и угрозами молили о милосердии. Суеверный ужас овладел умами людей. Многие говорили, что все эти неудачные войны и все эти небывалые бедствия связаны с именем короля. Толковали охотно, будто буквы J. C. R., выбитые на монетах, означают не только Joannes Casimirus Rex^[30], но и Initium Calamitatis Regni^[31]. Если в землях, еще не охваченных войной, было так тревожно и беспокойно, легко догадаться, что творилось в тех местах, которые уже попирала огненная пята войны. Вся Речь Посполитая, объятая смутой, металась, как умирающий в горячечном бреду. Предсказывали новые войны и с внешними и с внутренними врагами. Поводов для этого было достаточно. В разгоревшейся междоусобице разные владетельные дома Речи Посполитой смотрели друг на друга как на вражеские державы, а вслед за ними на враждебные станы

делились целые земли и поветы. Так обстояло дело в Литве, где жестокая вражда между великим гетманом Янушем Радзивиллом и польным гетманом Госевским, который был и подскарбием Великого княжества Литовского, привела чуть ли не к открытой войне. На сторону подскарбия стали сильные Сапеги, для которых могущество дома Радзивиллов давно уже было бельмом в глазу. Сторонники Госевского предъявляли великому гетману тягчайшие обвинения и в том, что он, стремясь только к личной славе, погубил войско под Шкловом и отдал край на поток и разграбление, и в том, что он думает не столько о благе Речи Посполитой, сколько о своем праве заседать в сеймах Германской империи^[32], и в том, что он помышляет даже о независимой державе, и в том, что преследует католиков^[33]...

Не раз уже у сторонников обоих гетманов дело доходило до стычек, которые они завязывали будто бы без ведома своих покровителей, а покровители тем временем слали жалобы друг на друга в Варшаву; их распри находили отголосок и на сеймах, а на местах вели к произволу и безнаказанности, потому что какой-нибудь Кмициц всегда был уверен в покровительстве того владельца, на чью сторону он становился.

Тем временем враг свободно продвигался вперед, лишь кое-где задерживаясь у стен замков и больше нигде не встречая отпора.

В таких обстоятельствах всем лауданцам надо было быть начеку и держать порох сухим, тем более что поблизости от Лауды не было гетманов; оба они находились в непосредственной близости от вражеских войск и, хоть немного могли сделать, все же беспокоили их, высылая конные разъезды и задерживая доступ в еще не захваченные воеводства. Снискивая себе славу, Павел Сапега давал отпор врагу независимо от гетманов. Януш Радзивилл, прославленный воитель, одно имя которого до поражения под Шкловом внушало страх врагам, добился даже значительных успехов. Госевский то сражался с врагом, то вступал с ним в переговоры, сдерживая таким образом его натиск. Зная, что с наступлением весны война разгорится с новой силой, оба военачальника стягивали войска с зимних квартир, собирали людей, где только могли. Однако войск было мало, казна пуста, а созвать в захваченных воеводствах шляхетское ополчение было невозможно, так как этому препятствовал враг. «Перед шкловским делом надо было об этом подумать, — говорили сторонники Госевского, — теперь слишком поздно». И в самом деле, было слишком поздно. Коронные войска не могли прийти на помощь, они были на Украине и вели тяжелые бои против Хмельницкого, Шереметева и

Бутурлина^[34].

Только вести с Украины о героических сражениях, о захваченных городах и небывалых походах воодушевляли людей, совсем павших духом, поднимали их на оборону. Громкой славой были овеяны имена коронных гетманов, рядом с ними людская молва все чаще повторяла имя пана Стефана Чарнецкого^[35]; но слава не могла заменить ни войско, ни подмогу, а потому гетманы литовские медленно отступали, не прекращая в пути распрей между собою.

Наконец Радзивилл пришел в Жмудь. С ним в Лауданскую землю вернулось на время спокойствие. Только кальвинисты, осмелев от близости своего вождя, поднимали головы в городах, нанося обиды католикам и нападая на костелы; зато атаманы всяких ватаг и шаек, набранных бог весть из кого, укрылись теперь в леса, распустили своих разбойников, которые, действуя якобы под знаменами Радзивилла, Госевского или Сапег, разорали край, и мирные люди вздохнули с облегчением.

От отчаяния к надежде один шаг, вот и на берегах Лауды все вдруг повеселели. Панна Александра спокойно жила в Водоктах. Пан Володыёвский, который все еще гостил в Пацунелях и к этому времени начал уже поправляться, распространял слух, что весной придет король с наемными хоругвями и война примет тогда совсем иной оборот. Шляхта ободрилась и стала выходить с плугами на поля. Снег стаял, и на березах показались первые почки. Широко разлилась Лауда. Прояснившееся небо синело над окрестностями. Люди воспрянули духом.

Но вскоре произошло событие, которое снова нарушило лауданскую тишину, заставило оторвать руки от лемехов и не дало саблям покрыться пламенем ржавчины.

ГЛАВА VII

Пан Володыёвский, славный и искушенный воитель, хоть и молодой еще человек, гостил, как уже было сказано, в Пацунелях у Пакоша Гаштовта, местного патриарха, который слыл самым богатым шляхтичем среди всей мелкопоместной лауданской братии. Трех дочерей он выдал замуж за Бутрымов и приданого отвалил им по сотне талеров каждой чистым серебром, не считая всякого добра и такой богатой одежды, какой не сыщешь и у иной родовитой шляхтянки. Остальные три дочери были еще девушки, они-то и ухаживали за паном Володыёвским, у которого рука то совсем поправлялась, то к ненастью снова мертвела. Эта рука была предметом забот всех лауданцев, ибо они видели ее за работой под Шкловом и Шепелевичами и единодушно считали, что лучшей не сыскать во всей Литве. Все застянки окружили молодого полковника небывалым почетом. Гаштовты, Домашевичи, Гостевичи, Стакьяны, а с ними и вся прочая шляхта постоянно посылали в Пацунели рыбу, грибы и дичь, сено для лошадей и смолу для повозок, чтобы рыцарь и его люди ни в чем не терпели нужды. Всякий раз, когда пану Володыёвскому становилось хуже, шляхтичи вперегонки скакали в Поневеж за цирюльником, — словом, все старались превзойти друг друга в услужливости.

Вольготное это было житье, и пан Володыёвский и не думал уезжать из Пацунелей, хоть в Кейданах и поудобней было бы, да и знаменитый лекарь являлся бы по первому зову. А уж старый Гаштовт так возвысился в глазах всех лауданцев, когда оказал гостеприимство молодому полковнику, что готов был расшибиться в лепешку, только бы угодить столь именитому гостю, которого и сам Радзивилл почел бы за честь принять в своем доме.

После разгрома и изгнания Кмицица шляхта, которой очень полюбился пан Володыёвский, надумала женить его на панне Александре. «Что это нам искать ей мужа по свету! — толковали старики, собравшись для того, чтобы обсудить это дело. — Тот изменник так себя замарал недостойными делами, что, коли он и жив, его надо отдать заплечному мастеру, а раз так, то и девушка должна выбросить его из сердца вон; это и в завещании особо оговорил подкоморий. Пусть выходит за пана Володыёвского. Как опекуны, мы можем дать на то свое согласие, вот и получит она достойного супруга, а мы доброго соседа и предводителя».

Приняв единодушно это решение, старики отправились сперва к пану Володыёвскому, который, не долго думая, дал свое согласие, а потом к

«паненке», которая, ни минуты не думая, решительно этому воспротивилась. «Любичем, — сказала она, — один только покойник имел право распорядиться, и отнять поместье у пана Кмицица можно только тогда, когда его присудят к смертной казни; что ж до замужества, то я и слушать об этом не хочу. Так я измучилась, что о замужестве не могу и помыслить. Того я выбросила из головы, а этого, будь он хоть самый достойный жених, и не привозите, все равно я к нему не выйду».

Что было сказать на такой решительный отказ, — отправилась разогорченная шляхта восвояси; пан Володыёвский особенно не огорчился, ну, а молодые дочери Гаштовта, Терка, Марыська и Зоня, и подавно. Рослые это были и румяные девушки с льняными косами, с глазами как незабудки и широкими спинами. Пацунельки все слыли красавицами: когда стайкой шли в костел, ну прямо тебе цветы на лугу! А эти три были самыми красивыми; к тому же старый Гаштовт не жалел денег и на ученье. Органист из Митрун научил их читать, петь божественные песни, а старшую, Терку, и на лютне играть. Девушки они были добросердечные и нежно заботились о пане Володыёвском, стараясь превзойти друг дружку в чуткости и усердии. О Марыське говорили, что она влюблена в молодого рыцаря; это была правда, да только наполовину, потому что не одна Марыська, а все три сестры были влюблены в него по уши. Они ему тоже очень нравились, особенно Марыська и Зоня, Терка, та уж больно жаловалась на мужскую неверность.

Не раз, бывало, в длинные зимние вечера, когда старый Гаштовт, выпив горячего медку, отправлялся на боковую, девушки усаживались с паном Володыёвским у очага: недоверчивая Терка прядет, бывало, пряжу, милая Марыся перья щиплет, а Зоня наматывает на мотовило пряжу с веретен. Только когда пан Володыёвский начнет рассказывать о походах, в которых он побывал, о диковинах, которых он навидался при различных магнатских дворах, работа остановится, девушки глаз с него не сводят и то одна, то другая вскрикивают в изумлении: «Ах, милочки мои, я умереть готова!» — а другая подхватывает: «Во всю ночь глаз не сомкну!»

По мере того как пан Володыёвский поправлялся и начинал уже по временам свободно орудовать саблей, он становился все веселей и с еще большей охотой рассказывал всякие истории. Однажды вечером уселись они, по обыкновению, у очага, от которого яркий свет падал на всю комнату, и сразу стали препираться. Девушки требовали, чтобы пан Володыёвский рассказал что-нибудь, а он просил Терку спеть ему что-нибудь под лютню.

— Сам, пан Михал, спой! — говорила Терка, отталкивая лютню,

которую протягивал ей пан Володыёвский. — У меня работа. Ты видал свету и, наверно, выучился всяким песням.

— Как не выучиться, выучился. Ин, быть по-вашему: сегодня я сперва спою, а потом ты, панна Терка. Работа не уйдет. Небось девушка бы тебя попросила, так ты бы спела, а кавалерам всегда отказ.

— Так им и надо.

— Неужели ты и меня так презираешь?

— Ну вот еще! Пой уж, пан Михал.

Пан Володыёвский забренчал на лютне, соорудил потешную мину и запел фальшивым голосом:

Вот в каком живу я месте,
Ни одной не люб невесте!..

— Вот уж и неправда! — прервала его Марыся, покрасневшись, как вишенка.

— Это солдатская песенка, — сказал пан Володыёвский. — Мы ее на постое певали, чтоб какая-нибудь добрая душа над нами сжалилась.

— Я бы первая сжалилась.

— Спасибо, панна Марыся. Коли так, незачем мне больше петь, отдаю лютню в более достойные руки.

Терка на этот раз не оттолкнула лютни, ее растрогала песня пана Володыёвского, хоть на самом-то деле в этой песне было больше лукавства, чем правды; девушка тотчас ударила по струнам и, сложив губы сердечком, запела:

Ты бузину не рви в лесу,
Не верь ты хлопцу, злому псу!
«Люблю!» — тебе он знай поет,
А ты не слушай, все он врет!

Пана Володыёвского эта песня так распотешила, что он от веселья даже за бока ухватился.

— Неужто все хлопцы изменники? Ну, а как же военные?

Терка еще больше поджала губы и с удвоенной силой пропела:

Еще хуже псы, еще хуже псы!

— Да не обращай ты, пан Михал, на нее внимания, она всегда такая, — сказала Марыся.

— Как же мне не обращать внимания, — возразил пан Володыёвский, — если она обо всем военном сословии такое сказала, что я со стыда готов сквозь землю провалиться.

— Ведь вот какой ты, пан Михал: хочешь, чтобы я тебе пела, а потом сам надо мной подтруниваешь да подсмеиваешься, — надулась Терка.

— Я про пение ничего не говорю, я про жестокие слова о нас, военных людях, — возразил рыцарь. — Что до пения, так, признаюсь, я и в Варшаве не слыхивал таких чудных трелей. Надеть на тебя, панна Терка, штанишки, и ты могла бы петь в костеле Святого Яна. Это кафедральный собор, у короля с королевой там свой клирос.

— А зачем же штанишки надевать? — спросила самая младшая, Зоня, которой любопытно было послушать про Варшаву и короля с королевой.

— Да ведь там девушки не поют в хоре, только мужчины да мальчишки: одни такими толстыми голосами, что никакой тур так не зарычит, а другие так тоненько, что и на скрипке тоньше нельзя. Я их много раз слыхал, когда мы с нашим великим и незабвенным воеводой русским^[196] приезжали на выборы нынешнего нашего всемилостивейшего короля. Истинное это чудо, прямо душа возносится к небу! Множество там музыкантов: и Форстер, который знаменит своими тонкими трелями, и Капула, и Джан Батиста, и Элерт, который лучше всех играет на лютне, и Марек, и Мильчевский, который сам сочиняет очень хорошие песни. Как грянут все они разом в соборе, так будто хоры серафимов наяву услышишь.

— Правда, истинный бог, правда! — сложив руки, сказала Марыся.

— Короля ты часто видал, пан Михал? — спросила Зоня.

— Так с ним беседовал, как сейчас вот с тобою. После битвы под Берестечком он меня обнял. Храбрый он король и такой милостивый, что один только раз увидишь его и тут же непременно полюбишь.

— Мы и не видевши любим его! А неужто он всегда корону на голове носит?

— Да зачем же ему каждый день в короне ходить! Голова-то у него не железная! Корона лежит себе в соборе, отчего и почету ей больше, а король носит черную шляпу, осыпанную брильянтами, от которых блеск идет на весь замок...

— Толкуют, будто королевский замок еще пышней, чем в Кейданах?

— В Кейданах? Да кейданский замок против королевского гроша не

стоит! Высокий это дом, весь из камня выложен, дерева там и не увидишь. Кругом в два ряда покои идут, один другого краше. В покоях всякие сражения и победы на стенах расписаны. Тут и Сигизмунда Третьего дела, и Владислава; глядишь на них и не нагядишься, все там как живое, чудно даже, что никто не шевелится, что бьются люди, а не кричат. Но уж такого никто написать не сумеет, даже самый лучший живописец. Некоторые комнаты сплошь из золота; стулья и лавки виссоном или парчой обиты, столы из мрамора да алебаstra, а уж сундуков, шкатулок, часов, которые день и ночь время показывают, так и на воловьей коже всего не перепишешь. А по покоям король с королевой гуляют, на богатство свое любуются, а вечером у них театры для пущей потехи...

— Что же это за театры такие?

— Как бы это вам объяснить... Это такое место, где комедийное действие показывают да искусные итальянские пляски. Большой такой покой, прямо тебе как костел, и весь он в красивых столпах. По одну сторону смотрельщики сидят, что на диво хотят поглядеть, а по другую стоят комедиантские снасти. Одни поднимаются и опускаются, другие вертятся на гайках в разные стороны; то темноту и тучи показывают, то приятную ясность; наверху небо с солнцем или со звездами, а внизу, случается, и страшное пекло увидишь...

— Иисусе Христе! — вскричали девушки.

— ...с чертями. Иной раз море без конца и края, а на нем корабли да сирены. Одни лицедеи с неба спускаются, другие из-под земли выходят.

— Вот уж пекло я бы не хотела увидеть! — воскликнула Зоня. — Странно мне это, что люди не бегут от такой страсти.

— Не только не бегут, а еще в ладоши хлопают от утехи, — возразил пан Володыёвский, — все ведь это не взаправду, одно лицедейство, перекрестись, а оно не пропадет. Нет во всем этом нечистой силы, одна только людская хитрость. Туда даже епископы ходят с королем и королевой и всякие вельможи, а после представления король с ними со всеми садится за стол попировать перед сном.

— А с утра и днем что они делают?

— А что кому вздумается. Утром, вставши, купаются. Комната есть там такая, где пола нету, а только оловянная яма блестит, как серебро, а в этой яме вода.

— Вода в комнате? Слыхано ли дело?

— Да! И прибывает она или убывает, это как тебе захочется; может она быть и теплая и вовсе холодная, трубы там такие с затворами, вот по этим трубам она и течет. Отверни затвор, и нальется ее столько, что плавать

можно, как в озере... Ни у одного короля нет такого замка, как у нашего повелителя, все это знают, и послы иноземные то же говорят; и никто не властвует над таким честным народом, как он; всякие достойные нации есть на свете, но только нашу бог в милосердии своем особо приукрасил.

— Счастливец наш король, — вздохнула Терка.

— Да уж верно был бы он счастливец, когда бы не дела державные, когда бы не войны неудачные, которые раздирают Речь Посполитую за грехи наши да несогласия. Все это на плечах короля, а на сеймах ему еще выговаривают за наши провинности. А чем же он виноват, что его не хотят слушать? Тяжкая година пришла для нашей отчизны, такая тяжкая, что еще такой не бывало. Самый слабый враг нас уже ни во что не ставит, а ведь мы еще недавно успешно воевали с турецким султаном. Так бог карает гордыню. Рука у меня, благодарение создателю, уже легко ходит в суставах, пора, пора встать на защиту дорогой отчизны, пора отправляться в поход. Грех в такое время бить баклуши.

— Ты, пан Михал, об отъезде и не заикайся.

— Ничего не поделаешь. Хорошо мне тут с вами, но чем лучше, тем тяжелей. Пусть там мудрецы на сеймах рядят, судят, а солдат рвется в поход. Покуда жив, служи. После смерти бог, который взирает на нас с небес, щедрей всего наградит тех, кто не ради чинов служит, а ради любви к отчизне... Похоже, что таких становится все меньше, оттого-то и пришла на нас черная година.

На глазах Марыси выступили слезы, повисли на ресницах и потекли вдруг по румяным щекам.

— Уйдешь, пан Михал, и забудешь нас, а мы тут с тоски высохнем. Кто же нас от врагов оборонит?

— Уеду, но век буду за вас бога молить. Редко встретишь таких хороших людей, как в Пацунелях!.. А вы всё Кмицица боитесь?

— Как же не бояться! Матери детей пугают им, как вурдалаком.

— Не воротится он больше сюда, а и воротится, не будет с ним этих своевольников, которые, как люди толкуют, были хуже его. Жаль, что такой добрый солдат так себя опозорил, потерял и славу и богатство.

— И невесту.

— И невесту. Много о ней хорошего рассказывают.

— Она, бедняжка, теперь по целым дням все плачет да плачет...

— Гм! — сказал пан Володыёвский. — Ведь не о Кмицице она плачет?

— Кто его знает! — ответила Марыся.

— Тем хуже для нее, он ведь уже не воротится: пан гетман часть лауданцев отослал домой, так что войско теперь есть. Мы бы его без суда

на месте зарубили. Он, наверно, знает, что лауданцы воротились, так что носа сюда не покажет.

— Наши, сдается, должны опять отправиться в поход, — сказала Терка, — их ненадолго отпустили по домам.

— Э! — протянул пан Володыёвский. — Это гетман их отпустил, потому что в казне денег нет. Плохо дело! Люди вот как нужны, а их приходится по домам отпускать... Однако пора и на боковую, спокойной ночи! Смотрите, чтобы какой-нибудь Кмициц не приснился с огненным мечом.

С этими словами Володыёвский поднялся с лавки и собрался уже совсем уходить; но не успел он сделать и шага к своей боковуше, как в сенях поднялся шум и чей-то голос пронзительно закричал за дверью:

— Эй, там! Отоприте скорей ради Христа, поскорее!

Девушки перепугались насмерть; Володыёвский побежал в боковушу за саблей; но пока он вернулся, Терка уже отодвинула засов, и в дом вбежал неизвестный и бросился прямо к ногам рыцаря:

— Спасите, пан полковник!.. Панну увезли!

— Какую панну?

— Из Водоктов...

— Кмициц! — крикнул Володыёвский.

— Кмициц! — вскричали девушки.

— Кмициц! — повторил гонец.

— Ты кто такой? — спросил Володыёвский.

— Управитель из Водоктов.

— Мы его знаем! — сказала Терка. — Он для твоей милости териак возил.

Но тут из-за печи вылез сонный Гаштовт, а в дверях показались двое стремянных Володыёвского, которых привлек шум в комнате.

— Седлать коней! — крикнул Володыёвский. — Один скачи к Бутрымам, другой подавай коня!

— У Бутрымов я уже был, — сказал управитель, — туда ближе всего. Они послали меня к твоей милости.

— Когда панну увезли? — спросил Володыёвский.

— Только что. Там еще режут челядь... Я схватил коня...

Старый Гаштовт протер глаза.

— Что? Панну увезли?

— Да! Кмициц увез! — ответил Володыёвский. — Едем на помощь! —

Он повернулся к гонцу: — Скачи к Домашевичам, пусть с ружьями идут!

— А нуте, козы! — крикнул вдруг старик на дочек. — Нуте, козы, и вы

мигом в деревню, шляхту будить, пусть беретса за сабли! Кмициц панну увез! Господи помилуй, да что это такое? Ах, разбойник! Ах, смутьян!

— Надо и нам людей будить, — сказал Володыёвский. — Так будет скорее. Идем, пан Гаштовт! Кони, я слышу, уж тут.

Через минуту они вскочили на коней, с ними двое стремянных: Огарек и Сыруц. Все они поскакали по дороге между хатами застянка, стуча в двери с неистовым криком:

— За сабли! За сабли! Панну увезли из Водоктов, Кмициц объявился!

Услышав этот крик, люди выбегали из хат поглядеть, что случилось, а поняв, в чем дело, сами начинали вопить: «Кмициц объявился! Панну увез!» — и опрометью кидались в конюшню, чтобы оседлать коня, или в хату, чтобы в темноте нашарить на стене саблю. Все больше голосов кричало: «Кмициц объявился!» — суматоха поднялась в застянке, засветились огни, раздался плач женщин, лай собак. Наконец шляхта высыпала на дорогу, часть верхами, часть пеша. Над головами людей поблескивали сабли, пики, рогатины, даже железные вилы.

Володыёвский окинул взглядом отряд, тут же разослал человек двадцать в разные концы, а сам с остальными двинулся вперед.

Всадники ехали впереди, пешие следовали за ними, все направлялись в Волмонтовичи на соединение с Бутрымами. Был десятый час, ночь стояла ясная, хотя луна еще не взошла. Шляхтичи, которых великий гетман недавно отпустил с войны, тотчас построились в шеренги; пешие шли нестройными рядами, бряцая оружием, переговариваясь и громко зевая, а порой посылая проклятия вражьему сыну Кмицицу, который не дал им выспаться всласть. Так дошли они до Волмонтовичей, где навстречу им выехал вооруженный отряд.

— Стой! Кто едет? — раздались голоса из отряда.

— Гаштовты!

— Мы — Бутрымы. Домашевичи уже здесь.

— Кто у вас начальник? — спросил Володыёвский.

— Я, пан полковник, Юзва Безногий.

— Вестей нет?

— Он ее в Любич увез. По болотам проехал, чтобы миновать Волмонтовичи.

— В Любич? — с удивлением переспросил Володыёвский. — Что же, он думает там обороняться? Ведь Любич не крепость?

— Видно, верит в свою силу. Сотни две людей с ним. Наверно, и имущество хочет забрать из Любича: повозки у них с собою и много неоседланных лошадей. Должно быть, не знает, что наши вернулись из

войска, — уж очень смело действует.

— Вот и отлично! — сказал Володыёвский. — Он от нас не уйдет. Сколько у вас ружей?

— У нас, Бутрымов, десятка три, да у Домашевичей раза в два больше.

— Хорошо. Возьмите полсотни людей с ружьями и поезжайте стеречь проходы на болотах — да поживей! Остальные пойдут со мною. Про топоры не забудьте!

— Слушаюсь!

Поднялось движение; небольшой отряд под командой Юзвы Безногого двинулся трусцей к болотам.

Тем временем подъехало человек двадцать Бутрымов, которые были посланы к другим шляхтичам.

— Гостевичей не видать? — спросил Володыёвский.

— Ах, это ты, пан полковник! Слава богу! — воскликнули вновь прибывшие. — Гостевичи уже идут... в лесу слышно. Ты знаешь, пан полковник, он ведь ее в Любич увез!

— Знаю! Недалеко он с нею уедет.

Кмициц и в самом деле не принял в соображение одной опасной стороны своего дерзкого предприятия: он не знал, что много шляхтичей вернулось домой. Он думал, что застянки пусты, как было во время его первого приезда в Любич, а Володыёвский вместе с Гостевичами мог выставить теперь против него даже без Стакьянов, которые не могли приехать вовремя, отряд чуть не в триста сабель, притом людей обученных и привычных к бою.

Все больше шляхты прибывало в Волмонтовичи. Явились наконец и долгожданные Гостевичи. Володыёвский построил отряд, и сердце у него возрадовалось, когда он увидел, как легко и ловко стали люди в строй. С первого взгляда было видно, что это не беспорядочная куча шляхтичей, а солдаты. Володыёвский еще больше обрадовался, когда подумал, что вскоре он поведет их гораздо дальше.

Рысью понеслись они в Любич через тот самый бор, по которому когда-то каждый день скакал Кмициц. Луна выплыла наконец на небо и осветила лес, дорогу и едущих всадников; бледные лучи ее сверкнули на остриях пик, отразились в блестящих саблях. Шляхтичи шепотом вели разговор о чрезвычайном происшествии, поднявшем их с постелей.

— Ходили тут всякие люди, — толковал один из Домашевичей. — Мы думали, беглецы, а это, наверно, были его лазутчики.

— Да, да. В Водокты каждый день захаживали чужие нищие, будто за подаванием, — прибавил другой.

— А что за солдаты у Кмицица?

— Челядь из Водоктов говорит, будто казаки. Верно, Кмициц с Хованским снюхался либо с Золотаренко. Был разбойником, а теперь уж стал заведомым изменником.

— Как же он мог завести так далеко казаков?

— С такой большой ватагой нелегко пробраться. Любая наша хоругвь задержала бы его по дороге.

— Первое дело, он мог лесами идти, а потом мало ли тут разъезжает панов с надворными казаками? Кто их там отличит от врагов; спросишь, а они говорят, мы, мол, надворные казаки.

— Он будет защищаться, — говорил один из Гостевичей, — человек он храбрый и решительный, но только наш полковник с ним справится.

— Бутрымы тоже поклялись не выпустить его живым, хоть бы пришлось всем сложить головы. Страх как они злы на него.

— Ба! Да если мы его зарубим, на ком будем обиды искать? Лучше уж живьем захватить и отдать под суд.

— Где уж там думать о судах, когда все голову потеряли! Слыхали ль вы, что люди толкуют, будто и шведы могут начать войну?

— Господи, спаси и сохрани! Московская держава и Хмельницкий! Одних только шведов не хватает, конец тогда Речи Посполитой.

Но тут Володыёвский, ехавший впереди, повернулся и сказал:

— Тише там!

Шляхта примолкла, уже завиднелся Любич. Через четверть часа отряд был недалеко от усадьбы. Все окна пылали огнями, свет озарял весь двор, наполненный вооруженными людьми и лошадьми. Нигде никакой стражи, никаких мер предосторожности, — видно, Кмициц был очень уверен в своих силах. Подъехав еще ближе, Володыёвский с первого же взгляда узнал казаков, с которыми ему столько пришлось повоевать еще при жизни великого Иеремии, да и потом у Радзивилла.

— Коли это чужие казаки, — пробормотал он про себя, — то этот смутьян перешел всякие границы!

Остановив весь отряд, он стал присматриваться. Во дворе царила страшная суматоха. Одни казаки светили, держа в руках факелы, другие сновали взад и вперед, вынося из дому вещи и укладывая на телеги мешки; те выводили лошадей из конюшен, те — скотину из хлевов; со всех сторон неслись приказы и окрики. При свете факелов казалось, что это арендатор на святого Яна переезжает в новое имение.

Кшиштоф Домашевич, старший в семье Домашевичей, подъехал к Володыёвскому.

— Пан полковник, — сказал он, — они хотят весь Любич уложить на телеги.

— Ни Любича они не увезут, — ответил Володыёвский, — ни шкуры своей не спасут. Однако я не узнаю Кмицица, он ведь бывалый солдат. Никакой стражи!

— Силы у него немало, поболее трех сотен наберется. Не воротись мы из войска, так он бы среди бела дня проехал с телегами через все застьянки.

— Ну, ладно! — сказал Володыёвский. — К усадьбе ведет только одна эта дорога?

— Да, одна эта, на задах пруды да болота.

— Это хорошо! С коней!

Подчиняясь приказу, шляхтичи мгновенно спешили, затем сомкнули ряды и длинной цепью стали окружать дом вместе с постройками.

Володыёвский вместе с главным отрядом направился прямо к воротам.

— Ждать команды! — сказал он вполголоса. — Без приказа не стрелять!

С полсотни шагов отделяли шляхтичей от ворот, когда их заметили наконец со двора. Десятка два казаков тотчас подбежали к забору и, перегнувшись через него, стали пристально всматриваться в темноту.

— Эй, что за люди?

— Стой! — крикнул Володыёвский. — Огонь!

Внезапно раздался залп из всех ружей, какие только были у шляхты; но не успело эхо залпа отдаться от строений, как снова раздался голос Володыёвского:

— Вперед!

— Бей их! — закричали лауданцы, ринувшись лавиной вперед.

Казаки ответили выстрелами; но у них уже не осталось времени, чтобы перезарядить ружья. Толпа вооруженных шляхтичей нажала на ворота, которые тут же повалились под их могучим натиском. Закипел бой во дворе, среди телег, лошадей, мешков. Впереди стеной ломили богатыри Бутрымы, самые страшные в рукопашном бою и самые заклятые враги Кмицица. Они шли, как стадо вепрей идет сквозь молодую поросль, круша, топча, увеча и отчаянно рубя; за ними валили Домашевичи и Гостевичи.

Люди Кмицица стойко отбивались, укрываясь за повозками и мешками, они открыли огонь из всех окон дома и с крыши; но выстрелы били редкие, так как факелы были затоптаны и погасли, и стало трудно отличить своих от врагов. Через минуту казаков оттеснили к дому и конюшням; слышались мольбы о пощаде. Шляхтичи торжествовали.

Но когда они остались во дворе одни, тотчас усилился огонь из дома.

Все окна оцетинились дулами мушкетов, и на отряд посыпался град пуль. Большая часть казаков укрылась в доме.

— К дому! Под двери! — крикнул Володыёвский.

В самом деле, пули, посланные из дома и с крыши, у самых стен не могли нанести шляхте урона. Однако положение осаждающих было тяжелым. О штурме дома через окна не могло быть и речи, там их встретили бы выстрелами в упор, поэтому Володыёвский приказал рубить дверь.

Но и это оказалось делом нелегким, так как не дверь это была, а настоящие кованые ворота, сбитые из дубовых крестовин огромными гвоздями, насаженными так плотно, что топоры щербились об могучие шляпки, не доставая до дерева. Силачи то и дело пробовали высадить дверь плечом — все было тщетно! Изнутри она была заложена железными засовами и, кроме того, приперта кольями. И все же Бутрымы яростно продолжали рубить. Двери, ведущие в кухню и сокровищницу, штурмовали Домашевичи и Гостевичи.

Целый час тщетно садили люди топорами, — пришлось их сменить. Некоторые крестовины выпали; но на их месте показались дула мушкетов. Снова грянули выстрелы. Двое Бутрымов рухнули наземь с простреленной грудью. Но остальные не пришли в замешательство, напротив, стали рубить с еще большей яростью.

По приказу Володыёвского проломы заткнули свернутыми в узлы кафтанами. В ту же минуту со стороны дороги долетел новый крик, — это на помощь братьям прибыли Стакьяны, а вслед за ними вооруженные люди из Водоктов.

Прибытие новой подмоги, видно, испугало осажденных, потому что за дверью чей-то громкий голос крикнул:

— Стой там! Не руби! Послушай!.. Стой же, черт бы тебя побрал! Давай поговорим.

Володыёвский велел прервать работу.

— Кто говорит? — спросил он.

— Хорунжий оршанский Кмициц! — прозвучал ответ. — С кем я говорю?

— Полковник Михал Ежи Володыёвский.

— Здорово! — раздался голос из-за двери.

— Не время здороваться. Что угодно?

— Это мне надо тебя спросить: что тебе угодно? Ты меня не знаешь, я тебя тоже... так за что же ты на меня напал?

— Изменник! — крикнул Володыёвский. — Со мной лауданцы, они с

войны воротились, это у них с тобой счеты и за разбой, и за невинно пролитую кровь, и за девушку, которую ты увез! Знаешь ли ты, что такое *raptus puellae*?^[36] Ты за это заплатишься головой!

На минуту воцарилось молчание.

— Не назвал бы ты меня еще раз изменником, — снова заговорил Кмициц, — когда бы нас не разделяла дверь.

— Так отвори ее... я тебе не возражаю!

— Сперва еще не один лауданский пес ногами накроется. Вы меня живым не возьмете.

— Так издохнешь, и вытащим за голову! Нам все едино!

— Ты вот послушай, что я тебе скажу, и заруби себе это на лбу. Не оставите вы нас в покое, так есть у меня тут бочонок пороху, и фитилек уж тлеет: взорву дом, всех, кто только тут есть, и себя заодно... Клянусь тебе в этом! Можете теперь меня брать!

На этот раз молчание было еще дольше. Володыёвский не знал, что ответить. Шляхта в ужасе стала переглядываться. В словах Кмицица звучала такая дикая сила, что все поверили его угрозе. От одной искры все труды могли пойти прахом, и панна Биллевич могла быть потеряна навеки.

— Господи! — пробормотал кто-то из Бутрымов. — Да он безумец! Он может это сделать.

Внезапно Володыёвского осенила счастливая, как ему показалось, мысль.

— Есть другое средство! — крикнул он. — Выходи, изменник, рубиться со мной на саблях! Уложишь меня, уедешь отсюда, и никто не станет чинить тебе препятствий.

Некоторое время ответа не было. Сердца лауданцев тревожно бились.

— На саблях? — спросил Кмициц. — Да может ли это быть!

— Не спразднуешь труса, так будет!

— Слово рыцаря, что уеду тогда без помехи?

— Слово рыцаря!

— Не бывать этому! — раздались голоса в толпе Бутрымов.

— Эй, тише там, чтоб вас черт побрал! — крикнул Володыёвский. — Не хотите, так пусть вас и себя взорвет порохом.

Бутрымы умолкли, через минуту один из них сказал:

— Быть по-твоему, пан полковник!..

— А как там сермяжнички? — с насмешкой спросил Кмициц. — Соглашаются?

— Хочешь, так на мечях поклянутся.

— Пусть клянутся!

— Сюда, сюда, ко мне! — крикнул Володыёвский шляхтичам, стоявшим у стен вокруг всего дома.

Через минуту все собрались у главного входа, и весть о том, что Кмициц хочет взорвать себя порохом, тотчас разнеслась в толпе. От ужаса все оцепенели; тем временем Володыёвский повысил голос и сказал в гробовой тишине:

— Всех, кто здесь присутствует, беру в свидетели, что я вызвал пана Кмицица, хорунжего оршанского, на поединок и дал ему клятву, что коли он меня уложит, то уедет отсюда без помехи и никто ему не станет чинить препятствий, в чем и поклянитесь все ему на рукоятях мечей именем бога всевышнего и святого креста...

— Погодите! — крикнул Кмициц. — Уеду без помехи со всеми людьми и панну с собой возьму.

— Панна здесь останется, а люди пойдут к шляхте в неволю.

— Не бывать этому!

— Тогда взрывай себя порохом! Мы уже панну оплакали, а что до людей, так ты их спроси, чего они хотят...

Снова воцарилась тишина.

— Быть по-вашему! — сказал через минуту Кмициц. — Не сегодня, так через месяц я все едино ее увезу. И под землей ее от меня не спрячете! Клянитесь!

— Клянемся богом всевышним и святым крестом. Аминь!

— Ну, выходи, выходи же, пан! — сказал Володыёвский.

— На тот свет очень торопишься?

— Ладно уж, ладно, только выходи поскорей!

Лязгнули железные засовы, державшие дверь изнутри. Чтобы освободить место, Володыёвский, а с ним и вся шляхта отошла назад. Вскоре дверь отворилась, и в проеме показался пан Анджей, рослый и стройный, как тополь. Заря уже брезжила, и первые робкие лучи дня падали на его лицо, гордое, мужественное, молодое. Он встал в дверях, смело оглядел толпу шляхтичей и сказал:

— Я доверился вам... Бог знает, хорошо ли я поступил, однако не будем говорить об этом!.. Кто из вас пан Володыёвский?

Маленький полковник выступил вперед.

— Я! — ответил он.

— Эге! Да ты, я вижу, не больно велик, — сказал Кмициц, подсмеиваясь над ростом рыцаря. — Я думал, ты поосанистей, а впрочем, должен признать, что солдат ты, видно, бывалый.

— Не могу сказать этого о тебе, забыл ты совсем о страже. Коли и

рубака из тебя такой, как начальник, немного мне придется потрудиться.

— Где будем драться? — с живостью спросил Кмициц.

— Здесь. Двор, как скатерть, ровный.

— Согласен. Готовься к смерти!

— Так ты уверен в себе?

— Видно, ты в Оршанщине не бывал, коль сомневаешься в этом. Я не только уверен в себе, но и жаль мне тебя. Много я о тебе наслышан как о славном рыцаре. Потому в последний раз говорю: оставь меня! Мы друг друга не знаем, зачем же нам друг другу поперек дороги становиться? Чего ты меня преследуешь? Девушка мне по духовной принадлежит, как и это поместье, и — бог свидетель! — я только своего добиваюсь. Это правда, что я порубил в Волмонтовичах шляхту; но пусть бог рассудит, кто первый понес тогда обиду. Своевольничали иль нет мои офицеры, мы про то говорить не будем, довольно того, что никому они здесь зла не причинили, а перебили их всех, как собак, только за то, что они хотели поплясать с девушками в корчме. Так пусть уж будет кровь за кровь! Потом мне и солдат порубили. Клянусь богом, не таил я злого умысла, когда приехал в ваш край, а как меня приняли здесь?.. Но пусть уж будет обида за обиду. Я и своего прибавлю, вознагражу за обиды... По-добрсоседски. По мне, лучше так...

— А что это за люди пришли теперь с тобой? Откуда ты взял этих помощников? — спросил Володыёвский.

— Откуда взял, оттуда и взял. Я их привел не против отчизны биться, а помочь мне в моем приватном деле.

— Вот ты каков? Стало быть, ради приватного дела ты спознался с врагами? А чем же ты им за услугу заплатишь, коль не изменой? Нет, братец, не помешал бы я тебе с шляхтой договориться, но кликнуть врага на помощь — это дело совсем другое. Ты у меня не отвертишься. Становись же, становись, знаю я, что ты труса празднуешь, хоть и бахвалишься, что ты знаменитый оршанский рубака.

— Ты сам этого хотел! — сказал Кмициц, становясь в позицию.

Но Володыёвский не торопился; не вынимая сабли из ножен, он окинул взором небо. На востоке зазолотилась, заголубела по окоему первая светлая полоска, но сумрачно было еще на дворе, а подле дома царила непроглядная тьма.

— Хороший день встает, — сказал Володыёвский, — но солнце взойдет еще не скоро. Не хочешь ли, чтобы нам посветили?

— Мне все едино.

— Нуте-ка, сбегайте за жгутами да лучиной, — обратился

Володыёвский к шляхте. — Будет нам светлее плясать оршанский этот танец.

Шляхта, которая удивительно как ободрилась от шутливых речей молодого полковника, опрометью бросилась в кухню; кое-кто стал подбирать затоптанные во время боя факелы, и через некоторое время с полсотни красных огоньков замерцало в белесом предутреннем сумраке. Володыёвский показал на них саблей Кмицицу:

— Глянь-ка, пан, прямо тебе погребальное шествие!

Кмициц не замедлил с ответом:

— Полковника хоронят, как же без помпы, нельзя!

— Не человек ты, пан, змея лютая!

Шляхта между тем в молчании стала в круг и подняла зажженные факелы, позади круга расположились остальные; все были охвачены страхом и любопытством; в середине круга противники мерили друг друга глазами. Тишина воцарилась мертвая, только пепел с факелов осыпался с шорохом на землю. Володыёвский весел был, как щегол в ясное утро.

— Начинай, пан! — сказал Кмициц.

Первый звук удара эхом отозвался в сердцах всех зрителей; Володыёвский ткнул саблей словно бы нехотя, Кмициц отразил удар и тоже кольнул, Володыёвский, в свою очередь, отразил удар. Сухой лязг сабель становился все чаще. Все затаили дыхание. Кмициц нападал с яростью, Володыёвский заложил назад левую руку и стоял спокойно, небрежно делая легкие, почти незаметные выпады; казалось, он хочет только прикрыть себя и вместе с тем пощадить противника; порой он пятился на шаг, порою делал шаг вперед, видно, испытывал, насколько искусен противник. Кмициц горячился, он же был холоден, как мастер, проверяющий ученика, и становился все спокойней. Наконец, к неописуемому изумлению шляхты, он заговорил с противником.

— Давай потолкуем, — сказал он. — И время не будет так долго тянуться... Гм, так это ваш оршанский способ? Видно, вам самим приходится горох молотить, что ты машешь саблей, как цепом... Этак ты совсем вымахался. Неужто ты в Оршанщине и впрямь самый искусный рубака? Этот удар в моде разве только у судейских служак. А этот курляндский, им от собак хорошо отбиваться... Ты, пан, на острие сабли смотри! Не выгибай так руку, а то гляди, что может статься... Подними!

Последнее слово Володыёвский произнес отдельно, в то же мгновение сделал полукруг, потянул на себя руку с саблей, и прежде чем зрители поняли, что означает этот возглас: «Подними!» — сабля Кмицица, точно соскользнувшая с нитки игла, просвистела над головой

Володыёвского и упала у него за спиной.

— Это называется: выбить саблю, — сказал Володыёвский.

Кмициц, бледный, с блуждающими глазами, стоял, пошатываясь, изумленный не меньше лауданской шляхты; а маленький полковник шагнул в сторону и, показав на лежавшую на земле саблю, повторил еще раз:

— Подними!

Минуту казалось, что Кмициц ринется на него безоружный. Он готов уже был прыгнуть, и Володыёвский, прижав рукоять к груди, уже наставил острие. Однако Кмициц бросился за саблей, снова обрушился с нею на своего страшного противника.

Громкий шепот пробежал по кругу зрителей, и круг этот стал еще теснее, а позади него образовались второй и третий. Казаки Кмицица просовывали головы между плечами шляхтичей так, точно всю жизнь жили с ними в полном согласии. Невольные возгласы срывались с уст зрителей; порой раздавался взрыв неудержимого нервного смеха: все узнали мастера над мастерами.

А тот жестоко забавлялся, как кошка с мышкой, и на первый взгляд все небрежней орудовал саблей. Левую руку он сунул теперь в карман своих шаровар. С пеной у рта Кмициц хрипел уже, и наконец из груди его сквозь стиснутые губы с хрипом вырвались слова:

— Кончай!.. Не срами!..

— Ладно! — сказал Володыёвский.

Послышался короткий, страшный свист, затем сдавленный крик, в то же мгновение Кмициц раскинул руки, сабля упала на землю, и он ничком повалился к ногам полковника.

— Жив! — сказал Володыёвский. — Не навзничь упал.

И, отогнув полу жупана Кмицица, он стал вытирать ею саблю.

Шляхтичи вскричали все разом, и в криках их все явственней стали слышаться голоса:

— Добить изменника! Добить его! Зарубить!

Несколько Бутрымов уже бросились было с саблями наголо. Но вдруг произошло нечто удивительное. Володыёвский словно вырос на глазах у всех, сабля выпала из рук ближайшего Бутрыма и полетела вслед за саблей Кмицица, точно ее вихрем подхватило, а Володыёвский крикнул, сверкая взорами:

— Не сметь! Не сметь! Он мой теперь, не ваш! Прочь!

Все умолкли, страшась гнева мужа.

— Не нужна мне тут бойня! — сказал он. — Вы — шляхтичи и должны знать рыцарский обычай: раненых не добивать. Даже с врагами так

не поступают, а что же говорить о противнике, сраженном в поединке!

— Он изменник! — проворчал кто-то из Бутрымов. — Такого следует убить.

— Коль изменник, так надо отдать его пану гетману, чтобы он понес наказание, а пример его стал другим наукой. Да и сказал уж я вам: мой он теперь, не ваш. Коли выживет, вы сможете искать на нем за ваши обиды перед судом и с живого получите больше, чем с мертвого. Кто тут умеет перевязывать раны?

— Кших Домашевич. Он с давних пор перевязывает раны на Лауде.

— Пусть сейчас же его перевяжет, а потом перенесите его на постель, ну, а я пойду успокою несчастную панну.

С этими словами Володыёвский сунул сабельку в ножны и через изрубленную топорами дверь вошел в дом. Шляхта принялась ловить и вязать веревками людей Кмицица, которые отныне должны были стать в застянках пашенными мужиками. Казаки не оказали сопротивления, только человек двадцать выпрыгнули через задние окна дома и бросились к прудам: но там они попали в руки стоявшим на стреме Стакьянам. Шляхта тут же принялась грабить повозки, на которых нашла довольно богатую добычу; кое-кто посоветовал ограбить и дом; но даже наиболее дерзкие поопасались Володыёвского, а быть может, их остановило и присутствие в доме панны Билевич. Своих убитых, среди которых было трое Бутрымов и двое Домашевичей, шляхта положила на повозки, чтобы похоронить похристиански, а для убитых людей Кмицица велено было мужикам вырыть ров позади сада.

В поисках панны Билевич Володыёвский обшарил весь дом, пока не нашел ее наконец в сокровищнице — маленькой угольной комнате, в которую вела из опочивальни низенькая тяжелая дверь. Это была комнатка с узкими оконцами, забранными частой решеткой, и с такими толстыми, сложенными в квадрат каменными стенами, что Володыёвский сразу понял, что она наверняка осталась бы цела, если бы даже Кмициц вздумал взорвать дом. Маленький рыцарь решил, что Кмициц лучше, чем он о нем думал. Панна Александра сидела на сундуке подле двери, опустив голову, и лицо ее было совершенно закрыто распутившимися косами; она не подняла головы и тогда, когда услышала шаги рыцаря. Верно, думала, что это сам Кмициц или кто-нибудь из его людей. Володыёвский остановился в дверях, снял шапку, кашлянул раз, другой, но, видя, что это не помогает, произнес:

— Милостивая панна, ты свободна!..

Тогда из-под распутившихся кос на рыцаря глянули голубые глаза, а

потом показалось прекрасное, хотя и бледное и как бы окаменелое лицо. Володыёвский ожидал бурной радости и благодарностей, а меж тем девушка сидела неподвижно, вперив в него блуждающий взор.

— Очнись же, панна! — повторил еще раз рыцарь. — Бог сжалился над твоей невинностью. Ты свободна и можешь вернуться в Водокты.

На этот раз взгляд панны Билевич не был уже так безучастен. Поднявшись с сундука, она легким движением откинула на спину волосы и спросила:

— Кто ты?

— Михал Володыёвский, драгунский полковник виленского воеводы.

— Я слышала, там бой, выстрелы?.. Говори же...

— Да-да. Мы пришли, чтобы спасти тебя.

Панна Билевич совсем пришла в себя.

— Спасибо тебе, пан! — поспешно сказала она тихим голосом, в котором звучала смертельная тревога. — А с ним что случилось?

— С Кмицицем? Не бойся, он лежит во дворе бездыханный. И, не хвалясь, скажу, что это сделал я.

Володыёвский не без кичливости произнес эти слова; он думал, что девушка придет в восторг, но жестоко обманулся в своих ожиданиях. Ни слова не вымолвив, она покачнулась вдруг и рукой стала искать опоры, пока не опустилась наконец тяжело на тот же сундук, с которого за минуту до этого встала.

Рыцарь бросился к ней.

— Панна, что с тобой?

— Ничего!.. Ничего!.. погоди!.. Позволь... Так пан Кмициц убит?

— Что мне до пана Кмицица, — прервал ее Володыёвский, — когда тебе худо!

К ней внезапно вернулись силы, она снова поднялась и, поглядев ему прямо в глаза, крикнула с гневом, отчаянием и нетерпением:

— Ради всего святого, отвечай: он убит?

— Пан Кмициц ранен, — в изумлении ответил Володыёвский.

— Он жив?

— Жив.

— Хорошо! Спасибо тебе!..

И, все еще пошатываясь, она направилась к двери. Володыёвский постоял с минуту времени, топорща усики и качая головой.

— За что она меня благодарит? — пробормотал он про себя. — За то, что Кмициц ранен, или за то, что он жив?

И вышел вслед за ней. Он застал ее в смежной опочивальне, — словно

окаменев, стояла она посреди комнаты. Четверо шляхтичей как раз вносили Кмищица, двое передних уже показались в дверях, между руками их свесилась до земли бледная голова пана Анджея с закрытыми глазами и сгустками черной крови в волосах.

— Потихоньку! — идя следом за ними, говорил Кших Домашевич. — Потихоньку через порог. Поддержите кто-нибудь голову. Потихоньку!..

— А чем держать, коли руки заняты? — ответили идущие впереди.

В эту минуту к ним подошла панна Александра; бледная, как и Кмищиц, обеими руками подхватила она мертвую голову.

— Это паненка! — сказал Кших Домашевич.

— Это я... осторожней! — ответила она тихим голосом.

Володыёвский смотрел и еще сильнее топорщил усики.

Тем временем Кмищица положили на постель. Кших Домашевич стал обмывать ему голову водой, затем положил на рану заранее приготовленный пластырь и сказал:

— Теперь ему надо только спокойно полежать... Эх, и железная у него голова, коли от такого удара не раскололась надвое. Может, он и выживет, потому молод. Но крепко ему досталось! — Затем он обратился к Оленьке: — Дай, паненка, я тебе ручки вымою! Вот тут вода. Милосердное у тебя сердце, коли ради такого человека не побоялась ты ручки в крови замарать.

С этими словами он стал вытирать ей полотенцем руки, а она на глазах менялась в лице. Володыёвский снова подбежал к ней.

— Нечего тебе, панна, тут делать! Оказала христианское милосердие врагу... а теперь возвращайся домой.

С этими словами он подал ей руку; однако она даже не взглянула на него.

— Пан Кшиштоф, — обратилась она к Кшиху Домашевичу, — уведи меня отсюда!

Они вышли вдвоем; Володыёвский последовал за ними. Во дворе шляхта встретила панну Александру криками: «Виват!» — а она шла, пошатываясь, стиснув губы, бледная и с пылающим взором.

— Да здравствует наша панна! Да здравствует наш полковник! — кричали могучие голоса.

Спустя час лауданцы во главе с Володыёвским возвращались в застанки. Солнце уже взошло, утро встало веселое, по-настоящему весеннее. Лауданцы беспорядочной толпой двигались по большой дороге, толкуя о событиях минувшей ночи и превознося до небес пана Володыёвского, а он ехал задумчивый и молчаливый. Всё не шли у него из ума эти очи, глядевшие на него из-под распутившихся кос, эта статная и

величественная, хоть и поникшая от печали и муки, фигура.

— Чудо как хороша! — бормотал он про себя. — Прямо тебе княжна... Гм!.. Я ей невинность спас, а пожалуй, и жизнь, ведь она бы со страху умерла, когда бы сокровищница и уцелела... Должна бы меня благодарить... Но кто поймет этих женщин... Как на мальчишку-слугу смотрела на меня, не знаю, от гордости или от смущения...

ГЛАВА VIII

Эти мысли не давали ему спать всю следующую ночь. Еще несколько дней он все думал о панне Александре и понял, что она глубоко запала ему в сердце. Ведь лауданская шляхта хотела его женить на ней! Правда, она отказала ему, не раздумывая, но ведь тогда она не знала его и не видала. Теперь совсем другое дело. Он по-рыцарски вырвал ее из рук насильника, хоть и пуля и сабля грозили ему, завоевал ее, просто как крепость... Чья же она, если не его? Может ли она отказать ему, даже если он попросит ее руки? А не попытаться ли? А не удастся ли пробудить в ней любовь из благодарности, как это часто случается, когда спасенная девушка тут же отдает спасителю руку и сердце! Пусть даже в сердце ее не проснется вдруг любовь к нему, так разве не стоит постараться об этом!

«А что, если она все еще того помнит и любит?»

— Не может быть! — сказал себе Володыёвский. — Отвадила она его, а то бы он силком не стал увозить.

Правда, милосердие она ему оказала необыкновенное; но ведь это женское дело жалеть раненых, будь они даже враги.

Молода она, без опеки, замуж ей пора. В монастырь она, видно, не собирается, а то бы давно ушла. Довольно было для этого времени. К такой красавице вечно будут льнуть всякие кавалеры: одни ради ее богатства, другие ради красоты, третьи ради знатности. Ну, не любо ли будет ей иметь такую защиту, на которую, как она сама уже видала, смело можно положиться.

— Да и тебе, Михалек, пора остепениться! — говорил сам себе Володыёвский. — Ты еще молод, но ведь годы быстро бегут. Богатства ты на службе не наживешь, разве только ран еще больше. А шалостям придет конец.

Перед взором Володыёвского проплыла тут вереница паненок, по которым он вздыхал в своей жизни. Были среди них и знатные, и первые красавицы, но она была всех милее, всех краше и достойней. Ведь и род Билевичей, и ее самоё славилась вся округа, и столько благородства читалось в ее очах, что лучше супруги и пожелать нельзя.

Володыёвский чувствовал, что такое счастье плывет ему в руки, какое в другой раз может и не представиться, тем более что услугу девушке он оказал чрезвычайную.

— Что тянуть! — говорил он себе. — Дождусь ли я чего лучше? Надо

попытаться.

Да, но война на носу. Рука у него здорова. Стыдно рыцарю увиваться за девушкой, когда отчизна простерла к нему руки и молит о спасении. Пан Михал сердца был честного, рыцарского и, хоть служил чуть не с отроческих лет и участвовал чуть не во всех войнах, которые бывали в те годы, сознавал, однако же, свой долг перед отчизной и даже не помышлял об отдыхе.

Но именно потому, что не ради корысти, денег и почестей, а верой и правдой служил он отчизне и совесть его была чиста, он знал себе цену, и это ободрило его.

«Другие своевольничали, а я сражался, — думал он про себя. — Господь бог вознаградит солдата и поможет теперь ему».

Он решил, что на ухаживанья времени нет и действовать надо без промедления, сразу все поставить на карту: съездить, предложить тут же руку и сердце и либо, не откладывая оглашений, обвенчаться, либо съесть арбуз.

— Ел я уж не раз, съем и теперь! — проворчал Володыёвский, топорища желтые усики. — Какой мне от этого вред!

Было, однако же, в этом внезапном решении одно обстоятельство, которое не нравилось ему. Если он так вот сразу после спасения девушки поедет делать ей предложение, думал рыцарь, не будет ли он похож на назойливого кредитора, который хочет, чтобы ему поскорее вернули долг с лихвой?

«А может, это не по-рыцарски? Да, но за что же и требовать благодарности, как не за услугу? А если эта поспешность не по вкусу придется девушке, если она поморщится, так ведь можно сказать ей: „Милостивая панна, да я бы год целый ездил к тебе, увивался да в глазки заглядывал, но ведь я солдат, а трубы гремят, зовут на войну!“

— Так решено: поеду! — сказал Володыёвский.

Однако через минуту ему пришла в голову новая мысль. А если она ответит ему: «Так иди же на войну, честной солдат, а кончится война, год будешь ко мне ездить и в глазки мне заглядывать, потому что человеку незнакомому я душой и плотью так вдруг не предамся».

Тогда все пропало.

Что пропало, это Володыёвский понимал прекрасно: не говоря уж о девушке, которую за это время мог взять другой, он сам не был уверен в собственном постоянстве. Совесть говорила ему, что в нем самом любовь вспыхивала вдруг, как солома, но и гасла, как солома.

Тогда все пропало! Скитайся по-прежнему, бродяга-солдат, из стана в

стан, с битвы на битву, без крова, без родной души. А после войны ищи по свету пристани, не ведая, где, кроме арсенала, голову приклонить!

Володыёвский решительно не знал, что предпринять.

Тесно как-то и душно стало ему в пацунельской усадебке, взял он шапку, чтобы выйти на улицу и погреться немного на майском солнышке. На пороге он наткнулся на одного из людей Кмицица, которого отдали в неволю старому Пакошу. Казак грелся на солнце и брэнчал на бандуре.

— Что ты здесь делаешь? — спросил у него Володыёвский.

— Играю, пан, — ответил казак, поднимая изможденное лицо.

— Откуда ты родом? — продолжал спрашивать пан Михал, довольный, что оборвались на минуту его мысли.

— Издалека, пан, из Звягеля.

— Почему же ты не бежал, как другие твои товарищи? О, все вы такие! Сохранила вам шляхта в Любиче жизнь, чтобы иметь пашенных мужиков, да не успела снять с вас веревки, как вы тотчас поубегали.

— Я не убегу. Околею здесь, как пес.

— Так тебе здесь понравилось?

— Кому лучше в поле, тот бежит, а мне здесь лучше. У меня нога была прострелена, а тут мне ее шляхтянка перевязала, дочка старика, да еще добрым словом приветила. Отродясь я такой красавицы не видывал... Зачем мне уходить?

— Которая же это так тебе угодила?

— Марыся.

— И ты останешься?

— Околею, так вынесут, а нет, так останусь.

— Неужто думаешь у Пакоша дочку выслужить?

— Не знаю, пан.

— Да он такому голяку скорей смерть посулит, чем дочку.

— У меня в лесу червонцы зарыты: две пригоршни.

— С разбоя?

— С разбоя.

— Да будь хоть целый гарнец, все едино ты мужик, а Пакош шляхтич.

— Я из путных бояр^[37].

— Коль из путных бояр, так еще хуже, чем мужик, потому изменник. Как же ты мог врагу служить?

— А я и не служил.

— Где же Кмициц набрал вас?

— На большой дороге. Я у польного гетмана служил, но потом хоругвь разбежалась, есть стало нечего. Домой мне незачем было ворочаться, дом-

то мой спалили. Пошли наши промышлять на большую дорогу, ну и я с ними пошел.

Володыёвский очень этому удивился, он до сих пор думал, что Кмициц похитил Оленьку, взяв людей у врага.

— Так пан Кмициц взял вас не у Трубецкого^[38]?

— Больше всего было тех, что у Трубецкого и Хованского служили, да и они на большую дорогу бежали.

— Почему же вы пошли за паном Кмицицем?

— Он славный атаман. Нам говорили, что коли он кликнет, так все едино, что талеров насыплет в кошель. Потому мы и пошли. Да вот не поталанило нам!

Володыёвский только головой покачал, поразмыслив о том, что уж очень очернили этого Кмицица; затем он поглядел на изможденное лицо боярского сына и снова покачал головой.

— Так ты ее любишь?

— Люблю, пан!

Володыёвский направился на улицу, подумав про себя: «Вот это решительный человек! Он долго не раздумывал: полюбил и остается. Такие люди лучше всех... Коли он и впрямь из путных бояр, так это то же, что и застянковая шляхта. Отроет свои червонцы, и старый Пакош, пожалуй, отдаст за него свою Марысю. Отчего ж не отдать? Он не крутил, не вертел, а уперся на своем — и баста! Дай-ка и я упрусь!

Раздумывая так, Володыёвский шел по улице на солнышке, порой останавливался и то потуплял взор в землю, то к небу его поднимал; потом снова продолжал свой путь, пока не увидел вдруг летевшее в небе стадо диких уток.

Тогда он стал гадать по ним: ехать, не ехать?.. Выпало: ехать.

— Кончено! Еду!

С этими словами он повернул домой; однако по дороге заглянул еще в конюшню, на пороге которой двое его стремянных играли в кости.

— Сыруц, — спросил Володыёвский, — заплетена ль грива у Серого?

— Заплетена, пан полковник.

Володыёвский зашел в конюшню. Серый заржал у яслей; рыцарь подошел к нему, похлопал по крупу, затем стал считать косицы в гриве.

— Ехать, не ехать, ехать...

Снова выпало ехать.

— Седлать коней да одеться получше! — приказал Володыёвский.

После чего быстрым шагом направился домой и стал наряжаться. Надел высокие кавалерийские сапоги, желтые, с отворотами на подкладке и

золочеными шпорами, и новый красный мундир, и рапирочку нацепил отменную, в стальных ножнах, с золотой насечкой на рукояти, и полупанцирек не забыл из светлой стали, закрывающий только верхнюю часть груди до шеи. Был у него в сундуке и рысий колпачок с чудным цапельным пером, но подходил он только к польскому платью, и пан Михал не стал его вынимать, а надел на голову шведский шлем с затыльником и вышел на крыльцо.

— Куда это ты собрался, пан полковник? — спросил у него старый Пакош, сидевший на завалинке.

— Куда собрался? Надо у вашей панны о здоровье справиться, а то как бы она не сочла меня за невежу.

— Так весь и сияешь! Чистый тебе снегирь! Ну, уж коли панна враз не влюбится, так, верно, и глаз у нее нет!

Но тут прибежали две младшие дочери Пакоша с подойниками в руках, — они возвращались с обеденной дойки. Увидев Володыёвского, девушки застыли в изумлении.

— Прямо тебе король! — сказала Зоня.

— Как на свадьбу нарядился! — прибавила Марыська.

— А может, свадебку и сыграем, — засмеялся старый Пакош. — К панне нашей полковник едет.

Не успел старик кончить, как подойник выпал из рук Марыси, и молочная река полилась прямо под ноги Володыёвскому.

— Что рот разинула! — сердито сказал Пакош. — Экая коза!

Марыся ничего не ответила, подняла подойник и молча ушла.

Володыёвский вскочил на коня, за ним выстроились оба его стремянных, и все трое отправились в Водокты. Денек выдался красный. Майское солнце играло на нагруднике и шлеме Володыёвского, и когда он издали мелькал между вербами, казалось, что по улице катится еще одно солнце.

— Любопытно знать, с перстеньком буду я ворочаться иль с арбузом? — пробормотал рыцарь.

— Что ты сказал, пан полковник? — спросил Сыруц.

— Дурень!

Стремянный стегнул коня по крупу, а Володыёвский продолжал:

— Счастье, что не впервой.

Эта мысль очень его ободрила.

Когда они приехали в Водокты, панна Александра в первую минуту не признала полковника, так что ему пришлось еще раз назвать свое имя. Тогда она поздоровалась с ним любезно, но как-то сдержанно и

принужденно, он же представился ей с отменной учтивостью, ибо хоть и был солдатом, не придворным, однако подолгу бывал при разных дворах и пообтерся между людьми. Он отвесил весьма почтительный поклон и, прижав руку к сердцу, вот что сказал ей:

— Я приехал к тебе, милостивая панна, о здоровье справиться, не захворала ли ты, случаем, с перепугу. Надо бы на другой же день приехать, да боялся я надоесть тебе.

— Это очень любезно с твоей стороны, милостивый пан, что ты не только спас меня от гибели, но и не забыл обо мне. Садись, будь дорогим гостем.

— Милостивая моя панна, — ответил пан Михал, — когда бы я забыл тебя, недостойн был бы я той милости, какую бог оказал мне, позволив подать руку помощи столь достойной особе.

— Нет, это я сперва должна господу бога благодарить, а затем и тебя, пан полковник!

— Коли так, возблагодарим вдвоем господу бога, ибо ни о чем не молю я его так усердно, как о том, чтобы с его позволения и впредь защищать тебя от всяких бед.

При этих словах Володыёвский встопорщил свои навощенные усики, и без того торчавшие выше носа, — так доволен он был собою, что сразу сумел войти *in medias res*^[39] и выложить все начистую. Панна Александра сидела смущенная и молчаливая, а уж красивая, как день весенний. Легкий румянец выступил у нее на щеках, а глаза она прикрыла ресницами, от которых тень падала на щеки.

«Это смущение — добрый знак!» — подумал Володыёвский.

И, откашлявшись, продолжал:

— Знаешь ли ты, милостивая панна, что после смерти твоего дедушки я командовал лауданцами?

— Знаю, — отвечала Оленька. — Покойный дедушка не мог сам идти в последний поход и очень был рад, когда ему сказали, что воевода виленский вверил тебе лауданскую хоругвь; он говорил, что знает тебя как славного рыцаря.

— Это он так обо мне говорил?

— Я сама слыхала, как он тебя хвалил, а после похода и лауданцы превозносили тебя до небес.

— Я простой солдат, недостойный того, чтобы меня не то что до небес превозносить, а просто ставить выше других. Очень я рад, что не совсем я тебе чужой человек, теперь ты не подумаешь, что какой-то незнакомец, человек темный свалился к тебе с последним дождем с облаков. Всегда

приятней знать, с кем имеешь дело. Много всякого народу бродит по свету, выдают они себя за родовитых шляхтичей, приукрашивают себя добродетелями, а сами-то бог весть кто такие, может, и не шляхтичи вовсе.

Володыёвский умышленно завел об этом разговор, чтобы рассказать Оленьке о себе, но она тотчас ему возразила:

— Тебя, пан полковник, никто в этом не заподозрит, ведь у нас в Литве есть шляхтичи с такой фамилией.

— Да, но те по прозванию Озории, а я Корчак-Володыёвский; мы из Венгрии, свой род ведем от некоего придворного Аттилы; этот придворный, когда его преследовали враги, дал обет пресвятой деве отречься от язычества и принять католическую веру, если только она сохранит ему жизнь. Свой обет он сдержал, когда благополучно переправился через три реки, те самые, которые теперь у нас в гербе.

— Так ты, пан полковник, родом не из наших мест?

— Нет, милостивая панна. Я сам с Украины; у меня и сейчас там деревенька, да ее враги захватили; но я с молодых лет служу в войске и больше думаю не о своем богатстве, а об том уроне, который наша отчизна терпит от иноземцев. Смолоду служил я у воеводы русского, нашего незабвенного князя Иеремии, с которым побывал во всех походах. И под Махновкой был, и под Константиновом^[40], голодал вместе со всеми в Збараже, а после битвы под Берестечком сам король, повелитель наш, обнял меня. Бог свидетель, не приехал я сюда похваляться, хочу только, чтобы ты знала, милостивая панна, что я не какой-нибудь пустобрех, который только глотку дерет, а крови своей жалеет, что всю жизнь я верой и правдой служил отчизне, ну и славу снискал, и чести своей ничем замарал. Истинную правду говорю! И достойные люди могут мои слова подтвердить!

— Кабы все были такими, как ты, пан полковник! — вздохнула Оленька.

— Ты, милостивая панна, верно, думаешь, о том насильнике, который осмелился поднять на тебя святотатственную руку?

Панна Александра опустила глаза в землю и не ответила ни слова.

— Он получил по заслугам, — продолжал Володыёвский. — Мне говорили, что он выживет, так что все едино не уйдет от кары. Все достойные люди его осуждают, даже уж слишком, толкуют, будто он с врагами связался, чтобы получить от них подмогу, а это неправда: казаков, с которыми он напал на Водокты, он вовсе не у врагов взял, а на большой дороге.

— Пан полковник, откуда ты это знаешь? — с живостью спросила

Оленька, поднимая на Володыёвского свои лазоревые глаза.

— Да от его же людей. Станный он человек! Когда перед поединком я назвал его изменником, он не стал этого отрицать, хоть обвинил я его несправедливо. Гордость у него, видно, дьявольская.

— И ты, пан полковник, всюду говоришь, что он не изменник?

— Покуда нет, потому что сам не знал, а теперь буду говорить. Нехорошо даже о самом лютом враге говорить такие облыжные слова.

Глаза панны Александры еще раз остановились на маленьком рыцаре с дружеским расположением и благодарностью.

— Ты, пан полковник, на редкость достойный человек, на редкость...

От удовольствия Володыёвский стал усиленно топорщить усики.

«Смелей, Михалек! Смелей, Михалек!» — подумал он про себя.

А вслух сказал:

— Я тебе больше скажу, милостивая панна! Не одобряю я средств пана Кмицица, но не удивительно мне, что он так тебя добивался: сама Венера годится тебе разве что в служанки. С отчаяния решился он на дурное дело и, пожалуй, в другой раз решится, пусть только представится случай. Как же ты при неописанной такой красоте останешься одна, без опеки? Много всяких Кмицицев на свете, многие страстью к тебе воспылают, и многие опасности будут грозить твоей невинности. По милости божией я избавил тебя от беды, но меня зовут уже трубы Марса. Кто же будет стеречь тебя?.. Милостивая панна, говорят, будто солдаты ветрены, но это неправда. Ведь сердце не камень, вот и у меня не могло оно остаться равнодушным к стольким неизъяснимым прелестям... — Тут Володыёвский упал перед Оленькой на колени. — Милостивая панна, — продолжал он, стоя на коленях, — я унаследовал после твоего дедушки хоругвь, позволь же мне унаследовать и внучку. Доверь мне опеку над собою, позволь вкушать сладость взаимной любви, возьми в постоянные покровители, и ты будешь жить в мире и безопасности, ибо, если я и на войну уеду, само имя мое будет тебе защитой.

Панна Александра вскочила со стула и в изумлении слушала Володыёвского, а он между тем продолжал:

— Я бедный солдат, но я шляхтич, человек достойный, и, клянусь богом, ни единого пятна нет ни на моем щите, ни на совести. Может, тем только я согрешил, что поторопился; но и это ты должна понять: отчизна меня зовет, которой я не изменю даже ради тебя... Может, обрадуешь ты меня? Может, обрадуешь? Может, скажешь мне доброе слово?

— Пан полковник, ты требуешь от меня невозможного!.. Ради Христа! Немыслимое это дело! — в страхе ответила Оленька.

— Все в твоей воле...

— Потому я и отвечаю тебе решительно: нет! — Панна Александра нахмурила брови. — Пан полковник, не стану отпираться, я в долгу перед тобою. Проси чего хочешь, я все готова отдать тебе, но не руку.

Володыёвский встал.

— Ты меня не хочешь?

— Я не могу!

— И это твое последнее слово?

— Последнее и бесповоротное.

— А может, тебе только то не по нраву, что я так поторопился? Дай же мне надежду!

— Не могу, не могу!..

— Нет мне тут счастья, и нигде его не было! Милостивая панна, не предлагай же мне платы за услугу, не за тем я к тебе приехал, а что руки твоей просил, так не в отплату. Да если бы ты ответила мне, что отдаешь мне руку по долгу, не по доброй воле, я бы отказался. Нет воли, нет доли. Пренебрегла ты мною, смотри же, чтобы не случился тебе кто-нибудь похуже меня. Ухожу я из этого дома, как пришел, но только никогда уж больше сюда не ворочусь. Ни во что меня тут не ставят. Такая уж моя доля. Будь счастлива, хоть с тем же Кмицицем, потому ты, может, за то на меня гневаешься, что я с саблей стал между вами. Коли он тебе люб, так ты и впрямь не про меня.

Оленька сжала руками виски.

— Боже, боже, боже! — повторила она несколько раз.

Но и муки ее не смягчили Володыёвского, — отвесив поклон, он вышел сердитый и злой, тотчас сел на коня и уехал.

— Ноги моей больше тут не будет! — громко сказал он.

Стремянный Сыруц, следовавший за своим господином, тотчас подъехал к нему.

— Что ты сказал, пан полковник!

— Дурень! — ответил Володыёвский.

— Это ты, пан полковник, сказал мне, как мы сюда ехали.

Воцарилось молчание.

— Черной неблагодарностью меня тут накормили, — снова забормотал пан Михал. — Презрением ответили на любовь! Видно, до гроба ходить мне в кавалерах. Так уж на роду написано! Черт бы ее взял, долю такую! Что ни сунусь, то отказ!.. Нет правды на этом свете! И чем я ей не угодил? — Нахмурил тут Володыёвский брови, пораскинул умом и вдруг хлопнул себя по ляжке. — Знаю! — воскликнул он. — Это она все

еще того любит! В этом все дело!

Но при мысли об этом лицо его не прояснилось.

«Тем хуже для меня, — подумал он через минуту. — Уж коли она после всего, что случилось, все еще его любит, так и не перестанет любить. Все самое худое, что он мог сделать, он уже сделал. Пойдет воевать, добьется славы, и люди забудут про худые его дела. И не пристало мне мешать ему, скорее помочь надо, ведь это на благо отчизны. Вот оно дело какое! Солдат он добрый... Однако же, чем он ее так прельстил? Кто его знает? Иной дар такой имеет, что стоит ему только взглянуть на девушку, и та готова за ним в огонь и воду. Кабы знать, как это делается, или талисман добыть, может, и мне удалось бы. По заслугам девушки нас не жалуют. Верно говорил пан Заглоба, что лиса и баба самые изменчивые творения на свете. А уж так мне жаль, что все пропало! Очень она хороша, да и, говорят, добродетельна. Горда, видно, как сатана... Как знать, пойдет ли она за него, хоть и любит, — очень он обманул ее и оскорбил. Ведь мог все по-хорошему сделать, а предпочел своевольничать... Она и от замужества готова совсем отказаться, и от детей... Мне тяжело, а ей, бедняжке, еще тяжелей!..»

Тут Володыёвский стал сокрушаться о судьбе Оленьки, и головой покачал, и губами причмокнул.

— Пусть уж ей бог будет покровителем! — сказал он наконец. — Я на нее не в обиде! Для меня это не первый отказ, а для нее первая мука. Бедняжка чуть жива от горя, а я ей еще глаза колот этим Кмицицем, вовсе уж напоил желчью. Нехорошо получилось, надо как-то исправить ошибку. Побей меня бог, недостойно я поступил. Напишу-ка я ей письмецо, попрошу прощения, а там и помогу, чем можно будет.

Дальнейшие размышления Володыёвского прервал стреманный Сыруц, который снова поравнялся с ним и сказал:

— Пан полковник, а ведь там на горе пан Харламп с кем-то едет.

— Где?

— А вон там!

— И впрямь двое едут; но ведь пан Харламп остался при князе воеводе виленском. Да и как ты мог издали признать его?

— А по буланой. Ее все войско знает.

— Клянусь богом, буланую видно. Но, может это не та.

— Да я и побезку ее узнаю. Это наверняка пан Харламп.

Они оба надали ходу; всадники, ехавшие навстречу им, тоже пришпорили коней, и вскоре Володыёвский увидел, что к нему и в самом деле скачет Харламп.

Это был поручик панцирной хоругви литовского войска, давний знакомый Володыёвского, испытанный старый солдат. Когда-то они с маленьким рыцарем очень враждовали, но потом послужили вместе, повоевали и полюбили друг друга. Володыёвский подскакал к Харлампу и, раскрыв объятия, крикнул:

— Как поживаешь, Носач? Откуда ты взялся?

Товарищ, которому и в самом деле очень пристало прозвище «Носач», потому что он был обладателем весьма внушительного носа, упал в объятия полковника, и они радостно приветствовали друг друга.

— Я к тебе нарочным послан, — сказал он, отдышавшись, — да еще с деньгами.

— Нарочным, да еще с деньгами? От кого же?

— От князя воеводы виленского, нашего гетмана. Он шлет тебе грамоту, чтобы немедля набирать людей в войско, и другую — пану Кмицицу, который должен быть тоже где-то в здешних местах.

— И пану Кмицицу? Как же мы вдвоем будем набирать в одной округе?

— Он должен ехать в Троки, а ты должен остаться здесь.

— А как ты узнал, где меня искать?

— Сам пан гетман о тебе расспрашивал, пока здешние люди, которые еще служат у нас в войске, не сказали ему, где тебя искать, так что я ехал наверняка. В большой ты у князя чести! Я сам слышал, как он говорил, что ничего не надеялся получить в наследство от воеводы русского, а получил самого великого рыцаря.

— Дай бог ему, как воеводе русскому, и в войне удачи! Большая это для меня честь набирать войско, и я тотчас возьмусь за дело. Военного люду здесь много, было бы на что снарядить. Денег ты много привез?

— Вот приедешь в Пацунели, сочтешь.

— Так ты уже и в Пацунелях успел побывать? Берегись, красавиц там, как маку в огороде.

— Потому тебе там и понравилось!.. Погоди, у меня и письмо тебе есть от гетмана.

— Давай!

Харламп вынул письмо с малой радзивилловской печатью, Володыёвский вскрыл его и стал читать:

«Милостивый пан полковник Володыёвский!

Зная твое горячее желание послужить отчизне, посылаем

тебе грамоту на набор войска, притом набирать надлежит не так, как всегда сие делается, а с особым усердием, ибо *periculum in mora*^[41]. Коли хочешь порадовать нас, хоругвь твоя должна быть готова к походу в конце июля и не далее середины августа. Весьма и весьма заботит нас, где ты добудешь добрых коней, тем паче, что и денег посылаем тебе малую толику, ибо вымолить больше у пана подскарбия, и поныне нам неприятного, мы не могли. Половину денег отдай пану Кмицицу, коему пан Харламп также везет грамоту. Надеемся, что и пан Кмициц усердно нам послужит. Однако же до нашего слуха дошли вести об его своеволии в Упите; посему грамоту, ему предназначенную, лучше сам получи и сам реши, отдавать ему или нет. Буде сочтешь, что слишком много на нем *gravamina*^[42], кои позорят его, тогда не отдавай! Мы опасаемся, как бы наши недруги, пан подскарбий и пан воевода витебский, не подняли шум, что таковые поручения мы возлагаем на людей недостойных. Буде сочтешь, что ничего особо важного не случилось, вручи грамоту, и пусть Кмициц усердною службою постарается искупить свою вину и не является ни в какие суды, ибо он нам, гетманам, подсуден, и мы одни будем судить его, но по исполнении приказа. Наше поручение прими, милостивый пан, как знак доверия к тебе, твоему разуму и преданности.

Януш Радзивилл,

князь Биржанский и Дубинковский

воевода Виленский».

— Очень пан гетман о лошадях беспокоится, — сказал Харламп, когда маленький рыцарь кончил читать письмо.

— Да, с лошадьми будет трудно, — подтвердил Володыёвский. — Здешней мелкой шляхты явится множество, стоит только кликнуть клич; но у нее одни жмудские мерины, для службы малопригодные. Коли на то пошло, надо бы всем дать других лошадей.

— Хорошие это лошади, я их давно знаю, они очень ловки и выносливы.

— Да, — сказал Володыёвский, — но они малы, а народ здесь рослый.

Как станут люди в строй на таких лошадаках, можно подумать, хоругвь сидит верхом на собаках. Ведь вот беда какая!.. Я усердно возьмусь за работу, потому и сам спешу. Оставь же мне и грамоту для Кмицица, как велит пан гетман, я сам ее отдам. Пришла она в самое время.

— Почему?

— Да он тут вздумал татарские обычаи заводить, девушку умкнул. Жалоб на него подано, судебных повесток ему прислано, что волос на голове. И недели не прошло, как я с ним на саблях дрался.

— Ну, — сказал Харламп, — коли ты с ним дрался на саблях, так он теперь пластом лежит.

— Ему уже получше. Через неделку-другую встанет. Что там слышно о de publics?^[43]

— Дела по-прежнему плохи. Пан подскарбий Госевский все с нашим князем воюет, а когда между гетманами нет мира, то и дело нейдет на лад. Мы уж как будто оправились, и коли будет только у нас согласие, я думаю, одолеем врагов. Даст бог, на их же спинах въедем в их же державу. Во всем пан подскарбий виноват.

— А другие говорят, великий гетман.

— Это изменники. Так говорит воевода витебский^[44], но ведь он и подскарбий давно снюхались.

— Воевода витебский достойный гражданин.

— Неужто и ты держишь сторону Сапег, неужто и ты против Радзивиллов?

— Я на стороне отчизны, и все мы должны стоять на ее стороне. В том-то и беда, что даже мы, солдаты, вместо того чтобы сражаться, делимся на станы. А что Сапега достойный гражданин, так я бы это и при самом князе сказал, хоть служу у него под началом.

— Люди достойные пробовали их примирить, да все впустую! — сказал Харламп. — Король теперь гонца за гонцом шлет к нашему князю. Толкуют, будто что-то новое затевается. Мы ждали ополчения с королем, да так и не дождались! Говорят, в другом месте оно понадобится.

— Верно, на Украине.

— Откуда мне знать? Только вот поручик Брохвич рассказал нам как-то, что он слышал собственными ушами. От короля к нашему гетману приехал Тизенгауз, и они, запершись, долго о чем-то беседовали, а о чем, Брохвич не мог разобрать; но когда выходили, он, говорю тебе, собственными ушами слышал, как пан гетман сказал: «От этого новая война может произойти». Никак мы не могли догадаться, что бы это могло

значить.

— Брохвич, верно, ослышался! С кем же может быть новая война? Цесарь нынче больше к нам благоволит, нежели к нашим врагам; так оно и следует поддерживать политичный народ. Со шведом у нас перемирие, и срок кончится только через шесть лет, а татары на Украине нам помогают, чего они не стали бы делать против воли турка.

— Вот и мы ничего не могли понять!

— Да ничего и не было. Но у меня, слава богу, новая работа. Стосковался уж я по войне.

— Так ты сам хочешь отвезти грамоту Кмицицу?

— Я ведь говорил тебе, что так пан гетман велит. По рыцарскому обычаю, должен я посетить Кмицица, а тут у меня и предлог будет благовидный. Вот отдам ли я грамоту — это дело другое; там погляжу, гетман оставил это на мое усмотрение.

— И мне это на руку, потому я спешу. У меня еще третья грамота, пану Станкевичу; а потом велено ехать в Кейданы, пушку получить, которую туда доставят, ну и в Биржи еще надо заехать, посмотреть, готов ли замок к обороне.

— И в Биржи?

— Да.

— Странно мне это. Никаких новых побед враг не одерживал, стало быть, до Бирж, до курляндской границы, ему далеко. Вижу я, что и хоругви новые набирают, стало быть, будет кому отвоевывать и те земли, которые уже захватил враг. Курляндцы о войне с нами и не помышляют. Солдаты они добрые, да мало их, Радзивилл одной рукой их раздавит.

— И мне это странно, — сказал Харламп. — Тем паче, что князь велел спешить и, коли в замке что не так, тотчас дать знать князю Богуславу, чтобы тот прислал инженера Петерсона.

— Что бы это могло значить? Только бы усобица не началась. Избави бог от такой беды! Уж если князь Богуслав берется за дело, черту тут будет потеха.

— Не говори так о нем. Он храбрый рыцарь!

— Я не спорю, что он храбр, но не поляк он, а больше немец или какой-нибудь француз. О Речи Посполитой он вовсе не думает, об одном только помышляет, как бы дом Радзивиллов вознести превыше всех, а прочие дома унижить. Он и в нашем гетмане, князе воеводе виленском, гордость разжигает, которой у того и так предостаточно, и распри с Сапегами и Госевским — это его рук дело.

— Я вижу, ты великий державный муж. Надо бы тебе, Михалек,

жениться поскорее, а то зря такой ум пропадает.

Володыёвский пристально поглядел на товарища.

— Жениться? Гм, гм!

— Ясное дело! А может, ты волочиться ездешь, ишь разрядился, как на парад.

— Ах, оставь!

— Да ты признайся!..

— Всяк пусть ест свои арбузы, а про чужие нечего спрашивать, сам небось не один уж съел. Нечего сказать, время думать о женитьбе, когда надо хоругвь набирать.

— А к июлю будешь готов?

— К концу июля, хоть бы лошадей из-под земли пришлось добывать. Благодарение богу, есть у меня теперь работа, а то пропал бы я с тоски.

Вести от гетмана и тяжелый труд, который ждал его впереди, принесли Володыёвскому большое облегчение, и пока они с Харлампом доехали до Пацунелей, он и думать забыл о неудаче, которая постигла его какой-нибудь час назад. Слух о грамоте тотчас разнесся по застянку. Шляхтичи сбегались узнать, правда ли, что получена грамота; когда Володыёвский подтвердил это, весть о наборе вызвала всеобщее одушевление. Все хотели вступить в хоругвь, лишь немногих смутило то, что отправляться в поход надо будет в конце июля, перед самой жатвой. Володыёвский разослал гонцов и в другие застянки, и в Упиту, и в знатные шляхетские дома. Вечером приехало человек двадцать Бутрымов, Стакьянов и Домашевичей.

Все они подбодряли друг друга, охотников находилось все больше, все грозились врагу и сулили себе победу. Одни только Бутрымы молчали, но их за это никто не осуждал, известно было, что они встанут как один человек. На следующий день поднялись все застянки. Не было уже разговоров ни о Кмицице, ни о панне Александре, все толковали только о походе. Володыёвский от души простил Оленьке отказ, утешал себя тем, что и отказ не последний, и любовь у него не последняя. А тем временем стал он подумывать о том, что же делать с грамотой Кмицица.

ГЛАВА IX

Для Володыёвского началась пора тяжких трудов, рассылки писем, разъездов. На следующей же неделе он перебрался в Упиту и начал там вербовать людей. Шляхта к нему валом валила, и побогаче и победней, потому что снискал он себе громкую славу. Но особенно охотно шли к нему лауданцы, для которых надо было добывать лошадей. Кипел как в котле Володыёвский, но был он расторопен, трудов не жалел, и дело у него шло на лад. Тогда же посетил он в Любиче Кмицица, который успел уже немного поправиться, и хотя не вставал еще с постели, но ясно было, что выздоровеет. Видно, сабля у Володыёвского была острая, но рука легкая.

Кмициц тотчас признал гостя и при виде его побледнел. Рука его невольно потянулась к сабле, висевшей в изголовье, однако он тут же опомнился и, увидев на лице гостя улыбку, протянул ему исхудавшую руку и сказал:

— Спасибо, милостивый пан, за посещение. Учтивость, достойная такого кавалера, как ты.

— Я приехал спросить тебя, милостивый пан, не затаил ли ты в душе обиды на меня? — спросил пан Михал.

— Обиды я не затаил, потому не кто-нибудь победил меня, а первейший рубака. Насилу выхворался!

— А как теперь твоё здоровье, милостивый пан?

— Тебе, верно, то удивительно, что я из твоих рук живым вышел? Я и сам признаюсь, что не легкое было это дело.

Тут Кмициц улыбнулся.

— Впрочем, еще не все потеряно. Можешь кончить меня, когда захочешь!

— А я не за тем сюда приехал...

— Ты либо дьявол, либо талисманом владеешь. Видит бог, не до похвальбы мне сейчас, вроде с того света воротился, но до встречи с тобой я всегда думал: коли не первый я рубака на всю Речь Посполитую, так второй. А меж тем слыхано ли дело! Да, когда бы ты захотел, я бы не отразил и первого твоего удара. Скажи мне, где ты так обучился?

— И способности были природные, — ответил пан Михал, — да и отец сызмальства приучал, не раз он говаривал мне: «Неказист ты уродился, коли не станут люди тебя бояться, так будут над тобою смеяться». Ну, а доучился я уж в хоругви, когда служил у воеводы русского.

Были там рыцари, которые смело могли выйти против меня.

— Неужто были такие?

— Как не быть, были. Пан Подбипента, литвин, родовитый шляхтич, он в Збараже сложил голову, — упокой, господи, его душу! Такой он был непомерной силы, что от него нельзя было прикрыться: он и прикрытие проткнет, и тебя проколет. Потом еще Скшетуский, сердечный друг мой и наперсник, ты о нем, наверно, слышал.

— Как же, как же! Это ведь он вышел из Збаража и прорвался сквозь толпу казаков. Кто о нем не слышал!.. Так ты вот из каких?! И в Збараже был?.. Хвала и честь тебе! Погоди-ка!.. А ведь я и о тебе слышал у виленского воеводы. Тебя ведь Михалом звать?

— Да, я Ежи Михал, но святой Ежи только огненного змея зарубил, а Михал предводитель всего небесного воинства и столько одержал побед над легионами бесов, что я предпочитаю иметь его своим покровителем.

— Что верно, то верно, далеко Ежи до Михала. Так это ты тот самый Володыёвский, о котором говорили, что он зарубил Богуна?

— Я самый.

— Ну, от таковского не обидно получить по башке. Дай-то бог, чтобы мы стали друзьями. Правда, ты меня изменником назвал, но тут ты ошибся.

При этих словах Кмициц поморщился так, точно у него снова заныла рана.

— Каюсь, ошибся, — ответил Володыёвский. — Но не от тебя узнаю я, что ты не изменник, люди твои мне это сказали. Знай же, иначе я бы к тебе не приехал.

— Ну и языки же чесали тут, ну и чесали! — с горечью произнес Кмициц. — Будь что будет. Каюсь, не один грех на моей совести, но и люди здешние худо меня приняли.

— Ты больше всего повредил себе тем, что спалил Волмонтовичи да увез панну Билевич.

— Вот они и жмут меня жалобами. Лежат уж у меня повестки. Не дадут мне, больному, поправиться. Это верно, что я спалил Волмонтовичи и людей там порубил; но бог мне судья, коли сделал я это по самовольству. В ту самую ночь, перед пожаром, я дал себе обет: со всеми жить в мире, расположить к себе сермяжников, даже в Упите ублажить сиволапых, потому там я тоже очень насвоевольничал. Воротился домой, и что же вижу? Товарищи мои, как волы, зарезаны, лежат под стеной! Как узнал я, что все это Бутрымы сотворили, бес в меня вселился, жестоко я им отомстил. Ты не поверишь, если я скажу тебе, за что их зарезали. Я сам дознался об этом от одного из Бутрымов, которого в лесу поймал: их за то

зарезали, что они в корчме хотели поплясать с шляхтянками! Кто бы не стал мстить за такое?

— Милостивый пан, — воскликнул Володыёвский, — это верно, что с твоими товарищами жестоко расправились, но шляхта ли их убила? Нет! Убила их та недобрая слава, которую они привезли с собою, — ведь честных солдат никто не стал бы убивать, если бы им вздумалось пуститься в пляс!

— Бедняги! — говорил Кмициц, следуя за ходом своих мыслей. — Когда я лежал здесь в горячке, они каждый вечер входили вон в ту дверь, из того покоя. Как наяву, видел я их у своей постели, синих, изрубленных. «Ендрусь, — стонали они, — дай на службу за упокой души усопших, ибо тяжкие терпим мы муки!» Говорю тебе, у меня волосы вставали дыбом, в доме от них даже серой пахло... На службу я уж дал, только бы это помогло им!

На минуту воцарилось молчание.

— А теперь про увоз, — продолжал Кмициц. — Никто тебе не мог сказать, что она мне жизнь спасла, когда за мною гналась шляхта, но потом велела пойти прочь и не показываться ей на глаза. Что же мне еще оставалось?!

— Все равно татарский это обычай.

— Ты, верно, не знаешь, что такое любовь и до какого отчаяния может дойти человек, когда потеряет то, что любил больше всего на свете.

— Это я-то не знаю, что такое любовь? — в негодовании воскликнул Володыёвский. — Да с тех пор, как я начал носить саблю, я всегда был влюблен! Правда, *subiectum*^[45] менялся, ибо никогда мне не платили взаимностью. Когда б не это, на свете не было б верней Троила, чем я.

— Что это за любовь, коли *subiectum* менялся! — сказал Кмициц.

— Тогда я расскажу тебе одну историю, которой сам был свидетелем. После того как началась война с Хмельницким, Богун, который теперь, после смерти Хмельницкого, пользуется у казаков самым большим почетом, похитил у Скшетуского девушку, которую тот любил больше жизни, княжну Курцевич. Вот это была любовь! Все войско плакало, глядя, как убивается Скшетуский. Лет двадцать с небольшим было ему, а борода у него вся побелела. А знаешь ли ты, что он сделал?

— Откуда же мне знать?

— В годину войны, когда отчизна была унижена и грозный Хмельницкий праздновал победу, он и не подумал пойти на поиски девушки. Страдания свои принес на алтарь богу и под начальством Иеремии сражался во всех битвах, а под Збаражем покрыл себя такой

великой славою, что и теперь имя его все повторяют с уважением. Сравни же, милостивый пан, его поступок и свой, и ты поймешь разницу.

Кмициц молчал, покусывая ус.

— И бог вознаградил Скшетуского, — продолжал Володыёвский, — вернул ему девушку. Сразу же после битвы под Збаражем они поженились и уже троих детей родили, хотя он не перестал служить. А ты, чиня усобицу, помогал тем самым врагу и сам чуть не лишился жизни, не говоря уж о том, что дня два назад мог навсегда потерять невесту.

— Как так? — садясь на постели, воскликнул Кмициц. — Что с ней случилось?

— Ничего с ней не случилось, только нашелся кавалер, который просил у нее руки и желал взять ее в жены.

Кмициц страшно побледнел, запавшие глаза его сверкнули гневом. Он хотел встать, даже на минуту сорвался с постели и крикнул:

— Кто он, этот вражий сын? Христом-богом молю, говори!

— Я! — ответил Володыёвский.

— Ты? Ты? — в изумлении спрашивал Кмициц. — Как же так?

— Да вот так.

— Предатель! Это тебе так не пройдет!.. И она — Христом-богом молю, говори все! — она приняла твое предложение?

— Наотрез отказала, не раздумывая.

На минуту воцарилось молчание. Кмициц тяжело дышал, впившись глазами в Володыёвского.

— Почему ты называешь меня предателем? — спросил тот у него. — Что я тебе, брат или сват? Что я, обещание нарушил, данное тебе? Я победил тебя в равном поединке и мог поступать, как мне вздумается.

— По-старому один из нас заплатил бы за это кровью. Не зарубил бы я тебя, так из ружья бы застрелил, и пусть бы меня потом черти взяли.

— Разве что из ружья застрелил бы, потому на поединок, не откажи она мне, я бы в другой раз с тобою не вышел. Зачем было бы мне драться? А знаешь, почему она мне отказала?

— Почему? — как эхо повторил Кмициц.

— Потому что любит тебя.

Это было уж слишком для слабых сил больного. Голова Кмицица упала на подушки, лоб покрылся потом, некоторое время юноша лежал в молчании.

— Страх, как худо мне, — сказал он через минуту. — Откуда же ты знаешь, что она... любит меня?

— Глаза у меня есть, вот я и гляжу, ум у меня есть, вот я и смекаю, а

уж после отказа в голове у меня все прояснилось. Первое: когда после поединка пришел я сказать ей, что она свободна, что я зарубил тебя, она обмерла и, вместо того, чтобы меня поблагодарить, вовсе пренебрегла мною; второе: когда несли тебя сюда Домашевичи, она, словно как мать, твою голову поддерживала; третье: когда сделал я ей предложение, она так ответила мне, будто оплеуху дала. Коли этого тебе мало, стало быть, ты просто упрям и неразумен...

— Если только это правда, — слабым голосом проговорил Кмициц, — то... всякими мазями рану мне натирают, но нет лучше бальзама, чем твои слова.

— Так неужели предатель дает тебе такой бальзам?

— Ты уж прости меня. Это такое счастье! В голове у меня не может уложиться, что она все еще меня не отвергает.

— Я сказал, что она тебя любит, а вовсе не сказал, что она тебя не отвергает. Это дело совсем другое.

— А отвергнет она меня, так я голову себе разобью об эту стенку. Не могу я иначе.

— А мог бы, когда бы всей душой хотел искупить свою вину. Теперь война, ты можешь пойти в поход, можешь верой и правдой послужить отчизне, прославиться своей храбростью, вернуть свое доброе имя. Кто из нас без греха? У кого нет грехов на совести? У всех они есть. Но всем открыта дорога к раскаянию и исправлению. Своевольничал ты — так теперь избегай своеволия; против отчизны грешил, затеяв усобицы во время войны, — так теперь спасай ее; людям обиды чинил — так теперь вознагради их... Вот путь, который легче и надежней, чем разбивать себе голову.

Кмициц пристально смотрел на Володыёвского.

— Ты как сердечный друг говоришь со мною, — сказал он.

— Не друг я тебе, но, по правде сказать, и не недруг, а девушку, хоть она мне и отказала, мне все-таки жаль, потому что на прощанье я зря наговорил ей много нехорошего. От отказа я не повешусь, мне не впервой, а вот обиду таить я не привык. Коли я тебя на добрый путь наставлю, так это будет и моя заслуга перед отчизной, — ведь ты хороший и испытанный солдат.

— А не поздно ли мне становиться на добрый путь? Столько ждет меня повесток! С постели надо прямо являться в суд... Разве что бежать отсюда, а этого мне не хочется делать. Столько повесток! И что ни дело, то верный приговор и бесчестие.

— Вот у меня от этого лекарство! — сказал Володыёвский, вынимая

грамоту.

— Грамота на набор войска? — воскликнул Кмициц. — Кому?

— Тебе. И да будет тебе известно, что отныне ты не должен являться ни в какие суды, потому что состоишь на воинской службе и подсуден гетману. Послушай же, что пишет мне князь воевода.

Володыёвский прочитал Кмицицу письмо Радзивилла, вздохнул, встопорщил усики и сказал:

— Как видишь, все в моей воле: могу отдать тебе грамоту, могу ее спрятать.

Неуверенность, тревога и надежда изобразились на лице Кмицица.

— И что же ты сделаешь? — спросил он тихим голосом.

— Вручу тебе грамоту, — ответил Володыёвский.

Кмициц ничего сперва не сказал, только голову опустил на подушки и некоторое время смотрел в потолок. Вдруг глаза его увлажнились, и слезы, неведомые гости на этих глазах, повисли на ресницах.

— Пусть же меня к конским хвостам привяжут и размыкают по полю, — сказал он наконец, — пусть с меня шкуру сдерут, если я видел человека, более достойного, чем ты, милостивый пан. Если ты из-за меня получил отказ, если Оленька, как ты говоришь, по-прежнему меня любит, так ведь другой тем злее стал бы мстить, тем злее топить... А ты руку мне протянул, воскресил меня!

— Не хочу я ради частных дел жертвовать милой отчизной, которой ты еще можешь оказать немалые услуги. Должен, однако же, сказать тебе, что, если бы ты взял казаков у Трубецкого или Хованского, я бы грамоты тебе не отдал. Счастье, что ты этого не сделал!

— За образец, за образец должны принять тебя другие! — ответил Кмициц. — Дай же мне руку. Даст бог, я отплачу тебе за это добром, должник я твой до гроба!

— Вот и отлично! Но об этом потом! А теперь... голову выше! Не надо тебе под суд идти, а надо за работу браться. Будут у тебя заслуги перед отчизной, так и шляхта тебя простит, которой честь отчизны дорога. Ты еще можешь искупить свою вину, вернуть свое доброе имя и жить в сиянии славы, как в лучах солнца, а я уж знаю одну девушку, которая подумает, как наградить тебя при жизни.

— Э! — в восторге воскликнул Кмициц. — Что это я буду в постели валяться, когда враг попирает отчизну! Эй, есть там кто? Сюда! Слуга, подавай сапоги!.. Мигом! Разрази меня гром, если я буду еще нежиться в этих пуховиках!

Услышав эти слова, Володыёвский довольно улыбнулся и сказал:

— Дух у тебя сильнее тела, телом ты еще слаб.

И он стал прощаться: но Кмициц не отпускал его, благодарил, хотел угостить вином.

Совсем уже вечерело, когда маленький рыцарь покинул Любич и направился в Водокты.

— Лучшей наградой ей будет за мои злые слова, — говорил он сам с собою, — если я скажу ей, что Кмициц не только на пути к выздоровлению, но и на пути к исправлению. Не совсем он еще потерянный человек, только уж очень горячая голова. Страх как я ее этим обрадую, думаю, теперь она лучше меня примет, чем тогда, когда я предлагал ей руку и сердце. — Тут добрейший пан Михал вздохнул и пробормотал: — Кабы знать хоть, есть ли она на свете, моя суженая?

Погруженный в такие размышления, доехал он до Водоктов. Косматый жмудин выбежал к воротам, однако не спешил отворять.

— Панны дома нет, — сказал он только.

— Уехала?

— Да, уехала.

— Куда?

— Кто его знает?

— А когда воротится?

— Кто его знает?

— Да говори же ты по-человечески! Не говорила, когда воротится?

— Верно, вовсе уж не воротится, потому с телегами уехала и с узлами.

Стало быть, далеко и надолго.

— Так? — пробормотал пан Михал. — Вот что я натворил!..

ГЛАВА X

Когда теплые лучи солнца начинают прорываться сквозь пелену зимних облаков и на деревьях показываются первые побеги, а в сырых полях пробиваются наружу зеленые росточки, в людских сердцах просыпается обычно надежда. Но весна тысяча шестьсот пятьдесят пятого года не принесла обычного утешения удрученному войной народу Речи Посполитой. Вся восточная ее граница, от севера и до Дикого Поля^[46] на юге, как бы опоясалась огненной лентой, и весенние ливни не могли погасить пожар, напротив, огненная лента разливалась все шире и захватывала все больше земель. Кроме того, грозные знамения появлялись на небе, предвещая еще горшие бедствия. Из облаков, пронесившихся в небе, то и дело вырастали словно высокие башни, словно крепостные валы, которые затем рушились с грохотом. Гром гремел раскатом, когда земля еще была покрыта снегом, сосновые леса желтели, а ветви на деревьях скручивались, принимая странный, уродливый вид; звери и птицы погибали от неведомой болезни. Наконец и на солнце были замечены небывалые пятна в виде руки, держащей яблоко, пронзенного сердца и креста. Умы волновались все больше, и монахи терялись в догадках, что могут предвещать эти знамения. Странная тревога охватила все сердца.

Предсказывали новые войны, и вдруг бог весть откуда возник зловещий слух и, переходя из уст в уста, разнесся по городам и весям, будто близится нашествие шведов. Казалось, ничто не подтверждало этого слуха, ибо перемирие, заключенное с Швецией, сохраняло силу еще шесть лет, и все же об опасности войны говорили даже на сейме, который король Ян Казимир созвал девятнадцатого мая в Варшаве.

Все больше тревожных взоров обращалось к Великой Польше, на которую буря могла обрушиться в первую голову. Лещинский, воевода ленчицкий, и Нарушевич, польный писарь литовский, направились с посольством в Швецию; однако их отъезд не успокоил людей, а еще больше взбудоражил.

«Это посольство пахнет войной», — писал Януш Радзивилл.

— Если бы шведы не грозили нашествием, зачем было бы отправлять к ним посольство? — говорили другие. — Ведь совсем недавно из Стокгольма вернулся посол Каназиль; да, видно, ничего не сумел он сделать, коли вслед за ним сразу же послали столь важных сенаторов.

Люди рассудительные все еще не верили в возможность войны.

Речь Посполитая — твердили они — не дала шведам никакого повода для войны, и перемирие все еще сохраняет силу. Как можно попать присягу, нарушить самые священные договоры и по-разбойничьи напасть на соседа, не подозревающего об опасности? К тому же Швеция еще помнит раны, нанесенные ей польской саблей под Кирхгольмом, Пуцком и Тщяной^[47]! Во всей Европе не нашел Густав Адольф достойного противника, а пан Конецпольский смирял его несколько раз. Не станут шведы ставить на карту великую славу, завоеванную ими, и вступать в войну с противником, которого они никогда не могли одолеть на поле брани. Это верно, что Речь Посполитая истощена и ослаблена войною, однако одной только Пруссии и Великой Польши, которая в последних войнах совсем не пострадала, достаточно, чтобы прогнать за море этот голодный народ и оттеснить его к бесплодным скалам. Не бывает войне!

Люди беспокойные возражали на это, что еще до варшавского сейма сеймик в Гродно держал, по уговору короля, совет о защите великопольских рубежей и составил роспись податей и войск, чего он не стал бы делать, когда бы опасность не была близка.

Так надежда сменялась опасением и тяжелая неуверенность угнетала души людей, когда этому внезапно положил предел универсал генерального старосты великопольского^[48] Богуслава Лещинского, которым созывалось шляхетское ополчение познанского и калишского воеводств для защиты границ от грозящего стране шведского нашествия.

Сомнений больше не было. Клич: «Война!» — разнесся по всей Великой Польше и по всем землям Речи Посполитой.

Это была не просто война, а новая война. Хмельницкий, которому помогал Бутурлин, грозился на юге и на востоке, Хованский и Трубецкой — на севере и востоке, швед приближался с запада! Огненная лента обращалась в огненное кольцо.

Страна была подобна осажденному лагерю.

А в этом лагере недобрые творились дела. Один предатель, Радзеёвский^[49], уже бежал во вражеский стан. Это он направлял врагов на готовую добычу, он указывал на слабые стороны, он должен был склонять к предательству гарнизоны. Сколько было, помимо того, неприязни и зависти, сколько было магнатов, враждовавших друг с другом или косо смотревших на короля за то, что он отказал им в чинах, и ради личных выгод готовых в любую минуту пожертвовать благом отчизны; сколько было иноверцев, стремившихся отпраздновать свое торжество пусть даже на могиле отчизны; но еще больше было своевольников и людей

равнодушных и ленивых, которые любили только самих себя, свое богатство и свою праздную жизнь.

Однако богатая и еще не опустошенная войною Великая Польша не жалела денег на оборону. Города и шляхетские деревни выставили столько пехоты, сколько полагалось по росписи, и прежде чем шляхта самолично двинулась в стан, туда потянулись уже пестрые полки ратников под командой ротмистров, назначенных сеймиками из людей, искушенных в военном деле.

Станислав Дембинский вел познанских ратников; Владислав Влостовский — костянских, а Гольц, славный солдат и инженер, — валецких. У калишских мужиков булаву ротмистра держал Станислав Скшетуский, принадлежавший к семье храбрых воителей, племянник Яна, знаменитого участника битвы под Збаражем. Кацпер Жихлинский вел конинских мельников и солтысов. Ратников из Пыздров возглавлял Станислав Ярачевский, который провел молодые годы в иноземных войсках; ратников из Кцини — Петр Скорашевский, а из Накла — Квилецкий. Однако никто из них в военном опыте не мог сравниться с Владиславом Скорашевским, к голосу которого прислушивались даже сам командующий великопольским войском и воеводы.

В трех местах: под Пилой, Уйстем и Веленем заняли ротмистры рубежи по реке Нотец и стали ждать приближения шляхты, созванной в ополчение. С утра до вечера пехотинцы рыли шанцы, все время оглядываясь, не едет ли долгожданная конница.

Тем временем прибыл первый вельможа, пан Анджей Грудзинский, калишский воевода, и со всей своей большой свитой в белых и голубых мундирах остановился в доме бурмистра. Он думал, что его тотчас окружит калишская шляхта; однако никто не явился, и он послал тогда за ротмистром, Станиславом Скшетуским, который следил за рытьем шанцев на берегу реки.

— А где же мои люди? — спросил он после первых приветствий у ротмистра, которого знал с малых лет.

— Какие люди? — спросил Скшетуский.

— А калишское ополчение?

Полупрезрительная, полустрадальческая улыбка скользнула по темному лицу солдата.

— Ясновельможный воевода, — сказал он, — сейчас время стрижки овец, а за плохо промытую шерсть в Гданске платить не станут. Всякий шляхтич следит теперь у пруда за мойкой шерсти или стоит у весов, справедливо полагая, что шведы не убегут.

— Как так? — смутился воевода. — Еще никого нет?

— Ни живой души, кроме ратников... А там, смотришь, жатва на носу. Добрый хозяин в такую пору из дому не уезжает.

— Что ты мне, пан, толкуешь?

— А шведы не убегут, они только подступят поближе, — повторил ротмистр.

Рябое лицо воеводы вдруг покраснело.

— Что мне до шведов? Мне перед другими воеводами будет стыдно, если я останусь здесь один как перст!

Скшетуский снова улыбнулся.

— Позволь заметить, ясновельможный воевода, — возразил он, — что главное все-таки шведы, а стыд уж потом. Да и какой там стыд, когда нет еще не только калишской, но и никакой другой шляхты.

— С ума они, что ли, походили! — воскликнул Грудзинский.

— Нет, они только уверены в том, что коли им не захочется к шведам, так шведы не замедлят явиться к ним.

— Погоди, пан! — сказал воевода.

Он хлопнул в ладоши и, когда явился слуга, велел подать чернила, бумагу и перья и уселся писать.

По прошествии получаса он посыпал лист бумаги песком, стряхнул песок и сказал:

— Я посылаю еще одно воззвание, чтобы ополченцы явились pro die 27 praesentis^[50], не позднее, думаю, что в этот последний срок они pop deesse patriae^[51]. А теперь скажи мне, пан, есть ли вести о неприятеле?

— Есть. Виттенберг обучает свои войска на лугах под Дамой.

— Много ли их у него?

— Одни говорят, семнадцать тысяч, другие — что больше.

— Гм! Нас и столько не наберется. Как ты думаешь, сможем мы дать им отпор?

— Коли шляхта не явится, об этом нечего и думать.

— Как не явиться — явится! Дело известное, ополченцы никогда не торопятся. Ну, а вместе с шляхтой справимся?

— Нет, не справимся, — холодно ответил Скшетуский. — Ясновельможный воевода, у нас ведь совсем нет солдат.

— Как так нет солдат?

— Ты, ясновельможный воевода, так же, как и я, знаешь, что все войско на Украине. Нам оттуда и двух хоругвей не прислали, хотя богу одному ведомо, где гроза опасней.

— А ратники, а шляхта?

— На двадцать мужиков едва ли один нюхал порох, а на десять едва ли один умеет держать ружье. Из них получатся хорошие солдаты, но только после первой войны, не теперь. Что ж до шляхты, то спроси, ясновельможный воевода, любого, кто хоть немного знаком с военным делом, может ли шляхетское ополчение устоять против регулярных войск, да еще таких, как шведские, ветеранов всей Лютеровой войны^[52], привыкших к победам.

— Так вот ты как превозносишь шведов?

— Не превозношу я их! Будь тут у нас тысяч пятнадцать таких солдат, какие были под Збаражем, постоянного войска да конницы, я бы их не боялся, а с нашими дай бог хоть что-нибудь сделать.

Воевода положил руки на колени и в упор поглядел на Скшетуского, точно хотел прочитать в его глазах какую-то тайную мысль.

— Тогда зачем же мы пришли сюда? Уж не думаешь ли ты, что лучше было бы сдаться?

Скшетуский вспыхнул при этих словах.

— Коли я такое помыслил, вели, ясновельможный воевода, на кол меня посадить. Ты спрашиваешь, верю ли я в победу, я отвечаю как солдат: не верю! А зачем мы сюда пришли, это дело другое. Как гражданин, я отвечаю: чтобы нанести врагу первый удар, чтобы задержать его и позволить снарядиться и выступить другим воеводствам, чтобы нашими телами до той поры сдерживать натиск, покуда все мы не поляжем до последнего человека!

— Похвальное намерение, — холодно возразил воевода, — но вам, солдатам, легче говорить о смерти, нежели нам, кому придется ответ держать за море напрасно пролитой шляхетской крови.

— На то у шляхты и кровь, чтоб проливать ее.

— Так-то оно так! Все мы готовы голову сложить, это ведь самое легкое дело. Но долг тех, кто по воле провидения поставлен начальником, не одной только славы искать, но и о пользе дела думать. Это верно, что война уже как будто началась; но ведь Карл Густав родич нашему королю и должен об этом помнить. Потому и надлежит попытаться вступить в переговоры, ибо словом можно иной раз добиться большего, нежели оружием.

— Не мое это дело! — сухо ответил пан Станислав.

Воевода, видно, то же подумал, потому что кивнул головой и простился с ротмистром.

Однако Скшетуский лишь наполовину был прав, когда говорил о

медлительности шляхты, призванной в ряды ополчения. Правда, до окончания стрижки овец в стан между Пилой и Уйстем мало кто явился, но к двадцать седьмому июня, то есть к тому сроку, который был указан в новом воззвании, съехалось довольно много шляхты.

Погода давно уже стояла ясная, сухая, и тучи пыли поднимались каждый день, возвещая о приближении все новых и новых отрядов. Шляхта ехала шумно, верхами и на колесах, с целой оравой слуг, с запасами провианта, с повозками и всякими иными удобствами и с таким множеством копий, ружей, мушкетеров, сабель, тяжелых мечей и забытых уже к тому времени гусарских молотков, служивших для того, чтобы разбивать доспехи, что нередко какой-нибудь шляхтич был увешан оружием, которого с избытком хватило бы на троих. По этому вооружению ветераны тотчас узнавали людей неопытных, не нюхавших пороха.

Из всей шляхты, жившей на обширных пространствах Речи Посполитой, великопольская была наименее воинственной. Татары, турки и казаки никогда не попирали этих мест, где со времен крестоносцев почти совсем забыли, что значит воевать на родной земле. Кто из великопольской шляхты ощущал в себе воинственный пыл, тот вступал в коронные войска и сражался так же доблестно, как и прочие шляхтичи, а кто предпочитал отсиживаться дома, превращался в заправского домоседа, который любил и богатство приумножить, и повеселиться, — в ретивого хозяина, который заваливал шерстью и особенно хлебом рынки прусских городов.

Поэтому теперь, когда нашествие шведов оторвало великопольскую шляхту от мирных трудов, ей казалось, что, сколько ни возьми на войну оружия, запасов и слуг для защиты тела и имущества господина, — все будет мало.

Странные это были солдаты, и ротмистры никак не могли с ними сладить. Один, к примеру, становился в строй с копьём длиною в девятнадцать футов и в панцире, но зато в соломенной шляпе «для холодка», другой во время ученья жаловался на жару, этот зевал, ел или пил, тот звал слугу, и все, не видя в этом ничего особенного, так галдели в строю, что никто не слышал команды офицеров. Трудно было приучить шляхетскую братию к дисциплине, очень она обижалась, полагая, что дисциплина противна ее гражданскому достоинству. Правда, в строю читали «артикулы», но их никто и слушать не хотел.

Цепями на ногах этого войска было множество повозок, запасных и упряжных лошадей, скота, предназначенного для довольствия, и особенно слуг, которые стерегли шатры, снаряжение, пшено и прочую крупу и снедь и по малейшему поводу затевали ссоры и драки.

Навстречу такому вот войску со стороны Щецина и пойм реки Одры приближался, ведя семнадцать тысяч ветеранов, скованных железной дисциплиной, старый военачальник, Арвид Виттенберг, который молодость провел на Тридцатилетней войне.

С одной стороны стоял беспорядочный польский стан, похожий на ярмарочное сборище, шумный, недовольный, с неумолчными спорами и разговорами о приказах начальников, состоявший из степенных мужичков, которые наспех были превращены в пехотинцев, и господ, которых оторвали прямо от стрижки овец. С другой стороны двигался лес копий и мушкетных дул, шли маршем грозные, безмолвные колонны, которые, по мановению руки военачальника, с регулярностью машин разворачивались в линии и полукруги, смыкались в клинья и треугольники, ловкие, как меч в руке фехтовальщика, шли настоящие воители, холодные, невозмутимые, достигшие высшего мастерства в военном своем ремесле. Кто же из людей опытных мог сомневаться в том, чем кончится встреча и на чьей стороне будет победа?

Тем не менее в стан съезжалось все больше шляхты, а еще раньше стали прибывать вельможи из Великой Польши и других провинций с состоявшими при них войсками и слугами. Вскоре после воеводы Грудзинского в Пилу явился могущественный воевода познанский Кшиштоф Опалинский. Три сотни гайдуков, наряженных в желтые с красным мундиры и вооруженных мушкетами, выступало перед каретой воеводы; придворные и шляхта толпою окружали его высокую особу; за ними в боевом строю следовал отряд рейтар в таких же мундирах, как и гайдуки; а сам воевода ехал в карете, имея при своей особе шута, Стаха Острожку, который обязан был увеселять в дороге своего угрюмого господина.

Приезд столь славного вельможи ободрил и воодушевил войско, ибо всем тем, кто взирал на царственное величие воеводы, на гордый его лик с высоким, как свод, челом и умными, суровыми очами, на всю его сенаторскую осанку, и в голову не могло прийти, что такого властителя может постичь какая-нибудь неудача.

Людам, привыкшим почитать чины и лица, казалось, что даже шведы не посмеют поднять святотатственную руку на такого магната. Те, у кого в груди билось робкое сердце, под его крылом сразу почувствовали себя в безопасности. Воеводу приветствовали горячо и радостно; клики раздавались вдоль всей улицы, по которой кортеж медленно подвигался к дому бурмистра; головы склонялись перед воеводой, который был виден как на ладони сквозь стекла раззолоченной кареты. Вместе с воеводой на

поклоны отвечал и Острожка, притом с таким достоинством и важностью, точно толпы народа кланялись ему одному.

Не успела улечься пыль после приезда познанского воеводы, как прискакали гонцы с вестью, что едет его двоюродный брат, подляшский воевода Петр Опалинский со своим шурином, Якубом Роздражевским, воеводой иновроцлавским. Кроме придворных и слуг, они привели по полторы сотни вооруженных людей. А потом дня не проходило, чтобы не прибыл кто-нибудь из вельмож: приехал Сендзивой Чарнковский, шурином Кшиштофа Опалинского, каштелян познанский, затем Станислав Погожельский, каштелян калишский, Максимилиан Мясковский, каштелян кшивинский, и Павел Гембицкий, каштелян мендзижецкий. Местечко переполнили толпы людей, так что негде было разместить даже придворных. Прилегающие луга запестрели шатрами ополчения. Можно было подумать, что в Пилу со всей Речи Посполитой слетелись разноперые птицы.

Мелькали красные, зеленые, голубые, синие, белые кафтаны и полукафтаны, жупаны и кунтуши, ибо, не говоря уж о шляхетском ополчении, в котором каждый шляхтич носил другое платье, не говоря о придворных и слугах, даже ратники от каждого повета были одеты в мундиры разных цветов.

Явились и маркитанты, которые не могли разместиться на рынке и построили палатки за местечком. В них продавалось военное снаряжение — от мундиров до оружия — и продовольствие. Одни харчевни дымили день и ночь, разнося запах бигоса, пшенной каши, жареного мяса, в других продавались напитки. Толпы шляхтичей, вооруженных не только мечами, но и ложками, толкались перед ними; они ели, пили и вели разговоры то о неприятеле, которого еще не было видно, то о подъезжающих вельможах, на чей счет отпускалось немало соленых шуток.

Среди кучек шляхты с самым невинным видом прохаживался Острожка в платье, сшитом из пестрых лоскутьев, и со скипетром, украшенным бубенцами. Везде, где он только показывался, его тотчас окружала толпа, а он, подливая масла в огонь, помогал высмеивать вельмож и задавал загадки одна другой ядовитей, так что шляхта со смеху покатывалась.

В них Острожка никому не давал спуска.

Однажды в полдень на рынок вышел сам воевода познанский и, вмешавшись в толпу, стал благосклонно беседовать то с отдельными шляхтичами, то сразу со всей толпою, осторожно сетуя на короля за то, что он, несмотря на приближение неприятеля, не прислал ни одной регулярной

хоругви.

— Никто о нас не думает, — говорил он, — оставили нас без подмоги. В Варшаве толкуют, что на Украине и так слишком мало войска и что гетманы не могут справиться с Хмельницким. Что поделаешь! Видно, кое-кому Украина милей, чем Великая Польша... В немилости мы с вами, в немилости! Отдали нас на съедение!

— А кто в этом повинен? — спрашивал Шлихтинг, всховский судья.

— Кто повинен во всех бедах Речи Посполитой? — воскликнул воевода. — Да уж конечно, не мы, братья шляхтичи, мы ведь грудью ее защищаем.

Шляхтичам, которые слушали его, очень польстило, что «граф бнинский и опаленицкий» почитает себя за равню им и называет «братьями».

— Ясновельможный воевода, — тотчас подхватил Кошуцкий, — побольше бы его величеству таких советников, как твоя милость, уж, верно бы, нас не бросили тогда на съедение врагу. Но, похоже, там правят те, кто гнет спину.

— Спасибо, брат, на добром слове! Во всем повинен тот, кто слушает злого совета. Наши вольности кое-кому как бельмо на глазу. Чем больше погибнет шляхты, тем легче будет ввести *absolutum dominium*.^[53] (лат.).

— Неужто же нам ради того погибать, чтобы дети наши стонали в неволе?

Воевода ничего не ответил, а изумленная шляхта переглянулась.

— Так вот оно дело какое? — раздались многочисленные голоса. — Так это нас сюда на убой послали? Теперь мы поняли! Не сегодня начались эти разговоры об *absolutum dominium*! Но коли на то пошло, так и мы сумеем позаботиться о наших головах!

— И о наших детях!

— И о нашем имени, которое враг будет опустошать *igne et ferro*.^[54]

Воевода молчал.

Весьма странным способом воодушевлял своих солдат этот военачальник.

— Король всему виною! — кричало все больше голосов.

— А вы помните историю Яна Ольбрахта^[55]? — спросил воевода.

— «При короле Ольбрахте погибла вся шляхта!» Измена, братья!

— Король, король изменник! — крикнул чей-то смелый голос.

Воевода молчал.

Но тут Острожка, стоявший рядом с ним, захлопал себя по ляжкам и

так пронзительно запел петухом, что все взоры обратились на него.

— Братья шляхтичи, голубчики! Послушайте мою загадку!

Шляхтичи, переменчивые, как погода в марте, мгновенно забыли о своем негодовании; сгорая от любопытства, они хотели теперь одного — поскорее услышать новую остроуту шута.

— Слушаем! Слушаем! — раздались голоса.

Шут, как обезьяна, заморгал глазами и стал читать пискливым голосом:

*Получил он от брата жену и венец,
Только тут же пришел нашей славе конец.
Он подканцлера выгнал и нынче, ей-ей,
Сам подканцлером стал при... супруге своей*

— Король, король! Клянусь богом, Ян Казимир! — раздались голоса со всех сторон.

И толпа разразилась громовым хохотом.

— А чтоб его, как здорово сочинил! — кричала шляхта.

Воевода смеялся вместе со всеми; но когда толпа поутихла, сказал глубокомысленно:

— И за такое дело мы должны теперь кровь проливать, сложить свои головы!.. Вот до чего дошло! На тебе, шут, дукат за добрую загадку!

— Кшиштофек! Кших, дорогой мой! — ответил Острожка. — Почему ты нападаешь на других за то, что они держат скоморохов, а сам не только держишь меня, но еще и за загадки приплачиваешь? Дай же мне еще дукат, я загадаю тебе другую загадку.

— Таковую же хорошую?

— Только подлинней. Дай сперва дукат.

— Бери!

Шут снова захлопал руками, как крыльями, снова запел петухом и крикнул:

— Братья шляхтичи, послушайте, кто это такой:

*Катоном он прослыл, оружием взял сатиру,
Не саблю, а перо он предпочел и лиру;
Но обошел король сатирика чинами,
И освистал Катон Republicat^[56]
стихами.*

*Любил бы саблю он, и были б меньше беды,
Сатир его пустых не побоятся шведы.*

Да он бы сам небось охотно им продался,

Как пан, чей важный чин он получить старался.

Все присутствующие тотчас отгадали и эту загадку. Два-три сдавленных смешка раздалась в толпе, после чего воцарилось глубокое молчание.

Воевода побагровел и совсем смешался, ибо все взоры были устремлены на него, а шут все поглядывал на шляхтичей, а потом спросил:

— Так как же, дорогие мои, никто из вас не может отгадать, кто это такой?

Немое молчание было ответом, тогда Острожка с пренахальным видом обратился к воеводе:

— Неужто и ты, Кших, не знаешь, о каком бездельнике был тут разговор? Не знаешь? Тогда плати дукат!

— Бери! — ответил воевода.

— Бог тебя вознаградит!.. Скажи, Кших, а ты не старался получить подканцлерство после бегства Радзеёвского?

— Не время шутки шутить! — отрезал Кшиштоф Опалинский.

И, сняв шапку, поклонился шляхте:

— Будьте здоровы! Мне пора на военный совет.

— Ты, Кших, хотел сказать: на семейный совет, — поправил его Острожка. — Вы ведь там все родичи, и совет будете держать о том, как бы дать отсюда тягу. — После этого он повернулся к шляхте и, сняв шапку, поклонился, точь-в-точь как воевода: — А вам, — сказал он, — только этого и надо!

И они ушли вдвоем, но не успели сделать и двух десятков шагов, как поднялся оглушительный хохот; он звучал в ушах воеводы до тех пор, пока не потонул в общем шуме стана.

Военный совет и впрямь состоялся, и председательствовал на нем воевода познанский. Это был небывалый совет! В нем принимали участие одни только вельможи, не знавшие военного дела. Они были великопольскими магнатами и не следовали, да и не могли следовать примеру литовских или украинских «самовластителей», которые, как саламандры, жили в непрестанном огне.

Там что ни воевода или каштелян, то был военачальник, у которого никогда не пропадали на теле красные следы от кольчуги, который молодость проводил на востоке, в степях и лесах, в станах и лагерях, среди битв, засад и преследований. Здесь же были одни вельможи, занимавшие высокие посты, и хотя во время войн они тоже выступали в походы с

шляхетским ополчением, однако никогда не бывали военачальниками. Мир ненарушимый охладил боевой пыл и у потомков тех рыцарей, перед которыми некогда не могли устоять железные когорты крестоносцев, превратил их в державных мужей, ученых, сочинителей. Только суровая шведская школа научила их тому, что они успели забыть.

А пока вельможи, собравшиеся на совет, неуверенно переглядывались и, боясь заговорить первыми, ждали, что скажет «Агамемнон», воевода познанский.

«Агамемнон» же ровно ничего не смыслил в военном деле, и речь свою снова начал с жалоб на неблагодарность и бездействие короля, который всю Великую Польшу и их самих с легким сердцем отдал на растерзание врагу. И как же был красноречив воевода, какую величественную принял осанку, достойную, право же, римского сенатора: голову он держал высоко, черные глаза его метали молнии, уста — грома, а седящая борода тряслась от воодушевления, когда он живописал грядущие бедствия отчизны.

— Кто же страждет в отчизне, — говорил он, — как не сыны ее, а здесь нам придется пострадать первым. Наши земли, наши поместья, дарованные предкам за заслуги и кровь, будет первыми попирает враг, который, как вихрь, приближается к нам с моря. За что же мы страдаем? За что угонят наши стада, потопчут наши хлеба, сожгут деревни, построенные нашими трудами? Разве это мы нанесли обиды Радзеёвскому, разве мы несправедливо осудили его и преследовали как преступника, так что он вынужден был искать покровительства у иноземцев? Нет! Разве мы настаиваем на том, чтобы пустой титул шведского короля, который стоил уже моря крови, был сохранен в подписи нашего Яна Казимира^[57]? Нет! Две войны пылают на двух границах — так им понадобилось вызвать еще третью? Пусть бог, пусть отчизна судят того, кто во всем этом повинен!.. Мы же умоем руки, ибо не повинны мы в крови, которая прольется...

Так метал воевода грома и молнии, но когда дошло до существа дела, ничего путного он посоветовать не смог.

Тогда послали за ротмистрами, которые командовали ратниками, в первую голову за Владиславом Скорашевским, который был не только славным и несравненным рыцарем, но и старым воителем, знавшим ратное дело как свои пять пальцев. Его дельных советов слушались нередко даже военачальники, тем более жаждали их сейчас вельможи.

Пан Скорашевский посоветовал стать тремя станами — под Пилой, Веленем и Уйстем — на таком расстоянии, чтобы в случае нападения войска могли прийти друг другу на помощь; кроме того, все поречье,

охваченное полукружьем станов, укрепить шанцами, которые господствовали бы над переправами.

— Мы увидим, — говорил Скорашевский, — где враг наводит переправу, и соберем тогда там все три стана, чтобы дать ему достойный отпор. Я же, с вашего соизволения, направлюсь с небольшим отрядом в Чаплинек. Гиблая это позиция, и я постараюсь вовремя оттуда уйти, но там я первым разведу, где противник, и дам вам знать.

Все согласились с этим советом, и в стане поднялось движение. Шляхты съехалось уже около пятнадцати тысяч. Пехота рыла шанцы на протяжении шести миль.

Уйсте, главную позицию, занял со своими людьми воевода познанский. Часть рыцарей осталась в Велене, часть в Пиле, а Владислав Скорашевский отправился в Чаплинек, чтобы оттуда вести наблюдение за неприятелем.

Наступил июль; дни по-прежнему стояли ясные и жаркие. Солнце на равнине так припекало, что шляхта укрывалась от зноя в лесах; кое-кто велел даже раскинуть шатры в тени деревьев. Там устраивались веселые и шумные попойки; но еще больший шум поднимали слуги, особенно когда выводили на берег Нотеца и Глды лошадей на водопой и купанье, а выгоняли они их три раза в день, сразу по несколько тысяч, и при этом ссорились и дрались за лучшее место на берегу.

Но как ни старался воевода познанский ослабить дух войск, сначала все были полны отваги. Если бы Виттенберг подошел к стану в начале июля, он, весьма вероятно, натолкнулся бы на сильное сопротивление, которое в пылу сражения могло бы обратиться в непреодолимый натиск, как тому бывало много примеров. Что ни говори, в жилах этих людей, хоть и отвыкших от войны, текла рыцарская кровь.

Как знать, может, какой-нибудь новый Иеремия Вишневецкий обратил бы Уйсте во второй Збараж и открыл бы в этих шанцах новую страницу рыцарской славы. Увы, воевода познанский умел только писать, но не сражаться.

Виттенберг, не только искушенный воитель, но и человек прозорливый, быть может, умышленно не торопился. Многолетний опыт учил его, что необстрелянные солдаты наиболее опасны в первые минуты воодушевления и что им часто недостает не мужества, а того солдатского закала, который дает только опыт. Они могут стремительным натиском опрокинуть самые закаленные в боях полки и пройти по трупам людей. Это железо, которое кипит, дышит, брызжет искрами, обжигает и уничтожает, пока оно горячо, а когда остынет, представляет собою лишь мертвую глыбу

металла.

Прошла неделя, другая, началась третья, и долгое бездействие стало тяготить ополченцев. Зной становился невыносимым. Шляхта не желала выходить на ученья, отговариваясь тем, что «лошади от укусов слепней не стоят на месте, да и от комаров в этих болотистых местах просто житья нет...».

Челядь все больше ссорилась за тенистые уголки, между господами дело тоже доходило до сабель. Кое-кто, отправившись вечером к реке, уезжал украдкой из стана, чтобы больше туда не возвратиться.

Дурной пример подавали и сами вельможи. Скорашевский как раз дал знать из Чаплинка, что шведы уже близко, когда военный совет уволил домой сына средзского старосты Зигмунта Грудзинского из Грудной, на чем очень настаивал его дядя Анджей, воевода калишский.

— Коли мне доведется сложить тут голову, отдать свою жизнь, — говорил он, — пусть хоть племянник унаследует мою славу и сохранит память о моих заслугах, чтобы не пропали они даром.

Тут он расчувствовался, вспомнив о молодости и невинности племянника, и стал превозносить щедрость, с какой тот выставил для Речи Посполитой целую сотню отличных ратников. И военный совет снизошел к просьбе дяди.

Утром шестнадцатого июля, буквально накануне осады и битвы, сын средзского старосты с двумя десятками слуг открыто уезжал из стана домой. Толпы шляхты провожали его из стана градом насмешек, а предводительствовал ими Острожка, который издали кричал вслед уезжавшему магнату:

— Вельможный пан, дарю тебе к фамилии прозвание deest!^[58]

— Виват Деест-Грудзинский! — орала шляхта.

— И не плачь ты о дядюшке! — продолжал кричать Острожка. — Он, как и ты, презирает шведов, пусть они только появятся, наверно, тотчас покажет им спину!

Кровь бросалась в голову молодому магнату, но он делал вид, что не слышит оскорблений, только шпорил коня да расталкивал толпу, чтобы поскорее выбраться из стана и уйти от своих преследователей, которые в конце концов, не глядя на его род и звание, стали швырять в него комьями земли и кричать:

— Труси, труси, трусливый заяц! Улепетывай! Ату его! Ха-ха! Серый!

Поднялся такой шум, что прибежал сам воевода познанский с несколькими ротмистрами и стал успокаивать толпу, объяснять ей, что Грудзинский взял отпуск только на неделю по очень важному делу.

Но дурной пример заразителен, и в тот же день нашлось несколько сот шляхтичей, которые решили, что они не хуже Грудзинского, и тоже бежали, только с меньшей свитой и с меньшим шумом. Станислав Скшетуский, ротмистр калишский, племянник Яна Скшетуского, знаменитого участника битвы под Збаражем, рвал на себе волосы, потому что и его мужики, по примеру «господ», стали «утекать» из стана. Снова был созван военный совет, в котором непременно хотели принять участие целые толпы шляхтичей. Ночь пришла тревожная, полная криков и свар. Все подозревали друг друга в намерении бежать. Возгласы: «Или все, или никто!» — передавались из уст в уста.

Каждую минуту распространялся слух, будто воеводы уходят, и тут поднималось такое смятение, что воеводам пришлось несколько раз показываться возмущенным толпам. Более пятнадцати тысяч человек простояли верхом до рассвета, а воевода познанский ездил вдоль шеренг, обнажив голову, подобный римскому сенатору, и то и дело повторял великие слова:

— Братья, с вами жить и умирать!

В некоторых местах его встречали кликами: «Виват!» — но кое-где слышались насмешливые возгласы. Он же, едва успокоив толпу, возвращался на совет, усталый, охрипший, упоенный величием собственных слов и убежденный в том, что в эту ночь он оказал отчизне незабываемые услуги.

Однако на совете слова не шли из его уст, в отчаянии он только тербил хохол и бороду и все повторял:

— Если можете, посоветуйте, что делать! Я умываю руки, ибо с такими солдатами обороняться нельзя.

— Ясновельможный воевода! — возражал ему Станислав Скшетуский. — Сам неприятель положит конец своеволию и смуте. Стоит только зареветь пушкам, стоит только начаться осаде и обороне, и та же шляхта ради спасения собственной жизни должна будет драться на валах, а не бунтовать в стане. Так уже не раз бывало!

— Чем нам обороняться? Орудий нет, одни только пушчонки, которые годятся разве только для салютов на пиру.

— Под Збаражем у Хмельницкого было семьдесят орудий, а у князя Иеремии только десятка полтора шестифунтовых пушек да единорогов.

— Но у него была не ополченская шляхта, а войско, не стригуны овец, а свои прославленные хоругви. Из овечьих стригунов он солдат сделал.

— Надо послать гонца за паном Владиславом Скорашевским, — сказал Сендзивой Чарнковский, каштелян познанский. — Назначить его

начальником стана. Шляхта его почитает, и он сможет держать ее в узде.

— Послать гонца за Скорашевским! Нечего ему сидеть в Драгиме или в Чаплинке! — повторил Анджей Грудзинский, воевода калишский.

— Да, да! — раздались голоса. — Лучше ничего не придумаешь!

И за Владиславом Скорашевским был послан гонец. Никаких других решений совет не принял, зато много было разговоров и жалоб и на короля и королеву, и на то, что войск нет, и на то, что их забыли.

Следующее утро не принесло ни радости, ни успокоения. Напротив, смятение усилилось. Кто-то пустил вдруг слух, будто кальвинисты содействуют шведам и при первом же удобном случае готовы перейти во вражеский стан. Мало того, слух этот не был опровергнут ни Шлихтингом, ни Эдмундом и Яцеком Курнатовскими, тоже кальвинистами, но искренне преданными отчизне. Напротив, они сами подтвердили, что иноверцы, обособившись, строят козни, а предводителем у них известный изверг и мятежник Рей, который смолоду служил охотником у немцев на стороне лютеран и был большим другом шведов. Не успел этот слух разнестись по стану, как тотчас сверкнули тысячи сабель и поднялась настоящая буря.

— Изменников пригрели! Змею пригрели, готовую кусать материнскую грудь! — кричала шляхта.

— Отдайте их нам!

— Изрубить их! Подлая измена! Вырвать плевелы с корнем, не то мы все погибнем!

Снова пришлось воеводам и ротмистрам утихомиривать шляхту, однако теперь сделать это было еще труднее, чем накануне. Да они и сами были убеждены, что Рей готов открыто изменить отчизне, потому что он давно перенял все иноземные обычаи и, кроме языка, у него не осталось ничего польского. Было решено выслать его из стана, что немного успокоило взволнованные умы. Однако долго еще в стане слышались крики:

— Отдайте их нам! Измена! Измена!

Странное настроение царило теперь в стане. Одни пали духом и предались унынию. В молчании блуждали они вдоль валов, со страхом и тоской поглядывая на равнину, откуда должен был подойти неприятель, или шепотом делились друг с другом самыми ужасными новостями.

Безумная, отчаянная веселость обуяла других, они ощутили в себе готовность умереть. А чтобы весело провести остаток дней, запиروвали, загуляли напропалую. Иные помышляли о спасении души и проводили время в молитвах. Никого только не было во всей этой толпе, кто бы подумал о победе, точно победа была делом совершенно немислимым, хотя

неприятель и не располагал превосходными поляков силами: у него было только больше пушек, лучше обученное войско и военачальник, знавший военное дело.

Пока польский стан кипел, бурлил, пировал, возмущался и стихал, как море, волнуемое ветром, пока шляхетское ополчение шумело, как на сейме во время избрания короля, по раздольным зеленым поймам Одры спокойно подвигались шведские полчища.

Впереди выступала бригада королевской гвардии; ее вел Бенедикт Горн, грозный воитель, чье имя со страхом повторяли в Германии; люди в бригаде были рослые, молодцы как на подбор, в шлемах с гребнем и затыльником, прикрывавшим уши, в желтых кожаных кафтанах, вооруженные рапирами и мушкетами, хладнокровные и упорные в бою и послушные мании полководца.

Карл Шеддинг, немец, вел следующую, вестготландскую бригаду, состоявшую из двух полков пехоты и одного тяжелой конницы в панцирях без наплечников; одна половина пехоты была вооружена мушкетами, другая копьями: в начале боя мушкетеры выступали впереди, а если их атаковала конница, они отступали за копыеносцев, те же, уткнув один конец копья в землю, другой наставляли навстречу мчавшимся лошадям. При Сигизмунде Третьем, под Тшцяной, одна гусарская хоругвь изрубила саблями и растоптала эту самую вестготландскую бригаду, в которой теперь служили преимущественно немцы.

Две смаландские бригады вел Ирвинг, которого прозвали Безруким, так как, защищая в свое время хоругвь, он потерял правую руку, зато в левой у него была такая силища, что он мог с размаху отрубить голову лошади; это был угрюмый солдат, любивший только войну и кровопролитие, безжалостный и к себе и к солдатам. Когда из других «предводителей» в непрерывных войнах выковались мастера своего дела, любившие войну ради войны, он неизменно оставался все тем же фанатиком и, убивая людей, пел божественные псалмы.

Вестманландская бригада шла под водительством Дракенборга, а гельсингерскую, состоявшую из прославленных стрелков, вел Густав Оксеншерна, родич знаменитого канцлера, молодой военачальник, подававший большие надежды. Остготландскую бригаду вел Ферсен, а нерикскую и вермландскую — сам Виттенберг, который одновременно предводительствовал всем войском.

Семьдесят два орудия оставляли глубокие борозды на сырых лугах, всех же солдат было семнадцать тысяч, грозных грабителей Германии, бойцов такой выучки, что сравниться с ними, особенно с пехотой, могла

разве только французская гвардия. За полками тянулись обозы и шатры, полки же шли в строю, каждую минуту готовые к бою.

Лес копий поднимался над морем голов, шлемов и шляп, а между копьями плыли к польской границе большие голубые знамена с белыми крестами посередине.

С каждым днем сокращалось расстояние, разделявшее два войска.

Наконец двадцать первого июля в лесу, подле деревушки Генрихсдорф, шведские полчища впервые увидели пограничный польский столб. При виде этого столба громкие клики раздались в войсках, загремели трубы, бубны и литавры и развернулись все знамена. Виттенберг в сопровождении блестящей свиты выехал вперед, и все полки проходили мимо него, салютуя оружием, конница с рапирами наголо, пушки с зажженными фитилями. Час был полуденный, погода прекрасная. В лесном воздухе пахло смолой.

Серая, залитая солнечными лучами дорога, по которой проходили шведские хоругви, выбегая из генрихсдорфского леса, терялась на горизонте. Когда войска вышли по этой дороге из лесу, их взорам открылась веселая, озаренная улыбкой страна со злачными желтеющими нивами, что переливались на солнце, с разбросанными там и сям дубравами, с зелеными лугами. За дубравами далеко-далеко поднимались к небу струйки дыма; на отаве виднелись пасущиеся стада. Там, где на лугах сверкала в широком разливе река, спокойно расхаживали аисты.

Сладостная тишина была разлита повсюду на этой земле, текущей медом и млеком. Казалось, она распростиралась все шире и раскрывала объятия войскам, будто не захватчиков встречала, а гостей, прибывающих с миром.

Когда взору открылась эта картина, новый клик вырвался из груди у всех солдат, особенно коренных шведов, привыкших к нагой, бедной и дикой природе родного края. Сердца людей, жадных до чужого и бедных, загорелись желанием захватить эти сокровища и богатства, которые представились их очам. Воодушевление охватило ряды войск.

Однако, закаленные в огне Тридцатилетней войны, солдаты знали, что нелегкой ценой могут они покорить этот край, ибо населял его народ многочисленный и отважный, который умел его защищать. В Швеции еще жива была память о страшном разгроме под Кирхгольмом, когда три тысячи конницы под водительством Ходкевича растоптали восемнадцать тысяч отборного шведского войска. В домах Вестготланда и Смаланда вплоть до самой Далекарлии рассказывали о крылатых рыцарях, словно о великанах из саги. Еще свежей была память о битвах при Густаве Адольфе,

ибо живы были люди, которые участвовали в них. Прежде чем пронестись через всю Германию, скандинавский орел дважды обломал когти о легионы Конецпольского.

Потому-то радость в сердцах шведов соединялась с известным опасением, которое закралось и в душу самого полководца Виттенберга. Он озирает проходившие мимо полки пехоты и конницы такими очами, какими пастырь озирает свое стадо, затем обратился к тучному человеку в шляпе с пером и в светлом парике, ниспадавшие на плечи.

— Так вы уверяете, — сказал он, — что с этими силами можно сломить войска, стоящие под Уйстем?

Человек в светлом парике улыбнулся.

— Ваша милость, вы можете вполне на меня положиться, я готов головой поручиться за свои слова. Если бы под Уйстем были регулярные войска и кто-нибудь из гетманов, тогда я первый посоветовал бы не торопиться и подождать, пока не подойдет его величество со всем войском; но против шляхетского ополчения и этих великопольских вельмож наших сил более чем достаточно.

— А не пришлют им подкреплений?

— Подкреплений не пришлют по двум причинам: во-первых, потому, что все войска, которых вообще немного, заняты в Литве и на Украине; во-вторых, потому, что в Варшаве ни король Ян Казимир, ни канцлеры, ни сенат до сих пор не хотят верить, что его величество король Карл Густав, невзирая на перемирие и последние посольства, невзирая на готовность поляков пойти на уступки, все же начнет войну. Они надеются, что в последнюю минуту мир будет заключен... ха-ха!

Тучный человек снял шляпу, утер пот с красного лица и прибавил:

— Трубецкой и Долгорукий^[59] в Литве, Хмельницкий на Украине, а мы вступаем в Великую Польшу! Вот до чего довело правление Яна Казимира!

Виттенберг бросил на него странный взгляд и спросил:

— И вы этому рады?

— А я этому рад, ибо мои обиды и моя невинность будут отмщены; кроме того, я уже ясно вижу, что сабля вашей милости и мои советы возложат новую, самую прекрасную в мире корону на главу Карла Густава.

Виттенберг устремил взгляд вдаль, окинул леса, дубовые рощи, луга и нивы и через минуту сказал:

— Да! Прекрасна и плодородна эта страна. Вы тоже можете быть уверены, что после войны его величество никому другому не вверит здесь наместничества.

Тучный человек снова снял шляпу.

— Я также не желаю другого повелителя, — прибавил он, поднимая глаза к небу.

Небо было ясным и безоблачным, и гром не грянул, не разразил изменника, который на этой границе предавал в руки неприятеля свою истерзанную отчизну, стонавшую под бременем двух войн.

Человек, беседовавший с Виттенбергом, был Иероним Радзеёвский, бывший коронный подканцлер, ныне изменник, перебежавший на сторону шведов.

Некоторое время они стояли в молчании; тем временем две последние бригады, нерикская и вермландская, пересекли границу; вслед за ними покатили орудия, трубы все еще играли, а гром литавр и грохот барабанов заглушали шаги солдат, рождая в лесу злоещее эхо. Наконец двинулся и штаб. Радзеёвский ехал рядом с Виттенбергом.

— Оксеншерны не видно, — сказал Виттенберг. — Боюсь, как бы с ним чего не случилось. Не знаю, хороший ли это был совет послать его вместо трубача с письмами под Уйсте.

— Хороший, — ответил Радзеёвский. — Он осмотрит стан, увидит военачальников и разведает, что они замышляют, а этого какой-нибудь обозник не сделает.

— А если его узнают?

— Там его знает один только Рей, а он наш. Да если его и узнают, все равно ничего дурного ему не сделают, напротив, и припасом снабдят на дорогу, и наградят... Я поляков знаю, они на все готовы, только бы показать перед иноземцами, какой они учтивый народ. Мы все усилия употребляем на то, чтобы нас хвалили иноземцы. За Оксеншерну вы можете быть спокойны, волос у него с головы не упадет. Не видно его, потому что времени прошло еще слишком мало.

— А как вы думаете, будет ли какой-нибудь прок от наших писем?

Радзеёвский рассмеялся.

— Позвольте мне стать пророком и предсказать, что станется. Воевода познанский — человек политичный и ученый, а посему ответит он нам политично и весьма учтиво, а так как он любит слыть за римлянина, то и ответ его будет свехримский: сперва он нам напишет что предпочитает пролить последнюю каплю крови, нежели сдаться, что смерть лучше бесславия, а любовь, которую он питает к отчизне, велит ему сложить голову на ее границе.

Радзеёвский засмеялся еще громче, суровое лицо Виттенберга тоже прояснилось.

— Вы хотите сказать, — спросил он, — что он вовсе не собирается так поступить?

— Он? — переспросил Радзеёвский. — Это правда, что он любит отчизну, но питает он свою любовь одними чернилами, а это не очень сытная пища, вот и любовь его еще тощей, чем его шут, который помогает ему сочинять вирши. Я уверен, что после этого римского ответа последуют пожелания доброго здоровья и успехов, заверения в совершенном почтении, а в заключение просьба пощадить поместья его и его родичей, за что он и его родичи будут вечно нам благодарны.

— Какой же, в конце концов, прок будет от наших писем?

— В стане все окончательно падут духом, а господа сенаторы начнут с нами переговоры, и после нескольких выстрелов в воздух мы займем всю Великую Польшу.

— О, если бы вы в самом деле оказались пророком!

— Я уверен, что так оно и будет, потому что знаю этих людей. У меня есть друзья и сторонники во всей стране, и я знаю, как надо вести дело. А что я не оплошаю, тому порукою обида, которую нанес мне Ян Казимир, и любовь моя к Карлу Густаву. Люди у нас сейчас пекутся больше о своем добре, нежели о сохранении Речи Посполитой. Все те земли, по которым мы сейчас будем идти, это поместья Опалинских, Чарнковских, Грудзинских, а так как именно эти вельможи стоят под Уйстем, то и во время переговоров они будут помягче. Что ж до шляхты, то достаточно посулить ей, что она по-прежнему может шуметь на сеймиках, и она последует за своими воеводами.

— Вы знаете эту страну и народ и оказываете его величеству такую помощь, которая не может остаться без достойной награды. Из ваших слов я вправе заключить, что могу эту землю считать нашей.

— Можете, ваша милость, можете, можете! — поспешил повторить Радзеёвский.

— В таком случае я занимаю ее именем его величества короля Карла Густава, — с достоинством заявил Виттенберг.

В то время как шведские войска, миновав Генрихсдорф, попирали уже земли Великой Польши, в польский стан, несколько ранее, восемнадцатого июля, прибыл шведский трубач с письмами к воеводам от Радзеёвского и Виттенберга.

Владислав Скорашевский сам проводил трубача к воеводе познанскому, а шляхта из ополчения с любопытством глазела на «первого шведа», любуясь его осанкой, мужественным лицом, желтыми усами с кончиками, зачесанными вверх широкой щеткой, всей его барственной

повадкой. Толпы ополченцев провожали трубача к воеводе, знакомые окликали друг друга, показывали на него пальцами, подсмеивались, глядя на сапоги бутылками и на длинную простую рапиру, которую называли рожном, висевшую на перевязи с богатой серебряной насечкой. Швед тоже то бросал любопытные взгляды из-под своей широкополой шляпы, точно хотел все высмотреть в стане и подсчитать силы противника, то глазел на шляхту, восточный наряд которой был ему, видно, в диковинку.

Наконец его ввели к воеводе, у которого собрались все вельможи, находившиеся в стане.

Тотчас были прочитаны письма, и начался совет, а трубача воевода поручил своим придворным, чтобы те угостили его по-солдатски; у придворных шведа перехватила шляхта, и, дивясь на него, как на некое чудище, стала пить с ним до изумления.

Скорашевский тоже внимательно на него поглядывал по той, однако, причине, что заподозрил в нем переодетого трубачом офицера; вечером он даже отправился с этой мыслью к воеводе; однако тот ответил, что это не имеет значения, и арестовать трубача не позволил.

— Будь он сам Виттенберг, — сказал воевода, — он прибыл к нам послом и должен уехать в безопасности... Я велю еще дать ему десять дукатов на дорогу.

Трубач тем временем на ломаном немецком языке вел разговор с теми шляхтичами, которые понимали этот язык, ибо имели сношения с прусскими городами, и рассказывал им о победах, одержанных Виттенбергом в разных странах, о силах, идущих к Уйстю, особенно же о новых орудиях, столь совершенных, что против них нет средств обороны. Шляхту эти рассказы очень смутили, и вскоре по стану поползли всякие преувеличенные слухи.

В ту ночь почти никто не спал во всем Уйсте; прежде всего около полуночи подошли люди, которые до сих пор стояли в отдельных станах под Пилой и Веленем. Вельможи до рассвета готовили ответ на письма, а шляхта проводила время, рассказывая о военной мощи шведов.

С лихорадочным любопытством спрашивали ополченцы трубача о военачальниках, войске, оружии, способах ведения боя и каждый его ответ передавали из уст в уста. Близость шведских полчищ придавала небывалый интерес всяким подробностям, которые, увы, не могли поднять дух шляхты.

На рассвете приехал Станислав Скшетуский с вестью о том, что шведы подошли к Валчу и от польского стана находятся на расстоянии одного дня пути. Тотчас поднялась страшная суматоха; большая часть слуг

была с лошадьми на лугах, пришлось спешно посылать за ними. Поветы садились на конь и строились хоругвями. Минута перед боем для необученного солдата бывает самой страшной, и прежде чем ротмистры успели навести кое-какой порядок, в стане царило ужасное замешательство.

Не слышно было ни команд, ни рожков, отовсюду только неслись голоса: «Ян! Петр! Онуфрий! Сюда!.. А чтоб вас бог убил! Подавайте коней!.. Где мои слуги? Ян! Петр!..» Если бы в эту минуту раздался один пушечный залп, замешательство легко могло бы перейти в смятение.

Однако поветы понемногу построились. Прирожденная способность шляхты к войне отчасти возместила недостаток опыта, и к полудню стан представлял уже довольно внушительное зрелище. Пехота стояла у валов, подобная цветам в своих пестрых кафтанах; от зажженных фитилей поднимались дымки, а по ту сторону валов, под защитой пушек, луга и равнину покрыли поветовые хоругви конницы, стоявшей в боевых порядках на отменных конях, которые своим ржанием будили эхо в ближних лесах и наполняли сердца воинственной отвагой.

Тем временем воевода познанский отослал трубача с ответом, который звучал примерно так, как предсказывал Радзеёвский, то есть был политичным и вместе с тем римским; затем воевода решил послать разъезд на северный берег Нотеца, чтобы захватить вражеского языка.

Петр Опалинский, воевода подляшский, двоюродный брат воеводы познанского, должен был самолично идти в разведку со своими драгунами, полторы сотни которых он привел под Уйсте. Кроме того, ротмистрам Владиславу Скорашевскому и Скшетускому было приказано вызвать охотников из ополчения, чтобы и шляхта встретила лицом к лицу с врагом.

Оба ротмистра разъезжали перед шеренгами, теща взор своими мундирами и осанкой; пан Станислав, подобно всем Скшетуским, был черен как жук, с мужественным, грозным лицом, украшенным длинным косым шрамом от удара мечом, с бородой цвета воронова крыла, которую развевал ветер; пан Владислав, грузный, с длинными светлыми усами, отвислой нижней губой и красными глазами, добродушный и мягкий, меньше напоминал Марса, но и он был солдат душой, рыцарь несравненной отваги, любивший огонь, как саламандра, и ратное дело знавший как свои пять пальцев. Оба они, проезжая вдоль строя, развернутого в длинную линию, то и дело повторяли:

— Нуте-ка, кто пойдет охотником к шведам? Кто хочет понюхать пороху? Нуте-ка, кто пойдет охотником?

Они проехали уже довольно большое расстояние, но без успеха, из рядов не выступил никто. Все оглядывались друг на друга. Были такие, которым хотелось пойти, и удерживал их не страх перед шведами — они робели перед своими. Не один толкал локтем соседа и говорил ему: «Пойдешь ты, так и я пойду».

Ротмистры начинали уже выражать нетерпение; но когда они подъехали к гнезненскому повету, не из шеренги, а откуда-то сзади, из-за шеренг, выскочил вдруг верхом на малорослой лошадке пестро одетый человек, и крикнул, обращаясь к шеренге:

— Я пойду охотником, а вы останетесь тут шутами!

— Острожка! Острожка! — вскричала шляхта.

— Такой же добрый шляхтич, как и все вы! — ответил шут.

— Тьфу! Черт бы тебя побрал! — крикнул подсудок Росинский. — Довольно шутовства! Я пойду!

— И я! И я! — раздались многочисленные голоса.

— Один раз мать родила, один раз и умирать!

— Найдутся тут такие хорошие, как ты!

— Все могут! Нечего нос поднимать!

И как раньше никто не хотел выходить, так теперь шляхта повалила из всех поветов: люди наезжали друг на друга лошадьми, обгоняли друг друга, торопливо перебранивались. Не прошло и минуты, а впереди уже стояло чуть не полтысячи всадников, и шляхтичи все еще выезжали из рядов. Пан Скорашевский рассмеялся своим непринужденным, добрым смехом и закричал:

— Довольно, довольно! Не можем же мы все идти!

После этого они вдвоем со Скшетуским построили охотников и двинулись вперед.

Воевода подляшский присоединился к ним у выезда из стана. Всадники были видны как на ладони при переправе через Нотец, потом еще несколько раз они промелькнули на поворотах дороги и пропали из глаз.

По прошествии получаса воевода познанский велел людям разъехаться, решив, что незачем держать их в строю, когда неприятель на расстоянии целого дня пути. Однако всюду была расставлена стража, запрещено было выгонять лошадей на пастбища и по первому тихому звуку рожка было приказано всем садиться на конь и становиться в боевые порядки.

Кончились ожидание и неуверенность, кончились сразу споры и перекоры; близость неприятеля, как и предсказывал пан Скшетуский,

воодушевила войско. Первая удачная битва могла бы еще больше поднять его дух, а вечером произошел случай, который мог стать новым счастливым предзнаменованием.

Солнце заходило, озаряя ярким светом Нотец и занотецкие леса, когда по ту сторону реки люди увидели сперва облако пыли, а затем движущихся в этом облаке людей. Все до последнего человека вышли на валы поглядеть, что это за гости; но тут прибежал драгун из хоругви Грудзинского, стоявший на страже, и дал знать, что это возвращается разъезд.

— Разъезд едет обратно! Благополучно едет! Не съели их шведы! — передавали в стане из уст в уста.

А разъезд тем временем все приближался, медленно подвигаясь вперед в светлых клубах пыли, и наконец переправился через Нотец.

Шляхта смотрела на своих, заслонив руками глаза от солнца, которое сверкало все сильнее, так что весь воздух был пронизан золотым и пурпурным сиянием.

— Э, да их стало что-то больше, чем было! — воскликнул Шлихтинг.

— Клянусь богом, пленных ведут! — крикнул какой-то шляхтич; парень он был, видно, не из храброго десятка и просто глазам своим не верил.

— Пленных ведут! Пленных ведут!

А разъезд тем временем приблизился уже настолько, что можно было различить лица. Впереди ехал Скорашевский, кивая, по своему обыкновению, головой и весело переговариваясь со Скшетуским; за ними большой конный отряд окружал несколько десятков пехотинцев в круглых шляпах. Это и в самом деле были пленные шведы.

При виде их шляхта не выдержала и бросилась навстречу разъезду с кликами:

— Vivat Скорашевский! Vivat Скшетуский!

Густая толпа мгновенно окружила весь отряд. Одни глазели на пленных, другие спрашивали, как все случилось, третьи грозились шведам.

— А что?! Хорошо вам, собаки! С поляками захотелось повоевать? Получили теперь поляков?

— Дайте их нам! На сабли их! Искрошить!..

— Что, подлецы! Что, немчура! Попробовали польских сабель?

— Да не орите вы, как мальчишки, а то пленные подумают, что вам воевать впервой! — сказал Скорашевский. — Обыкновенное это дело — брать на войне пленных.

Охотники из разъезда гордо глядели на шляхту, которая забросала их вопросами.

— Как же вы их? Легко ли они сдались? Или пришлось вам попотеть? Хорошо дерутся?

— Хорошие парни, — ответил Росинский. — И долго оборонялись, но ведь и они не железные. Сабля и их берет.

— Так и не могли отбиться от вас, а?

— Напора не выдержали.

— Вы слышите, что наши говорят: напора не выдержали! А что? Напор — главное дело!

— Помните: только бы напереть! Это против шведов самое лучшее средство!

Если бы в эту минуту шляхта получила приказ броситься на врага, не сдержат бы ему ее напора; но врага пока не было видно; глухой ночью раздался вместо этого голос рожка перед форпостами. Это прибыл второй трубач с письмом от Виттенберга, в котором он предлагал воеводам сдаться. Узнав об этом, толпа шляхтичей хотела зарубить гонца, но воеводы приняли письмо, хотя содержание его было наглым.

Шведский генерал заявлял, что Карл Густав прислал войска своему родичу Яну Казимиру на подмогу против казаков и что шляхта Великой Польши должна поэтому сдаться без сопротивления. Грудзинский, читая это письмо, не мог сдержать порыв негодования и хлопнул кулаком по столу, но воевода познанский мигом его успокоил.

— А ты, пан, веришь в победу? — спросил он его. — Сколько дней мы можем продержаться? Ужели ты хочешь быть в ответе за море шляхетской крови, которое завтра может пролиться?

После долгого совета решили на письмо не отвечать и ждать, что будет. Долго ждать не пришлось. В субботу, двадцать четвертого июля, стража дала знать, что шведское войско показалось прямо против Пилы. Стан зашумел, как улей перед вылетом.

Шляхта садилась на конь, воеводы скакали вдоль шеренг, отдавая противоречивые приказы, пока пан Владислав не принял наконец начальство над всем войском и не навел порядка; он выехал затем во главе нескольких сот охотников навстречу противнику, чтобы на том берегу наездники могли схватиться врукопашную и польские солдаты освоились с врагом.

Конница с удовольствием шла за ним, ибо в рукопашных боях схватывались обычно небольшие кучки наездников или люди выходили один на один, а таких схваток шляхта, обученная искусству рубки, совсем

не боялась. Отряд переправился на тот берег и остановился в виду неприятеля, который все приближался, темнея впереди, словно длинная полоса внезапно выросшего леса. Полки конницы, пехоты развертывались, все шире заливая простор.

Шляхта ждала, что к ней вот-вот бросятся наездники-рейтары, но они что-то не показывались. Зато на пригорках, на расстоянии нескольких сот шагов, остановились и засуетились небольшие кучки солдат, завиднелись среди них лошади; заметив это, Скорашевский немедленно скомандовал:

— Налево кругом, марш-марш!

Но не успела прозвучать команда, как на пригорках расцвели длинные белые струйки дыма, и словно стая птиц полетела со свистом между людьми Скорашевского, затем громовый раскат потряс воздух, и в то же мгновение раздались крики и стоны раненых.

— Стой! — крикнул пан Владислав.

Стаи птиц пролетели еще и еще раз — и снова свисту вторили стоны. Шляхта не послушала команды начальника, напротив, стала с криком отступать все быстрее и быстрее, взывая к небу о помощи, затем отряд в мгновение ока рассеялся по равнине и поскакал сломя голову к стану. Скорашевский ругался — все было напрасно.

Прогнав с такой легкостью наездников, Виттенберг продолжал продвигаться вперед, пока не остановился наконец прямо против Уйстя, перед шанцами, которые обороняла калишская шляхта. В ту же минуту заговорили польские пушки, однако шведы не торопились отвечать на пальбу. Дым спокойно и ровно вытягивался в ясном воздухе в длинные струйки, а в промежутках между ними шляхта видела шведские полки, пехоту и конницу, которые развертывались с ужасающим спокойствием, точно были совершенно уверены в своей победе.

На пригорках устанавливали орудия, рыли окопчики, словом, враг располагался, не обращая ни малейшего внимания на снаряды, которые, не долетая до него, засыпали только песком и землей людей, рывших окопчики.

Станислав Скшетуский вывел еще две хоругви калишцев, надеясь смелой атакой внести замешательство в ряды шведов; но калишцы пошли неохотно; отряд тотчас рассыпался в беспорядке, так как храбрецы гнали коней вперед, а трусы умышленно придерживали их. Два рейтарских полка, высланных Виттенбергом, после короткой стычки прогнали шляхтичей с поля боя и преследовали их до самого стана.

Тем временем спустились сумерки, и бескровная схватка кончилась.

Однако из пушек поляки продолжали стрелять до самой ночи, после

чего пальба утихла; но тут в польском стане поднялся такой шум, что слышно было на другом берегу Нотеца. Все началось с того, что несколько сот ополченцев, воспользовавшись темнотой, попытались ускользнуть из стана. Другие заметили это и стали грозить беглецам и не пускать их. Люди схватились за сабли. Слова: «Или все, или никто!» — снова переходили из уст в уста. Однако с каждой минутой становилось все очевидней, что уйдут все. Ропот поднялся против военачальников. «Послали нас с голым брюхом против пушек!» — кричали ополченцы.

Шляхта негодовала и на Виттенберга за то, что он не уважает военных обычаев, что не выслал на бой наездников, а неожиданно приказал открыть пушечную пальбу.

— Всяк поступает, как ему лучше, — говорили они, — но не народ они, а свиньи, коль такой у них обычай, чтобы с врагом не встречаться лицом к лицу.

Другие открыто предавались отчаянию.

— Выкурят они нас отсюда, как барсука из норы, — говорили они. — Стан плохо расположен, шанцы плохо вырыты, место для обороны неподходящее.

Слышались голоса:

— Братья, спасайтесь!

Другие кричали:

— Измена! Измена!

Ужасная это была ночь: расстройство в рядах и смятение возрастали с каждой минутой, никто не слушал приказов. Воеводы совсем растерялись и даже не пытались навести порядок. Их бессилие и бессилие ополчения стало совершенно очевидным. В ту ночь Виттенберг мог открыто напасть на стан и взять его безо всякого труда.

Наступил рассвет.

День вставал хмурый, облачный, он осветил дикое скопище орущих людей, потерявших присутствие духа, большею частью пьяных, готовых скорее бежать с позором, нежели принять бой. В довершение всех бед шведы ночью переправились под Дембовом на другой берег Нотеца и окружили польский стан.

Со стороны Дембова почти не было шанцев, и обороняться было невозможно. Надо было без промедления окружить стан валом. Скорашевский и Скшетуский заклинали сделать это, но никто уже не хотел их слушать.

У вельмож и у шляхты на устах было одно только слово: «переговоры». Выслали парламентеров. В ответ из шведского стана

прибыли с блестящей свитой Радзеёвский и генерал Вирц; оба они ехали с зелеными ветвями в руках.

Они направились к дому, где стоял воевода познанский; но Радзеёвский по дороге задерживался в толпе шляхтичей, махал ветвью и шляпой, улыбался, приветствовал знакомых и говорил зычным голосом:

— Дорогие братья! Не пугайтесь! Мы приехали сюда не как враги. От вас самих зависит, чтобы больше не было пролито ни единой капли крови. Если вместо тирана, который попирает ваши вольности, который помышляет о *dominium absolutum*, который привел отчизну к гибели, вы хотите доброго и благородного господина, воителя столь прославленного, что при одном его имени рассеются все недруги Речи Посполитой, тогда отдайтесь под покровительство его величества Карла Густава!.. Дорогие братья! Я везу ручательство, что будут сохранены все ваши вольности, ваша свобода, вера. От вас самих зависит ваше спасение! Его величество король шведский решил подавить казацкое восстание, кончить литовскую войну^[60], и только он один может это сделать. Сжальтесь же над несчастной отчизной, если вам себя не жаль...

Голос задрожал тут у предателя, точно слезы подступили к горлу. Шляхта слушала в изумлении, раздались редкие голоса: «Vivat Радзеёвский, наш подканцлер!» — а он проследовал дальше, и снова кланялся новым толпам, и снова был слышен его зычный голос: «Дорогие братья!» Наконец оба они с Вирцем и свитой исчезли в доме воеводы познанского.

Шляхта сбилась перед домом такой тесной толпой, что яблоку негде упасть, ибо чувствовала, понимала, что в этом доме решается не только ее судьба, но и всей отчизны. Вышли воеводские слуги в пурпурных одеждах и позвали в дом «персон» поважнее. Те поспешно вошли, за ними ворвалось несколько человек из мелкой шляхты, остальные остались за дверью, они протискивались к окнам, прижимали уши даже к стенам.

Тишина в толпе царила немая. Те, кто стоял поближе к окнам, слышали порою шум голосов, долетавший из дому, точно отзвучие споров, раздоров и распрей. Час уходил за часом, а совет все не кончался.

Внезапно с треском распахнулась входная дверь, и на улицу выбежал Владислав Скорашевский.

Толпа отпрянула в ужасе.

Всегда спокойный и кроткий, как агнец, человек этот был теперь страшен: глаза красные, взор блуждающий, одежда на груди расхристана. Держась обеими руками за голову, он как молния врезался в толпу и закричал пронзительным голосом:

— Измена! Убийство! Позор! Мы уже Швеция, не Польша! Родину-мать убивают в этом доме!

Он зарыдал страшно, судорожно и стал рвать на себе волосы, точно ум у него мутился. Гробовая тишина царила вокруг. Ужас объял все сердца.

Внезапно Скорашевский заметался в толпе, в диком отчаянии истошно крича:

— К оружию! К оружию, кто в бога верует! К оружию! К оружию!

Смутный ропот поднялся в толпе, словно легкий шепот пробежал, внезапный, прерывистый, как первое дуновение бури. Сердца колебались, умы колебались, и в этом всеобщем смятении духа страстный голос кричал:

— К оружию! К оружию!

Вскоре к нему присоединились еще два голоса — Петра Скорашевского и Скшетуского, вслед за которыми прибежал и Клодзинский, отважный ротмистр познанского повета.

Все больше становилась толпа вокруг них. Грозный ропот рос, пламя пробегало по лицам и пылало в очах, слышался лязг сабель. Владислав Скорашевский первый овладел собою и, показывая на дом, в котором шел совет, обратился к шляхте с такими словами:

— Слышите, братья, они как иуды, продают там отчизну и бесчестят ее! Знайте же, мы не принадлежим уже Польше. Мало им было отдать в руки врага всех вас, стан, войско, орудия, будь они прокляты! Они подписали вдобавок от своего и вашего имени, что отрекаются от отчизны, отрекаются от нашего короля, что весь край, крепости и все мы отныне на вечные времена принадлежим Швеции. Что войско сдается — это бывает, но кто же имеет право отречься от своего короля и от своей отчизны?! Кто имеет право отрывать от нее провинции, предаваться иноземцам, переходить к другому народу, отречься от своей крови?! Братья, это позор, измена, убийство, злодеянье!.. Спасите отчизну, братья! Именем бога, кто шляхтич, кто честен, спасите родину-мать! Отдадим же свою жизнь за нее, не пожалеем головы! Мы не хотим быть шведами! Не хотим, не хотим! Лучше на свет было не родиться тому, кто теперь не отдаст своей жизни!.. Спасите родину-мать!

— Измена! — крикнули сразу десятки голосов. — Измена! Зарубить предателей!

— К нам все, в ком честь жива! — кричал Скшетуский.

— На шведа! На смерть! — подхватил Клодзинский.

И они пошли дальше с криком: «К нам! Сюда! Измена!» — а за ними двинулись уже сотни шляхты с саблями наголо.

Но подавляющее большинство осталось на месте, да и из тех, кто последовал за ротмистрами, кое-кто, заметив, что их немного, стал оглядываться и отставать.

Тем временем снова отворилась дверь дома, в котором шел совет, и на пороге показался познанский воевода, Кшиштоф Опалинский, а рядом с ним справа генерал Вирц, слева Радзеёвский. За ними следовали: Анджей Кароль Грудзинский, воевода калишский, Максимилиан Мясковский, каштелян кишвинский, Павел Гембицкий, каштелян мендзижецкий, и Анджей Слупецкий.

Кшиштоф Опалинский держал в руке пергаментный свиток со свешивающимися печатями; голову он поднял высоко, но лицо у него было бледное, а взгляд неуверенный, хоть воевода и силился изобразить веселость. Он обвел глазами толпу и в мертвой тишине заговорил ясным, хотя несколько хриплым голосом:

— Братья шляхтичи! В нынешний день мы отдались под покровительство его величества короля шведского. *Vivat Carolus Gustavus rex!*^[61]

Молчание было ответом воеводе; вдруг раздался чей-то одинокий голос:

— *Veto!*^[62])

Воевода повел глазами в сторону этого голоса и сказал:

— Не сеймик тут у нас, и ни к чему здесь *veto*. А кому хочется покричать, пусть идет на шведские пушки, которые наведены на нас и за час могут сровнять с землею весь наш стан. — Он умолк на минуту. — Кто сказал: *veto*? — спросил он.

Никто не отозвался.

Воевода снова заговорил еще внушительней:

— Все вольности шляхты и духовенства будут сохранены, подати не будут увеличены и взиматься будут так же, как и раньше. Никто не понесет обид и не будет ограблен; войска его королевского величества не имеют права становиться на постой в шляхетских владениях или взимать другие поборы, кроме тех, которые взыскивались на польские регулярные хоругви...

Он умолк и жадно внимал ропоту шляхты, словно хотел постичь его значенье, затем махнул рукой.

— Кроме того, генерал Виттенберг от имени его королевского величества слово мне дал и обещание, что, если вся страна последует нашему спасительному примеру, шведские войска вскоре двинутся на

Литву и Украину и кончат войну лишь тогда, когда все земли и все замки будут возвращены Речи Посполитой.

— *Vivat Carolus Gustavus rex!* — закричали сотни голосов.

— *Vivat Carolus Gustavus rex!* — загремело во всем стане.

На глазах всей шляхты воевода познанский повернулся тогда к Радзеёвскому и сердечно его обнял, затем обнял и Вирца; после этого все вельможи стали обниматься. Их примеру последовала шляхта, и радость стала всеобщей. «Виват» кричали так, что эхо разносилось по всей округе. Но воевода познанский попросил у милостивой братии еще минуту молчания и сказал с сердечностью в голосе:

— Братья шляхтичи! Генерал Виттенберг просит нас сегодня в свой стан на пир, дабы мы за чарами заключили братский союз с храбрым народом.

— *Vivat Виттенберг! Vivat, vivat, vivat!*

— А затем, — прибавил воевода, — мы разъедемся по домам и с божьей помощью начнем жатву с мыслью о том, что в нынешний день мы спасли отчизну.

— Грядущие века воздадут нам справедливость! — сказал Радзеёвский.

— Аминь! — закончил воевода познанский.

Но тут он заметил, что множество глаз устремились куда-то поверх его головы.

Он повернулся и увидел своего шута, который, встав на цыпочки и держась рукою за дверной косяк, писал углем на стене дома, над самой дверью:

«*Mane — Tekel — Fares*»^[63]

Небо покрылось тучами, надвигалась гроза.

ГЛАВА XI

В деревне Бужец, лежащей в Луковской земле, на границе воеводства Подляшского, и принадлежавшей в ту пору Скшетуским, в саду, который раскинулся между домом и прудом, сидел на скамье старик; в ногах у него играли два мальчика: один пяти, другой четырех лет, черные и загорелые, как цыганята, румяные и здоровые. Старик с виду тоже был еще крепок, как тур. Годы не согнули его широких плеч; глаза, верней, один глаз, так как на другом у него было бельмо, светился благодушием; борода побелела, но с виду старик был бравый, с румяным, кипящим здоровьем лицом, украшенным на лбу широким шрамом, сквозь который проглядывала черепная кость.

Оба мальчика, ухватившись за уши его сапог, тянули их в разные стороны, а он глядел на пруд, озаренный солнечными лучами, в котором то и дело всплескивали рыбы, возмущая зеркальную гладь.

— Рыбы играют, — ворчал он про себя. — Небось еще получше заиграете, как воду спустят или стряпуха возьметса чистить вас ножом.

Тут он обратился к мальчикам:

— Отвяжитесь вы, сорванцы, и смотрите мне, оторвет который ушко, так я ему все уши оборву. Экие осы! Ступайте вон кувыркатся на траве и оставьте меня в покое! Ну, тебе, Лонгинек, я не удивляюсь, ты еще мал, но Яремка должен уже быть поумней. Вот возьму да и брошу надоеду в пруд!

Но мальчики, видно, совсем завладели стариком, потому что ни один из них не испугался его угрозы; напротив, старший, Яремка, начал еще сильнее тянуть голенище за ушко, затопал ногами и закричал:

— Ну, дедушка, давай поиграем, ты будешь Богун и украдешь Лонгинка!

— Отвяжись ты, жук, говорю тебе, сопливец, карапуз ты этакий!

— Ну, дедушка, ты будешь Богун!

— Я тебе задам Богуна, вот погоди, позову мать!

Яремка поглядел на дверь, которая вела из дома в сад, но, увидев, что она затворена и матери нигде нет, повторил в третий раз, подняв мордашку:

— Ну, дедушка, ты будешь Богун!

— Замучают меня эти карапузы, право! Ладно, я буду Богун, но только в последний раз. Наказание господне! Только, чур, больше не надоедать!

С этими словами старик, кряхтя, поднялся со скамьи, схватил вдруг маленького Лонгинка и с диким криком понесся по направлению к пруду.

Однако у Лонгинка был храбрый защитник в лице Яремки, который в таких случаях назывался не Яремкой, а паном Михалом Володыёвским, драгунским ротмистром.

Вооруженный липовым прутом, заменявшим в случае надобности саблю, пан Михал пустился опроретью за тучным Богуном, тотчас догнал его и стал безо всякой пощады хлестать по ногам.

Лонгинек, игравший роль мамы, визжал, Богун визжал, Яремка-Володыёвский визжал; но отвага в конце концов победила, и Богун, выпустив из рук свою жертву, бросился бегом снова под липу и, добежав до скамьи, повалился на нее, еле дыша.

— Ах, разбойники!.. — повторял он только. — Просто чудо будет, коли я не задохнусь!..

Однако его мученья на этом не кончились: через минуту явился Яремка, покрасневшийся, с растрепанной гривой, похожий на маленького задорного ястребка, и, раздувая ноздри, стал еще больше приставать к старику:

— Ну, дедушка, ты будешь Богун!

После долгих упрашиваний оба мальчика торжественно поклялись, что теперь это уж наверняка в последний раз, и история повторилась сначала с теми же подробностями. Потом старик уселся с обоими мальчиками на скамью, и тут Яремка опять к нему привязался:

— Дедушка, скажи, кто был самый храбрый?

— Ты, ты! — ответил старик.

— Вырасту, стану рыцарем!

— Непременно, хорошая у тебя кровь, солдатская. Дай-то бог, чтобы ты был похож на отца, был бы ты тогда храбрец и меньше бы надоедал. Понял?

— Скажи, дедушка, сколько батя убил врагов?

— Я тебе сто раз уже говорил. Скорее листья перечтешь на этой липе, чем всех тех врагов, которых мы с вашим отцом истребили. Будь у меня столько волос на голове, сколько я один их уложил, луковские цирюльники богатство бы нажили на подбривке одной моей чуприны. Будь я проклят, если совр...

Тут Заглоба, — а это был он, — спохватился, что не годится при младенцах ни заклинать, ни проклинать, и хотя, за отсутствием других слушателей, он любил и детям рассказывать о своих старых победах, однако же примолк на этот раз, потому что рыба в пруду стала всплескивать с удвоенной силой.

— Надо велеть садовнику, — сказал старик, — на ночь верши

поставить; много хорошей рыбы сбилось у самого берега.

Но тут отворилась дверь из дома в сад, и на пороге показалась женщина, прекрасная, как полуденное солнце, высокая, сильная, черноволосая, с темным румянцем на щеках и бархатными глазами. Третий мальчик, трехлетний, черный, как агат, держался за ее подол; прикрыв глаза рукою, она стала всматриваться в тот угол сада, где росла липа.

Это была Гелена Скшетуская, урожденная княжна Булыга-Курцевич.

Увидев под липой Заглобу с Яремкой и Лонгинком, она сделала несколько шагов ко рву, наполненному водой, и крикнула:

— Эй, хлопцы! Вы там, верно, надоедаете дедушке?

— Вовсе не надоедают! Они очень хорошо себя вели, — ответил Заглоба.

Мальчики подбежали к матери, а она спросила у старика:

— Батюшка, ты чего хочешь сегодня выпить: дубнячка или меду?

— На обед была свинина, вроде бы медку лучше.

— Сейчас пришло. Только не дремли ты на воздухе, непременно схватишь лихорадку.

— Сегодня тепло и ветра нет. А где же Ян, доченька?

— Пошел на ток.

Гелена Скшетуская называла Заглобу отцом, а он ее доченькой, хотя они вовсе не были родственниками. Ее семья жила в Приднепровье, в бывшем княжестве Вишневецком, а откуда он был родом, про то знал один только господь бог, потому что сам он рассказывал об этом по-разному. Но когда она была еще девушкой, Заглоба оказал ей большие услуги и не раз спасал ее от страшных опасностей, поэтому и она, и ее муж почитали его как отца, да и вся округа очень старика уважала и за острый ум, и за необычайную храбрость, которую он много раз показал в казацких войнах.

Имя его было славно во всей Речи Посполитой, сам король любил его рассказы и острые шутки, и вообще о нем больше говорили, чем даже о самом Скшетуском, хотя Скшетуский в свое время вырвался из осажденного Збаража и пробился сквозь толпы казацких войск.

Через минуту после ухода Гелены казачок принес под липу сулейку и кубок. Пан Заглоба налил, затем закрыл глаза и с превеликим удовольствием отведал медку.

— Знал господь бог, для чего пчел сотворил! — пробормотал он себе под нос.

И стал медленно попивать медок, глубоко при этом вздыхая и поглядывая и на пруд, и на дубравы, и боры, что тянулись по ту сторону пруда, далеко, далеко, насколько хватает глаз. Был второй час пополудни,

на небе ни облачка. Липовый цвет бесшумно опадал на землю, а в листве распевала целая капелла пчел, которые тут же стали садиться на края кубка и собирать сладкую жидкость мохнатыми лапками.

С отдаленных, окутанных мглой тростников над большим прудом поднимались порою стада уток, чирков или диких гусей и летали в прозрачной лазури, похожие на черные крестики; порою караван журавлей, громко курлыча, тянулся высоко в небе, и так тихо было кругом, и спокойно, и солнечно, и весело, как бывает в первых числах августа, когда хлеба уже созрели, а солнце словно золотом наливает землю.

Глаза старика то поднимались к небу, следя за стаями птиц, то снова устремлялись вдаль, но все дремотней, потому что меду в сулейке оставалось все меньше, и веки все тяжелели, а пчелы, как нарочно, на разные голоса напевали свою песенку, и от этого еще больше клонило к послеобеденному сну.

— Да, да, послал господь бог для жатвы погожие деньки, — пробормотал Заглоба. — И сено вовремя убрали, и с жатвой быстро управимся. Да, да!..

Тут он закрыл глаза, затем снова открыл их на мгновение, пробормотал: «Замучили меня детишки!» — и уснул крепким сном.

Спал он довольно долго; разбудило его через некоторое время легкое дуновение прохладного ветерка, говор и шаги двух мужчин, торопливо приближавшихся к липе. Один из них был Ян Скшетуский, знаменитый герой Збаража, который, вернувшись с Украины от гетманов, уже месяц лечился дома от упорной лихорадки; второго Заглоба не знал, хотя ростом, осанкой и даже чертами лица он живо напоминал Яна.

— Позволь, батюшка, — обратился Ян к Заглобе, — представить тебе моего двоюродного брата, пана Станислава Скшетуского из Скшетушева, ротмистра калишского.

— Ты, пан Станислав, так похож на Яна, — сказал Заглоба, моргая глазами и стряхивая с ресниц остатки сна, — что, где бы я тебя ни встретил, сразу бы сказал: «Скшетуский!» Ах, какой же гость в доме!

— Мне очень приятно познакомиться с тобою, милостивый пан, — ответил Станислав, — тем более что имя твое мне хорошо знакомо, — все рыцари Речи Посполитой с уважением его повторяют и ставят тебя за образец.

— Не хвляясь, могу сказать, что делал все, что мог, пока была сила в костях. Я бы и сейчас не прочь повоевать, ибо *consuetudo altera natura*^[64]. Однако чем это вы оба так огорчены, что Ян даже побледнел.

— Станислав привез страшные вести, — ответил Ян. — Шведы

вступили в Великую Польшу и уже всю ее захватили.

Заглоба вскочил со скамьи, точно на добрых четыре десятка был моложе, широко раскрыл глаза и невольно схватился за бок, ища саблю.

— Как так? — воскликнул он. — Как так? Всю захватили?

— Воевода познанский и другие предали ее под Уйстем врагу, — ответил Станислав Скшетуский.

— Ради Христа!.. Что ты говоришь? Они сдались?!

— Не только сдались, но и подписали договор, в котором отреклись от короля и от Речи Посполитой. Отныне там должна быть не Польша, а Швеция...

— Милосердный боже! Раны господни! Светопреставление! Что я слышу? Мы с Яном еще вчера толковали о том, что нам грозятся шведы, слух прошел, что они уже идут: но мы были уверены, что все это кончится ничем, разве только наш король и повелитель Ян Казимир, отречется от титула короля шведского.

— А между тем все началось с потери провинции, и бог весть, чем кончится.

— Перестань, пан Станислав, а то меня удар хватит! Как же так? И ты был под Уйстем? И ты смотрел на все это? Это же просто самая подлая измена, неслыханная в истории!

— И был, и смотрел, а была ли это измена, ты сам рассудишь, когда я тебе все расскажу. Мы стали станом под Уйстем, шляхетское ополчение да ратники, всего тысяч пятнадцать, и заняли рубежи по Нотецу ab incursione hostili^[65]. Правда, войска у нас было мало, а ты, пан, искушенный солдат и лучше нас знаешь, может ли заменить его ополчение, да еще великопольской шляхты, давно отвыкшей от войны. И все-таки, будь у нас военачальник, мы могли бы, как бывало, дать отпор врагу и, уж во всяком случае, задержать его, пока Речь Посполитая не пришлет подмогу. Но не успел показаться Виттенберг, не успела пролиться первая капля крови, как наши тотчас затеяли переговоры. Потом явился Радзеёвский и до тех пор уговаривал, пока не навлек на нас несчастья и позора, какому доселе не было примера.

— Как же так? Ужели никто не воспротивился? Никто не восстал? Никто не бросил этим негодьям в лицо обвинения в измене? Ужели все согласились предать отчизну и короля?

— Гибнет честь, а с нею Речь Посполитая, ибо почти все согласились. Я, два пана Скорашевских, пан Цисвицкий и пан Клодзинский делали все, что могли, чтобы поднять шляхту на врага. Пан Владислав Скорашевский чуть ума не лишился; мы носились по стану от повета к повету, и, видит

бог, не было таких заклинаний, какими мы не молили бы шляхту. Но разве могли помочь заклинания, когда большая часть шляхты предпочитала ехать с ложками на пир, который посулил ей Виттенберг, нежели с саблями идти на бой. Видя это, честные люди разъехались кто куда: одни по домам, другие в Варшаву. Скорашевские отправились в Варшаву и первыми привезут весть королю, а у меня нет ни жены, ни детей, и я приехал к брату в надежде, что мы вместе двинемся на врага. Счастье, что застал вас дома.

— Так ты прямо из Уйстя?

— Прямо. По дороге только тогда останавливался, когда надо было дать отдых коням, и то одного загнал. Шведы уже, наверно, в Познани, а оттуда разольются скоро по всему нашему краю.

Все умолкли. Ян сидел в угрюмой задумчивости, опершись руками на колени, уставя глаза в землю, пан Станислав вздыхал, а Заглоба, еще не охладевший, остолбенело глядел на братьев.

— Дурное это предзнаменование, — мрачно произнес Ян. — В старину у нас на десять побед приходилось одно поражение, и весь мир дивился нашей отваге. Сегодня мы терпим одни поражения, нас вероломно предают, и к тому же не только отдельные лица, но и целые провинции. Боже, сжался над отчизной!

— О, господи! — воскликнул Заглоба. — Видал я свету, слышу, понимаю, а все не верится...

— Что ты думаешь делать, Ян? — спросил Станислав.

— Да уж, конечно, дома не останусь, хоть меня все еще трясет лихорадка. Жену с детьми надо будет устроить где-нибудь в безопасном месте. Пан Стабровский — мой родич, он королевский ловчий в Беловеже. Окажись в руках врагов вся Речь Посполитая, и то им в пущу не пробиться. Завтра же отправлю туда жену с детьми.

— Не лишняя это предосторожность, — заметил Станислав. — Хоть отсюда до Великой Польши далеко, как знать, не обоймет ли пламя в скором времени и здешние края.

— Надо будет дать знать шляхте, — сказал Ян, — пусть собирается и думает об обороне, здесь ведь никто еще ничего не знает. — Тут он обратился к Заглобе: — А как ты, отец, с нами пойдешь или поедешь с Геленой в пущу?

— Я? — воскликнул Заглоба. — Пойду ли я? Разве только ноги мои пустят корни в землю, тогда не пойду, да и то попрошу выкорчевать. Уж очень мне хочется еще разок отведать шведского мяса, все равно как волку баранины! Ах, прохвосты! Ах, негодяи! В чулочках щеголяют! Блохи на них учиняют набеги, скачут им по икрам, ноги-то у них и свербят, вот и не

сидится им дома, лезут в чужие земли... Знаю я их, собачьих детей, я еще при пане Конецпольском с ними дрался, и если уж вы хотите знать, кто взял в плен Густава Адольфа, так спросите об этом покойного пана Конецпольского. Я вам больше ничего не скажу. Знаю я их, но только и они меня знают! Проведали они, негодяи, как пить дать, что Заглоба постарел. Погодите же! Я вам еще покажу! Всемогущий боже, почему же ты без ограды оставил несчастную Речь Посполитую, так что все соседские свиньи лезут к нам и три лучшие провинции уже сожрали! Вот оно дело какое! Да! Но кто же в том повинен, как не изменники? Не ведала чума, кого косить, так лучших людей скосила, а изменников оставила. Пошли же, господи, новый мор на воеводу познанского и на воеводу калишского, особливо же на Радзеёвского со всем его родом! А коли хочешь, чтобы в пекле народу прибыло, пошли туда всех, кто подписал сдачу под Уйстем. Заглоба постарел? Постарел, говорите? Вот увидите! Ян, давай скорее совет держать, что же нам делать, а то мне не терпится в седло!

— Да, надо держать совет, куда направиться. На Украину к гетманам трудно пробиться, их враг отрезал от Речи Посполитой, и дорога для них свободна только в Крым. Счастье, что татары сейчас на нашей стороне. Я так думаю, что нам надо ехать в Варшаву, к королю, защищать дорогого нашего повелителя!

— Вот только бы успеть! — подхватил Станислав. — А то король, наверно, спешно собирает хоругви и, пока мы приедем, выступит против неприятеля, а может статься, они уже и встретятся.

— И то может статься.

— Поедем тогда в Варшаву, только поскорее, — решил Заглоба. — Послушайте, друзья мои! Это верно, что врагу страшны наши имена, но втроем-то мы немного сможем сделать, так вот вам мой совет: давайте кликнем охотников из шляхты, чтобы привести к королю хоть маленькую хоругвь. Шляхту мы легко уговорим, ей все равно идти, когда придут вицы о созыве ополчения. Мы скажем, что тот, кто раньше по доброй воле вступит в хоругвь, доброе дело сделает для короля. С большими силами и успеть можно больше, вот и примут нас с распростертыми объятиями.

— Не дивись, пан, моим словам, — сказал Станислав, — но после всего того, что довелось мне увидеть, до того мне противно это ополчение, что лучше самому идти, нежели вести с собою толпу людей, которые не умеют воевать.

— Это ты, пан, здешней шляхты не знаешь. Тут ты не найдешь таких, кто бы не служил в войске. Люди все бывалые, добрые солдаты.

— Разве что так.

— Да уж так! Однако стойте! Ян знает, что если я пораскину умом, так непременно найду средство. Потому-то мы и сошлись так близко с воеводой русским, князем Иеремией. Пусть Ян подтвердит, сколько раз этот величайший из воителей следовал моему совету, и всегда от этого оставался в выигрыше.

— Говори уж, отец, что хотел сказать, а то время даром теряем, — прервал его Ян.

— Что я хотел сказать? А вот что я хотел сказать: не тот защищает отчизну и короля, кто за полы короля держится, а тот, кто врага бьет, а лучше всего тот бьет, кто служит у великого полководца. Зачем нам идти в Варшаву, где кто его знает, что ждет нас, — может, король уже уехал в Краков, во Львов или в Литву; мой совет, не мешкая, отправиться под знамена великого гетмана литовского, князя Януша Радзивилла. Настоящий это князь и воитель. Его винят в гордости, но уж шведам он наверняка не станет сдаваться. Это, по крайности, полководец и гетман хоть куда. Жарко там, правда, будет, придется с двумя врагами драться, зато пана Михала Володыёвского увидим, он служит в литовском войске, и опять, как в старое время, соберемся все вместе. Коли плох мой совет, пусть первый же швед схватит меня за портупею и утащит в плен.

— Как знать? Как знать? — с живостью воскликнул Ян. — Может, так оно и лучше будет.

— Да, кстати, и Геленку с детьми проводим, нам ведь придется ехать через пушу.

— Да и служить будем не с ополченцами, а в войске, — прибавил Станислав.

— И не шуметь будем, как на сеймике, да кур и творог поесть в деревнях, а с врагом будем драться.

— Ты, пан, я вижу, не только муж битвы, но и совета, — заметил Станислав.

— А что? А?

— Верно, верно! — подтвердил Ян. — Это самый дельный совет. Как в старину, пойдем вместе с Михалом. Ты, Станислав, познакомишься с самым великим воителем в Речи Посполитой, сердечным моим другом и братом. Пойдемте теперь к Геленке, надо ей сказать, чтобы она тоже собиралась в путь.

— А разве она уже знает о войне? — спросил Заглоба.

— Знает, знает, Станислав при ней все мне рассказывал. Слезами заливаётся, бедняжка... Но когда я сказал ей, что надо идти, она тотчас ответила мне: «Иди!»

— Хорошо бы завтра тронуться в путь! — воскликнул Заглоба.

— Завтра и выедем еще затемно, — сказал Ян. — Ты, Станислав, с дороги, верно, весьма fatigatus^[66], ну ничего, до утра отдохнешь немного. Я еще сегодня вышлю лошадей в Белую, в Лосицы, в Дрогичин и в Бельск, чтобы везде была свежая подстава. А за Бельском и пуца рядом. Повозки с припасом отправим тоже сегодня. Жаль мне уезжать из родного угла, но на то воля божья! Одно меня утешает, что я буду спокоен за жену и деток: лучшей крепости, чем пуца, во всем свете не сыщешь. Пойдемте домой, пора готовиться в поход.

Они ушли.

Станислав, сильно утомленный дорогой, подкрепился на скорую руку и отправился спать, а Ян с Заглобой занялись подготовкой к походу. У Яна во всем был такой порядок, что повозки и люди в ночь уже тронулись в путь, а на следующий день вслед за ними покатила коляска с Геленой, детьми и старой девой, приживалкой. Станислав и Ян с пятью слугами сопровождали коляску верхом. Подвигались быстро, так как в городах путников ждала свежая подстава.

Не останавливаясь даже на ночлег, они на пятый день доехали до Бельска, а на шестой день углубились в пуцу со стороны Гайновщизны.

Их сразу охватил сумрак необъятного леса, который в ту пору занимал несколько десятков квадратных миль, с одной стороны сливаясь далеко-далеко с пуцами Зелёнкой и Роговской, а с другой — с прусскими борами.

Нога захватчика никогда не попирала этих темных дебрей, в которых человек незнакомый мог заблудиться и плутать до тех пор, пока не упал бы от изнурения или не стал пищей хищных зверей. По ночам в пуце раздавался рык зубров и медведей, мешаясь с воем волков и хриплым лаем рысей. Опасные тропы вели через чащобы и поляны, мимо ветролома и бурелома, болот и страшных сонных озерца к разбросанным там и сям селеньям поташников, смолокуров и загонщиков, из которых многие за всю свою жизнь ни разу не выходили из пуцы. Только в Беловеж вела дорога пошире, которую называли Сухой дорогой; по ней короли ездили на охоту. Туда-то из Бельска и направлялись со стороны Гайновщизны Скшетуские.

Стабровский, королевский ловчий, старый одинокий холостяк, постоянно, как зубр, сидевший в пуце, принял гостей с распростертыми объятиями, а детей чуть не задушил поцелуями. Жил он с одними загонщиками, шляхтича в лицо не видал, разве что на королевской охоте, когда в пуцу приезжал двор.

Он управлял в пуце всем охотничьим хозяйством и всеми смолокурами. Весть о войне, о которой он узнал только из уст

Скшетуского, очень удручила старика.

Часто так бывало, что в Речи Посполитой пылала война, умирал король, а в пущу и слух об этом не доходил; один только ловчий привозил новости, когда возвращался от подскарбия литовского, которому раз в год обязан был представлять счета по хозяйству.

— Ох, и скучно же будет вам тут, ох, и скучно! — говорил Стабровский Гелене. — Зато такого надежного убежища на всем свете не сыщешь. Никакому врагу не пробраться через эти дебри, а если он и отважится на это, загонщики с налету перестреляют ему всех людей. Легче завоевать всю Речь Посполитую, — избави бог от такой беды! — нежели пущу. Двадцать лет живу я тут и то ее не знаю; есть тут такие места, куда и доступу нет, где только зверь живет да, может, злые духи прячутся от колокольного звона. Но мы живем по-божьи, в селенье у нас часовня, и раз в год из Бельска к нам наезжает ксендз. Как в раю вам тут будет, коли скука не одолеет. Зато топить есть чем...

Ян был рад-радешенек, что нашел для жены такое убежище; однако Стабровский напрасно удерживал его и потчевал.

Переночевав у ловчего, рыцари на следующий же день тронулись на рассвете в путь; в лесном лабиринте вели их провожатые, которых дал им ловчий.

ГЛАВА XII

Когда Ян Скшетуский со своим двоюродным братом Станиславом и Заглобой после утомительного пути прибыл наконец из пуши в Упиту, Михал Володыёвский чуть с ума не сошел от радости: он давно не имел о друзьях никаких вестей, а об Яне думал, что тот с королевской хоругвью, в которой он служил поручиком, находится на Украине у гетманов.

Маленький рыцарь по очереди заключал друзей в объятия, выпускал, и снова обнимал, и руки потирал; а когда они сказали, что хотят служить у Радзивилла, еще больше обрадовался от одной мысли, что они не скоро расстанутся.

— Слава богу, собираемся все вместе, старые бойцы Збаража, — говорил он. — И воевать охота, когда рядом друг.

— Это была моя мысль, — сказал Заглоба. — Они хотели скакать к королю. Ну, а я сказал им: а почему бы нам не тряхнуть стариной с паном Михалом? Коли бог пошлет нам такое счастье, как с казаками да с татарами, так скоро не один швед будет на нашей совести.

— Это тебя бог надоумил! — воскликнул пан Михал.

— Мне то удивительно, — вмешался в разговор Ян, — что вы уже знаете про Уйсте и про войну. Станислав сломя голову скакал ко мне, мы сюда тоже летели во весь опор, думали, будем первыми вестниками беды.

— Наверно, евреи занесли сюда эту весть, — заметил Заглоба. — Они всегда первые обо всем дознаются, а связь у них такая, что чихнет кто-нибудь утром в Великой Польше, а вечером в Жмуди и на Украине ему скажут: «Будь здоров!»

— Не знаю, как все было, но мы уже два дня обо всем знаем, — сказал пан Михал. — Все тут в смятении. В первый день мы еще не очень этому верили, но на второй день никто уже не сомневался. Более того, еще войны не было, а уже словно птицы о ней в воздухе пели: все вдруг сразу и безо всякого повода заговорили о ней. Наш князь воевода, видно, тоже ждал ее, да и знал больше других, кипел как в котле и в последнюю минуту примчался в Кейданы. По его приказу вот уже два месяца набирают людей в хоругви. Я набирал, Станкевич и некий Кмициц, хорунжий оршанский; слышал я, что он уже готовенькую хоругвь отправил в Кейданы. Из всех нас он первый успел.

— А ты, Михал, хорошо знаешь князя воеводу виленского? — спросил Ян.

— Как же мне его не знать, коли я у него всю последнюю войну воевал.

— Что известно тебе об его замыслах? Достойный он человек?

— Воитель он весьма искусный, — как знать, после смерти князя Иеремии не самый ли великий во всей Речи Посполитой. Правда, последний раз его разбили в бою, но ведь и людей у него было шесть тысяч против восьмидесяти. Пан подскарбий и пан воевода витебский поносят его за это всячески, говорят, будто это он от спеси бросился на могучего врага со столь малыми силами, не хотел будто делить с ними победы. Бог его знает, как было дело. Но сражался он храбро и жизни своей не щадил. Я сам видал, и одно только могу сказать, что, будь у него больше войска и денег, ни один бы враг не унес оттуда ног. Думаю, он теперь возьмется за шведов; мы, наверно, и ждать их здесь не станем, двинемся в Лифляндию^[67].

— Из чего ты это заключаешь?

— Есть на то две причины: первое, после Цибиховской битвы захочет князь дела свои поправить, слава-то его поколебалась тогда, а второе — любит он войну...

— Это верно, — сказал Заглоба, — я давно его знаю, мы ведь с ним в школе учились, и я за него делал уроки. Он всегда любил войну и потому больше со мной дружил, нежели с прочими, я ведь тоже предпочитал латыни коня да копьецо.

— Да уж это вам не воевода познанский, совсем это другой человек, — сказал Станислав Скшетуский.

Володыёвский стал спрашивать его, как было дело под Уйстем; он за голову хватался, слушая рассказ Скшетуского.

— Ты прав, пан Станислав, — сказал он, когда Скшетуский кончил свой рассказ. — Наш Радзивилл на такие дела не способен. Это верно, что гордыня у него дьявольская, ему сдается, что во всем свете нет рода выше, чем радзивилловский! И то верно, что он не терпит непокорства и на пана Госевского, подскарбия, гневается за то, что тот не пляшет под радзивилловскую дудку. На короля он тоже сердит за то, что тот не так скоро, как ему хотелось, дал ему булаву великого гетмана литовского. Все это верно, как верно и то, что он не хочет вернуться в лоно истинной веры и предпочитает ей бесстыдную кальвинистскую ересь, что католиков притесняет, где только можно, что строит еретикам кирки. Зато могу поклясться, что он скорее пролил бы последнюю каплю своей гордой крови, нежели подписал такую постыдную сдачу, как под Уйстем... Придется нам повоевать немало, ибо не виршеплет, а воитель поведет нас в

поход.

— Это мне и на руку! — воскликнул Заглоба. — Мы больше ничего и не желаем. Пан Опалинский виршеплет, вот оно сразу и вышло наружу, какая ему цена. Самые плевые это людишки! Стоит такому вырвать из гусиной гузки перо, и уж он воображает, что у него ума палата, других учит, собачий сын, а как дойдет дело до сабли, его и след простыл. Я сам смолоду кропал вирши, чтобы покорять женские сердца, и пана Кохановского^[68] перещеголял бы с его фрашками^[69]; но потом солдатская натура одержала верх.

— Я еще вот что скажу вам, — продолжал Володыёвский, — коли уж шляхта зашевелилась, народу соберется пропасть, только бы денег достало, это ведь самое важное дело.

— О, боже, только не ополченцы! — воскликнул пан Станислав. — Ян и пан Заглоба уже знают, что я о них думаю, а тебе, пан Михал, я одно скажу: по мне, уж лучше обозником быть в регулярной хоругви, нежели предводителем всего шляхетского ополчения.

— Народ здесь храбрый, — возразил Володыёвский, — искушенные воители. Взять хотя бы хоругвь, которую я набрал. Всех, кто хотел вступить, я не мог принять, а среди тех, кого принял, нет ни одного, кто бы не служил в войске. Я покажу вам эту хоругвь; право, не скажи я вам об этом, вы бы все равно признали в них старых солдат. Каждый в огне в два кулака кован, как старая подкова, а в строю стоят, как римские *triarii*^[70]. С ними шведам так не разделаться, как под Уйстем с великопольской шляхтой.

— Я надеюсь, все еще с божьей помощью переменится, — сказал Скшетуский. — Говорят, шведы добрые солдаты; но ведь они никогда не могли устоять против нашего регулярного войска. Мы их всегда били, — это уж дело проверенное, — мы их били даже тогда, когда их вел в бой самый великий их полководец.

— Сказать по правде, очень мне это любопытно, какие из них солдаты, — заметил Володыёвский. — Плохо то, что отчизна несет бремя еще двух войн, а то бы я не прочь повоевать со шведами. Испробовали мы и татар, и казаков, и еще бог весть кого, надо бы теперь и шведов испробовать. В Короне с людьми может быть трудно; все войско с гетманами на Украине. А у нас я наперед могу сказать, как все будет. Князь воевода оставит воевать тут пана подскарбия Госевского, гетмана польного, а сам займется шведами. Что говорить, тяжело нам придется! Будем, однако, надеяться, что господь не оставит нас.

— Едем тогда не мешкая в Кейданы! — сказал пан Станислав.

— Да ведь и я получил приказ привести хоругвь в боевую готовность, а самому в течение трех дней явиться в Кейданы, — подхватил пан Михал. — Надо, однако, показать вам этот приказ, из него видно, что князь воевода думает уже о шведах.

С этими словами Володыёвский открыл ключом шкатулку, стоящую на скамье под окном, достал сложенную вдвое бумагу и, развернув, начал читать:

«Милостивый пан Володыёвский, полковник!

С великою радостью прочитали мы твое донесение о том, что хоругвь уже готова и в любую минуту может двинуться в поход. Держи ее, милостивый пан, в боевой готовности, ибо страшная приходит година, какой еще не бывало, сам же спешно явись в Кейданы, где мы будем ждать тебя с нетерпением. Ежели до слуха твоего дойдут какие-либо вести, ничему не верь, покуда не узнаешь обо всем из наших уст. Мы поступим так, как повелевает нам бог и совесть, невзирая на то, что людская злоба и неприязнь могут о нас измыслить. Но вместе с тем мы рады тому, что приходят такие времена, когда явным станет, кто истинный и преданный друг дома Радзивиллов и даже *in rebus adversis*^[71] готов ему служить. Кмициц, Невяровский и Станкевич уже привели свои хоругви; твоя же пусть остается в Упите, ибо там она может понадобиться, а может, вам придется двинуться на Подлясье с двоюродным братом моим, ясновельможным князем Богуславом, конюшим литовским, коему вверено начальство над значительною частью наших сил. Обо всем этом ты подробно узнаешь от нас, а покуда повелеваем незамедлительно выполнить приказы и ждем тебя в Кейданах.

Януш Радзивилл,

князь Биржанский и Дубинковский,

воевода Виленский, Великий гетман Литовский».

— Да! По письму видно, что новая война! — сказал Заглоба.

— А коли князь пишет, что поступит, как повелевает ему бог и совесть, стало быть, будет бить шведов, — прибавил пан Станислав.

— Мне только то удивительно, — заметил Ян Скшетуский, — что он пишет о верности не отчизне, а дому Радзивиллов, — ведь отчизна значит больше, нежели Радзивиллы, и спасать надо в первую очередь ее.

— Это у них такая повадка княжья, — возразил Володыёвский, — хоть и мне это сразу не понравилось, ибо я служу не Радзивиллам, а отчизне.

— Когда ты получил это письмо? — спросил Ян.

— Сегодня утром, и после полудня хотел ехать. Вы вечером отдохнете с дороги, а я завтра, наверно, ворочусь, мы и двинемся тотчас с хоругвью, куда прикажут.

— Может, на Подляшье? — высказал предположение Заглоба.

— К князю конюшему! — повторил пан Станислав.

— Князь конюший Богуслав тоже сейчас в Кейданах, — возразил Володыёвский. — Любопытный человек, вы к нему получше присмотритесь. Славный воитель, а рыцарь и того славней, но польского в нем ни на грош. Одевается по-иноземному, говорит по-немецки, а то и по-французски лопочет так, точно орехи грызет, час можешь слушать его разговор и ничего не поймешь.

— Князь Богуслав под Берестечком храбро сражался, — заметил Заглоба, — да и пехоту выставил добрую, немецкую.

— Кто ближе его знает, не очень его хвалит, — продолжал Володыёвский. — Он только немцев и французов любит; да и нет ничего удивительного, — мать-то у него немка, дочь бранденбургского курфюрста; его покойный отец не только не взял за нею никакого приданого, но и сам должен был еще приплатить, — видно, у этих князьков карманы тощие. Но Радзивиллам важно иметь suffragia^[72] в Священной Римской империи, князьями которой они состоят^[73], потому-то они с такой радостью роднятся с немцами. Мне об этом пан Сакович сказал, старый слуга князя Богуслава, которому тот дал староство Ошмянское. Он и пан Невяровский, полковник, ездили с князем Богуславом за границу, в разные заморские края, и на поединках всегда бывали у него секундантами.

— Сколько же у него было поединков? — спросил Заглоба.

— Как волос на голове! Пропать он погубил заграничных князей да графов, французских и немецких; говорят, человек он горячий и храбрый и за всякое слово вызывает на поединок.

Станислав Скшетуский, вызванный из задумчивости, вмешался в разговор:

— Слыхал и я про князя Богуслава, от нас недалеко до Бранденбурга, где он вечно пропадает у курфюрста. Помню, еще отец вспоминал, как отец князя Богуслава женился на немецкой княжне и как народ роптал, что такой знатный дом роднится с иноземцами; но, может, оно и к лучшему, ведь теперь курфюрст, как родич Радзивиллов, должен помогать Речи Посполитой, а от него сейчас многое зависит. А то, что ты говоришь про тощие карманы, это неправда. Конечно, продай всех Радзивиллов, так за них купишь курфюрста со всем его княжеством; однако нынешний курфюрст Фридрих Вильгельм поднакопил уже немало денег, и отборного войска у него двадцать тысяч, так что он смело может выступить с ним против шведов, а как ленник Речи Посполитой^[74] он обязан выступить, если только есть в нем бог и помнит он все благодеяния, которые Речь Посполитая оказала его дому.

— А выступит ли он? — спросил Ян.

— Черная это была бы неблагодарность и вероломство, если бы он не выступил! — ответил Станислав.

— Трудно ждать от чужих благодарности, особенно от еретика, — заметил пан Заглоба. — Я помню этого вашего курфюрста еще подростком, всегда он был молчун: все как будто слушал, что ему дьявол на ухо шепчет. Я ему в глаза это сказал, когда мы с покойным паном Конецпольским были в Пруссии. Он такой же лютеранин, как и шведский король. Дай-то бог, чтоб они еще союза не заключили против Речи Посполитой...

— Знаешь, Михал, — обратился вдруг Ян к Володыёвскому. — Не стану я нынче отдыхать, поеду с тобой в Кейданы. Ночью теперь лучше ехать, днем жара, да и очень мне хочется разрешить все сомнения. Отдохнуть еще будет время, не двинется же князь завтра в поход.

— Тем более что он велел задержать хоругвь в Упите, — подхватил пан Михал.

— Вот это дело! — воскликнул Заглоба. — Поеду и я с вами!

— Так едемте все вместе! — сказал пан Станислав.

— Завтра к утру и будем в Кейданах, — сказал Володыёвский, — а дорогой и в седле можно сладко подремать.

Спустя два часа рыцари, подкрепившись, тронулись в путь и еще до захода солнца доехали до Кракинова.

В пути пан Михал рассказал друзьям о здешних местах, о славной лауданской шляхте, о Кмицице и обо всем, что случилось тут в последнее время. Признался он и в своей любви, по обыкновению несчастной, к панне Билевич.

— Одно хорошо, что война на носу, — говорил пан Михал, — а то

пропал бы я с тоски. Иной раз подумаешь, — такое уж, видно, мое счастье, придется, пожалуй, умереть холостяком.

— Ничего нет в том обидного, — сказал Заглоба, — ибо препочетное это состояние и угодное богу. Я решил остаться холостяком до конца жизни. Жаль мне иногда, что некому будет передать славу и имя, — детей Яна я как родных люблю, но все-таки не Заглобы они, а Скшетуские.

— Ах, негодник! — воскликнул Володыёвский. — Вовремя собрался принять решение, все равно что волк, который дал обет не душить овец, когда у него выпали все зубы.

— Неправда! — возразил Заглоба. — Давно ли мы с тобой, пан Михал, были на выборах короля в Варшаве. На кого же оглядывались тогда все дамы, если не на меня? Помнишь, как ты жаловался, что на тебя ни одна и не взглянет? Но коли уж припала тебе охота жениться, не огорчайся. Придет и твой черед. И искать нечего, найдешь как раз тогда, когда искать не будешь. Нынче время военное, каждый год погибает много достойных кавалеров. Повоюем еще со шведами, так девки совсем подешевеют, на ярмарках будем их покупать на дюжины.

— Может, и мне суждено погибнуть, — сказал пан Михал. — Довольно уж мне скитаться по свету. Нет, не в силах я описать вам красоту и достоинства панны Биллевич. Уж так бы я любил ее, уж так бы голубил, как самого милого друга! Так нет же! Принесли черти этого Кмицица! Он ей зелья подсыпал, как пить дать, а то бы она меня не прогнала. Вон поглядите! Из-за горки уж видны Водокты; но дома никого нет, уехала она бог весть куда. Мой бы это был приют, тут бы провел я остаток своих дней. У медведя есть своя берлога, у волка есть свое логово, а у меня только эта вот кляча да это вот седло, в котором я сижу...

— Видно, ранила она твое сердце, — сказал Заглоба.

— Как вспомню ее или, проезжая мимо, увижу Водокты, все еще жалко мне... Хотел клин клином выбить и поехал к пану Шиллингу, — у него дочка красавица. Я ее как-то в дороге издали видел, и очень она мне приглянулась. Поехал я, и что же вы думаете? Отца не застал дома, а панна Кахна решила, что это к ним не пан Володыёвский приехал, а мальчишка, его слуга. Так я разобиделся, что больше туда ни ногой.

Заглоба рассмеялся.

— Ну тебя совсем, пан Михал! Вся беда в том, что тебе надо найти жену под стать себе, такую же крошку. А куда девалась эта маленькая бестия, которая была фрейлиной у княгини Вишневецкой, на ней еще покойный пан Подбипента — упокой, господи, его душу! — хотел жениться? Та была бы как раз под стать тебе, совсем малюточка, хоть

глазки у нее так и сверкали!

— Это Ануся Борзобогатая-Красенская, — сказал Ян Скшетуский. — Все мы в свое время в нее влюблялись, и Михал тоже. Бог его знает, что с нею сейчас.

— Вот бы отыскать да утешить! — воскликнул пан Михал. — Вспомнили вы ее, и у меня на душе стало теплей. Благороднейшей души была девушка. Дай-то бог повстречаться с нею!.. Эх, и добрые это были старые лубенские времена, да никогда уж они не воротятся. Не будет, пожалуй, больше и такого военачальника, каким был наш князь Иеремия. Знали мы тогда, что каждая встреча с врагом принесет нам победу. Радзивилл великий воитель, но куда ему до Иеремии, да и служишь ему не с таким усердием, — нет у него отцовской любви к солдату, неприступен он, мнит себя владыкою, хоть Вишневецкие были не хуже Радзивиллов.

— Не стоит говорить об этом, — промолвил Ян Скшетуский. — В его руках теперь спасение отчины, и да ниспошлет ему бог свое благословение, ибо он готов отдать за нее жизнь.

Такой разговор вели рыцари между собою, едучи ночью, и то вспоминали дела минувших дней, то толковали о нынешней тяжелой године, когда на Речь Посполитую обрушились сразу три войны.

Потом стали они читать молитвы на сон грядущий, богородице и святым помолились, а как кончили, сон сморил их, и они задремали, покачиваясь в седлах.

Ночь была ясная, теплая, тысячи звезд мерцали в небе; едучи нога за ногу, друзья сладко спали, и только когда забрезжил свет, первым проснулся пан Михал.

— Откройте глаза, друзья мои, Кейданы уж видно! — крикнул он.

— А? Что? — пробормотал Заглоба. — Кейданы? Где?

— Вон там! Башни видны.

— Красивый город, — заметил Станислав Скшетуский.

— Очень красивый, — подтвердил Володыёвский. — Днем вы это еще лучше увидите.

— Это вотчина князя воеводы?

— Да. Раньше город принадлежал Кишкам; отец князя Януша взял его в приданое за Анной, внучкой витебского воеводы, Кишки. Во всей Жмуди нет города лучше, а все потому, что сюда евреев не пускают, разве по особому позволению Радзивиллов. Меды тут хороши.

Заглоба протер глаза.

— Э, да тут почтенные люди живут. А что это за высокое здание вон там, на холме?

— Это замок, его недавно возвели, уже в княжение Януша.

— Он укреплен?

— Нет, это роскошная резиденция. Его не стали укреплять, ведь сюда со времен крестоносцев никогда не заходил враг. Острый шпиль, вон там, видите, посередине города, — это соборный костел. Крестоносцы построили этот костел еще в языческие времена, потом его отдали кальвинистам; но ксендз Кобылинский снова отсудил его у князя Кшиштофа.

— Ну и слава богу!

Ведя такой разговор, рыцари подъехали к первым домикам предместья.

Заря тем временем все разгоралась, всходило солнце. Рыцари с любопытством разглядывали незнакомый город, а Володыёвский продолжал свой рассказ:

— Это вот Еврейская улица, здесь евреи живут, которые получили на то позволение. По этой улице мы доедем до самой рыночной площади. Ого, люди уже встают и выходят из домов. Взгляните-ка, сколько лошадей возле кузниц, и челядь не в радзивилловском платье. Верно, в Кейданах какой-нибудь съезд. Тут всегда полно шляхты и знати, иной раз и из чужих краев приезжают гости, — это ведь столица еретиков всей Жмуди, они здесь под защитой Радзивиллов свободно отправляют свои службы и суеверные обряды. О, вот и площадь! Обратите внимание, какие часы на ратуше! Лучше, пожалуй, нет и в Гданске. А вон та молельня с четырьмя башнями — это кирка реформатов, они каждое воскресенье кощунствуют там, а вот лютеранская кирка. Вы, может, думаете, что здешние горожане — поляки или литвины? Вовсе нет! Одни немцы да шотландцы, и больше всего тут шотландцев! Пехотинцы из них первейшие, особенно лихо рубятся они бердышами. Есть у князя шотландский полк из одних кейданских охотников. Э, сколько на площади повозок с коробами! Наверно, какой-нибудь съезд. Во всем городе нет ни одного постоянного двора, заехать можно только к знакомым; ну, а шляхта — та в замке останавливается; там боковое крыло дворца длиною в несколько десятков локтей предназначено только для приезжих. Год целый будут тебя учтиво принимать за счет князя; кое-кто живет там постоянно.

— Удивительно мне, что гром не грянул и не спалил эту еретическую молельню! — сказал Заглоба.

— А вы знаете, было такое дело. Там промежду четырех башен купол был как шапка, ну, однажды как ударило в этот купол, так от него ничего не осталось. В подземелье здесь покоится отец князя конюшего Богуслава, тот

самый Януш, который поднял рокош^[75] против Сигизмунда Третьего. Собственный гайдук раскроил ему череп, так что он и жил грешил, и погиб занапрасно.

— А что это за обширное строение, похожее на каменный сарай? — спросил Ян.

— Это бумажная мануфактура, ее князь основал, а рядом книгопечатня, в которой еретические книги печатают.

— Тьфу! — плюнул Заглоба. — Чума бы взяла этот город! Что ни вздохни, то еретического духу полно брюхо наберешь. Люцифер может быть здесь таким же господином, как и Радзивилл.

— Милостивый пан! — воскликнул Володыёвский. — Не хули Радзивилла, ибо в скором времени отчизна, быть может, будет обязана ему спасением.

Они ехали дальше в молчании, глядя на город и дивясь порядку, царившему в нем: все улицы были вымощены булыжником, что в те времена было большой редкостью.

Миновав рыночную площадь и Замковую улицу, путники увидели на возвышенности роскошную резиденцию, недавно построенную князем Янушем, которая и в самом деле не была укреплена, но размерами превосходила не только дворцы, но и замки. Здание стояло на холме и обращено было на город, который как бы лежал у его подножия. Расположась покоем с двумя крыльями пониже, оно образовало огромный двор, огражденный спереди железной решеткой с высокими частыми зубцами. Посредине решетки поднимались могучие, сложенные из камня ворота с гербами Радзивиллов и гербом города Кейданы, представлявшим лапу орла с черным крылом на золотом поле и с красной подковой из трех крестов. В воротах была караульня, и шотландские драбанты стояли на страже, но не для охраны, а для парада.

Время было раннее, однако во дворе уже царило движение, и перед главным корпусом проходил муштру полк драгун в голубых колетах и шведских шлемах. Длинный строй замер с рапирами наголо, а офицер, проезжая перед фронтом, что-то говорил солдатам. Вокруг строя и дальше, у стен дома, толпы челяди в пестром платье глазели на драгун и обменивались замечаниями и наблюдениями.

— Клянусь богом, — сказал пан Михал, — это пан Харламп муштрует свой полк!

— Как! — воскликнул Заглоба. — Неужели тот самый, с которым ты должен был драться во время выборов короля в Липкове?

— Он самый. Но мы с той поры живем в мире и согласии.

— И впрямь он! — подтвердил Заглоба. — Я признал его по носу, который торчит из-под шлема. Хорошо, что забрала вышла из моды, а то он ни одного не смог бы застегнуть; но на нос этому рыцарю нужен все-таки особый доспех.

Тем временем Харламп заметил Володыёвского и рысью подскакал к нему.

— Как поживаешь, Михалек? — вскричал он. — Хорошо, что приехал!

— А еще лучше, что первого встретил тебя. Вот пан Заглоба, с которым ты познакомился в Липкове, да нет, раньше, в Сеннице, а это вот Скшетуские: пан Ян, ротмистр королевской гусарской хоругви, герой Збаража...

— О, да ведь это славнейший рыцарь в Польше! — вскричал Харламп. — Здорово, здорово.

— А вот пан Станислав, ротмистр калишский, — продолжал Володыёвский. — Он прямо из Уйстя.

— Из Уйстя? Так ты, пан, был свидетелем страшного позора. Мы уже знаем, что там случилось.

— А я сюда и приехал в надежде, что уж тут-то такого позора не будет.

— Будь уверен. Радзивилл — это тебе не Опалинский.

— Мы вчера в Упите то же самое говорили.

— Рад приветствовать вас и от своего имени, и от имени князя воеводы. Князь обрадуется, когда вас увидит, ему такие рыцари очень нужны. Пойдемте же ко мне, в арсенал, у меня там квартира. Вам переодеться надо и подкрепиться, а я тоже к вам присоединюсь, ученье я уж закончил.

С этими словами Харламп снова подскакал к строю и коротко и зычно скомандовал:

— Налево, кругом! Марш!

Копыта зацокали по мостовой. Строй вздвоил ряды, раз, другой, пока не построился наконец по четыре в ряд и медленным шагом не стал удаляться по направлению к арсеналу.

— Добрые солдаты, — молвил Скшетуский, глазами знатока глядя на точные движения драгун.

— В драгунах одна шляхта служит да путные боярские дети, — сказал Володыёвский.

— Боже мой, оно и видно, что это не ополченцы! — воскликнул пан Станислав.

— Так Харламп у них поручиком? — спросил Заглоба. — А мне что-то помнится, он в панцирной хоругви служил и носил на плече серебряную

петлицу.

— Да, — ответил Володыёвский, — но вот уже года два он командует драгунским полком. Старый это солдат, стреляный.

Харламп тем временем отослал драгун и подошел к нашим рыцарям.

— Пожалуйте за мной. Вон там, позади дворца, арсенал.

Через полчаса они сидели впятером за гретым пивом, щедро забеленным сметаной, и вели разговор о новой войне.

— А что у вас здесь слышно? — спрашивал Володыёвский.

— У нас что ни день, то новость, люди теряются в догадках, вот и пускают все новые слухи, — ответил Харламп. — А по-настоящему один только князь знает, что будет. Замысел он какой-то обдумывает: и веселым притворяется, и с людьми милостив, как никогда, однако же очень задумчив. По ночам, толкуют, не спит, все ходит тяжелым шагом по покоям и сам с собой разговаривает, а весь день держит совет с Гарасимовичем.

— Кто он такой, этот Гарасимович? — спросил Володыёвский.

— Управитель из Заблудова, с Подляшья; невелика птица и с виду такой, будто дьявола в пазухе держит; но у князя он в чести и похоже, знает все его тайны. Я так думаю, жестокая и страшная война будет у нас со шведами после всех этих советов, и ждем мы все ее с нетерпением. А пока гонцы с письмами носятся: от герцога курляндского^[76], от Хованского и от курфюрста. Поговаривают, будто князь ведет переговоры с Москвой, хочет вовлечь ее в союз против шведов; другие толкуют, будто вовсе этого нет; но сдается мне, ни с кем не будет союза, а только война — и с шведом и с Москвой. Войск прибывает все больше, и шляхте, которая всей душой преданна дому Радзивиллов, письма шлют, чтобы съезжалась сюда. Везде полно вооруженных людей... Эх, друзья, кто виноват, тот и в ответе будет; но руки у нас по локоть будут в крови: уж коли Радзивилл пойдет в бой, он шутить не станет.

— Так, так! — потирая руки, проговорил Заглоба. — Немало крови пустил я шведам этими руками, но и еще пуцу немало. Немного солдат осталось в живых из тех, кто видел меня под Пуцком и Тшцяной, но кто еще жив, никогда меня не забудет.

— А князь Богуслав здесь? — спросил Володыёвский.

— Да. Нынче мы ждем еще каких-то важных гостей: верхние покои убирают, и вечером в замке будет пир. Михал, попадешь ли ты сегодня к князю?

— Да ведь он сам вызвал меня на сегодня.

— Так-то оно так, да сегодня он очень занят. К тому же... право, не знаю, можно ли сказать вам об этом... а впрочем, через какой-нибудь час

все об этом узнают! Так и быть, скажу... Неслыханные дела у нас тут творятся...

— Что такое? Что такое? — оживился Заглоба.

— Должен вам сказать, что два дня назад к нам в замок приехал пан Юдицкий, кавалер мальтийский^[77], о котором вы, наверно, слышали.

— Ну как же! — сказал Ян. — Это великий рыцарь!

— Вслед за ним прибыл гетман польный Госевский. Очень мы удивились, — все ведь знают, как соперничают и враждуют друг с другом гетман польный и наш князь. Кое-кто обрадовался, — дескать, мир теперь между гетманами, кое-кто толковал, будто это шведское нашествие заставило их помириться. Я и сам так думал, а вчера оба гетмана заперлись с паном Юдицким, все двери позапирали, так что никто не слышал, о чем они держат совет; только пан Крепштул, который стоял на страже под дверью, рассказывал нам, что очень они кричали, особенно гетман польный. Потом сам князь проводил гостей в их опочивальни, а ночью, можете себе представить, — тут Харлампович понизил голос, — к их дверям приставили стражу.

Пан Володыёвский даже привскочил.

— О, боже! Да не может быть!

— Истинная правда! У дверей стоят шотландцы с ружьями, и приказ им дан под страхом смерти никого не впускать и не выпускать.

Рыцари переглянулись в изумлении, а Харлампович, не менее изумленный значением собственных слов, уставился на них, словно ожидая разрешения загадки.

— Стало быть, пан подскарбий взят под арест? Великий гетман арестовал гетмана польного? — произнес Заглоба. — Что бы это могло значить?

— Откуда мне знать. И Юдицкий, такой рыцарь!

— Должны же были офицеры князя говорить об этом между собою, строить догадки... Ты разве ничего не слышал?

— Да я еще вчера ночью у Гарасимовича спрашивал...

— Что же он тебе ответил? — спросил Заглоба.

— Он ничего не хотел говорить, только прижал палец к губам и сказал: «Они изменники!»

— Какие изменники? Какие изменники? — схватился за голову Володыёвский. — Ни пан подскарбий Госевский не изменник, ни пан Юдицкий не изменник. Вся Речь Посполитая знает, что это достойные люди, что они любят отчизну.

— Сегодня никому нельзя верить, — угрюмо произнес Станислав

Скшетуский. — Разве Кшиштоф Опалинский не слыл Катонем? Разве не обвинял он других в пороках, преступлениях, стяжательстве? А как дошло до дела — первый изменил отчизне, и не один, целую провинцию заставил изменить.

— Но за пана подскарбия и пана Юдицкого я головой ручаюсь! — воскликнул Володыёвский.

— Ни за кого, Михалек, головой не ручайся, — предостерег его Заглоба. — Не без причины же их арестовали. Козни они умышляли, как пить дать! Как же так? Князь готовится к великой войне, ему всякая помощь дорога, кого же он может арестовать в такую минуту, как не тех, кто ему мешает в этом деле? А коли так, коли эти двое и впрямь мешали ему, — слава богу, что умысел их упредили. В подземелье сажать таких. Ах, негодяи! В такое время строить козни, входить в сношения с врагом, восставать против отчизны, чинить помехи великому вождю в его начинаниях! Пресвятая богородица, мало для них ареста!

— Странно мне все это, очень странно, прямо в голове не укладывается! — сказал Харламп. — Я уж о том не говорю, что они знатные вельможи, арестовали ведь их без суда, без сейма, без воли Речи Посполитой, а ведь этого сам король не имеет права делать.

— Клянусь богом, не имеет! — крикнул пан Михал.

— Князь, видно, хочет завести у нас римские обычаи, — заметил Станислав Скшетуский, — и во время войны стать диктатором.

— Да пусть будет хоть диктатором, лишь бы шведов бил! — возразил Заглоба. — Я первый подаю votum^[78] за то, чтобы ему вверить диктатуру.

— Только бы, — после минутного раздумья снова заговорил Ян Скшетуский, — не пожелал он стать протектором, как англичанин Кромвель, который не поколебался поднять святотатственную руку на собственного повелителя.

— Ба, Кромвель! Кромвель еретик! — крикнул Заглоба.

— А князь воевода? — сурово спросил Ян Скшетуский.

Все смолкли при этих словах, на мгновение со страхом заглянув в темное грядущее, только Харламп тотчас распалился:

— Я смолоду служу под начальством князя воеводы, хоть и не namного моложе его; в юности своей он был моим ротмистром, потом стал гетманом польным, а нынче он великий гетман. Я лучше вас его знаю, я люблю его и почитаю, а потому попрошу не равнять его с Кромвелем, а то как бы не пришлось наговорить вам таких слов, какие хозяину дома говорить не пристало!..

Харламп свирепо встопорщил тут усы и стал исподлобья поглядывать

на Яна Скшетуского; увидев это, Володыёвский бросил на него такой холодный и быстрый взгляд, точно хотел сказать:

«Попробуй только пикни!»

Усач тотчас утихомирился, так как весьма уважал пана Михала, да и небезопасно было затевать с маленьким рыцарем ссору.

— Князь кальвинист, — продолжал он уже гораздо мягче, — но не он ради ереси оставил истинную веру, он рожден в ереси. Никогда не станет он ни Кромвелем, ни Радзеёвским, ни Опалинским, хоть бы земля расступилась и поглотила Кейданы. Не такая это кровь, не такой род!

— Да коли он дьявол с рогами во лбу, так оно и лучше, будет чем шведов бодать, — сказал Заглоба.

— Однако арестовать пана Госевского и кавалера Юдицкого? Ну и ну! — покачал головой Володыёвский. — Не очень-то обходителен князь с гостями, которые ему доверились.

— Что ты говоришь, Михал! — возразил Харламп. — Он обходителен, как никогда. Он теперь рыцарям как отец родной. Помнишь, раньше он вечно ходил насупясь, знал одно только слово: «Служба!» К королю легче было приступить, чем к нему. А теперь его всякий день увидишь с поручиками и шляхтой: ходит, беседует, каждого спросит про семью, про детей, про имение, каждого по имени назовет, справится, не терпит ли кто обиды по службе. Он мнит, что среди владык нет ему равных, а меж тем вчера — нет, третьего дня! — ходил под руку с молодым Кмицицем. Мы глазам своим не поверили. Оно, конечно, Кмициц знатного рода, но ведь молокосос и жалоб на него, сдается, пропасть подано в суд; да ты об этом лучше меня знаешь.

— Знаю, знаю, — сказал Володыёвский. — А давно тут Кмициц?

— Нынче его нет, он вчера уехал в Чейкишки за пехотным полком, который стоит там. В такой милости Кмициц теперь у князя, как никто другой. Когда он уезжал, князь проводил его глазами, а потом и говорит: «Этот молодец для меня на все готов, черту хвост прищепит, коли я велю!» Мы сами это слышали. Правда, хоругвь привел Кмициц князю, что другой такой нет во всей войске. Не люди и кони — огненные змеи.

— Что говорить, солдат он храбрый и в самом деле на все готов! — сказал пан Михал.

— В последней войне он, сдается, такие показывал чудеса, что за его голову цену назначили, — был предводителем у охотников и воевал на свой страх.

Дальнейший разговор прервало появление нового лица. Это был шляхтич лет сорока; маленький, сухонький, подвижной, он так и извивался

ужом; личико у него было с кулачок, губы тонкие, усы жидкие, глаза с косинкой. Он был в одном тиковом жупане с такими длинными рукавами, что они совершенно закрывали ему кисти рук. Войдя, он согнулся вдвое, затем выпрямился вдруг, точно подброшенный пружиной, затем снова согнулся в низком поклоне, завертел головой так, точно силился извлечь ее у себя из-под мышки, и заговорил скороговоркой, голосом, напоминавшим скрип заржавленного флюгера:

— Здорово, пан Харламп, здорово! Ах, здорово, пан полковник, твой покорнейший слуга!

— Здорово, пан Гарасимович, — ответил Харламп. — Чего тебе надо?

— Бог гостей дал, знаменитых гостей! Я пришел предложить свои услуги и спросить, как звать приезжих.

— Пан Гарасимович, да разве они к тебе приехали в гости?

— Ясное дело, не ко мне, я и недостойн такой чести... Но дворецкого нет, я его замещаю, потому и пришел с поклоном, низким поклоном!

— Далеко тебе до дворецкого, — отрезал Харламп. — Дворецкий — персона, большой пан, а ты, с позволения сказать, заблудовский подстароста.

— Слуга слуг Радзивилла! Да, пан Харламп. Я не отпираюсь, упаси бог! Но про гостей князь узнал, он-то и прислал меня спросить, кто такие, так что ты, пан Харламп, ответишь мне, сейчас же ответишь, даже если бы я был не подстароста заблудовский, а простой гайдук.

— Я б и мартышке ответил, приди она ко мне с приказом, — отрубил Носач. — Слушай же, пан, да запиши фамилии, коли ум у тебя короток и запомнить ты их не можешь. Это пан Скшетуский, герой Збаража, а это его двоюродный брат, Станислав.

— Всемогущий боже, что я слышу! — воскликнул Гарасимович.

— Это пан Заглоба.

— Всемогущий боже, что я слышу!

— Коли ты, пан, так смутился, когда услышал мою фамилию, — сказал Заглоба, — представь же себе, как должны смутиться враги на поле боя.

— А это пан полковник Володыёвский, — закончил Харламп.

— Славная сабля и это, к тому же радзивилловская, — поклонился Гарасимович. — У князя голова пухнет от работы; но для таких рыцарей он найдет время, непременно найдет. А покуда чем могу служить, дорогие гости? Весь замок к вашим услугам и погреб тоже.

— Слыхали мы, кейданские меды хороши, — не преминул вставить слово Заглоба.

— О да! — ответил Гарасимович. — Хороши меды в Кейданах, хороши! Я пришлю сейчас на выбор. Надеюсь, дорогие гости не скоро нас покинут.

— А мы затем сюда приехали, чтобы уж больше не оставить князя воеводу, — сказал пан Станислав.

— Похвальное намерение, тем более похвальное, что ждут нас такие черные дни.

При этих словах пан Гарасимович весь как-то скрючился и стал как будто на целый локоть ниже.

— Что слышно? — спросил Харламп. — Нет ли новостей?

— Князь во всю ночь глаз не сомкнул, два гонца прискакали. Дурные вести, и с каждым часом все хуже. Carolus Gustavus вслед за Виттенбергом вступил уже в пределы Речи Посполитой, Познань уже занята, вся Великая Польша занята, скоро занята будет Мазовия; шведы уже в Ловиче, под самой Варшавой. Наш король бежал из Варшавы, оставив ее безо всякой защиты. Не нынче-завтра шведы вступят в столицу. Толкуют, будто король и сражение большое проиграл, будто хочет бежать в Краков, а оттуда в чужие края просить помощи. Плохо дело! Кое-кто, правда, говорит, что это хорошо, шведы, мол, не насильничают, свято блюдут договоры, податей не взыскивают, вольности хранят и в вере препятствий не чинят. Потому-то все охотно переходят под покровительство Карла Густава. Провинился наш король, Ян Казимир, тяжко провинился... Все пропало, все для него пропало! Плакать хочется, но все пропало, пропало!

— Что это ты, пан, черт тебя дери, вьешься, как вьюн, когда его в горшок кладут, — гаркнул Заглоба, — и о беде говоришь так, будто рад ей?

Гарасимович сделал вид, что не слышит, и, подняв глаза к потолку, снова повторил:

— Все пропало, навеки пропало! Трех войн Речи Посполитой не выдержать! Все пропало! Воля божья! Воля божья! Один только наш князь может спасти Литву.

Не успели еще отзвучать эти зловещие слова, как пан Гарасимович исчез за дверью с такой быстротой, точно сквозь землю провалился, и рыцари остались сидеть в унынии, придавленные тяжкими вестями.

— С ума можно сойти! — крикнул наконец Володыёвский.

— Это ты верно говоришь, — поддержал его Станислав. — Хоть бы уж бог дал войну, войну поскорее, чтобы не теряться в догадках, чтобы душу не брала унылость, чтобы только сражаться.

— Придется пожалеть о первых временах Хмельницкого, — сказал Заглоба, — были тогда у нас поражения, но, по крайности, изменников не

было.

— Три такие страшные войны, когда у нас, сказать по правде, и для одной мало сил! — воскликнул Станислав.

— Не сил у нас мало, а пали мы духом. От подлости гибнет отчизна. Дай-то бог дожидаться здесь чего-нибудь лучшего, — угрюмо проговорил Ян.

— Я вздохну с облегчением только на поле боя, — сказал Станислав.

— Поскорей бы уж увидеть этого князя! — воскликнул Заглоба.

Его желание скоро исполнилось, — через час снова явился Гарасимович, кланяясь еще униженной, и объявил, что князь желает немедленно видеть гостей.

Рыцари были уже одеты и потому тотчас собрались к князю. Выйдя с ними из арсенала, Гарасимович повел их через двор, где толпились военные и шляхта. Кое-где в толпе громко обсуждали те же, видно, новости, которые рыцарям принес подстароста заблудовский. На всех лицах читалась живая тревога, какое-то напряженное ожидание. Отчаянно размахивая руками, гремели в толпе витии. Слышались возгласы:

— Вильно горит! Вильно спалили! Одно пепелище осталось!

— Варшава пала!

— Ан нет, еще не пала!

— Шведы уже в Малой Польше!

— В Серадзе им дадут жару!

— Нет, не дадут! Пойдут по примеру Великой Польши!

— Измена!

— Беда!

— О, боже, боже! Не знаешь, куда руки приложить да саблю!

Вот какие речи, одна другой страшнее, поражали слух рыцарей, когда они вслед за Гарасимовичем с трудом протискивались сквозь толпу военных и шляхты. Знакомые приветствовали Володыёвского:

— Как поживаешь, Михал? Плохо дело! Погибаем!

— Здорово, пан полковник! Что это за гостей ты ведешь к князю?

Чтобы не задерживаться, пан Михал не отвечал на вопросы, и рыцари дошли так до главного замкового здания, где стояли на страже княжеские янычары в кольчугах и высоченных белых шапках.

В сенях и на главной лестнице, уставленной апельсиновыми деревьями, давка была еще больше, чем во дворе. Тут обсуждали арест Госевского и кавалера Юдицкого; все уже открылось, и умы были возбуждены до крайности. Все диву давались, терялись в догадках, негодовали или хвалили князя за прозорливость; все надеялись, что сам

князь раскроет загадку, и потому потоки людей текли по широкой лестнице наверх, в залу аудиенций, где князь в эту минуту принимал полковников и знать. Драбанты, стоявшие вдоль каменных перил, сдерживали напор, то и дело повторяя: «Потише, потише!» — а толпа подвигалась вперед или приостанавливалась на минуту, когда драбант алебардой преграждал путь, чтобы передние могли пройти в залу.

Наконец в растворенных дверях блеснул лазурный свод, и наши знакомцы вошли внутрь. Взоры их привлекло прежде всего возвышение в глубине, где толпился избранный круг рыцарей и знати в пышных и пестрых одеждах. Выдавшись из ряда, впереди стояло пустое кресло с высокой спинкой, увенчанной золоченой княжеской шапкой, из-под которой ниспадал сине-алый бархат, опушенный горностаем.

Князя еще не было в зале; но Гарасимович, ведя по-прежнему за собой рыцарей, протиснулся сквозь толпу собравшейся шляхты к маленькой двери, укрытой в стене сбоку возвышения; там он велел им подождать, а сам исчез за дверью.

Через минуту он вернулся и доложил, что князь просит рыцарей к себе.

Оба Скшетуские, Заглоба и Володыёвский вошли в небольшую, очень светлую комнату, обитую кожей с тиснением в золотые цветы, и остановились, увидев в глубине, за столом, заваленным бумагами, двух человек, поглощенных разговором. Один из них, еще молодой, в иноземной одежде и в парике, длинные букли которого ниспадали ему на плечи, шептал что-то на ухо старшему, а тот слушал, насупя брови, и кивал время от времени головой, до того увлеченный предметом разговора, что не обратил внимания на вошедших.

Это был человек лет сорока с лишним, огромного роста, широкоплечий. Одет он был в пурпурный польский наряд, застегнутый у шеи драгоценными аграфами. Лицо у него было большое, и черты дышали спесью, важностью и силой. Это было львиное лицо воителя и в то же время гневливого владыки. Длинные, обвислые усы придавали ему угрюмый вид, и все оно, крупное и сильное, было словно высечено из мрамора тяжелыми ударами молота. Брови в эту минуту были насуплены от напряженного внимания; но легко было угадать, что, если он насупит их в гневе, горе людям, горе войскам, на которых обрушится гроза.

Таким величием дышал весь облик этого человека, что рыцарям, глядевшим на него, казалось, что не только эта комната, но и весь замок для него слишком тесен; первое впечатление не обмануло их: перед ними сидел Януш Радзивилл, князь биржанский и дубинковский, воевода виленский и

великий гетман литовский, кичливый и могучий властелин, которому не только мало было всех титулов и всех необъятных владений, но тесно было даже в Жмуди и Литве.

Младший собеседник князя, в длинном парике и иноземном наряде, был князь Богуслав, двоюродный его брат, конюший Великого княжества Литовского.

Минуту он все еще что-то шептал на ухо гетману, наконец громко произнес:

— Так я поставлю на документе свою подпись и уеду.

— Раз уж иначе нельзя, тогда езжай, князь, — ответил Януш, — хотя лучше было бы, если бы ты остался, ведь неизвестно, что может случиться.

— Ясновельможный князь, ты все уже обдумал зрело, а там надо вникнуть в дела; засим предаю тебя в руки господа.

— Да хранит господь весь наш дом и умножит славу его.

— Adieu, mon frere!^[79]

— Adieu!

Оба князя протянули друг другу руки, после чего конюший поспешно удалился, а великий гетман обратился к прибывшим.

— Прошу прощения за то, что заставил вас ждать, — сказал он низким, протяжным голосом, — но меня сейчас рвут на части, минуты нет свободной. Я уж знаю ваши имена и рад от всей души, что в такую годину господь посылает мне таких рыцарей. Садитесь, дорогие гости. Кто из вас пан Ян Скшетуский?

— К твоим услугам, ясновельможный князь, — проговорил Ян.

— Так ты, пан, староста... погоди-ка... забыл...

— Я никакой не староста, — возразил Ян.

— Как не староста? — прикинулся удивленным князь, нахмуря свои густые брови. — Тебе не дали староства за подвиг под Збаражем?

— Я никогда об этом не просил.

— Тебе и без просьб должны были дать. Как же так? Что ты говоришь? Никакой не дали награды? Совсем забыли? Мне странно это. Впрочем, я не то говорю, никого это не должно удивлять, ибо теперь жалуют только тех, у кого спина, как ивовый прут, легко гнется. Скажи на милость, так ты не староста! Благодарение создателю, что ты сюда приехал, ибо у нас память не так коротка, и ни одна заслуга не останется у нас без награды, в том числе и твоя, пан полковник Володыёвский.

— Я ничего еще не заслужил...

— Предоставь мне судить об этом, а пока возьми вот этот документ, уже заверенный в Россиенах, по которому я отдаю тебе в пожизненное

владение Дыдкемы. Неплохое это именье, сотня плугов каждую весну выходит там в поле на пахоту. Прими от нас его в дар, больше мы дать не можем, а пану Скшетускому скажи, что Радзивилл не забывает ни своих друзей, ни тех, кто под его водительством верой и правдой послужил отчизне.

— Ясновельможный князь... — в замешательстве пробормотал пан Михал.

— Не надо слов, и ты уж прости, что так мало я даю, но друзьям своим скажи, что не пропадет тот, кто свою судьбу разделит с судьбою Радзивиллов. Я не король, но если б я им был, — бог свидетель! — я не забыл бы никогда ни Яна Скшетуского, ни Заглобы...

— Это я! — сказал Заглоба, живо подавшись вперед, ибо его уже разбирало нетерпение, почему это его до сих пор не помянули.

— Я догадываюсь, что это ты, мне говорили, что ты человек уже немолодой.

— Я с твоим отцом, ясновельможный князь, в школу ходил, а у него сизмальства была склонность к рыцарству, да и я предпочитал латыни копьецо, потому и пользовался его благосклонностью.

Станислав Скшетуский, мало знавший Заглобу, удивился, услышав такие речи, — ведь еще накануне, в Упите, Заглоба говорил, что в школу ходил вовсе не с покойным князем Кшиштофом, а с самим Янушем, что было заведомой неправдой, так как князь Януш был намного моложе его.

— Вот как! — сказал князь. — Так ты, пан, родом из Литвы?

— Из Литвы, — не моргнув глазом, ответил Заглоба.

— Тогда я догадываюсь, что и ты не получил никакой награды, ибо мы, литвины, уже привыкли к тому, что нас кормят черною неблагодарностью. О, боже, если бы я всем вам дал то, что вам полагается по праву, у меня самого ничего не осталось бы. Но такова уж наша доля! Мы отдаем кровь, жизнь, имущество, и никто нам за это даже спасибо не скажет. Да! Что поделаешь! Что посеешь, то и пожнешь. Так бог велит и правда... Так это ты, пан, зарубил преславного Бурлая и под Збаражем снес три головы с плеч?

— Бурлая я зарубил, ясновельможный князь, — ответил Заглоба. — Говорили, будто его никто не может одолеть в единоборстве, вот я и хотел показать молодым, что не перевелись еще богатыри в Речи Посполитой. Что ж до трех голов, то и такое в пылу боя могло приключиться; но под Збаражем это кто-то другой сделал.

Князь умолк на минуту.

— Не тяжело ли вам, — снова заговорил он, — пренебрежение, каким

вам отплатили?

— Оно, конечно, досадно, — ответил Заглоба, — да что поделаешь, ясновельможный князь!

— Утешься же, ибо все переменится. За одно то, что вы приехали ко мне, я в долгу перед вами, и хоть я не король, но посулами не плачу.

— Ясновельможный князь, — живо и несколько даже надменно ответил на эти слова Ян Скшетуский, — не за наградами и не за богатствами мы сюда приехали. Враг напал на отчизну, и мы хотим грудью встать на ее защиту под начальством столь славного воителя. Брат мой, Станислав, видел под Уйстем смятение и страх, позор и измену, а в конце торжество врага. Здесь мы будем служить отчизне и трону под водительством великого полководца и верного их защитника. Не победы и не торжество ждут здесь врага, но поражение и смерть. Вот почему мы прибыли сюда и предлагаем тебе свою службу. Мы, солдаты, хотим сражаться и рвемся в бой.

— Коли таково ваше желание, то и оно будет исполнено, — сказал значительно князь. — Вам не придется долго ждать, хотя сперва мы двинемся на другого врага, ибо отомстить надо нам за спаленное Вильно [80]. Не нынче-завтра мы двинемся туда и, даст бог, все до последней отплатим обиды. Не буду вас больше задерживать; и вы нуждаетесь в отдыхе, и мне надо работать. А вечером приходите в покои, может, и позабавитесь перед походом, ибо перед войной под наше крыло съехалось в Кейданы множество дам. Пан полковник Володыёвский, принимай же дорогих гостей, как у себя дома, и помните, друзья, — что мое, то ваше!.. Пан Гарасимович, скажи панам братьям, собравшимся в зале, что я не выйду, времени нет, а сегодня вечером они обо всем узнают. Будьте здоровы и будьте друзьями Радзивилла, ибо и для него от этого многое зависит.

С этими словами могущественный и кичливый властелин как равным подал по очереди руку Заглобе, обоим Скшетуским, Володыёвскому и Харлампю. Угрюмое его лицо осветила сердечная и милостивая улыбка, недоступность, всегда окружавшая его, как темное облако, исчезла совершенно.

— Вот это полководец! Вот это воитель! — говорил Станислав, когда они на обратном пути снова пробивались сквозь толпу шляхты, собравшейся в зале аудиенций.

— Я бы за него в огонь бросился! — воскликнул Заглоба. — Вы заметили, что он на память знает все мои подвиги? Жарко станет шведам, когда взревет этот лев, а я ему стану вторить. Другого такого владыки нет

во всей Речи Посполитой, а из прежних один только князь Иеремия да отец наш, пан Конецпольский, могли бы с ним поспорить. Это тебе не какой-нибудь каштелянишка, который первым в роду уселся в сенаторское кресло и штанов на нем еще не протер, а уж нос дерет и шляхту зовет младшей братией, и свой портрет велит тотчас намалевать, чтоб и за едою видеть свое сенаторство перед собой, коль за собой его не углядит. Пан Михал, ты разбогател! Ясное дело, кто о Радзивиллов потрется, тотчас вытертый кафтан позолотит. Вижу, награду здесь получить легче, чем у нас кварту гнилых груш. Сунул руку в воду с закрытыми глазами, ан щука у тебя в руке. Вот это князь, всем князьям князь! Дай бог тебе счастья, пан Михал! Смутился ты, как красная девица после венца, ну да ничего! Как это твое имя называется? Дудково, что ли? Языческие названия в здешнем краю. Хлопни об стенку горстью орехов и получишь коль не названье деревеньки, так имечко шляхтича. Ну да был бы кус поболее, а языка не жалко, он без костей.

— Признаться, смутился я страшно, — сказал пан Михал. — Ты вот, пан, толкуешь, будто здесь легко награду получить, а ведь это неправда. Я не раз слышал, как старые офицеры ругали князя за скупость, а теперь он что-то стал нежданно осыпать всех милостями.

— Заткни же этот документ себе за пояс, сделай это для меня! И как станет кто жаловаться на неблагодарность, вытащи документик из-за пояса и ткни ему в нос. Лучше доказательства не сыщешь.

— Одно только ясно мне, — промолвил Ян Скшетуский, — что князь сторонников ищет и, верно, замыслы какие-то обдумывает, для которых нужна ему помощь.

— Да разве ты не слышал об этих замыслах? — ответил ему Заглоба. — Разве не сказал князь, что мы должны выступить в поход, чтобы отомстить за спаленное Вильно? На него наговорили, будто это он ограбил Вильно, а он хочет показать, что ему не только чужого не надо, но что он и свое готов отдать. Вот это амбиция, пан Ян! Дай нам бог побольше таких сенаторов!

Ведя такой разговор между собою, рыцари снова вышли на замковый двор, куда ежеминутно въезжали то отряды конницы, то толпы вооруженной шляхты, то коляски, в которых ехали окрестные помещики с женами и детьми. Заметив это, пан Михал потащил всех к воротам, чтобы поглазеть, кто едет к князю.

— Как знать, пан Михал, день у тебя сегодня счастливый, — снова заговорил Заглоба. — Может, среди шляхтянок и твоя суженая едет. Погляди, вон подъезжает открытая коляска, а в ней сидит кто-то в белом...

— Не панна это едет, а тот, кто может обвенчать меня с нею, — сказал быстроглазый Володыёвский. — Я издали узнал, что епископ Парчевский едет с ксендзом Белозором, виленским архидьяконом.

— Неужто они посещают князя? Ведь он кальвинист.

— Что делать? Когда этого требуют державные дела, приходится заниматься дипломатией.

— Ну и пропасть же народу, ну и шум! — весело сказал Заглоба. — Совсем я в деревне покрылся плесенью! Тряхну тут стариной. Не я буду, коль сегодня же не приволокнусь за какой-нибудь красоткой!

Дальнейшие слова Заглобы прервали солдаты из стражи; выбежав из караульни, они выстроились в два ряда, отдавая воинские почести епископу; тот проехал мимо, благословляя на обе стороны солдат и собравшуюся шляхту.

— Тонкий политик князь, — заметил Заглоба, — ишь какие почести оказывает епископу, а ведь сам не признает церковных властей. Дай-то бог, чтобы это был первый шаг к обращению в лоно истинной церкви.

— Э, ничего из этого не получится. Уж как старалась его первая жена, а так ничего и не добились, пока не умерла с горя. Но почему это шотландцы не уходят с поста? Видно, опять проследует кто-то из сановников.

В отдалении показалась в это время целая свита вооруженных солдат.

— Это драгуны Ганхофа, я узнаю их, — сказал Володыёвский. — Да, но посредине кареты едут!

Тут раздалась барабанная дробь.

— О, это, видно, кто-то поважнее жмудского епископа! — воскликнул Заглоба.

— Погоди, пан, вон они уже едут.

— Посредине две кареты.

— Да. В первой пан Корф, воевода венденский.

— Ба! — крикнул Ян. — Да это знакомец из Збаража.

Воевода узнал рыцарей, прежде всего Володыёвского, с которым, видно, чаще встречался; проезжая мимо, он высунулся из кареты и крикнул:

— Приветствую вас, старые товарищи! Вот гостей везем!

В другой карете с гербами князя Януша, запряженной белым четвериком, сидели два осанистых господина, одетых по-иноземному, в широкополых шляпах, из-под которых на широкие кружевные воротники ниспадали светлые букли париков. Один, очень толстый, носил остроконечную белесоватую бородку и усы, кончики которых были

расчесаны и закручены вверх; у другого, помоложе, во всем черном, осанка была менее рыцарская, зато чин, пожалуй, повыше, — на шее у него блестела золотая цепь с каким-то орденом. Оба они были, видно, иноземцы, так как с любопытством разглядывали замок, людей и одежды.

— А это что еще за дьяволы? — спросил Заглоба.

— Не знаю, отродясь не видел! — ответил Володыёвский.

Но вот карста проехала мимо и стала огибать двор, чтобы подъехать к главному зданию замка; драгуны остались у ворот.

Володыёвский узнал офицера, который командовал ими.

— Токажевич! — крикнул он. — Здорово!

— Здорово, пан полковник!

— Что за бездельников вы привезли?

— Это шведы.

— Шведы?

— Да, и, видно, важные птицы. Толстяк — это граф Левенгаупт, а тот, потоньше, Бенедикт Шитте, барон фон Дудергоф.

— Дудергоф?! — воскликнул Заглоба.

— А чего им тут надо? — спросил Володыёвский.

— Бог их знает! — ответил офицер. — Мы их от Бирж сопровождаем.

Наверно, к нашему князю на переговоры приехали; мы в Биржах слышали, что великий князь собирает войско и хочет учинить набег на Лифляндию.

— Что, шельмы, испугались! — закричал Заглоба. — То на Великую Польшу учиняете набег, короля изгоняете, а тут к Радзивиллу на поклон явились, чтобы не задал вам жару в Лифляндии. Погодите! Такого деру дадите к вашим Дудергофам, что чулки с ног свалятся! Мы сейчас крепко с вами поговорим! Да здравствует Радзивилл!

— Да здравствует Радзивилл! — подхватили шляхтичи, стоявшие у ворот.

— *Defensor patriae!*^[81] Защита наша! На шведа, братья, на шведа!

Образовался круг. Шляхта со двора валила к воротам; увидев это, Заглоба вскочил на выступающий цоколь ворот и стал кричать:

— Слушайте, братья! Вот что скажу я тем, кто меня не знает: я старый герой Збаража, этой вот старой рукой я зарубил Бурлая, самого великого гетмана после Хмельницкого; кто не слышал про Заглобу, тот в первую казацкую войну, верно, горох луцил, или кур щипал, или телят пас, чего такие достойные кавалеры, как вы, надеюсь, не делали.

— Это великий рыцарь! — раздались многочисленные голоса. — Равного ему нет во всей Речи Посполитой! Слушайте!..

— Слушайте же! Пора бы моим старым костям на отдых; лучше б мне

на печке лежать, творог есть со сметаной, в саду гулять да яблоки собирать, над жнецами стоять да девок по спинам похлопывать. Пожалуй, и враг для своего же добра оставил бы меня в покое, ибо и шведы и казаки знают, что тяжелая у меня рука, и дай-то бог, чтобы имя мое было так же известно вам, братья, как известно оно hostibus.^[82]

— А что это за петух так тонко поет? — спросил вдруг чей-то голос.

— Не мешай, чтоб тебя бог убил! — закричали другие.

Но Заглоба расслышал.

— Вы уж простите этому петушку! — крикнул старик. — Он еще не знает, где хвост, где голова.

Раздался взрыв хохота, и выскочка, смутившись, стал выбираться из толпы, чтобы уйти от насмешек, которые посыпались на него.

— Вернемся к делу! — продолжал Заглоба. — Итак, герето^[83], надо бы мне отдохнуть; но родина в беде, враг попирает нашу землю, и вот я здесь, чтобы вместе с вами дать отпор hostibus именем родины-матери, которая всех нас вскормила. Кто сегодня не встанет на ее защиту, кто не поднимется на ее спасение, тот не сын ей, а пасынок, тот недостойн ее любви. Я, старик, иду и, коли будет на то воля господня и придется мне погибать, из последних сил буду кричать: «На шведа, братья, на шведа!» Дадим же клятву не выпустить сабли из рук, покуда не прогоним врага из родного края!

— Мы и без клятвы готовы! — раздались многочисленные голоса. — Пойдем, куда поведет нас гетман, учиним набег на врага, где понадобится.

— Братья, видали, два немца приехали в раззолоченной карете! Они знают, что с Радзивиллом шутки плохи! Они будут ходить за ним по покоям, в локоток его целовать, чтобы он их не трогал. Но князь на совете, с которого я возвращаюсь, заверил меня от имени всей Литвы, что не будет никаких переговоров, никаких пергаментов, только война и война!

— Война! Война! — как эхо повторили слушатели.

— Но и полководец, — продолжал Заглоба, — действует смелее, когда он уверен в своих солдатах; так покажем же ему, что мы думаем. Ну-те-ка! Пойдем к княжеским окнам да крикнем: «Эй, на шведа!» За мной!

С этими словами он прыгнул с цоколя и двинулся вперед, а за ним повалила шляхта; подойдя к самым окнам дворца, она шумела все громче, так что шум этот слился в конце концов в один общий оглушительный крик:

— На шведа! На шведа!

Через минуту из сеней выбежал в крайнем замешательстве Корф,

воевода венденский, за ним Ганхоф, полковник княжеских рейтар; они вдвоем стали успокаивать, унимать шляхту, просили ее разойтись.

— Ради всего святого! — говорил Корф. — Наверху прямо стекла дребезжат! Вы не знаете, как некстати собрались тут с вашими кликами. Как можно оскорблять послов, подавать пример неповиновения! Кто напустил вас?

— Я! — ответил Заглоба. — Скажи, пан, ясновельможному князю от имени всех нас, что мы просим его быть твердым, что до последней капли крови мы готовы биться в его войске.

— Спасибо вам всем от имени пана гетмана, спасибо, но только разойдитесь. Опомнитесь, Христом-богом молю, не то совсем погубите отчизну! Медвежью услугу оказывает тот отчизне, кто сегодня оскорбляет послов.

— Что нам послы! Мы сражаться хотим, а не вести переговоры!

— Меня радует ваш боевой дух! Придет пора и для битвы, и, бог даст, очень скоро. Отдохните теперь перед походом. Пора выпить горелки, закусить! Какой уж там бой на пустое брюхо!

— Правда, ей-богу, правда! — первым закричал Заглоба.

— Правда, в точку попал. Раз уж князь знает, что мы думаем, нечего нам тут делать!

И толпа начала расходиться; большая часть шляхты направилась в боковые крылья дворца, где было уже накрыто много столов. Заглоба шел впереди, а Корф отправился с полковником Ганхофом к князю, который держал совет с шведскими послами, епископом Парчевским, ксендзом Белозором, Адамом Кемеровским и Александром Межеевским, придворным короля Яна Казимира, проводившим время в Кейданах.

— Кто науститель всего этого шума? — спросил князь, на львином лице которого еще видны были следы гнева.

— Да тот славный шляхтич, который недавно прибыл сюда, пан Заглоба! — ответил воевода венденский.

— Рыцарь он храбрый, — ответил князь, — но что-то слишком рано начинает распоряжаться тут.

С этими словами он поманил полковника Ганхофа и стал что-то шептать ему на ухо.

Тем временем Заглоба, довольный собой, торжественным шагом направлялся в нижние залы, а рядом с ним шли оба Скшетуские и Володыёвский.

— Что, amici^[84], — говорил он вполголоса рыцарям. — Не успел я показаться, а уже разбудил в этой шляхте любовь к отчизне. Теперь князю

легче будет отправить послов ни с чем, надо только сослаться на наши suffragia. Думаю, дело не обойдется без награды, хотя главное для меня честь. Что это ты, пан Михал, стал, как истукан, и воззрился на карету у ворот?

— Это она! — встопорщил пан Михал усики. — Клянусь богом, это она!

— Кто такая?

— Панна Биллевич.

— Та, которая тебе отказала?

— Да. Поглядите, друзья, поглядите! Ну как тут не пропасть от сожалений.

— Погодите! — сказал Заглоба. — Надо посмотреть поближе.

Коляска тем временем, обогнув двор, подъехала к собеседникам. В ней сидел осанистый шляхтич с седеющими усами, а рядом с ним панна Александра, как всегда, красивая, спокойная и строгая.

Пан Михал, сокрушенно глядя на нее, отвесил низкий поклон, метя шляпой землю, но она не заметила его в толпе. А Заглоба, поглядев на тонкие, благородные ее черты, только сказал:

— Панское это дитяtko, пан Михал, слишком уж тонкая штучка для солдата. Что говорить, хороша, но, по мне, лучше такие, что сразу не признаешь: пушка это или баба?

— Ты, пан, не знаешь, кто это приехал? — спросил Володыёвский у стоявшего рядом шляхтича.

— Как не знать, знаю! — ответил шляхтич. — Это пан Томаш Биллевич, мечник россиенский. Все его тут знают, он старый слуга и друг Радзивиллов.

ГЛАВА XIII

Князь в тот день не показался шляхте до самого вечера; обедал он с послами и сановниками, с которыми у него был совет. Однако полковники получили приказ привести в боевую готовность надворные радзивилловские, особенно пехотные, полки под командой иноземных офицеров. В воздухе запахло порохом. Замок, хотя и не укрепленный, был окружен войсками, как будто у стен его собирались дать сражение. Похода ждали не позднее следующего утра, и были тому явные приметы: толпы княжеской челяди укладывали на повозки оружие, дорогую утварь и княжескую казну.

Гарасимович рассказывал шляхте, что повозки направятся в Тыкоцин, на Подляшье, так как в неукрепленном кейданском замке казну оставлять опасно. Готовили и обоз со снаряжением, который должен был следовать за войском.

Разнесся слух, будто гетман польный Госевский арестован по той причине, что он отказался соединить свои хоругви, стоящие в Троках, с радзивилловскими и тем самым подверг заведомой опасности все предприятие. Впрочем, приготовления к походу, движение войск, грохот пушек, которые выкатывали из замкового арсенала, и тот беспорядок, который всегда сопутствует первым минутам военных походов, отвлекли внимание от пана Госевского и кавалера Юдицкого и заставили забыть об их аресте.

У шляхты, обедавшей в огромных нижних залах боковых крыльев дворца, только и разговору было что о войне, пожаре в Вильно, полыхавшем уже десять дней и разгоравшемся все больше, о вестях из Варшавы, о наступлении шведов и о самих шведах, против которых, как против вероломных предателей, напавших на соседа вопреки договору, имевшему силу еще шесть лет, негодовали сердца и умы и все больше ожесточались души. Вести о стремительном наступлении, о сдаче Уйстя, занятии Великой Польши со всеми городами, об угрозе нашествия на Мазовию и неизбежном падении Варшавы не только не возбуждали страха, напротив, они поднимали дух войска, и люди рвались в бой. Все объяснялось тем, что ясны стали причины удачи шведов. До сих пор враг еще ни разу не столкнулся ни с войском, ни с настоящим полководцем. Радзивилл был первым воителем по ремеслу, с которым шведам предстояло померяться силами и в военные способности которого собравшаяся шляхта

верила непоколебимо, тем более что и полковники его ручались, что в открытом поле они побьют шведов.

— Непременно побьем! — уверял Михал Станкевич, старый и искушенный воин. — Я помню прежние войны и знаю, что шведы всегда оборонялись в замках, в укрепленных станах, в окопах: никогда не осмеливались они сразиться с нами в открытом поле, они очень боялись конницы, ну а когда, поверив в свои силы, отваживались напасть на нас, мы давали им хороший урок. Не завоевали они Великую Польшу, а отдали им ее измена и слабость ополчения.

— Да! — подтвердил Заглоба. — Квелый это народ, а все потому, что земля у них очень неурожайная и хлеба нет, одни сосновые шишки они мелют и пекут из такой муки лепешки, от которых воняет смолой. Иные по берегу моря ходят и жрут все, что только выбросит на берег волной, да и за эти лакомства дерутся друг с другом. Голь перекатная, потому и нет народа, который был бы так падок до чужого, как они; ведь даже у татар конины *ad libitum*^[85], а они иной раз год целый мяса не видят и с голоду мрут, если только рыбы не наловят много. — Тут Заглоба обратился к Станкевичу: — А когда ты, пан, со шведами встречался?

— Да когда служил под начальством князя Кшиштофа, отца нынешнего пана гетмана.

— А я в войске пана Конецпольского, отца нынешнего хорунжего. В Пруссии мы несколько раз разбили наголову Густава Адольфа и пленных много взяли; с тех самых пор я их насквозь вижу и все ихние уловки знаю. Надивились же на них наши хлопцы! Надо вам сказать, что эти шведы вечно в воде болтаются и главный прибыток имеют от моря, ну, а нырятьшики они поэтому *exquisitissimi*^[86]. Мы им состязаться велели, так что вы на это скажете? Бросишь подлеца в одну прорубь, а он вынырнет в другую, да еще с живой селедкой в зубах!

— Боже мой, что ты говоришь, пан?!

— Чтоб мне с места не встать, коли я собственными глазами сто раз этого не видал да и других чудных ихних обычаев. Помню, так они на прусских хлебах разъелись, что потом не хотели домой ворочаться. Верно говорит пан Станкевич, солдаты из них никудышние. Пехота еще куда ни шло, но конница такая, что унеси ты мое горе! Ведь лошадей у них нет, и они не могут смолоду приучаться к верховой езде!

— Похоже, — вмешался в разговор Щит, — мы сперва не на них пойдем, а мстить за Вильно?

— Да. Я сам посоветовал это князю, когда он спросил, что я об этом

думаю, — сказал Заглоба. — Но, покончив с одними врагами, мы тотчас двинемся на других. Эти ихние посланцы, верно, здорово там преют.

— Радужно их принимают, — заметил Заленский, — но только ничего они, бедняги, не добьются, и лучшее тому доказательство — приказы, отданные войскам.

— Боже, боже! — воскликнул Тварковский, россиенский судья. — Растет опасность, но и нас берет зазор. С одним врагом имели дело и то чуть совсем не отчаялись, а теперь вот против двоих идем.

— Что ж, это часто бывает, — заметил Станкевич. — Бьют тебя, бьют, пока тебе не вмоготу станет, смотришь, откуда и силы взялись и отвага. Сколько мы терпели, сколько перенесли?! Понадеялись на короля да на коронное ополчение, не полагались на собственные силы, а теперь вот: либо чужую голову добыть, либо свою отдать, либо обоих врагов бить, либо всем погибать безвозвратно!

— Бог нам поможет! Довольно уж медлить!

— На горло нам наступают!

— Мы им тоже наступим! Покажем коронным, какие у нас солдаты! Не бывать у нас Уйстю, как бог свят!

И чем больше выпивала шляхта чар, тем больше разгорячалась кровь и поднимался боевой дух. Так на краю пропасти спасение часто зависит от последнего усилия. Поняли это и толпы солдат, и та самая шляхта, которую совсем недавно Ян Казимир отчаянными универсалами звал в Гродно в ряды ополчения. Теперь все сердца, все умы были обращены на Радзивилла, все уста повторяли грозное имя, которому до недавних пор всегда сопутствовала победа. Только он мог собрать распыленные и пробудить дремлющие силы страны и возглавить войско, которое могло бы победоносно кончить обе войны.

После обеда к князю по очереди вызывали полковников: Мирского, поручика панцирной гетманской хоругви, а затем Станкевича, Ганхофа, Харлампа, Володыёвского и Соллогуба. Старые солдаты были удивлены, что их вызывают не всех вместе на совет, а по одиночке; но это было приятное удивление, ибо каждый уходил от князя с какой-нибудь наградой, с каким-нибудь вещественным знаком княжеской милости; взамен князь требовал только преданности и доверия, которые полковники и без того оказывали ему от всей души. Гетман все время спрашивал, не воротился ли Кмициц, и велел дать знать ему, когда хорунжий воротится.

Кмициц воротился поздно вечером, когда залы были уже освещены и гости начали собираться на пир. В арсенале, куда он зашел переодеться, он встретил Володыёвского и познакомился с остальными рыцарями.

— Я очень рад видеть тебя, пан Михал, и твоих знаменитых друзей, — сказал он, крепко пожимая маленькому рыцарю руку. — Все равно как родного брата увидел! Можешь мне верить, я не горазд притворяться. Правда, ты порядком изувечил мне башку, но потом поставил меня на ноги, чего я не забуду до гроба. При всех скажу: кабы не ты, сидеть бы мне сейчас за решеткой. Дай бог, чтоб такие люди множились, как голуби. Кто иначе думает, тот дурак, и пусть меня черт возьмет, коли я ему ушей не обрежу.

— Э, полно!

— Я за тебя в огонь и в воду, чтоб мне на месте умереть! Выходи, кто не верит!

Тут пан Анджей с вызывающим видом оглядел офицеров; но никто не возражал, ибо все любили и уважали пана Михала. Один только Заглоба сказал:

— Ну и бедовый же парень, черт побери! Вижу, крепко люблю я тебя за пана Михала, ведь это у меня надо спрашивать, чего он стоит.

— Больше всех нас! — ответил Кмициц со свойственной ему горячностью. Он посмотрел на Скшетуских, на Заглобу и прибавил: — Прошу прощенья, я никого не хотел обидеть, я знаю, вы достойные люди и великие рыцари. Не прогневайтесь, я от души желаю заслужить вашу дружбу.

— Пустое! — промолвил Ян Скшетуский. — Что на уме, то на языке.

— Дай-ка я тебя поцелую! — сказал Заглоба.

— Мне не надо два раза повторять такие слова!

И они упали друг другу в объятия. После этого Кмициц крикнул:

— Не миновать нам выпить сегодня!

— Мне не надо два раза повторять такие слова! — как эхо откликнулся Заглоба.

— Убежим сегодня пораньше в арсенал, а об выпивке я позабочусь.

Пан Михал свирепо встопорщил усики.

«Не больно-то ты захочешь пораньше убежать, — подумал он про себя, глядя на Кмицица, — как дознаешься, кто нынче будет в княжеских покоях...»

Он открыл было рот, чтобы сказать Кмицицу о том, что в Кейданы приехал мечник россиенский с Оленькой, но что-то так ему стало тоскливо, что он переменял разговор.

— А где твоя хоругвь? — спросил он у Кмицица.

— Здесь. Готовенькая! Был у меня Гарасимович, приказ принес от князя, чтобы в полночь люди были на конях. Спрашивал я у него: все ли

двинемся в поход; говорит — нет! Не пойму, что бы это могло значить. Одни офицеры получили такой же приказ, другие — нет. Но иноземная пехота вся получила.

— Может, часть войска пойдет сегодня в ночь, а часть завтра, — сказал Ян Скшетуский.

— Так или иначе, я здесь с вами выпью, а хоругвь пусть себе отправляется. Я ее потом за какой-нибудь час догоню.

В эту минуту вбежал Гарасимович.

— Ясновельможный хорунжий оршанский! — крикнул он, кланяясь в дверях.

— В чем дело? Пожар, что ли? Здесь я! — ответил Кмициц.

— К князю! К князю!

— Сию минуту, вот только оденусь. Эй, парень! Кунтуш и пояс, не то голову оторву!

Слуга вмиг подал и всю остальную одежду, и через несколько минут Кмициц, разодетый, как на свадьбу, отправился к князю. Так хорош был молодой рыцарь, что все кругом озарял своею красотой. Жупан серебряной парчи, затканной звездами, от которых блеск шел на всю фигуру, был застегнут у шеи крупным сапфиром. На жупан накинул Кмициц кунтуш голубого бархата и повязал его белым драгоценным поясом, который был так тонок, что его можно было продернуть сквозь перстень. Сабля, отливавшая серебром, вся усеянная сапфирами, висела сбоку на шелковой перевязи, а за пояс заткнул рыцарь и знак отличия, ротмистровский свой буздыган. Удивительно, как красил его этот наряд, и трудно было, пожалуй, сыскать рыцаря краше во всей огромной толпе их, собравшейся в Кейданах.

Вздыхнул пан Михал, глядя на него, а когда Кмициц исчез за дверью арсенала, сказал Заглобе:

— Попробуй-ка при нем сунься к девушке!.

— Отними мне только тридцать лет! — ответил Заглоба.

Когда Кмициц вошел к князю, тот тоже был одет, и придворный, убиравший его с двумя арапами, уже успел выйти из покоя. Они остались одни.

— Дай бог тебе здоровья за то, что ты поторопился! — молвил Радзивилл.

— Готов к услугам, ясновельможный князь.

— А хоругвь?

— Как было приказано.

— Народ надежный?

— В огонь пойдут, в пекло!

— Это хорошо! Мне такие люди нужны... И такие, как ты вот, готовые на все... Еще раз повторяю, ни на кого я так не надеюсь, как на тебя.

— Ясновельможный князь, где уж мне при моих-то заслугах со старыми солдатами равняться, но коли надо двинуться на врагов отчизны, я не отстану.

— Я не умаляю заслуг старых солдат, — сказал князь, — хотя могут прийти такие *pericula*^[87], такие черные дни, что поколеблются и самые верные.

— Пусть погибнет напрасною смертью тот, кто в опасности отступится от тебя, ясновельможный князь.

Радзивилл бросил на Кмицица быстрый взгляд.

— А ты... не отступишься?

Молодой рыцарь вспыхнул.

— Ясновельможный князь!

— Что ты хочешь сказать?

— Я покаялся тебе, ясновельможный князь, во всех моих грехах, и такое их множество, что только отцовской твоей доброте я обязан прощением. Но во всех этих грехах нет одного: неблагодарности.

— И вероломства!.. Ты покаялся мне во всех своих грехах, а я не только простил тебя, как отец, но и полюбил тебя, как сына, которого бог не дал мне и без которого мне порою тяжело жить на свете. Будь же мне другом!

С этими словами князь протянул руку, а молодой рыцарь схватил ее и, не колеблясь, прижал к губам.

Они долго молчали; внезапно князь вперил в Кмицица взгляд.

— Панна Биллевич здесь! — промолвил он.

Кмициц побледнел и пробормотал что-то невнятное.

— Я нарочно послал за нею, чтобы кончился раздор между вами. Ты увидишь ее сейчас, траур после смерти деда у нее уже кончился. Голова у меня пухнет от работы, но я все-таки сегодня поговорил с мечником россиенским.

Кмициц схватился за голову.

— Чем отплачу я тебе, ясновельможный князь, чем отплачу?..

— Я ясно дал понять пану мечнику, что моя это воля, чтобы вы поскорей поженились, и он не станет противиться. Я велел ему исподволь подготовить девушку. Время есть. Все зависит от тебя, а я буду счастлив, коли ты получишь награду из моих рук, и дай тебе бог дождаться и многих других наград, ибо ты далеко пойдешь. Грешил ты по молодости лет, но и

славу на поле битвы снискал немалую... и все молодые готовы следовать за тобой. Клянусь богом, ты далеко пойдешь. Не для такого это рода, как твой, править в повете. Ты, верно, знаешь, что ты в родстве с Кишками, а моя мать была из рода Кишков. Тебе нужно только остепениться, а женитьба для этого наилучшее средство. Бери же девушку, коли она тебе по сердцу, и помни, кто дает ее тебе.

— Ясновельможный князь, я обезумею! Жизнь моя, кровь моя принадлежат тебе! Что должен я сделать, чтобы отблагодарить тебя, что? Говори, ясновельможный князь! Приказывай!

— За добро отплати мне добром. Верь мне и знай: все, что я совершу, я совершу для общего блага. Не отступайся от меня, когда будешь видеть измену и предательство других, когда будет кипеть злоба, когда меня самого...

Тут князь оборвал речь.

— Клянусь! — с жаром воскликнул Кмициц. — Слово рыцаря даю до последнего вздоха стоять за тебя, моего вождя, отца и благодетеля.

При этих словах Кмициц устремил полные огня глаза на князя и ужаснулся, увидев, как изменилось вдруг его лицо. Оно побагровело, жилы вздулись на нем, на высоком лбу выступили капли пота, и взор сверкал необычайно.

— Что с тобой, ясновельможный князь? — с тревогой спросил рыцарь.

— Ничего, ничего!

Радзивилл встал, торопливо подошел к аналойчику и, схватив распятие, заговорил отрывистым, сдавленным голосом:

— На этом кресте поклянись, что не покинешь меня до самой смерти.

Невзирая на весь свой пыл и готовность служить князю, Кмициц минуту смотрел на него с изумлением.

— Поклянись... на этом распятии! — настаивал гетман.

— Клянусь... на этом распятии! — произнес Кмициц, кладя пальцы на крест.

— Аминь! — торжественно произнес князь. Где-то под сводом высокого покоя отзвуком раздалось: «Аминь!» — и воцарилось долгое молчание. Слышно было только дыхание могучей груди Радзивилла. Кмициц не сводил с гетмана изумленных глаз.

— Теперь ты мой! — воскликнул наконец князь.

— Я всегда был твоим, ясновельможный князь, — торопливо ответил молодой рыцарь, — но объясни мне, что случилось? Почему ты в этом усомнился? Или твоей достойной особе грозит опасность? Открыта чья-нибудь измена, чьи-то козни?

— Близится година испытаний, — угрюмо молвил князь, — что до врагов, то разве тебе не ведомо, что пан Госевский, пан Юдицкий и пан воевода витебский рады столкнуть меня в пропасть? Да! Усиливаются враги моего дома, ширится измена, и нависла опасность народного бедствия. Потому я и говорю тебе: близится година испытаний...

Кмициц молчал, однако последние слова князя не рассеяли мрака, которым был объят его ум, и тщетно вопрошал он себя, что в эту минуту может грозить могущественному Радзивиллу. Ведь он возглавил теперь силы гораздо большие, нежели когда-либо раньше. В одних только Кейданах и окрестностях города стояло столько войска, что, будь у князя такие силы, когда он двинулся под Шклов, исход всей войны был бы совершенно иным.

Это верно, что Госевский и Юдицкий питали к князю неприязнь; но оба они были у него в руках, оба были заключены под стражу, что ж до воеводы витебского, то это был слишком достойный человек, слишком честный гражданин, чтобы в канун нового похода против врагов можно было опасаться с его стороны каких-либо препон и козней.

— Видит бог, ничего не понимаю! — воскликнул Кмициц, который вообще не умел скрывать своих мыслей.

— Ты все поймешь еще сегодня, — спокойно ответил ему Радзивилл. — А теперь пойдем в залу.

И, взяв молодого полковника под руку, он направился с ним к двери.

Они миновали несколько покоев. Издали, из огромной залы, долетали звуки капеллы, которой управлял француз, нарочно привезенный князем Богуславом. Капелла играла менуэт, который тогда танцевали при французском дворе. Мягкие звуки смешивались с шумным говором гостей. Князь Радзивилл приостановился и стал слушать.

— Дай бог, — промолвил он через минуту, — чтобы все эти гости, которых я принимаю под своим кровом, не перешли завтра в стан моих врагов.

— Ясновельможный князь, — заметил Кмициц, — я надеюсь, среди них нет шведских приспешников.

Радзивилл вздрогнул и остановился.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего, ясновельможный князь, я хотел только сказать, что там веселятся достойные воители.

— Пойдем! Время покажет и бог рассудит, кто из них достойный воитель... Пойдем!

У самой двери стояло двенадцать пажей, прелестных мальчиков в

перьях и бархате. Увидев гетмана, они выстроились в два ряда; князь, подойдя к двери, спросил:

— Ясновельможная княгиня уже в зале?

— Да, ясновельможный князь, — ответили мальчики.

— А паны послы?

— Тоже.

— Откройте!

Обе створки дверей распахнулись в мгновение ока, поток света хлынул на гетмана и осветил его мощную фигуру; в сопровождении Кмицица и пажей Радзивилл взошел на возвышение, где стояли кресла для почетных гостей.

В зале тотчас поднялось движение, все взоры обратились на князя, и клик вырвался из сотен рыцарских грудей.

— Да здравствует Радзивилл! Да здравствует Радзивилл, наш гетман! Да здравствует Радзивилл!

Князь кивал головою и махал рукой, затем стал приветствовать гостей, собравшихся на возвышении, которые встали со своих мест, когда он поднимался. В толпе знати, кроме самой княгини, были два шведских посла, посол московский, воевода венденский, епископ Парчевский, ксендз Белозор, Коморовский, Межеевский, Глебович, староста жмудский и шурин гетмана, молодой Пац, полковники Ганхоф и Мирский, посол герцога курляндского, Вейсенгоф и несколько дам из свиты княгини.

Гетман, как и приличествовало радушному хозяину, сперва приветствовал послов, обменявшись с ними любезностями, потом уже поздоровался с прочими; опустившись после этого в кресло с горностаевым балдахином, он стал глядеть на залу, где все еще раздавались клики:

— Да здравствует Радзивилл, наш гетман! Да здравствует Радзивилл!

Кмициц, укрывшись за балдахином, тоже глядел на толпу. Взор его пробежал по лицам, ища среди них милые черты той, которая в эту минуту владела сердцем и душою рыцаря. Сердце колотилось у него в груди.

«Она здесь! Через минуту я увяжу ее, поговорю с нею!» — повторял он в душе. И искал, искал жадно, тревожно. Вон там, поверх перьев веера видны чьи-то черные брови, белое чело и светлые волосы. Это она!

Кмициц затаил дыхание, словно боясь спугнуть видение; но вот дама обмахивается веером, лицо открывается — нет, не Оленька, не она, милая, желанная! Взор его стремится дальше, окидывает прелестные фигуры, скользит по перьям, атласам, по лицам, подобным распутившимся цветкам, и обманывается каждое мгновенье. Не она, нет, не она! Но вот

наконец в глубине залы, под окном промелькнуло что-то белое, и у рыцаря помутилось в глазах — это Оленька, она, милая, желанная!..

Капелла снова начинает играть, толпа движется мимо, кружатся дамы, мелькают нарядные кавалеры, а он, точно ослепнув и оглохнув, ничего не видит, кроме нее, и смотрит так жадно, словно в первый раз ее увидал. Как будто это та же Оленька из Водоктов, и все же не та. В этой огромной зале, в этой толпе она кажется ему меньше, и личико у нее маленькое, совсем какое-то детское. Так бы вот взял ее на руки и прижал к сердцу! И все-таки она все та же, хоть и иная; те же черты, те же сладостные уста, те же ресницы, от которых на щечки падает тень, то же ясное чело, спокойное, милое! Воспоминания молнией проносятся в голове пана Анджея: людская в Водоктах, где он впервые ее увидал, тихие покойчики, где они сидели вместе. Какое наслаждение даже только вспоминать об этом! А эта прогулка на санях в Митруны, когда он ее целовал!.. Потом уж люди разлучили их, восстановили ее против него.

«О, чтоб их гром убил! — воскликнул в душе Кмициц. — Чем владел я и что потерял! Какой близкой была она и как теперь далека!»

Сидит в отдалении, как чужая, и даже не подозревает, что он здесь! Гнев, но вместе с тем и безграничное сожаление охватили пана Анджея, сожаление, которое он излил в душе в одном только возгласе, так и не слетевшем с его уст:

«Эх, Оленька, Оленька!»

Много раз пан Анджей упрекал себя за старые свои проступки, порою готов был собственным людям приказать, чтобы растянули его на лавке да высыпали сотню плетей; но никогда не душил его такой гнев, как теперь, когда он снова увидел ее после долгой разлуки, еще более прекрасную, чем всегда, еще более прекрасную, чем он представлял себе. В эту минуту он готов был растерзать себя, но он был на людях, в толпе знати, а потому только стискивал зубы и, словно желая еще сильнее уязвить свою душу, повторял про себя:

«Так тебе и надо, глупец! Так тебе и надо!»

Тем временем звуки капеллы снова смолкли, и пан Анджей услышал голос гетмана:

— Следуй за мной!

Юноша словно пробудился ото сна.

Князь спустился с возвышения и вmeshался в толпу гостей. На лице его играла мягкая, добродушная улыбка, которая, казалось, придавала его фигуре еще больше величественности. Это был тот самый надменный властитель, который в свое время, принимая в Непоренте королеву Марию

Людвигу, удивил, изумил и подавил французских придворных не только роскошью, но и светскостью своего двора; тот самый властитель, о котором с таким восторгом писал Жан Лабуре в отчете о своем путешествии. Теперь он то и дело останавливался около почтенных матрон, степенных шляхтичей и полковников и для каждого находил ласковое слово, удивляя гостей своей памятью и мгновенно покоряя сердца. Взоры присутствующих обращались на него всюду, где только он появлялся. Медленно приблизясь к мечнику россиенскому, князь обратился к старику со следующими словами:

— Спасибо тебе, мой старый друг, за то, что ты приехал, хоть я и вправе сердиться на тебя. Не за сотни миль Биллевици от Кейдан, а ты в моем доме *raga avis*.^[88]

— Ясновельможный князь, — с низким поклоном ответил мечник, — ущерб наносит отчизне тот, кто отнимает у тебя время.

— А я уж замыслил отомстить тебе и учинить наезд на Биллевици; надеюсь, ты бы радушно принял старого боевого друга.

Услышав такие речи, мечник покраснел от счастья, а князь между тем продолжал:

— Да вот времени, времени все не хватает! Но когда станешь выдавать свою родичку, внучку покойного пана Гераклиуша, на свадьбу непременно прикачу, это уж долг мой перед вами обоими.

— Пошли бог счастья девке поскорей! — воскликнул мечник.

— А пока представляю тебе пана Кмицица, хорунжего оршанского, из тех Кмицицев, которые Кишкам, а через Кишков и Радзивиллам сродни. Верно, ты слыхал эту фамилию от Гераклиуша, он ведь Кмицицев любил, как братьев...

— Здравствуй, здравствуй, пан Кмициц! — дважды повторил мечник, который, узнав из уст князя о том, сколь знатен род Кмицицев, проникся уважением к молодому рыцарю.

— Приветствует тебя, пан мечник, твой покорный слуга, — смело и не без кичливости промолвил пан Анджей. — Пан полковник Гераклиуш был мне отцом и благодетелем, и хоть позже разладилось дело, начатое им, однако же я не перестал любить всех Биллевичей так, как если бы в жилах их текла моя собственная кровь.

— Особенно, — подхватил князь, запросто положив руку на плечо юноши, — не перестал он любить некую панну Биллевиц, в чем давно мне открылся.

— И всякому это скажу, не таясь! — с жаром воскликнул Кмициц.

— Потихе, потихе! — остановил его князь. — Вот видишь, пан

мечник, не кавалер это — огонь, потому и накуролесил; но молод он, да и под особым моим покровительством, потому-то питаю я надежду, что, когда мы вдвоем с ним начнем молить прелестный трибунал о прощении, с нас будет снят приговор.

— Ясновельможный князь, ты можешь сделать все, что пожелаешь, — ответил мечник. — Несчастливая принуждена будет воскликнуть, как языческая жрица Александру: «Кто противу тебя устоит?»

— А мы, как Александр Македонский, будем довольны этим прорицанием, — засмеялся князь. — Но довольно об этом! Проведи же нас теперь к своей родичке, я тоже буду рад увидеть ее. Надо поправить дело пана Гераклиуша, которое было разладилось.

— К твоим услугам, ясновельможный князь. Она вон там сидит под опекой пани Войниллович, нашей родички. Прошу только прощенья, ежели девушка смутится, — не было у меня времени упредить ее.

Мечник оказался прав. По счастью, Оленька раньше увидела пана Анджея рядом с гетманом, она могла поэтому оправиться, но в первую минуту едва не лишилась чувств. Она побледнела как полотно, ноги у нее подкосились, она вперила взор в молодого рыцаря, как в призрак, явившийся с того света. Долго не хотела она верить своим глазам. Она-то думала, что этот несчастный скитается где-то по лесам, без крыши над головой, всеми покинутый, преследуемый законом, как дикий зверь, или в темнице с отчаянием во взоре глядит сквозь решетку на веселый мир божий. Бог один знает, какой жалостью к этому потерянному человеку терзалась порой ее грудь, бог один знает, сколько слез она пролила в одиночестве, оплакивая его долю, такую жестокую, но такую заслуженную, — а меж тем он здесь, в Кейданах, рядом с гетманом, свободный, кичливый, в парче и бархате, с полковничьим буздыганом за поясом, с поднятым челом, с надменным и властным молодым лицом, и сам великий гетман, сам Радзивилл запросто кладет ему руку на плечо. Странные, противоречивые чувства овладели вдруг сердцем девушки: и чувство огромного облегчения, точно гора свалилась с плеч, и как бы досады на то, что напрасны были все ее сожаления, все муки, и разочарование, которое испытывает всякая честная душа при виде полной безнаказанности за столь тяжкие грехи и провинности, и радости, и собственной слабости, и граничащего со страхом удивления перед этим юношей, который сумел выбраться из такой пучины.

Тем временем князь, мечник и Кмициц кончили разговор и направились к ней. Девушка закрыла глаза и подняла плечи, словно птица, которая хочет спрятать голову под крыло. Она была уверена, что они идут к

ней. Не глядя, она видела их, слышала, что они приближаются, что уже подошли к ней, что остановились. Она так была в этом уверена, что, не поднимая глаз, встала вдруг и низко поклонилась князю.

Он и в самом деле стоял уже перед ней.

— О, боже! — воскликнул он. — Не дивлюсь я теперь молодцу, ибо чудный это расцвел цветок... Приветствую тебя, моя панна, приветствую от всей души и сердца дорогую внучку моего Билевича. Узнаешь ли ты меня?

— Узнаю, ясновельможный князь! — ответила девушка.

— А я бы тебя не узнал, я ведь в последний раз видел тебя девочкой еще не расцветшей и не в таком наряде, как нынче. Подними же эти занавески с глаз! Клянусь богом, счастлив тот ловец, который выловит такую жемчужину, несчастен, кто владел ею и потерял ее. Вот стоит перед тобою такой несчастливец. Узнаешь ли ты и этого кавалера?

— Узнаю, — прошептала Оленька, не поднимая глаз.

— Великий он грешник, и я привел его к тебе на покаяние. Наложил на него какую хочешь епитимью, но не отказывай ему в отпущении грехов, дабы в отчаянии не совершил он еще более тяжких. — Тут князь обратился к мечнику и пани Войниллович: — Оставим молодых, не годится присутствовать при исповеди, а мне это и моя вера запрещает.

Через минуту пан Анджей и Оленька остались одни.

Сердце колотилось у нее в груди, как у голубя, над которым повис ястреб; но и он был взволнован. Его оставила обычная смелость, горячность и самоуверенность. Долгое время они оба молчали.

Наконец он первый заговорил низким, сдавленным голосом:

— Ты не ждала увидеть меня здесь, Оленька?

— Нет, — прошептала девушка.

— Клянусь богом, если б татарин стоял около тебя, ты не была бы так испугана. Не бойся! Погляди, сколько здесь народу. Никакой обиды я тебе не нанесу. Да когда б и одни мы были, тебе нечего было бы бояться, я ведь дал себе клятву почитать тебя. Верь мне!

На мгновение она подняла глаза и посмотрела на него.

— Как же мне верить тебе?

— Грешил я, это правда; но все прошло и больше не повторится. Когда после поединка с Володыёвским лежал я на одре между жизнью и смертью, сказал я себе: «Не будешь ты больше брать ее ни силой, ни саблей, ни пулей, заслужишь любовь ее добрыми делами и вымолишь у нее прощенье! И у нее сердце не камень, смягчится гнев ее, увидит она, что ты исправился, и простит!» Дал я себе клятву исправиться и исполню ее!.. А

тут и бог послал мне свое благословение: приехал Володыёвский и привез мне грамоту на набор войска. Мог он не отдать мне грамоту, но человек он достойный и вручил мне ее! Не надо было мне теперь и в суды являться, стал я гетману подсуден. Как отцу родному, покался я князю во всех грехах, и он не только простил меня, но обещал все дело уладить и защитит меня от недоброжелателей. Да благословит его бог! Не буду я изгнанником, Оленька, с людьми помирюсь, снова верну свою славу, отчизне послужу, возьму обиды... Оленька, что же ты на это скажешь? Не скажешь ли ты мне доброго слова?

Он вперил в нее взор и молитвенно сложил руки.

— Могу ли я верить тебе? — спросила девушка.

— Можешь, клянусь богом, можешь, должна! — ответил Кмициц. — Ты погляди, и князь гетман, и пан Володыёвский поверили мне. Знают они все мои проступки, и все-таки поверили мне. Вот видишь! Почему же ты одна не хочешь мне верить?

— Я видела людские слезы, которые лились по твоей вине. Я видела могилы, которые не поросли еще травой...

— Могилы порастут травой, а слезы я сам оботру.

— Сперва сделай это, пан Анджей.

— Ты мне только надежду подай, что как сделаю я это, то тебя снова найду. Хорошо тебе говорить: «Сперва сделай!» А коли я сделаю, а ты тем временем выйдешь замуж за другого? Сохрани бог, упаси бог от такой страсти, не то я ума лишусь! Христом-богом молю тебя, Оленька, дай мне слово, что я не потеряю тебя, покуда помирюсь с вашей шляхтой. Помнишь, ты сама мне об этом написала? Я храню твое письмо, и когда у меня очень тяжело на душе, перечитываю его снова и снова. Ничего я больше не прошу, скажи только мне еще раз, что будешь ждать меня, что не пойдешь за другого!

— Ты знаешь, пан Анджей, мне по завещанию нельзя пойти за другого. Я могу только уйти в монастырь.

— Вот это бы угостила! Ради Христа и думать брось о монастыре, а то у меня при одной мысли об этом мороз подирает по коже. Брось, Оленька, не то я при всем народе упаду перед тобой на колени и буду молить не делать этого. Я знаю, ты отказала пану Володыёвскому, он сам мне об этом рассказывал. Он-то и толкал меня к тому, чтобы я покорил твое сердце добрыми делами. Но к чему все эти добрые дела, коли ты уйдешь в монастырь? Ты мне скажешь, что добро надо делать ради добра, а я тебе отвечу, что люблю тебя отчаянно и знать ничего не хочу. Когда ты уехала из Водоктов, я, едва поднявшись с постели, бросился искать тебя. Хоругвь

набирал, минуты свободной не было, некогда было ни поесть, ни поспать, а я все искал тебя. Такая уж моя доля, что без тебя нет мне жизни, нет мне покоя! Такая, право, притча со мной! Одними вздыханиями жил. Дознался наконец, что ты у пана мечника в Биллевичах. Так, скажу тебе, как с медведем, боролся с самим собою: ехать, не ехать... Однако ж побоялся ехать, чтоб не напоила ты меня желчью. Сказал наконец себе: ничего хорошего я еще не сделал, не поеду... Но вот князь, дорогой отец мой, сжалился надо мною и послал человека просить вас приехать в Кейданы, чтобы я хоть наглядеться мог на тебя... На войну ведь идем. Я не прошу, чтобы ты завтра же за меня вышла. Но коли доброе слово от тебя услышу, коли только уверюсь, легче мне станет. Единственная ты моя! Не хочу я погибать, но в бою все может случиться, не буду же я прятаться за чужие спины... потому должна ты простить меня, как прощают грехи умирающему.

— Храни тебя бог, пан Анджей, и да наставит он тебя на путь истинный! — ответила девушка мягким голосом, по которому пан Анджей тотчас понял, что слова его возымели действие.

— Золотко ты мое! Спасибо тебе и на том. А в монастырь не пойдешь?

— Покуда нет.

— Благослови тебя бог!

И как весною пропадают снега, так между ними стало пропадать недоверие, и они ощутили большую близость, нежели за минуту до этого. На сердце у них стало легче, глаза посветлели. А ведь она ничего ему не обещала, и у него хватило ума ничего не просить. Но она сама чувствовала, что нельзя, нехорошо отрезать ему пути к исправлению, о котором он говорил с такою искренностью, а в искренности его она ни минуты не сомневалась, не такой он был человек, чтобы притворяться. Но главной причиной, почему она не оттолкнула его снова, оставила ему надежду, было то, что в глубине души она все еще любила его. Гора разочарований, горечи и мук погребла эту любовь; но она жила, всегда готовая верить и прощать без конца.

«Нельзя судить о нем по его поступкам, он лучше, — думала девушка, — и нет уж больше тех, кто толкал его на преступления; в отчаянии он может снова оступить, так пусть же никогда не отчаивается».

И доброе ее сердце обрадовалось тому, что она простила его. На щеках Оленьки заиграл румянец, свежий, как роза, окропленная утреннею росой, живо и радостно засиял ее взор и словно озарил всю залу. Люди проходили мимо и любовались чудной парой, потому что такого кавалера и такую

панну днем с огнем не сыскать было во всей этой зале, где собрался весь цвет шляхты и шляхтянок.

К тому же оба они, словно сговорившись, нарядились одинаково: на ней тоже было платье серебряной парчи и голубой кунтуш венецианского бархата. «Верно, брат с сестрою», — высказывали предположение те, кто не знал их; но другие тотчас возражали: «Не может быть, уж очень он очами ее пожирает».

Тем временем дворецкий дал знак, что пора садиться за стол, и в зале сразу поднялось движение. Граф Левенгаупт, весь в кружевах, шел впереди под руку с княгиней, шлейф которой несли два прехорошеньких пажа; вслед за ними барон Шитте вел пани Глебович и шел епископ Парчевский с ксендзом Белозором, оба хмурые, чем-то очень удрученные.

Князь Януш, в шествии уступивший первое место гостям, но за столом занявший самое высокое место рядом с княгиней, вел пани Корф, жену венденского воеводы, которая вот уже неделю гостила в замке. Так текла целая вереница пар, изгибаясь и переливаясь многоцветною лентой, Кмициц вел Оленьку, которая слегка оперлась на его руку; пылая, как факел, он поглядывал сбоку на нежное ее личико, счастливый, властелин над властелинами, ибо рядом было бесценное его сокровище.

Так, шествуя плавно под звуки капеллы, гости вошли в столовую залу, представлявшую собою как бы целое особое здание. Стол, поставленный покоем, был накрыт на триста персон и ломился под золотом и серебром. Князь Януш, как один из властителей державы и родич стольким королям, занял рядом с княгиней самое высокое место, а гости, проходя мимо, низко кланялись и занимали места по титулу и чину.

Но мнилось гостям, что гетман помнит о том, что это последний пир перед страшной войною, в которой будут решены судьбы великих держав, ибо не было в лице его покоя. Тщетно силился он улыбаться и казаться веселым, вид у него был такой, точно его сжигал внутренний жар. Порою облако повисало на грозном его челе, и сидевшие рядом замечали, как покрывается оно каплями пота; порою пронзительный взор его, скользнув по лицам гостей, останавливался на лицах отдельных полковников; потом князь снова сунул львиные брови, словно пронзенный болью или обуянный гневом при виде чьего-то лица. И странное дело! Сановники, сидевшие рядом с ним: послы, епископ Парчевский, ксендз Белозор, Коморовский, Межеевский, Глебович, венденский воевода и другие, — тоже были рассеянны и беспокойны. На двух концах огромного, поставленного покоем стола уже слышался, как всегда на пирах, веселый и шумный говор, а в вершине его пирующие хранили угрюмое молчание, или обменивались

шепотом короткими словами, или рассеянно и как будто тревожно переглядывались друг с другом.

Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ибо на нижних концах сидели полковники и рыцари, которым близкая война грозила, самое большее, смертью. Легче быть убитым на войне, нежели нести за нее бремя ответственности. Не взволнуется душа солдата, когда, искупив кровью грехи, будет возноситься с поля битвы на небо, и лишь тот тяжело склонит голову, лишь тот будет беседовать в душе с богом и совестью, кто в канун решительного дня не ведает, чашу какого питья подаст наутро отчизне.

Так на нижних концах и объясняли беспокойство князя.

— Он перед войною всегда такой, потому с собственной душою беседует, — толковал Заглобе старый полковник Станкевич. — Но чем он угрюмей, тем хуже для врага, ибо в день битвы будет наверняка весел.

— Лев и то ворчит перед дракой, чтобы разъяриться, — заметил Заглоба, — что ж до великих воителей, то у всякого свой нор. Ганнибал, сдается, играл в кости, Сципион Африканский читал вирши, пан Конецпольский, отец наш, всегда о бабах любил поговорить, ну а мне перед боем поспать бы часок-другой, да и чару выпить с друзьями я тоже не прочь.

— Поглядите, епископ Парчевский тоже бледен как полотно! — сказал Станислав Скшетуский.

— Это потому, что он сидит за кальвинистским столом и с едой легко может проглотить что-нибудь нечистое, — пояснил вполголоса Заглоба. — К напиткам, говорят старики, нечистой силе доступа нет, их везде можно пить, а вот еды, особенно супов, надо остерегаться. Так было и в Крыму, когда я сидел там в неволе. Татарские муллы, или по-нашему ксендзы, так умели приготовить баранину с чесноком, что только отведаешь — и уж готов и от веры отречься, и в ихнего мошенника пророка уверовать. — Тут Заглоба еще больше понизил голос: — Я про князя не говорю, ну а все-таки мой совет вам, друзья, перекрестите еду, береженого бог бережет.

— Ну что ты, пан, говоришь! Кто перед едой поручил себя богу, с тем ничего не может случиться: у нас в Великой Польше пропасть лютеран и кальвинистов, а я что-то не слыхал, чтоб они наводили чары на пищу.

— У вас в Великой Польше пропасть лютеран и кальвинистов, вот они со шведами тотчас и снюхались, — отрезал Заглоба, — а теперь и вовсе дружбу с ними свели. Я бы на месте князя собак натравил на этих послов, а не набивал им брюхо лакомствами. Вы только поглядите на этого Левенгаупта. Жрет так, точно через месяц ему должны веревку к ноге привязать и гнать на ярмарку. Еще для жены с детишками полны карманы

сластей набьет. Забыл я, как ту другую заморскую птицу звать... Как, бишь, его...

— Ты, отец, Михала спроси, — сказал Ян Скшетуский.

Пан Михал сидел недалеко, но ничего не слышал, ничего не видел, так как по левую руку от него сидела панна Эльжбета Селявская, почтенная девица, лет этак сорока, а по правую Оленька Биллевич и рядом с нею Кмициц. Панна Эльжбета трясла над маленьким рыцарем головой, украшенной перьями, и что-то с большой живостью ему рассказывала, а он, глядя на нее отуманенным взором, то и дело поддакивал: «Да, милостивая панна, клянусь богом, да!» — но не понимал ни слова, ибо все его внимание было устремлено в другую сторону. Он ловил слова Оленьки, шелест ее парчового платья и от сожаления так топорщил усики, точно хотел утратить ими панну Эльжбету.

«Что за чудная девушка! Что за красавица! — говорил он про себя. — Смилуйся, господи, надо мною, убогим, ибо нет сироты горше меня. Так хочется мне иметь свою любу, просто вся душа изныла, а на какую девушку ни взгляну, там уж другой солдат на постое. Куда же мне, несчастному скитальцу, деваться?»

— А что ты, пан, думаешь делать после войны? — спросила вдруг панна Эльжбета Селявская, сложив губки «сердечком» и усердно обмахиваясь веером.

— В монастырь пойду! — сердито ответил маленький рыцарь.

— А кто это на пиру про монастырь толкует? — весело крикнул Кмициц, перегибаясь за спиной Оленьки. — Эге, да это пан Володыёвский!

— А ты об этом не помышляешь? Верю, верю! — сказал пан Михал.

Но тут в ушах его раздался сладкий голос Оленьки:

— Да и тебе, пан, незачем помышлять об этом. Бог даст тебе жену по сердцу, милую и такую же достойную, как ты сам.

Добрейший пан Михал тотчас растрогался:

— Да заиграй мне кто на флейте, и то бы мне не было приятней слушать!

Шум за столом все усиливался и прервал дальнейший разговор, да и дело дошло уже до чар. Гости все больше оживлялись. Полковники спорили о будущей войне, хмурили брови и бросали огненные взгляды.

Заглоба на весь стол рассказывал об осаде Збаража, и слушателей бросало в жар, и сердца проникались отвагой и воодушевлением. Казалось, дух бессмертного Иеремии слетел в эту залу и богатырским дыханием наполнил души солдат.

— Это был полководец! — сказал знаменитый полковник Мирский,

который командовал всеми гусарами Радзивилла. — Один раз только я его видел, но и в смертный час буду помнить.

— Юпитер с громами в руках! — воскликнул старый Станкевич. — Будь он жив, не дошли бы мы до такого позора!

— Да! Он за Ромнами приказал леса рубить, чтобы открыть себе дорогу к врагам.

— Он виновник победы под Берестечком.

— И в самую тяжкую годину бог прибрал его!

— Бог прибрал его, — возвысив голос, повторил Скшетуский, — но остался его завет будущим полководцам, правителям и всей Речи Посполитой: ни с одним врагом не вести переговоров, а всех бить!

— Не вести переговоров! Бить! — повторило десятка два сильных голосов. — Бить! Бить!

Страсти разгорались в зале, кровь кипела у воителей, взоры сверкали, и все больше распялялись подбритые головы.

— Наш князь, наш гетман последует его завету? — воскликнул Мирский.

Но тут огромные часы на хорах стали бить полночь, и в ту же минуту задрожали стены, жалобно задребезжали стекла, и гром салюта раздался во дворе замка.

Разговоры смолкли, воцарилась тишина.

Вдруг с верхнего конца стола послышались крики:

— Епископ Парчевский лишился чувств! Воды!

Поднялось замешательство. Некоторые гости повскакали с мест, чтобы лучше разглядеть, что случилось. Епископ не лишился чувств, но так ослаб, что дворецкий поддерживал его сзади за плечи, а жена венденского воеводы брызгала ему в лицо водой.

В эту минуту второй салют потряс стекла, за ним третий, четвертый...

— Vivat Речь Посполитая! Pereant hostes!^[89] — крикнул пан Заглоба.

Однако новые салюты заглушили его слова. Шляхта стала считать залпы:

— Десять, одиннадцать, двенадцать...

Стекла всякий раз отвечали дребезжанием. От сотрясения колебалось пламя свечей.

— Тринадцать, четырнадцать! Епископ не привык к пальбе. Испугался и только потеху испортил, князь тоже встревожился. Поглядите, какой сидит хмурый... Пятнадцать, шестнадцать... Ну и палят, как в сражении! Девятнадцать, двадцать!

— Тише там! Князь хочет говорить! — закричали вдруг с разных

концов стола.

— Князь хочет говорить!

Воцарилась мертвая тишина, и все взоры обратились на Радзивилла, который стоял могучий, как великан, с кубком в руке. Но что за зрелище поразило взоры пирующих!..

Лицо князя в эту минуту показалось гостям просто страшным: оно было не бледным, а синим, деланная, неестественная улыбка судорогой исказила его. Дыхание всегда короткое, стало еще прерывистей, широкая грудь вздымалась под золотой парчой, глаза были полузакрыты, ужас застыл на этом крупном лице и тот холод, какой проступает в чертах умирающего.

— Что с князем? Что случилось? — со страхом шептали вокруг.

И сердца у всех сжались от зловещего предчувствия; лица застыли в тревожном ожидании.

А он между тем заговорил коротким, прерывающимся от астмы голосом:

— Дорогие гости! Многих из вас удивит, а может быть, и испугает моя здравица... но... кто предан мне и мне верит... кто воистину хочет добра отчизне... кто искренний друг моего дома... тот охотно поднимет свой кубок... и повторит за мною: *vivat Carolus Gustavus*... с нынешнего дня милостивый наш повелитель!

— *Vivat!* — подхватили послы Левенгаупт и Шитте и десятка два офицеров иноземных войск.

Однако в зале воцарилось немое молчание. Полковники и шляхта ошеломленно переглядывались, словно вопрошая друг друга, не потерял ли князь рассудка. Наконец с разных концов стола донеслись голоса:

— Не ослышались ли мы? Что все это значит?

Затем снова воцарилась тишина.

Неописуемый ужас и изумление отразились на лицах, и все взоры вновь обратились на Радзивилла, а он все стоял и дышал глубоко, точно сбросил с плеч тягчайшее бремя. Краска медленно возвращалась на его лицо; обращаясь к Коморовскому, он сказал:

— Время огласить договор, который мы сегодня подписали, дабы все знали, чего надлежит держаться. Читай, милостивый пан!

Коморовский поднялся, развернул лежавший перед ним свиток и стал читать ужасный договор, который начинался следующими словами:

«Не ведая в нынешнее смутное время меры лучше и благодетельней и потеряв всякое упование на помощь его

величества короля, мы, правители и сословия Великого княжества Литовского, вынужденные к тому необходимостью, предаемся под покровительство его величества короля шведского на нижеследующих условиях:

1) Совместно воевать против общих врагов, выключая короля и Корону Польскую.

2) Великое княжество Литовское не будет присоединено к Швеции, но соединено с нею тою же униєю, каковая доньше была с Короною Польскою, то есть народ во всем будет равен народу, сенат сенату и рыцари рыцарям.

3) Свобода голоса на сеймах будет невозбранною.

4) Свобода религии будет нерушимою...»

Так читал Коморовский в объятый тишиною и ужасом зале, но когда он дошел до параграфа: «Акт сей подписями нашими скрепляем за нас и потомков наших, клянемся в том и даем поруку...» — ропот пробежал по зале, словно первое дыхание бури всколыхнуло лес. Но буря не успела разразиться: седой как лунь полковник Станкевич воскликнул с мольбою в голосе:

— Ясновельможный князь, мы не верим своим ушам! Раны Христовы! Ведь прахом пойдет все дело Владислава и Сигизмунда Августа^[90]! Мыслимое ли это дело — отречься от братьев, отречься от отчизны и заключать унию с врагом? Вспомни, князь, чье имя ты носишь, вспомни заслуги, которые оказал ты родине, незапятнанную славу своего рода и порви и растопчи позорный этот документ! Знаю я, что прошу об этом не от одного своего имени, но от имени всех присутствующих здесь военных и шляхты. Ведь и нам принадлежит право решать нашу судьбу. Ясновельможный князь, не делай этого, еще есть время! Смилуйся над собою, смилуйся над нами, смилуйся над Речью Посполитою!

— Не делай этого! Смилуйся! Смилуйся! — раздались сотни голосов.

И все полковники повскакали с мест и пошли к Радзивиллу, а седой Станкевич спустился посреди залы на колени, между двумя концами стола, и все громче несло отовсюду:

— Не делай этого! Смилуйся над нами!

Радзивилл поднял свою крупную голову, и молнии гнева избородили его чело.

— Ужели вам приличествует, — внезапно вспыхнул он, — первыми подавать пример неповиновения? Ужели воинам приличествует отречься от полководца, от гетмана и выступить против него? Вы хотите быть моею

совестью? Вы хотите учить меня, как надлежит поступить для блага отчизны? Не сеймик здесь, и вас позвали сюда не для голосования, а перед богом я в ответе!

И он ударил себя рукою в грудь и сверкающим взором окинул воителей, а через минуту воскликнул:

— Кто не со мною, тот против меня! Я знал вас, я предвидел, что будет! Но знайте же, меч висит над вашими головами!

— Ясновельможный князь! Гетман наш! — молил старый Станкевич. — Смилуйся над нами и над собою!

Но старика прервал Станислав Скшетуский, — схватившись обеими руками за волосы, он закричал голосом, полным отчаяния:

— Не молитесь ему, все напрасно! Он давно вскормил в сердце эту змею! Горе тебе, Речь Посполитая! Горе всем нам!

— Двое вельмож на двух концах Речи Посполитой продают отчизну! — воскликнул Ян. — Проклятие этому дому, позор и гнев божий!

Услышав эти слова, опомнился Заглоба.

— Спросите у него, — крикнул, негодуя, старик, — что он взял за это от шведов? Сколько они ему отсчитали? Что еще посулили? Это Иуда Искариот! Чтобы тебе умереть в отчаянии! Чтобы род твой угас! Чтобы дьявол унес твою душу! Изменник! Изменник! Трижды изменник!

В беспамятстве и отчаянии Станкевич вырвал из-за пояса свою полковничью булаву и с треском швырнул ее к ногам князя. За ним бросил булаву Мирский, третьим Юзефович, четвертым Гощиц, пятым, бледный как труп, Володыёвский, шестым Оскерко — и покатались по полу булавы, и в то же время в этом львином логове, прямо в глаза льву все больше уст повторяли страшное слово:

— Изменник! Изменник!

Кровь ударила в голову кичливому магнату, он весь посинел и, казалось, сейчас замертво рухнет под стол.

— Ганхоф и Кмициц, ко мне! — взревел он страшным голосом.

В ту же минуту четыре створы дверей с треском распахнулись, и в залу вступили отряды шотландской пехоты, грозные, немые, с мушкетами в руках. От главного входа их вел Ганхоф.

— Стой! — загремел князь. Затем он обратился к полковникам: — Кто со мной, пусть перейдет на правую сторону!

— Я солдат и служу гетману! Бог мне судья! — сказал Харламп, переходя на правую сторону.

— И я! — прибавил Мелешко. — Не мой грех будет!

— Я протестовал как гражданин, как солдат обязан повиноваться, —

прибавил третий, Невяровский, который поначалу бросил булаву, но теперь, видно, испугался Радзивилла.

За ними перешло еще несколько человек и довольно большая кучка шляхты; только Мирский, старший по чину, и Станкевич, старший по годам, Гощиц, Володыёвский и Оскерко остались на месте, а с ними оба Скшетуские, Заглоба и подавляющее большинство шляхты и хорунжих из разных тяжелых и легких хоругвей.

Шотландская пехота окружила их стеной.

Когда князь провозгласил здравицу в честь Карла Густава, Кмициц в первую минуту вскочил вместе со всеми остальными, он стоял окаменелый, с остановившимися глазами, и повторял побелевшими губами:

— Боже! Боже! Что я наделал!

Но вот тихий голос, который он, однако, явственно расслышал, шепнул ему на ухо:

— Пан Анджей!

Он вцепился руками в волосы:

— Проклят я навечно! Расступись же подо мною, земля!

Панна Александра вспыхнула, глаза ее, словно ясные звезды, устремились на Кмицица:

— Позор тем, кто встает на сторону гетмана! Выбирай! Боже всемогущий! Что ты делаешь, пан Анджей! Выбирай!

— Иисусе! Иисусе! — воскликнул Кмициц.

В это время в зале раздались крики, это полковники бросали булавы под ноги князю, однако Кмициц не присоединился к ним; он не двинулся с места ни тогда, когда князь крикнул: «Ганхоф и Кмициц, ко мне!» — ни тогда, когда шотландская пехота вошла в залу, и стоял, терзаемый мукой и отчаянием, со смутно блуждающим взором, с посинелыми губами.

Внезапно он повернулся к панне Александре и протянул к ней руки.

— Оленька! Оленька! — жалобно простонал он, как обиженный ребенок.

Но она отшатнулась от него с отвращением и ужасом.

— Прочь, изменник! — решительно сказала она.

В эту минуту Ганхоф командовал: «Вперед!» — и отряд шотландцев, окруживший узников, направился к дверям.

Кмициц в беспамятстве последовал за ними, сам не зная, куда и зачем он идет.

Пир кончился...

ГЛАВА XIV

В ту же ночь князь долго держал совет с Корфом, воеводой венденским, и с шведскими послами. Он не думал, что оглашение договора приведет к таким последствиям, обманулся в своих ожиданиях, и страшное будущее открылось перед ним. Умышленно огласил он договор на пиру, когда умы разгорячены, согласны на все и готовы на все. Конечно, он ждал сопротивления, но рассчитывал и на приверженцев, а тем временем сила протеста превзошла его ожидания. Кроме нескольких десятков шляхтичей-кальвинистов да кучки офицеров иноземного происхождения, которые как чужестранцы не могли иметь голоса, все высказались против договора, заключенного с королем Карлом Густавом, верней, с фельдмаршалом его и шурином, Понтусом де ла Гарди^[91].

Правда, князь приказал арестовать офицеров, оказавших сопротивление, но что из этого? Что скажут на это регулярные хоругви? Не выступят ли они на защиту своих полковников? Не взбунтуются ли и не захотят ли силой отбить их?

Что останется тогда кичливому князю, кроме нескольких драгунских полков и иноземной пехоты?

А потом останется еще вся страна, вся вооруженная шляхта и Сапега, витебский воевода, грозный противник радзивилловского дома, готовый воевать со всем миром во имя неприкосновенности Речи Посполитой. К нему перейдут полковники, которым не срубишь головы с плеч, и польские хоругви, и Сапега возглавит все силы страны, а он, князь Радзивилл, останется без войска, без приверженцев, без власти... Что тогда будет?..

Это были страшные вопросы, и положение было страшным. Князь хорошо понимал, что тогда договор, который он столько времени тайно готовил, силою вещей потеряет всякое значение, шведы отвернутся тогда от него, а быть может, станут мстить за то, что обманулись в своих ожиданиях. К тому же он отдал им свои Биржи, как залог верности, и тем самым еще больше ослабил себя.

Для могущественного Радзивилла Карл Густав готов обеими руками сыпать награды и почести, от слабого и покинутого он отвернется с еще большим презрением, чем от других. А если изменчивое колесо фортуны пошлет победу Яну Казимиру, тогда гибель ждет его, Радзивилла, властителя, равного которому еще сегодня утром не было во всей Речи Посполитой.

После отъезда послов и венденского воеводы князь сжал обеими руками отягощенное заботами чело и быстрыми шагами начал ходить по покою. Снаружи доносились голоса шотландской стражи и стук карет уезжавшей шляхты. Она уезжала так торопливо, так поспешно, точно чума посетила роскошный кейданский замок. Страшная тревога терзала душу Радзивилла.

Порой ему казалось, что, кроме него, в покое есть еще кто-то и ходит за ним, и шепчет ему на ухо: «Оставлен будешь всеми в нищете, и к тому же отдан на позор!..» Да, он, воевода виленский, великий гетман, уже был раздавлен и уничтожен! Кто бы мог вчера подумать, что во всей Короне и Литве — да нет, во всем мире! — найдется человек, который осмелился бы крикнуть ему в глаза: «Изменник!» А ведь он услышал это слово и остался жив, и те, кто произнес это слово, тоже живы. Войди он сейчас в пиршественную залу, он, быть может, услышит, как эхо повторяет под ее сводами: «Изменник! Изменник!»

Дикая, неукротимая ярость закипала порой в груди олигарха. Ноздри его (вздувались, глаза сверкали, жилы вспухали на лбу. Кто смеет тут противиться его воле? Иступленная мысль рисовала ему картины казней и пыток мятежников, которые осмелились не пойти за ним, как покорные псы идут за хозяином. Он видел их кровь, стекающую с топоров палачей, слышал хруст костей, ломаемых на колесе, и тешился, и любовался, и наслаждался кровавыми видениями.

Но когда трезвый рассудок напоминал ему, что за этими мятежниками стоит войско, что нельзя безнаказанно срубить им головы, снова возвращалась невыносимая, адская тревога и наполняла его душу, и кто-то снова начинал шептать на ухо: «Оставлен будешь всеми в нищете, и к тому же отдан под суд, на позор!..»

Как же так? Стало быть, Радзивилл не может решать судьбу страны, не может сохранить ее за Яном Казимиром или отдать Карлу Густаву, отдать, передать, принести в дар, кому он захочет?

Магнат в изумлении устремил взгляд в пространство.

Так кто же они, Радзивиллы? Кем же они были вчера? Что говорила о них вся Литва? Ужели все это был один обман? Ужели за великого гетмана не встанет князь Богуслав со своими полками, за Богуслава — дядя его, курфюрст бранденбургский, а за всех троих Карл Густав, король шведский, со всей своею победоносною мощью, перед которой еще недавно трепетала вся Германия? Ведь и Речь Посполитая протягивает руки к новому господину, и она сдается при одной весте о приближении северного льва. Кто же противится этой неукротимой силе?

С одной стороны король шведский, курфюрст бранденбургский, Радзивиллы, при нужде и Хмельницкий со всей его мощью, и господарь валашский, и Ракоци семиградский^[92], — чуть не половина Европы! А с другой — витебский воевода с Мирским, с этими тремя шляхтичами, которые приехали из Лукова, и с несколькими взбунтовавшимися хоругвями!.. Что это? Шутки, насмешка?

Князь вдруг громко рассмеялся:

— А, Люцифер их возьми со всем своим бесовским легионом, ошалел я, что ли? Да пусть хоть все уходят к витебскому воеводе!

Однако через минуту лицо его снова омрачилось.

— Эти властители допустят в союз только властителей. Радзивилл, который бросает Литву к ногам шведов, будет желанным союзником. Радзивилл, зовущий на помощь против Литвы, будет презрен ими.

Что делать?

Иноземные офицеры останутся с ним; но силы их недостаточны, и если польские хоругви перейдут к витебскому воеводе, тогда судьбы страны будут в руках Сапеги. Каждый офицер-иноземец выполнит приказ, но никто из них не посвятит себя всего делу Радзивилла, не предастся ему со всем жаром души не только как солдат, но и как приверженец.

Не иноземцы нужны, а непременно свои люди, которые могли бы привлечь других знатностью, славою, дерзким примером, готовностью на все... Приверженцы нужны в своей стране хотя бы для видимости.

Кто же из этих своих остался на его стороне? Харламп, старый, уже непригодный солдат, служака, и только; Невяровский, которого недолюбливают в войске и который не пользуется никаким влиянием, а с ними еще несколько человек, которые значат еще меньше. Никого больше нет, никого такого, за кем пошло бы войско, никого такого, кто мог бы убедить в правоте его дела.

Остается Кмициц, молодой, предприимчивый, дерзкий, покрытый рыцарской славой, носящий знаменитое имя, возглавляющий сильную хоругвь, которую он выставил отчасти даже на собственные средства, человек, как бы созданный вождем всех дерзких и непокорных в Литве и к тому же полный одушевления. Вот если бы он взялся за дело Радзивиллов, взялся с тою верой, какую дает молодость, слепо пошел бы за своим гетманом и стал бы его апостолом! Ведь такой апостол значит больше целых своих полков и целых полков иноземных. Он сумел бы перелить свою веру в сердца молодых рыцарей, увлечь их за собою и толпы людей привести в радзивилловский стан.

Однако и он явно поколебался. Правда, не бросил своей булавы под

ноги гетману, но и не стал на его сторону в первую же минуту.

«Не на кого положиться, никому нельзя верить, — угрюмо подумал князь. — Все они перейдут к витебскому воеводе, и никто не захочет разделить со мною...»

— Позор! — шепнула совесть.

— Литву! — ответствовала гордыня.

Свечи оплыли, и в покое потемнело, только в окна лился серебряный свет луны. Радзивилл загляделся на лунные отблески и погрузился в глубокую задумчивость.

Медленно стали мутиться отблески, и люди замаячили во мгле, они все прибывали, и князь увидел, наконец, войска, которые спускались к нему с вышины по широкой лунной дороге. Идут панцирные полки, тяжелые и легкие, идут гусарские полки, реют над ними знамена, а во главе их скачет кто-то без шлема, — видно, победитель возвращается с победоносной войны. Тишина кругом, и князь явственно слышит голос войск и народа:

— *Vivat defensor patriae! Vivat defensor patriae!*

Войска все приближаются; уже можно различить лицо полководца. Он держит в руке булаву; по числу бунчуков видно, что это великий гетман.

— Во имя отца и сына! — кричит князь. — Да ведь это Сапега, это воевода витебский! А где же я? Что же мне суждено?

— Позор! — шепчет совесть.

— Литва! — отвечает гордыня.

Князь хлопнул в ладоши, Гарасимович, бодрствовавший в соседнем покое, тотчас показался в дверях и согнулся кольцом в поклоне.

— Свет! — сказал князь.

Гарасимович снял нагар со свечей, затем вышел и через минуту вернулся со светильником в руке.

— Ясновельможный князь! — сказал он. — Пора на отдых, вторые петухи пропели!

— Я не хочу спать! — ответил князь. — Задремал, и злые грезы меня душили. Что нового?

— Какой-то шляхтич привез письмо из Несвижа от князя кравчего; но я не посмел войти без зова.

— Давай скорее письмо!

Гарасимович подал письмо, князь вскрыл печать и прочел следующее:

«Храни тебя бог, князь, и упаси от умыслов, кои могут принести нашему дому вечный позор и гибель. За одно такое намерение не о владычестве, но о власянице надлежит помыслить. Дума о величии нашего дома и у меня на сердце лежит, и наилучшее тому доказательство

старания, кои прилагал я в Вене, дабы получить *suffragia* в сеймах Империи. Но отчизне и повелителю нашему я не изменю ни за какие награды и власть земную, дабы после такого сева не собрать жатвы гнева при жизни и осуждения за гробом. Воззри, князь, на заслуги предков и на незапятнанную славу и опомнись, Христом-богом молю, покуда есть еще время. Враг осаждает меня в Несвиже, и не знаю я, дойдет ли до твоих рук сие послание; но хотя каждая минута грозит мне гибелью, не о спасении молю я бога, но о том, дабы удержал он тебя от сих умыслов и наставил на путь истинный. Буде свершилось злое дело, можно еще *resedere*^[93] и скорым исправлением искупить вину. А от меня не жди помощи, заранее упреждаю, что, невзирая на кровные узы, силы свои соединю с паном подскарбием и с воеводою витебским и оружие мое сто раз обращу против тебя, князь, прежде нежели добровольно приложит руку к сей позорной измене. Поручаю тебя, князь, господу богу.

*Михал Казимеж Радзивилл,
князь Несвижский и Олыцкий,
кравчий Великого княжества Литовского».*

Прочитав письмо, гетман опустил его на колени и со страдальческой улыбкой покачал головой.

«И он меня покидает, родная кровь отрекается от меня за то, что пожелал я дом наш украсить неведомым доселе сиянием! Что поделаешь! Остается Богуслав, он меня не предаст. С нами курфюрст и Carolus Gustavus, а кто не пожелал сеять, тот не будет собирать жатву...»

«Позора!» — шепнула совесть.

— Ясновельможный князь, изволишь дать ответ? — спросил Гарасимович.

— Ответа не будет.

— Я могу уйти и прислать постельничих?

— Погодя!.. Всюду ли расставлена стража?

— Да.

— Приказы хоругвям разосланы?

— Да.

— Что делает Кмициц?

— Он бился головой об стенку и кричал о позоре. В корчах катался. Хотел бежать вслед за Биллевичами, но стража его непустила. За саблю схватился, пришлось связать его. Теперь лежит спокойно.

— Мечник россиенский уехал?

— Не было приказа задержать его.

— Забыл! — сказал князь. — Отвори окна, душно мне, задыхаюсь я.

Харлампу вели отправиться в Упиту за хоругвью и тотчас привести ее сюда. Выдай ему денег, пусть уплатит людям первую четверть и позволит им выпить... Скажи ему, что после Володыёвского получит в пожизненное владение Дыдкемы. Душно мне... погоди!

— Слушаюсь, ясновельможный князь.

— Что делает Кмициц?

— Я уже говорил, ясновельможный князь, лежит спокойно.

— Да, да, ты говорил... Вели прислать его сюда. Мне надо поговорить с ним, вели развязать его.

— Ясновельможный князь, это безумец...

— Не бойся, ступай!

Гарасимович вышел; князь вынул из венецейского столика шкатулку с пистолетами, открыл ее, сел за стол и положил шкатулку так, чтобы она была у него под рукой.

Через четверть часа четверо шотландских драбантов ввели Кмицица. Князь приказал солдатам выйти. Остался с Кмицицем один на один.

Казалось, ни кровинки не осталось в лице молодого рыцаря, так он был бледен; только глаза лихорадочно блестели, но внешне был он спокоен, смирен, а может, погружен в безысходное отчаяние.

Минуту оба молчали. Первым заговорил князь:

— Ты поклялся на распятии, что не покинешь меня!

— Я буду осужден на вечные муки, коли не исполню своего обета, буду осужден, коли исполню! — сказал Кмициц. — Мне все едино!

— Коль я на злое дело тебя подвигну, не ты будешь в ответе.

— Месяц назад грозили мне суд и кара за убийства... нынче, мнится мне, невинен я был тогда, как младенец!

— Прежде, нежели ты выйдешь из этого покоя, тебе будут прощены все твои старые вины, — проговорил князь. Внезапно переменив разговор, он спросил его мягко и просто: — А как, ты думаешь, должен был я поступить перед лицом двух врагов, стократ сильнейших, от которых я не мог защитить эту страну?

— Погибнуть! — жестко ответил Кмициц.

— Завидую вам, солдатам, которым так легко сбросить тяжкое бремя. Погибнуть! Кто глядел в глаза смерти и не боится ее, для того нет ничего проще. Никому из вас и на ум не придет, никто и помыслить не хочет о том, что, если я разожгу теперь пламя жестокой войны и погибну, не заключив договора, камня на камне не останется от всей этой страны. Избави бог от такой беды, ибо тогда и на небе душа моя не нашла бы покоя. О, *terque quaterque beati*^[94] те, кто может погибнуть! Ужели, мнишь ты, мне не в

тягость жизнь, не жажду я вечного сна и покоя? Но надо выпить до дна кубок желчи и горечи. Надо спасти эту несчастную страну и ради спасения ее согнуться под новым бременем. Пусть завистники обвиняют меня в гордыне, пусть говорят, будто я изменяю отчизне, дабы вознестись самому, — бог свидетель, бог мне судья, жажду ли я возвышения, не отрекся ли бы я от своего замысла, когда бы все могло решиться иначе. Найдите же вы, отступившиеся от меня, средство спасения, укажите путь, вы, назвавшие меня изменником, и я еще сегодня порву этот документ и заставлю воспрянуть ото сна все хоругви, чтобы двинуть их на врага.

Кмициц молчал.

— Но почему ты молчишь? — возвысил голос Радзивилл. — Я ставлю тебя на мое место, ты великий гетман и воевода виленский, и не погибать, — это дело немудрое, — но спасти отчизну ты должен: отвоевать захваченные воеводства, отомстить за Вильно, обращенное в пепел, защитить Жмудь от нашествия шведов, — нет, не Жмудь, всю Речь Посполитую, изгнать из ее пределов всех врагов!.. Сам-третей кинься на тысячи и не погибай, ибо тебе нельзя погибать, но спасай страну!

— Я не гетман и не воевода виленский, — ответил Кмициц, — не мое это дело. Но коли надо сам-третей кинуться на тысячи, я кинусь!

— Послушай, солдат: коль скоро не твое это дело спасти страну, предоставь это мне и верь мне!

— Не могу! — стиснув зубы, ответил Кмициц.

Радзивилл покачал головой.

— Я не надеялся на тех, я ждал, что так оно и будет, но в тебе я обманулся. Не прерывай меня и слушай... Я поставил тебя на ноги, спас от суда и от кары, как сына пригрел на груди. Знаешь ли ты, почему? Я мнил, у тебя смелая душа, готовая к великим начинаньям. Не таю, я нуждался в таких людях. Не было рядом со мною никого, кто отважился бы смело взглянуть на солнце. Были малодушные и робкие. Таким нечего указывать дорогу, кроме той, по которой они и их отцы привыкли ходить, не то они закаркают, что ты уводишь их на окольные пути. А куда, как не до пропасти дошли мы по старым дорогам? Что случилось с Речью Посполитой, которая некогда могла грозить всему миру? — Князь сжал голову руками и трижды повторил: — Боже! Боже! Боже!

Через минуту он продолжал:

— Пришла година гнева божия, година таких бедствий и такого упадка, что от обычных средств нам не восстать уже с одра болезни, а когда я хочу прибегнуть к новым, кои единственно могут принести salutem^[95], меня покидают даже те, на кого я надеялся, которые должны верить мне,

которые поклялись в верности мне на распятии. Кровью и ранами Христа! Ужели мнишь ты, что я навечно предался под покровительство Карла Густава, что и впрямь помышляю соединить нашу страну со Швецией, что этот договор, за который меня прокричали изменником, будет длиться более года? Что ты глядишь на меня изумленными очами? Ты еще более изумишься, когда выслушаешь все. Ты еще более поразишься, ибо случится нечто такое, о чем никто и не помышляет, чего никто не может допустить, чего разум обыкновенного человека объять не в силах. Но не трепещи, говорю тебе, ибо в этом спасение нашей страны, не оставляй меня, ибо если я никого не найду в помощь себе, то, быть может, погибну, но со мною погибнет вся Речь Посполитая и вы все — навеки! Один я могу ее спасти; но для этого я должен сокрушить и растоптать все препоны. Горе тому, кто воспротивится мне, ибо сам бог моею десницей сотрет его с лица земли, будет ли то воевода витебский, пан подскарбий Госевский, войско или шляхта, противящаяся мне. Я хочу спасти отчизну, и все пути, все средства для этого хороши. Рим в годину бедствий назначал диктаторов, такая, — нет! еще большая власть нужна мне! Не гордыня влечет меня к ней, — кто чувствует в себе силы, пусть возьмет ее вместо меня! Но коль скоро никого нет, я возьму ее, разве только если эти стены ранее не обрушатся на мою голову!..

При этих словах князь поднял вверх руки, словно и впрямь хотел подпереть рушащийся свод, и было в нем нечто столь величественное, что Кмициц широко раскрыл глаза и смотрел на него так, точно никогда раньше его не видал.

— Ясновельможный князь, к чему ты стремишься? — проговорил он наконец. — Чего ты хочешь?

— Я хочу... короны! — крикнул Радзивилл.

— Господи Иисусе!..

На минуту воцарилось немое молчание, лишь на замковой башне пронзительно захохотал филин.

— Послушай, — сказал князь, — пора открыть тебе все. Речь Посполитая гибнет, и гибель ее неминуема. Нет для нее на земле спасения. Надобно спасти от разгрома наш край, самую близкую нам отчизну, дабы потом все возродить, как возрождается феникс из пепла!.. Я свершу сие и корону, которой я жажду, возложу на главу, как бремя, дабы из великой могилы восстала новая жизнь. Не трепещи! Земля не разверзается, все стоит на месте, только близятся новые времена. Я отдал этот край шведам, дабы их оружием усмирить другого врага, изгнать его из наших пределов, вновь обрести утраченные земли и мечом в собственной его столице

вынудить у него договор. Ты слышишь меня? В скалистой, голодной Швеции мало людей, мало сил, мало сабель, дабы захватить необъятную Речь Посполитую. Шведы могут раз, другой разбить наше войско; но удержать нас в повиновении они не сумеют. Когда бы к каждому десятку наших людей приставить стражем по одному шведу, и то для многих десятков недостало бы стражей. Карл Густав хорошо это знает и не хочет, не может захватить всю Речь Посполитую. Он займет, самое большее, Королевскую Пруссию^[96], часть Великой Польши — и этим удовлетворится. Но дабы безопасно владеть завоеванными землями, он должен расторгнуть союз между нами и Коронай, в противном случае ему не укрепиться в захваченных провинциях. Что же станется тогда с нашим краем? Кому его отдадут? Коль скоро я оттолкну корону, которую бог и фортуна возлагают на мою главу, его отдадут тому, кто в эту минуту им завладел. Но Карл Густав не хочет это делать, дабы не усилить мощь соседа и не создать себе грозного врага. Так будет только тогда, когда я отвергну корону... Ужели имею я право ее отвергать? Ужели могу я допустить, чтобы случилось то, что грозит нам окончательной гибелью? В десятый, в сотый раз вопрошаю я: где иное средство спасения? Пусть же творится воля господня! Я беру это бремя на свои плечи. Шведы за меня, курфюрст, наш родич, сулит мне помощь. Я избавлю свой край от войны! С побед и расширения его пределов начнется господство моего дома. Расцветут мир и благоденствие, огонь не будет пожирать города и веси. Так будет, так должно быть. И да поможет мне бог и крест святой, ибо слышу я в себе силу и мощь, дарованные мне небом, ибо желаю блага стране, ибо не кончатся на том мои замыслы!.. И клянусь сими небесными светилами, сими трепетными звездами, что, если только хватит здоровья и сил, я вновь отстрою все здание и сделаю его более могущественным, нежели оно было доньше.

Огнем горели зеницы князя, и весь он окружен был невиданным сиянием.

— Ясновельможный князь! — воскликнул Кмициц. — Немыслимо обнять сие умом, голова кружится, глаза не смеют взглянуть вперед!

— А потом, — точно следуя за течением своих мыслей, продолжал князь, — а потом... Яна Казимира шведы не лишат ни державы, ни власти, они оставят ему Мазовию и Малую Польшу. Бог не дал ему потомства. Придет время выборов... Кого же изберут на трон, коль скоро пожелают сохранить союз с Литвою? В какое время Корона достигла могущества и растоптала мощь крестоносцев? В то время, когда на трон ее воссел Владислав Ягелло. Так будет и теперь!.. Никого другого поляки не могут

призвать на трон, кроме как того, кто здесь будет владыкой. Не могут и не сделают этого, ибо сдавят им грудь немцы и турки и нечем им станет дышать, да и червь казачества точит им грудь! Не могут! Слеп тот, кто этого не видит, глуп тот, кто этого не разумеет! А тогда обе страны вновь соединятся в одну державу в доме моем! Вот тогда мы посмотрим, удержат ли скандинавские королишки нынешние свои прусские и великопольские завоевания. Тогда я скажу им: «Quos ego!»^[97] — и этой стопой придавлю им тощие ребра и создам такую могущественную державу, какой свет не видывал, о какой не писала история, и, быть может, в Константинополь понесем мы крест, огонь и меч и будем грозить врагам, мир храня в своей державе! Боже всемогущий, ты, что обращаешь в небе светила, дай же мне спасти эту страну во славу твою и всего христианства, дай же мне людей, кои постигли бы умысел мой и пожелали приложить руку свою для ее спасения. Вот что я хотел сказать! — Князь воздел руки и очи поднял горе. — Ты мой свидетель! Ты мне судия!

— Ясновельможный князь! Ясновельможный князь! — воскликнул Кмициц.

— Уходи! Покинь меня! Брось мне под ноги буздыган! Нарушь клятву! Назови изменником! Пусть все тернии до единого будут в терновом венце, возложенном на мою главу! Погубите страну, низвергните ее в бездну, оттолкните руку, которая может спасти ее, и идите на суд божий! Пусть там нас рассудят!

Кмициц бросился перед Радзивиллом на колени.

— Ясновельможный князь! Я с тобою до гроба! Отец отчизны! Спаситель!

Радзивилл положил ему руку на голову, и вновь наступила минута молчания. Только филин по-прежнему хохотал на башне.

— Ты получишь все, к чему стремился и чего жаждал, — торжественно произнес князь. — Ничто тебя не минует, и больше тебе дастся, нежели отец твой с матерью желали тебе! Встань, будущий великий гетман и воевода виленский!..

На небе заря стала брезжить.

ГЛАВА XV

Заглоба был уже изрядно под хмелем, когда трижды бросил гетману в лицо страшное слово: «Изменник!» Только час спустя, когда хмель соскочил с лысой его головы и он с обоими Скшетускими и паном Михалом очутился в кейданском замковом подземелье, старик понял, какой опасности подверг и себя, и своих друзей, и очень встревожился.

— Что же теперь будет? — спрашивал он, глядя осоловелыми глазами на маленького рыцаря, на которого особенно полагался в трудную минуту.

— К черту, не хочу жить! Мне все едино! — ответил Володыёвский.

— До таких времен мы доживем, до такого позора, какого свет и Корона отроду не видывали! — сказал Ян Скшетуский.

— Если бы дожили, — воскликнул Заглоба, — могли бы подать добрый пример, доблесть пробудить у других! Да вот доживем ли? В этом-то вся загвоздка!

— Страшное, неслыханное дело! — говорил Станислав Скшетуский. — Где еще бывало такое? Помогите, друзья, ум у меня мутится! Две войны, третья казацкая, и измена вдобавок, как чума: Радзеёвский, Опалинский, Грудзинский, Радзивилл. Светопреставление наступает. Страшный суд! Расступись, земля, под ногами. Право же, я с ума схожу!

И, сжав руками затылок, он, как дикий зверь в клетке, заметался по подземелью.

— Помолимся богу! — сказал он наконец. — Господи, помилуй нас, грешных!

— Успокойся, пан Станислав! — обратился к нему Заглоба. — Не время приходить в отчаяние!

Станислав пришел вдруг в ярость.

— Чтоб тебя бог убил! — стиснув зубы, крикнул он Заглобе. — Это ты придумал ехать в этому изменнику! Чтобы вас обоих бог покарал!

— Опомнись, Станислав! — сурово произнес Ян. — Никто не мог предвидеть, что станется. Терпи, не ты один терпишь, и знай, наше место здесь и только здесь... Господи, помилуй не нас, но несчастную нашу отчизну!

Станислав ничего не ответил, только руки ломал, так что трещали суставы.

Все умолкли. Один только пан Михал отчаянно насвистывал сквозь

зубы и, казалось, оставался равнодушным ко всему, что творится вокруг, хотя, в сущности, страдал вдвойне: и оттого, что отчизна в горе, и оттого, что сам он оказал неповиновение гетману. Он был солдат до мозга костей, и для него это было страшным делом. Тысячу раз предпочел бы он умереть.

— Не свисти, пан Михал! — попросил Заглоба.

— Мне все едино!

— Как так? Неужели никто из вас не хочет подумать о том, как бы нам спастись? Право же, стоит поломать над этим голову! Неужто гнить в этом подземелье, когда отчизне дорога каждая рука? Когда один честный должен противостоять десяти изменникам?

— Отец прав! — сказал Ян Скшетуский.

— Один только ты не потерял от муки рассудка. Как ты думаешь, что этот изменник решил сделать с нами? Не казнит же он нас, в самом деле?

Володыёвский разразился вдруг отчаянным смехом.

— Отчего же ему не казнить нас, хотел бы я знать? Разве мы ему не подсудны? Разве не у него меч в руках? Вы что, не знаете Радзивилла?

— Что ты сам толкуешь? По какому такому праву казнить?

— Меня — по праву гетмана, вас — по праву насильника!

— Но ему пришлось бы ответить за это...

— Перед кем? Перед шведским королем?

— Утешил, нечего сказать!

— А я и не думаю тебя утешать.

Они умолкли, и некоторое время слышались только мерные шаги шотландских пехотинцев за дверью подземелья.

— Ничего не поделаешь! — сказал Заглоба. — Придется пойти на хитрость.

Никто ему не ответил.

— Просто не верится, что нас могут казнить, — снова заговорил через некоторое время Заглоба. — Чтоб за каждое сказанное во хмелю неосторожное слово рубить голову с плеч, да тогда в Речи Посполитой ни один шляхтич не ходил бы с головой на плечах! А *neminem captivabimus?*

[\[98\]](#) Это что, пустое дело?

— Вот тебе пример — мы с тобой! — сказал Станислав Скшетуский.

— Это все по неосторожности; но я твердо верю, что князь одумается. Мы люди чужие, и ему никак не подсудны. Должен же он посчитаться с судом общества, нельзя же начинать с насилий, — так и шляхту можно вооружить против себя. Ей-ей, вас слишком много, чтобы всем срубить головы. Офицеры ему подсудны, этого я отрицать не стану; думаю только,

что он поопасается войска, которое наверняка поспешит заступиться за своих полковников. А где твоя хоругвь, пан Михал?

— В Упите.

— Ты мне только скажи: ты уверен, что твои люди не предадут тебя?

— Откуда мне знать? Они меня как будто любят, но ведь знают, что гетман надо мною.

Заглоба на минуту задумался.

— Дай-ка мне приказ для них, чтобы они мне во всем повиновались, как тебе, когда я явлюсь к ним.

— Тебе, видно, мнится, что ты уже на свободе!

— Приказ не помешает. Случалось попадать нам в переделки похуже этой, и ничего, с божьей помощью мы выходили целы и невредимы. Дай приказ мне и обоим панам Скшетуским. Кто первый вырвется на свободу, тотчас отправится за хоругвью и приведет ее, чтобы спасти остальных.

— Ну что ты болтаешь! Пустые это разговоры! Кто отсюда вырвется! Да и на чем напишу я этот приказ? Что, у тебя бумага есть, перья, чернила? Совсем ты разум теряешь.

— Плохо дело! — сказал Заглоба. — Ну дай мне тогда хоть свой перстень!

— Бери пожалуйста, и оставь меня в покое! — ответил пан Михал.

Заглоба взял перстень, надел его на мизинец и стал расхаживать в задумчивости по подземелью.

Тем временем чадный светильник погас, и узники остались в полной темноте; только сквозь решетку прорезанного высоко окна видны были две звезды, мерцавшие в ясном небе. Заглоба не спускал глаз с этой решетки.

— Будь Подбипента жив и сиди он с нами здесь, в подземелье, — пробормотал старик, — он бы вырвал решетку, и через час мы были бы уже за Кейданами.

— А ты подсадишь меня к окну? — спросил вдруг Ян Скшетуский.

Заглоба и Станислав Скшетуский встали под окном, и через минуту Ян взобрался им на плечи.

— Трещит! Клянусь богом, трещит! — крикнул Заглоба.

— Ну, что ты, отец, говоришь! — остановил его Ян. — Я еще и не рванул решетку.

— Влезайте вдвоем с братом, я вас как-нибудь выдержу. Не раз завидовал я пану Михалу, что такой он ловкий, а теперь вот думаю, что, будь он еще ловчей, проскользнул бы, как serpens.^[99]

Но Ян соскочил с плеч.

— С той стороны стоят шотландцы! — сказал он.

— А чтоб они в соляные столпы обратились, как жена Лота. Темно здесь, хоть глаз выколи. Скоро начнет светать. Думаю, что alimenta^[100] нам принесут, ибо даже лютеране не морят узников голодом. А может, бог даст, гетман одумается. По ночам у людей часто просыпается совесть, да и черти смущают грешников. Неужели в это подземелье только один вход? Днем поглядим. Голова у меня что-то тяжелая, ничего не могу придумать, завтра бог на ум наставит, а сейчас давайте помолимся, друзья и поручим себя в этой еретической темнице пресвятой деве Марии.

Через минуту узники стали читать молитвы на сон грядущий, помолились и пресвятой деве, после чего оба Скшетуские и Володыёвский умолкли, подавленные бедой, а Заглоба все ворчал про себя.

— Завтра, как пить дать, скажут нам: aut, aut!^[101] — переходите на сторону Радзивилла, и он все вам простит, мало того, пожалует наградами! Да? Ну что ж! Перехожу на сторону Радзивилла! А там мы еще посмотрим, кто кого обманет. Так вы шляхту в темницу сажаете, невзирая ни на годы, ни на заслуги? Ну, что ж! Поделом вору и мука! Дурак будет внизу, умник наверху! Я вам поклянусь, в чем хотите, но того, что исполню, вам не хватит и на то, чтобы дырку заплатать. Коль скоро вы нарушаете присягу отчизне, честен тот, кто нарушит клятву, данную вам. Одно скажу, гибель приходит для Речи Посполитой, коль самые высшие ее правители объединяются с врагом. Не бывало еще такого на свете, и верно, что mentem^[102] можно потерять. Да есть ли мука в аду, которые были бы достаточны для таких изменников? Чего не хватало такому Радзивиллу? Мало, что ли, почестей воздала ему отчизна, что он предал ее, как Иуда, да еще в годину тягчайших бедствий, в годину трех войн? Справедлив, справедлив гнев твой, господи, пошли только кару поскорее! Да будет так, аминь! Только бы выбраться отсюда поскорее на волю, я тебе, пан гетман, наготовлю приверженцев! Узнаешь ты, каковы fructa^[103] измены. Ты меня еще будешь за друга почитать, но коль нет у тебя лучше друзей, не охоться никогда на медведя, разве только если тебе шкура недорого!..

Так рассуждал сам с собою Заглоба. Тем временем минул час, другой, и стало светать. Серые отсветы, проникая сквозь решетку, медленно рассеивали тьму, царившую в подземелье, и в сумраке обозначились унылые фигуры рыцарей, сидевших у стен. Володыёвский и оба Скшетуские дремали от усталости; но когда рассвело, с замкового двора донеслись отголоски шагов солдат, бряцанье оружия, топот копыт и звуки труб у ворот, и рыцари повскакали с мест.

— Не очень удачно начинается для нас день! — заметил Ян.

— Дай-то бог, чтобы кончился удачей, — ответил Заглоба. — Знаете, друзья, что я ночью надумал? Нас, наверно, вот чем угостят: скажут нам: мы, дескать, готовы вам живот даровать, а вы соглашайтесь служить Радзивиллу и помогать ему в его предательском деле. Так нам надо будет согласиться, чтобы воспользоваться свободой и выступить на защиту отчизны.

— Подписать документ о своем вероломстве? Да упаси меня бог! — решительно возразил Ян. — Пусть даже я потом отрекусь от предателя, все равно мое имя, к стыду моих детей, останется среди изменников. Я этого не сделаю, лучше смерть.

— Я тоже! — сказал Станислав.

— А я заранее вас предупреждаю, что сделаю это. На хитрость отвечу хитростью, а там что бог даст. Никто не подумает, что я сделал это по доброй воле, от чистого сердца. Черт бы побрал эту змею Радзивилла! Мы еще посмотрим, чей будет верх.

Дальнейший разговор прервали крики, долетевшие со двора. В них слышались гнев, угроза и возмущение. В то же время доносились звуки команды, гулкие шаги целых толп и тяжелый грохот откатываемых орудий.

— Что там творится? — спрашивал Заглоба. — А ну, если это пришли нам на помощь?

— Да, это необычный шум, — ответил Володыёвский. — Нуте, подсадите меня к окну, я скорее вас разгляжу, в чем там дело...

Ян Скшетуский подхватил маленького рыцаря за бока и, как ребенка, поднял вверх; пан Михал схватился за решетку и стал пристально глядеть во двор.

— Что-то есть, что-то есть! — с живостью сказал он вдруг. — Я вижу пехоту, это венгерская надворная хоругвь, над которой начальствовал Оскерко. Солдаты его очень любили, а он тоже под арестом; наверно, они хотят узнать, где он. Клянусь богом, стоят в боевом строю. С ними поручик Стахович, он друг Оскерко.

В эту минуту крики усилились.

— К ним подъехал Ганхоф... Он что-то говорит Стаховичу... Какой крик! Вижу, Стахович с двумя офицерами отходит от хоругви. Наверно, идут к гетману. Клянусь богом, в войске ширится бунт. Против венгров выставлены пушки и в боевых порядках стоит шотландский полк. Товарищи из польских хоругвей собираются на стороне венгров. Без них у солдат не хватило бы смелости, в пехоте дисциплина железная...

— Господи! — воскликнул Заглоба. — В этом наше спасение! Пан Михал, а много ли польских хоругвей? Уж эти коли взбунтуются, так

взбунтуются.

— Гусарская Станкевича и панцирная Мирского стоят в двух днях пути от Кейдан, — ответил Володыёвский. — Будь они здесь, полковников не посмели бы арестовать. Погодите, какие же еще? Драгуны Харлампа, один полк, Мелешко — второй; те на стороне князя. Невяровский тоже объявил, что он на стороне князя, но его полк далеко. Два шотландских полка...

— Стало быть, на стороне князя четыре полка.

— И два полка артиллерии под начальством Корфа.

— Ох, что-то много!

— И хоругвь Кмицица, отлично вооруженная, шесть сотен.

— А Кмициц на чьей стороне?

— Не знаю.

— Вы его не видали? Бросил он вчера булаву или нет?

— Не знаем.

— Кто же тогда против князя? Какие хоругви?

— Первое дело, венгры. Их две сотни. Затем порядочно наберется хорунжих у Мирского и Станкевича. Немного шляхты... И Кмициц, но он ненадежен.

— А чтоб его! Господи боже мой! Мало! Мало!

— Эти венгры двух полков стоят. Старые солдаты, испытанные. Погодите... У пушек зажигают фитили, похоже будет бой...

Скшетуские молчали, Заглоба метался, как сумасшедший.

— Бей изменников! Бей, собачьих детей! Эх, Кмициц! Кмициц! Все от него зависит. А он храбрый солдат?

— Суций дьявол, на все готов.

— На нашей он стороне, как пить дать, на нашей.

— Мятеж в войске! Вот до чего довел гетман! — вскричал Володыёвский.

— Кто здесь мятежник: войско или гетман, который поднял мятеж против своего владыки? — спросил Заглоба.

— Бог их рассудит. Погодите. Опять поднялось движение. Часть драгун Харлампа переходит к венграм. Самая лучшая шляхта служит в этом полку. Слышите, как кричат?

— Полковников! Полковников! — доносились со двора грозные голоса.

— Пан Михал, крикни ты им, ради бога, чтоб они послали за твоей хоругвью да за панцирными и гусарскими хорунжими.

— Тише!

Заглоба сам начал кричать:

— Да пошлите вы за остальными польскими хоругвями и — в прах изменников!

— Тише!

Внезапно не во дворе, а позади замка раздались короткие залпы мушкетов.

— Господи Иисусе! — крикнул Володыёвский.

— Что там, пан Михал?

— Это, наверно, расстреляли Стаховича и двоих офицеров, которые пошли к гетману, — лихорадочно говорил Володыёвский. — Ясное дело, их.

— Страсти господни! Тогда нечего надеяться на снисхождение.

Гром выстрелов заглушил дальнейший разговор. Пан Михал судорожно ухватился за решетку и прижался к ней лбом, но с минуту времени ничего не мог разглядеть, кроме ног шотландских пехотинцев, которые выстроились под самым окном. Залпы мушкетов стали все чаще, наконец заговорили и пушки. Сухой треск пуль об стену над подземельем слышался явственно, как стук градин. От залпов сотрясался весь замок.

— Михал, прыгай вниз, погибнешь там!

— Ни за что. Пули идут выше, а из пушек стреляют в противоположную сторону. Ни за что не спрыгну.

И Володыёвский, еще крепче ухватившись за решетку, взобрался на подоконник, так что теперь ему не нужно было опираться на плечи Скшетуского. В подземелье стало совсем темно, так как окошко было маленькое и даже щуплый пан Михал совсем заслонил свет, зато друзья его, оставшиеся внизу, каждую минуту получали свежие вести с поля боя.

— Теперь вижу! — крикнул пан Михал. — Венгры уперлись в стену, стреляют оттуда... Ну и боялся же я, как бы они не забились в угол, — их бы там пушки вмиг уничтожили. Клянусь богом, хороши солдаты! Без офицеров знают, что делать. Опять дым! Ничего не вижу...

Залпы начали стихать.

— Боже милостивый! Покарай же их поскорее! — кричал Заглоба.

— Ну, что там, Михал? — спрашивал Скшетуский.

— Шотландцы идут в атаку.

— Ах, черт бы их побрал, а нам приходится здесь сидеть! — крикнул Станислав.

— Вот они! Алебардники! Венгры взяли за сабли, рубят! Боже мой, какая жалость, что вы не можете видеть! Какие солдаты!

— И дерутся друг с другом, вместо того, чтобы идти на врага.

— Венгры берут верх! Шотландцы с левого фланга отступают. Боже, на сторону венгров переходят драгуны Мелешко! Шотландцы между двух огней. Корф не может стрелять из пушек, чтобы не ударить по шотландцам. Я вижу среди венгров и мундиры хоругви Ганхофа. Венгры пошли в атаку на ворота. Хотят вырваться из замка. Идут как буря! Все крушат!

— Постой, как же так? Лучше бы они замок захватили! — крикнул Заглоба.

— Пустое! Завтра они вернуться с хоругвями Мирского и Станкевича. О! Харламп погиб! Нет! Встает, ранен... Они уже у самых ворот... Но что это? Неужели и шотландская стража переходит на сторону венгров, она отворяет ворота... Пыль клубится по ту сторону ворот. Я вижу Кмицица! Кмициц! Кмициц с конницей валит через ворота!

— На чьей он стороне? На чьей стороне? — кричал Заглоба.

Одну минуту, одну короткую минуту пан Михал молчал; шум, лязг оружия и крики раздались в это время с удвоенной силой.

— С ними все кончено! — пронзительно крикнул пан Михал.

— С кем? с кем?

— С венграми! Конница разбила их, топчет, сечет! Знамя в руках Кмицица! Конец, конец!

С этими словами пан Михал соскользнул с подоконника и упал в объятия Яна Скшетуского.

— Бейте меня, бейте! — кричал он. — Это я мог зарубить этого человека и выпустил его живым из рук, я отвез ему грамоту на набор войска! По моей вине он собрал эту хоругвь, с которой теперь будет сражаться против отчизны. Он знал, кого собирает под свое знамя, — собачьих детей, висельников, разбойников, палачей, таких же, как он сам. Если бы мне еще раз встретить его с саблей в руках! Боже, продли мою жизнь, на погибель этому изменнику, клянусь тебе, что теперь он не уйдет живым из моих рук...

Крики, конский топот и залпы все еще звучали с прежнею силой; однако постепенно они начали замирать, и через час тишина воцарилась в кейданском замке, которую нарушали только мерные шаги шотландского патруля и отголоски команды.

— Пан Михал, посмотри еще разок, что там творится, — умолял Заглоба.

— К чему? — отвечал маленький рыцарь. — Человек военный и без того догадается, что там случилось. Да и видел я, как их разбила. Кмициц празднует тут победу!

— Чтоб его к конским хвостам привязали и размыкали по полю,

смутьяна этого, дьявола! Чтоб ему гарем сторожить у татар!

ГЛАВА XVI

Пан Михал был прав: Кмициц праздновал победу! Венгры и часть драгун Мелешко и Харлампа, которая присоединилась к ним, были разбиты, и трупами их был усеян весь кейданский двор. Лишь несколькими десяткам удалось ускользнуть; они рассеялись по окрестностям замка и города, где их преследовала конница. Многие были пойманы, другие бежали, верно, до тех пор, пока не достигли стана Павла Сапеги, витебского воеводы, которому первыми принесли весть об измене великого гетмана и его переходе на сторону шведов, об аресте полковников, сопротивлении, оказанном польскими хоругвями.

Тем временем Кмициц, весь в крови и пыли, явился с венгерским знаменем в руках к Радзивиллу, который принял его с распростертыми объятиями. Но пан Анджей не был упоен победой. Напротив, он был мрачен и зол, точно поступил против совести.

— Ясновельможный князь, — сказал он, — я не хочу слушать похвалы и тысячу раз предпочел бы сражаться с врагами родины, нежели с солдатами, которые могли бы ей послужить. Так, будто собственную кровь я пролил.

— А кто же во всем виновен, как не эти мятежники? — возразил князь. — И я бы предпочел повести их на Вильно, и хотел это сделать... Но они предпочли восстать против власти. Не того хотелось, да так случилось. А карать надо было и надо будет для примера.

— Ясновельможный князь, что ты думаешь делать с пленниками?

— Каждому десятому пуля в лоб. Остальных влить в другие полки. Ты сегодня поедешь к хоругвям Мирского и Станкевича, отвезешь им мой приказ быть готовыми к походу. Принимай начальство над этими двумя хоругвями и хоругвью Володыёвского. Офицеры будут у тебя в подчинении и должны исполнять твои приказы. Я в хоругвь Володыёвского хотел сперва послать Харлампа, да он никуда не годится. Раздумал я.

— А если люди станут противиться? Ведь у Володыёвского лауданцы, которые ненавидят меня лютой ненавистью.

— Ты объявишь им, что Мирский, Станкевич и Володыёвский будут тотчас расстреляны.

— Они могут тогда пойти с оружием на Кейданы, чтобы отбить своих полковников.

— Возьмешь с собой полк шотландской и полк немецкой пехоты.

Сперва окружишь хоругви, а потом объявишь приказ.

— Слушаюсь, ясновельможный князь!

Радзивилл оперся руками на колени и задумался.

— Я бы с радостью расстрелял Мирского и Станкевича, да они не только у себя в хоругвях и в войске, но и во всей стране пользуются почетом. Опасаюсь шума и открытого мятежа, пример чему перед нами. По счастью, мятежники, благодаря тебе, получили хороший урок, и впредь каждая хоругвь семь раз подумает, прежде чем отважится выступить против нас. Надо только действовать решительно, дабы упорствующие не перешли на сторону витебского воеводы.

— Ясновельможный князь, ты говорил только о Мирском и Станкевиче и забыл о Володыёвском и Оскерко.

— Оскерко мне тоже придется пощадить, он человек знатный и с большими родственными связями, ну а Володыёвский — тот родом с Руси, и родни у него здесь нет. Правда, он храбрый солдат! На него я тоже надеялся. Тем хуже для него, что я в нем обманулся. Нелегкая принесла сюда этих чужаков, его друзей, он бы, может, и не поступил так; но после всего, что случилось, ждет его пуля в лоб, так же как и обоих Скшетуских и этого третьего быка, который первым заревел: «Изменник! Изменник!»

Пан Анджей вскочил как ужаленный.

— Ясновельможный князь! Солдаты говорят, что Володыёвский под Цибиховом спас тебе жизнь.

— Он исполнил свой долг, и за это я хотел отдать ему в пожизненное владение Дыдкемы. Теперь он изменил мне, и за это я прикажу его расстрелять.

Глаза Кмицица сверкнули гневом, ноздри раздулись.

— Ясновельможный князь, этому не бывать!

— Как так не бывать! — нахмурился Радзивилл.

— Ясновельможный князь, — с жаром продолжал Кмициц, — молю тебя, пощади Володыёвского, волос не должен упасть с его головы. Прости меня, князь, но я молю тебя! Володыёвский мог не отдать мне грамоту на набор войска, ведь ты ему ее прислал, ему предоставил решить дело. А он отдал мне ее! Спас меня из пучины... Я потому и стал тебе подсуден. Он не задумался спасти меня, хотя тоже добивался руки панны Билевич! Я в долгу перед ним и дал себе клятву отблагодарить его! Ясновельможный князь, ты сделаешь это для меня. Ни его, ни его друзей не должна настичь кара. Волос не должен упасть у них с головы и, клянусь богом, не упадет, покуда я жив! Молю тебя, ясновельможный князь!

Пан Анджей просил и руки молитвенно складывал, но в голосе его

неволью звучали гнев, угроза и возмущение. Неукротимая натура брала верх. Он стоял над Радзивиллом, похожий на рассерженную хищную птицу, и сверкал взорами. Лицо гетмана тоже исказилось от гнева. До сих пор перед его железною волей и деспотизмом трепетало все в Литве и на Руси, никто никогда не смел ему противиться, никто не смел просить о милосердии для осужденных, а теперь Кмициц просил только для виду, а на деле требовал. И положение было такое, что немислимо было отказать ему.

Едва став на путь измены, деспот почувствовал, что ему не однажды придется подчиняться людям и обстоятельствам, что он будет зависеть от собственных клеветов, еще менее значительных, что Кмициц, которого он хотел обратить в верного пса, будет скорее ручным волком, который, если его раздражить, готов схватить зубами руку господина.

От всего этого вскипела гордая радзивилловская кровь. Он решил не поддаваться, ибо прирожденная мстительность тоже толкала его на сопротивление.

— Володыёвский и те трое будут казнены! — сказал он, возвысив голос.

Но этим он только подлил масла в огонь.

— Не разбей я венгров, не они были бы казнены! — крикнул Кмициц.

— Как? Ты уже попрекаешь меня своею службой? — грозно спросил Радзивилл.

— Ясновельможный князь! — порывисто сказал Кмициц. — Я не попрекаю... Я прошу тебя, молю!.. Немислимое это дело! Эти люди славны во всей Польше! Не бывать этому! Не бывать! Я для Володыёвского не буду иудой! Я на все для тебя готов, но не отказывай мне в этой милости.

— А если я откажу?

— Тогда вели расстрелять меня! Я не хочу жить! Пусть меня гром убьет! Пусть черти живьем в пекло унесут!

— Опомнись, несчастный, кому ты это говоришь?

— Ясновельможный князь, не доводи меня до крайности!

— Просьбам я мог бы внять, на угрозы я не посмотрю.

— Я прошу... молю!.. — Пан Анджей бросился на колени. — Ясновельможный князь, дозвошь служить тебе не по принуждению, а по зову сердца, не то я с ума сойду!

Радзивилл ничего не ответил. Кмициц стоял на коленях, он менялся в лице, то бледнел, то краснел. Видно было, что еще минута, и он совершит нечто страшное.

— Встань! — сказал Радзивилл.

Пан Анджей встал.

— Ты умеешь защищать друзей! — произнес князь. — Вот доказательство, что и меня ты сумеешь защитить и никогда мне не изменишь. Но не из плоти сотворил тебя господь, а из пороха, смотри же, как бы тебе не сгореть. Ни в чем не могу я тебе отказать. Слушай же: Станкевича, Мирского и Оскерко я хочу отослать в Биржи к шведам, пусть едут с ними и оба Скшетуские с Володыёвским. Голов им там не отрубят, а что во время войны они посидят смирно, так оно и лучше.

— Спасибо тебе, ясновельможный князь, отец мой! — воскликнул пан Анджей.

— погоди! — остановил его князь. — Уважил я клятву, которую ты себе дал, уважь же теперь и ты мою... Этого старого шляхтича... забыл, как звать его... этого дьявола рыкающего, который приехал со Скшетускими, я в душе обрек смерти. Он первый назвал меня изменником, он меня заподозрил в продажности, он наущал других, и, может, дело не дошло бы до мятежа, когда бы не его дерзость! — Князь ударил тут кулаком по столу. — Чтобы мне, Радзивиллу, крикнуть в глаза: «Изменник!» В глаза, при всем народе! Да я скорее смерти мог ждать, светопреставления! Нет такой смерти, нет таких мук, которых достоин был бы этот злодей. Не проси меня за него, все будет напрасно.

Но пана Анджея не легко было сломить, если уж он решил чего-нибудь добиться. Однако на этот раз он не сердился и не вспыхивал гневом. Напротив, он снова схватил руку гетмана и стал осыпать ее поцелуями и просить с таким умилением, на какое только был способен:

— Никакой цепью, никакой веревкой ты бы меня не привязал так к себе, как этою милостью. Но не делай дела наполовину, сделай для меня все. Ясновельможный князь, все вчера думали так, как говорил этот шляхтич. Я и сам так думал, пока ты не открыл мне глаза. Да сгори я в огне, коли так не думал. Человек неповинен в том, что он глуп. К тому же этот шляхтич был пьян, и что было у него на уме, об том он и кричал. Он думал, что выступает в защиту отчизны, а за любовь к отчизне негоже карать человека. Он знал, что ему грозит смерть, и все-таки кричал то, что было у него на уме. Мне до него дела нет, но пану Володыёвскому он все равно что брат или отец родной. Страх как горевал бы он об этом шляхтиче, а я этого не хочу. Такая уж у меня натура, что, коль желаю кому добра, душу бы за него отдал. Да если бы кто-нибудь меня пощадил, а друга моего убил, черт бы его побрал с такой милостью. Отец мой, благодетель, милостивец, сделай же все, о чем я молю тебя, отдай мне этого шляхтича, а я хоть завтра, — нет, сегодня, сейчас, — отдам за тебя всю

свою кровь!

Радзивилл закусил усы.

— Я вчера в душе обрек его смерти.

— Что решил гетман и воевода виленский, то великий князь литовский и в будущем, дай бог, король польский может как милостивый монарх отменить...

Пан Анджей говорил от души то, что чувствовал и думал, но если бы он не был самым лукавым царедворцем, то и тогда не нашел бы более сильного довода в защиту своих друзей. Надменное лицо магната прояснилось, он даже глаза прикрыл, словно упиваясь самими звуками титулов, которыми еще не обладал.

— Так ты упрашиваешь, — ответил он через минуту, — что ни в чем не могу я тебе отказать. Все поедут в Биржи. Пусть каются у шведов за свои провинности, а потом, коль станется то, о чем ты говорил, проси для них новой милости.

— Ей-ей, попрошу, и дай-то бог, чтобы поскорее! — ответил Кмициц.

— Ступай же теперь, принеси им добрую весть.

— Для меня, не для них она добрая, они за нее, наверно, спасибо не скажут, к тому же не знают они, что им грозило. Не пойду я к ним, а то они подумают, будто я похваляюсь тем, что за них заступился.

— Поступай как знаешь. Но коли так, не теряй тогда времени и отправляйся за хоругвями Мирского и Станкевича, ибо ждет тебя после этого новая поездка, от которой ты, наверно, не станешь отказываться.

— Какая, ясновельможный князь?

— Поедешь от меня к мечнику россиенскому Биллевичу и позовешь его вместе с родичкой ко мне в Кейданы пережить военное время. Понял?

Кмициц смешался.

— Не захочет он приехать. В сильном гневе покинул он Кейданы.

— Думаю, гнев его уже остыл; но коли не захотят они по доброй воле приехать, усадишь их в коляску, окружишь драгунами и привезешь. Шляхтич как воск был мягок, когда я беседовал с ним, краснел, как девица, и кланялся земно, однако ж и он испугался власти шведов, как черт кропила, и уехал. Мне он и самому здесь нужен, да и ради тебя. Я еще надеюсь вылепить из этого воска свечу, какую пожелаю, и зажечь ее, кому захочу. Хорошо, коль удастся. А нет, так будет у меня заложником. Сильны Биллевичи в Жмуди, в родстве чуть не со всей тамошней шляхтой. Коль один, к тому же самый старей, будет у меня в руках, прочие семь раз подумают, прежде чем пойти против меня. А ведь за ними и за твоей девушкой стоит весь лауданский муравейник, и явись они к витебскому

воеводе в стан, он их встретит с распростертыми объятиями. Очень это важное дело, такое важное, что я уж думаю, не с Билевичей ли начать.

— В хоругви Володыёвского одни лауданцы.

— Опекуны твоей девушки. Коли так, начни с того, что доставь ее сюда. Только слушай: мечника я берусь обратить в нашу веру, а уж девкой ты сам займись. Обращу мечника, он тебе с девкой поможет. Согласится она, мешкать со свадьбой не станем, тотчас сыграем. А не согласится — бери ее так. Окрутим, и дело с концом. С бабами это самое лучшее средство. Поплачет, поубивается, когда потащат к алтарю, на другой день подумает, что не так страшен черт, как его малюют, а на третий и вовсе будет рада. Как ты вчера с нею расстался?

— Так, будто оплеуху она мне дала!

— Что ж она сказала тебе?

— Изменником меня назвала. Чуть удар меня не хватил.

— Такая отчаянная? Станешь мужем — скажи, что не бабьего ума это дело, баба знай свое веретено. Да смотри, держи ее в узде.

— Ясновельможный князь, ты ее не знаешь, одна у нее мера: добро или зло, — по этой мере она и судит, а уму ее не один муж мог бы позавидовать. Оглянуться не успеешь, а она уже в самую точку попала.

— Ну а ты в ее сети попал. Постарайся же и ты ее поймать.

— Если б то бог дал, ясновельможный князь! Однажды я попробовал взять ее с оружием в руках, да закаялся, зарок дал себе больше этого не делать. И то, что ты говоришь мне, чтобы против воли к венцу ее вести, — нет, не по душе мне это, я ведь и себе и ей дал зарок силой больше не брать ее. Одна надежда: уверишь ты пана мечника, что мы не только не изменники, но хотим спасти отчизну. Когда он в этом убедится, то и ее убедит, а тогда она и на меня иначе посмотрит. Сейчас я поеду к Билевичам и привезу их сюда обоих, а то страшно мне, как бы она в монастырь не ушла. Но только скажу тебе, как на духу, большое счастье для меня видеть эту девушку, но легче было бы мне броситься на все шведские полчища, нежели явиться сейчас перед ней, — ведь не знает она добрых моих намерений и почитает меня за изменника.

— Коли хочешь, я могу за ними кого-нибудь другого послать, Харлампа или Мелешко.

— Нет! Лучше уж я сам поеду... Да и Харламп ранен.

— Вот и отлично, Харлампа я хотел послать вчера за хоругвью Володыёвского, чтобы он принял над нею начальство, а в случае нужды и к повиновению принудил, да неумелый он человек, даже собственных людей не мог удержать. Ни к чему мне такие. Так поезжай сперва за мечником и

девушкой, а потом уж к хоругвям. В крайности крови не жалею, ибо нам надо показать шведам, что у нас сила и мы не испугаемся мятежа. Полковников я сейчас же отправлю под стражей; надеюсь, Понтус де ла Гарди почтет это за доказательство моей искренности. Мелешко их проводит. Тяжело все идет на первых порах! Тяжело! Я уж вижу, что половина Литвы встанет против меня.

— Все это пустое, ясновельможный князь! У кого совесть чиста, тот никого не испугается.

— Я надеялся, что хоть Радзивиллы все примут мою сторону, а ты вот погляди, что пишет мне князь кравчий из Несвижа.

Гетман протянул Кмицицу письмо от Казимежа Михала.

Кмициц пробежал письмо глазами.

— Кабы не знал я твоих намерений, подумал бы, что это честнейший человек на свете. Дай бог ему добра! Я говорю то, что думаю.

— Поезжай уж! — с легким нетерпением сказал князь.

ГЛАВА XVII

Однако Кмициц не уехал ни в тот день, ни на следующий, так как в Кейданы стали отовсюду приходиться грозные вести. Под вечер прискакал гонец с донесением, что хоругви Мирского и Станкевича сами направляются к гетманской резиденции, готовые с оружием в руках вступить за своих полковников, что возмущение в их рядах страшное и что хорунжие послали депутации ко всем другим хоругвям, стоящим неподалеку от Кейдан и даже на Подляшье, в Заблудове, с сообщением об измене гетмана и призывом объединиться для защиты отчизны. Легко было предугадать, что к мятежным хоругвям слетится множество шляхты и они создадут большую силу, против которой трудно будет обороняться в неукрепленных Кейданах, тем более что не на все полки, находившиеся в распоряжении князя Радзивилла, можно было положиться.

Это опрокинуло все расчеты и все замыслы гетмана, но вместо того, чтобы ослабить его дух, казалось, еще больше его воодушевило. Он принял решение лично встать во главе верных шотландских полков, конницы и артиллерии, двинуться навстречу мятежникам и погасить пламя в зародыше. Он знал, что хоругви без полковников — это просто нестройные толпы, которые рассеются перед одним грозным именем гетмана.

Князь принял также решение крови не жалеть и устрашить примером не только все войско и всю шляхту, но и всю Литву, чтобы дрогнуть она не смела под железной его пятою. Надо было выполнить все, что замыслил он, и выполнить своими собственными силами.

В тот же день несколько иноземных офицеров выехали в Пруссию для набора новых войск, а Кейданы закипели толпами вооруженных людей. Шотландские полки, иноземные рейтары, драгуны Мелешко и Харлампа и пушкари Корфа готовились к походу. Княжеские гайдуки, челядь, мещане из Кейдан должны были укрепить силы князя, и, наконец, было принято решение ускорить отправку арестованных полковников в Биржи, где держать их было безопасней, нежели в неукрепленных Кейданах. Князь справедливо полагал, что отправка в эту удаленную крепость, где по договору должен был уже стоять шведский гарнизон, разрушит надежды мятежных солдат на освобождение полковников и лишит мятеж всякого смысла.

Заглоба, Скшетуские и Володыёвский должны были разделить участь остальных полковников.

Уже спустился вечер, когда в подземелье, в котором они сидели, вошел офицер с фонарем в руке и сказал:

— Прошу собираться и следовать за мной.

— Куда? — с тревогой в голосе спросил Заглоба.

— Там видно будет. Скорей! Скорей!

— Идем, идем.

Рыцари вышли. В коридоре их окружили шотландские солдаты, вооруженные мушкетрами. Заглоба совсем растревожился.

— Ведь не повели бы они нас на смерть без ксендза, без исповеди? — шепнул он на ухо Володыёвскому.

Затем старик обратился к офицеру:

— Как звать тебя, пан?

— А тебе, пан, зачем мое имя?

— У меня много родных в Литве, да и приятно было бы знать, с кем имеешь дело.

— Не время представляться, глуп однако же тот, кто стыдится своей фамилии. Рох Ковальский, коли хочешь знать.

— Дстойное семейство! Мужи — добрые солдаты, женщины — добродетельны. Моя бабушка была Ковальская, но оставила меня сиротою, когда я еще на свет не появился. А ты, пан, из Верушей или из Кораблей Ковальских?

— Что это ты, пан, среди ночи мне допрос учиняешь?

— А потому, что мы с тобою, наверно, сродни, ведь вот и вся статья у тебя моя. В костях широк, да и плечи точь-точь мои, а я в бабушку уродился.

— Ладно, в дороге поговорим. Времени будет достаточно!

— В дороге? — спросил Заглоба.

Тяжелое бремя свалилось у него с плеч. Отдуваясь, как мех, он тотчас расхрабрился.

— Пан Михал, — шепнул он Володыёвскому, — ну не говорил ли я тебе, что нас не казнят?

Тем временем они вышли на замковый двор. Ночь уже спустилась на землю. Лишь кое-где пылали красные факелы или мерцали фонари, отбрасывая неверные отблески на конных и пеших солдат разного рода оружия. Весь двор был забит войсками. Видно, шли приготовления к походу, так как всюду царила суматоха. Тут и там в темноте маячили копья и дула мушкетров, конские копыта цокали по мостовой; отдельные всадники проезжали между хоругвями; это офицеры, очевидно, развозили приказы.

Ковальский остановил конвой и узников у огромной хлебной телеги,

запряженной четверкой лошадей.

— Прошу садиться! — сказал он.

— Тут уже кто-то сидит, — взбираясь на телегу, сказал Заглоба. — А наши короба?

— Короба под соломой, — ответил Ковальский. — Поскорее! Поскорей!

— Кто же это тут сидит? — спрашивал Заглоба, всматриваясь в темные фигуры, вытянувшиеся на соломе.

— Мирский, Станкевич, Оскерко! — последовал ответ.

— Володыёвский, Ян Скшетуский, Станислав Скшетуский, Заглоба! — ответили наши рыцари.

— Здорово! Здорово!

— Здорово! В хорошей компании поедем. А куда нас везут, не знаете?

— В Биржи! — ответил Ковальский.

С этими словами он дал команду трогать. Полсотни драгун окружили телегу и двинулись в путь.

Узники стали вполголоса разговаривать.

— Шведам нас выдадут! — сказал Мирский. — Я так и думал...

— По мне, уж лучше у врагов сидеть, нежели у изменников! — заметил Станкевич.

— А по мне, — воскликнул Володыёвский, — лучше пуля в лоб, нежели сидеть сложа руки во время такой жестокой войны.

— Не суесловь, пан Михал! — остановил его Заглоба. — Ведь с телеги можно удрать, из Бирж тоже, а вот с пулей во лбу удирать трудновато. Но я знал, что этот изменник не отважится на такое.

— Это чтоб Радзивилл да не отважился! — сказал Мирский. — Видно, ты, пан, издалика приехал и не знаешь его. Уж коли он поклялся кому отомстить, так тот может почитать себя мертвым; я не помню такого случая, чтобы он кому-нибудь простил самую маленькую обиду.

— А вот не отважился же поднять на меня руку! — настаивал Заглоба. — Как знать, не мне ли и вы обязаны жизнью.

— Это как же так?

— А меня крымский хан очень любит за то, что я открыл заговор на его жизнь, когда сидел у него в неволе в Крыму. Да и наш милостивый король Joannes Casimirus тоже меня любит. Не захотел, собачий сын, Радзивилл, с двумя владыками задираться, они ведь и в Литве могли бы его достать.

— Ну, что это ты, пан, говоришь! Он короля, как черт кропило, ненавидит, так еще больше взъелся бы на тебя, кабы знал, что ты наперсник

нашего повелителя, — возразил Станкевич.

— А я думаю, — сказал Оскерко, — что не захотел гетман руки марать в нашей крови, дабы odium^[104] на себя не навлечь, и готов поклясться, что этот офицер везет приказ шведам в Биржах тотчас нас расстрелять.

— Ох! — воскликнул Заглоба.

Все на минуту примолкли, а телега между тем уже въехала на кейданскую площадь. Город спал, в окнах не было света, только собаки у ворот яростно лаяли на всадников.

— Все равно, — сказал Заглоба, — мы, что ни говори, выиграли время, а может, и счастливый случай подвернется, а нет, так штуку какую-нибудь придумаем. — Он обратился к старым полковникам: — Вы меня мало знаете, но вы у моих друзей спросите, в каких мне случалось бывать переделках, и все-таки я всегда выходил из них цел и невредим. Скажите мне, что за офицер командует конвоем? Нельзя ли уговорить его отступить от изменника, стать на сторону отчизны и соединиться с нами?

— Это Рох Ковальский из Кораблей Ковальских, — ответил Оскерко. — Я его знаю. С одинаковым успехом ты бы, пан, мог уговорить его лошадь, — право, не знаю, кто из них глупее.

— А за что же его произвели в офицеры?

— Он у Мелешко в драгунской хоругви знаменосец, а для этого большого ума не надо. А в офицеры его потому произвели, что князю кулаки его понравились: он подковы гнет и схватывается с ручными медведями, и не было еще такого, которого бы он не поборол.

— Такой силач?

— Силач над силачами, а уж если начальник скажет ему: разбей лбом стенку — так он, не раздумывая ни минуты, начнет стучать об нее лбом. Приказано ему отвезти нас в Биржи, так отвезет, хоть тут земля расступись.

— Скажите! — воскликнул Заглоба, который с большим вниманием слушал эти речи. — Решительный, однако, парень!

— А все потому, что он столько же решителен, сколько и глуп. На досуге он, коли не ест, так спит. Удивительное дело, право же, вы мне не поверите: однажды он проспал в арсенале сорок восемь часов кряду, да еще зевал, когда его стащили с постели.

— Нравится мне этот офицер, ну просто страх как! — сказал Заглоба. — Я всегда люблю знать, с кем имею дело.

С этими словами он повернулся к Ковальскому.

— Подъезжай-ка поближе ко мне! — крикнул он покровительственно.

— Чего? — спросил Ковальский, поворачивая коня.

— Нет ли у тебя горелки?

— Есть.

— Давай!

— Как так: давай?

— Видишь ли, пан Ковальский, кабы это было запрещено, у тебя приказ был бы не давать, а коль нет приказа, так давай.

— Эге! — удивился пан Рох. — Черт возьми! Это что же — заставить хочешь?

— Заставить не заставить, но ведь можно тебе поддержать родича, да еще старого, — стало быть, и следует это сделать, ведь, женись я на твоей матери, за милую душу мог бы стать твоим отцом.

— Какой ты мне, пан, родич!

— Да ведь есть два колена Ковальских. Один по прозванию Веруши, на их гербе изображен козел на щите с поднятой задней ногой, а у других Ковальских на гербе тот самый корабль, на котором их предок Ковальский приплыл морем из Англии в Польшу, вот они-то, по бабушке, мои родичи, и потому у меня на гербе тоже корабль.

— Господи! Да неужто ты и впрямь мой родич?

— Разве ты из Кораблей?

— Из Кораблей.

— Ей-же-ей, моя кровь! — воскликнул Заглоба. — Как хорошо, что мы встретились, я ведь сюда, в Литву, к Ковальским приехал, и хоть я в неволе, а ты и на воле и на коне, я охотно заключил бы тебя в объятия: что ни говори, родичи — это родичи.

— Чем же я, пан, могу помочь тебе? Приказали отвезти тебя в Биржи, я и отвезу. Дружба дружбой, а служба службой.

— Зови меня дядей! — велел Заглоба.

— Возьми, дядя, горелки! — сказал Рох. — Это можно.

Заглоба с удовольствием взял у него баклажку и напился вволю. Через минуту приятное тепло разлилось у него по жилам, в голове прояснилось, и ум прояснился.

— Слезай-ка с коня, — сказал он Роху, — да присядь на телегу, побеседуем, — хочется мне, чтобы ты рассказал мне про родню. Я службу уважаю, но ведь это можно.

Ковальский минуту не отвечал.

— Вроде бы не заказывали, — сказал он наконец.

Вскоре он сидел уже на телеге рядом с Заглобой, вернее, лежал на соломе, которая была постелена на телеге.

Заглоба сердечно его обнял.

— Ну, так как же поживает твой старик? Как, бишь, его зовут?

Забыл...

— Тоже Рох.

— Верно, верно, Рох породил Роха. Это по Писанию. Должен он был своего сына тоже назвать Рохом, чтобы всяк молодец был на свой образец. А ты женат?

— Как не женат, женат! Я Ковальский, а вот моя пани Ковальская, другой я не желаю. — С этими словами молодой офицер поднес к глазам Заглобы рукоять тяжелой драгунской сабли и повторил: — Другой я не желаю!

— Правильно! — сказал Заглоба. — Ну просто страх как ты мне по нраву пришелся, Рох, сын Роха. Самое это подходящее дело, когда у солдата нет иной жены, кроме этой; я еще тебе и то скажу, что раньше она вдовой по тебе останется, чем ты вдовцом по ней. Одно только жаль, что молодых Рохов у тебя от нее не будет, потому ты, как я вижу, кавалер бойкий, и жалко будет, коль такой род да погибнет.

— Эва! — сказал Ковальский. — Да нас шестеро братьев!

— И все Рохи?

— Поверишь ли, дядя, у каждого коль не первое имя Рох, так второе; святой Рох наш особый покровитель.

— Давай-ка еще выпьем!

— Давай.

Заглоба опять опрокинул баклажку, однако всю не выпил, отдал офицеру и сказал:

— До дна! До дна! Жаль, что я тебя не вижу! — продолжал он. — Темно, хоть глаз выколи. Собственных пальцев не разглядишь. Послушай, пан Рох, а куда собиралось уходить войско из Кейдан, когда мы уезжали?

— Да против мятежников.

— Один бог знает, кто тут мятежник: ты или они?

— Я мятежник? Это как же так? Что мне гетман велит, то я и делаю.

— Так-то оно так, да гетман не делает того, что ему наш милостивый король велит: вряд ли он велел ему соединиться со шведами. А не лучше ли тебе шведов бить, чем меня, своего родича, отдавать им в руки?

— Может, и лучше, да ведь приказывают, ты и исполняй!

— Пани Ковальская тоже думает, что лучше. Я ее знаю. Между нами говоря, гетман взбунтовался против короля и отчизны. Ты об этом никому не рассказывай, но так оно на самом деле и есть. И раз вы ему служите, стало быть, тоже бунтуете.

— Не пристало мне слушать такие речи. У гетмана свое начальство, у меня свое, гетман надо мной начальник, и бог бы меня покарал, если б я

ему воспротивился. Неслыханное это дело!

— Справедливые речи... Но ты, Рох, вот об чем подумай: попадись ты в руки этих мятежников, и я был бы на воле, и вины бы твоей в том не было, ибо *pec Hercules contra plures*^[105]. Не знаю я, где эти хоругви, но ты-то должен знать... ну что тебе стоит своротить немножко в ту сторону.

— Как так?

— Ну вот так нарочно взять да вбок и своротить? И вины бы твоей не было, если бы нас отбили. И я не лежал бы у тебя на совести, а поверь мне, страшное это бремя иметь на совести родича.

— Э! Что это ты, дядя, толкуешь! Право слово, слезу с телеги и на коня сяду. Не у меня ты будешь на совести, а у пана гетмана. Покуда я жив, не бывать этому!

— На нет и суда нет! — ответил Заглоба. — Это лучше, что ты все начисто говоришь, но я-то раньше стал твоим дядей, чем Радзивилл твоим гетманом. А знаешь ли ты, Рох, что такое дядя?

— Дядя — это дядя.

— Это ты умно рассудил, но ведь если нет отца, так по Писанию дядю надо слушать. Это вроде бы та же родительская власть, против которой, Рох, грешно восставать. Ты и то еще заметь, что ежели кто женился, так отцом легко может стать, а вот в жилах дяди по матери течет та же кровь, что и у нее. Я, правда, не брат твоей матери, но моя бабка была теткой твоей бабки, так что знай, в моей крови все добродетели нескольких поколений; все мы, ясное дело, в этом мире смертны, вот власть и переходит от одних к другим, и ни гетман, ни король не могут ею пренебречь или потребовать, чтобы кто-то противился ей. Истинная правда! Да разве имеет право великий гетман или, скажем, польный гетман приказать не то что шляхтичу и хорунжему, но даже какому-нибудь ледащему обознику, чтобы он посягнул на отца с матерью, на деда или на старую слепую бабку? Отвечай мне, Рох! Разве имеют они право?

— А? — сонным голосом спросил Рох.

— На старую слепую бабку! — повторил Заглоба. — Кому бы захотелось тогда жениться да детей родить или внуков дожидаться? Отвечай мне, Рох!

— Я Ковальский, а вот пани Ковальская! — совсем уже сонным голосом отвечал офицер.

— Ну коли ты так хочешь, быть по-твоему! — ответил Заглоба. — Оно и лучше, что у тебя не будет детей, меньше дураков будет на свете. Верно ведь, Рох? — Заглоба напряг слух, ответа не было. — Рох! Рох! — тихонько позвал он.

Рох спал как убитый.

— Спишь?.. — проворчал Заглоба. — Погоди-ка, дай я сниму у тебя с головы этот железный горшок, а то тебе в нем неудобно. Епанча тебе шею давит, еще кровь бросится в голову. Какой же из меня был бы родич, когда бы я тебя не спасал.

Тут Заглоба стал тихонько ощупывать голову и шею Ковальского. На телеге все спали мертвым сном; солдаты тоже покачивали головами в седлах; ехавшие впереди тихонько напевали, пристально всматриваясь в темноту; дождя не было, тьма, однако, царила кромешная.

Через некоторое время солдат, ведший за телегой на поводу коня, увидел в темноте епанчу и блестящий шлем своего офицера. Не останавливая телеги, Ковальский соскочил с нее и махнул рукой, чтобы ему подали скакуна.

Через минуту он уже сидел верхом на коне.

— Пан начальник, где мы остановимся коней попасти? — спросил вахмистр, подъехав к нему.

Не ответив ни слова, пан Рох двинулся вперед; миновав медленно ехавших впереди драгун, он исчез в темноте.

До слуха драгун долетел внезапно цокот копыт мчавшегося во весь опор коня.

— Вскачь несется начальник! — говорили они между собою. — Верно, хочет поглядеть, нет ли поблизости какой корчмы. Пора коней пасти, пора!

Но прошло полчаса, час, два, а Ковальский все, видно, ехал вперед, потому что его не было видно. Лошади очень устали, особенно упряжные, и еле тащились. На небе закатывались звезды.

— Скажите кто-нибудь за начальником, — приказал вахмистр, — надо сказать, что лошади нога за ногу плетутся, а упряжные и вовсе стали.

Один из солдат поскакал вперед, однако через час вернулся один.

— Начальника и след простыл, — сказал он. — Наверно, уж на целую милю умчался вперед.

Солдаты стали роптать.

— Ему хорошо, он себе днем отоспался, да и на телеге дрыхнул, — а ты, несчастный, трясись в потемках из последних сил.

— Тут корчма в полуверсте, — сказал солдат, который ездил догонять Роха, — я думал, там его найду, какое там! Послушал, не долетит ли топот... Ничего не слышать. Черт его знает, куда он ускакал.

— Остановимся в корчме и без него, — сказал вахмистр. — Надо коням передохнуть.

Перед корчмой они остановили телегу. Солдаты соскочили с лошадей, одни пошли стучаться в дверь, другие стали отвязывать притороченные к седлам вязки сена, чтобы хоть с рук покормить лошадей.

Когда телега остановилась, узники проснулись.

— Где это мы едем? — спросил старик Станкевич.

— Темно, не разгляжу, — ответил Володыёвский, — но только едем мы не на Упиту.

— А в Биржи из Кейдан надо ехать на Упиту? — спросил Ян Скшетуский.

— Да. Но в Упите стоит моя хоругвь, а князь, видно, опасался, как бы она не восстала, и приказал поэтому везти нас другим путем. Сразу за Кейданами мы свернули на Дальнов и Кроков, а оттуда поедem, наверно, на Бейсаголу и Шавли. Небольшой крюк, зато Упита и Поневеж останутся правее. По дороге нет никаких хоругвей, князь все стянул к Кейданам, чтобы иметь под рукой.

— Собирался пан Заглоба какую-нибудь штуку придумать, а сам спит сладким сном, похрапывает, — сказал Станислав Скшетуский.

— Пускай себе спит. Устал он, видно, пока разговоры разговаривал с этим дураком начальником, к которому навязался в родичи. Видно хотел переманить его на свою сторону, только пустое это занятие. Кто не отступился от Радзивилла ради отчизны, тот ради какого-то дальнего родича наверняка от него не отступится.

— А они и впрямь родичи? — спросил Оскерко.

— Они? Такие же, как мы, пан, с тобою, — ответил Володыёвский. — Даже то, что пан Заглоба толковал ему про одинаковый герб, и то неправда, я знаю, что прозвание Заглобы Вчеле.

— А где же пан Ковальский?

— С людьми, наверно, или в корчме.

— Я хочу попросить у него позволения сесть на лошадь одного из солдат, — сказал Мирский. — Все члены у меня занемели.

— Ну на это он вряд ли согласится, — заметил Станкевич. — Ночь темная, дай только шпоры коню — и поминай как звали. Разве догонишь!

— Я ему дам слово кавалера, что не сбегу, да, наверно, и светать уже скоро начнет.

— Эй, солдат, а где же ваш начальник? — спросил Володыёвский у ближнего драгуна.

— А кто его знает?

— Как так: кто его знает? Коли я велю кликнуть его, так изволь кликнуть.

— Да мы и сами не знаем, пан полковник, где он, — ответил драгун. — Как слез с телеги и поехал вперед, так по сию пору не воротился.

— Ну когда воротится, скажи ему, что мы хотим поговорить с ним.

— Слушаюсь, пан полковник! — ответил солдат.

Узники умолкли.

Только громкие зевки слышались время от времени на телеге, да рядом лошади хрустели сеном. Солдаты около телеги дремали, опершись на седла. Иные разговаривали вполголоса друг с дружкой или подкреплялись чем придется; выяснилось, что корчма заброшенная и никто в ней не живет.

Уж и ночная тьма стала редеть. Чуть-чуть посерело на востоке темное небо, медленно гасли звезды, светясь неверным мерцающим блеском. Но вот посветлела и кровля корчмы, засеребрились деревья, росшие подле нее. Лошади и люди словно выплывали из ночной тени. Через минуту уже можно было различить лица и желтые епанчи. Шлемы отразили утренний блеск.

Володыёвский расправил руки и потянулся, отчаянно при этом зевая, затем, глянул на спящего Заглобу и, внезапно отшатнувшись, крикнул:

— А чтоб его! Господи боже мой! Нет, вы только поглядите!

— Что случилось? — спрашивали полковники, открывая глаза.

— Гляньте! Гляньте! — кричал Володыёвский, показывая пальцем на спящего.

Узники посмотрели, и изумление изобразилось на всех лицах: под буркой Заглобы и в его шапке спал сном праведника Рох Ковальский. Заглобы на телеге не было.

— Бежал, клянусь богом, бежал! — воскликнул изумленный Мирский и огляделся по сторонам, точно все еще не веря своим глазам.

— Ну и хитрюга же, черт его дери! — крикнул Станкевич.

— Снял с этого дурака шлем и желтую епанчу и бежал на его же собственной лошади!

— Как в воду канул!

— Он и посулился, что найдет уловку и убежит.

— Только его и видели!

— О, вы еще не знаете этого человека! — с восторгом говорил Володыёвский. — А я сегодня могу поклясться вам, что он и нас освободит. Не знаю как, когда и каким способом, но, клянусь вам, освободит!

— Право, не верю своим глазам! — говорил Станислав Скшетуский.

Но тут солдаты заметили, что случилось. Поднялся шум. Драгуны бросились к телеге и вытаращили глаза на своего одетого в бурку и рысий

колпак начальника, спавшего мертвым сном.

Вахмистр стал без церемонии трясти его.

— Пан начальник! Пан начальник!

— Я Ковальский, а вот... пани Ковальская, — бормотал Рох.

— Пан начальник, арестованный бежал!

Ковальский сел на телеге и раскрыл глаза.

— Что?

— Арестованный бежал, тот толстый шляхтич, который с тобой разговаривал!

Офицер протрезвел.

— Не может быть! — крикнул он неистовым голосом. — Как так? Что случилось? Как мог он бежать?

— В твоём шлеме, пан начальник, и в твоей епанче. Солдаты его не признали, ночь была темная.

— Где моя лошадь? — крикнул Ковальский.

— Нет лошади. Шляхтич на ней бежал.

— На моей лошади? — Ковальский схватился за голову: — Иисусе Назарейский, царь иудейский! — Через минуту он крикнул: — Подать сюда этого собачьего сына, этого мерзавца, который подал ему лошадь!

— Пан начальник, солдат ни в чем не виноват! Ночь была темная, зги не видать, а шляхтич снял с тебя шлем и епанчу. Он мимо меня проехал, и я его не признал. Кабы ты не садился на телегу, он не смог бы выкинуть такую штуку.

— Бейте меня! Бейте меня! — кричал несчастный офицер.

— Что делать, пан начальник?

— Бей его! Лови!

— Ни к чему это! Он на твоей лошади, пан начальник, а она у нас самая лучшая. Наши очень притомились, а он бежал с первыми петухами. Не догоним!

— Ищи ветра в поле! — воскликнул Станкевич.

Ковальский в ярости повернулся к узникам:

— Вы помогли ему бежать! Я вот вас!

Он сжал огромные кулаки и стал надвигаться на них.

Но тут Мирский грозно сказал:

— Не кричи, не видишь, что ли, что со старшими разговариваешь!

Пан Рох вздрогнул и невольно вытянулся в струнку: в самом деле по сравнению с Мирским он был совершенное ничтожество, да и все эти узники были на голову выше его по званию и по чину.

— Куда велели тебе везти нас, туда и вези, — прибавил Станкевич, —

но голоса не смей повышать, потому завтра можешь попасть под начал к любому из нас.

Пан Рох таращил глаза и молчал.

— Что говорить, пан Рох, сваял ты дурака! — обратился к нему Оскерко. — А что ты толкуешь, будто мы ему помогли, так это глупости: первое — мы спали так же, как и ты, второе — чем другому помогать, каждый бы сам бежал. Ну и сваял же ты дурака! Никто тут не виноват, один ты! Да я бы первый приказал тебя расстрелять! Где это видано, чтобы офицер спал, как сурок, а узник сбежал в его шлеме и епанче, мало того — на его же лошади! Неслыханное дело! От сотворения мира такого еще не бывало!

— Старый лис молодого обошел! — сказал Мирский.

— Господи Иисусе! Да у меня и сабли нет! — крикнул Ковальский.

— А разве сабля ему не пригодится? — улыбнулся Станкевич. — Правильно говорит пан Оскерко: сваял ты дурака, кавалер! Пистолеты у тебя тоже, наверно, были в кобуре?

— Были! — в беспамятстве сказал Ковальский. И вдруг схватился руками за голову. — И письмо князя биржанскому коменданту! Что я, несчастный, буду теперь делать? Пропал я навеки! Пулю мне в лоб!

— Этого тебе не миновать! — строго сказал Мирский. — Как же ты теперь повезешь нас в Биржи? Что будет, ежели ты скажешь, что привез нас как узников, а мы, старшие по чину, скажем, что это тебя надо бросить в подземелье? Как тебе сдается, кому они поверят? Неужто ты думаешь, что шведский комендант задержит нас только на том основании, что пан Ковальский попросит его об этом? Скорее он нам поверит и запрет тебя в подземелье!

— Пропал я! Пропал! — стонал Ковальский.

— Глупости! — сказал Володыёвский.

— Что делать, пан начальник? — спросил вахмистр.

— Пошел ко всем чертям! — рявкнул Ковальский. — Откуда я знаю, что делать? Куда ехать?.. Чтоб тебя громом убило!

— Поезжай, поезжай в Биржи, там увидишь! — сказал Мирский.

— Поворачивай на Кейданы! — заорал Ковальский.

— Чтоб мне свиной щетиной пораста, коли не приставят там тебя к стенке и не расстреляют! — сказал Оскерко. — Как же ты предстанешь перед гетманом? Тьфу! Позор тебя ждет, пуля в лоб и больше ничего!

— А я больше и не стою! — воскликнул несчастный парень.

— Глупости, пан Рох! Мы одни можем тебя спасти! — продолжал Оскерко. — Ты ведь знаешь, что мы готовы были идти за гетманом хоть на

край света и погибнуть. Больше было у нас заслуг, чем у тебя, да и чины побольше. Не однажды проливали мы кровь за отчизну и всегда прольем ее с радостью, но гетман изменил отчизне, отдал Литву в руки врага, заключил с ним союз против всемилостивейшего нашего короля, которому мы присягу принесли на верность. Уж не думаешь ли ты, что нам, солдатам, легко было выйти из повиновения, нарушить дисциплину, встать против собственного гетмана? Но кто сегодня с гетманом, тот против отчизны! Кто сегодня с гетманом, тот против его величества короля! Кто сегодня с гетманом, тот изменил королю и Речи Посполитой! Потому-то мы и бросили булавы под ноги гетману, — так велели нам совесть и долг, вера и честь. Кто это сделал? Разве я один? Нет, и пан Мирский, и пан Станкевич, лучшие солдаты, честнейшие люди! Кто остался с гетманом? Смутьяны! Почему же ты не следуешь примеру тех, кто лучше тебя, и умнее, и старше? Хочешь позор навлечь на свое имя? Хочешь, чтобы тебя назвали изменником? Загляни себе в душу, спроси свою совесть, как надлежит тебе поступить: стать ли изменником при изменнике Радзивилле или пойти с нами и драться за отчизну до последнего вздоха, до последней капли крови? Пусть земля расступится и поглотит нас за то, что мы отказались повиноваться князю! Но лучше нашим душам век в преисподней гореть, нежели нам ради корысти Радзивилла изменить королю и отчизне!

Речь эта, казалось, произвела на Роха сильное впечатление. Он вытаращил глаза и разинул рот.

— Чего вы от меня хотите? — спросил он через минуту.

— Чтобы ты пошел с нами к витебскому воеводе, который будет защищать отчизну.

— Ишь ты! А у меня приказ везти вас в Биржи.

— Поди поговори с ним! — сказал Мирский.

— Так вот мы и хотим, чтобы ты не выполнил приказа! Чтобы оставил гетмана и с нами пошел, пойми же ты! — воскликнул, потеряв терпение, Оскерко.

— Вы себе что хотите говорите, а только ничего из этого не выйдет. Я солдат! Чего бы я стоил, если б оставил гетмана. Не моего ума все это дело, не моя воля, его. Согрешит он, так будет в ответе и за себя и за меня, а мое собачье дело ему повиноваться! Человек я простой, чего рукой не сделаю, так где уж головой... Одно только я знаю, должен я повиноваться — и баста!

— Ну и делай, что хочешь! — крикнул Мирский.

— Мой это грех, — продолжал Рох, — что велел я повернуть на

Кейданы, потому мне в Биржи ехать велено. Вовсе я с ума свихнулся с этим шляхтичем, который хоть и родич мне, а такое со мною сделал, что и чужой бы не сделал! Добро бы не родич, а то ведь родич! Бога он не боится, что и коня у меня забрал, и лишил меня княжеской милости, и кару навлек на меня. Хорош родич! Ну а вы поедете в Биржи, а там будь что будет!

— Нечего время попусту тратить, пан Оскерко, — сказал Володыёвский.

— А ну поворачивай на Биржи, собаки! — крикнул драгунам Ковальский.

И они снова повернули на Биржи. Одному из драгун пан Рох приказал сесть на телегу, сам вскочил на его лошадь и ехал подле узников, все еще повторяя:

— Родич, да чтоб такое сделать!

Хотя узники не знали, что ждет их впереди, и были очень удручены, однако, услышав эти слова, не могли удержаться от смеха.

— Утешься, пан Ковальский, — сказал наконец Володыёвский. — Не такие, как ты, попадались на удочку этому рыцарю. В хитрости он самого Хмельницкого превзошел, а уж что до уловок, так тут с ним никто не может сравниться.

Ковальский ничего не ответил, только от телеги немного отъехал, боясь насмешек. Стыдно было ему и узников, и собственных солдат, и так он был растерян, что жалко было на него смотреть.

А полковники в это время вели разговор о Заглобе и его удивительном бегстве.

— Удивительное дело! — говорил Володыёвский. — В какую бы переделку ни попал этот человек, всякий раз выйдет цел и невредим. Где не помогут отвага и сила, там он уловку найдет. Другие теряют мужество, когда смерть им заглянет в глаза, или предают себя богу и ждут, что будет, а он тотчас умом пораскинет и что-нибудь да придумает. Храбр он, когда надо, как Ахиллес, но предпочитает идти по стопам Улисса.

— Не хотел бы я его стеречь, хоть бы в цепи его заковали, — сказал Станкевич. — Это ничего, что сбежит, да ведь на смех же еще тебя поднимет, издеваться будет.

— То-то и оно! — сказал пан Михал. — Теперь он до конца жизни будет потешаться над Ковальским, а не приведи бог на зубок ему попасть, язык у него — острее во всей Речи Посполитой не сыщешь. А как начнет еще, по своему обычаю, расписывать, так животики со смеху надорвешь.

— А понадобится, так он, говоришь, и рубиться горазд? — спросил Станкевич.

— Еще как горазд! Ведь это он на глазах у всего войска зарубил под Збаражем Бурлая.

— Нет, клянусь богом, такого человека я еще не встречал! — воскликнул Станкевич.

— Большую услугу оказал он нам своим бегством, — заметил Оскерко, — потому что забрал с собой письма гетмана. Кто его знает, что писал гетман про нас в этих письмах. Не думаю я, чтобы шведский комендант в Биржах поверил не Ковальскому, а нам. Не может этого быть. Мы ведь приедем как узники, а он как начальник конвоя. Но что там не будут знать, что с нами делать, — это как пить дать. На плаху, во всяком случае, не поведут, а это самое главное.

— Да я это так только говорил, — ответил Мирский, — чтобы Ковальский совсем потерялся. Но то, что нас, как ты говоришь, на плаху не поведут, это, право же, плохое утешение. Так повернулось дело, что лучше смерть! Ясно, что теперь разгорится еще одна война, что на этот раз начнется смута, а это уж последний конец. Зачем мне, старику, смотреть на это?

— И мне, я ведь помню другие времена! — воскликнул Станкевич.

— Вы не должны так говорить, ибо милосердие божие превышает людской злобы, и всемогущая десница господня может вырвать нас из пучины, когда мы меньше всего этого ожидаем.

— Святые слова! — сказал Ян Скшетуский. — И как ни тяжело нам, солдатам покойного князя Иеремии, жить теперь, ибо мы привыкли к победам, а все же хочется еще послужить отчизне, только бы дал бог наконец вождя — не изменника, а такого, которому человек мог бы предаться всей душой и всем сердцем.

— Ох, правда, правда! — вздохнул Володыёвский. — Мы бы день и ночь сражались.

— Это, скажу я вам, самая большая беда, — промолвил Мирский, — все мы от этого как впотьмах ходим и сами себя спрашиваем: что делать? И неуверенность гнетет нас, как тяжкий сон. Не знаю, как вы, но меня томит и душит тревога. Как подумаю, что это я бросил булаву к ногам гетмана, что это я причина мятежа и бунта, от ужаса остатки седых волос встают у меня дыбом на голове. Да! Но что же делать пред лицом явной измены? Счастливы те, кому не надо было спрашивать себя об этом и искать в душе ответа!

— Вождя, вождя пошли нам, боже милосердный! — снова воскликнул Станкевич, поднимая глаза к небу.

— А что, воевода витебский, говорят, человек весьма достойный? —

спросил Станислав Скшетуский.

— Да! — ответил Мирский. — Но нет у него булавы ни великого, ни польного гетмана, и пока всемилостивейший король наш не присвоит ему звания гетмана, он может действовать только на свой страх. Одно верно — что не пойдет он ни к шведам, ни к другим врагам.

— Пан Госевский, гетман польный, в плену у Радзивилла.

— А все потому, что он тоже человек достойный, — подхватил Оскерко. — Когда до меня дошла весть об его аресте, я так и обмер и сразу почуял, что дело неладно.

— Был я как-то в Варшаве, — заговорил после минутного раздумья пан Михал, — и пошел в королевский дворец, а всемилостивейший король наш, — он любит солдат и меня хвалил после битвы под Берестечком, — тотчас меня признал и велел прийти на обед. На этом обеде видел я пана Чарнецкого, собственно и пир-то был в его честь. Выпил тогда немножко всемилостивейший король наш и стал обнимать пана Чарнецкого, а потом и говорит: «Пусть даже такая придет година, что все от меня отступятся, ты останешься мне верен!» Я собственными ушами слышал эти слова, как бы вдохновенные свыше. От волнения пан Чарнецкий слова не мог вымолвить, только повторял: «До последнего вздоха! До последнего вздоха!» А король наш заплакал тогда...

— Как знать, не пророческие ли это были слова, ибо година бедствий уже пришла! — сказал Мирский.

— Пан Чарнецкий великий воитель! — промолвил Станкевич. — Его имя в Речи Посполитой у всех на устах.

— Говорят, — прибавил Скшетуский, — будто татары, которые оказывают помощь пану Ревере Потоцкому в войне с Хмельницким, так любят пана Чарнецкого, что не хотят идти туда, где его нет.

— Истинная правда! — подхватил Оскерко. — Я слышал, как об этом рассказывали в Кейданах при князе гетмане; все мы восхваляли тогда пана Чарнецкого, а князю это очень не понравилось, нахмурился он и говорит: «Пан Чарнецкий коронный обозный^[106], но у меня мог бы быть в Тыкоцине подстаростой».

— Invidia, видно, уже его мучила.

— Ясно, что злодейство не может вынести света добродетели.

Так беседовали между собою арестованные полковники, а потом снова свернули разговор на Заглобу. Володыёвский ручался, что они могут надеяться на помощь старого рыцаря, — не такой он человек, чтобы бросить друзей в беде.

— Я уверен, — говорил пан Михал, — что он бежал в Упиту, где

найдет моих людей, если только их еще не разбили или не угнали в Кейданы. С ними он сам двинется нам на помощь, разве только они не захотят идти. Не думаю, однако, чтобы не захотели, в хоругви больше всего лауданцев, а они меня любят.

— Но они все старые слуги Радзивиллов? — заметил Мирский.

— Это верно, но когда дознаются о выдаче Литвы шведам, об аресте гетмана польного, кавалера Юдицкого и вас со мною, отвратятся их сердца от Радзивилла. Достойная это шляхта, а уж пан Заглоба не пожалует красок, так распишет гетмана, что лучше его никто из нас не сумеет.

— Так-то оно так, — сказал Станислав Скшетуский, — но ведь мы в это время будем уже в Биржах.

— Не может этого быть, ведь мы все время кружным путем едем, чтобы миновать Упиту, а из Упиты дорога прямая, как стрела. Даже если они выедут на день, на два позже, и то могут попасть в Биржи раньше нас и перерезать отряду путь. Мы сейчас только в Шавли едем, а уж оттуда повернем на Биржи, ну а из Упиты до Бирж, скажу я вам, поближе будет, чем из Шавлей.

— Да, да, поближе, и дорога получше! — подтвердил Мирский.

— Ну вот видите. А мы еще и до Шавлей не доехали.

Только к вечеру рыцари увидели гору, что зовется Салтувес-Калнас, у подножия которой лежат Шавли. По дороге в деревнях и городах, через которые им пришлось проезжать, они всюду заметили, что народ в тревоге. Видно, весть о переходе гетмана на сторону шведов разносилась уже по всей Жмуди. Кое-где солдат расспрашивали, в самом ли деле край займут шведы; кое-где рыцари видели толпы крестьян, которые с женами, детьми и пожитками покидали деревни и уходили в глубь лесов, покрывавших весь этот край. Иногда крестьяне угрожающе смотрели на драгун, принимали их, видно, за шведов. В шляхетских застянках прямо спрашивали, кто такие и куда едут, а когда Ковальский вместо ответа приказывал дать дорогу, раздавались такие грозные крики, что солдатам приходилось брать мушкеты на изготовку, чтобы проложить себе путь.

Большая дорога, ведущая из Ковно через Шавли на Митаву, была забита телегами и колясками, это семьи шляхтичей спешили укрыться от войны в курляндских владениях. В самих Шавлях, которые были королевским имением, не было никаких гетманских хоругвей, ни надворных, ни регулярных; зато здесь арестованные полковники впервые увидели шведский отряд, состоявший из двадцати пяти рейтар, который выехал из Бирж в разведку. Толпы евреев и горожан глазели на рыночной площади на незнакомых людей, да и полковники с любопытством смотрели

на них, особенно Володыёвский, который никогда еще не видел шведов; он окидывал их хищным взглядом, как волк стадо овец, и при этом топорщил усы.

Ковальский поговорил с офицером, сообщил, кто он, куда едет и кого сопровождает, и потребовал, чтобы шведский разъезд для большей безопасности присоединился к его отряду. Но офицер ответил, что у него приказ произвести глубокую разведку и что он не может возвращаться в Биржи; он заверил Ковальского, что дорога всюду безопасна, так как небольшие отряды, посланные из Бирж, разъезжают по всем направлениям, а некоторые посланы даже в Кейданы. Отдохнув хорошенько до полуночи и покормив выбившихся из сил лошадей, пан Рох вместе со своими узниками снова тронулся в путь, свернув из Шавлей через Иоганнишкеле и Посвут на восток, чтобы выехать на прямую дорогу, ведущую из Упиты на Поневеж и Биржи.

— Коли пан Заглоба придет нам на помощь, — сказал на рассвете Володыёвский, — то на этой дороге ему легче всего будет преградить путь отряду, он из Упиты мог уже подоспеть туда.

— Может, он где-нибудь и ждет нас! — сказал Станислав Скшетуский.

— Я тоже надеялся, пока не увидел шведов, — промолвил Станкевич, — но теперь, сдается мне, нет для нас спасения.

— Это уж теперь его забота, как бы шведов миновать или одурачить, а он на это мастер.

— Да вот беда, не знает он здешних мест.

— Зато лауданцы знают, они ведь пеньку, клепку и смолу возят в самую Ригу, в моей хоругви много таких.

— Шведы под Биржами заняли уже, наверно, все городки.

— Нельзя не сознаться, хороши солдаты, которых мы в Шавлях видали, — говорил маленький рыцарь, — молодцы, как на подбор! А вы заметили, какие у них сытые кони?

— Это очень сильные лифляндские кони, — сказал Мирский. — И у нас хорунжие из гусарских и панцирных хоругвей ищут лошадей в Лифляндии, у нас тут лошаденки малорослые.

— Давай, пан Михал, поговорим лучше о шведской пехоте! — вмешался в разговор Станкевич. — Конница — она хоть с виду и хороша, но не такая храбрая. Бывало, как бросится наша хоругвь, особенно тяжелая, на этих рейтар, так они и пяти минут не выдерживают.

— Вы в прежние времена уже их попробовали, — ответил маленький рыцарь, — а мне только слюнки приходится глотать. Говорю вам: как увидал я их сейчас в Шавлях и эти их желтые, как кудель, бороды, прямо

мурашки по пальцам забегали. Эх, рада душа в рай, да грехи не пускают, седи вот тут на телеге и подыхай!

Полковники умолкли; но, видно, не один Володыёвский пылал к шведам такой любовью, ибо до слуха узников долетел вскоре следующий разговор между драгунами, окружавшими телегу.

— Видали этих собачьих детей, этих нехристей? — говорил один из солдат. — Мы с ними драться были должны, а теперь будем им лошадей чистить.

— А чтоб их гром убил! — проворчал другой драгун.

— Помалкивай! Швед тебя на конюшне метлой по лбу будет учить послушанию!

— Либо я его.

— Дурак! Не такие, как ты, хотели против него пойти, а вот видишь, что получилось!

— Самых великих рыцарей везем им все равно что в волчью пасть. Будут они, ироды, глумиться над ними.

— С этой немчурой без еврея и не поговоришь. Вон и в Шавлях начальнику пришлось тотчас послать за евреем.

— А чтоб их чума взяла!

Первый солдат понизил голос и спросил:

— А что это толкуют, будто все лучшие солдаты не хотят служить с ними и идти против своего короля?

— А как же! Разве ты не видал венгров, разве пан гетман не отправился с войском мятежников бить, — кто его знает, что еще будет. Ведь и наших драгун немало перешло на сторону венгров, их, верно, всех расстреляют.

— Вот награда за верную службу!

— К черту такое дело!

— Проклятая служба!

— Стой! — вдруг раздался голос ехавшего впереди пана Роха.

— Ах, пуля тебе в лоб! — проворчал голос подле телеги.

— Что там? — спрашивали друг друга солдаты.

— Стой! — снова раздалась команда.

Телега остановилась. Солдаты придержали лошадей. День был ясный, погожий. Солнце уже взошло, и в сиянии его лучей впереди на дороге виднелись клубы пыли, точно навстречу стада шли или войско.

Вскоре в облаках пыли что-то блеснуло, будто искры рассыпались, они сверкали все явственней, словно свечи пылали в дыму.

— Это сверкают копыта! — воскликнул Володыёвский.

— Войско идет.

— Наверное, какой-нибудь шведский отряд.

— У них копья только у пехоты, а там пыль вон как несется. Конница это, наши!

— Наши, наши! — повторили драгуны.

— Стройся! — раздался голос пана Рох.

Драгуны окружили телегу. У Володыёвского горели глаза.

— Это уж наверняка мои лауданцы с Заглобой!

Всадники, ехавшие навстречу, были уже в какой-нибудь полуверсте, и расстояние между ними и телегой сокращалось с каждой минутой, так как мчались они на рысях. Наконец из облака пыли вынесся весь большой отряд, шедший стройными рядами, точно в атаку. Через минуту он стал еще ближе. В первом ряду, чуть правее, скакал под бунчуком какой-то могучий рыцарь с булавою в руке. Заметив его, Володыёвский тотчас вскричал:

— Это пан Заглоба! Клянусь богом, пан Заглоба!

Улыбка прояснила лицо Яна Скшетуского.

— Он! Не кто иной, как он! — подтвердил Ян. — И под бунчуком! Уже успел произвести себя в гетманы. Я бы его всюду узнал по этому озорству. Каким он родился, таким и умрет.

— Дай бог ему здоровья! — воскликнул Оскерко. Затем он сложил ладони у губ и крикнул:

— Пан Ковальский! Это родич к тебе в гости едет!

Но пан Рох не слышал, он как раз сгонял своих драгун. И хоть горсточка людей была у него, а навстречу неслась целая хоругвь, он, надо отдать ему справедливость, не растерялся и не струсил. Он построил драгун в два ряда перед телегой; однако хоругвь развернулась тем временем и по татарскому способу начала заезжать полумесяцем с обеих сторон. Но, видно, с паном Рохом хотели сперва повести переговоры, потому что стали махать знаменем и кричать:

— Стой! Стой!

— Вперед! Шагом марш! — крикнул пан Рох.

— Сдавайтесь! — кричали с дороги.

— Огонь! — скомандовал в ответ Ковальский.

Немая тишина была ответом; ни один драгун не выстрелил.

Пан Рох тоже на минуту онемел, затем в ярости набросился на своих солдат.

— Огонь, собаки! — рявкнул он страшным голосом и одним ударом кулака свалил с лошади ближайшего солдата. Остальные шархнулись от

разъяренного офицера; но ни один не подчинился команде. И вдруг драгуны бросились наутек и рассеялись в мгновение ока, как стая испуганных куропаток.

— Я бы все-таки этих солдат приказал расстрелять! — проворчал Мирский.

Увидев, что собственные солдаты оставили его, Ковальский повернул коня навстречу хоругви.

— Там моя смерть! — крикнул он страшным голосом. И ринулся вперед ураганом.

Но не успел он проскакать и половину дороги, как в рядах Заглобы раздался выстрел из дробовика: дробь засвистела на дороге, конь пана Роха зарылся храпом в пыль и рухнул, привалив ездока.

В ту же минуту из хоругви вынесся, как молния, солдат и схватил за шиворот поднимавшегося с земли офицера.

— Это Юзва Бутрым! — воскликнул Володыёвский. — Юзва Безногий!

Пан Рох, в свою очередь, схватил Юзву за полу, и пола осталась у него в руке; тут они сшиблись и трепали друг друга, словно два ястреба, так как силы были оба непомерной. У Бутрыма лопнуло стремя, он свалился наземь и перекувыркнулся, однако не выпустил пана Роха, и они свившись в клубок, катались на дороге.

Подскакали другие солдаты. Сразу два десятка рук схватили Ковальского, который рвался и метался, как медведь в западне, швырял людей, как вепрь-одиноц собак, снова вставал и вовсе не думал сдаваться. Он хотел погибнуть, а между тем слышал десятки голосов, повторявших одно слово: «Живьем! Живьем!»

Наконец, силы оставили его, и он потерял сознание.

А Заглоба уже был у телеги, верней, на телеге и обнимал Скшетуских, маленького рыцаря, Мирского, Станкевича и Оскерко и при этом кричал, задыхаясь:

— А что! Все-таки пригодился Заглоба! Теперь мы дадим жару Радзивиллу! Друзья мои, мы свободны, и у нас солдаты! Сейчас мы отправимся разорять его имения! А что, удался фортель? Не тем, так другим способом я бы все равно вырвался на волю и освободил вас! Совсем запыхался, дух не переведу! На имения Радзивилла, друзья мои, на имения Радзивилла! Вы еще о нем не знаете того, что я знаю!

Дальнейшие изъявления радости прервали лауданцы, которые бежали взапуски, чтобы приветствовать своего полковника. Бутрымы, Гостевичи Дымные, Домашевичи, Стакьяны, Гаштовты — все столпились у телеги, и

могучие глотки непрерывно ревели:

— Vivat! Vivat!

— Спасибо вам за любовь! — сказал маленький рыцарь своим солдатам, когда они поутихли. — Страшное это дело, что мы должны выйти из повиновения гетману и поднять на него руку, но измена явная, и поступить иначе мы не можем! Мы не предадим отчизну и нашего всемилостивейшего короля. Vivat Joannes Casimirus rex!

— Vivat Joannes Casimirus rex! — подхватили три сотни голосов.

— Учиним наезд на имения Радзивилла! — кричал Заглоба. — Потрясем его кладовые и погреба!

— Коней подать! — крикнул маленький рыцарь.

Солдаты бросились за лошадьми.

— Пан Михал! — обратился тем временем Заглоба к Володыёвскому. — Я вел твоих людей, замещая тебя, и, надо отдать им должное, — что я и делаю с радостью, — они у тебя молодцы! Но теперь ты свободен, и я передаю власть в твои руки.

— Прими, пан, начальство над хоругвью, ты по званию из всех нас самый старший, — обратился пан Михал к Мирскому.

— И не подумаю! Я тут при чем! — ответил старый полковник.

— Тогда ты, пан Станкевич...

— У меня своя хоругвь, и чужую я не стану брать! Оставайся ты, пан, начальником. Ну, что тут разводить церемонии! Ты знаешь людей, они знают тебя и лучше всего будут сражаться под твоим начальством.

— Так и сделай, Михал, так и сделай, задача-то нелегкая! — говорил Ян Скшетуский.

— Ну что ж, быть по-вашему.

С этими словами пан Михал взял булаву из рук Заглобы, вмиг построил хоругвь для похода и вместе с друзьями двинулся во главе ее вперед.

— Куда же мы пойдем? — спросил Заглоба.

— Сказать по правде, я и сам не знаю, — ответил пан Михал. — Не подумал я еще об этом.

— Надо бы посоветоваться о том, что же нам делать, — сказал Мирский. — И совет нам надо держать незамедлительно. Позвольте только мне сперва принести от нашего имени благодарность пану Заглобе за то, что он не забыл нас и *in rebus angustis*^[107] так счастливо спас всех.

— А что? — с гордостью произнес Заглоба, поднимая голову и крутя ус. — Без меня быть бы вам в Биржах! Справедливость велит признать, что уж если никто ничего не придумает, так Заглоба непременно придумает.

Пан Михал, не в таких мы с тобой бывали переделках! Помнишь, как я тебя спасал, когда мы с Геленкой от татар бежали, а?

Пан Михал мог бы сказать, что тогда не пан Заглоба его спасал, а он пана Заглобу, однако промолчал, только усы встопорщил.

— Чего там благодарить! — продолжал старый шляхтич. — Сегодня с вами беда, завтра со мной, и уж, наверно, вы меня не оставите. Так я рад, что вижу вас на свободе, будто выиграл самый решительный бой. Оказывается, не состарились еще ни голова, ни рука.

— Так ты тогда сразу поскакал в Упиту? — спросил у Заглобы пан Михал.

— А куда же мне было ехать? В Кейданы? Волку в пасть? Разумеется, в Упиту, и уж будьте уверены, лошади я не жалел, а хорошая была животи́на! Вчера утром я был уже в Упите, а в полдень мы двинулись на Биржи, в ту сторону, где я надеялся встретить вас.

— И мои люди так сразу тебе и поверили? — спросил пан Михал. — Они ведь тебя не знали, только два-три человека видали тебя у меня.

— Сказать по правде, никаких хлопот с этим делом у меня не было. Прежде всего перстень твой, пан Михал, был у меня, да и люди узнали как раз про ваш арест и про измену гетмана. Я у них депутации застал от хоругвей пана Мирского и пана Станкевича, которые предлагали собирать силы против изменника гетмана. Как сказал я им тогда, что вас везут в Биржи, так все равно что палку ткнул в муравейник. Лошади на пастбище были, за ними тотчас послали людей) и в полдень мы уже отправились в путь. Ясное дело, я по праву принял начальство.

— Отец, а бунчук где ты взял? — спросил Ян Скшетуский. — Издали мы подумали, что это сам гетман едет.

— А что! Важен был с виду, не хуже его? Где бунчук взял? Да это с депутациями от восставших хоругвей прибыл к лауданцам и пан Щит с приказом гетмана идти в Кейданы, ну и с бунчуком для пущей важности. Я тотчас велел его арестовать, а бунчук приказал носить над собой, чтобы обмануть шведов.

— Ей-ей, здорово ты это придумал! — воскликнул Оскерко.

— Соломон, да и только! — прибавил Станкевич.

Заглоба надулся, как индейский петух.

— Давайте теперь совет держать, что же нам делать, — сказал он наконец. — Коли хватит у вас терпенья послушать, так я скажу вам, что я по дороге надумал. С Радзивиллом войну начинать я не советую по двум причинам: перво-наперво, он, с позволения сказать, щука, а мы окуни. Окуням лучше к щуке головой не повертываться, а то она проглотит

может, — хвостом надо, тут их защищают колючие плавники. Дьявол бы его поскорее на рожон вздел да смолой поливал, чтоб не очень пригорел.

— А второе? — спросил Мирский.

— Второе, — ответил Заглоба, — попадись мы только через какой-нибудь casus^[108] ему в лапы, так он нам такого перцу задаст, что всем сорокам в Литве будет о чем стрекотать. Вы поглядите, что он писал в том письме, которое Ковальский вез к шведскому коменданту в Биржи, тогда узнаете пана воеводу виленского, коль скоро до сих пор его не знали!

С этими словами он расстегнул жупан, достал из-за пазухи письмо и протянул Мирскому.

— Да оно не то по-немецки написано, не то по-шведски, — сказал старый полковник. — Кто из вас может прочитать?

Оказалось, что по-немецки знал немного один только Станислав Скшетуский, который часто ездил из дому в Торунь, но и тот по-писаному читать не умел.

— Так я вам tenor^[109]

расскажу, — сказал Заглоба. — Когда в Упите послали мы на луга за лошадьми, у меня было немного времени, и я велел притащить за пейсы еврея, который слывет там мудрецом, он-то, чуя саблю на затылке, и прочитал expedite^[110] все, что там написано и растолковал мне. Так вот пан гетман советует биржанскому коменданту и для блага его величества короля шведского приказывает, отослав сперва конвой, расстрелять всех нас без исключения, но так, чтобы слух об этом не распространился.

Полковники руками всплеснули, один только Мирский покачал головой и промолвил:

— Я-то его знаю, и странно мне было, просто понять я не мог, как это он нас выпускает живыми из Кейдан. Видно, были на то причины, которых мы не знаем, что не мог он сам приговорить нас к смерти.

— Не опасался ли он людской молвы?

— И то может быть.

— Удивительно, однако, какой злой человек! — заметил маленький рыцарь. — Ведь не хвалясь скажу, что совсем недавно мы вдвоем с Ганхофом спасли ему жизнь.

— А я сперва у его отца, а теперь вот у него уже тридцать пять лет служу! — сказал Станкевич.

— Страшный человек! — прибавил Станислав Скшетуский.

— Так вот такому лучше в пасть не лезть! — решил Заглоба. — Ну его к дьяволу! Не будем мы ввязываться в бой с ним, зато имения, которые

встретятся нам по дороге, ассурате^[111] ему разорим. Идемте к витебскому воеводе, чтобы защита у нас была и господин над нами, а по дороге будем брать, что удастся, из кладовых, конюшен, хлебов, амбаров и погребов. Очень мне это улыбается, и уж будьте уверены, тут я никому не дам опередить себя. Денег в имениях раздобудем — так тоже с собой прихватим. Чем богаче мы будем, когда явимся к витебскому воеводе, тем ласковей он нас примет.

— Он и без того нас ласково примет, — возразил Оскерко. — Однако дельный это совет идти к нему, лучше сейчас ничего не придумаешь.

— Все мы отдадим за это свои голоса, — прибавил Станкевич.

— Святая правда! — воскликнул пан Михал. — Стало быть, к воеводе витебскому! Пусть же будет он тем вождем, о котором мы просили бога.

— Аминь! — сказали остальные.

Некоторое время рыцари ехали в молчании, наконец пан Михал заерзал в своем седле.

— А не потрепать ли нам где-нибудь по дороге шведов? — спросил он наконец, глядя на своих товарищей.

— Мой совет такой: встретится случай, так почему же не потрепать? — ответил Станкевич. — Радзивилл, наверно, внушил шведам, что у него вся Литва под пятой и что все охотно предают Яна Казимира, так пусть же выйдет наружу, что это неправда.

— Верно! — воскликнул Мирский. — Попадется по дороге какой-нибудь отряд — растоптать его. Я согласен и с тем, что на самого князя нападать не следует, не выдержим мы. Великий это воитель! Но, не ввязываясь в бой, стоило бы дня два повертеться около Кейдан.

— Чтобы разорить его имения? — спросил Заглоба.

— Нет! Чтобы людей собрать побольше. К нам примкнет моя хоругвь и пана Станкевича. А если они обе уже разбиты, что весьма возможно, так и тогда солдаты по одиночке будут приставать к нам. Да и из шляхты тоже кое-кто присоединится. Больше людей приведем к пану Сапеге, и ему легче будет что-нибудь предпринять.

Расчет и в самом деле был правильный, и первым доказательством тому могли послужить драгуны пана Роха, которые все, за исключением его самого, без колебаний перешли к пану Михалу. В рядах радзивилловских войск таких людей могло найтись немало. Можно было к тому же надеяться, что при первом ударе по шведам в Жмуди вспыхнет всеобщее восстание.

Володыёвский решил поэтому двинуться в ночь по направлению к Поневежу, в окрестностях Упиты привлечь еще в хоругвь лауданцев,

сколько удастся, а затем углубиться в Роговскую пущу, куда, как он предполагал, будут скрываться остатки разбитых Радзивиллом хоругвей. А пока он остановился на отдых на берегу реки Лавечи, чтобы дать подкрепиться людям и покормить лошадей.

Там они простояли до самой ночи, выглядывая из зарослей орешника на дорогу, по которой тянулись все новые и новые толпы крестьян, бежавших в леса от нашествия шведов.

Солдаты, которых Володыёвский время от времени посылал на дорогу, приводили к нему отдельных крестьян, но разузнать от них о шведах удалось немного.

Перепуганные насмерть крестьяне твердили только, что шведы вот-вот придут, но объяснить что-нибудь толком не могли.

Когда совсем стемнело, Володыёвский приказал садиться по коням, но не успели люди тронуться в путь, как до слуха их долетел довольно явственный колокольный звон.

— В чем дело? — спросил Заглоба. — К вечеру слишком поздно.

Володыёвский минуту напряженно прислушивался.

— Это набат! — сказал он.

Затем поехал вдоль шеренги.

— Не знает ли кто из вас, — спросил он у солдат, — что за деревня или городок в той стороне?

— Клеваны, пан полковник! — ответил один из Гостевичей. — Мы туда поташ возим.

— Вы слышите звон?

— Слышим! Что-то там стряслось!

Пан Михал кивнул трубачу, и вскоре тихий звук рожка раздался в темных зарослях. Хоругвь тронулась вперед.

Глаза всех были устремлены туда, откуда все громче доносился набат, и недаром люди глядели в темноту: вскоре на горизонте блеснул красный свет и стал разгораться с каждой минутой.

— Зарево! — пробежал шепот по рядам.

Пан Михал наклонился к Скшетускому.

— Шведы! — сказал он.

— Попробуем! — ответил пан Ян.

— Странно мне только, что жгут.

— Наверно, шляхта дала отпор или мужики поднялись, коль они на костел напали.

— Что ж, посмотрим! — сказал пан Михал.

И засопел с удовлетворением.

Но тут к нему подъехал Заглоба.

— Пан Михал!

— Что?

— Я уж вижу, пахнет тебе шведское мясо. Верно, бой будет, а?

— Как бог даст, как бог даст!

— А кто будет пленника стеречь?

— Какого пленника?

— Ну не меня же, Ковальского. Видишь ли, пан Михал, это очень важно, чтобы он не убежал. Не забудь, что гетман ничего про нас не знает и ни от кого не дознается, если только ему Ковальский не донесет. Надо верным людям приказать стеречь его, — ведь во время боя легко дать деру, тем более что он и на хитрости может пуститься.

— На хитрости он так же способен, как та телега, на которой он сидит. Но ты прав, надо около него кого-нибудь оставить. А не хочешь ли ты это время постеречь его?

— Гм... Жаль бой пропускать! А впрочем, ночью при огне я почти ничего не вижу. Кабы днем надо было драться, ты бы меня ни за что не уговорил. Но коль скоро publicum bonum^[112] этого требует, быть по сему!

— Ладно. Я тебе в помощь человек пять оставлю, а вздумает бежать, пустите ему пулю в лоб.

— Не бойся, он у меня шелковым станет! А зарево-то все разгорается. Где мне с Ковальским остановиться?

— Да где хочешь. Нет у меня сейчас времени! — ответил пан Михал. И проехал вперед.

Пожар разливался все шире. Ветер потянул с той стороны и вместе с набатным звоном донес отголоски выстрелов.

— Рысью! — скомандовал Володыёвский.

ГЛАВА XVIII

Подскакав поближе к деревне и убавив ходу, солдаты увидели широкую улицу, так ярко освещенную заревом, что хоть иголки собирай. По обе стороны горело несколько хат, а от них медленно занимались другие, так как дул довольно сильный ветер и нес на соседние крыши искры, — нет! не искры, а целые снопы искр, похожие на огненных птиц. На улице огонь освещал кучки метавшихся людей. Крики их мешались с набатом, несшимся из укрытого в чаще деревьев костела, ревом скотины, лаем собак и редкими выстрелами.

Подъехав еще ближе, солдаты Володыёвского увидели рейтар в широкополых шляпах; их было не очень много. Одни из них стреляли из пистолетов по толпе крестьян, вооруженных цепами и вилами, и теснили их за хаты, на огороды; другие выгоняли рапирами на дорогу волов, коров и овец. Иные так увешались домашней птицей, еще трепыхавшей крыльями в предсмертных судорогах, что их трудно было разглядеть в целых облаках перьев. Человек двадцать держали на поводу по две-три лошади своих товарищей, грабивших, видно, хаты.

Дорога в деревню спускалась по косоугору вниз среди березника, так что лауданцев не было видно, но сами они видели всю картину вражеского набега, освещенную пожаром, в отсветах которого можно было ясно различить иноземных солдат, мужиков, которые защищались, сбившись в беспорядочные кучи, и баб, которых тащили рейтары. Все металось с криками, воплями и проклятиями, будто куклы в святочном вертепе.

Целую гриву огня разметал пожар над деревушкой и гудел все страшней и страшней.

Володыёвский приблизился со своей хоругвью к распахнутым настежь воротам на околице деревушки и дал команду убавить ход. Он мог обрушиться на ничего не подозревавшего врага и смести его одним ударом, но маленький рыцарь решил «попытать шведов» в бою открытом и решительном и потому умышленно действовал так, чтобы его заметили.

Несколько человек рейтар, стоявших на околице у ворот, первыми заметили приближавшуюся хоругвь. Один из них бросился к офицеру, стоявшему с рапирой наголо посреди дороги в большой группе всадников, и стал что-то говорить ему, показывая рукой в ту сторону, откуда спускался со своими людьми Володыёвский. Офицер прикрыл рукой глаза, посмотрел с минуту, затем махнул рукой, и тотчас среди криков и воплей людей и рева

скотины послышались громкие звуки рожка.

Вот когда наши рыцари смогли подивиться выучке шведского солдата: не успели раздаться первые звуки рожка, как одни рейтары выбежали из хат, другие побросали награбленный скарб, волов и овец, и все кинулись к лошадям.

В мгновение ока отряд построился в боевые порядки, при виде которых восхитилось сердце маленького рыцаря, — такие молодцы были солдаты. Все как на подбор, рослые, сильные, одетые в кафтаны с кожаными перевязами через плечо, в одинаковые черные шляпы с полями, приподнятыми с левой стороны, все на одинаковых гнедых лошадях, стояли они стеной, с рапирами на плече, бросая быстрые, но спокойные взгляды в сторону дороги.

Но вот из строя выехал офицер с трубачом, желая, видимо, спросить, что это за люди так медленно приближаются к ним.

Он, видно, думал, что это какая-нибудь радзивилловская хоругвь, которая его не тронет. Он стал махать рапирой и шляпой, а трубач все трубил в знак того, что они хотят говорить.

— Ну-ка, пальни по ним который из дробовика, — сказал маленький рыцарь, — чтобы они знали, чего могут ждать от нас!

Раздался выстрел, но было слишком далеко, и дробь не долетела. Офицер, видно, все еще думал, что это какое-то недоразумение, потому что закричал еще громче и стал еще сильнее размахивать шляпой.

— Дайте ему еще раз! — крикнул Володыёвский.

После второго выстрела офицер повернул коня и направился, правда, не очень торопливо, к своим солдатам, которые тоже стали рысью приближаться к нему.

Первая шеренга лауданцев уже въезжала в околицу.

Шведский офицер что-то крикнул; рапиры, которые шведы держали на плече, опустились и повисли на темляках, и все солдаты мгновенно вынули из кобур пистолеты и оперли их о луки седел, держа дулами вверх.

— Отличные солдаты! — проворчал Володыёвский, видя, как быстро и согласно, почти механически выполняют они все движения.

С этими словами он оглянулся, в порядке ли его шеренги, плотнее уселся в седле и крикнул:

— Вперед!

Лауданцы пригнулись к шеям лошадей и помчались стрелой.

Шведы подпустили их и дали вдруг залп из пистолетов, но большого урона лауданцам, укрывшимся за головами лошадей, не нанесли; лишь несколько человек выпустили из рук трензеля и откинулись назад,

остальные доскакали и сшиблись с рейтарами.

Легкие литовские хоругви были еще вооружены копьями, которые в коронном войске оставались только у гусар; но Володыёвский, зная, что бой придется вести в тесноте, приказал еще по дороге вдеть копыя в башмаки, и сейчас люди выхватили сабли.

Первым натиском лауданцы не смогли опрокинуть шведов, те только подались назад и, пятясь, стали сечь и колоть их рапирами, а лауданцы яростно теснили их вдоль улицы. Сраженные падали наземь. Все жесточе сшибались противники; крестьяне, вспугнутые лязгом сабель, убежали с широкой деревенской улицы, где жар от пылающих домов был невыносим, хотя от дороги они были отделены садами.

Под все более стремительным напором лауданцев шведы медленно отступали, но еще в полном порядке. Да и рассеяться им было трудно, так как улицы с обеих сторон ограждали высокие плетни. Порой они пытались остановиться, но не могли сдержать натиска.

Удивительный это был бой, в котором из-за тесноты рубились одни первые шеренги, а задние могли только теснить передних. Именно по этой причине бой превратился в жестокую сечу.

Попросив заранее старых полковников и Яна Скшетуского последить в минуту атаки за людьми, Володыёвский сам наслаждался битвой в первом ряду. Ежеминутно чья-то шведская шляпа проваливалась перед ним в темноту, точно ныряла под землю; порою рапира, выбитая из рук рейтара, взлетала со свистом над рядом бойцов, раздавался пронзительный крик и снова проваливалась шляпа; место ее занимала другая, третья, а Володыёвский все продвигался вперед, и маленькие глазки его светились, словно две зловещие искорки; но он не увлекался, не забывался, не махал саблей, как цепом; порою, когда никого нельзя было достать саблей впереди, он повертывал лицо и клинок чуть вправо или влево и мгновенно, движением как будто почти незаметным, выбивал сбоку рейтара из седла, и страшен он был этими движениями, легкими и молниеносными, почти нечеловеческими.

Как женщина, берущая коноплю, уйдя в заросли, совсем тонет в них, но путь ее легко узнать по падающим стеблям, так и он исчезал на мгновение из глаз в толпе рослых солдат; но там, где они падали, как колосья под серпом жнеца, подрезающего стебли у земли, там был именно он. Станислав Скшетуский и угрюмый Юзва Бутрым, по прозвищу Безногий, шли следом за ним.

Наконец задние ряды шведов начали выбираться из улицы на обширный погост, а вслед за ними вырвались из тесноты и передние.

Раздалась команда офицера, который хотел, видно, ввести в бой сразу всех своих людей, и колонна рейтар в мгновение ока развернулась в длинную линию, чтобы всем фронтом встретить врага.

Однако Ян Скшетуский, который следил за общим ходом боя и командовал фронтом хоругви, не последовал примеру шведского офицера, вместо этого он обрушился на шведов тесной колонной и, наперев на ослабленную их стену, опрокинул ее в мгновение ока, всадив в нее как бы клин, а затем повернул на всем скаку к костелу, вправо, и зашел в тыл одной половине шведов, а на другую ринулись с резервом Мирский и Станкевич, ведя часть лауданцев и всех драгун Ковальского.

Теперь бой закипел в двух местах, однако длился он недолго. Левое крыло, на которое ударил Скшетуский, не успело сформироваться и рассеялось первым; правое, в котором был сам офицер, дольше оказывало сопротивление, но и оно было слишком растянуто, ряды его стали ломаться, мешаться и, наконец, оно последовало примеру левого.

Погост был обширный, но, на беду, обнесенный высокой оградой, а ворота на другом его конце костельные служки, увидев, что творится, закрыли и подперли жердями.

Рассеявшиеся шведы носились вдоль ограды, а лауданцы преследовали их. Кое-где кучки солдат, иногда человек по двадцать, дрались на саблях и рапирах; кое-где битва превратилась в ряд поединков, и солдат сражался с солдатом, рапира скрещивалась с саблей, порою хлопал пистолетный выстрел. Тут рейтар, уйдя от одной сабли, тотчас, как заяц под свору борзых, попадал под другую. Там швед или литвин, выбравшись из-под рухнувшего под ним скакуна, тотчас падал от удара подстерегавшей его сабли.

Посреди погоста носились разгоряченные лошади без седоков, раздувая от страха храпы и тряся гривами; некоторые грызли друг друга, иные, ослепнув и ошалев, поворачивались задом к дерущимся солдатам и били их копытами.

Выбивая мимоходом из седел рейтар, Володыёвский искал глазами по всему погосту офицера, наконец увидел, что тот обороняется от двух Бутрымов, и подскакал к нему.

— Посторонись! — крикнул он Бутрымам. — Посторонись!

Солдаты послушно отпрянули, маленький рыцарь подскакал к шведу, и они сшиблись так, что лошади под ними присели на зады.

Офицер хотел, видимо, прямым ударом клинка свалить противника с лошади; но Володыёвский подставил рукоять своего драгунского палаша, повернул ее молниеносно на полкруга, и рапира выпала из рук офицера.

Тот нагнулся было к кобуре, но в ту же минуту от удара палашом по щеке выпустил из левой руки поводья.

— Брат живым! — крикнул Володыёвский Бутрымам.

Лауданцы подхватили и поддержали раненого, который зашатался в седле, а маленький рыцарь помчался в глубь погоста и снова крушил рейтар, словно свечи гасил перед собою.

Но шведы уже везде сдавались шляхте, более искусной в рубке и одиночном бою. Одни из них, хватаясь за острия своих рапир, протягивали противнику рукоятки, другие бросали оружие к ногам; слово «пардон!» все чаще раздавалось на поле боя. Шляхта на это не посмотрела, она получила приказ пана Михала пощадить лишь несколько человек; тогда шведы снова ринулись в бой; отчаянно защищаясь, они умирали смертью, достойной солдата, кровью платя врагу за свою смерть.

Час спустя шляхта уже приканчивала отряд.

Толпы крестьян бросились на погост из деревни и стали хватать лошадей, добивать раненых и грабить убитых.

Так кончилась первая встреча литвинов со шведами.

Тем временем Заглобе, стоявшему поодаль в березнике с паном Рохом, лежавшим на телеге, пришлось слушать горькие упреки своего пленника, который винил его в том, что родич он ему, а так недостойно с ним поступил.

— Погубил ты меня, дядя, совсем, не только пуля ждет меня в Кейданах, но и вечный позор падет на мое имя. Теперь кто захочет сказать: дурак, может говорить: Рох Ковальский.

— Сказать по чести, не много найдется таких, кто стал бы это отрицать, — отвечал ему Заглоба. — Да лучшее доказательство твоей глупости то, что ты удивляешься, как это я да поддел вдруг тебя на удочку, это я-то, который крымским ханом вертел, как хотел. Уж не думал ли ты, щенок, что я позволю тебе отправить меня с достойными людьми в Биржи и бросить в пасть шведам нас, величайших мужей, decus^[113] Речи Посполитой?

— Да ведь не по собственной воле я вас вез туда!

— Но ты был слугой палача, а это срам для шляхтича, это позор, который должен смыть с себя, не то я отрекусь и от тебя, и от всего рода Ковальских. Быть изменником — это хуже, чем быть палачом, но быть слугой того, кто хуже палача, — это уж самое последнее дело!

— Я гетману служил!

— А гетман сатане! Вот оно что получается! Дурак ты, Рох, запомни это раз навсегда и не спорь, а держись меня, может, тогда из тебя еще

получится человек. Знай, не одного я вывел в люди.

Дальнейший разговор прервал треск выстрелов, это в деревне начинался бой. Затем выстрелы смолкли; но шум все еще продолжался и крики долетали даже в этот укромный уголок в березнике.

— Пан Михал там уже трудится, — сказал Заглоба. — Невелик он, а кусает, как змея. Нащелкают они там этих заморских чертей, как орехов. Лучше бы мне не здесь, а там быть, а из-за тебя только слушать приходится из этого березника. Вот она, твоя благодарность! И это поступок, достойный родича?

— А за что я должен благодарить тебя?

— За то, что не в ярме ты у изменника и не погоняет он тебя, как вола, коль ты для этого больше всего годишься, потому глуп и здоров, понял? Эх, а бой-то все жарче!.. Слышишь? Это, верно, шведы ревут, как телята на пастбище.

Заглоба нахмурился тут, тревога взяла его; вдруг он спросил у Роха, в упор глядя на него:

— Кому желаешь победы?

— Ясное дело, нашим.

— Вот видишь! А почему не шведам?

— А я бы и сам их лупил. Наши — это наши!

— Совесть у тебя просыпается... Но как же ты мог соплеменников везти к шведам?

— У меня был приказ.

— Но теперь-то приказа нет?

— Ясное дело, нет.

— Твой начальник теперь пан Володыёвский, и больше никто!

— Да как будто так!

— Ты должен делать то, что тебе пан Володыёвский велит.

— Вроде как должен.

— Он тебе перво-наперво велит отречься от Радзивилла и служить не ему, а отчизне.

— Как же так? — почесал голову Рох.

— Приказ! — рявкнул Заглоба.

— Слушаюсь! — ответил Рох.

— Вот и хорошо! В первом же бою будешь лупить шведов!

— Приказ есть приказ! — ответил Ковальский и вздохнул с облегчением, точно у него гора свалилась с плеч.

Заглоба тоже был доволен, у него были свои виды на Роха. Они вместе стали слушать отголоски боя, долетавшие до них, и добрый час еще

слушали, пока все не стихло.

Заглоба обнаруживал признаки все большего беспокойства.

— Неужто им не повезло?

— Ты, дядя, старый солдат, а говоришь такое! Да ведь если бы шведы их разбили, они бы толпою мимо нас отступали.

— Верно! Вижу, и твой ум кое на что годится.

— Слышишь, дядя, топот? Они не спешат. Посекли, верно, шведов.

— Ох, да наши ли это? Подъехать поближе, что ли?

С этими словами Заглоба спустил саблю на темляк, взял в руку пистолет и двинулся вперед. Вскоре он увидел впереди темную массу, которая медленно двигалась по дороге, в то же время до слуха его донесся шумный говор.

Впереди ехало несколько человек, ведя между собою громкий разговор, и вскоре Заглоба услышал знакомый голос пана Михала.

— Молодцы! — говорил Володыёвский. — Не знаю, как пехота, но конница отличная!

Заглоба дал шпоры коню.

— Ну, как вы там?! Ну, как вы там?! Я уж терпенье потерял, хотел в бой лететь... Не ранен ли кто?

— Все, слава богу, здоровы! — ответил пан Михал. — Но потеряли больше двадцати хороших солдат.

— А шведы?

— Положили мы их без числа.

— Потешил ты, верно, пан Михал, душу. Ну хорошо ли это было, оставлять меня, старика, тут на страже? Да я прямо рвался в драку, так хотелось мне отведать шведятины. Сырых бы ел, право!

— Можешь получить и жареных, их там десятка два испеклось в огне.

— Пусть их собаки едят. А пленников взяли?

— Ротмистра и семерых рейтар.

— Что же ты с ними думаешь делать?

— Я бы их повесить велел, ведь они как разбойники напали на деревню и резали людей. Но вот Ян говорит, что это не годится.

— А знаете, друзья мои, что мне тут за это время пришло в голову. Незачем вешать их, надо, напротив, поскорее отпустить в Биржи.

— Это почему же?

— Как солдата вы меня знаете, узнайте теперь, какой из меня державный муж. Давайте отпустим шведов, но не станем им говорить, кто мы такие. Нет, давайте скажем им, что мы люди Радзивилла, что изрубили их отряд по приказу гетмана и будем и впредь рубить все отряды, какие

встретятся нам по дороге, ибо гетман только хитрит, притворяется, будто перешел на их сторону. Шведы там за голову схватятся, и мы очень подорвем их веру в гетмана. Да пусть у меня конский хвост отрастет, коли эта мысль не стоит побольше вашей победы. Вы себе то заметьте, что мы и шведам навредим и Радзивиллу. Кейданы далеко от Бирж, а Радзивилл еще дальше от Понтуса. Пока они друг с другом столкнутся, что да как, так ведь между ними до драки может дойти! Мы поссорим изменника с врагами, нападшими на нас, а кто выиграет от этого, если не Речь Посполитая?

— Побей меня бог, добрый совет, и, наверно, стоит победы! — воскликнул Станкевич.

— Ты, пан, прямой канцлер по уму! — прибавил Мирский. — Расстроятся от этого их ряды, ох, как расстроятся.

— Так и сделаем, — решил пан Михал. — Завтра же я отпущу шведов, а сегодня знать ничего не хочу, страх как я вымахался. Пекло там на дороге, прямо как в печи. Уф, совсем у меня руки занемели. Да и офицер сегодня не может уехать, я его по лицу полоснул.

— Только по-каковски мы им все это скажем? Что ты, отец, посоветуешь? — спросил Ян Скшетуский.

— Я и об этом подумал, — ответил Заглоба. — Ковальский мне говорил, что у него есть два пруссака-драгуна, которые здорово по-немецки лопочут, ну и парни бойкие. Пусть они шведам по-немецки скажут, ну а по-немецки шведы, наверно, умеют, столько-то лет провоевавши в Германии. Ковальский уже наш душой и телом. Хороший парень, и мне от него будет большая корысть.

— Вот и прекрасно! — сказал Володыёвский. — Вы уж будьте так добры, займитесь кто-нибудь этим делом, а то я от усталости и голос потерял. Я уже сказал солдатам, что в этом березнике мы останемся до утра. Поесть принесут нам из деревни, а теперь спать! За стражей мой поручик последит. Право, я уж и вас не вижу, совсем глаза слипаются...

— Тут стог недалеко за березником, — сказал Заглоба, — пойдете все туда, да и соснем на стогу, как сурки, до утра, а утром в путь... Больше мы сюда не воротимся, разве только с паном Сапегой Радзивилла бить.

ГЛАВА XIX

Так, в одно время с нашествием на Речь Посполитую двух врагов и все более ожесточенной войной на Украине, началась смута в Литве, переполнившая чашу бедствий.

Регулярное литовское войско, и без того настолько немногочисленное, что оно не могло дать отпор ни одному из врагов по отдельности, разделилось на два стана. Одни, главным образом роты иноземцев, остались с Радзивиллом, другие, которых было большинство, объявили гетмана изменником и с оружием в руках выступили против унии с Швецией; но не было у них ни единства, ни вождя, ни обдуманного замысла. Вождем мог бы стать воевода витебский, но он в это время стойко оборонял Быхов и вел отчаянную борьбу с врагом в глубине края и не мог поэтому сразу возглавить движение против Радзивилла.

Тем временем оба врага, вторгшихся в страну, стали слать друг к другу грозные посольства, ибо каждый из них почитал всю страну своим безраздельным владением. Их распря в будущем могла бы принести Речи Посполитой спасение: но захватчики не успели перейти к враждебным действиям друг против друга, как во всей Литве воцарился ужасающий хаос. Радзивилл, обманувшийся в своих надеждах на войско, принял решение силой принудить его к повиновению.

Когда Володыёвский после клеванского боя прибыл со своим отрядом в Поневеж, до него дошла весть о том, что гетман уничтожил хоругви Мирского и Станкевича. Часть их была принудительно влита в радзивилловское войско, часть истреблена или рассеяна. Остатки хоругвей скитались по одиночке или кучками по деревням и лесам, укрываясь от возмездия и погони.

С каждым днем все больше беглецов прибывало в отряд пана Михала, увеличивая его силу и принося в то же время все новые и новые вести.

Самой важной из них была весть о бунте регулярных хоругвей, стоявших на Подляшье, под Белостоком и Тыкоцином. После занятия Вильно московскими войсками^[197] эти хоругви должны были охранять подступы к Коронной Польше. Узнав, однако, об измене гетмана, они составили конфедерацию, во главе которой встали два полковника: Гороткевич и Якуб Кмициц, двоюродный брат самого верного приспешника Радзивилла, Анджея.

Имя Анджея со страхом повторяли солдаты. Он был главным

виновником разгрома хоругвей Мирского и Станкевича, он беспощадно расстреливал схваченных хорунжих. Гетман слепо ему доверял и в самое последнее время послал его против хоругви Невяровского, которая не пошла за своим полковником и отказалась повиноваться.

Эту последнюю новость Володыёвский выслушал с особым вниманием.

— А что вы скажете, — обратился он затем к вызванным на совет товарищам, — если мы пойдем не под Быхов, к витебскому воеводе, а на Подляшье, к хоругвям, которые объявили конфедерацию?

— На языке у меня были эти слова! — воскликнул Заглоба. — К родной стороне будем поближе, а дома и стены помогают.

— Беглецы слышали, — сказал Ян Скшетуский, — будто милостивый наш король повелел некоторым хоругвям воротиться с Украины и дать отпор шведам на Висле. Коли это правда, так чем мыкаться здесь, лучше нам пойти к старым друзьям.

— А не знаете, кто должен принять начальство над этими хоругвями?

— Говорят будто коронный обозный, — ответил Володыёвский, — но это все одни догадки, толком никто не знает, верные вести сюда еще не могли прийти.

— Коли так, — сказал Заглоба, — мой совет пробираться на Подляшье. Там мы можем увлечь за собой мятежные хоругви Радзивилла и привести их к милостивому нашему королю, а уж за это мы наверняка не останемся без награды.

— Что ж, быть по-вашему! — сказали Оскерко и Станкевич.

— Нелегкое это дело — пробираться на Подляшье, — говорил маленький рыцарь, — надо у гетмана сквозь пальцы проскочить, однако попытаемся. Кабы нам посчастливилось схватить по дороге Кмицица, я бы ему на ухо два слова шепнул, от которых он позеленел бы со злости.

— И поделом, — сказал Мирский. — Не удивительно, когда сторону Радзивилла держат старые солдаты, которые весь свой век у него прослужили; но этот смутьян служит из одной корысти, в измене он находит наслажденье.

— Стало быть, на Подляшье? — спросил Оскерко.

— На Подляшье! На Подляшье! — крикнули все хором.

Но трудное это было дело, как и говорил Володыёвский, ибо на Подляшье нельзя было пробраться, обойдя стороною Кейданы, где метался в своем логове лев.

Дороги и лесные тропы, городки и селенья были в руках Радзивилла; чуть подальше Кейдан стоял Кмициц с конницей, пехотой и пушками.

Гетман уже знал о бегстве полковников, о мятеже в хоругви Володыёвского и клеванском бое; когда ему донесли об этом бое, князя обуял такой гнев, что опасались за его жизнь, страшный приступ астмы на время пресек его дыхание.

Как же было гетману не разгневаться и не прийти в отчаяние, когда шведы за бой в Клеванах обрушили на него целую бурю. Сразу же после боя там и тут стали пропадать небольшие шведские отряды. Истребляли их на свой страх крестьяне и отдельные шляхтичи; но шведы во всем винили Радзивилла, особенно после того, как офицер и солдаты, которые после клеванского боя были отосланы в Биржи, объявили коменданту, что на них, по приказу самого гетмана, напала его хоругвь.

Через неделю князь получил письмо от биржанского коменданта, а через десять дней от самого Понтуса де ла Гарди, предводителя всех шведских войск.

«Либо нет у вас, ваша светлость, ни власти, ни сил, — писал последний, — а тогда как могли вы заключать договор от имени всей страны! — либо вы питаете коварный умысел привести к гибели войско его королевского величества! Коли так, грозит вам немилость его королевского величества, и в скором времени постигнет вас кара, буде не окажете вы раскаяния и покорности и верною службой не искупите свою вину...»

Радзивилл тотчас послал гонцов с объяснениями; но жгучая игла вонзилась в его кичливую душу и язвила ее все сильнее и сильнее. Он, чье слово недавно потрясло самые основания всего этого края, большего, чем вся Швеция, он, за половину владений которого можно было бы купить всех шведских правителей, он, оказавший сопротивление самому королю, думавший стать равным монархом, победами снискавший себе славу во всем мире и как солнцем осиянный собственной гордыней, должен был теперь слушать угрозы какого-то шведского генерала, должен был слушать уроки покорства и верности. Правда, этот генерал был шурином короля, но кем был сам король, как не похитителем трона, принадлежащего по закону и крови Яну Казимиру?

Гнев гетмана обратился прежде всего на тех, кто явился причиной его унижения, и князь поклялся раздавить Володыёвского, полковников, которые были с ним, и всю лауданскую хоругвь. С этой целью он двинулся против них, и как охотники окружают тенетами лес, чтобы выловить волчий выводок, так и он окружил их и начал преследовать без отдыха.

Тут до него дошла весть о том, что Кмициц разбил хоругвь Невяровского, рассеял или порубил хорунжих, а солдат влил в собственную хоругвь, и князь приказал Кмицицу прислать к нему часть людей, чтобы с

большей уверенностью нанести удар.

«Люди, — писал Кмицицу гетман, — жизнь коих ты защищал столь спорно, особенно Володыёвского с этим другим бродягой, по дороге в Биржи бежали. Мы с умыслом послали с ними самого глупого офицера, дабы не могли они переманить его, но и тот либо изменил, либо был ими обманут. Ныне у Володыёвского вся лауданская хоругвь, и беглецы множат ее силы. Под Клеванами они изрубили сто двадцать человек шведов, объявив, что учинили сие по нашему приказу, отчего между нами и Понтусом возникло большое недоверие. Все дело может быть испорчено сими изменниками, коим, не будь твоего покровительства, мы, видит бог, повелели бы срубить головы. Так приходится нам расплачиваться за нашу снисходительность, хотя уповаем на бога, что скоро месть их настигнет. Дошли до нас вести, что в Биллевичах, у мечника россиенского, шляхта собирается и козни противу нас строит, — надобно пресечь сие. Всю конницу нам отошлешь, а пехоту отправишь в Кейданы стеречь замок и город, ибо от сих изменников всего можно ждать. Сам с отрядом в несколько десятков сабель отправляйся в Биллевичи и привези в Кейданы мечника с его родичкой. Ныне сие важно не только для тебя, но и для нас, ибо тот, кто имеет мечника в руках, имеет в руках всю лауданскую округу, где шляхта под предводительством Володыёвского поднимается против нас. Гарасимовича мы услали в Заблудов с указаниями, что предпринять там противу конфедератов. Твой двоюродный брат Якуб снискал себе у них большой почет, напиши ему, ежели думаешь, что письмо поможет тебе привести его к повиновению.

Поручая тебя опеке господа бога, пребываем благосклонные к тебе».

Когда Кмициц прочитал это письмо, он в душе обрадовался, что полковникам удалось ускользнуть из рук шведов, и про себя пожелал им ускользнуть и из рук Радзивилла; однако все приказы князя он исполнил: отослал конницу, укрепил пехотой Кейданы и даже начал рыть шанцы вокруг замка и города, пообещав себе в душе сразу же после окончания этих работ отправиться в Биллевичи за мечником и панной Александрой.

«К силе я не прибегну, разве только в крайности, — говорил он себе, — и ни в коем случае не стану покушаться на Оленьку. Да и не моя это воля, а княжеский приказ! Не примет она меня ласково, знаю я это; но бог даст, убедится она со временем, что намерения мои чисты, ибо не против отчизны служу я Радзивиллу, но для ее блага».

Размышляя так, он усердно работал над укреплением Кейдан, где в будущем должна была найти приют его Оленька.

Володыёвский тем временем уходил от гетмана, а гетман упорно его

преследовал. Стало теперь пану Михалу совсем тесно, так как от Бирж двинулись на юг крупные шведские отряды, восток Литвы был занят царскими полчищами, а на дороге в Кейданы подстерегал его гетман.

Заглоба был очень этим удручен и все чаще обращался к Володыёвскому с вопросом:

— Пан Михал, скажи ты мне, ради Христа, пробьемся мы или не пробьемся?

— О том, чтобы пробиться, и речи быть не может! — отвечал маленький рыцарь. — Ты знаешь, пан, я вовсе не трус и ударить могу на кого хочешь, хоть на самого дьявола. Но против гетмана я не устою, где мне с ним равняться! Сам же ты сказал, что мы окуни, а он щука. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уйти, но коль скоро дело дойдет до битвы, говорю тебе прямо, он нас побьет.

— А потом велит изрубить и отдать собакам. Ради бога! В любые руки, только не Радзивилла! А не лучше ли тогда повернуть к пану Сапеге?

— Теперь уж поздно, путь отрезан гетманскими и шведскими войсками.

— Нелегкая меня дернула подговорить Скшетуских ехать к Радзивиллу! — сокрушался Заглоба.

Но пан Михал не терял надежды, особенно потому, что и шляхта и крестьяне предупреждали его о движении гетмана, ибо все сердца отвратились от Радзивилла. Пан Михал пускался на всякие военные хитрости, какие только знал, а знал он их очень и очень много, ибо чуть не с малых лет привык воевать с татарами и казаками. Когда-то в войске Иеремии он прославился походами против татарских орд, вылазками, внезапными наскоками, молниеносными маневрами, в которых он превосходил прочих офицеров.

Теперь же, запертый между Упитой и Роговом, с одной стороны, и Невяжей, с другой, он петлял на пространстве в несколько миль, все время уклоняясь от боя и изматывая хоругви Радзивилла, и даже огрызался порою, как волк, преследуемый гончими, который не однажды проскочит между охотниками, а когда собаки станут наседать, обернется и сверкнет белыми клыками.

Но когда подошла конница Кмицица, гетман закрыл самые тесные щели и сам поехал стеречь, чтобы сошлись два крыла невода.

Это было на Невяже.

Полки Мелешко и Ганхофа и две хоругви конницы, предводимые самим князем, образовали как бы лук, тетивой которого была река. Володыёвский со своим полком был внутри лука. Правда, перед ним была

единственная переправа через болотистую реку; но на другом берегу, у этой переправы стояли два шотландских полка и две сотни казаков Радзивилла да шесть полевых пушек, нацеленных так, что под их огнем ни один человек не смог бы переправиться на другой берег.

Тогда лук начал сжиматься. В середине его войско вел сам гетман.

К счастью до Володыёвского, ночь и буря с проливным дождем приостановили движение войск, зато у его отрезанной хоругви не оставалось уже ничего, кроме небольшого, поросшего лозняком луга между полукольцом войск Радзивилла и рекой, которую на другом берегу охраняли шотландцы.

На следующий день, едва утренняя заря осветила верхушки лоз, полки двинулись дальше, они шли, шли — дошли до самой реки и остановились в немом изумлении.

Володыёвский сквозь землю провалился, — в лозняке не было ни живой души.

Сам гетман остолбенел, а потом обрушился на офицеров, командовавших полками, которые стерегли переправу. Снова у князя был такой жестокий приступ астмы, что окружающие опасались за его жизнь. Но гнев победил даже астму. Двоих офицеров, которым было поручено стеречь переправу, князь приказал расстрелять; но Ганхоф все-таки упрямился сперва проверить, каким же образом зверь ухитрился уйти из западни.

Оказалось, Володыёвский, воспользовавшись темнотой и дождем, вывел всю хоругвь из лозняка к реке, и они пустились где вплавь, где вброд вниз по течению, проскочив мимо правого крыла войск Радзивилла, которое подходило к самому руслу реки. Несколько лошадей увязли в одном месте по самое брюхо в болоте, тут, очевидно, хоругвь и вышла на правый берег.

Следы сразу показали, что хоругвь во весь опор понеслась по направлению к Кейданах. Гетман тотчас догадался, что Володыёвский стремится пробиться на Подлясье к Гороткевичу или Якубу Кмицицу.

А не подожжет ли он мимоходом Кейданы, не попытается ли ограбить замок?

Страшное опасение сжало сердце князя. Большая часть денег и драгоценностей была у него в Кейданах. Правда, Кмициц со своей пехотой должен был обеспечить охрану, но если он этого не сделал, неукрепленный замок мог легко стать добычей дерзкого полковника. Радзивилл нимало не сомневался, что у Володыёвского станет храбрости, чтобы напасть даже на кейданскую резиденцию. И времени для этого у него могло быть

достаточно, так как ускользнул он в начале ночи и ушел от погони на добрых шесть часов ходу.

Так или иначе, надо было скакать во весь дух на спасение Кейдан. Князь оставил пехоту и тронулся вперед со всей конницей.

Прибыв в Кейданы, он не нашел Кмицица; но в замке было спокойно. Когда же князь увидел шанцы и стоявшие на насыпях полевые орудия, молодой усердный полковник еще более вырос в его глазах. В тот же день Радзивилл осмотрел с Ганхофом укрепления, а вечером сказал ему:

— Он это сделал по собственному почину, без моего приказа, и так хорошо укрепил замок, что теперь здесь можно долго обороняться даже от пушек. Если он смолodu не свернет себе шею — далеко пойдет.

Был еще один человек, при воспоминании о котором князь не мог не удивляться, но удивление в этом случае мешалось с яростью, ибо человеком этим был Михал Володыёвский.

— Я бы скоро покончил с мятежом, — говорил он Ганхофу, — будь у меня двое таких офицеров. Кмициц, пожалуй, даже посмелее, но у него нет опыта, а тот воспитан в школе Иеремии за Днепром.

— Ясновельможный князь, не прикажешь ли преследовать его? — спросил Ганхоф.

Князь бросил на него взгляд и сказал многозначительно:

— Тебя он побьет, а от меня убежит. — Но через минуту прибавил, нахмурясь: — Здесь теперь все спокойно, однако в скором времени нам надо будет двинуться на Подляшье, чтобы покончить с конфедератами.

— Ясновельможный князь, — сказал Ганхоф, — стоит нам только уйти отсюда, как все возьмутся здесь за оружие и выступят против шведов.

— Кто это все?

— Шляхта и мужики. И на шведах дело не кончится, они возьмутся и за диссидентов, ибо всю вину за эту войну они приписывают нашим единоверцам, они считают, что это мы перешли на сторону врага и даже привели его сюда.

— Я о брате Богуславе думаю. Не знаю, справится ли он там, на Подляшье, с конфедератами.

— О Литве надо думать, о том, как удержать ее в повиновении нам и шведскому королю.

Князь заходил по покою.

— Вот если бы поймать как-нибудь Гороткевича и Якуба Кмицица! — говорил он. — Захватят они там мои имения, разорят, ограбят, не оставят камня на камне.

— Может, с генералом Понтусом договориться, чтобы на то время,

пока мы будем на Подляшье, он прислал сюда побольше войска?

— С Понтусом... никогда! — вспыхнул Радзивилл. — Уж если говорить, так только с самим королем. Нет нужды мне вести переговоры со слугами, коль можно сделать это с господином. Вот если бы король повелел Понтусу прислать мне тысячи две конницы — это другое дело. Но Понтуса я об этом просить не стану. Надо кого-нибудь послать к королю, пора с ним самим начать переговоры.

Худое лицо Ганхофа покрылось легким румянцем, глаза загорелись.

— Будь на то твоя воля, ясновельможный князь...

— Ты бы поехал, знаю; но доедешь ли, вот вопрос. Ты ведь немец, а иноземцу небезопасно углубляться в страну, охваченную волнением. Кто знает, где теперь король и где он будет через две недели или через месяц. Придется поколесить по всей Литве. Да и нельзя тебе ехать, туда надо послать своего, и из родовитых, дабы всемилостивейший король уверился, что не вся шляхта оставила меня.

— Человек неопытный может все дело испортить, — робко заметил Ганхоф.

— Все дело будет состоять в том, чтобы вручить мои письма и *responsum*^[114] мне доставить, да растолковать, что не я велел бить шведов под Клеванами, — а это всякий сумеет сделать.

Ганхоф молчал.

Князь снова в тревоге заходил по покою, и на челе его читалась непрестанная душевная борьба. Ни минуты покоя не знал он с той поры, как заключил договор со шведами. Пожирала его гордыня, грызла совесть, удручало неожиданное сопротивление народа и войск; ужасало темное будущее, угроза разорения. Он метался, терзался, не спал по ночам, хирел. Глаза у него ввалились, он исхудал; румяное когда-то лицо его стало серым, и чуть не каждый час прибавлялось седины в усах и на голове. Словом, жил он в муках и сгибался под бременем забот.

Ганхоф следил за гетманом глазами, а тот все ходил по покою; полковник еще надеялся, что он передумает и пошлет его.

Но князь вдруг остановился и хлопнул себя ладонью по лбу:

— Две хоругви конницы немедленно на конь! Я сам поведу.

Ганхоф поглядел на него с удивлением.

— Поход? — невольно спросил он.

— Ступай! — сказал князь. — Дай бог, чтобы не оказалось слишком поздно.

ГЛАВА XX

Кончив рыть шанцы и охранив Кейданы от внезапного нападения, Кмициц не мог больше откладывать поездку в Биллевици за россиенским мечником и Оленькой, тем более что от князя он получил прямой приказ привезти их в Кейданы. И все же пан Анджей тянул с отъездом, а когда отправился наконец в путь во главе полусотни драгун, такая тревога охватила его, будто шел он навстречу собственной гибели. Он чувствовал, что не ждет его там ласковый прием, и трепетал при одной мысли о том, что шляхтич может даже оказать вооруженное сопротивление, и тогда придется прибегнуть к силе.

Он принял решение сперва упрашивать и уговаривать. А чтобы приезд его никак не был похож на вооруженное нападение, он оставил драгун в корчме, расположенной в полуверсте от деревни и в версте от усадьбы мечника, а сам с одним только вахмистром и стремянным, двинулся вперед, отдав приказ, чтобы карету, приготовленную на всякий случай, прислали немного погодя.

Был послеполуденный час, и солнце уже сильно клонилось к закату; но день после ненастной ночи стоял прекрасный, и небо было чистое; лишь кое-где на западе кудрявились розовые облачка, медленно спускаясь за оком, будто отара овец, уходящая с поля. Кмициц ехал через деревню с бьющимся сердцем и с тем беспокойством, с каким татарин въезжает впереди отряда в деревню, озираясь по сторонам, не спрятались ли где в засаде вооруженные люди. Но три всадника не привлекли ничего внимания, одни только босые деревенские мальчишки улепетывали с дороги от лошадей, да крестьяне, завидев красивого офицера, снимали шапки и кланялись ему до земли. А он ехал вперед, пока, миновав деревню, не увидел усадьбу — старое гнездо Биллевичей, с обширными садами позади, которые тянулись далеко-далеко, до заливных лугов.

Кмициц убавил тут ходу и стал разговаривать сам с собою; видно, ответы готовил на вопросы, а сам тем временем задумчивым взором окидывал поднимавшиеся перед ним строения. Это не был дворец магната; однако с первого же взгляда можно было догадаться, что живет здесь довольно богатый шляхтич. Сам дом, выходящий задом в сад, а лицом обращенный на дорогу, был огромный, но деревянный. Сосновые стены потемнели от старости, так что оконные стекла на их фоне казались совсем белыми. Над срубом громоздилась огромная кровля с четырьмя дымовыми

трубами посредине и двумя голубятнями по краям. Целые тучи белых голубей кружили над кровлей, то взмывая с шумом вверх, то спускаясь, словно снежные хлопья, на черные гонты, то трепыхаясь вокруг столбов крыльца.

Это крыльцо, украшенное щитом с гербами Билевичей, нарушало соразмерность частей, так как расположилось оно не посредине, а сбоку. Видно, прежде дом был поменьше, потом сделали с одной стороны пристройку, но и пристройка с течением времени тоже потемнела и ничем уже не отличалась от основного строения. Два бесконечно длинных крыла, примыкавших к дому, тянулись по обе его стороны, образуя как бы два плеча подковы.

В этих боковых крыльях были покои, которые во время больших съездов отводились для гостей, кухни, кладовые, каретные сараи, конюшни для лошадей, которых хозяева любили иметь под рукой, помещенья для служащих, челяди и надворных казаков.

Посреди обширного двора росли старые липы с гнездами аистов на вершинах; внизу, между деревьев, сидел на привязи медведь. Два колодца с журавлями по бокам двора и распятие между двумя копыями у въезда дополняли картину этого обиталища богатого шляхетского рода. По правую сторону от дома поднимались среди густых лип соломенные кровли риг, коровников, овчарен и амбаров.

Кмициц въехал в ворота с распахнутыми настежь обеими створами, словно руками шляхтича, готового заключить в объятия гостя. Тотчас легавые собаки, бродившие по двору, возвестили лаем о прибытии чужих, и из бокового крыла выбежало двое слуг, чтобы поддержать лошадей.

В ту же минуту в дверях дома показалась женская фигура, в которой Кмициц тотчас признал Оленьку. Сердце забило у него еще сильнее; бросив слуге поводья, обнажив голову, он направился к крыльцу, держа в одной руке саблю, а в другой шапку.

Прикрывая ладонью глаза от лучей заходящего солнца, Оленька постояла минуту, как чудное видение, и вдруг исчезла, словно потрясенная видом приближавшегося гостя.

«Плохо дело! — подумал пан Анджей. — Прячется она от меня».

Горько стало у него на душе, тем более что яркий солнечный закат, весь вид этой усадьбы и покой, разлитый кругом, за минуту до этого наполнили его сердце надеждой, хотя пан Анджей, быть может, и не отдавал себе в этом отчета.

Мнилось ему, будто это он въезжает в усадьбу невесты, которая примет его с блистающим от счастья взором и краской смущения на ланитах.

Чары развеялись. Едва только завидев его, она исчезла, точно злой дух явился перед ней, а вместо нее вышел навстречу мечник с лицом беспокойным и мрачным.

Кмициц поклонился.

— Давно уже хотел я, — начал он, — приехать к тебе с повинной головою, да время тревожное: как ни хотелось мне, не смог я сделать этого раньше.

— Премного тебе, пан, благодарен, прошу в покои, — ответил мечник, поглаживая чуб, что он делал обычно в замешательстве или нерешимости. И дал гостю дорогу, пропуская его вперед.

Кмициц чинился минуту, не хотел входить первым, оба они кланялись друг другу на пороге дома; наконец пан Анджей сделал шаг вперед, и оба они вошли в покой.

Там сидели два шляхтича: один, мужчина в цвете сил, был пан Довгирд из Племборга, ближайший сосед Билевичей, другой — пан Худзинский, арендатор из Эйраголы. Кмициц заметил, что оба они изменились в лице, едва услышав его имя, и оба взъерошились, как псы, завидевшие волка; он бросил на них вызывающий взгляд и решил делать вид, что не замечает их.

Воцарилось тягостное молчание.

Пан Анджей кусал усы, начиная терять терпение, гости исподлобья на него поглядывали, а мечник все гладил свой чуб.

— Выпей, пан, с нами по чарочке убогого шляхетского меду, — сказал наконец он, показывая на сулейку и чары. — Прошу! Прошу!

— Выпью с тобою, милостивый пан! — жестко ответил Кмициц.

Довгирд и Худзинский засопели, сочтя это за выражение пренебрежения к своим особам; но в доме друга не пожелали сразу затевать ссору, да еще с забиякой, снискавшим страшную славу во всей Жмуди. Однако они были уязвлены этим пренебрежением.

Тем временем мечник хлопнул в ладоши и, когда явился слуга, велел подать четвертую чару, затем наполнил ее, поднес к губам свою и сказал:

— За твое здоровье! Рад видеть тебя в моем доме.

— Я был бы очень рад, когда бы так оно было!

— Гость — это гость... — нравоучительно промолвил мечник.

Через минуту, почувствовав, видно, что как хозяин он должен поддержать разговор, спросил:

— Что слышно в Кейданах? Как здоровье пана гетмана?

— Плохо, пан мечник, — ответил Кмициц, — да и трудно ждать, чтобы было лучше в столь тревожное время. Много у князя забот и

огорчений.

— Надо думать! — уронил Худзинский.

Кмициц минуту поглядел на него, затем снова обратился к мечнику и продолжал:

— Князь, которому всемилостивейший король шведский посулил аухііа, хотел не мешкая двинуться на врага под Вильно и отомстить за еще не остывшее пепелище. Ты, верно, знаешь, груда развалин осталась нынче от Вильно. Семнадцать дней горел город. Рассказывают, одни только ямы подвалов чернеют, из которых все еще тянет гарью...

— Беда! — сказал мечник.

— Да, беда, и уж коли нельзя было отвратить ее, то надо покарать врагов и обратить в такое же пепелище их столицу. И час возмездия был бы уже близок, когда бы не смутьяны, которые, не веря самым достойным намерениям доблестного пана гетмана, окричали его изменником и вместо того, чтобы идти с ним на врага, оказывают ему вооруженное сопротивление. Не диво, что князь, коего бог предназначил для великих свершений, стал слаб здоровьем, — видит он, что злоба людская все новые чинит ему *impedimenta*^[115], из-за которых может погибнуть все предприятие. Лучшие друзья обманули князя, те, на кого он больше всего надеялся, покинули его или предались врагам.

— Сбылось над ним! — сурово произнес мечник.

— Тяжело страдает от этого князь, — продолжал Кмициц. — Я сам слышал, как он говорил: «Знаю, что и достойные люди худо обо мне думают, но почему же не приедут они в Кейданы, почему не скажут открыто в глаза, что они имеют против меня, почему не хотят меня выслушать?»

— Кого же это князь имеет ввиду? — спросил мечник.

— В первую голову тебя, милостивый пан, ибо князь, особо тебя почитая, подозревает, однако, что и ты в стане его недругов...

Мечник стал поспешно гладить свою чуприну; поняв наконец, что разговор принимает неожиданный оборот, он хлопнул в ладоши.

В дверях показался слуга.

— Ты что, не видишь, что темнеет? Света! — крикнул мечник.

— Видит бог, — продолжал Кмициц, — сам я хотел приехать к тебе с повинной, но прибыл нынче по приказу князя, который и сам собрался бы в Билевичи, да пора неподходящая...

— Слишком много чести! — сказал мечник.

— Не говори так, пан мечник, обыкновенное это дело, что соседи навещают друг друга, да нет у князя минуты свободной, вот он и сказал

мне: «Прощенья попроси у Билевича за то, что сам я не могу приехать, скажи, пусть приезжает ко мне со своей родичкой, да только немедля, потому не знаю я, где буду завтра или послезавтра». Вот и приехал я, пан, звать тебя в гости, очень рад, что вы с панной Александрой в добром здравии; я ее в дверях видел, когда приехал сюда, но только пропала она тотчас, как туман на лугу.

— Да, — подтвердил мечник, — я сам ее послал посмотреть, кто приехал.

— Жду ответа, пан мечник! — сказал Кмициц.

В эту минуту слуга внес светильник и поставил его на стол, и при свечах стало видно, какое растерянное у мечника лицо.

— Большая это честь для меня, — пробормотал он, — да... вот... сейчас не могу... Видишь, пан, гости у меня... Ты уж попроси у князя прощения...

— Ну, гости не помеха, — сказал Кмициц, — они князю уступят.

— У нас самих есть язык, сами можем за себя ответить! — вмешался в разговор Худзинский.

— Не станем ждать, покуда за нас решат дело! — прибавил Довгирд из Племборга.

— Вот видишь, пан мечник, — сказал Кмициц, делая вид, что принимает за чистую монету сердитые слова шляхтичей, — я знал, что они кавалеры политичные. А чтобы их не обидеть, прошу и их от имени князя в Кейданы.

— Слишком много чести! — ответили оба шляхтича. — У нас дела.

Кмициц бросил на них странный взгляд, а потом сказал холодно, точно обращаясь к кому-то постороннему:

— Когда князь просит, отказываться нельзя!

При этих словах шляхтичи вскочили со стульев.

— Стало быть хочешь заставить? — спросил мечник.

— Пан мечник, — с живостью ответил Кмициц, — гости поедут, хотят они этого или не хотят, потому что мне так заблагорассудилось; но с тобою я не хочу прибегать к силе и покорнейше прошу исполнить волю князя. Я на службе и получил приказ привезти тебя; но пока не потеряю всякую надежду уговорить тебя, буду просить сделать это по доброй воле! И клянусь тебе, волос у тебя там с головы не упадет. Князь желает поговорить с тобою и желает, чтобы в это смутное время, когда даже мужики собираются в шайки и грабят с оружием в руках, ты поселился в Кейданах. Вот и весь разговор! Будут тебя там принимать как гостя и друга, даю тебе слово кавалера!

— Я протестую как шляхтич! — сказал мечник. — Закон мне защита!

— И сабли! — крикнули Худзинский и Довгирд.

Кмициц засмеялся, но тут же, нахмурясь, сказал, обращаясь к шляхтичам:

— Спрячьте ваши сабли, не то велю обоим поставить у риги и — пулю в лоб!

Шляхтичи струсили, переглянулись, посмотрели на Кмицица, а мечник крикнул:

— Неслыханное насилие над шляхетской вольностью и привилегиями!

— Никакого насилия не будет, коли ты, пан, согласишься по доброй воле, — возразил Кмициц. — И вот тебе доказательство: я оставил в деревне драгун, сюда один приехал, чтобы позвать тебя как соседа к соседу. Не отказывайся же, время нынче такое, что трудно отказ принять во внимание. Сам князь попросит у тебя прощения, и будь уверен, примут тебя как соседа и друга. Ты и то пойми, когда бы дело обстояло иначе, пуля в лоб для меня была бы стократ легче, нежели ехать сюда за тобой. Покуда я жив, волос не упадет у Билевичей с головы. Подумай, пан, кто я, вспомни пана Гераклиуша, его завещание, и сам рассуди, мог ли князь гетман выбрать меня, когда бы таил умысел против вас?

— Так почему же он прибегает к насилию, почему я должен ехать по принуждению? Как могу я верить ему, коли вся Литва кричит о том, что в Кейданах стонут в неволе достойные граждане?

Кмициц вздохнул с облегчением, по голосу и речам мечника он понял, что тот начинает колебаться.

— Пан мечник! — сказал он, повеселев. — Между добрыми соседями принуждение часто берет *initium*^[116]. Когда ты приказываешь снять у доброго гостя колеса с брички и запираешь кузов в амбаре, разве это не принуждение? Когда заставляешь дорогого гостя пить, хоть вино у него уже носом льется, разве это не принуждение? А ведь тут дело такое, что коли мне и связать тебя придется и везти в Кейданы связанного, с драгунами, так и то для твоей же пользы. Ты только подумай: взбунтовавшиеся солдаты бродят повсюду и творят беззакония, мужики собираются в шайки, приближаются шведские войска, а ты надеешься, что в этом пекле тебе удастся уберечься от беды, что не сегодня, так завтра, не те, так другие не учинят на тебя наезда, не ограбят, не сожгут, не посягнут на твое добро и на тебя самого? Что же, по-твоему, Билевичи — крепость? Ты что, оборонишься тут? Чего тебе князь желает? Безопасности, ибо только в Кейданах ничто тебе не угрожает, а тут останется княжеский гарнизон, который как зеницу ока будет стеречь твое добро от солдат-своевольников,

и коли у тебя хоть одни вилы пропадут, бери все мое добро, пользуйся.

Мечник заходил по комнате.

— Могу ли я верить твоим словам?

— Как Завише^[117]! — ответил Кмициц.

В эту минуту в комнату вошла панна Александра. Кмициц стремительно бросился к ней, но, вспомнив о том, что произошло в Кейданах, и увидев холодное ее лицо, замер на месте и только в молчании издали ей поклонился.

Мечник остановился перед нею.

— Придется нам ехать в Кейданы, — сказал он.

— Это зачем? — спросила она.

— Князь гетман просит...

— Покорнейше просит! По-добрсоседски! — перебил его Кмициц.

— Да, покорнейше просит! — с горечью продолжал мечник. — Но коль не поедем по доброй воле, так этот кавалер имеет приказ окружить нас драгунами и взять силой.

— Не приведи бог, чтоб до этого дошло дело! — воскликнул Кмициц.

— Ну не говорила ли я тебе, дядя, — сказала мечнику панна Александра, — бежим отсюда подальше, не оставят нас тут в покое. Вот и сбылось!

— Что делать? Что делать? Разве пойдешь против силы! — воскликнул мечник.

— Да, — сказала панна Александра, — но в этот презренный дом мы не должны ехать по доброй воле. Пусть берут нас разбойники, вяжут и везут! Не мы одни будем терпеть преследования, не нас одних настигнет месть изменников; но пусть знают они, что для нас лучше смерть, нежели позор! — Она повернулась тут с выражением крайнего презрения к Кмицицу: — Вяжи нас, пан офицер или пан палач, и с драгунами вези, иначе мы не поедем!

Кровь ударила в лицо Кмицицу, казалось, он вот-вот вспыхнет страшным гневом, однако он совладал с собою.

— Ах, панна Александра! — воскликнул он сдавленным от волнения голосом. Ненавистен я тебе, коль скоро ты хочешь сделать из меня разбойника, изменника и насильника. Пусть бог рассудит, кто из нас прав: я ли, служа гетману, или ты, обращаясь со мной как с собакой. Бог дал тебе красоту, но сердце дал каменное и неукротимое. Ты сама рада помучиться, только бы кому-нибудь причинить еще горшие муки. Никакой меры не знаешь ты, панна Александра, клянусь богом, никакой меры не знаешь, а ни к чему это!

— Правильно девка говорит! — воскликнул мечник, который сразу вдруг набрался храбрости. — Не поедем мы по доброй воле! Бери нас, пан, с драгунами!

Но Кмициц и не смотрел на него, так возмущен он был, так глубоко уязвлен.

— Любо тебе мучить людей, — продолжал он, обращаясь к Оленьке. — И изменником ты меня без суда окричала, не выслушав моих оправданий, не дав мне слова сказать в свою защиту. Что ж, будь по-твоему! Но в Кейданы ты поедешь... по доброй ли воле, против ли воли — все едино! Там обнаружатся мои намерения, там ты узнаешь, справедливо ли меня обидела, там совесть скажет тебе, кто из нас чьим был палачом! Иной мести я не хочу! Бог с тобою, но этой мести я жажду. И ничего больше я от тебя не хочу, потому что гнула ты лук, покуда не сломила его! Змея сидит под твоей красою, как под цветком! Бог с тобой! Бог с тобой!

— Мы не поедем! — еще решительнее повторил мечник.

— Ей-ей, не поедем! — крикнули пан Худзинский из Эйраголы и пан Довгирд из Племборга.

Тут Кмициц повернулся к ним, он был уже страшно бледен, гнев душил его, и зубы щелкали, как в лихорадке.

— Эй, вы! — проговорил он. — Эй, вы! Только попробуйте мне! Конский топот слышен, драгуны мои едут! Попробуй только пикни кто, что не поедет!

И в самом деле за окном слышался топот многих всадников. Все увидели, что спасения нет, а Кмициц сказал:

— Панна! Через пять минут ты будешь в коляске, не то дяденька получит пулю в лоб! — Видно, дикий гнев все больше овладевал им, потому что он крикнул вдруг так, что стекла задребезжали в окнах: — В дорогу!

Но в то же мгновение тихо отворилась дверь из сеней, и чей-то чужой голос спросил:

— А куда это, пан кавалер?

Все окаменели от изумления, и все взоры обратились на дверь, в которой стоял маленький человечек в панцире и с саблей наголо.

Кмициц попятился на шаг, точно увидел приведение.

— Пан... Володыёвский — крикнул он.

— К твоим услугам! — ответил маленький человечек.

И шагнул на середину комнаты; за ним вошли толпой Мирский, Заглоба, оба Скшетуские, Станкевич, Оскерко и Рох Ковальский.

— Ха-ха! — рассмеялся Заглоба. — Казак татарина поймал, ан, на

аркан ему попал.

— Кто бы вы ни были, рыцари, — обратился к вошедшим мечник россиенский, — спасите гражданина, которого, вопреки закону, рождению и званию, хотят арестовать и заключить в темницу. Спасите, братья, шляхетскую вольность!

— Не бойся, пан! — ответил ему Володыёвский. — Драгуны этого кавалера уже связаны, и не тебе теперь нужно спасение, а ему.

— А больше всего нужен ему ксендз! — прибавил Заглоба.

— Пан кавалер, — обратился Володыёвский к Кмицицу. — Нет тебе со мною удачи, в другой уже раз стою я на твоей дороге. Не ждал ты меня?

— Нет! — ответил Кмициц. — Я думал, ты в руках князя.

— Ушел я из его рук... И ты знаешь, лежит мой путь туда, на Подляшье. Но довольно об этом. Когда ты первый раз похитил эту панну, я вызвал тебя драться на саблях, верно?

— Да! — ответил Кмициц и невольно поднес к голове руку.

— Теперь дело другое. Тогда ты был просто забияка, а такие среди шляхты часто встречаются; позорное это дело, но не последнее. Сегодня ты недостойн уже того, чтобы честный человек выходил с тобой на поединок.

— Это почему же? — спросил Кмициц. И поднял гордую голову, и устремил на Володыёвского взор.

— Потому что ты изменник и отступник, — ответил Володыёвский, — потому что ты, как палач, вырезал честных солдат, которые выступили на защиту отчизны, потому что по вашей вине несчастная страна стонет под новым игом! Короче говоря: выбирай смерть, ибо, видит бог, пришел твой смертный час.

— По какому праву вы хотите судить меня и казнить? — спросил Кмициц.

— Э, пан, — прервал его сурово Заглоба, — чем нас о праве спрашивать, читай лучше молитву. А коли есть у тебя что сказать в свою защиту, говори скорее, потому живой души не найдешь, которая бы за тебя заступилась. Слыхал я, заступилась однажды за тебя эта вот панна, умолила пана Володыёвского, чтобы отпустил тебя, но после того, что ты теперь совершил, верно, и она за тебя не заступится.

Все взоры невольно обратились на панну Биллевич, лицо которой в эту минуту было как каменное. Она стояла неподвижно, потупя взор, холодная, спокойная, но не сделала ни шагу, не сказала ни слова.

Тишину нарушил голос Кмицица:

— Я у этой панны не прошу защиты!

Панна Александра молчала.

— Сюда! — крикнул Володыёвский, повернувшись к двери.

Раздались тяжелые шаги, которым мрачно вторил звон шпор, и шесть человек солдат с Юзвой Бутрымом во главе вошли в покой.

— Взять его! — скомандовал Володыёвский. — Вывести за деревню, и пулю в лоб!

Тяжелая рука Бутрыма сжала ворот Кмицица, за нею две другие сделали то же.

— Вели отпустить. Нечего тащить меня, как собаку! — сказал пан Анджей Володыёвскому. — Я сам пойду.

Маленький рыцарь кивнул солдатам, те тотчас отпустили пана Анджея, но окружили его; он вышел спокойно, не говоря никому ни слова, шепча только про себя молитву.

Панна Александра тоже вышла в противоположную дверь, ведущую в дальние покои. Она прошла один покой, другой, вытягивая перед собою в темноте руки; и вдруг голова у нее закружилась, дыхание стеснилось в груди, и она замертво повалилась на пол.

А в первом покое некоторое время царило немое молчание; тишину прервал наконец мечник россиенский.

— Ужели нет для него пощады? — спросил он.

— Жаль мне его! — ответил Заглоба. — Решительно пошел он на смерть!

— Он расстрелял человек двадцать хорунжих из моей хоругви, — вмешался Мирский, — кроме тех, которых уложил в бою.

— И из моей! — прибавил Станкевич. — А людей Невяровского всех изрубил до последнего.

— Наверно, Радзивилл ему приказал, — сказал Заглоба.

— Вы навлечете на меня месть Радзивилла! — заметил мечник.

— Тебе, пан, надо бежать. Мы едем на Подлясье, там против изменников поднялись хоругви, вот вы и собирайтесь сейчас с нами. Другого выхода нет. Вы можете укрыться в Беловежской пуще, где живет родич пана Скшетуского, королевский ловчий. Там вас никто не найдет.

— Но пропадет мое добро.

— Речь Посполитая все тебе воротит.

— Пан Михал, — сказал вдруг Заглоба, — пойду-ка я взгляну, не было ли у этого несчастного каких-нибудь приказов гетмана. Помните, что я нашел у Роха Ковальского?

— Скачи, пан, на коне. Время еще есть, а то потом бумаги будут в крови. Я нарочно велел вывести его за деревню, чтобы панна не испугалась треска мушкетов, — женщины народ нежный, пугливый.

Заглоба вышел, и через минуту послышался топот коня, на котором он ускакал.

— А что делает твоя родичка? — обратился к мечнику Володыёвский.

— Молится, наверно, за душу, которая предстает судилищу Христову...

— Вечная память ему! — сказал Ян Скшетуский. — Не служи он по доброй воле Радзивиллу, я бы первый за него заступился; мог же он хоть душу не продавать Радзивиллу, если уж не хотел встать на защиту отчизны.

— Да! — произнес Володыёвский.

— Виноват он и заслужил свою участь! — сказал Станислав Скшетуский. — Но лучше бы на его месте был Радзивилл или Опалинский! Ох, уж этот мне Опалинский!

— Велика его вина, — вмешался в разговор Оскерко, — и лучшее тому доказательство, что даже у девушки, которая была его невестой, слова для него не нашлось. Видел я, как она терзалась, а ведь молчала, да и как же заступаться за изменника?!

— А любила она его когда-то всем сердцем, я это знаю! — заметил мечник. — Позвольте мне пойти посмотреть, что с нею, тяжкое это испытание для девушки.

— Собирайся, пан, в дорогу! — крикнул маленький рыцарь. — Как только лошади отдохнут, мы тотчас тронемся в путь. Слишком близко отсюда Кейданы, а Радзивилл уже, наверно, туда вернулся.

— Ладно! — сказал шляхтич. И вышел из покоя.

Через минуту раздался его пронзительный крик. Рыцари бросились на его голос, не понимая, что могло случиться, прибежали слуги со свечами; все они увидели мечника с Оленькой на руках, которую он нашел лежащей без памяти на полу.

Володыёвский подбежал, чтобы помочь старику, и они вдвоем уложили девушку, не подававшую признаков жизни, на софу. Стали приводить в чувство. Прибежала старая ключница с сердечными каплями, и девушка открыла наконец глаза.

— Вам тут делать нечего, — сказала рыцарям старуха. — Ступайте в тот покой, а мы уж тут сами справимся.

Мечник увел гостей.

— Лучше бы этого не было, — говорил обеспокоенный хозяин. — Вы могли забрать с собой этого несчастного и пристрелить его не у меня, а где-нибудь по дороге. Как же теперь ехать, как бежать, когда девушка еле жива? Того и гляди совсем расхворается.

— Так уж оно случилось, — сказал Володыёвский. — Усадим панну в

карету, потому что бежать вам надо непременно, ведь месть Радзивилла никого не щадит.

— Может статься, и панна скоро придет в себя? — заметил Ян Скшетуский.

— Удобная карета готова и уже запряжена, Кмициц ее привез с собою, — сказал Володыёвский. — Поди, пан мечник, скажи панне Александре, как обстоит дело, и про то скажи ей, что медлить нельзя, пусть соберется с силами. Нам непременно надо уехать, а то к утру сюда могут нагрянуть радзивилловцы.

— Это верно! — промолвил мечник. — Пойду скажу ей!

Он вышел и через некоторое время вернулся с Оленькой, которая не только успела оправиться, но была уже одета в дорогу. Только лицо ее пылало, и глаза лихорадочно блестели.

— Едем, едем! — повторила она, войдя в покой.

Володыёвский на минуту вышел в сени, чтобы послать людей за каретой, а когда он вернулся, все стали собираться в дорогу.

Спустя четверть часа за окнами раздался стук колес и конский топот по булыжникам, которыми был вымощен двор у крыльца.

— Едем! — сказала Оленька.

— В путь! — воскликнули офицеры.

Внезапно дверь распахнулась настежь, и Заглоба, как бомба, влетел в комнату.

— Я остановил расстрел! — крикнул он.

Оленька мгновенно побелела как стена, казалось, она снова упадет без чувств; однако никто этого не заметил, все взоры были обращены на Заглобу, который пыхтел, как кит, силясь перевести дух.

— Ты, пан, остановил казнь? — с удивлением спросил Володыёвский. — Это почему же?

— Почему?.. Дай дух перевести... А потому, что, не будь этого Кмицица, не будь этого достойного кавалера, все мы, присутствующие здесь, висели бы со вспоротым брюхом на кейданских деревьях! Уф!.. Мы хотели убить нашего благодетеля! Уф!..

— Как так? — крикнули все хором.

— Как так? А вот прочитайте это письмо, в нем вы найдете ответ.

С этими словами Заглоба протянул Володыёвскому письмо; тот стал читать, поминутно прерывая чтение и поглядывая на товарищей: это было то самое письмо, в котором Радзивилл с горечью упрекал Кмицица за то, что по настойчивому его заступничеству он не казнил их в Кейданах.

— Ну как? — всякий раз повторял в перерыве Заглоба.

В конце письма Радзивилл, как известно, приказывал привезти в Кейданы мечника и Оленьку. Пан Анджей, видно, потому и имел при себе это письмо, что хотел, если понадобится, показать его мечнику; однако дело до этого не дошло.

Не оставалось ни тени сомнения, что, не будь Кмицица, оба Скшетуские, Володыёвский и Заглоба были бы безо всякой пощады убиты в Кейданах сразу же после заключения известного договора с Понтусом де ла Гарди.

— Друзья, — сказал Заглоба, — если вы и теперь прикажете его расстрелять, клянусь богом, брошу вас, знать вас тогда не хочу!

— Об этом и разговору нет, — ответил Володыёвский.

— Ах! — воскликнул Скшетуский, хватаясь за голову. — Какое счастье, что отец не стал возвращаться к нам с письмом, а прочитал его тут же на месте.

— Ты, пан, видно, в темя не колочен! — воскликнул Мирский.

— Ну, каково! — воскликнул Заглоба. — Всяк на моем месте первым делом бросился бы к вам читать письмо, а молодцу тем временем набили бы голову свинцом. Но когда мне принесли бумагу, которую нашли при нем, меня будто осенило, да и очень я от природы любопытен. Двое солдат с фонарями шли впереди и уж были на лугу. Я им и говорю: «А ну-ка посветите мне, погляжу я, что тут написано...» И давай читать. Верите, в глазах у меня потемнело, будто кто по лысине кулаком меня ахнул. «Ради Христа, говорю, пан кавалер, да почему же ты не показал это письмо?» А он мне на это: «Не захотел!» Такой дьявол гордый даже в минуту смерти. Ну, бросился я к нему на шею и давай его обнимать! «Голубчик! — говорю. — Да когда бы не ты, давно бы нас воронье сглодало!» Велел его назад вести, а сам чуть коня не загнал, чтобы вам поскорее все рассказать! Уф!..

— Удивительный человек, видно, в нем одинаково что добра, что худа, — сказал Станислав Скшетуский. — Если бы такие не захотели...

Но не успел он кончить, как дверь распахнулась, и солдаты ввели Кмицица.

— Ты свободен, пан кавалер, — обратился к пану Анджею Володыёвский, — и покуда мы живы, ни один из нас не посягнет на твою жизнь. Какой же отчаянный ты человек, что сразу не показал нам это письмо! Мы бы тебя не стали трогать! — Затем он обратился к солдатам: — Ступайте, всем садиться на конь!

Солдаты ушли, и пан Анджей остался один посреди покоя. Лицо его было спокойно, но мрачно; не без кичливости смотрел он на стоявших

перед ним офицеров.

— Ты свободен! — повторил Володыёвский. — Можешь идти куда хочешь, даже к Радзивиллу воротиться, хоть и больно нам смотреть на благородного рыцаря, который помогает изменнику против отчизны.

— Ты, пан, прежде хорошенько подумай, — ответил Кмициц, — заранее предупреждаю, что ворочусь я только к Радзивиллу!

— Чтоб его гром убил, этого кейданского тирана! — воскликнул Заглоба. — Присоединяйся ты лучше к нам. Будешь нам товарищем и любезным другом, а родина-мать простит тебе твои вины!

— Ни за что! — с силою сказал Кмициц. — Бог рассудит, кто вернее служит отчизне, вы ли, начиная на свой страх смуту, я ли, служа господину, который один только может спасти несчастную Речь Посполитую. Идите вы своей дорогой, я пойду своей! Не время наставлять вас на путь истинный, да и напрасный был бы это труд; но от всей души говорю вам: это вы губите отчизну, это вы преграждаете ей путь ко спасению. Я не назову вас изменниками, ибо знаю, что намерения у вас благородные, но что же получается: отчизна тонет, Радзивилл протягивает ей руку, а вы мечами колете эту руку и в ослеплении почитаете изменниками и его, и всех тех, кто становится на его сторону.

— Ей-богу! — воскликнул Заглоба. — Когда бы я не видел, как смело ты шел на смерть, я бы подумал, что ум у тебя от страха помутился. Кому ты присягал на верность: Радзивиллу или Яну Казимиру? Швеции или Речи Посполитой? Совсем ты ум потерял!

— Я знал, что напрасный это труд наставлять вас! Будьте здоровы!

— погоди! — сказал Заглоба. — Дело ведь важное. Скажи мне, пан кавалер, не обещал ли тебе Радзивилл пощадить нас, когда ты просил его об этом в Кейданах?

— Обещал! — ответил Кмициц. — Вы на время войны должны были остаться в Биржах.

— Так погляди же, каков он, твой Радзивилл, который предаёт не только отчизну, не только короля, но и собственных слуг. Вот письмо к биржанскому коменданту, я нашел его у офицера, который командовал конвоем. Читай!

С этими словами Заглоба протянул Кмицицу письмо гетмана. Тот взял его и стал пробегать глазами: по мере того как он читал, краска стыда за своего вождя все сильнее бросалась ему в лицо. Внезапно он смял письмо и бросил наземь.

— Будьте здоровы! — сказал он. — Лучше было мне погибнуть от ваших рук!

И вышел вон.

— Трудное дело с ним, — заговорил после минутного молчания Скшетуский. — Как турок верит в своего Магомета, так он верит в своего Радзивилла. Я и сам думал, как вы, что он служит ему из корысти или из честолюбия. Нет! Человек он неплохой, но заблуждается.

— Если он и поклонялся доселе своему Магомету, — заметил Заглоба, — так я дьявольски подорвал у него эту веру. Видали, как его всего передернуло, когда он прочитал письмо. Много шуму будет у них, потому он не то что на Радзивилла, на самого сатану готов броситься. Клянусь богом, так я рад, что спас его от смерти, что, подари мне кто табун турецких скакунов, и то бы так не обрадовался.

— Это верно, — сказал мечник, — что тебе обязан он жизнью, тут и спорить нечего.

— Бог с ним! — сказал Володыёвский. — Давайте совет держать, что теперь делать.

— Что делать? Садиться на конь и трогаться в путь. Лошаденки тоже немного отдохнули, — ответил Заглоба.

— Да! Ехать надо немедля! А ты, пан, с нами поедешь? — спросил мечника Мирский.

— Не дадут мне здесь покоя, придется тоже ехать. Но вы сейчас же хотите трогаться в путь, а мне, сказать по правде, не с руки так вот сразу срываться с места. Коли Кмициц живой уехал, так мне тут сразу дом не сожгут и меня не убьют, а в такую дорогу снарядиться надо. Бог его знает, когда назад воротиться! И распорядиться надо, и припрятать что получше, и скотину да пожитки отослать к соседям, и уложиться. И денег у меня есть немного, я их тоже хотел бы прихватить с собою. К утру, к рассвету, я буду готов, а так, тят да ляп, не могу.

— Мы тоже не можем ждать, меч висит над нами, — ответил Володыёвский. — А где ты хочешь укрыться, пан?

— В пуще, как вы советовали. По крайности девушку там оставлю, ну а сам я еще не старик, и моя сабелька еще может послужить отчизне и милостивому нашему королю.

— Тогда будь здоров! Дай бог встретиться в лучшие времена.

— Да вознаградит вас бог за то, что пришли мне на помощь. Может, еще встретимся рядом на поле битвы.

— Доброго здоровья!

— Счастливого пути!

И они стали прощаться, а потом все рыцари по очереди подходили проститься к панне Александре.

— Увидишь в пуще жену мою и мальчишек, обними их от меня, панна Александра, и дай тебе бог здоровьем цвесть, — сказал Ян Скшетуский.

— Вспомни же часом солдата, который, хоть и не имел у тебя удачи, рад за тебя душу положить! — прибавил Володыёвский.

После них подходили все прочие. Приблизился, наконец, Заглоба.

— Прими же, цветик мой прекрасный, прощальный привет от старика! Обними пани Скшетускую и моих сорванцов. Хорошие ребята!

Вместо ответа Оленька схватила его за руку и без слов прижала к губам.

ГЛАВА XXI

В ту же ночь, через каких-нибудь два часа после отъезда Володыёвского, в Биллевичи прибыл во главе конницы сам Радзивилл; опасаясь, как бы Кмициц не попал в руки Володыёвского, он вышел ему на подмогу. Узнав, что произошло в Биллевичах, князь забрал с собой мечника и Оленьку и, не дав отдохнуть даже лошадям, отправился назад, в Кейданы.

Гетман не помнил себя от гнева, когда слушал мечника, который, желая отвратить от себя внимание грозного магната, подробно рассказал ему обо всем. По той же причине мечник не осмелился протестовать против поездки в Кейданы и в душе рад был, что тучу пронесло. А Радзивилл, хоть и подозревал его в «кознях» и заговоре, однако в эту минуту был слишком удручен, чтобы вспомнить об этом.

Бегство Володыёвского могло изменить положение на Подляшье. Гороткевич и Якуб Кмициц, которые стояли во главе хоругвей, составивших конфедерацию против гетмана, были хорошими солдатами, но большого веса не имели, а потому не имела веса и вся конфедерация. А с Володыёвским бежали Мирский, Станкевич, Оскерко, офицеры, как и сам маленький рыцарь, выдающиеся и окруженные всеобщим почетом.

Правда, на Подляшье был князь Богуслав с надворными хоругвями, который сдерживал напор конфедератов, ожидая с часу на час помощи от своего дяди курфюрста^[118]; однако дядя курфюрст мешкал, видно, выжидал, какой оборот примут события, а тем временем силы мятежников росли и к ним с каждым днем прибывало все больше сторонников.

Одно время гетман сам хотел двинуться на Подляшье и одним ударом раздавить мятежников; но его удержала мысль о том, что, стоит ему только выйти за пределы Жмуди, против него восстанет весь край и тогда Радзивиллы потеряют в глазах шведов всякое значение.

Поэтому князь подумывал уже о том, не оставить ли на время Подляшье совсем и не вызвать ли князя Богуслава в Жмудь.

Дело было важное и требовало безотлагательного решения, так как с востока шли грозные вести о действиях витебского воеводы. Гетман пытался примириться с ним и вовлечь его в свое предприятие; но Сапега отослал письма без ответа; зато прошел слух, будто он распродает все, что только можно, из серебра чеканит монету, стада отдает за наличные деньги, закладывает евреям даже гобелены и ковры, сдает в аренду поместья, а сам собирает войска.

Гетман, человек по натуре жадный и не способный на материальные жертвы, сначала верить не хотел, что на алтарь отчизны можно без колебаний принести все состояние; но со временем он убедился, что так оно на самом деле и было, ибо воинская мощь Сапеги росла с каждым днем. К витебскому воеводе присоединялись беглецы, местная шляхта, патриоты, враги Радзивилла, более того, прежние друзья гетмана и, что еще хуже, — его родственники, например князь ловчий Михал, который, как гласила молва, все доходы от своих поместий, еще не захваченных неприятелем, передал витебскому воеводе на военные нужды.

Так дало трещину у основания и заколебалось все здание, возведенное гордыней Януша Радзивилла. Всю Речь Посполитую должно было вместить это здание, а меж тем в самом непродолжительном времени обнаружилось, что не может оно объять даже одну только Жмудь.

Получался как бы заколдованный круг, ибо Радзивилл мог, например, вызвать против витебского воеводы шведские войска, которые все шире заливали край; но это означало бы признать собственное бессилие. Да и отношения с шведским генералиссимусом после клеванского боя были у него по милости Заглобы испорчены, и, невзирая на все попытки князя оправдаться, между ними возникли недоверие и рознь.

Отправляясь на помощь Кмицицу, гетман еще надеялся схватить и уничтожить Володыёвского, однако он обманулся и в этих своих ожиданиях и возвращался в Кейданы мрачный и злой. Он удивился и тому, что по дороге в Билевичи не встретил Кмицица; случилось это по той простой причине, что пан Анджей возвращался в Кейданы без драгун, которых не замедлил увести с собою Володыёвский, а потому он избрал кратчайший путь через леса, минуя Племборг и Эйраголу.

Проведя всю ночь в седле, гетман к полудню следующего дня прибыл с войском в Кейданы и первым делом спросил Кмицица. Ему ответили, что Кмициц воротился, но без солдат. Об этом князь уже знал, но ему любопытно было услышать, что скажет сам Кмициц, и он велел тотчас позвать рыцаря к себе.

— Не посчастливилось ни тебе, ни мне, — сказал он, когда Кмициц явился к нему. — Мне говорил уже россиенский мечник, что ты попал в лапы этого малого дьявола.

— Да! — ответил Кмициц.

— И мое письмо спасло тебя?

— О котором письме ты говоришь, ясновельможный князь? Прочитавши то письмо, которое было при мне, они в награду прочитали мне другое, которое ты писал биржанскому коменданту...

Угрюмое лицо Радзивилла побагровело.

— Стало быть, ты знаешь?

— Знаю! — запальчиво ответил Кмициц. — Как мог ты, князь, так со мною поступить? Простому шляхтичу стыдно нарушать слово, что же говорить о князе и вожде!

— Молчи! — крикнул Радзивилл.

— Не стану молчать, я от стыда за тебя не знал, куда глаза девать! Они меня уговаривали присоединиться к ним, а я не хотел, я сказал им: «Служу Радзивиллу, ибо на его стороне правда, на его стороне честь!» А они в ответ показали мне то письмо: «Посмотри, каков он, твой Радзивилл!» — и мне пришлось замолчать и стыдом умыться!

Губы гетмана задергались от ярости. Его охватило дикое желание свернуть шею этому дерзкому молодцу, он готов уже был поднять руки, чтобы хлопнуть в ладоши и кликнуть слуг. От гнева у него потемнело в глазах, дыхание стеснилось в груди, и Кмицицу, наверно, дорого пришлось бы заплатить за свою вспышку, когда бы не внезапный приступ астмы, который в эту минуту начался у князя. Лицо его почернело, он вскочил с кресла и стал водить руками по воздуху, глаза у него вышли из своих орбит, а из горла вырвался сдавленный хрип, в котором Кмициц еле разобрал одно-единственное слово:

— Душно!..

Молодой рыцарь поднял тревогу, сбежались слуги, придворные лекари и начали отхаживать князя, который тут же потерял сознание. Час целый приводили его в чувство, а когда он наконец стал подавать признаки жизни, Кмициц вышел вон.

В коридоре он встретил Харлампа, который уже подлечил раны и увечья, полученные в бою с взбунтовавшимися венграми Оскерко.

— Что нового? — спросил усач.

— Уже приходит в себя! — ответил Кмициц.

— Гм! Но скоро, пожалуй, и вовсе не придет! Плохо дело, пан полковник! Кончится князь, и за все его дела мы будем в ответе. Вся надежда на Володыёвского, авось старых товарищей возьмет под защиту. Я потому и рад, скажу тебе, — тут Харламп понизил голос, — что он ускользнул.

— Так его там зажали?

— Зажали, говоришь? Да в том ольшанике, где мы его окружили, волки были, и те не ушли, понимаешь, а он ушел. Разрази его гром! Как знать, как знать, не придется ли идти к нему на поклон, а то у нас что-то худы дела. Шляхта совсем от нашего князя отвернулась, все говорят, что

лучше уж настоящий враг, швед или хоть татарин, нежели отступник. Вот оно дело какое! А тут еще князь, что ни день, все больше велит людей хватать и сажать в тюрьму, а ведь это, между нами говоря, не по закону и против вольности. Сегодня привезли россиенского мечника!

— А? Так его привезли?

— Да, и с родичкой. Девушка — что маков цвет! Поздравить тебя можно!

— Где же их поместили?

— В правом крыле. Хорошие покои им дали, грех жаловаться, одно только, что стража под дверью ходит. А когда свадьба, пан полковник?

— Еще капелла на ту свадьбу не заказана. Будь здоров, пан Харламп! — ответил Кмициц.

Простившись с Харлампом, Кмициц направился к себе. Бурные события этой бессонной ночи и последнее столкновение с князем так его измучили, что он на ногах не держался. К тому же исстрадалась душа его, и больно ей было от малейшего прикосновения, как усталому, истерзанному телу. Простой вопрос Харлампа: «Когда свадьба?» — глубоко уязвил его, снова встало перед ним, как живое, холодное лицо Оленьки и сжатые ее губы в ту минуту, когда молчанием своим она как бы утвердила смертный приговор ему. Не важно, могло ли или не могло спасти его ее слово, посчитался ли бы с ним или нет Володыёвский! Все горе и вся боль в том и заключались, что она не вымолвила этого слова. А ведь до этого она дважды без колебаний спасала его. Так вот какая пропасть разделила их теперь, так вот насколько угасла в ее сердце не любовь к нему, нет, — простая приязнь, которую можно питать и к чужому, простая жалость, которую должно питать к каждому! Чем больше думал об этом Кмициц, тем жестокосердней казалась ему Оленька, тем горше была обида и глубже рана. «Что же сделал я такого, — спрашивал он самого себя, — чтобы меня так презирать, точно отвержен я церковью? Даже если дурно было служить Радзивиллу, нет в том моей вины, ибо положи руку на сердце могу я сказать, что делаю это не ради званий и чинов, не ради корысти, не ради богатства, а потому, что почитаю это за благо для отчизны. За что же без суда меня осудили?»

— Ладно, ладно! Будь что будет! Не пойду я ни каяться в несодеянных прегрешениях, ни просить снисхождения! — в тысячный раз повторял он себе.

Однако боль не проходила, напротив, все больше усиливалась. Вернувшись к себе; пан Анджей бросился на ложе и пробовал уснуть, но, несмотря на страшную усталость, не мог. Через минуту он встал и начал

ходить по покою. Время от времени он прижимал руку ко лбу и говорил сам себе вслух:

— Одно можно сказать, не сердце у нее — камень! — И снова: — Этого я от тебя, панна Александра, не ждал! Пусть тебе бог за это отплатит!

В таких размышлениях прошел час, другой, наконец пан Анджей изнемог и задремал, сидя на постели, но уснуть так и не успел: явился придворный князя, пан Шкиллондж, и позвал его к князю.

Рздзивиллу уже было лучше, и дышал он свободней, однако на сером его лице были видны следы крайнего изнеможения. Он сидел в глубоком кресле, обитом кожей, при нем был лекарь, которого он; как только вошел Кмициц, уснул из покоя.

— Одной ногой я в могиле был, и все из-за тебя — сказал князь пану Анджею.

— Ясновельможный князь, не моя в том вина; я сказал то, что думал.

— Больше так не делай. Не прибавляй хоть ты новой тяжести к бремени, которое я влачу, и знай: то, что я тебе простил, другому не простил бы никогда.

Кмициц молчал.

— Я приказал, — продолжал через минуту князь, — казнить в Биржах этих офицеров, за которых ты просил в Кейданах, не потому, что хотел тебя обмануть, а потому, что не хотел причинять тебе страданий. Для виду внял я твоим мольбам, ибо питаю к тебе слабость. А смерть их была неизбежна. Ужели я палач, или ты думаешь, что я проливаю кровь лишь для того, чтобы зрелищем ее усладить свой взор? Поживешь — увидишь, что тот, кто хочет достигнуть цели, не должен снисходить ни к собственной, ни к чужой слабости, не должен жертвовать великим ради малого. Эти люди должны были здесь умереть, в Кейданах, разве ты не видишь, что принесло твое заступничество? В стране растет сопротивление, началась смута, поколеблена добрая дружба со шведами, другим подан дурной пример, от которого бунт ширится, как чума. Мало того, я сам был принужден идти против них в поход и стыдом умылся перед лицом всего войска, ты едва не погиб от их руки, а теперь они пойдут на Подляшье и возглавят бунт. Смотри и учись! Умри они в Кейданах — ничего бы этого не было. Но ты, когда просил за них, думал лишь о собственных чувствах, я же послал их на смерть в Биржи, ибо искушен, ибо вижу дальше, ибо знаю по опыту, что, кто на бегу споткнется даже о камешек, тот легко может упасть, а тот, кто упадет, может больше не подняться, и тем скорее он не поднимется, чем стремительней был его бег. Боже мой, сколько зла натворили эти люди!

— Ясновельможный князь, значенье их не так уж велико, чтобы могли

они разрушить весь твой замысел.

— Когда бы вся их вина только в том и состояла, что они поссорили меня с Понтусом, и то какой непоправимый вред! Все объяснилось известно, что люди были не мои, но осталось письмо Понтуса с угрозами, которого я ему не прощу. Понтус — шурина короля, но сомневаюсь, чтобы он мог стать моим шурином, войти в родню к Радзивиллам, — слишком много чести для него.

— Ясновельможный князь, ты не со слугами веди переговоры, а с самим королем.

— Так я и хочу сделать. И коль не сокрушат меня печали, я научу этого, ничтожного шведа скромности! Коль не сокрушат меня печали, — но, увы, верно, этим все кончится, ибо никто не щадит для меня ни игл терновых, ни страданий. Тяжко мне! Тяжко! Кто мог бы поверить, что я тот самый Радзивилл, который был под Лоевом, Речицей, Мозырем, Туровом, Киевом и Берестечком^[119]? Вся Речь Посполитая, как на два солнца, взирала только на меня и Вишневецкого! Все трепетало перед Хмельницким, а он трепетал перед нами. И те самые войска, которые в годину всеобщего бедствия я вел от победы к победе, сегодня меня оставили и, как предатели, руку поднимают на меня!

— Не все же, есть такие, которые еще верят тебе! — порывисто сказал Кмищиц.

— Еще верят! — с горечью подхватил Радзивилл. — Но скоро перестанут! Какое снисхожденье! Не дай бог отравиться его ядом! Рану за раной наносите вы мне, хотя никто из вас об этом не думает!

— Ясновельможный князь, ты не речам внимай, в намеренья проникни.

— Спасибо за совет! Отныне я буду заглядывать в глаза каждому солдату, чтобы проникнуть в его намеренья, и буду стараться всем угодить.

— Горьки твои слова, ясновельможный князь!

— А жизнь сладка! Бог меня создал для великих свершений, а я принужден, — да! принужден, — тратить силы на жалкую междоусобную войну, какую мог бы вести застынок с застынком. Я хотел меряться силами с могучими монархами, а пал так низко, что принужден в собственных владениях ловить какого-то Володыёвского. Вместо того чтобы весь мир потрясти своею силой, я потрясаю его своею слабостью, вместо того, чтобы за пепелище Вильно отплатить пепелищем Москвы, а принужден благодарить тебя за то, что ты обнес шанцами Кейданы. Тесно мне... и душно... не только потому, что астма меня душит. Бессилие крушит меня. Бездействие крушит меня. Тесно и тяжело мне! Понимаешь?

— И я думал, что все будет по-иному! — угрюмо уронил Кмициц. Радзивилл стал тяжело дышать.

— Прежде, чем дождусь я венца иного, терновый возложили на мою главу. Я велел пастору Адерсу посмотреть на звезды. Сейчас он начертал их положение и говорит, что не сулит оно добра, но что это пройдет. А покуда терплю я муки. Ночью кто-то не дает мне спать, кто-то ходит по покою. Чьи-то лица заглядывают ко мне в постель, а то вдруг обдаст меня холодом. Это смерть моя ходит. Терплю я муки... И должен быть готов я к новым изменам, к новым предательствам, ибо знаю, есть такие, которые колеблются...

— Нет уже больше таких! — ответил Кмициц. — Кто хотел предать, тот ушел уже прочь!

— Не обманывай меня, ты же сам видишь, что все поляки начинают оглядываться назад.

Кмициц вспомнил слова Харлампа и умолк.

— Ничего! — сказал Радзивилл. — И тяжело и страшно, но надо выстоять! Ты никому не говори о том, что я сказал тебе. Хорошо, что приступ у меня был, он больше сегодня не повторится, а мне нужны силы, хочу созвать гостей на пир и веселым явиться перед ними, дабы укрепить их дух. И ты развеселись, и никому ни слова, ибо тебе я для того открылся, чтобы хоть ты меня не мучил. Гнев обуял меня сегодня. Смотри, чтобы больше это не повторилось, не то можешь поплатиться головой. Простил уж я тебя. Шанцы, которыми ты обнес Кейданы, сделали бы честь самому Петерсону. Ступай теперь, а ко мне пришли Мелешко. Привели сегодня беглецов из его хоругви, одних солдат. Прикажу ему перевешать всех до единого. Чтобы их пример был другим наукой. Будь здоров! Сегодня в Кейданах должно быть весело!..

ГЛАВА XXII

Россиенскому мечнику пришлось долго уговаривать панну Александру, прежде чем она согласилась пойти на пир, который гетман устраивал для своих людей. Чуть не со слезами пришлось старику умолять упрямую и смелую девушку, убеждать ее, что за послушание может поплатиться он головой, что не только военные, но и все окрестные помещики, которые были в руках Радзивилла, должны явиться на пир под страхом княжеского гнева, как же можно упираться тем, кто отдан во власть этого страшного человека. Не желая подвергать дядю опасности, панна Александра уступила.

Съезд был большой, окрестной шляхты с женами и детьми явилось множество. Но больше всего было военных, особенно иноземных офицеров, которые почти все остались служить князю. Сам он, прежде чем показаться гостям, принял веселый вид, будто не тяготила его никакая забота, ибо этим пиром он хотел не только поднять дух своих приверженцев и военных, но и показать, что все граждане стоят на его стороне и лишь мятежники противятся унии с Швецией, хотел показать, что страна ликует вместе с ним, а потому не щадил ни средств, ни денег, чтобы пиршество было роскошным и слух о нем разнесся по всей стране. Едва сумрак спустился на землю, сотни бочек запылали на дороге к замку и в замковом дворе, то и дело гремели пушки, а солдатам было приказано издавать веселые клики.

Одна за другой катили кареты, шарабаны и брички, везя окрестную знать и шляхту «поплоше». Двор наполнился экипажами, лошадьми, слугами гостей и княжеской челядью. Толпы гостей, разряженных в бархат, парчу и дорогие меха, наполнили так называемую «золотую» залу, а когда наконец, весь сияя в камнях, показался гетман с милостивой улыбкой на обычно угрюмом лице, к тому же изнуренном болезнью, офицеры первые крикнули хором:

— Да здравствует князь гетман! Да здравствует воевода виленский!

Радзивилл вскинул внезапно глазами на собравшихся помещиков, чтобы посмотреть, подхватят ли они клики офицеров. Десятка два шляхтичей, из числа тех, что потрусливей, подхватили клики, и князь тотчас стал кланяться и благодарить гостей за чувства искренние и «единодушные».

— С вами, — говорил он им, — мы сумеем одолеть тех, кто хочет

погубить отчизну! Да вознаградит вас бог! Да вознаградит вас бог!

И он ходил вокруг залы, останавливался около знакомых, не скупясь в разговоре на ласковые слова: «дорогой брат», «милый сосед», — и у многих прояснились хмурые лица от теплых лучей княжеской милости.

— Немыслимое это дело, — толковали те из гостей, которые до недавних пор с неприязнью смотрели на его действия, — чтобы такой властитель и сенатор лишь для виду желал добра отчизне: либо не мог не поступить иначе, либо есть тут некие аргана^[120], которые принесут пользу отчизне.

— Вот и другой наш враг дал нам передышку, не хочет из-за нас ссориться со шведами.

— Дай бог, чтобы все переменилось к лучшему!

Были, однако, такие, которые качали головами или переглядывались друг с другом, как бы говоря: «Мы здесь лишь потому, что меч занесен над нами».

Но эти молчали, те же, кого легко было переманить, говорили громко, так громко, чтобы князь мог слышать их:

— Лучше короля сменить, чем погубить Речь Посполитую.

— Пусть Корона думает о себе, а мы будем думать о себе.

— Кто, в конце концов, подал пример, как не Великая Польша?

— *Externa necessitas extremis nititur rationibus!*

[Исключительные обстоятельства требуют исключительных средств!
(Лат.)

— *Tentanda omnia!*^[121]

— Облечем же нашего князя всей полнотой доверия и положимся во всем на него. Отдадим в его руки Литву и власть над нами!

— Достоин он и Литвы и власти. Коли он не спасет нас, мы погибнем. В нем *salus*[Спасение (лат.)].?

— Ближе он нам, чем Ян Казимир, наша это кровь!

Жадным слухом ловил гетман эти слова, рожденные страхом или лестью, и не смотрел на то, что слышит их из уст людей особых, которые в опасности первыми бы его оставили, из уст людей, которых самый легкий ветерок мог, как волну, повернуть в другую сторону. Он упивался этими словами, и сам обманывался, и совесть свою обманывал, повторяя те из них, которые, казалось, больше всего оправдывали его:

— *Externa necessitas extremis nititur rationibus!*

Но когда, проходя мимо сбившейся толпою шляхты, он услышал вдобавок возглас пана Южица: «Ближе он нам, чем Ян Казимир!» — лицо

его совсем прояснилось. Уже одно сравнение с королем, одно это сопоставление польстило его гордости; он тотчас приблизился к Южицу и промолвил:

— Ты прав, пан, ибо у Яна Казимира на ведро крови лишь кварта литовской, а в моих жилах нет иной. Доныне кварта ведром повелевала, но от вас, друзья, зависит переменить это.

— Мы тоже ведром готовы пить за твое здоровье, ясновельможный князь! — сказал Южиц.

— О, ты угадал мою мысль. Веселитесь же, братья! Я бы с радостью всю Литву позвал сюда.

— Надо бы ее для этого еще лучше окорнать, — сказал пан Шанецкий из Дальнова, человек смелый и такой же остролов, как и рубака.

— Что ты, пан, хотел этим сказать? — спросил князь, устремив на него пронзительный взгляд.

— Что сердцу твоему, ясновельможный князь, тесны Кейданы.

Радзивилл принужденно улыбнулся и направился дальше.

В эту минуту к нему подошел дворецкий и доложил, что ужин подан. Толпы гостей рекою потекли за князем в ту самую залу, где недавно была провозглашена уния с Швецией. Там дворецкий рассадил приглашенных по чинам, называя каждого по имени и званию. Но, видно, приказ об этом тоже был заранее дан князем, потому что Кмицицу досталось место между мечником россиенским и панной Александрой.

Сердца затрепетали у обоих, когда услышали они свои имена, названные вместе, и оба заколебались в первую минуту, но подумали, верно, что противиться — это значит привлечь к себе взоры всех присутствующих, и сели рядом, Худо им было и тяжело. Пан Анджей решил про себя прикинуться равнодушным, будто рядом сидит вовсе чужая девушка. Однако он скоро увидел, что не удастся ему выказать такого равнодушия и что соседка не чужда ему настолько, чтобы можно было начать с нею обычный разговор. Оба они поняли, что в этой толпе людей, умами которых владели самые разные чувства, дела и страсти, он думает только о ней, а она — только о нем и потому им так тяжело. Оба они не хотели и не могли открыто, ясно и чистосердечно сказать все, что лежало у них на душе. Прошрое осталось позади, но впереди у них не было будущего. Прежние чувства, доверие, даже само знакомство — все было разрушено. Ничего не было у них общего, кроме горечи и разочарования. Если бы порвалось и это последнее звено, они почувствовали бы себя свободней; но одно лишь время могло принести забвение, сегодня для этого было слишком рано.

Так худо было Кмицицу, муку он терпел просто кромешную, и все же ни за что на свете не уступил бы он места, которое назначил ему дворецкий. Слухом ловил он шелест ее платья, следил, делая вид, что не следит, каждое ее движение, ощущал тепло, шедшее от нее, и все это доставляло ему томительное наслаждение.

Через минуту он понял, что и она так же насторожена, хотя с виду как будто не обращает на него внимания. Его охватило непреодолимое желание поглядеть на нее, он осторожно повел на нее глазами, увидел ясное чело, прикрытые темными ресницами глаза и личико белое, не натертое румянами, как у других дам. Что-то такое влекущее было для него в этом лице, что сердце бедного рыцаря затрепетало от сожаления и муки. «При такой ангельской красоте такая злоба!» — подумал он про себя. И так глубока была обида, что тут же прибавил про себя: «Не нужна ты мне, доставайся другому!»

Но тут же почувствовал, что если бы этот «другой» посмел только воспользоваться его позволением, он бы искрошил его своей саблей. При одной мысли об этом дикий гнев обуял его. Успокоился он только тогда, когда вспомнил, что не кто-то другой, а он сам сидит рядом с нею и что никто, во всяком случае в эту минуту, не добивается ее руки.

«Еще разок взгляну, а потом отвернусь в другую сторону», — подумал он.

И снова осторожно повел на нее глазами, но как раз в эту минуту и она искоса на него поглядела, и оба они мгновенно опустили глаза, совсем уничтоженные, точно кто-то поймал их на месте преступления.

Панна Александра тоже боролась с самой собою. Все последние события, поведение Кмицица в Билевичах, речи Заглобы и Скшетуского убедили ее в том, что Кмициц просто заблуждается, что не так уж он виноват и не заслуживает такого презрения, такого безоговорочного осуждения, как думала она раньше. Ведь это он спас от смерти доблестных рыцарей, ведь это в нем было столько достойной гордости, что, попав в их руки и имея при себе письмо, которое могло оправдать его и, уж во всяком случае, спасти от смерти, он не показал этого письма, не сказал ни единого слова и пошел на смерть с высоко поднятой головой.

Воспитанная старым воином, который презрение к смерти ставил выше всех прочих доблестей, Оленька преклонялась перед мужеством и поэтому не могла не восхищаться невольно этой отчаянной рыцарской отвагой, которая была в крови у юноши и убить которую можно было разве только с душой.

Поняла она и то, каким оскорбительным было для пана Анджея

подозрение в том, что он с умыслом предал отчизну, если Радзивиллу он служил, свято веря ему! А ведь она первая нанесла ему это оскорбление, не пощадила ни его чести, ни гордости, не пожелала простить его даже перед лицом смерти!

«Вознагради же его за обиду! — говорило ей сердце. — Между вами все кончено, но ты должна сказать ему, что была несправедлива. Это долг твой и перед самой собою...»

Но и ей гордости было не занимать стать, да, пожалуй, и упрямства не меньше; и она вдруг решила, что, верно, нет нужды этому рыцарю в таком удовлетворении, и даже краска бросилась ей в лицо.

«А коли нет ему нужды, обойдется и так!» — сказала она про себя.

И все же совесть говорила ей, что вознаградить за обиду надо, есть ли в том нужда обиженному или нет ее; но, с другой стороны, и гордость подсказывала все новые доводы.

«А ведь он, может статься, и слушать не станет, только сгоришь ни за что со стыда. А потом, виновен он или не виновен, по злumu ли умыслу поступает или в ослеплении, довольно того, что он на стороне изменников, врагов отчизны, что помогает им губить ее. Ума ли, чести ли он лишен — отчизне от этого одинаковый вред. Бог может простить его, а люди должны осудить, и клеймо изменника останется на нем. Да! Коль и невинен он, ужель не справедливо презирать человека, у которого недостает ума даже на то, чтобы отличить, где зло и где добро, где злодейство и где доблесть?..»

Гнев обуял девушку, и щеки ее запылали.

«Буду молчать! — сказала она себе. — Пусть мучается, он этого заслужил. Я имею право осуждать его, покуда не вижу раскаяния!»

И она обратила взор на Кмицица, словно желая удостовериться, что нет раскаяния в его лице. Тут-то и встретились они глазами и так смутились оба.

Раскаяния Оленька, быть может, и не увидела в лице рыцаря, но увидела страдание и большую усталость, увидела, что лицо это бледно, как после болезни, и жаль ей стало пана Анджея до смерти, слезы невольно затуманили глаза, и она еще ниже склонилась над столом, чтобы не выдать своего волнения.

А пир между тем становился понемногу все оживленней.

Сперва всем было, видно, не по себе; но чем чаще наполнялись чары вином, тем веселее становился пир. Все шумнее был говор гостей.

Наконец князь встал.

— Дорогие гости, прошу слова!

— Князь хочет говорить! Князь хочет говорить! — раздались отовсюду голоса.

— Первую здравицу я провозглашаю за всемилостивейшего короля шведского, который оказывает нам помощь в борьбе против врагов и, временно правя нашей страной, отречется от власти лишь тогда, когда отстоит мир. Прошу встать, ибо за здоровье короля пить надлежит стоя.

Все гости, кроме дам, встали и выпили чары, но без кликов, без изъявлений восторга. Пан Шанецкий из Дальнова что-то шептал соседям, а те кусали усы, чтобы не рассмеяться, видно, шляхтич подшучивал над шведским королем.

Но когда князь провозгласил здравицу за «дорогих гостей», которые питают столь добрые чувства к Кейданам, что прибыли даже из дальних мест, дабы засвидетельствовать хозяину, что они верят благим его помыслам, ему ответили громкие клики:

— Спасибо, князь! Спасибо от всего сердца!

— За здоровье князя!

— Нашего литовского Гектора!

— Да здравствует князь! Да здравствует наш гетман, наш воевода!

Тут Южиц, который был уже под хмелем, крикнул во всю силу легких:

— Да здравствует Януш Первый, великий князь литовский!

Радзивилл покраснел, как девица на сватовстве, но, заметив, что толпа гостей хранит немое молчание и с изумлением смотрит на него, промолвил:

— И это в вашей власти, однако же слишком рано, пан Южиц, желаешь ты этого мне, слишком рано!

— Да здравствует Януш Первый, великий князь литовский! — с пьяным упрямством повторил Южиц.

Тут встал и поднял чару Шанецкий.

— Да! — сказал он хладнокровно. — Великий князь литовский, король польский и цесарь Священной Римской империи!

Снова на минуту воцарилось молчание — и вдруг гости разразились хохотом. Глаза у них выпучились, усы встопорщились на раскрасневшихся лицах; они тряслись от смеха, который, отражаясь от сводов залы, долго не умолкал и замер у всех на устах так же внезапно, как и поднялся, когда все увидели лицо гетмана, которое менялось так, будто зигзаги молний бороздили его.

Однако Радзивилл усмирил страшный свой гнев и сказал только:

— Вольные шутки, пан Шанецкий!

Но шляхтич выпятил губы и, нимало не смутившись, продолжал:

— Желаем тебе вступить на трон, на который возводят избранника,

большого и пожелать трудно, ясновельможный пан. Как шляхтич ты можешь стать королем польским, а как князь Священной Римской империи можешь быть возведен на цесарский трон. А вот далёко ль тебе до этих тронов, рукой ли подать, про то я тебе не скажу, но так думаю, до обоих одинаково, ну, а кто тебе вступить на них не желает, пусть встанет, мы тотчас искрошим его саблями. — Он повернулся к гостям: — Встань, кто не желает пану воеводе цесарской короны!

Ясное дело, никто не встал. Но никто и не смеялся, ибо в голосе Шанецкого было столько наглой и злой насмешки, что всех невольно охватила тревога, что же будет...

Но ничего не случилось, только у всех пропала охота веселиться. Напрасно слуги ежеминутно наполняли чары. Вино не могло рассеять ни мрачных мыслей в головах гостей, ни все большей тревоги. Радзивилл тоже с трудом скрывал свою злость, он чувствовал, что после здравиц Шанецкого умалились его достоинства в глазах собравшейся шляхты и что с умыслом или без умысла, но шляхтич внушил ей, что воеводе виленскому великокняжеский трон не ближе цесарской короны. Все было выставлено на глум и посмеяние, а ведь пир был затеян главным образом для того, чтобы приучить умы к мысли о будущем владычестве Радзивиллов. Радзивилл и тем был озабочен, чтобы эти насмешки над его чаяниями не оказали дурного влияния и на офицеров, посвященных в его замыслы. На лицах их читалось крайнее недовольство.

Ганхоф осушал чару за чарой и избегал взгляда гетмана, а Кмициц не пил, смотрел на стол перед собою, супя брови, точно размышлял о чем-то или вел с самим собою внутреннюю борьбу. Радзивилл содрогнулся при одной мысли о том, что ум юноши может озариться догадкой, и тогда правда выйдет наружу, и этот офицер, представлявший единственное звено, которое связывало остатки польских хоругвей с делом Радзивиллов, разорвет эту связь, если даже принужден будет вырвать сердце из своей груди.

Кмициц давно уже тяготил Радзивилла, и, если бы не та странная власть над гетманом, которую он приобрел силою обстоятельств, он давно бы пал жертвою своей дерзости и княжеского гнева. Но Радзивилл ошибался, подозревая, что в эту минуту молодой рыцарь предается мыслям, враждебным делу, ибо пан Анджей был поглощен одною лишь Оленькой и той глубокою рознью, которая их разделяла.

Минутами ему казалось, что эту девушку, которая сидит вот тут, рядом с ним, он любит больше всего на свете, но потом в нем просыпалась такая ненависть к ней, что, если бы только он мог, он убил бы ее, но вместе с нею

и самого себя.

Так запуталась его жизнь, что тяжким бременем стала она для простой его натуры. Он чувствовал то же, что чувствует дикий зверь, попав в тенета, из которых он не может выпутаться. Тревожное и мрачное настроение, царившее на пиру, раздражало его до крайности. Было просто непереносимым.

А пир с каждой минутой становился все мрачней и мрачней. Гостям казалось, что они пируют под нависшею свинцовою крышей, которая тяготит их головы.

Тем временем в залу вошел новый гость.

— Это пан Суханец, — воскликнул князь, увидев его. — От брата Богуслава! Верно, с письмами?

Вновь прибывший отвесил низкий поклон.

— Так точно, ясновельможный князь! Я прямо с Подляшья.

— Дай же мне письма, а сам садись за стол. Прошу прощенья, дорогие гости, хоть мы и на пиру сидим, я все же прочту письма, тут могут быть новости, которыми я бы хотел поделиться с вами. Пан дворецкий, не забудьте дорогого посланца.

С этими словами князь взял у Суханца пачку писем и торопливо вскрыл первое из них.

Гости с любопытством уставились на князя, силясь по выражению его лица отгадать содержание письма. Но, видно, письмо не принесло ничего хорошего, так как лицо князя побагровело и глаза сверкнули диким гневом.

— Дорогие гости! — сказал гетман. — Князь Богуслав пишет, что те, кто предпочел составить конфедерацию, вместо того, чтобы идти на врага под Вильно, разоряют теперь на Подляшье мои поместья. С бабами в деревнях легче воевать! Хороши рыцари, нечего сказать. Но не уйти им от возмездия!

Затем он взял второе письмо и едва только пробежал его глазами, как лицо его прояснилось улыбкою торжества и радости.

— Серадзское воеводство покорилося шведам, — воскликнул он, — и вслед за Великой Польшей приняло покровительство Карла Густава!

Через минуту снова:

— Вот последняя почта! Наша победа! Ян Казимир разбит под Видавой и Жарновом^[122]! Войско оставляет его! Сам он бежит в Краков, шведы его преследуют! Брат пишет, что Краков тоже должен пасть!

— Порадуемся же друзья! — странным голосом сказал Шанецкий.

— Да, да, порадуемся! — повторил гетман, не заметив, каким голосом произнес эти слова Шанецкий.

Он был вне себя от радости, лицо его в минуту словно помолодело, глаза заблестели; дрожащими от счастья руками взломал он печать на последнем письме, посмотрел, весь просиял, как солнце, и крикнул:

— Варшава взята! Да здравствует Карл Густав!

И тут только заметил, что на гостей эти вести произвели совсем не такое впечатление, как на него самого. Все сидели в молчании, неуверенно поглядывая друг на друга. Одни нахмурились, другие закрыли руками лица. Даже придворные гетмана, даже люди слабые духом, не смели разделить радости князя при известии о том, что Варшава пала, что неминуемо падет и Краков и что воеводства одно за другим отрекаются от законного своего господина и предаются врагу. Было нечто чудовищное в этом удовлетворении, с каким предводитель половины войск Речи Посполитой и один из высших ее сенаторов сообщал о ее поражениях. Князь понял, что надо смягчить впечатление.

— Друзья мои, — сказал он, — я бы первый плакал вместе с вами, когда бы речь шла об уроне для Речи Посполитой; но Речь Посполитая не несет урона, она лишь меняет своего господина. Вместо неудачливого Яна Казимира у нее будет великий и счастливый воитель. Я вижу уже, что кончены все войны и разбиты все враги.

— Ты прав, ясновельможный князь! — произнес Шанецкий. — Точь-в-точь такие слова говорили Радзеёвский и Опалинский под Уйстем. Порадуемся, друзья! На погибель Яну Казимиру!

С этими словами Шанецкий с шумом отодвинул кресло, встал и вышел вон.

— Вин, самых лучших, какие только есть в погребях! — крикнул князь.

Дворецкий бросился исполнять приказ. Зала зашумела, как улей. Когда прошло первое впечатление, шляхта стала обсуждать вести, спорить. Суханца расспрашивали о положении на Подляшье и в соседней Мазовии, которую уже заняли шведы.

Через минуту в залу вкатили смоленые бочонки и стали выбивать гвозди. Все повеселели, глаза разгорались оживлением.

Все чаще раздавались голоса:

— Все пропало! Ничего не поделаешь!

— Может, оно и к лучшему! Надо примириться с судьбой!

— Князь не даст нас в обиду!

— Нам лучше, чем прочим!

— Да здравствует Януш Радзивилл, воевода наш, гетман и князь!

— Великий князь литовский! — снова крикнул Южиц. Однако на этот

раз ему ответили ни молчанием, ни смехом; напротив, несколько десятков охрипых глоток рявкнули хором:

— Желаем ему этого от всего сердца и от всей души! Да здравствует наш князь! Пусть правит нами!

Магнат встал, лицо его было красным, как пурпур.

— Спасибо вам, братья! — сказал он важно.

От пылающих светильников и дыхания людей в зале стало душно, как в бане.

Панна Александра перегнулась за спиной Кмицица и сказала россиенскому мечнику.

— Голова у меня кружится, уйдем отсюда.

Лицо ее было бледно, на лбу блестели капли пота.

Но россиенский мечник бросил беспокойный взгляд на гетмана, опасаясь, как бы уход не вменили ему в вину. На поле боя это был отважный солдат, но Радзивилла он боялся пуще огня.

А тут гетман, как назло, воскликнул:

— Враг мой, кто не выпьет со мною до дна всех заздравных чаш, ибо сегодня я весел!

— Слыхала? — сказал мечник.

— Дядя, не могу я больше, голова кружится! — умоляющим голосом шепнула Оленька.

— Тогда уходи одна, — ответил мечник.

Панна Александра встала, пытаясь уйти так, чтобы не привлечь к себе внимания; но силы оставили ее, и она схватилась за подлокотник кресла.

Она бы упала без памяти, если бы ее не подхватила вдруг и не поддержала сильная рыцарская рука.

— Я провожу тебя, панна Александра! — сказал Кмициц.

И, не спрашивая позволения, обнял и сжал ее стан, а она стала клониться все больше к нему и, не успели они дойти до дверей, бессильно повисла на железной его руке.

Тогда он легко, как ребенка, взял ее на руки и вынес из залы.

ГЛАВА XXIII

В тот же вечер, после окончания пиршества, пан Анджей непременно хотел видеть Радзивилла, но ему сказали, что у князя тайный разговор с Суханцем.

Он пришел на следующий день утром и тут же был допущен к своему господину.

— Ясновельможный князь, — сказал он, — я пришел к тебе с просьбой.

— Что я должен для тебя сделать?

— Не могу я больше жить здесь. Что ни день, горшую муку терплю. Нечего мне делать в Кейданах. Какое хочешь придумай мне дело, ушли куда хочешь. Слышал я, будто должны двинуться полки против Золотаренко. Пойду я с ними.

— Золотаренко и рад бы затеять с нами драку, да никак ему этого нельзя, тут уже шведы, а мы без шведов против него тоже не можем пойти. Граф Магнус наступать не торопится, а почему, это мы знаем! Потому, что мне не доверяет. Неужто так тебе худо в Кейданах под нашим крылом?

— Милостив ты ко мне, ясновельможный князь, а все же так мне худо, что и сказать нельзя. Я, по правде, думал, все будет иначе. Думал, драться будем, жить будем в огне и дыму сражений, день и ночь в седле. Для этого сотворен я богом. А тут сиди, слушай разговоры да споры, прозябай или за своими охоться, вместо того чтобы врага бить. Нет больше сил моих, нет! Стократ лучше смерть, клянусь богом! Одно мученье!

— Знаю я, отчего ты отчаялся. Любовь, только и всего! Войдешь в лета, сам над этим мученьем будешь смеяться! Видал я вчера, сердитесь вы с нею друг на дружку, и все пуще да пуще.

— Не нужна она мне, а я ей. Что было, то прошло!

— А что это, она вчера захворала?

— Да.

Князь помолчал с минуту времени.

— Я уже советовал тебе и еще раз советую, — снова заговорил он, — коли в ней все дело, бери ее по доброй ли воле, против ли воли. Я велю обвенчать вас. Ну, покричит, поплачет... Пустое это все! После свадьбы возьмешь ее к себе в покои... И коли на другой день она все еще будет плакать, грош тебе цена!

— Ясновельможный князь, я не женить прошу меня, прошу в дело

послать! — отрезал Кмициц.

— Стало быть, ты ее не хочешь?

— Не хочу, ни я ее, ни она меня! Пусть сердце у меня пополам разорвется, ни о чем я не стану просить ее. Хочу только уйти от нее подальше, чтобы забыть обо всем, куда совсем я не помешался в уме. Ты вспомни, ясновельможный князь, как худо тебе было вчера, куда не пришли добрые вести. Вот так же худо мне нынче и так же будет худо. Что мне делать? За голову схватиться, чтобы не разорвалась она от горьких дум, и сидеть? Что же я тут высижу? Бог один знает, что за времена нынче такие. Бог один знает, что это за война такая, которую ни понять, ни постигнуть нет ума... отчего еще тяжелей. Клянусь, ясновельможный князь, не пошлешь в дело — сам сбегу, соберу ватагу и буду бить...

— Кого? — прервал его князь.

— Кого? Да под Вильно пойду и буду наносить урон врагу, как наносил Хованскому. Отпусти со мною мою хоругвь, вот и война начнется!

— Твоя хоругвь мне здесь нужна против внутреннего врага.

— Вот оно мученье, вот она пытка, — сложа руки Кейданы караулить или какого-нибудь Володыёвского ловить, когда лучше было бы плечом к плечу крушить с ним врага.

— Есть у меня для тебя дело, — сказал князь. — Под Вильно я тебя не пущу и хоругви тебе не дам. А коли меня слушаешься и уйдешь, собравши ватагу, — знай, что перестанешь тем самым служить мне.

— Зато послужу отчизне!

— Отчизне служит тот, кто мне служит. В этом я уж уверил тебя. Вспомни и то, что ты мне клятву дал. Наконец, пойдешь охотником, не будешь больше подсуден мне, и ждут тебя тогда суды и приговоры. Для своего ж добра не должен ты этого делать.

— Что теперь эти суды значат!

— За Ковно ничего, а тут, где все еще спокойно, они действуют. Правда, ты можешь не являться, но суды вынесут приговоры, и будут они тяготеть над тобою до мирного времени. А кого раз засудят, тому через десять лет припомнят, ну а лауданская шляхта последит, чтобы о тебе не забыли.

— Сказать по правде, ясновельможный князь, придет пора покаяться — я прятаться не стану. Раньше я готов был вести войну со всей Речью Посполитой, а с приговорами сделать то же, что покойный пан Лащ, который приказал себе ими вместо меха подбить кафтан. Ну теперь червь точит мою совесть. Боюсь зайти слишком далеко, томит меня душевная тревога...

— Такой ты стал совестливый? Не будем, однако, говорить об этом! Я уже сказал тебе, хочешь отсюда уехать, есть у меня для тебя дело, и весьма почетное. Ганхоф каждый день набивается, лезет ко мне. Я уж подумывал, не поручить ли ему... Да нет, не могу, мне для этого дела нужен человек родовитый, из хорошей фамилии, да не иноземец, а свой, поляк, чтобы сама фамилия говорила о том, что не все еще меня оставили, что есть еще именитые граждане, которые держат мою сторону. Ты мне как раз подойдешь, да и смел, и не любишь гнуть шею, любишь, чтобы тебе кланялись.

— Что же это за дело, ясновельможный князь?

— Надо отправляться в дальнюю дорогу!

— Я готов хоть сегодня!

— И на свой кошт, а то с деньгами у меня туго. Одни поместья занял враг, другие разоряют свои же люди, и доходы вовремя не поступают, а все войско, которое при мне состоит, сейчас на моем коште. А ведь пан подскарбий, который сидит у меня под замком, денег мне не даст и потому, что не пожелает, и потому, что нет их у него. Какие деньги есть в казне, я сам заберу, не спрашивая, да разве их много? А у шведов что угодно можно получить, только не деньги, они сами готовы урвать каждый грош.

— Ясновельможный князь, об этом и толковать не стоит! Коль поеду, так на свой кошт.

— Но там надо потряхнуть мощной, не жалеть денег!

— Ничего я жалеть не буду!

Лицо гетмана прояснилось; денег у него и в самом деле не было, хоть недавно он ограбил Вильно, да и жаден он был по натуре. Верно было и то, что перестали поступать доходы от огромных поместий, которые тянулись от Лифляндии до Киева и от Смоленска до Мазовии, а расходы на войско росли с каждым днем.

— Вот это я люблю! — сказал он. — Ганхоф стал бы тотчас в сундуки стучаться, а ты человек иного склада. Послушай же теперь, что надо сделать.

— Слушаю, князь.

— Первым делом поедешь на Подляшье. *Periculosa*^[123] сия дорога, конфедераты, которые ушли из стана, мятеж подняли там против меня. Как от них уйти — это уже твоя забота. Якуб Кмициц, может, тебя и пощадил бы, но берегись Гороткевича, Жеромского и особенно Володыёвского с его лауданской ватагой.

— Был я уж у них в руках, и ничего со мною не случилось.

— Что ж, очень хорошо. Заедешь в Заблудов к Гарасимовичу.

Прикажешь ему побольше денег собрать от доходов, от податей, откуда только можно, и отослать мне, но только не сюда, а в Тильзит, куда уже вывезено мое имущество. Все поместья, всю движимость, все, что можно заложить, пусть заложит! Что можно взять у евреев, пусть возьмет! А потом ему надо о конфедератах подумать, о том, как погубить их. Но это уже не твоя забота, я собственноручно ему напишу, как это сделать. Ты отдай письмо и тотчас отправляйся в Тыкоцин, к князю Богуславу.

Тут гетман прервал речь, чтобы отдышаться, не мог он долго говорить, задыхался. Кмициц жадно глядел на него: рыцарь рвался в дорогу, чувствуя, что путешествие, полное вожделенных приключений, будет бальзамом для его душевных ран.

Через минуту гетман снова заговорил:

— И чего это князь Богуслав все на Подляшье сидит, ума не приложу! Господи боже мой, он ведь и себя и меня может погубить! Ты хорошенько слушай, что я тебе говорю, — ведь мало того, что ты отдашь ему письма, живым словом придется рассказать все то, что не удастся мне изъяснить в письме. Так знай же: хорошие вести были вчера, да не так они были хороши, как я сказал шляхте, и даже не так хороши, как я сам поначалу подумал. Шведы и впрямь побеждают: они заняли Великую Польшу, Мазовию, Варшаву, Серадзское воеводство сдалось им, они преследуют Яна Казимира, который бежит в Краков, и Краков, как пить дать осадят. Город должен оборонять Чарнецкий, этот новоиспеченный сенатор, но надо отдать ему справедливость, добрый воитель. Кто может предугадать, как повернется дело? Это верно, что шведы умеют покорять крепости, а у Яна Казимира времени не было на то, чтобы укрепить Краков. И все-таки этот пустой каштелянишка может продержаться месяц, два, три. Бывают чудеса на свете, как было, к примеру, под Збаражем, мы все это помним. Коли будет он упорно держаться, силен бес, может все по-своему перевернуть. Учись тайнам политики. И знай наперед, что в Вене косо будут смотреть на растущую шведскую мощь и могут оказать помощь Яну Казимиру... Татары тоже, я это хорошо знаю, склонны ему помогать, они хлынут на казаков и на Москву, а тогда на помощь Яну Казимиру придут украинные войска Потоцкого. Сегодня он в отчаянном положении, а завтра счастье может быть и на его стороне.

Тут князь снова принужден был умолкнуть, чтобы перевести дыхание, а пан Анджей в это время испытал странное чувство, в котором он сам себе не мог так вот вдруг отдать отчет. Он, сторонник Радзивилла и шведов, чувствовал большую радость при мысли о том, что счастье может отвернуться от шведов.

— Суханец мне рассказывал, — продолжал князь, — как было дело под Видавой и Жарновом. В первой стычке наши... Я хотел сказать, польские, передовые отряды разбили шведов впрах. Это не ополчение, и шведы, наверно, пали духом.

— Но ведь и там и там они одержали победу?

— Да, но потому, что у Яна Казимира взбунтовались хоругви, а шляхта заявила, что останется в строю, но драться не желает. Стало быть, все-таки обнаружилось, что шведы в бою не лучше регулярных польских войск. Одна-две победы — и все может перемениться. Получит Ян Казимир денежную помощь, заплатит хоругвям жалованье, и они не станут бунтовать. У Потоцкого народу не много, но солдаты у него отлично обучены, а уж злы — сущие осы. С ним придут татары, а тут еще курфюрст нас подводит.

— Как так?

— Мы надеялись с Богуславом, что он тут же вступит в союз со шведами и с нами, ибо знаем о вражде его к Речи Посполитой. Однако он слишком осторожен и думает только о собственном благе. Выжидает, видно, как повернется дело, а тем временем входит в союз, да только с прусскими городами, которые остались верны Яну Казимиру. Думаю, измена за этим кроется, разве только курфюрст перестал быть самим собою или вовсе усомнился в счастье шведов. Но куда все это прояснится, против шведов создан союз, и если только счастье изменит им в Малой Польше, тотчас поднимутся Великая Польша и Мазовия. Пруссаки пойдут с Речью Посполитой, и может статься...

Тут князь вздрогнул, словно потрясенный внезапной догадкой.

— Что может статься? — спросил Кмициц.

— Что ни один швед не уйдет из Речи Посполитой! — угрюмо ответил князь.

Кмициц нахмурился и молчал.

— Тогда, — низким голосом продолжал гетман, — и наш жребий будет столь же ничтожен, сколь велик он был доньше...

Пан Анджей вскочил с места, сверкая взорами, с краской негодования на лице.

— Ясновельможный князь, что сие означает? — воскликнул он. — Почему же ты говорил недавно, что Речь Посполитая погибла и что спасти ее можешь только ты, коль в союзе со шведами придешь к власти? Чему же я должен верить? Тому ли, что слышал тогда, или тому, что слышу сегодня? А коль скоро так обстоит дело, как ты нынче толкуешь, то почему мы стоим на стороне шведов, вместо того чтобы драться с ними? Да я всей душой рад

бить их!

Радзивилл устремил на рыцаря суровый взгляд.

— Дерзок ты! — сказал он.

Но Кмициц уже закусил удила.

— Потом будем говорить про то, каков я есть! Теперь дай мне, ясновельможный князь, *respon*s на мой вопрос.

— Вот какой я дам тебе *respon*s, — отчеканил Радзивилл, — коли дело обернется так, как я говорю, тогда мы начнем бить шведов.

Пан Анджей перестал раздувать ноздри, хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Ах, какой я глупец! Какой глупец!

— Не стану отрицать, — ответил князь, — прибавлю только, что в своей дерзости ты переходишь всякие границы. Знай же, затем я тебя посылаю, дабы разведать ты, как повернется колесо фортуны. То, что я говорил, — одни догадки, они могут и не оправдаться, и, наверно, не оправдаются. Однако надо быть осторожным. Кто хочет, чтобы его не поглотила пучина, должен уметь плавать, а кто идет дремучим лесом, где нету троп, должен часто останавливаться и смекать, в какую сторону надо повернуть. Понял?

— Так ясно, будто солнце мне все осветило.

— *Recedere* нам можно и должно, коли так будет лучше для отчины, однако мы не сможем этого сделать, если князь Богуслав будет оставаться на Подляшье. Ум он потерял, что ли? Оставаясь там, он должен открыто стать на чью-либо сторону: или шведов, или Яна Казимира, а это было бы хуже всего.

— Глуп я, ясновельможный князь, опять мне невдомек!

— Подляшье недалеко от Мазовии, и либо его займут шведы, либо туда из прусских городов придет подмога против шведов. Тогда придется выбирать.

— Но почему же князь Богуслав не может выбрать?

— Да потому, что пока он не выберет, шведы да курфюрст больше должны на нас оглядываться и нас защищать. Когда же придется *recedere* и повернуть против шведов, тогда князь Богуслав должен стать посредником между мною и Яном Казимиром. Он должен облегчить мне переход, чего не сможет сделать, коль открыто станет теперь на сторону шведов. На Подляшье ему в самом коротком времени придется сделать выбор, а потому пусть едет в Пруссию, в Тильзит, и там выжидает, как обернутся события. Курфюрст сейчас в маркграфстве, и в Пруссии Богуслав будет самой высокой персоной, он может прибрать пруссаков к рукам, приумножить

войско и возглавить большие силы. А тогда и шведы и курфюрст дадут все, что мы пожелаем, только бы привлечь нас обоих на свою сторону, и дом наш не только не падет, но возвысится, а в этом вся суть.

— Ясновельможный князь, ты говорил, что вся суть в благе отчизны!

— Не лови ты меня на слове, я ведь давно сказал тебе, что это одно и то же, и слушай дальше. Я хорошо знаю, что князя Богуслава не почитают за сторонника Швеции, хоть здесь, в Кейданах, он и подписал акт унии. Пусть он рассеет слух, да и ты рассей в пути, будто это я принудил князя подписать акт вопреки его воле. Люди этому охотно поверят, ибо часто случается, что и родные братья принадлежат к разным станам. Таким путем он сможет войти в доверие к конфедератам, зазвать к себе начальников якобы для переговоров, а потом схватить их и увезти в Пруссию. Это будет дозволенное и спасительное для отчизны средство, не то эти люди совсем ее погубят.

— И это все, что я должен сделать? — с некоторым разочарованием спросил Кмициц.

— Это лишь часть и не самая главная. От князя Богуслава ты поедешь с моими письмами к самому Карлу Густаву. После клеванского боя я никак не могу поладить с графом Магнусом. Он по-прежнему косо на меня смотрит и все намекает, что стоит только шведам оступиться или татарам броситься на нашего другого врага, как я тотчас обращусь против шведов.

— Ясновельможный князь, судя по тому, что ты говорил мне, он прав.

— Прав ли, нет ли, не хочу я, чтобы он заглядывал в мои карты и раскрывал мои козыри. Да и *personaliter*^[124] он мой недоброжелатель. Он, верно, бог весть что пишет на меня королю, и уж наверняка твердит в своих письмах, что либо я слаб, либо на меня нельзя положиться. Письма мои вручишь королю, а станет он спрашивать о клеванском деле, расскажи все, как было, ничего не прилагая и не убавляя. Можешь открыть ему, что я этих людей приговорил к смерти, а ты упробил помиловать их. Ничего тебе за это не будет, напротив, такая искренность может понравиться. На графа Магнуса королю прямо не жалуйся, он его шурин. Но ежели король спросит мимоходом, что люди здесь думают, — скажи, жалеют, мол, о том, что граф Магнус не ценит по достоинству искреннюю приязнь князя к Швеции, что сам князь, то есть я, очень об этом сокрушается. Станет спрашивать, правда ли, что меня оставили все регулярные войска, — скажи, что неправда, и в доказательство сошлись на себя. Называйся полковником, ибо ты и есть полковник. Скажи, что это партизаны пана Госевского взбунтовали войско, но прибавь, что вражда у нас с ним смертельная. Скажи, что, когда бы граф Магнус прислал мне немного

пушек и конницы, я бы давно раздавил конфедератов... что все так думают. И в оба гляди, слушай, что приближенные короля говорят, и доноси не мне, а с оказией князю Богуславу в Пруссию. Можно и через людей курфюрста, коли встретишь их. Ты, сдастся, знаешь по-немецки?

— Был у меня друг, курляндский дворянин Зенд, которого зарубили лауданцы. У него я и подучился немецкому языку. В Лифляндии я тоже часто бывал.

— Это хорошо.

— А где, ясновельможный князь, найду я шведского короля?

— Там, где он будет. Во время войны он сегодня может быть тут, а завтра там. Найдешь его под Краковом, так оно и лучше, возьмешь письма к тамошним высоким особам.

— Стало быть, я и к другим особам поеду?

— Да. Ты должен пробиться к маршалу Любомирскому^[125], — мне очень важно, чтобы он поддержал наши замыслы. Сильный он человек, и в Малой Польше многое от него зависит. Когда бы он искренне пожелал стать на сторону шведов, Яну Казимиру нечего было бы делать в Речи Посполитой. От короля шведского не таи, что ты от него поедешь к Любомирскому, чтобы переманить его на сторону шведов. Прямо об этом не говори, а так урони будто ненароком. Это очень расположит короля в мою пользу. Дай-то бог, чтобы пан Любомирский пожелал присоединиться к нам. Знаю, он будет колебаться, и все же надеюсь, что мои письма перевесят чашу весов, ибо есть причина, которая понуждает его искать моей приязни. Я тебе все расскажу, чтобы ты знал, как там держаться. Так вот давно уже пан маршал обхаживает меня, как медведя, и старается вызвать издалека, не отдам ли я мою единственную дочь за его сына Гераклиуша. Они еще дети, но можно сговорить их, а это очень важно для пана маршала, — больше, нежели для меня, — ибо другой такой помещицы нет во всей Речи Посполитой, и если объединить два состояния, получится богатство, равного которому нет в мире. Лакомый кусочек! Что же говорить, если пан маршал да вдобавок занесется надеждой, что сын его в приданое за моей дочерью может получить и великокняжескую корону. Вот ты и пробуди в нем эту надежду, он, как бог свят, соблазнится, ибо о собственном доме помышляет более, нежели о Речи Посполитой!..

— Что же мне сказать ему?

— То, что я не смогу написать. Но надо сделать это весьма тонко. Упаси тебя бог проговориться, что ты слышал от меня, будто это я жажду короны. Слишком рано говорить об этом! Ты скажи, что вся шляхта в Жмуди и в Литве с сочувствием об этом толкует, что сами шведы говорят

об этом во всеуслышание, что ты и при королевской особе будто бы слышал об этом... Вызнай, кто из придворных в милости у пана маршала, и скажи ему обиняком, пусть, дескать, Любомирский перейдет на сторону шведов, а в награду потребует брака Гераклиуша и моей дочери и стоит пусть на том, чтобы мне быть великим князем, тогда, мол, Гераклиуш получит со временем в наследство великое княжество. Мало того, дай понять, что коли Гераклиуш возложит на свою голову литовскую корону, со временем он может быть избран и на польский трон, и тогда два рода будут владеть двумя коронами. Коль не ухватятся они обеими руками за эту мысль, — стало быть, они люди маленькие. Кто не метит высоко и страшится великих замыслов, тот пусть довольствуется жалким жезлом или булавою, убогим каштелянством, пусть служит и гнет хребет, через слуг добывается милости, лучшего он не стоит! Мне от бога дано иное предназначенье, и я смею захватить под руку все, что только в человеческой силе, и дойти до предела, самим богом поставленного людскому владычеству!

Тут князь и впрямь вытянул руки, словно желая схватить невидимую корону, и запылал весь, как факел, но от волнения дыхание у него снова пресеклось. Успокоившись через минуту, он сказал прерывистым голосом:

— Вот так душа стремится ввысь... к солнцу, а болезнь снова... твердит свое memento^[126]. Будь что будет! Пусть уж лучше смерть настигнет меня не в королевских сенях, а на троне...

— Не кликнуть ли лекаря? — спросил Кмициц.

Радзивилл замахал рукою.

— Не надо!.. Не надо!.. Мне уже лучше... Вот все, что я хотел тебе сказать... Ну, в оба гляди и слушай. И за Потоцкими смотри, что они предпримут. Они друг друга держатся, верны Вазам... и сильны... Неведомо, на чью сторону склонятся и Конецпольские и Собеские. Смотри и учись!.. Вот и удушье прошло. Понял все expedite?^[127]

— Да. Коль ошибусь в чем, то по собственной вине.

— Письма у меня написаны, остается дописать еще несколько. Когда ты хочешь отправиться в путь?

— Сегодня же! Поскорее!

— Нет ли у тебя какой-нибудь просьбы ко мне?

— Ясновельможный князь... — начал Кмициц.

И внезапно осекся.

Слова не шли у него с языка, а на лице читались принужденность и замешательство.

— Говори смело, — сказал гетман.

— Прошу тебя, — сказал Кмициц, — не дай ты здесь в обиду мечника россиенского и ее.

— Не сомневайся. Вижу я, крепко ты еще ее любишь?

— Нет, нет! — воскликнул Кмициц. — А впрочем, разве я знаю! Час люблю ее, час ненавижу... Сатана один знает! Все кончено, я уж сказал, одна мука осталась... Не хочу я ее, но не хочу, чтоб другому досталась! Ясновельможный князь, не допусти ты до этого!.. Сам не знаю, что говорю... Ехать мне надо, ехать поскорее! Ты, князь, меня не слушай. Вот выведу за ворота, и бог тотчас вернет мне разум.

— Я тебя понимаю. Пока не охладеешь со временем, так хоть сам не хочешь, мысль досадой кипит, что другому достанется. Но ты будь спокоен, я этого не допущу, и уехать отсюда они не уедут. В скором времени всюду будет полно чужих солдат, и это небезопасно! Лучше я отправлю ее в Тауроги, под Тильзит, где теперь живет княгиня. Будь спокоен, Ендрек! Ступай, готовься в дорогу и приходи ко мне обедать.

Кмициц поклонился и вышел, а Радзивилл вздохнул с облегчением. Он рад был, что молодой рыцарь уезжает. Оставалась его хоругвь и его имя, как приверженца, а сам он не очень был ему нужен.

Напротив, уехав отсюда, он мог оказать ему большую услугу, а в Кейданах уже давно тяготил его. Гетман был больше уверен в нем на расстоянии, нежели вблизи. Дикий нрав и горячность Кмицица могли в любой момент привести к вспышке и разрыву, слишком опасным сейчас для обоих. Отъезд устранял эту опасность.

— Поезжай ты, исчадие ада, и служи мне! — пробормотал князь, глядя на дверь, в которую вышел оршанский хорунжий.

Затем он кликнул пажа и велел позвать к себе Ганхофа.

— Принимай хоругвь Кмицица, — сказал ему князь, — и начальство над всей конницей. Кмициц уезжает.

Холодное лицо Ганхофа на мгновение осветилось радостью. Послом ему не удалось поехать, но он получил повышение в чине.

Он поклонился молча и сказал:

— За милость, ясновельможный князь, я отплачу тебе верною службой!

Он вытянулся в струнку и ждал.

— Ты что-то еще хочешь сказать? — спросил князь.

— Ясновельможный князь, нынче утром прибыл шляхтич из Вилькомира, он привез весть, что пан Сапега идет на тебя с войском.

Радзивилл вздрогнул, однако мгновенно овладел собою.

— Ступай! — сказал он Ганхофу.

И погрузился в глубокую задумчивость.

ГЛАВА XXIV

Кмициц с жаром занялся приготовлениями к отъезду и стал отбирать людей, которые должны были отправиться с ним в путь. Он решил ехать с сопровождением, во-первых, ради собственной безопасности, во-вторых, для придания важности своей посольской особе. Он очень торопился и хотел еще в ночь тронуться в путь, а если не утихнет дождь, то на следующее утро. Наконец он нашел шестерых надежных солдат, которые служили у него еще в те лучшие времена, когда он, до приезда в Любич, рыскал в стане Хованского, — старых оршанских забияк, готовых идти за ним хоть на край света. Это были одни шляхтичи да путные бояре, остатки некогда могучей ватаги, вырезанной Бутрымами. Во главе их стал вахмистр Сорока, давний слуга Кмицицев, старый, весьма искушенный вояка, на котором, правда, тяготели многочисленные приговоры за еще более многочисленные бесчинства.

После обеда гетман вручил пану Анджею письма и грамоту к шведским комендантам, с которыми молодой посол мог повстречаться в больших городах, простился с ним и проводил довольно ласково, почти по-отцовски, прося соблюдать осторожность и благоразумие.

Небо между тем стало к вечеру проясняться, тусклое осеннее солнце показалось над Кейданами и закатилось за алые облака, длинными полосами тянувшиеся на западе.

Ничто не препятствовало отъезду. Кмициц пил прощальную чару с Ганхофом, Харлампом и несколькими другими офицерами, когда в сумерках уже вошел Сорока и спросил:

— Едем, пан начальник?

— Через час! — ответил Кмициц.

— Кони и люди готовы, стоят во дворе...

Вахмистр вышел, а офицеры все чаще чокались чарами; но Кмициц больше делал вид, что пьет, чем пил на самом деле. Претило ему вино, не веселило душу, не хотелось ему пить, а меж тем прочие были уже сильно во хмелю.

— Полковник! — говорил Ганхоф. — Замолви за меня слово перед князем Богуславом. Славный он рыцарь, другого такого не сыщешь во всей Речи Посполитой. Приедешь к нему, так будто во Францию приехал. Другой язык, другой обычай, и придворным манерам можно научиться скорей, нежели при королевском дворе.

— Я помню князя Богуслава в деле под Берестечком, — сказал Харламп. — Был у него драгунский полк, выученный совсем на французский лад, одинаково нес он службу и в конном и в пешем строю. Офицеры были одни французы, всего несколько голландцев, да и солдаты по большей части были французы. И все щеголи. Ароматами всякими пахло от них, прямо как из аптеки. На рапирах в бою дрались — страшное дело, а как проткнет такой французик человека рапирой, так сейчас и скажет: «Pardonnez moi»^[128] то они даже в драке свою учтивость показывали. А князь Богуслав разъезжает между ними с платком на шпаге и все улыбается, даже в самом пекле, потому такая французская мода — смеяться во время кровопролития. Лицо у него нарумянено, брови насурьмлены. Косо смотрели на это старые солдаты и звали его потаскухой. А после битвы ему тотчас приносят новые брыжи, чтоб разодет он был всегда, как на пир, и волосы ему припекают щипцами, чудные такие делают завитушки. Но храбрец он был и первым бросался в самое пекло. Пана Калиновского вызвал на поединок, оскорбясь за какое-то слово, так самому королю пришлось мирить их.

— Что говорить! — подхватил Ганхоф. — Насмотришься всякого дива, самого шведского короля увидишь, а он после нашего князя самый великий воитель в мире.

— И пана Чарнецкого, — прибавил Харламп. — Все громче слава о нем идет.

— Пан Чарнецкий стоит на стороне Яна Казимира и потому враг наш! — сурово сказал Ганхоф.

— Удивительные дела творятся на свете, — в задумчивости произнес Харламп. — Да скажи кто-нибудь год или два назад, что сюда придут шведы, так мы бы все думали, что станем бить их, а смотрите, что...

— Не мы одни, — прервал его Ганхоф, — вся Речь Посполитая встретила их с распростертыми объятиями!

— Да, да, это верно, — промолвил в задумчивости Кмициц.

— Кроме пана Сапеги, и пана Госевского, и пана Чарнецкого, и коронных гетманов! — заметил Харламп.

— Лучше об этом не говорить! — воскликнул Ганхоф. — Ну, полковник, возвращайся счастливо... ждет тебя чин повыше...

— И панна Биллевич, — прибавил Харламп.

— А тебе до нее дела нет! — жестко оборвал его Кмициц.

— Верно, что нет, стар уж я. В последний раз... погоди-ка, когда же это было? Ах да! В последний раз в день выборов милостивого нашего короля Яна Казимира...

— Ты, брат, от этого отвыкай! — прервал его Ганхоф. — Ныне правит нами милостивый король Карл Густав.

— Верно! *Consuetudo altera natura!* Так вот, в последний раз во время выборов Яна Казимира, нашего бывшего короля и великого князя литовского, по уши врезался я в одну панну, придворную княгини Вишневецкой. Хороша была, шельмочка! Но всякий раз, как хотел я заглянуть ей в глазки, пан Володыёвский подставлял мне саблю. Должен был я драться с ним, да Богун помешал, вспорол его Володыёвский, как зайца. А то бы не видать вам меня нынче живым. Но в ту пору готов я был драться с самим сатаной. Володыёвский только *per amicitiam*^[129]

за нее заступался, она с другим была помолвлена, еще худшим забиякой... Эх, скажу я вам, друзья мои, думал я, совсем меня любовь иссушит. Не до еды мне было и не до питья. Только после того, как послал меня наш князь из Варшавы в Смоленск, растряс я по дороге всю свою любовь. Нет лучше лекарства против этого лиха, как дорога. На первой же миле мне полегчало, а как доехал до Вильно, так и думать о девке забыл, так по сию пору в холостяках и хожу. Вот оно какое дело! Нет ничего лучше против несчастной любви, как дорога!

— Что ты говоришь? — воскликнул Кмициц.

— Клянусь богом! Да пусть черти унесут всех красоток изо всей Литвы и Короны! Мне они уже без надобности.

— И не простясь уехал?

— Не простясь, только красную ленточку бросил за собой, это мне одна старуха посоветовала, в любовных делах очень искушенная.

— За твое здоровье, пан Анджей! — прервал его Ганхоф, снова обращаясь к пану Анджею.

— За твое здоровье! — ответил Кмициц. — Спасибо тебе от всего сердца!

— Пей до дна! Пей до дна! Тебе, пан Анджей, на коня пора садиться, да и нас служба ждет. Счастливой дороги!

— Оставайтесь здоровы!

— Красную ленточку надо бросить за собой, — повторил Харламп, — либо на первом ночлеге самому залить костер ведром воды. Помни, пан Анджей, коли хочешь забыть!

— Оставайся с богом!

— Не скоро увидимся!

— А может, на поле боя, — прибавил Ганхоф. — Дай бог, чтобы рядом, не врагами.

— Иначе и быть не может! — ответил Кмициц.

И офицеры вышли.

Часы на башне пробили семь. Во дворе кони цокали копытами по булыжной мостовой, а в окно видны были люди, ждавшие наготове. Странная тревога овладела паном Анджеем. Он повторял себе: «Еду! Еду!» В воображении плыли перед ним незнакомые края и вереницы незнакомых лиц, которых ему предстояло увидеть, и в то же время страшна была мысль об этой дороге, точно раньше он никогда о ней и не помышлял.

«Надо сесть на коня и трогаться в путь, а там, будь что будет. Чему быть, того не миновать!» — подумал он про себя.

Но теперь, когда кони фыркали уже под окном и час отъезда пробил, он чувствовал, что та жизнь будет ему чуждой, и все, с чем он сжился, к чему привык, с чем невольно сросся сердцем и душой, все останется в этом краю, в этих местах, в этом городе. Прежний Кмициц тоже останется здесь, а туда поедет словно бы другой человек, такой же чуждый там всем, как все чужды ему. Придется начать там совсем новую жизнь, а бог один знает, станет ли у него на то охоты.

Смертельно изнемогла душа пана Анджея, и в ту минуту он чувствовал свое бессилие перед новыми этими картинами и новыми лицами. Он подумал, что тут ему было плохо, но и там будет плохо, и, уж во всяком случае, невыносимо тяжело.

Однако пора! Пора! Надо надеть шапку и ехать!

Но ужели не простясь?

Можно ли быть так близко и, не молвив ни слова, уехать так далеко? Вот до чего дошло! Но что сказать ей? Пойти и сказать: «Все расстроилось! Иди, панна Александра, своей дорогой, а я пойду своей!» Но к чему, к чему эти слова, когда без слов так оно случилось. Ведь он уже не нареченный жених ей, и она не нареченная ему невеста и не будет его женою. Все пропало, все оборвалось, и не воротится, и не свяжет их вновь. Не стоит тратить попусту время и слова, не стоит снова терзаться.

«Не пойду!» — думал Кмициц.

Но ведь, с другой стороны, их все еще соединяет воля покойного. Надо ясно и без гнева уговориться о том, что они расстанутся навечно, и сказать ей: «Ты меня, панна, не хочешь, и я возвращаю тебе слово. Будем оба считать, что не было завещания... и всяк пусть ищет счастья, где может».

Но она может ответить: «Я тебе, пан Анджей, давно уж об этом сказала, зачем же ты опять повторяешь мне это?»

— Не пойду! Будь что будет! — повторил про себя Кмициц.

И, надев на голову шапку, он вышел в сени. Он хотел прямо сесть на коня и поскорее выехать за ворота замка.

И вдруг в сенях ему словно в голову ударило.

Такое желание увидеть ее, поговорить с нею овладело им, что он перестал раздумывать о том, идти или не идти, перестал рассуждать и побежал, нет, опрометью бросился к ней с закрытыми глазами, как будто хотел кинуться в воду.

Перед самой дверью, у которой стража уже была снята, он наткнулся на слугу россиенского мечника.

— Пан мечник дома? — спросил он у слуги.

— Пан мечник с офицерами в арсенале.

— А панна?

— Панна дома.

— Поди доложи, что пан Кмициц отправляется в дальнюю дорогу и хочет ее видеть.

Слуга подчинился приказу; но не успел он вернуться с ответом, как Кмициц нажал ручку двери и вошел без спроса.

— Я пришел проститься с тобою, панна Александра, — сказал он, — не знаю, увидимся ли мы еще в жизни. — Внезапно он повернулся к слуге: — А ты чего торчишь тут?.. — Панна Александра, — продолжал он, когда за слугою закрылась дверь, — хотел я не простясь уехать, да не мог. Бог один знает, когда ворочусь я, да и ворочусь ли, всякое может случиться. Так уж лучше разлучиться нам, не тая в сердце обиды и злобы, чтобы кара небесная не постигла кого-нибудь из нас. Ах, столько мне надо сказать, столько надо сказать, да все разве скажешь! Что ж, не было счастья, не было, видно, воли божьей, а теперь хоть головой об стену бейся, ничем не поможешь! Не вини же меня, панна Александра, и я тебя винить не буду. Незачем нам связывать себя завещанием, потому сказал уж я: выше воли божьей не станешь. Дай тебе бог покоя и счастья. Главное, надо нам друг друга простить. Не знаю, что ждет меня там, куда я еду. Но нет больше сил моих терпеть эти муки, ссоры и обиды. Бьешься головой об стену и не знаешь, чем горю помочь, панна Александра, чем горю помочь! Нечего мне тут делать, разве только с лихом идти на кулачки, разве только день-деньской думу думать, пока голову всю не разломит, и так ничего и не придумать. Нужна мне дорога, как рыбе вода, как птице небо, не то я ума лишусь.

— Дай бог, пан Анджей, и тебе счастья! — ответила панна Александра.

Она стояла перед ним, ошеломленная его отъездом, речами и видом. На лице ее читались смущение и удивление, и видно было, силится она совладать с собою; широко раскрытыми глазами смотрела она на рыцаря.

— Я на тебя, пан Анджей, зла не держу, — промолвила она через минуту.

— Уж лучше бы всего этого не было! — воскликнул Кмициц. — Злой дух встал между нами и разделил нас, как морем. Ни вплавь, ни вброд не перейти... Не делал я того, что хотел, не шел туда, куда хотел, все точно бес толкал меня, вот и пришли мы оба в тупик. Но коль приходится уж нам навек расставаться, так лучше хоть издали крикнуть друг другу: «С богом!» Надо и то тебе знать, что гнев и зло — это одно, а обида — совсем другое. Остыл уж мой гнев, а обида осталась, — может, и не на тебя. Разве я знаю, на кого и за что? Сколько ни думай, ничего не придумаешь; но сдается мне, легче станет и мне и тебе, когда поговорим мы с тобою. Ты вот считаешь меня за изменника... А это мне всего обидней, ибо, клянусь в том спасением души моей, не был я и не буду изменником!

— Я уже так не думаю! — ответила Оленька.

— Ах, да как же ты могла хоть один час думать про меня такое! Ты ведь знала, что раньше я готов был на всякое бесчинство — зарубить, подпалить, застрелить, но ведь это одно дело, а изменить корысти ради, чина ради и звания — никогда! Избави бог, суди меня бог! Ты женщина, и не понять тебе, в чем спасение отчизны, и не пристало тебе судить и выносить приговоры. Так почему же ты меня осудила? Так почему же ты вынесла мне приговор? Бог с тобою! Знай же, что спасение в князе Радзивилле и в шведах, а кто думает иначе и особенно поступает иначе, тот-то и губит отчизну. Не время, однако, мне спорить с тобою, время ехать. Одно знай, — не изменник я, не предатель. Да лучше мне погибнуть, коли стану я им! Знай, несправедливо ты унизила меня, несправедливо обрекла на смерть! Клянусь тебе в том в минуту прощания, клянусь, чтобы тут же сказать: прощаю я тебя от всего сердца, но зато и ты меня прости!

Панна Александра уже совсем овладела собою.

— Несправедливо заподозрила я тебя в измене, это ты верно сказал, моя в том вина, каюсь я... и прощения прошу!..

Голос ее задрожал, и лазоревые глаза заволокло слезами, а он воскликнул с восторгом:

— Прощаю! Прощаю! Я бы тебе и смерть свою простил!

— С богом, пан Анджей, и да направит он тебя на путь истинный, чтобы сошел ты с того пути, на котором ныне блуждаешь!

— Не надо об этом! Не надо! — с жаром воскликнул Кмициц. — А то снова нарушится мир между нами. Блуждаю я или не блуждаю — не говори об этом. Каждый пусть поступает, как велит ему совесть, а бог нас рассудит. Хорошо, что пришел я к тебе, что не уехал, не простясь с тобою.

Дай же мне на прощание руку! Только и моего, завтра уж я тебя не увижу, и послезавтра, и через месяц, а может, и никогда! Эх, Оленька! Ум у меня мутится!.. Оленька! Ужели мы больше не увидимся?..

Крупные слезы, словно жемчуг, покатались у нее с ресниц, по щекам.

— Пан Анджей! Отступись от изменников!.. И все может стать... ..

— Молчи! Молчи! — прерывистым голосом ответил Кмициц. — Не бывать этому!.. Не могу я!.. Лучше ничего не говори! Лучше убитым мне быть, меньше была б моя мука! Господи боже мой! За что же все это?.. Будь здорова! В последний раз!.. А там пусть закроет мне смерть глаза!.. Ну что же ты плачешь?.. Не плачь, а то я с ума сойду!..

И в крайнем волнении он порывисто обнял ее и насильно, хоть она противилась, стал осыпать поцелуями ее глаза, губы, потом бросился к ее ногам, наконец, вскочил как безумный и, схватясь за волосы, выбежал вон со стоном:

— Сатана тут не поможет, не то что красная нитка!

В окно увидела еще Оленька, как он стремительно вскочил в седло, как тронули коней семеро всадников. Шотландцы, стоявшие на страже у ворот, отсалютовали, бряцая мушкетами, затем ворота захлопнулись за всадниками, и не стало их видно на темной дороге между деревьями.

Глухая ночь спустилась на землю.

ГЛАВА XXV

Ковно, вся левобережная сторона Вилии и все дороги были заняты неприятелем, Кмициц не мог поэтому ехать на Подляшье по большой дороге, которая вела из Ковно в Гродно, а оттуда в Белосток, и пустился из Кейдан кружным путем, вниз по течению Невяжи, до Немана, где переправился на другой берег неподалеку от Вилькова и очутился в Трокском воеводстве.

Вся эта в общем незначительная часть пути прошла спокойно, ибо эти места находились как бы под властью Радзивилла.

Городки, а кое-где и деревни были заняты надворными гетманскими хоругвями или небольшими отрядами шведских рейтар, которые гетман умышленно выдвинул так далеко против войск Золотаренко, стоявших сразу же за Вилией, чтобы скорее нашелся повод для стычки и для войны.

Золотаренко охотно «затеял бы драку», как выразился гетман, со шведами, но те, кому он помогал, не желали войны со шведами и, уж во всяком случае, хотели оттянуть ее, поэтому он получил строжайший приказ не переходить реки, а если сам Радзивилл двинется против него в союзе со шведами, отступить незамедлительно.

По этой причине на правобережной стороне Вилии было спокойно; однако через реку друг на друга поглядывали с одной стороны казацкие, с другой — шведские и радзивилловские отряды, а один выстрел из мушкета мог в любую минуту развязать страшную войну.

Предвидя это, народ заранее укрывался в безопасные места. Край поэтому был спокоен, но пуст. Повсюду видел пан Анджей опустелые городки, припертые жердями ставни помещичьих домов, совершенно обезлюдевшие деревни.

Поля тоже были пустынные, ибо скирд в тот год не складывали. Простой народ скрывался в необъятные леса, куда забирал с собою все пожитки, угонял весь скот, а шляхта бежала к курфюрсту, в соседнюю Пруссию, которой война пока совсем не угрожала. Лишь на дорогах да на лесных тропах царило необычайное оживление, ибо число беглецов умножали люди, которым удалось бежать от утеснений Золотаренко, переправившись с левого берега Вилии.

Их было множество; это были сплошь крестьяне, так как шляхта, которая не успела бежать на правый берег, была угнана в плен или казнена на порогах домов.

На каждом шагу пан Анджей встречал толпы крестьян с женами и детьми, гнавших отары овец, табуны лошадей и стада коров. Часть Трокского воеводства, граничившая с курфюрстовской Пруссией, была богата и плодородна, так что людям богатым было что и прятать, и хранить. Приближение зимы не испугало беглецов, которые предпочитали дожиться до лучших дней на лесных мхах, в шалашах, занесенных снегом, нежели в родных деревнях ждать смерти от руки врага.

Кмициц часто подъезжал поближе к толпам беглецов или к кострам, которые пылали по ночам в лесной чаще. Повсюду, где только встречались ему люди с левого берега Вилии, из окрестностей Ковно или из мест еще более удаленных, он слышал страшные рассказы о жестокостях Золотаренко и его союзников, которые истребляли поголовно все население, не глядя на возраст и пол, жгли деревни, вырубали даже деревья в садах, оставляя одну голую землю да воду. Никогда татарские полчища не оставляли за собой таких опустошений.

Жителей не просто убивали, их подвергали сперва самым изощренным пыткам. Многие бежали оттуда, помешавшись в уме. По ночам эти безумцы наполняли лесную чащу дикими воплями, иные, хоть и были уже по эту сторону Немана и Вилии и лесные чащи отделяли их от ватаг Золотаренко, однако все еще словно в бреду ждали нападения. Многие протягивали руки к Кмицицу и его оршанцам, моля о спасении и милосердии, словно враг уже настигнул их.

В Пруссию катили и кареты шляхты, везя стариков, женщин и детей, а за ними тянулись телеги с челядью, скарбом, пожитками, живностью. Все были напуганы, охвачены страхом, все удручены тем, что впереди ждут их скитания.

Пан Анджей иногда утешал этих несчастных, говорил, что шведы скоро переправятся через реку и прогонят врага далеко из пределов страны. Тогда беглецы воздевали руки к небу и говорили:

— Дай бог здоровья, дай бог счастья князю воеводе, что добрый народ привел нам на защиту! Вот придут шведы, и мы воротимся домой, на свои пепелища!..

И повсюду благословляли князя. Из уст в уста передавалась весть, что он во главе собственных и шведских войск вот-вот перейдет Вилию. Заранее прославлялась «скромность» шведов, их дисциплина, хорошее обращение с народом. Радзивилла называли литовским Гедеоном, Самсоном, спасителем. Люди, бежавшие из мест, где пахло свежей кровью, откуда тянуло гарью пожарищ, ждали его как избавителя.

А Кмициц, слушая эти благословения, эти пожелания, чуть не

славословия, укреплялся в своей вере в Радзивилла и повторял в душе:

«Вот какому господину я служу! С закрытыми глазами, слепо пойду за ним. Страшен он порою и непостижим, но мудр, лучше всех знает, что надо делать, и в нем одном спасение». Ему становилось легче и радостней на душе при этой мысли, и он ехал дальше, ободренный, то предаваясь тоске по Кейданах, то размышлениям о тяжелой доле отчизны.

Тоска все больше томила его. Он не бросил за собой красной ленточки, не залил ведром воды первого костра, ибо чувствовал, что все это напрасно, да и не хотел.

— Эх! Когда бы она была тут, слышала эти слезы и стоны людские, не стала бы она просить бога, чтобы наставил меня на путь, не говорила бы, что заблуждаюсь я, как еретик, который отрекся от истинной веры. Ничего! Рано или поздно она убедится, она поймет, что это ей разума не стало. А тогда будет, что бог даст. Может, мы еще встретимся в жизни...

И тоска по ней еще больше томила молодого рыцаря; но уверенность в том, что стоит он не на ложном, а на истинном пути, принесла ему покой, какого он давно уже не знал. Смятение духа, печали, сомнения понемногу оставляли его, и он стремился вперед, повеселевший, все дальше уходя в глубь необъятных лесов. С той поры, как он приехал в Любич после славных набегов на Хованского, не чувствовал он, что так хорошо жить на свете.

В одном усатый Харламп был прав: не было лучше лекарства от душевных забот и тревог, чем дорога. Здоровье у пана Анджея было железное, и с каждой минутой к нему возвращались отвага и жажда приключений. Он видел уже их перед собою и улыбался при мысли о них и гнал свой отряд без передышки, останавливаясь лишь на короткие ночлеги.

Перед очами души его непрестанно стояла Оленька, заплаканная, трепещущая в его руках, как пташка, и он говорил себе: «Я вернусь!»

Порою рисовался душе его и образ гетмана, мрачного, огромного, грозного. Но, быть может, потому, что он все больше от него удалялся, образ этот становился чуть ли не дорог ему. Доныне он сгибался перед Радзивиллом, сейчас начинал любить его. Доныне Радзивилл увлекал его, как пучина увлекает и притягивает все, что попадет в могучий ее водоворот; теперь Кмициц чувствовал, что всей душой хочет плыть вместе с ним.

И на расстоянии могучий воевода все больше рос в глазах молодого рыцаря и принимал просто нечеловеческие размеры. Не однажды на ночлеге, когда пан Анджей закрывал глаза, чтобы уснуть, ему виделся гетман, восседающий на троне, который возносится над вершинами сосен.

Венец на главе его, лицо все такое же, крупное, угрюмое, в руках скипетр и меч, а у ног вся Речь Посполитая.

И он склонялся в душе перед величием.

На третий день путешествия отряд оставил далеко позади Неман и вступил в край еще более лесистый. По-прежнему на дорогах встречались целые толпы беглецов: кто из шляхты не мог уже держать оружие в руках, уходил в Пруссию от неприятельских разъездов, не смиряемых тут шведскими и радзивилловскими полками, как это было на берегу Вилии, и проникавших иногда в глубь страны, к самой границе с курфюрстовской Пруссией. Грабительство было главной их целью.

Часто встречались ватаги, которые выдавали себя за разъезды Золотаренко, а на деле не признавали над собою ничьей власти и были просто разбойничьими шайками, так называемой «вольницей», и атаманы у них бывали иной раз из местных разбойников. Избегая столкновений с воинскими отрядами и даже с мещанами, они нападали на небольшие деревушки, помещичьи усадьбы и на проезжих людей.

Громила их шляхта со своею челядью на свой страх и вешала на придорожных соснах; однако в лесах можно было наткнуться на крупные шайки, и пану Анджею приходилось соблюдать теперь чрезвычайную осторожность.

Но чуть подальше, в Пильвишках, на Шешупе, люди уже спокойно сидели на местах. Правда, горожане рассказали Кмицицу, что не далее как за два дня до его приезда на староство напал большой, до пятисот сабель, отряд Золотаренко, который, по своему обычаю, предал бы город мечу и огню, если бы не нежданная помощь, которая словно с неба упала.

— Мы уж предали живот свой в руки господ, — говорил хозяин постоянного двора, где остановился пан Анджей, — а тут святые угодники послали нам какую-то хоругвь. Сперва мы подумали, что это новый враг, оказалось — нет, свои. Налетели они на ватагу Золотаренко и за какой-нибудь час всех положили; правда, мы им тоже подмогли.

— Что же это была за хоругвь? — спросил пан Анджей.

— Не сказывали они, дай им бог здоровья, кто такие, а мы тоже не посмели спрашивать. Покормили они лошадей, взяли сена да хлеба и уехали.

— Откуда же они пришли и куда ушли?

— Пришли из Козловой Руды, а ушли на полдень. Мы поначалу тоже хотели в лес бежать, а теперь вот подумали и остались, — пан подстароста сказал нам, что после такой науки враг не скоро к нам заглянет.

Весть о бое взволновала пана Анджея.

— А не знаете, кто полковник этой хоругви? — продолжал расспрашивать он.

— Кто он такой, не знаем, а видеть его — видели, он на рынке с нами беседовал. Молодой такой, а уж ловок, вьюном вертится. С виду никак не похож на такого воина, какой он есть...

— Володыёвский! — воскликнул Кмициц.

— Володыёвский, нет ли, благослови его бог и пошли ему гетманство!

Пан Анджей крепко призадумался. Видно, он шел той самой дорогой, по которой за несколько дней до него проследовал Володыёвский с лауданцами. Дело было возможное. Оба они направлялись на Подляшье. Пану Анджею пришло тут на ум, что если он станет торопиться, то легко может наткнуться на маленького рыцаря и попасть в его руки; тогда и все радзивилловские письма попадут вместе с ним к конфедератам. Все пойдет тогда прахом, и бог знает какой урон может быть нанесен делу Радзивилла. Пан Анджей принял решение задержаться дня на два в Пильвишках, чтобы лауданская хоругвь успела за это время уйти далеко вперед.

К тому же и люди и лошади нуждались в отдыхе, так как отряд чуть не от самых Кейдан прошел с одними короткими привалами; пан Анджей приказал поэтому развьючить лошадей и расположиться в корчме на длительный отдых.

На следующий день он убедился, что рассудил не только здраво, но и предусмотрительно; не успел он утром одеться, как к нему явился хозяин постоялого двора.

— Я, пан, к тебе с новостью, — сказал он.

— С хорошей?

— Ни плохой, ни хорошей, гости у нас. Богатый двор приехал нынче утром и остановился в доме старосты. Полк пехоты, а уж конницы, карет, слуг! Люди думали, сам король приехал.

— Какой король?

Хозяин стал мять в руках шапку.

— Это верно, что королей у нас нынче два, но приехал это никакой не король, а князь конюший.

Кмициц вскочил с места.

— Какой князь конюший? Князь Богуслав?

— Он самый. Двоюродный брат князя, виленского воеводы.

Пан Анджей в изумлении даже руками всплеснул.

— Вот это встреча!

Поняв, что его постоялец знаком с князем Богуславом, хозяин отвесил поклон ниже, чем накануне, и вышел, а Кмициц стал торопливо одеваться и

час спустя был уже у ворот дома старосты.

Весь городок кишел солдатами. На рынке пехота ставила в козлы мушкеты; конница уже спешила и заняла ближайшие дворы. Солдаты и княжеская челядь в пестром платье стояли у ворот или прогуливались по улицам. Слышалась французская и немецкая речь офицеров. Нигде ни одного польского солдата, ни одного польского мундира; мушкетеры и драгуны одеты странно, даже не так, как иноземные хоругви, которые пан Анджей видел в Кейданах, не на немецкий, а на французский манер. Однако красавцы солдаты, такие видные, что каждого можно было принять за офицера, тешили взор. Офицеры с любопытством поглядывали на молодого рыцаря, разряженного в бархат и парчу и выступавшего в сопровождении шестерых солдат в новых мундирах.

Во дворе у старосты суетилась придворная челядь; все были одеты на французский манер: пажи — в беретиках с перьями, лакеи — в бархатных кафтанах, старшие конюхи — в высоких шведских ботфортах.

Князь, видно, не думал задерживаться в Пильвишках, заехал только покормить лошадей, так как кареты не были поставлены в сараи и лошадей старшие конюхи кормили из жестяных сит.

Кмициц сказал офицеру, стоявшему на страже перед домом, кто он такой и по какому делу следует; тот ушел доложить князю. Через минуту он поспешно вернулся и сказал, что князь желает немедленно видеть посланца гетмана; показывая пану Анджею дорогу, он вошел вместе с ним в дом.

Миновав сени, пан Анджей в первом, столовом, покое увидел несколько придворных, которые, вытянув ноги, сладко дремали в креслах; верно, с последнего привала они выехали ранним утром. У двери в следующий покой офицер остановился и с поклоном сказал пану Анджею по-немецки:

— Князь там.

Пан Анджей вошел и остановился на пороге. Князь сидел перед зеркалом, поставленным в углу покоя, и так пристально разглядывал свое лицо, видно, только что нарумяненное и набеленное, что не обратил внимания на вошедшего. Двое слуг, стоя перед ним на коленях, кончали застегивать пряжки высоких дорожных сапог, а он медленно расчесывал пальцами на лбу пышную, ровно подрезанную гривку светло-желтого парика, а может, и собственных густых волос.

Это был еще молодой человек лет тридцати пяти, хотя на вид ему едва ли можно было дать двадцать пять. Кмициц знал князя Богуслава, однако всегда смотрел на него с любопытством, во-первых, потому, что имя его было овеяно большой рыцарской славой, которую он снискал главным

образом поединками с иноземными аристократами, во-вторых, потому, что наружность у князя была такая необыкновенная, что, раз увидев, трудно было его забыть. Это был мужчина высокого роста и сильного телосложения, однако на широких его плечах сидела такая маленькая головка, словно она была посажена с чьего-то чужого корпуса. Лицо у него было тоже маленькое до чрезвычайности, почти детское, но и оно было крайне непропорционально; нос был большой, римский и глаза огромные, неизъяснимой красоты и блеска, с орлиным взглядом. При таких глазах и носе остальные черты лица, окаймленного к тому же длинными и пышными бровями, совсем пропадали, рот был совершенно детский, жиденькие усики едва прикрывали верхнюю губу. Нежная кожа нарумяненного и набеленного лица делала его похожим на девушку; но дерзость, кичливость и самоуверенность, рисовавшиеся на этом лице, не давали забыть, что это знаменитый *chercheur de noises*^[130] как его называли при французском дворе, человек, у которого легко срывалось с губ острое словцо, но еще легче вырывалась шпага из ножен.

В Германии, в Голландии и во Франции рассказывали чудеса о его боевых подвигах, ссорах, приключениях и поединках. Это он в Голландии бросался в самое пекло в битве с несравненными полками испанской пехоты и собственной княжеской рукою захватывал знамена и пушки; это он во главе полков принца Оранского захватывал батареи, которые старые военачальники почитали непобедимыми; это он на Рейне, во главе французских мушкетеров, сокрушал тяжелые германские хоругви, испытанные в огне Тридцатилетней войны; это он во Франции ранил в поединке самого прославленного фехтовальщика среди французских кавалеров, принца де Фремуйля; другой знаменитый забияка, барон фон Гец, на коленях молил его даровать ему жизнь; это он ранил барона Грота, за что выслушал от брата Януша горькие упреки в том, что он унижает свое княжеское достоинство, выходя на поединки с людьми неравными; это он, наконец, на балу в Лувре, в присутствии всего французского двора, дал пощечину маркизу де Рье за то, что тот «дерзко» с ним разговаривал.

Поединки *incognito*^[131] в маленьких городах, корчмах и заезжих дворах, ясное дело, в расчет не принимались.

Изнеженность сочеталась в князе с необузданной отвагой. Во время редких и коротких наездов в родные края он развлекался раздорами с родом Сапег и охотой. Лесники должны были находить для него медведиц с детенышами, особенно опасных и свирепых, а хаживал князь на них вооруженный одною рогатиной. Вообще же дома он скучал и, как уже было

сказано, наезжал на родину неохотно, чаще всего во время войны. Большую храбрость проявил он в боях под Берестечком, Могилевом, Смоленском. Война была его стихией, хотя ум его, быстрый и гибкий, одинаково годился и для интриг, и для дипломатических уловок.

Тогда он умел быть терпеливым и стойким, гораздо более стойким, чем в «амурах», длинный ряд которых дополнял историю его жизни. При дворах князь был грозой мужей, обладателей красивых жен. Вероятно, по этой причине сам он до сих пор не был женат, хотя и высокое происхождение, и огромное состояние делали его одной из самых завидных партий в Европе. Сватали его и сам французский король с королевой, и Мария Людовика, королева польская, и принц Оранский, и дядя курфюрст бранденбургский, однако князь не хотел расстаться со своею свободой.

— Приданое мне не нужно, — цинично говаривал он, — а иных утех мне и без того хватает.

Так дожил он до тридцати пяти лет.

Стоя на пороге, Кмициц с любопытством смотрел на его лицо, отражавшееся в зеркале, а князь в задумчивости расчесывал гривку на лбу; наконец пан Анджей кашлянул раз, другой, и князь, не поворачивая головы, спросил:

— Кто там? Не посланец ли от князя воеводы?

— Не посланец, но от князя воеводы! — ответил пан Анджей.

Тогда князь повернул голову и, увидев блестящего рыцаря, понял, что имеет дело не с простым слугою.

— Прошу прощения, пан кавалер, — сказал он любезно, — я вижу, ошибся. Что-то мне знакомо твое лицо, хотя имени не могу припомнить. Ты придворный князя гетмана?

— Звать меня Кмицицем, — ответил пан Анджей, — не придворный я, а полковник с той поры, как привел князю собственную хоругвь.

— Кмициц! — воскликнул князь. — Уж не тот ли Кмициц, который прославился в последнюю войну, когда учинял набеги на Хованского, а потом не хуже действовал и на свой страх? А ведь я много о тебе наслышан!

С этими словами князь устремил на пана Анджея внимательный и благосклонный взгляд, приняв его за человека такого же покроя, как и он сам.

— Садись, пан кавалер, — сказал он. — Рад поближе с тобой познакомиться. Что слышно в Кейданах?

— Вот письмо от пана гетмана, — ответил Кмициц.

Слуги, закончив застегивать князю сапоги, вышли, а князь взломал

печать и стал читать письмо. Через минуту на лице его отразились недовольство и скука. Он бросил письмо на подзеркальник и промолвил:

— Ничего нового! Князь советует мне уехать в Пруссию, в Тильзит или Тауроги, а я, как видишь, и без него это делаю. Ma foi^[132], не пойму я брата! Он сообщает мне, что курфюрст в маркграфстве и в Пруссию не может пробраться из-за шведов, и в то же время пишет, что волосы у него дыбом становятся, оттого что я не сношусь с курфюрстом de succursu u de rescertu^[133]. А как же мне это сделать? Коли курфюрст не может пробиться из-за шведов, то как же пробьется мой посланец? На Подляшье я оставался потому, что больше мне нечего было делать. Скажу тебе, пан кавалер, пропал я со скуки, как бес на покаянии. Медведей, какие были неподалеку от Тыкоцина, я поднял на рогатину, от тамошних баб разит овчиной, а мой нос не терпит овчинного духу... Однако, пан кавалер, ты, может, понимаешь по-французски или по-немецки?

— По-немецки понимаю, — ответил Кмициц.

— Ну вот и слава богу! Я буду говорить по-немецки, а то у меня от вашего языка губы трескаются.

С этими словами князь оттопырил нижнюю губу и стал легонько поглаживать ее пальцем, как бы желая убедиться, не сохнет ли и впрямь она, не трескается ли; затем он посмотрел на себя в зеркало и сказал:

— До меня дошли слухи, будто недалеко от Лукова у какого-то шляхтича Скшетуского жена — чудная красавица. Далеконько, однако! И все-таки я послал людей, чтобы они похитили ее и привезли сюда. И представь себе, пан Кмициц, ее не нашли дома!

— Какое счастье! — воскликнул пан Анджей. — Ведь это жена достойного кавалера, славного героя Збаража, который прорвался из Збаража сквозь все полчища Хмельницкого.

— Мужа осаждали в Збараже, а я бы его жену осаждал в Тыкоцине... Ты думаешь, она оборонялась бы с таким же упорством?

— Вельможный князь, при этой осаде тебе не понадобился бы военный совет, обойдется дело и без моего мнения! — отрезал Кмициц.

— Это верно! Не стану говорить об этом, — согласился князь. — Вернемся к делу: у тебя есть еще письма?

— Что было для тебя, вельможный князь, я отдал, а кроме того, есть письмо к шведскому королю. Не знаешь ли ты, вельможный князь, где мне его искать?

— Не знаю. Откуда мне знать? В Тыкоцине его нет, за это я ручаюсь; загляни он туда хоть разок, так отрекся бы от господства над всей Речью

Посполитой. Варшава уже в руках шведов, как я писал вам; но там его величества тоже не найдешь. Он, верно, под Краковом или в самом Кракове, коли не выбрался еще в Королевскую Пруссию. В Варшаве ты обо всем узнаешь. По-моему, Карл Густав должен подумать о прусских городах, в тылу у себя он не может их оставить. Кто бы мог подумать, что в то время, как вся Речь Посполитая отрекается от своего повелителя, вся шляхта присоединяется к шведам и воеводства сдаются одно за другим, прусские города, немцы и протестанты, слышать не захотят о шведах и станут готовиться дать им отпор. Они хотят выстоять, они хотят спасти Речь Посполитую и удержать на троне Яна Казимира! Когда мы начинали наше дело, мы думали, что все сложится иначе, что именно они в первую очередь помогут нам и шведам раскроить ковригу, которую вы зовете своей Речью Посполитой. А тут на-поди! Счастье, что курфюрст следит за ними. Он уже посулил им помощь против шведов, но гданцы ему не доверяют, говорят, что у них самих достаточно сил...

— Мы уже знаем об этом в Кейданах, — прервал его Кмициц.

— Может, сил у них недостаточно, но, уж во всяком случае, хороший нюх, — смеясь, продолжал князь, — ибо дяде курфюрсту, я так полагаю, столько же дела до Речи Посполитой, сколько мне или князю воеводе виленскому.

— Вельможный князь, позволь мне не согласиться с тобою! — порывисто воскликнул Кмициц. — Князь воевода виленский только о Речи Посполитой и думает, за нее он готов жизнь положить, отдать последнюю каплю крови.

Князь Богуслав засмеялся.

— Молод ты, пан кавалер, молод! Но довольно об этом! Дяде курфюрсту одно важно — захватить Королевскую Пруссию, потому только он и предлагает ей свою помощь. Как только она будет у него в руках, как только ему удастся ввести в города свои гарнизоны, он на следующий же день готов будет помириться со шведами, — да что там! — с турками, с самим сатаной! А коль шведы дадут ему в придачу лоскут Великой Польши, он будет готов помогать им изо всех сил захватить остальную ее часть. Вся беда только в том, что шведы тоже зарятся на Пруссию, отсюда и раздоры между ними и курфюрстом.

— Странны мне твои речи, вельможный князь! — сказал Кмициц.

— Зло брало меня, — продолжал князь, — что столько времени приходится сидеть на Подляшье в бездействии. Но что было делать? Мы уговорились с князем воеводой что покуда в Пруссии дело не прояснится, я не перейду открыто на сторону шведов. И это правильно, ибо тогда

остается лазейка. Я даже послал к Яну Казимиру тайных гонцов и сообщил, что готов созвать на Подляшье ополчение, если только он пришлет мне манифест. Король как король, он бы, может, и попался на удочку, да королева, видно, мне не доверяет и, должно быть, отсоветовала ему. Не будь этой бабы, я бы сегодня встал во главе всей шляхты Подляшья, и конфедератам, которые разоряют сейчас поместья князя Януша, ничего не оставалось бы, как пойти под мою руку. Я бы выдавал себя за сторонника Яна Казимира, а сам, имея силу в руках, торговался бы со шведами. Но эта баба слышит, как трава растет, самую затаенную мысль отгадает. Не королева — настоящий король! У нее в мизинце ума больше, чем у Яна Казимира в голове!

— Князь воевода... — начал было Кмициц.

— Князь воевода, — прервал его нетерпеливо Богуслав, — вечно опаздывает со своими советами, он мне в каждом письме пишет: сделай то-то и то-то, а я уж давно все сделал. Князь воевода к тому же голову теряет, — вот послушай, пан кавалер, чего он еще требует от меня...

Тут князь схватил письмо и начал читать вслух:

— «Сам, вельможный князь, будь в пути осторожен, что ж до подлых конфедератов, кои взбунтовались противу меня и бесчинствуют на Подляшье, то подумай, ради Христа, о том, как бы рассеять их, дабы не пошли они к королю. Они готовятся идти в Заблудов, а там пиво крепкое; как упьются, пусть их перережут, каждый хозяин пусть прикончит своего постояльца. Лучше ничего не придумаешь, а снимем *capita*^[134], и рассеются прочие...» — Богуслав недовольно бросил письмо на стол. — Вот тут и поди! Выходит, пан Кмициц, я должен в одно и то же время и в Пруссию ехать, и устраивать резню в Заблудове? И делать вид, что я сторонник Яна Казимира и патриот, и истреблять людей, которые не хотят предавать короля и отчизну? Где же тут смысл? Разве вяжется тут одно с другим? *Ma foi*, князь гетман теряет голову. Да я вот и сейчас, едучи сюда, в Пильвишки, повстречал по дороге целую хоругвь мятежников, которая шла на Подляшье. Я бы с удовольствием конями их потоптал, хотя бы потехи ради, но покуда я не открытый сторонник шведов, покуда дядя курфюрст для виду еще в союзе с прусскими городами, а стало быть, и с Яном Казимиром, я не могу себе позволить такую роскошь, право же, не могу. Самое большое, что я мог сделать, — это заигрывать с этими мятежниками, так же как и они заигрывали со мной, подозревая, что я связан с гетманом, но не имея против меня прямых улик.

Тут князь расселся поудобней в кресле, протянул ноги и, небрежно закинув руки на затылок, воскликнул:

— Ну и бестолочь же в этой вашей Речи Посполитой, ну и бестолочь! На всем свете такой не сыщешь!

Он умолк на минуту; видно, в голову ему пришла какая-то мысль, потому что он хлопнул себя по парику и спросил:

— А ты, пан, не будешь на Подляшье?

— А как же! — ответил Кмициц. — Я должен быть там, у меня письмо с распоряжениями Гарасимовичу, заблудовскому подстаросте.

— Господи! — воскликнул князь. — Да ведь Гарасимович здесь со мною. Он едет с имуществом гетмана в Пруссию, так как мы опасались, что оно попадет в руки конфедератам. Погоди, я велю позвать его.

Князь кликнул слугу и велел ему позвать подстаросту.

— Как хорошо все складывается! — сказал он. — Сократишь себе дорогу. Оно, может, и жаль, что не поедешь на Подляшье, там ведь среди конфедератов есть и твой однофамилец. Ты бы мог переманить его.

— Не стало бы у меня на это времени, — возразил Кмициц, — мне спешно надо ехать к шведскому королю и к пану Любомирскому.

— Так у тебя письма и к коронному маршалу? Э, я догадываюсь, о чем там речь! Когда-то пан маршал хотел посватать сынка за дочку Януша. Уже не хочет ли гетман теперь осторожно возобновить переговоры?

— Об том речь.

— Они совсем дети! Гм!.. Деликатное это поручение, не пристало гетману первому напрашиваться. К тому же... — Князь насупил тут брови. — К тому же ничего из этого не выйдет. Не про Гараклиуша дочка князя гетмана. Это я тебе говорю! Князь гетман должен понимать, что его богатство должно остаться в руках Радзивиллов.

Кмициц с удивлением воззрился на князя, который все расхаживал по покою. Вдруг он остановился перед паном Анджеем.

— Дай мне слово кавалера, — сказал он, — что ответишь правду на мой вопрос.

— Вельможный князь, — ответил Кмициц, — лжет только тот, кто боится, а я никого не боюсь.

— Велел ли тебе князь сохранить от меня в тайне переговоры с Любомирским?

— Будь у меня такой приказ, я бы о пане Любомирском и не заикнулся.

— Ты мог забыть. Дай мне слово,

— Даю, — нахмурился Кмициц.

— От сердца у меня отлегло, я уж думал, князь воевода и со мною ведет двойную игру.

— Не понимаю тебя, вельможный князь.

— Я во Франции на принцессе Роган не хотел жениться, не говоря уже о десятках других принцесс, которых мне сватали. Знаешь почему?

— Нет.

— Между мною и князем воеводой уговор, что его дочка и его богатство для меня растут. Как верный слуга Радзивиллов, ты можешь знать обо всем.

— Спасибо за доверие. Но ты ошибаешься, вельможный князь. Я не слуга Радзивиллов.

Богуслав широко раскрыл глаза.

— Кто же ты?

— Я не надворный, а гетманский полковник, к тому же родич князя воеводы.

— Родич?

— Я в свойстве с Кишками, а мать гетмана из их рода.

Князь Богуслав минуту смотрел на Кмицица, лицо которого покрылось легким румянцем. Вдруг он протянул ему руку и сказал:

— Прошу прощенья, братец, ну и позволь поздравить тебя с весьма высоким родством.

Последние слова были произнесены с такой не то небрежной, не то изысканной любезностью, которая показалась пану Анджею просто оскорбительной. Он еще больше покраснел и уже собирался в запальчивости что-то сказать, когда дверь отворилась, и на пороге показался подстароста Гарасимович.

— Тебе письмо, пан Гарасимович, — обратился к нему князь Богуслав.

Подстароста поклонился князю, а затем пану Анджею, который вручил ему письмо гетмана.

— Читай! — приказал князь Богуслав.

Гарасимович начал читать:

— «Пан Гарасимович! Приспело время показать, сколь предан ревностный слуга господину. Все деньги кои ты сможешь собрать в Заблудове, а пан Пшинский в Орле...»

— Пана Пшинского зарубили в Орле конфедераты, — прервал чтение князь, — потому-то и пан Гарасимович удирает...

Подстароста поклонился и продолжал:

— «...а пан Пшинский в Орле, все подати, оброк и аренду...»

— Все уже собрали конфедераты, — снова прервал князь Богуслав.

— «...перешли нам немедля, — продолжал читать Гарасимович. — Постарайтесь, коли сможете, заложить деревни соседям либо мещанам, да денег возьмите побольше и иные изыщите способы раздобыть их и шлите

нам. Лошадей и все имущество, какое в Заблудове есть, вышлите с вельможным князем братом, ибо alias^[135] приходится опасаться разбоя, да и в Орле не забудьте свечник большой и иную утварь, картины, убранство, наипаче же пушки, кои стоят у входа...»

— Опять запоздалый совет, пушки уже идут со мною! — заметил князь.

— «Трудно будет со станками, то без оных, одни орудия, и укрыть их, дабы неведомо было, что везете. Оное имущество в Пруссию вывезите немедля, наипаче опасаясь тех изменников, кои, подняв в войске нашем мятеж, наши староства разоряют...»

— Вот уж разоряют, так разоряют! Все до последней нитки растащат! — снова прервал князь.

— «...староства наши разоряют и готовятся напасть на Заблудов, идучи, видно, к королю. Сражаться с ними трудно, ибо их много; надлежит, либо, впустивши их в дома, упоить, а ночью вырезать спящих (учинить сие может всякий хозяин), либо отравить, всыпавши в крепкое пиво отравного зелья, либо, что легко там сделать, собрать противу них вольницу, дабы она на них хорошо поживилась...»

— Ничего нового! — воскликнул князь Богуслав. — Можешь, пан Гарасимович, ехать со мной дальше.

— Тут еще приложение, — сказал подстароста. И продолжал читать: — «...коли нельзя вывезти погреб (тут у нас вин уже нигде не достанешь), распродайте немедля за наличные деньги...» — На этот раз чтение прервал сам Гарасимович. — Боже мой! — схватился он за голову. — Вина-то везут за нами, всего в каких-нибудь шести часах пути от нас, и они, наверно, попали в руки той мятежной хоругви, что миновала нас. Урону будет на добрую тысячу червонных золотых. Вельможный князь, подтверди же, что ты сам велел мне не ждать, покуда бочки уложат на телеги.

Гарасимович испугался бы еще больше, когда бы был знаком с паном Заглобой и знал, что он находится в этой хоругви. Но князь Богуслав со смехом воскликнул:

— Пусть себе пьют на здоровье! Читай дальше!

— «Коли не найдется купец...»

Князь Богуслав так и покатился со смеху.

— Уже нашелся! — проговорил он. — Только придется ему в долг поверить.

— «Коли не найдется купец, — жалостным голосом читал Гарасимович, — заройте в землю, только втайне, дабы ведало о том не более двух человек. Одну, две бочки оставьте, однако, и в Орле и в

Заблудове, да чтоб вино было получше и послаще, дабы соблазнились мятежники, и крепко приправьте отравным зельем, дабы атаманы, по крайности, переколели, тогда и вся ватага разбежится. Заклинаем вас, сослужите нам сию службу и втайне, Христом-богом молим! А письма наши жгите, и коли кто дознается о чем, отсылайте того к нам. Мятежники сами найдут бочки и упьются, а нет, так, подольстясь, и подарить им можно...»

Подстароста кончил читать и уставился на князя Богуслава, словно ожидая указаний.

— Вижу, — сказал князь, — крепко озаботили брата моего конфедераты, да вот беда, по обыкновению, слишком поздно! Когда бы он сию штуку придумал неделки две назад или хоть неделку, можно было бы попытаться. А теперь ступай с богом, пан Гарасимович, ты нам больше не надобен.

Гарасимович поклонился и вышел.

Князь Богуслав встал перед зеркалом и стал внимательно разглядывать свою фигуру; он то слегка повертывал голову вправо и влево, то отходил от зеркала, то снова подходил поближе, то встряхивал буглями, то разглядывал себя вполоборота, не обращая никакого внимания на Кмицица, который сидел в тени, повернувшись спиной к окну.

Если бы князь хоть один раз взглянул на пана Анджея, он бы понял, что с молодым послом творится что-то неладное; лицо его было бледно, на лбу выступили мелкие капли пота, руки судорожно тряслись. Молодой рыцарь поднялся вдруг с кресла и тотчас снова сел, видно было, что он борется с самим собою, что он силится подавить взрыв негодования или отчаяния. Наконец, черты его застыли, окаменели, — собрав все свои силы, он успокоился и совершенно овладел собою.

— Вельможный князь, — сказал он, — ты видишь, какое доверие оказывает мне князь гетман, он ничего от меня не таит. Всею душой предан я его делу, все мое принадлежит ему. С вашим богатством и мое может составить, потому куда вы пойдете, туда и я пойду. Я готов на все! Но хоть служу я вам и дело делаю, что вы замыслили, однако же не все, наверно, понимаю и слабым умом своим не могу постигнуть все тайны.

— Чего же ты хочешь, пан кавалер, верней, родич мой прекрасный? — спросил князь.

— Прошу тебя вельможный князь, преподай ты мне науку, ибо стыдно было бы мне, когда бы при таких державных мужах я ничему не научился. Вот только не знаю вельможный князь, захочешь ли ты сказать мне все откровенно?

— Все будет зависеть от твоего вопроса и от моего расположения — ответил Богуслав, — не переставая смотреться в зеркало. На мгновение глаза Кмицица сверкнули, однако он продолжал спокойно:

— Так вот он, мой вопрос: князь воевода виленский все свои дела прикрывает речами о благе и спасении Речи Посполитой. С языка у него не сходит эта самая Речь Посполитая. Скажи же мне прямо, вельможный князь: одна ли это видимость или князь гетман и впрямь имеет своею целью одно лишь благо Речи Посполитой?

Богуслав бросил на пана Анджея мимолетный взгляд.

— А если я скажу тебе, что это одна видимость, будешь ли ты по-прежнему нам помогать?

Кмициц небрежно пожал плечами.

— Да ведь я сказал, что с вашим богатством и мое составитя. А коли так, до прочего мне дела нет!

— Будет из тебя толк! Помни, я тебе это предсказываю. Но почему же брат никогда с тобой не говорил открыто?

— Может, потому что щепетилен, а может, так, случая не было!

— Быстрый у тебя ум, пан кавалер! Это верно, что он щепетилен и неохотно показывает настоящее свое лицо! Правда, ей-ей, правда! Такая уж у него натура. Ведь он и в разговоре со мною, как только забудется, тотчас начинает разглагольствовать о любви к отчизне. Только тогда, когда я в лицо ему засмеюсь, он опомнится. Правда! Правда!

Князь повернул кресло, сел на него верхом и, опершись руками на подлокотники, помолчал с минуту времени, как бы раздумывая.

— Послушай, пан Кмициц! — начал он. — Когда бы мы, Радзивиллы, жили в Испании, во Франции или в Швеции, где сын наследует отцу и короля почитают помазанником Божиим, мы бы, минуя время смут, прекращения королевского рода или иных чрезвычайных событий, верно служили королю и отчизне, довольствуясь высшими чинами, которые полагались бы нам по роду и богатству. Но здесь, в этой стране, где короля не почитают помазанником Божиим, где его избирает шляхта, где все решается *in liberis suffragiis*^[136], мы законно задались вопросом: почему же должен властвовать не Радзивилл, а Ваза? Ваза — это еще ничего, он хоть ведет свой род от наследственных королей; но кто поручится, кто уверит нас, что после Вазы шляхте не вздумается посадить на королевский и великокняжеский престол какого-нибудь пана Гарасимовича, или пана Мелешко, или пана Пегласевича из Песьей Вольки. Тьфу! Да разве я знаю, кого еще вздумается ей посадить? А мы, Радзивиллы, князя Священной Римской империи, должны будем по-прежнему подходить к руке короля

Пегласевича? Тьфу! К черту, пан кавалер, пора кончать с этим! Ты посмотри на немцев, сколько там удельных князьков, которые по бедности согласились бы пойти к нам в подстаросты. А ведь у каждого из них свой удел, ведь каждый княжит, ведь каждый *suffragia* имеет в сеймах империи, ведь каждый корону носит на голове и место занимает выше нас, хоть ему скорей пристало носить хвост нашей мантии. Пора кончать с этим, пан кавалер, пора исполнить то, что замыслил еще мой отец!

Князь оживился, встал с кресла и заходил по покою.

— Не обойдется без помех и распрей, — продолжал он, — ибо олыцкие и несвижские Радзивиллы не хотят нам помогать. Я знаю, князь Михал писал брату, что нам не о королевской мантии надо помышлять, а скорей о власянице. Пусть сам о ней помышляет, пусть кается, пусть посыпает главу пеплом, пусть иезуиты полосуют ему шкуру плетями; и коль скоро он может довольствоваться своим чином кравчего, пусть всю свою благочестивую жизнь до самой благочестивой кончины благочестиво кроит каплунов! Обойдемся без него, и руки у нас не опустятся, ибо пришло время. К черту летит Речь Посполитая, так она стала бессильна, до того пала, что никому больше не может дать отпора. Все лезут сюда, как через поваленный забор. А уж такого, что со шведами здесь приключилось, не бывало еще на свете. Мы, пан кавалер, и впрямь можем петь: «*Te Deum laudamus*»^[137]. Но неслыханные и невиданные это дела! Как! Враг нападает на страну, враг, известный своею хищностью, и не только не встречает отпора, но все живое покидает прежнего господина и спешит к новому: *magnates*^[138], шляхта, войско, крепости, города, все, позабыв честь и славу, достоинство и стыд! История не знает другого такого примера! Тьфу, тьфу, пан кавалер! Подлый народ живет в этой стране, без совести и чести! И чтобы такой край да не погиб? Вы искали шведских милостей? Получайте шведские милости! В Великой Польше шведы уже ломают шляхте пальцы в мушкетных курках! И так будет повсюду, этого не миновать, ибо такой народ должен погибнуть, должен быть унижен, должен пойти на службу к соседям!

Кмициц все больше бледнел, из последних сил сдерживая порыв негодования; но князь, упоенный собственными словами, собственным умом, продолжал в увлечении, не глядя на слушателя:

— Есть, пан кавалер, такой обычай в этой стране: когда человек кончается, родичи в последнюю минуту выхватывают у него из-под головы подушку, чтобы он долго не мучился. Я и князь воевода виленский решили оказать эту услугу Речи Посполитой. Но много хищников ждет наследства,

и всё захватить мы не сможем, хотим поэтому, чтобы на нашу долю пришлось хоть часть, но не маленькая. Как родичи умирающего, мы имеем на это право. Коль это сравнение ничего тебе не говорит, коль не раскрыл я самую суть дела, тогда скажу тебе иначе. Речь Посполитая как бы кусок красного сукна, который рвут друг у друга из рук шведы, Хмельницкий, гиперборейцы^[139], татары, курфюрст и все, кому не лень. А мы с князем воеводой виленским сказали себе, что от этого сукна и у нас в руках должен остаться клочок, да такой, чтобы хватило на мантию, а потому не только не мешаем рвать, но и сами рвем. Пусть Хмельницкий остается при своей Украине, пусть шведы и бранденбуржец ссорятся за Пруссию, пусть Малую Польшу берет себе Ракоци или кто поближе, Литва должна достаться князю Янушу, а с его дочерью — мне!

Кмициц внезапно поднялся.

— Спасибо, вельможный князь, я только это и хотел знать!

— Уходишь, пан кавалер?

— Да.

Князь внимательно посмотрел на Кмицица и только в эту минуту заметил, как бледен он и возбужден.

— Что с тобой, пан Кмициц? — спросил он. — Ты как с креста снятый.

— С ног валюсь от усталости, и голова кружится. До свидания, вельможный князь, перед отъездом я зайду еще проститься.

— Тогда поторопись, я после полудня тоже уезжаю.

— Я приду не позднее чем через час.

С этими словами Кмициц поклонился и вышел.

В соседнем покое слуги встали, увидев его; но он прошел мимо, как пьяный, ничего не видя. На пороге покоя он со стоном схватился руками за голову:

— Иисусе Назарейский, царь Иудейский! Мать пресвятая богородица!

Шатаясь, миновал он двор, прошел мимо шестерых алебардников, стоявших на страже. За воротами ждали его люди с вахмистром Сорокой во главе.

— За мной! — приказал Кмициц.

И поехал через город к корчме.

Сорока, старый солдат Кмицица, хорошо его знавший, тотчас заметил, что с молодым полковником творится что-то неладное.

— Берегись! — тихо сказал он солдатам. — Не приведи бог попасть ему под горячую руку.

Солдаты молча ускорили шаг, а Кмициц не шел, а бежал вперед,

размахивая руками и что-то бормоча на бегу.

До слуха Сороки долетали только обрывки слов: «Отравители, злоумышленники, предатели... Преступник и изменник! Оба хороши!..»

Затем Кмициц стал вспоминать старых друзей. Он называл имена Кокосинского, Кульвеца, Раницкого, Реуца и других. Несколько раз вспоминал Володыёвского. С изумлением слушал его Сорока, и тревога охватывала старого солдата.

«Прольется тут чья-то кровь, — думал он про себя, — как пить дать прольется!»

Тем временем они пришли на постоянный двор. Кмициц тотчас заперся в избе и добрый час не подавал признаков жизни.

А солдаты тем временем без приказа торочили вьюки и седлали лошадей.

— Это не помешает, — говорил им Сорока, — надо быть готовыми ко всему.

— Мы и готовы! — отвечали ему старые забияки, топорща усы.

Вскоре обнаружилось, что Сорока хорошо знает своего полковника: тот появился внезапно в сенях, без шапки, в одной рубахе и шароварах.

— Седлать коней! — крикнул он.

— Оседланы!

— Торочить вьюки!

— Приторочены!

— Дукат каждому! — крикнул молодой полковник, который, несмотря на весь свой гнев и возмущение, заметил, что солдаты на лету угадывают его мысли.

— Спасибо, пан полковник! — хором ответили солдаты.

— Двоим взять вьючных лошадей и тотчас выехать из города на Дембов. Через город ехать медленно, за городом пустить лошадей вскачь и не останавливаться до самого леса.

— Слушаюсь!

— Четверым набить дробовики дробью. Для меня оседлать двух лошадей, чтобы и вторая была наготове.

— Так я и знал, что-то будет! — проворчал Сорока.

— А теперь, вахмистр за мной! — крикнул Кмициц.

И как был, не одетый, в одних шароварах и расхристанной на груди рубахе, вышел из сеней, а Сорока, вытаращив от удивления глаза, последовал за ним; так дошли они до колодца во дворе корчмы. Тут Кмициц остановился и, показав на ведро, висевшее на журавле, приказал:

— Лей на голову!

Вахмистр по опыту знал, как опасно переспрашивать полковника, он взялся за журавль, погрузил ведро в воду, торопливо вытянул его и, подхватив руками, выплеснул всю воду на пана Анджея; тот стал фыркать и отдуваться, точно рыба-кит, ладонями приглаживая мокрые волосы.

— Еще! — крикнул он.

Сорока проделал это еще и еще раз и воду лил так, точно хотел погасить огонь.

— Довольно! — сказал наконец Кмициц. — Пойдем, поможешь мне одеться!

И они пошли вдвоем в корчму.

В воротах они увидели двоих солдат, которые выезжали с вьючными лошадьми.

— Через город медленно, за городом вскачь! — еще раз приказал им Кмициц.

И вошел в избу.

Через полчаса он показался снова, уже одетый в дорогу: в высоких яловых сапогах и лосином кафтане, перетянутом кожаным поясом, за который был заткнут пистолет. Солдаты заметили, что из-под кафтана у полковника выглядывает стальная кольчуга, точно он приготовился к бою. Сабля тоже была пристегнута высоко, чтобы легче было схватиться за рукоять; лицо рыцаря было спокойным, но суровым и грозным.

Оглядев солдат и убедившись, что они готовы и вооружены надлежащим образом, он сел на коня и, бросив хозяину дукат, выехал за ворота.

Сорока ехал рядом с ним, трое солдат вели сзади запасного коня.

Вскоре они очутились на рынке, где полно было солдат Богуслава. В толпе их царило движение, видно, они получили уже приказ готовиться в путь. Конница подтягивала подпруги у седел и взнуздывала лошадей, пехота разбирала мушкетеры, стоявшие в козлах перед домами, возницы запрягали в телеги лошадей.

Кмициц словно очнулся от задумчивости.

— Послушай, старина, — обратился он к Сороке, — а что, большая дорога проходит мимо дома старосты, нам не придется возвращаться на рынок?

— А куда мы поедем, пан полковник?

— В Дембов!

— Так мы за рынком и повернем к дому старосты. Рынок останется позади.

— Хорошо! — сказал Кмициц.

Через минуту он проворчал себе под нос:

— Эх, когда бы были живы те! Мало людей для такого дела, мало!

Тем временем они миновали рынок и повернули к дому старосты, стоявшему неподалеку у самой дороги.

— Стой! — скомандовал вдруг Кмициц.

Солдаты остановились.

— Вы готовы к смерти? — коротко спросил он у них.

— Готовы! — хором ответили оршанские забияки.

— В самую пасть лезли мы Хованскому, и не сожрал он нас. Помните?

— Помним!

— Сегодня надо решиться на большое дело. Удастся — так милостивый наш король господами вас сделает. Ручаюсь головой! Не удастся — посадят вас на кол!

— А почему бы не удался? — проговорил Сорока, и глаза у него сверкнули, как у матерого волка.

— Удастся! — повторили остальные трое: Белоус, Завратынский и Любенец.

— Мы должны увезти князя конюшего! — сказал Кмициц.

И умолк, желая знать, какое впечатление эта безумная мысль произведет на солдат. Те тоже умолкли, воззрившись на своего полковника, только усы у них встопорщились, и лица стали грозными, разбойничьими.

— Кол близко, награда далеко! — уронил Кмициц.

— Мало нас! — пробормотал Завратынский.

— Это потяжелей, чем с Хованским! — прибавил Любенец.

— Все войско на рынке, в усадьбе у старосты только стража да человек двадцать придворной челяди, — сказал Кмициц. — Они ничего не подозревают, при них даже сабель нет.

— Ты, пан полковник, головы не жалеешь, чего же нам свои жалеть? — сказал Сорока.

— Слушайте же! — сказал Кмициц. — Не возьмем мы его хитростью, так уж больше никак не возьмем. Слушайте же! Я войду в покои и через минуту выйду с князем. Коли сядет князь на моего коня, я сяду на другого, и мы поедем. Как отъедем на сотню или полторы сотни шагов, хватайте его вдвоем под руки и — вскачь, во весь опор!

— Слушаюсь! — сказал Сорока.

— Коли не выйду я, — продолжал Кмициц, — и из покоя вы услышите выстрел, бейте из дробовиков по страже и, как только я выбегу из дверей, тотчас подайте мне коня.

— Есть! — сказал Сорока.

— Вперед! — скомандовал Кмициц.

Они тронули коней и через четверть часа остановились у дома старосты. У ворот по-прежнему стояло на страже шестеро алебардников и четверо у входных дверей. Во дворе подле кареты суетились старшие конюхи и фореиторы, за которыми присматривал какой-то важный придворный, по одежде и парикю — иноземец.

В стороне, у каретного сарая, запрягали лошадей еще в две коляски; огромные гайдуки сносили туда короба и сундуки. За ними следил человек в черном, с виду похожий на лекаря или астролога.

Кмициц, как и раньше, попросил дежурного офицера доложить о себе; через минуту тот вернулся и пригласил его к князю.

— Как поживаешь, пан кавалер? — весело спросил князь. — Ты так внезапно покинул меня, что я уж подумал, не вознегодовал ли ты на меня за мои слова, и не надеялся увидеть тебя еще раз.

— Как же я мог не проститься перед отъездом! — ответил Кмициц.

— Да и я подумал потом, что знал же князь воевода, кого посылает с тайным поручением. Воспользуюсь и я твоими услугами, дам тебе несколько писем к разным важным особам и к самому шведскому королю. Но что это ты вооружился, как на бой?

— Еду туда, где хозяйничают конфедераты, да и в городе, я слышал, и ты сам, вельможный князь, говорил мне, что недавно тут прошла конфедератская хоругвь. Даже в Пильвишках они крепко пугнули людей Золотаренко, а все потому, что призванный воитель командует этой хоругвью.

— Кто он?

— Пан Володыёвский, а с ним в хоругви пан Мирский, пан Оскерко да двое Скшетуских; один из них тот самый герой Збаража, чью жену ты, вельможный князь, хотел взять в осаду в Тыкоцине. Все они подняли мятеж против князя воеводы, а жаль, добрые солдаты! Что поделаешь! Есть еще в Речи Посполитой такие дураки, которые не хотят с казаками и шведами рвать друг у дружки красное сукно.

— Дураков везде хватает, особенно в этой стране! — сказал князь. — Вот возьми письма, да когда увидишь шведского короля, открой ему, якобы тайно, что в душе я такой же его сторонник, как и мой брат, только до времени принужден надеть личину.

— Кому не приходится надевать личину! — ответил Кмициц. — Всяк ее надевает, особенно когда хочет совершить великое дело.

— Это верно. Выполни, пан кавалер, мое поручение, и я буду тебе благодарен и награжу пощедрей князя воеводы виленского.

— Коли так уж ты милостив ко мне, вельможный князь, попрошу я у тебя награды вперед.

— Вот тебе и на! Верно, князь воевода не очень щедро снабдил тебя на дорогу. Дрожит он над своими сундуками.

— Боже меня упаси денег просить, не хотел я брать у князя гетмана, не возьму и у тебя, вельможный князь. На своем я коште, на своем и останусь.

Князь Богуслав с удивлением посмотрел на молодого офицера.

— Э, да я вижу, Кмицицы не из тех, что другим в руки глядят. Так в чем же дело, пан кавалер?

— А вот в чем, вельможный князь! Не подумавши толком в Кейданах, взял я с собою коня благородных кровей, перед шведами хотел покрасоваться. Скажу тебе, не прильгая, лучше его не сыщешь в кейданских конюшнях. А теперь вот жаль мне его стало, боюсь я, как бы по дорогам да по корчмам не вымотался он, не зачах. К тому же в дороге все может случиться, того и гляди, попадет в руки врагу, хоть бы тому же пану Володыёвскому, который *personaliter* очень на меня зол. Вот и решил я попросить тебя, вельможный князь, возьми ты его на время и ездь себе, покуда не приспеет время и я не вспомню о нем.

— Тогда лучше продай мне его.

— Не могу, это все едино, что друга продать. Сотню раз выносил меня этот конь из самого пекла, к тому же есть у него одно достоинство: в бою он страшно кусает врагов.

— Такой добрый конь? — с живым любопытством спросил князь Богуслав.

— Добрый ли? Да будь я уверен, что ты, вельможный князь, не разгневаешься, я бы сотню червонных золотых поставил, что такого коня, с твоего позволения, не сыщешь и в твоих конюшнях.

— Может, и я бы поставил, да не время нынче. Я с удовольствием подержу его, хотя лучше было бы, если бы ты продал мне его. Где же это твое диво?

— А вон там, у ворот, держат его люди! Диво дивное, сам султан позавидовал бы такому коню. Не местный он — анатолийский; но думаю я, что и в Анатолии один такой удался.

— Так пойдем посмотрим.

— Слушаюсь, вельможный князь.

Князь взял шляпу, и они вышли.

У ворот люди Кмицица держали пару запасных коней под седлом, один из них, породистый, вороной масти, со стрелкой во лбу и белой щеткой на правой задней ноге, тихо заржал при виде своего господина.

— Вон тот! Догадываюсь! — сказал князь Богуслав. — Не знаю, такое ли диво, как ты говорил, но конь и впрямь добрый.

— Проводите его! — крикнул Кмициц. — Впрочем, нет? Я сам сяду!

Солдаты подвели коня, и пан Анджей, вскочив в седло, стал объезжать аргамака у ворот. Под искусным седоком конь показался вдвойне прекрасным. Селезенка ёкала у него, когда он шел рысью, выпуклые глаза блестели, грива развевалась на ветру, а храп, казалось, пышет огнем. Кмициц делал круги, менял побезку, наконец, наехал прямо на князя, так что храп коня оказался всего в каком-нибудь шаге от его лица, и крикнул:

— Alt!^[140]

Конь уперся на все четыре ноги и остановился как вкопанный.

— Ну как? — спросил Кмициц.

— Как говорится, глаза и ноги оленя, побезка волка, храп лося, грудь женщины! — сказал князь Богуслав. — Все есть, что надо. Он немецкую команду понимает?

— Его мой объездчик выезжал, Зенд, он был курляндец.

— А побезка хороша?

— Ветер, вельможный князь, тебя на нем не догонит! Татарин от него не уйдет.

— Хороший, верно был и объездчик, вижу, конь отлично выезжен.

— Выезжен? Не поверишь, вельможный князь, он так ходит в строю, что, когда конница скачет, можешь отпустить поводья, он и на полхрапа не выйдет из шеренги. Хочешь, испытай! Коли он проскачет версту и выдвинется хоть на полголовы, отдам тебе его даром.

— Ну это просто чудо, чтобы при отпущенных поводьях конь не выдвинулся из шеренги.

— Чудо чудом, а удобство какое — ведь обе руки свободны. Не однажды бывало так, что в одной руке у меня была сабля, в другой пистолет, а конь нес меня без повода.

— Но, а когда шеренга делает поворот?

— Тогда и он поворачивает и не ломает строя.

— Не может быть! — сказал князь. — Этого ни один конь не сделает. Во Франции я видал коней королевских мушкетеров, они были отлично выезжены, так чтобы не портить придворных церемоний, однако и их надо было вести на поводе.

— У этого коня ум человеческий. Ты, вельможный князь, сам попробуй.

— Давай! — после минутного размышления сказал князь.

Сам Кмициц подержал ему коня, князь легко вскочил в седло и стал похлопывать аргамака по лоснящейся холке.

— Удивительное дело! — сказал он. — Самые лучшие лошади к осени линяют, а этот будто из воды вышел. А в какую сторону поедем?

— Поедем сперва шеренгой и, коли соизволишь, вельможный князь, то в ту вон сторону, к лесу. Дорога там ровная и широкая, а в городе могут помешать повозки.

— Ну что ж, давай к лесу!

— Ровно версту! Отпусти, вельможный князь, повод и бери с места вскачь. По два солдата по бокам у тебя, ну а я чуть поотстану.

— Становись! — сказал князь.

Солдаты стали в шеренгу, повернув лошадей к дороге, ведущей из города. Князь занял место посередине.

— Вперед! — скомандовал он. — С места вскачь! Марш!

Шеренга рванула и некоторое время вихрем мчалась вперед. Облака пыли заслонили ее от глаз придворных и конюхов, собравшихся у ворот и с любопытством следивших за скачкой. Выезженные кони мчались во весь опор, храпя от натуги, и аргамак под князем, хотя тот и не сдерживал его поводьями, не выдвинулся из шеренги ни на один дюйм. Проскакали еще версту; тут Кмициц повернулся внезапно и, увидев позади лишь облако пыли, за которым едва маячила усадьба старосты и совсем скрылись из виду стоявшие у ворот люди, крикнул страшным голосом:

— Взять его!

В ту же минуту Белоус и великан Завратынский схватили князя за обе руки, так что кости затрещали у него в суставах, и, держа его железными кулаками, вонзили шпоры в бока своим лошадям.

Конь под князем все время держался в шеренге, не отставая и не выдвигаясь вперед. От изумления и ужаса, от ветра, бившего в лицо, князь Богуслав в первую минуту онемел. Он дернулся раз, другой, но безуспешно, только боль в выкрученных суставах пронзила его насквозь.

— Что это значит? Негодяи! Вы что, не знаете, кто я? — крикнул он наконец.

Кмициц тотчас ткнул его дулом пистолета в спину меж лопаток.

— Не сопротивляться, не то пуля в спину! — крикнул он.

— Изменник! — сказал князь.

— А ты кто? — спросил Кмициц.

И они мчались дальше.

ГЛАВА XXVI

Они долго скакали лесом, гоня лошадей так, что придорожные сосны словно бежали в испуге назад; проезжали мимо постоянных дворов, хат лесников, смолокурен, встречали порою отдельные телеги или обозы, тащившиеся в Пильвишки. По временам князь Богуслав съезжал в седле, словно пробуя оказать сопротивление; но тогда железные кулаки солдат еще более выкручивали ему руки, а пан Анджей снова тыкал его дулом пистолета в спину, и они скакали дальше. Шляпа свалилась у князя с головы, ветер развевал пышные, светлые букли его парика — а они все мчались вперед, так что мыло белыми хлопьями стало валиться с коней.

Надо было убавить наконец ходу, и кони и люди уже задыхались, да и Пильвишки остались далеко позади, так что нечего было опасаться погони. Некоторое время всадники ехали в молчании шагом.

Долгое время князь не говорил ни слова, видно, силился успокоиться и обрести хладнокровие; овладев наконец собою, он спросил:

— Куда вы меня везете?

— А вот приедем, тогда узнаешь, вельможный князь, — ответил Кмициц.

Богуслав умолк.

— Прикажи этим хамам отпустить меня, пан кавалер, — заговорил он снова. — Они мне совсем выкрутят руки. Прикажешь им это сделать, тогда ждет их просто петля, нет — пойдут на кол.

— Не хамы они, а шляхта! — ответил ему Кмициц. — Что ж до кары, которой ты, вельможный князь, грозишь им, то неизвестно, кого первого настигнет смерть.

— Знаете ли вы, на кого подняли руку? — спросил князь, обращаясь к солдатам.

— Знаем! — ответили те.

— Тысяча чертей! — взорвался Богуслав. — Ты прикажешь наконец этим людям полегче держать меня?

— Я прикажу им, вельможный князь, связать тебе руки за спиной, так будет удобней.

— Не смейте! Вы мне совсем выкрутите руки!

— Другого я бы приказал освободить, когда бы он дал мне слово, что не сбежит, но вы умеете нарушать слово! — ответил Кмициц.

— Я тебе дам другое слово, — ответил князь, — что не только при

первой же возможности вырвусь из твоих лап, но прикажу тебя лошадьми разорвать, когда ты попадешь мне в руки!

— Что бог даст, то и будет! — ответил Кмициц. — Но, по мне уж лучше открытые угрозы, нежели лживые посулы. Отпустите ему руки, только коня ведите за поводья, а ты, вельможный князь, смотри! Стоит мне только дернуть курок, и я всажу тебе пулю в спину, клянусь богом, не промахнусь, я никогда не промахиваюсь. Сиди же спокойно и не пробуй бежать!

— Плевать мне, пан кавалер, на тебя и на твой пистолет!

С этими словами князь потянулся, чтобы расправить наболелые, совсем занемевшие руки, а солдаты тем временем схватили коня с обеих сторон за поводья и повели дальше.

Через минуту Богуслав сказал:

— Не смеешь, пан Кмициц, в глаза мне посмотреть, сзади прячешься.

— Нет, отчего же! — возразил Кмициц, тронул своего коня и, поравнявшись с князем, отстранил Завратынского, схватил за повод аргамака и поглядел прямо в лицо Богуславу.

— Как там мой конек? А что, ведь не прилгнул я нимало?

— Добрый конь! — ответил князь. — Хочешь, куплю его у тебя.

— Спасибо! Носить весь век на себе изменника? Нет, этот конь достоин лучшей участи.

— Глупец ты, пан Кмициц.

— А все потому, что верил Радзивиллам!

На минуту снова воцарилось молчание.

— Скажи-ка мне, пан Кмициц, — заговорил первым князь, — ты уверен, что ты в здравом уме, что не рехнулся? Спросил ли ты самого себя, что, мол, я натворил, безумец, кого похитил, на кого посягнул? Не пришло ли тебе сейчас на ум, что лучше бы тебе на свет не родиться? Что на столь дерзостный поступок не отважился бы никто не то что в Польше, во всей Европе?

— Видно, не больно она храбрая, эта Европа, ведь вот же похитил я тебя, вельможный князь, держу в руках и не выпущу!

— Безумец, как пить дать! — как бы про себя воскликнул князь.

— Вельможный князь! — ответил пан Анджей. — Ты в моих руках, смирись же, не трать попусту слов! Погоня нас не настигнет, твои люди все еще думают, что это тебе самому пришла охота поехать с нами. Никто не видал, как мои солдаты подхватили тебя под руки, туча пыли закрыла нас, да и без нее ни конюхи, ни стража издали ничего не могли бы заметить. Два часа они будут просто ждать тебя, третий час ждать с нетерпением,

четвертый и пятый — беспокоиться, а уж на шестом часе пошлют на розыски, но мы-то в эту пору будем уже за Мариамполем.

— Ну и что же?

— А то, что не догонят они нас. Да когда бы и сразу бросились в погоню, все равно не догнали бы, — ведь ваши кони прямо с дороги, а наши уже отдохнули. А когда бы и догнали нас чудом — все было бы напрасно, я бы, вельможный князь, клянусь богом, голову тебе размозжил и размозжу, коли иначе ничего нельзя будет поделывать. Вот оно дело какое! У Радзивилла двор, войско, пушки, драгуны, а у Кмицица всего шесть человек солдат, и все-таки Кмициц Радзивилла схватил за ворот.

— Ну и что же дальше? — спросил князь.

— Да ничего! Поедем туда, куда мне вздумается. Благодарю бога, вельможный князь, что ты жив еще; кабы не велел я нынче утром вылить себе на голову десять ведер воды, быть бы тебе уже на том свете, alias в пекле, по той причине, что изменник ты и кальвинист.

— И ты бы отважился это сделать?

— Не хвалясь скажу, вельможный князь, не сыщешь такого дела, на какое бы я не отважился, да вот сам же ты — лучшее тому доказательство.

Князь пристально посмотрел рыцарю в лицо и сказал:

— На лице у тебя, пан кавалер, сатана написал, что ты на все готов, и прав ты, что сам же я тому доказательство. Скажу тебе, что своей смелостью ты даже меня удивил, а это дело нелегкое.

— Мне-то что! Благодарю бога, вельможный князь, что ты жив еще, и конец!

— Нет, пан кавалер! Сперва ты за это бога поблагодари! Знай же, коль один волос упадет с моей головы, Радзивиллы под землей сыщут тебя. Ты думаешь, нет теперь между нами согласия, так несвижские и ольщские Радзивиллы не станут тебя преследовать, — ошибаешься. Кровь Радзивилла должна быть отомщена, страшный урок должен быть дан за это, иначе нам не жить в Речи Посполитой. В чужих землях ты тоже не скроешься! Цесарь тебя выдаст, ибо я князь Священной Римской империи, курфюрст бранденбургский мой дядя, принц Оранский его шурина, король и королева французские и их министры мои друзья. Где же ты скроешься? Турки и татары тебя предадут, пусть даже нам пришлось бы отдать им половину нашего состояния. Не найдешь ты на земле ни такого угла, ни пущи такой, ни такого народа...

— Странно мне, вельможный князь, — прервал его Кмициц, — что ты загодя о моем здоровье беспокоишься. Важная ты птица, Радзивилл, а мне стоит только дернуть курок...

— Этого я отрицать не стану. Не раз уж случалось на свете, что великий человек погибал от руки простака. Ведь и Помпея убил простолюдин, и французские короли погибали от руки людей подлого сословия, да зачем далеко ходить, то же случилось с моим великим отцом! Но я спрашиваю тебя, что же дальше будет?

— Э, что мне до этого! Отродясь не думал я о том, что будет завтра. Коль придется воевать со всеми Радзивиллами, — как знать, кто кому больше досадит. Давно уж я привык, что меч висит над моей головой, а потому только глаза заведу, сплю сладко, как сурок. А мало мне покажется одного Радзивилла — другого схвачу и третьего...

— Клянусь богом, очень ты мне по нраву пришелся, пан кавалер! Еще раз говорю тебе, один только ты на всю Европу мог на такое отважиться. Какова бестия, и не оглянется, и не подумает, что завтра с ним будет! Люблю смельчаков, а их все меньше остается на свете! Смотри ты, схватил Радзивилла, держит себе, и все ему нипочем! Где же это тебя такого вспоили-вскормили, пан кавалер? Откуда ты родом?

— Хорунжий оршанский я!

— Пан хорунжий оршанский, жаль мне, что Радзивиллы теряют такого слугу, как ты, с таким много можно, сделать. Когда бы это не был я... Гм! Ничего бы я не пожалел, только бы тебя переманить...

— Слишком поздно! — сказал Кмициц.

— Я понимаю! — ответил князь. — Совсем поздно! Одно тебе обещаю: прикажу тебя просто расстрелять, ты достоин солдатской смерти! Суций дьявол! Схватил меня в куче моих же людей!

Кмициц ничего не ответил; князь на минуту задумался, затем крикнул:

— Ну ладно, черт с тобой! Колипустишь меня сейчас же, не стану тебе мстить! Дашь мне только слово, что никому не скажешь о том, что случилось, и людям велишь молчать!

— Не бывать этому! — ответил Кмициц.

— Хочешь выкупа?

— Не хочу.

— За каким же чертом ты увез меня? Не понимаю!

— Долгий это разговор! Потом узнаешь, вельможный князь.

— А что же нам делать по дороге, коль не разговоры разговаривать? Признайся в одном, пан кавалер, схватил ты меня с отчаянием, под горячую руку, и теперь сам толком не знаешь, как со мной поступить.

— Это мое дело! — ответил Кмициц. — А знаю ли я или нет, как с тобой поступить, это ты скоро увидишь.

Нетерпение изобразилось на лице князя Богуслава.

— Не очень-то ты разговорчив, пан хорунжий оршанский, — сказал он, — но ответь мне откровенно на один только вопрос: неужто ты ехал ко мне на Подляшье с намерением посягнуть на мою особу, или это пришло тебе в голову потом уже, в последнюю минуту?

— На этот вопрос, вельможный князь, я могу тебе ответить откровенно, мне и самому не терпится сказать тебе, почему отступился я от вас с князем гетманом и, покуда жива душа моя, больше к вам не ворочусь. Обманул меня князь воевода виленский, а сперва заставил на распятии поклясться, что не покину я его до гроба...

— Хорошо же ты держишь клятву, нечего сказать!

— Да! — запальчиво воскликнул Кмициц. — Коли убил я душу, коли осужден я на вечные муки, то через вас! Но, предав себя милосердию божию, предпочитаю я душу загубить, вечно гореть в геенне, нежели и дальше грешить обдуманно, по доброй воле, нежели и дальше служить вам, зная, что служу греху и измене. Боже, смилуйся надо мною! Лучше гореть в геенне! Стократ лучше гореть в геенне! Все едино горел бы, когда бы с вами остался. Мне терять нечего. Но зато на Страшном суде я скажу: «Не ведал я, в чем клялся, а когда постигнул, что поклялся изменить отчизне, погубить народ польский, тогда я нарушил клятву! Теперь суди меня, господи!»

— К делу! К делу! — спокойно сказал князь Богуслав.

Но пан Анджей тяжело дышал и некоторое время ехал в молчании, хмурая брови и глаза уставя в землю, как человек, придавленный несчастьем.

— К делу! — повторил князь Богуслав.

Пан Анджей словно пробудился ото сна, потрянул головой и продолжал:

— Верил я князю гетману, как отцу родному не верил. Помню тот пир, когда он нам в первый раз сказал, что заключил союз со шведами. Сколько я тогда вынес, сколько пережил, один бог ведает! Другие, достойные люди, бросали ему под ноги булавы, кричали, что они остаются с отчизной, а я стоял как пень со своей булавой, со стыдом и позором, униженный, раздавленный, ибо мне в глаза сказали: «Изменник!» И кто сказал! Эх, лучше не вспоминать об этом, а то позабудусь, ошалеею и тебе, вельможный князь, так вот и пальну сейчас в голову! Это вы, вы, изменники, предатели, вы меня до этого довели!

Тут Кмициц устремил на князя страшный взгляд, и ненависть, пробившись со дна души, изобразилась на его лице, словно змея выползла из пещеры на дневной свет; но князь Богуслав смотрел на рыцаря спокойно

и бесстрашно.

— Ну что ж, пан Кмициц, — сказал он наконец, — это любопытно! Продолжай!

Кмициц отпустил повод аргамака и снял шапку, словно хотел остудить пылающую голову.

— В ту же ночь, — продолжал он, — я пошел к князю гетману, он и сам приказал привести меня. Я думал: откажусь служить ему, нарушу клятву, задушу его этими вот руками, взорву порохом Кейданы, а там будь что будет! Он тоже видел, что я на все готов, — он меня знал! Приметил я, как он пальцами перебирал в шкатулке пистолеты. Ничего, думал я, либо промахнется, либо убьет меня! Но он стал вразумлять меня, стал говорить, такое будущее стал рисовать мне, простаку, за такого избавителя себя выдавать, что знаешь ли ты, вельможный князь, что случилось?

— Убедил юнца! — сказал Богуслав.

— В ноги я ему повалился! — воскликнул Кмициц. — Отца, единственного спасителя отчизны видел я в нем, душой и телом предался ему, как сатане, готов был за него, за его честь с кейданской башни броситься вниз головой!

— Я уж догадался, что такой будет конец! — заметил Богуслав.

— Что потерял я на этой службе, об том я не буду говорить; но важные оказал я ему услуги: удержал в повиновении свою хоругвь, которая теперь там осталась, — дай бог, чтобы на его погибель! — искрошил другие хоругви, которые подняли мятеж. Руки обагрил я братскою кровью, думал, что крайняя в этом для отчизны *necessitas*^[141]. Часто болела у меня душа, когда приказывал я расстреливать добрых солдат, часто шляхетская моя натура восставала против него, когда он давал мне посулы, а потом нарушал свое слово. Но думал я: глуп я, а он умен, — так надо! Только теперь, когда из писем я дознался об этих отравлениях, в дрожь меня бросило! Как же так? Что же это за война? Солдат хотите травить? И это по-гетмански? И это по-радзивилловски? И я должен возить такие письма?

— Ничего ты, пан кавалер, не понимаешь в политике, — прервал его Богуслав.

— Да пропади она пропадом, эта политика! Пускай ею коварные итальянцы занимаются, а не шляхтич, которому бог дал кровь благороднее, нежели прочим, но и в обязанность вменил не зельем воевать, а саблей и имени своего не позорить!

— Так поразили тебя эти письма, что ты решил отступить к Радзивиллов?

— Не письма! Я бы выкинул их к черту или в огонь бросил, не по мне

такие дела! Нет, не письма! Я бы отказался быть послом, но дела бы не оставил. Как бы я поступил?! В драгуны пошел бы или собрал бы новую ватагу и по-старому учинял бы набеги на Хованского. Но у меня сразу родилось подозрение: а что, если они и отчизну хотят напоить той же отравой, что и солдат? Слава богу, что не вспыхнул я гневом, хоть голова у меня пылала, как граната, что опомнился я, что сумел совладать с собою и сказать себе: тяни его за язык и узнай всю правду, не выдай, что на сердце у тебя, притворись отступником хуже самих Радзивиллов и тяни его за язык.

— Кого? Меня?

— Да! И бог помог мне, простаку, обмануть державного мужа, ты, вельможный князь, приняв меня за последнего негодяя, не утаил ни одной вашей подлости, все открыл, все выболтал, выложил, как на ладони! Волосы у меня встали дыбом, но я слушал и дослушал все до конца! О, предатели! О, исчадия ада! О, продажные души! Как же вас доселе громом не разразило? Как земля вас доселе не поглотила? Так вы с Хмельницким, со шведами, с курфюрстом, с Ракоци, с самим сатаной сговариваетесь, как погубить Речь Посполитую? Мантию хотите себе выкроить из нее? Продать? Разделить? Разодрать, как волки, вашу родину-мать? Вот она, ваша благодарность за все благодеяния, которыми она осыпала вас, за чины, почести, звания, поместья, староства, за богатства, которым завидуют иноземные короли? И вы готовы не поглядеть на ее слезы, на ее муки, на утеснения, которые она терпит? Где же ваша совесть? Что за monstra^[142] родили вас на свет?

— Пан кавалер, — холодно прервал его князь Богуслав, — я у тебя в руках, ты можешь убить меня, но об одном прошу тебя: не нагоняй ты на меня скуку!

Оба они умолкли.

Однако слова Кмицица ясно свидетельствовали, что солдат сумел выведать у дипломата всю голую правду и что князь совершил большую неосторожность, большую ошибку, выдав самые тайные замыслы свои и гетмана. Самолюбие его было уязвлено, и, не желая скрывать дурного своего расположения, он сказал:

— Ты вызнал у меня правду, пан Кмициц, но не приписывай этого собственному уму. Я говорил откровенно, думая, что князь воевода лучше знает людей и пришлет человека, достойного доверия.

— Князь воевода прислал человека, достойного доверия, — отрезал Кмициц, — но вы это доверие уже потеряли. Отныне одни подлецы будут служить вам!

— Ну уж коли не подлым был способ, к которому ты прибегнул, чтобы

схватить меня, пусть в первой же битве шпага у меня прирастет к руке!

— Это была хитрость! Я обучен в суровой школе. Ты, вельможный князь, хотел узнать Кмицица, так вот он каков! Не поеду я с пустыми руками к нашему милостивому королю.

— И ты думаешь, что у меня по воле Яна Казимира волос с головы упадет?

— Это дело не мое, а судей! — Внезапно Кмициц придержал коня. — Э! — сказал он. — А письмо князя воеводы? Оно при тебе, вельможный князь?

— Будь оно при мне, я бы тебе его не отдал! — ответил князь. — Письма остались в Пильвишках.

— Обыскать его! — крикнул Кмициц.

Солдаты снова схватили князя под руки, и Сорока стал обшаривать его карманы. Через минуту он нашел письмо.

— Вот единственный документ против вас и ваших злодеяний, — сказал пан Анджей, взяв письмо. — Узнает из него король польский, что вы замышляете, узнает и шведский, которому вы хоть и служите теперь, но уже обеспечиваете себе с князем воеводой свободу *resedere*, коль шведов постигнет неудача. Выйдут наружу все ваши измены, все козни. А ведь у меня и другие письма; к королю шведскому, к Виттенбергу, к Радзеёвскому. Сильны вы и могущественны, но, право, не знаю, не станет ли тесно вам в нашей отчизне, когда оба короля обмыслят, как воздать вам по заслугам за ваши измены.

Глаза князя Богуслава зловеще блеснули, однако через минуту он овладел собой.

— Ну хорошо же, пан кавалер! — проговорил он. — Враги мы не на жизнь, а на смерть! Мы еще встретимся! Ты можешь задать нам много хлопот и причинить большое зло, но одно только скажу тебе: никто не смел еще совершить в этой стране то, что совершил ты, и горе тебе и твоим близким!

— Сабля есть у меня для защиты, а близких есть на что выкупить! — ответил Кмициц.

— Ах, так ты взял меня как заложника! — сказал князь.

Невзирая на весь свой гнев, он вздохнул с облегчением: в эту минуту он понял, что жизни его не грозит никакая опасность, ибо он очень нужен Кмицицу. Решил воспользоваться этим.

Тем временем они снова перешли на рысь, и спустя час отряд увидел двух всадников, которые вели по паре вьючных лошадей. Это были люди Кмицица, высланные им вперед из Пильвишек.

— Ну как там? — спросил у них Кмициц.

— Кони совсем вымотались, пан полковник, мы вовсе не отдыхали.

— Сейчас отдохнем!

— Тут на повороте хата видна, может, это корчма.

— Вахмистр, поезжай вперед и приготовь поесть. Корчма не корчма, а отдохнуть надо!

— Слушаюсь, пан полковник!

Сорока погнал вперед коня, а остальные медленно последовали за ним; Кмициц ехал по одну сторону князя, Любенец по другую. Князь совсем притих и даже не вызывал Кмицица на разговор. Казалось, он был утомлен то ли дорогой, то ли своим положением, и голову склонил на грудь, и глаза закрыл. Однако время от времени он искоса поглядывал то на Кмицица, то на Любенеца, державших поводья его аргамака, как бы примерялся, которого из них легче свалить, чтобы вырваться на свободу.

Тем временем они приблизились к строению, стоявшему у большой дороги, на опушке леса, узкой полосой вдавшегося в поля. Это была не корчма, а кузница и тележная мастерская, где проезжие люди останавливались перековать лошадей и починить телегу. Между кузницей и дорогой простирался небольшой пустырь, не огражденный забором, поросший редкой, вытоптанной травой; поломанные тележные станки и колеса валялись на этом пустыре, но из проезжающих не было никого; только конь Сороки стоял, привязанный к коновязи. Сам Сорока у входа в кузницу разговаривал с кузнецом-татаринном и двумя его помощниками.

— Не очень-то мы поживимся, — улыбнулся князь, — ничего он тут не достанет.

— У нас с собой припасы и горелка, — сказал Кмициц.

— Это хорошо! Нам надо будет подкрепиться.

Они остановились. Кмициц заткнул за пояс пистолет, соскочил с коня и, отдав его Сороке, снова схватил за повод аргамака, которого Любенец не отпускал с другой стороны.

— Можешь спешиться, вельможный князь! — сказал пан Анджей.

— А это зачем? Я буду есть и пить в седле! — сказал князь, наклоняясь к нему.

— Изволь сойти на землю! — грозно крикнул Кмициц.

— А ты — в землю! — страшным голосом крикнул князь, с молниеносной быстротой вырвал у него из-за пояса пистолет и выстрелил ему прямо в лицо.

— Господи Иисусе! — крикнул Кмициц.

В эту минуту аргамак под князем от удара шпорами взвился на дыбы

так, что встал чуть не прямо, а князь змеей извившись в седле, повернулся к Любенцу и, размахнувшись своей могучей рукой, изо всей силы ударил его дулом между глаз.

Любенец пронзительно крикнул и свалился с коня.

Прежде, чем остальные смогли понять, что случилось, прежде, чем они перевели дух, прежде, чем крик ужаса замер у них на губах, Богуслав разметал их как буря, вынесся с пустыря на дорогу и вихрем помчался к Пильвишкам.

— Лови его! Держи! Бей!.. — раздались дикие голоса.

Трое солдат, которые не успели спешиться, пустились за князем вдогонку, а Сорока, схватив мушкет, стоявший у стены, стал целиться в беглеца, вернее, в аргамака.

Аргамак вытянулся, как серна, и мчался стрелой. Грянул выстрел. Сорока бросился сквозь дым вперед, чтобы получше разглядеть, попал ли он в цель, прикрыл глаза ладонью, минуту поглядел и наконец крикнул:

— Не попал!

В эту минуту Богуслав исчез за поворотом, а вслед за ним исчезла и погоня.

Тогда вахмистр повернулся к кузнецу и его помощникам, которые в немом ужасе смотрели на всю эту картину, и крикнул:

— Воды!

Помощники бросились тянуть журавль, а Сорока опустился на колени перед лежавшим неподвижно паном Анджеем. Лицо пана Анджея было покрыто пороховой копотью и залеплено кровью, глаза закрыты, левая бровь, и ресница, и левый ус опалены. Вахмистр сперва стал тихонько ощупывать пальцами череп. Он ощупывал долго и осторожно, после чего пробормотал:

— Голова цела!

Но пан Анджей не подавал признаков жизни, и кровь заливала ему лицо. Тем временем помощники кузнеца принесли ведро воды и тряпки для обмывания. Сорока так же медленно и сосредоточенно стал обмывать Кмицицу лицо.

Наконец из-под крови и копоти показалась рана. Пуля глубоко распоролла Кмицицу левую щеку и совсем срезала мочку уха. Сорока стал ощупывать, не разбита ли скуловая кость.

Через минуту он убедился, что кость цела, и вздохнул с облегчением. А тут и Кмициц от холодной воды и боли стал подавать признаки жизни. Лицо его задрожало, грудь стала вздыматься.

— Жив! Ничего с ним не будет! — радостно воскликнул Сорока.

И слеза покати­лась по разбойничьему лицу вах­ми­стра.

Тем вре­ме­нем на пово­ро­те до­ро­ги по­ка­зал­ся Белоус — один из тех троих сол­дат, ко­то­рые по­гна­лись за кня­зем.

— Ну что? — спро­сил Со­ро­ка.

Со­л­дат махнул ру­кой.

— Ни­че­го!

— А те скоро во­ро­тятся?

— Те не во­ро­тятся.

Дрожащими ру­ка­ми вах­ми­стр по­ло­жил го­ло­ву Кми­ци­ца на по­ро­г куз­ни­цы и вско­чил.

— Как так?

— Пан вах­ми­стр, он колдун! Пер­вым до­гнал его За­вратын­ский, у него конь был по­луч­ше, да и колдун по­з­во­лил ему до­г­нать себя. На наших гла­зах вырвал он у него саб­лю и проткнул его ост­ри­ем. Мы ахнуть не успе­ли. Витков­ский был по­бли­же и под­ска­кал, чтобы по­мочь. А колдун рубнул его на гла­за у меня... И тот упал, как мол­ни­ей сра­жен­ный! И не охнул даже! А я уж не стал ж­дать сво­е­го че­ре­ду... Пан вах­ми­стр, он еще может во­ро­титься!

— Не­че­го нам тут де­лать! — крикнул Со­ро­ка. — К ко­ням!

И в ту же ми­ну­ту сол­да­ты ста­ли вязать для Кми­ци­ца носилки ме­жду ло­ша­дьями.

Двое сол­дат, по при­ка­зу Со­ро­ки, опасавшегося воз­врат­че­ния страшного ры­ца­ря, сто­яли с муш­ке­та­ми на до­ро­ге.

Но князь Бо­гу­слав, уве­рен­ный, что Кми­ци­ц мертв, спо­койно воз­врат­чался в Пиль­виш­ки.

Уже в су­мер­ки его встре­тил це­лый от­ряд рей­тар, по­слан­ный Пе­тер­со­ном, ко­то­рого обес­по­ко­ило его дол­гое от­сут­ствие.

Уви­дев кня­зя, офи­цер под­ска­кал к нему.

— Вель­мож­ный князь, мы не зна­ли...

— Пу­стое! — прервал его Бо­гу­слав. — Я вы­ез­жал ко­ня с тем ка­валером, у ко­то­рого купил его. — И че­рез ми­ну­ту при­ба­вил: — И ко­то­ро­му до­ро­го за­платил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Верный Сорока вез своего полковника через дремучие леса, сам не зная, куда ехать, что делать, в какую сторону направить свой путь.

Кмициц был не только ранен, но и оглушен выстрелом. Время от времени Сорока смачивал тряпицу в ведре, висевшем у седла, и обтирал раненому лицо; иногда он останавливался у лесного ручья или озера, чтобы зачерпнуть свежей воды; но ни вода, ни привалы, ни бег коня не могли привести пана Анджея в чувство, он лежал как мертвый, так что солдаты, которые ехали с ним, люди менее сведущие, чем Сорока, забеспокоились, жив ли полковник.

— Жив, — отвечал им Сорока, — через три дня будет сидеть на коне, как мы с вами.

Через час Кмициц открыл глаза, и с губ его слетело одно только слово: — Пить!

Сорока поднес к его губам кружку с чистой водой; но от невыносимой боли пан Анджей так и не разжал губ — и не смог попить. Он не впал уже в забытие, ни о чем, однако, не спрашивал, будто ничего не помнил; широко раскрытыми мутными глазами глядел он на лесную чащу, на клочки голубого неба над головою, смотревшие сквозь просветы между листвой, и на своих товарищей, глядел, словно пробудившись ото сна или протрезвясь от хмеля; без слов позволял он Сороке перевязывать голову, не стонал, когда тот снимал повязки; видно, холодная вода, которой вахмистр обмывал рану, была ему приятна, потому что глаза его порой улыбались.

А Сорока утешал его:

— Завтра, пан полковник, горячка пройдет. Даст бог, живы будем.

К вечеру горячка и впрямь стала проходить, а на закате и взор прояснился.

— Что это тут за шум? — спросил внезапно пан Анджей.

— Где? Никакого тут шума нет, — ответил Сорока.

Шумело, видно, только в голове у пана Анджея, потому что вечер был тих и ясен. Косые лучи заходящего солнца пронизывали густую заросль, озаряя лесной сумрак и золотя красные стволы сосен. Не веял ветер, лишь кое-где с орешин, берез и грабов падали на землю листья, да пугливый зверь с легким шорохом бежал от всадников в лесную чащу.

Вечер был холодный; но у пана Анджея, видно, снова началась горячка, он несколько раз повторил:

— Вельможный князь, враги мы не на жизнь, а на смерть!

Уже совсем стемнело, и Сорока стал подумывать о ночлеге; но всадники вступили в сырой бор, под копытами захлюпала грязь, и отряд продолжал путь, чтобы выбраться на место повыше и посуше.

Ехали час, другой, и все не могли миновать болото. Тем временем снова посветлело, взошла полная луна. Вдруг Сорока, ехавший впереди, соскочил с седла и стал внимательно разглядывать лесную почву.

— Кони тут прошли, следы видать на болоте, — сказал он.

— Да кто же мог тут проезжать, когда и дороги никакой нет? — заметил один из солдат, поддерживавших Кмицица.

— А следы есть, да сколько! Вон там, между соснами, ясно видать.

— Верно, скотина ходила.

— Не может быть. Сейчас не время скотину в лесу пасти, да и копыта ясно видать, тут какие-то люди проезжали. Хорошо бы найти хоть смолокурню.

— Так поедem по следам.

— Поехали!

Сорока снова вскочил в седло, и всадники тронули лошадей. В торфянистом грунте все время были явственно видны следы копыт; при лунном свете можно было даже различить, что они как будто совсем свежие. Между тем лошади уходили в болото выше колен. Солдаты стали уже опасаться, пройдут ли они, не откроется ли впереди еще более глубокая топь; но через каких-нибудь полчаса они услышали запах дыма и смолы.

— Где-то тут смолокурня! — сказал Сорока.

— А вон! Искры видать! — показал один из всадников.

И в самом деле в отдалении струился красный пламенистый дым, а вокруг него плясали искры от тлевшего под землею костра.

Подъехав поближе, солдаты увидели хату, колодец и большой сарай, сколоченный из сосновых бревен. Утомленные от дороги кони заржали, в ответ из сарая раздалось ржание целого табунка, и в ту же минуту перед всадниками выросла фигура в вывороченном наизнанку тулупе.

— Много ли лошадей пригнали? — крикнул человек в тулупе.

— Эй, парень! Чья смолокурня? — обратился к нему Сорока.

— Кто вы такие? Откуда взялись? — с испугом и удивлением в голосе спросил смолокур.

— Не бойся! — ответил ему Сорока. — Мы не разбойники!

— Езжайте своей дорогой, нечего вам тут делать!

— Заткни глотку да веди нас в хату, покуда честью просим. Ты что,

хам, не видишь, что мы раненого везем!

— Кто вы такие?

— Смотри, как бы я тебе из ружья не ответил. Получше тебя, парень! Веди в хату, не то сварим тебя в твоей же смоле.

— Одному мне от вас не отбиться, ну да нас поболе будет. Не сносить вам головы!

— И нас поболе будет, веди!

— Ну и ступайте себе, мне что за дело!

— Дай нам поесть, что найдется, да горелки. Пана везем, он заплатит.

— Коль живым отсюда уедет.

Ведя такой разговор, они вошли в хату, где в очаге пылал огонь, а из горшков, стоявших на поду, пахло тушеным мясом. Хата была довольно просторная. Сорока сразу заметил, что у стен стоит шесть топчанов, заваленных бараньими шкурами.

— Да тут какая-то ватага живет, — пробормотал он, обращаясь к товарищам. — Насыпьте порошу на полки ружей да смотрите в оба! Этого хама стерегите, чтоб не убежал. Нынешнюю ночь пусть хозяева на улице поспят, мы хаты не уступим.

— Паны нынче не приедут, — сказал смолокур.

— Оно и лучше, не придется ссориться из-за жилья, а завтра мы уедем, — ответил ему Сорока. — А покуда положи-ка нам мяса в миску, мы голодны, да лошадям овса не пожалей.

— А откуда же тут, на смолокурне, овсу взяться, вельможный пан солдат?

— Слыхали мы, лошади у тебя в сарае стоят, стало быть, и овес должен быть, не смолой же ты кормишь их.

— Не мои это лошади.

— Твои ли, не твои ли — едят то же, что наши. Живо, парень, живо, коли тебе шкура дорога!

Смолокур ничего не ответил. А солдаты тем временем уложили спящего пана Анджея на топчан, после чего сели за ужин и стали уписывать тушеное мясо и бигос, большой чугунок которого стоял на очаге. Нашлась и пшённая каша, а рядом в кладовой Сорока обнаружил большую сулею горелки.

Однако он и сам только прихлебнул, и солдатам не дал пить, — решил ночью быть начеку. Эта пустая хата с топчанами на шестерых мужиков и сараем, в котором ржал табун лошадей, показалась ему странной и подозрительной. Он просто подумал, что это разбойничий притон, тем более что в той же кладовой, откуда он вынес сулею, увидел много оружия,

развешанного на стенах, бочку пороха и всякую рухлядь, награбленную, видно, в шляхетских усадьбах. Если бы вернулись домой хозяева хаты, трудно было бы ждать от них не то что гостеприимства, но просто пощады; поэтому Сорока, заняв хату с оружием в руках, намерен был удержаться в ней силой или вступить с хозяевами в переговоры.

Он должен был это сделать и ради Кмицица, для которого путешествие могло оказаться гибельным, и ради общей их безопасности. Одно только чувство было чуждо ему, стреляному, выдавшему виды солдату, — это чувство страха. Но теперь он трепетал при одной мысли о князе Богуславе. Много лет служил он Кмицицу и слепо верил не только в отвагу своего молодого господина, но и в его счастье; не однажды видел он его подвиги, отчаянно дерзкие, граничившие с безрассудством, которые неизменно кончались удачей, и сходили рыцарю с рук. С Кмицицем совершил он все «наезды» на Хованского, принимал участие во всех набегах, наскоках и похищениях и утвердился в мысли, что его господин все может, что ему все нипочем и вырвется он из любой пучины и ввергнет в нее, кого ему вздумается. Кмициц был для него воплощением величайшей силы и удачи, а теперь вот напал, знать, молодец на молодца, нет, напал, знать, пан Кмициц на молодца похрабрей и поудачливей. Как же так? Увез он князя одного, безоружного, был тот в его руках, а ведь вот ушел, мало того — самого пана Кмицица сокрушил, солдат его погромил и так его напугал, что они бежали в страхе, опасаясь, как бы он не бросился за ними в погоню. Диву давался Сорока, просто голову терял, раздумывая об этом, — всего он мог ждать, но только не того, что найдется удалец, который одолеет его господина.

— Неужто кончилось наше счастье? — ворчал он про себя, озираясь кругом в изумлении.

И хоть прежде он, бывало, с закрытыми глазами шел за Кмицицем в стан Хованского, на его квартиру, окруженную восьмидесятитысячным войском, теперь при одном воспоминании о длинноволосом князе с девичьими глазами и розовым лицом на него нападал суеверный страх. Он сам не знал, что делать. Его пугала мысль, что не нынче-завтра придется выехать на большую дорогу, где их может встретить если не сам страшный князь, то посланная им погоня. Потому-то и свернул он с дороги в дремучий лес, а теперь хотел переждать в этой лесной хате, пока погоня не потеряет след и не выбьется из сил.

Но и это убежище, уже по другим причинам, казалось ему небезопасным; надо было решать, что делать: приказав солдатам стать на страже у дверей и окон хаты, Сорока обратился к смолокуру.

— Возьми, парень, фонарь и пойдём со мною.

— Разве что лучиной придется посветить тебе, вельможный пан, нет у меня фонаря.

— Что ж, посвети лучиной; спалишь сарай и лошадей — не моя беда!

На такое dictum^[143] в кладовой тотчас нашелся фонарь. Сорока приказал парню идти вперед, а сам последовал за ним, сжимая в руке пистолет.

— Кто живет в этой хате? — спросил он по дороге.

— Паны живут.

— Как звать их?

— Этого мне говорить не велено.

— Вижу я, парень, не миновать тебе пули!

— Вельможный пан, ну а совру я, скажу другое какое имя, — возразил ему смолокур, — какой тебе от этого толк, все едино придется на веру принять.

— И то правда! А много ли их?

— Старик, два паныча да два челядинца.

— Что же они, шляхтичи?

— Само собой.

— И живут тут?

— Когда тут, а когда бог их знает где.

— А лошади откуда?

— Они и пригоняют, а откуда — бог их знает!

— Скажи ты мне по совести, не промышляют ли твои хозяева на большой дороге?

— Да откуда же мне знать, милостивый пан? Вижу, берут лошадей, а у кого — не моя забота.

— А что они с ними делают?

— Иной раз возьмут табунок, голов десять, двенадцать, сколько есть, и угонят, а куда — я тоже не знаю.

Ведя такой разговор между собою, они дошли до сарая, откуда доносилось фырканье лошадей, и вошли внутрь.

— Свети! — велел парню Сорока.

Тот поднял вверх фонарь и стал светить. Сорока глазом знатока оглядывал по очереди лошадей, стоявших в ряд у стены, и головой качал, и языком прищелкивал, и ворчал про себя:

— Как бы покойный пан Зенд обрадовался!.. Вот польские, московские, а вон немецкий мерин, и та кобыла тоже немецкая!.. Хороши! А чем кормишь их?

— Чтоб не соврать, милостивый пан, я две полянки еще весною овсом засеял.

— Так твои хозяева еще с весны пригоняют сюда лошадей?

— Нет, они ко мне челядинца прислали с наказом.

— Стало быть, ты ихний?

— Был ихний, покуда они на войну не ушли.

— На какую войну?

— Разве я знаю, милостивый пан? Ушли далёко, еще прошлый год, а нынче летом воротились.

— Чей же ты теперь?

— Да ведь леса королевские.

— А кто посадил тебя тут смолу курить?

— Королевский лесничий, родич хозяев, он тоже с ними лошадей пригонял, да уехал как-то и больше не воротился.

— А гости к твоим хозяевам не наезжали?

— Сюда никто не попадет, кругом болота и проход только один. Это просто чудо, что вы нашли его, ведь не найдешь — и засосет пучина.

Сорока хотел было сказать, что хорошо знает и лес и проход, но, поразмыслив, решил умолчать об этом и только спросил:

— А велик ли лес?

Парень не понял вопроса.

— Как?

— Далёко ль тянется?

— Э, да кто его когда прошел: тут один лес кончается, другой начинается, бог его знает, где его нет. Я там не бывал.

— Ладно! — сказал Сорока.

Он велел парню возвращаться и сам направился в хату.

По дороге раздумывал, как же поступить, и колебался. С одной стороны, брала его охота, воспользовавшись отсутствием хозяев, забрать лошадей и бежать со всем табунком. Ценная эта была бы добыча, и лошади очень понравились старому солдату; однако через минуту он победил искушение. Взять легко, а что потом будешь делать? Кругом болота, проход один — как ты его найдешь? Один раз счастливый случай помог, а в другой раз, смотришь, и не поможет. Идти по следам нельзя, — у хозяев, наверно, достало ума, чтобы нарочно наоставлять предательских обманных следов, которые приведут прямо в болотную пучину. Сорока хорошо знал повадки людей, которые промышляют угоном лошадей или берут их в добычу.

Думал он, думал, да как хлопнет себя по лбу.

— Экий я дурак! — проворчал он. — Взять парня на аркан, и пусть

ведет на большую дорогу. — При последних словах он внезапно вздрогнул. — На большую дорогу? А там князь, погоня...

«Табунок голов на пятнадцать, считай, потеряли! — сказал про себя старый забияка с таким сожалением, как будто он сам выкормил этих лошадей. — Одно можно сказать, — кончилось наше счастье. По доброй ли воле хозяев, против ли их воли, придется сидеть в хате, покуда пан Кмициц не выздоровеет, а что потом будет — это уж его забота».

Раздумывая так, вернулся он в хату. Бдительные стражи, хоть и видели, стоя у двери, как мерцает вдали во мраке тот самый фонарь, с которым ушли Сорока и смолокур, спросили, однако, кто идет, и только тогда впустили их в хату. Сорока приказал солдатам смениться в полночь, а сам бросился на топчан рядом с Кмицицем.

В хате стало тихо, только сверчки завели свою привычную песенку, мышки скреблись в рухляди, сваленной в кладовой по соседству, да больной то и дело просыпался и, видно, бредил в жару.

— Государь, прости!.. — долетали до слуха Сороки отрывистые слова. — Они изменники!.. Я открою все их тайны... Речь Посполитая — красное сукно... Ладно, князь, ты у меня в руках! Держи его!.. Государь, туда, там измена!..

Сорока приподнимался на топчане и слушал; но больной, крикнув раз, другой, засыпал, а потом снова пробуждался и звал:

— Оленька! Оленька! Не гневайся!

Только к полуночи он совсем успокоился и крепко уснул. Сорока тоже задремал, но вскоре его разбудил тихий стук в дверь.

Чуткий солдат тотчас открыл глаза, вскочил и вышел из хаты.

— Что там?

— Пан вахмистр, смолокур бежал!

— Ах, черт побери! Он тотчас приведет сюда разбойников. Кто его стерег?

— Белоус.

— Я пошел с ним наших лошадей напоить, — стал оправдываться Белоус, — велел ему ведро тянуть, а сам держал лошадей...

— Что ж, он в колодец прыгнул?

— Нет, пан вахмистр, он между бревнами кинулся, — их пропасть навалено у колодца, — да в ямы, что остались после корчевки. Бросил я лошадей, думаю, хоть и разбегутся они, мы тут других найдем, а сам кинулся за ним, да застрял в первой же яме. Ночь, темно, он, дьявол, место знает, вот и убежал... Чтоб его чума взяла!

— Наведет он нам сюда этих чертей, наведет, чтоб его громом

убило! — Вахмистр оборвал речь, а через минуту сказал: — Не придется нам ложиться, надо хату до утра стеречь: вот-вот набежит ватага.

И, желая подать другим пример, уселся с мушкетом в руке на пороге хаты; солдаты, устроившись подле него, то беседовали вполголоса, то тихонько мурлыкали песенку, то прислушивались, не раздастся ли в лесном шуме топот копыт и фыркание приближающихся лошадей.

Ночь была светлая, лунная, и лес шумел. Жизнь кипела в его недрах. Это была пора течи у оленей, и в чаще раздавался грозный рык рогачей. Отголоски его, короткие, хриплые, полные ярости и гнева, слышались кругом, во всех частях леса, и в глубине его, и поближе, порою совсем рядом, в какой-нибудь сотне шагов от хаты.

— Они, как придут, тоже станут реветь, чтобы обмануть нас, — сказал Белоус.

— Э, нынче ночью они не придут. Покуда парень до них дойдет, ободняет! — возразил другой солдат.

— Днем, пан вахмистр, надо бы хату обшарить да стены подрить, — коли тут разбойники живут, у них и клады должны быть.

— Нет клада дороже, чем вон там, на конюшне, — показал Сорока рукой на сарай.

— А не взять ли?

— Э, дураки! Ведь отсюда выхода нет, кругом одна трясина.

— А ведь сюда же мы добрались.

— Бог привел. Живая душа не пройдет сюда и не выйдет, коль дороги не знает.

— День встанет, найдем дорогу.

— Не найдем. Они тут нарочно напетляли, следы-то обманные. Не надо было парня упускать.

— До большой дороги тут день пути, — сказал Белоус, — вон в ту сторону идти надо! — Он показал на восточную часть леса. — Будем ехать, покуда не выедем, — вот и вся недолга!

— Ты думаешь, выедешь на большую дорогу, так уже пан? Да лучше тут пуля от разбойника, чем там петля.

— Это как же так, отец? — спросил Белоус.

— Да ведь нас там уже, наверно, ищут.

— Кто, отец?

— Князь.

Сорока умолк, а с ним умолкли в страхе и остальные.

— Ох! — вздохнул наконец Белоус. — Тут худо, и там худо: куда ни кинь, везде клин!

— Загнали нас, как волков в тенета: тут разбойники, а там князь! — сказал другой солдат.

— Чтоб его гром убил! — воскликнул Белоус. — По мне, уж лучше иметь дело с разбойником, нежели с колдуном! Знается этот князь с дьяволом, знается! Завратынский с медведем схватывался, а он вырвал у него саблю, как у мальчишки. Чары на него напустил, как пить дать. А как кинулся потом на Витковского, так на моих глазах вырос с сосну. Не будь этого, я бы живым его не выпустил.

— Все равно дурень ты, что не напал на него.

— А что было делать, пан вахмистр? Подумал я: конь под ним самый лучший, стало быть, захочет он — так ускачет, а наплет на меня — так я не отобьюсь, потому с колдуном человеку не совладать. Он с глаз твоих сгинет иль взовьется столбом пыли.

— Это правда, — заметил Сорока. — Я как стрелял в него, так его будто туманом накрыло, ну я и промахнулся! Верхом всяк может промахнуться, потому конь под тобой не стоит, но чтоб пешему дать промах, такого со мной вот уж десять лет не бывало.

— Да что толковать! — сказал Белоус. — Давайте лучше сочтем: Любенец, Витковский, Завратынский, наш полковник — и всех он один безоружный свалил, а ведь каждый из них не раз выходил против четверых. Без помощи дьявола ему бы такого не сделать.

— Предадим себя господу, а то ведь дьявол и сюда дорогу князю покажет, коли тот знается с ним.

— Да у князя и без того руки долги, вон он пан какой...

— Тише! — сказал вдруг Сорока. — Что-то в листьях шелестит.

Солдаты умолкли и насторожились. Неподалеку и впрямь послышался тяжелый топот, под копытами явственно зашуршала опавшая листва.

— Коней слышать, — шепнул Сорока.

Но топот стал удаляться, и вскоре раздался грозный и хриплый рев оленя.

— Это олени! Рогач ланей зовет или другого пугает.

— Рев в лесу стоит, будто черт свадьбу играет.

Солдаты снова примолкли и задремали, один только вахмистр поднимал порою голову и минуту прислушивался, после чего опять ронял голову на грудь. Так прошел час, другой, наконец ближние сосны из черных стали серыми, верхушки их все больше светлели, будто кто обливал их расплавленным серебром. Умолк рев оленей, и невозмутимая тишина воцарилась в лесной чаще. Сменяя зарю, медленно разливался белесый свет и гасил ее алые и золотые отблески; наконец белый день встал и

озарил усталые лица солдат, спавшие подле хаты мертвым сном.

Внезапно распахнулась дверь, и на пороге показался Кмициц.

— Эй, Сорока! — крикнул он.

Солдаты повскакали.

— Господи, да ты, пан полковник, на ногах? — воскликнул Сорока.

— А вы спите, как сурки: головы можно вам срубить и кинуть за плетень, покуда кто-нибудь проснется.

— Да мы, пан полковник, до утра не спали, белый день уж встал, как уснули.

Кмициц огляделся по сторонам.

— Где это мы?

— В лесу, пан полковник.

— Вижу. А что это за хата?

— Да мы и сами не знаем.

— Пойдем! — сказал пан Анджей Сороке.

И снова вошел в хату. Сорока последовал за ним.

— Послушай, — обратился к нему Кмициц, опускаясь на топчан, — так это князь в меня стрелял?

— Да.

— А что с ним случилось?

— Ушел.

— На минуту воцарилось молчание.

— Это плохо! — сказал Кмициц. — Из рук вон плохо! Лучше было уложить его, чем пустить живым!

— Мы так и хотели, да..

— Что «да»?

Сорока коротко рассказал обо всем происшедшем. Кмициц слушал со странным спокойствием, только глаза у него горели.

— Стало быть, его взяла, — промолвил он наконец. — Но мы еще встретимся. Ты почему с дороги свернул?

— Погони боялся.

— Правильно сделал, они, наверно, гнались за нами. Уж очень нас мало теперь против Богуслава с его силой, чертовски мало! К тому же он отправился в Пруссию, а там мы не можем гнаться за ним, придется подождать!

Сорока вздохнул с облегчением. Видно, Кмициц не так уж боялся князя Богуслава, коль скоро толковал о погоне. Эта уверенность сразу передалась и старому солдату, который привык не своей головой думать и не своим сердцем чувствовать, а полковника.

Пан Анджей тем временем погрузился в глубокую задумчивость; очнувшись внезапно, он стал шарить около себя.

— Где мои письма? — спросил он.

— Какие письма?

— Которые были при мне... Я их в пояс спрятал. Где пояс? — лихорадочно спрашивал пан Анджей.

— Пояс я сам отстегнул и снял, чтобы твоей милости дышать было полегче, вот он лежит.

— Дай сюда!

Сорока подал кожаный пояс на белой замшевой подкладке с карманами, стянутыми шнурком. Кмициц раздернул шнурок и поспешно достал бумаги.

— Это грамоты шведским комендантам, — сказал он с беспокойством в голосе, — а где же письма?

— Какие письма? — повторил Сорока свой вопрос.

— Черт бы тебя побрал! Письма гетмана шведскому королю, пану Любомирскому, все письма, которые были при мне!

— Коли в поясе их нет, стало быть, нет нигде. Верно, в пути потеряли.

— По коням, искать! — страшным голосом крикнул Кмициц.

Не успел изумленный Сорока выйти из хаты, как пан Анджей в изнеможении повалился на постель и, схватившись руками за голову, застонал:

— О, мои письма! Мои письма!

Солдаты тем временем уехали на поиски; только одному из них Сорока велел стеречь хату. Оставшись один, Кмициц предался мыслям о своем положении, которое было совсем незавидным. Богуслав ускользнул из его рук. Угроза страшной и неотвратимой мести могущественных Радзивиллов нависла над ним. И не только над ним, но и над теми, кого он любил, короче — над Оленькой. Кмициц знал, что князь Януш не задумается нанести ему удар в самое больное место, что он выместит ему на Оленьке. Она ведь была в Кейданах, во власти страшного магната, сердце которого не знало жалости. Чем больше размышлял пан Анджей, тем яснее видел, что положение его просто ужасно. После похищения Богуслава Радзивиллы почтут его изменником; для сторонников Яна Казимира, людей Сапеги и конфедератов, поднявших восстание в Подляшье, он тоже изменник, презренный раб Радзивиллов. Среди многочисленных станов, повстанческих отрядов и иноземных войск, занимавших в то время Речь Посполитую, не было ни одного стана, ни одного отряда, ни одного иноземного войска, где его не почитали бы заклятым, злейшим своим

врагом. Назначил же Хованский награду за его голову, а теперь назначат Радзивиллы, шведы и, как знать, не назначили ли уже и сторонники несчастного Яна Казимира. «Заварил кашу — теперь расхлебывай!» — думал Кмициц. Он похитил князя Богуслава, чтобы бросить его к ногам конфедератов, дать им неоспоримое доказательство того, что он порывает с Радзивиллами, и войти в доверие к ним, завоевать право бороться за короля и отчизну. С другой стороны, Богуслав в его руках был залогом безопасности Оленьки. Но теперь, когда князь разгромил его и ушел, не только осталась беззащитной Оленька, но и у него не стало доказательства, что он и вправду бросил служить Радзивиллам. И хоть дорога к конфедератам для него открыта, и встретиться ему отряд Володыёвского и его друзей полковников, они, быть может, даруют ему жизнь, но примут ли они его, поверят ли ему, не подумают ли, что он лазутчик или явился к ним, чтобы посеять смуту и переманить людей к Радзивиллам? Тут он вспомнил, что на нем кровь конфедератов, вспомнил, что он первый разбил в Кейданах восставших венгров и драгун, что он рассеивал восставшие хоругви или вынуждал их покориться, что он расстреливал мятежных офицеров и истреблял солдат, что он обнес шанцами и укрепил Кейданы и тем самым обеспечил Радзивиллу победу в Жмуди... «Как же мне к ним идти? — подумал он про себя. — Ведь им чума была б милей, чем такой гость, как я! С Богуславом на аркане у седла можно было бы, но с одними словами и пустыми руками...»

Будь у него хоть письма, он снискал бы доверие конфедератов и, уж во всяком случае, имел бы в руках князя Януша, ибо эти письма даже у шведов могли подорвать доверие к гетману. Стало быть, ценою этих писем он мог бы спасти Оленьку...

Но сшутил же черт такую шутку, что и письма пропали.

Кмициц за голову схватился, когда ясно представил себе свое положение.

«Изменник я в глазах Радзивиллов, изменник в глазах Оленьки, изменник в глазах конфедератов, изменник в глазах короля! Погубил я славу, честь, себя, Оленьку!»

Рана на лице его горела; но душу сжигал стократ сильный жар. Ибо в довершение всего уязвлено было и рыцарское его самолюбие. Ведь он позорно был побит Богуславом. Безделицей было поражение, которое нанес ему в Любиче Володыёвский. Там его победил вооруженный рыцарь, которого он вызвал на поединок, а тут безоружный пленник, которого он держал в руках.

С каждой минутой убеждался он, что пришла для него страшная

година, година позора. И чем пристальней он вникал во все обстоятельства, тем яснее видел весь ужас своего положения, открывал все новые темные стороны, что сулили стыд и бесчестье, погибель для него самого и для Оленьки, урон для отчизны. В конце концов страх его обнял.

«Ужели это я все сотворил?» — вопрошал он себя в изумлении. И волосы у него зашевелились.

— Мыслимо ли это! Наверно, меня все еще трясет febris!^[144] — воскликнул он. — Матерь божия, мыслимо ли это!

«Слепой и глупый своевольник! — сказала ему совесть. — Ну что было тебе стать на сторону короля, что было тебе внять просьбам Оленьки!»

И порыв сожаления как буря поднялся в его душе. Эх, если бы мог он сказать себе: шведы против отчизны, я на них, Радзивилл против короля, я — на него! Вот когда радостно и светло было бы у него на душе! Вот когда набрал бы он ватагу забияк с бору да с сосенки, и рыскал бы с ними, как цыган на ярмарке, и учинял бы набег на шведов, и топтал бы их с чистым сердцем, с чистой совестью, а потом в сиянии славы предстал бы перед Оленькой и сказал ей:

— Не отщепенец я уже, но *defensor patriae*, люби же меня, как я тебя люблю!

А что теперь?

Но гордая его душа, привыкшая все себе прощать, не хотела вдруг признать свою вину: нет, это Радзивиллы его совратили, Радзивиллы довели до погибели, покрыли позором, связали по рукам и ногам, лишили чести и любви.

Скрежеща зубами, он простер руки туда, где гетман Януш терзал Жмудь, как волк свою жертву, и крикнул сдавленным от ярости голосом:

— Мести! Мести! — И вдруг в отчаянии упал посреди хаты на колени и воскликнул: — Клянусь тебе, Иисусе, теснить и крушить изменников, зорить по праву огнем и мечем, покуда дышит грудь моя и бьется сердце! Помоги мне, царь назарейский, аминь!

Но внутренний голос сказал ему в эту минуту: «Отчизне служи, мстить будешь потом!»

Глаза пана Анджея горели, губы запеклись, он весь дрожал, как в лихорадке, размахивал руками и, громко говоря сам с собою, ходил, вернее, метался по хате, задевая ногами за топчаны, пока наконец не упал на колени.

— Просвети же и наставь меня, Иисусе, дабы не обезумел я!

Внезапно до слуха его долетел звук выстрела, который лесное эхо,

отбрасывая от сосны к сосне, принесло, будто гром, к самой хате.

Кмициц вскочил и, схватив саблю, выбежал на крыльцо.

— Что там? — спросил он у солдата, стоявшего на пороге.

— Стреляют, пан полковник!

— Где Сорока?

— Поехал искать письма.

— В какой стороне стреляют?

Солдат показал на густые заросли в восточной части леса.

— Там!

В эту минуту послышался топот; но лошадей еще не было видно.

— Берегись! — крикнул Кмициц.

Но из зарослей показался Сорока, он мчался во весь опор, а за ним неся другой солдат.

Оба они подскакали к хате, спешили и с седел, как с насыпи окопа, направили мушкеты на заросли.

— Что там? — спросил Кмициц.

— Идут! — ответил Сорока.

ГЛАВА II

Наступила тишина, но вскоре в соседних кустах что-то затрещало, будто шло стадо вепрей; по мере приближения треск понемногу смолкал. Наконец снова наступила тишина.

— Сколько их там? — спросил Кмициц.

— Человек шесть, а может, и все восемь, не мог я толком сосчитать, — ответил Сорока.

— Наше счастье! Против нас им не устоять!

— Не устоять, пан полковник, надо бы только живьем которого взять да попытать огнем, чтоб дорогу показал.

— Будет еще время. Берегись!

Не успел Кмициц сказать: «Берегись!» — как струйка белого дыма расцвела в зарослях и словно птицы зашумели неподалеку в траве, в каких-нибудь трех десятках шагов от хаты.

— Подковными гвоздями из дробовика стреляют! — сказал Кмициц. — Коли нет у них мушкетов, ничего они нам не сделают, из дробовика сюда не достать.

Держа одной рукой опертый о седло мушкет, Сорока сложил у губ другую руку и крикнул:

— А ну покажись который из кустов, мигом уложу!

На минуту наступила тишина, затем из зарослей раздался грозный голос:

— Вы кто такие?

— Да уж получше тех, кто промышляют на большой дороге.

— По какому праву вы заняли наш дом?

— Ты, разбойник, о праве спрашиваешь! Заплечных дел мастер научит вас праву, а покуда проваливай!

— Мы вас, как барсуков, отсюда выкурим!

— Поди-ка сунься! Смотри, как бы сам в дыму не задохся!

Голос в зарослях умолк, разбойники, видно, стали держать совет, а Сорока тем временем шепнул Кмицицу:

— Надо будет одного заманить и связать, будет у нас и заложник и проводник.

— Коль придет сюда который, — возразил ему Кмициц, — так не раньше, чем мы слово дадим.

— С разбойниками и слова можно не держать.

— А лучше его не давать! — оборвал его Кмициц.

Со стороны зарослей долетел новый вопрос:

— Чего вам надобно?

Тут заговорил сам Кмициц:

— Мы как приехали, так бы и уехали, кабы ты, дурень, обошелся учтиво, не начинал с пальбы.

— Не усидеть тебе тут, вечером нас сто сабель придет!

— К вечеру две сотни драгун придет, а болото тебе не защита, есть у нас такие, что проедут, как и мы проехали.

— Так вы солдаты?

— Да уж не разбойники.

— А из какой хоругви?

— А ты что, гетман? Тебе отчет мы давать не станем.

— Говорю вам, волки вас тут съедят.

— А вас воронье сгложет.

— Отвечайте, чего вам надобно, черт бы вас побрал! Зачем влезли в нашу хату?

— А ты поди сам сюда! Нечего глотку драть из кустов. Поближе! Поближе!

— Даешь слово?

— Слово рыцарям дают, не разбойникам. Хочешь — верь, не хочешь — не верь!

— Двоим можно?

— Можно!

Через минуту из зарослей в какой-нибудь сотне шагов вышли два высоких плечистых человека. Один из них сутулился и, видно, был уже преклонный старик, другой держался прямо, только на ходу вытягивал с любопытством шею; на обоих были крытые серым сукном полушубки, какие носила шляхта поплоче, высокие яловичные сапоги и надвинутые на глаза меховые шапки.

— Что за дьявольщина! — пробормотал Кмициц, пристально всматриваясь в обоих.

— Чудеса, да и только, пан полковник! — воскликнул Сорока. — Ведь это наши люди?

Старик и парень были уже в нескольких шагах, но узнать пришельцев не могли, так как их заслоняли лошади.

Внезапно Кмициц шагнул вперед.

Но и тут они не признали пана Анджея, потому что лицо его было закрыто повязкой; они только приостановились и смерили его

любопытными и беспокойными глазами.

— Где же твой другой сын, пан Кемлич? — спросил Кмициц. — Уж не сложил ли свою голову?

— Кто это? А? Что? Кто это говорит? — странным, словно бы испуганным голосом произнес старик.

И застыл, раскрыв глаза и разинув рот; но у сына глаза были моложе и зорче, он внезапно сорвал шапку с головы.

— Господи помилуй! Отец, да это пан полковник! — крикнул он.

— О, господи! О, Иисусе сладчайший! — завопил старик. — Так это пан Кмициц!

И оба они стали навтыяжку, как положено приветствовать начальника, а на лицах их изобразились испуг и изумление.

— Ах, такие-сякие! — улыбнулся Кмициц. — Из дробовика салютовали!

Тут старик бросился назад с криком:

— Эй сюда, все сюда!

Из зарослей показалось еще несколько человек, среди них второй сын старика и смолокур; не зная, что случилось, все они бежали сломя голову с оружием наготове; но старик снова закричал:

— На колени, шельмы, на колени! Это пан Кмициц! Какой это дурак вздумал стрелять? Ну-ка признавайся!

— Да ты сам, отец, и стрелял! — сказал молодой Кемлич.

— Брешешь! Брешешь, как пес! Пан полковник, ну кто мог знать, что это ты сам у нас в доме! Господи боже мой, да я все еще глазам своим не верю!

— Я сам, собственной персоной! — промолвил Кмициц, протягивая ему руку.

— О, господи! — воскликнул старик. — Такой гость в лесу! Глазам своим не верю! Чем мы тут тебя, пан полковник, потчевать будем? Да кабы мы знали, кабы ведали! — Тут он обратился к сыновьям: — Ну-ка, болваны, беги который-нибудь в погреб да принеси меду!

— Дай, отец, ключ! — сказал один из сыновей.

Старик стал искать за поясом ключ, подозрительно поглядывая на сына.

— Ключ? Как бы не так! Знаю я тебя, цыгана, ты сам больше выпьешь, чем сюда принесешь. Сам схожу! Ишь чего захотел: дай ему ключ! Ступайте да отвалите бревна, а уж отворю и принесу я сам!

— Да у тебя, пан Кемлич, я вижу, погребок укрыт под бревнами? — сказал Кмициц.

— Да разве тут что-нибудь удержишь с этими разбойниками! — показал старик на сыновей. — Они бы отца сожрали. Вы еще здесь?! Ступайте отвалите бревна. Так-то вы слушаетесь того, кто вас породил?

Сыновья метнулись опрометью за хату, к кучам нарубленных бревен.

— Ты, как я вижу, по-прежнему воюешь с сыновьями? — спросил Кмищиц.

— Разве с ними в мире проживешь? Драться умеют, добычу брать умеют, но как дело дойдет до дележа с отцом — из глотки приходится вырывать свою часть! Вот она, утеха моя! А парни как туры! Пожалуй, пан полковник, в хату, а то здесь холод пробирает. Господи боже мой, такой гость, такой гость! Ведь мы под твоим начальством больше захватили добычи, чем тут за целый год! А теперь вот горе! Одна бедность! Худые времена, и чем дальше, тем все хуже, да и старость не радость! Пожалуй в хату, в убогую нашу хижинку! Господи, да разве мог я ждать такого гостя!

Старый Кемлич говорил странно торопливым и жалобным голосом и все бросал по сторонам быстрые, беспокойные взгляды. Это был костистый, высоченного роста старик, с вечно недовольным, кислым лицом. Глаза у него, как и у обоих сыновей, были косые, брови кустистые и такие же усы, из под которых торчала уродливо выпяченная нижняя губа, которая, как у всех беззубых людей, при разговоре поднималась к самому носу. Старому, сморщенному лицу странно не соответствовала крепкая фигура, выказывавшая необыкновенную силу и живость. Движения его были стремительны, точно весь он был на пружинах; он непрестанно вертел головой, стараясь охватить глазом все, что его окружало: и людей и предметы. По мере того как в нем просыпался служака, трепетавший перед бывшим начальником, а быть может, и привязанный к нему, старик все униженней держался с паном Анджеем.

Кмищиц хорошо знал Кемличей; отец и оба сына служили у него в те времена, когда он на свой страх вел в Белоруссии войну с Хованским. Это были храбрые солдаты, столь же храбрые, сколь и жестокие. Сын Косьма некоторое время был в отряде знаменосцем, однако вскоре отказался от почетного звания, мешавшего ему брать добычу. Среди гуляк и игроков, из которых состояла ватага Кмищица, днем пропивавших и спускавших все, что за ночь ценою крови они захватывали у врага, Кемличи выделялись своей страшной алчностью. Они усердно собирали добычу и прятали ее в лесах. Особенно лакомы они были до лошадей, которых продавали потом в шляхетских усадьбах и местечках. Отец дрался не хуже сыновей-близнецов, но после каждого боя отнимал у них самую лучшую долю добычи и при этом жаловался и скулил, что они его обижают, и стонал, и

охал, и грозил им отцовским проклятием. Сыновья на него ворчали; но были они от природы глуповаты и позволяли тиранить себя. Несмотря на постоянные ссоры и споры, в бою они яростно, не щадя жизни, защищали друг друга. Товарищи не любили Кемличей, и все их боялись, в драке они были страшны. Даже офицеры избегали связываться с ними. Один только Кмициц будил в них неописуемый страх, да еще трепетали они перед Раницким, когда лицо его в гневе покрывалось пятнами. Обоих они почитали за высокий род, ибо Кмицицы с давних пор стояли у власти в Оршанском воеводстве, а в жилах Раницкого текла сенаторская кровь.

В отряде ходила молва, будто они накопили несметные богатства, однако никто толком не знал, была ли в этом хоть доля правды. Однажды Кмициц услал их с несколькими челядинцами и взятым в добычу табуном лошадей, — и с той поры они пропали. Кмициц полагал, что они сложили головы, а солдаты твердили, что они угнали лошадей, потому что для них это был слишком большой соблазн. Теперь, когда пан Анджей увидел их целых и невредимых, услышал ржание в сарае подле хаты, заметил беспокойство, сквозившее у старика в раболепных изъявлениях радости, он подумал, что солдаты были правы.

Войдя с Кемличем в хату, Кмициц сел на топчан и, подбочась, в упор поглядел на старика.

— Кемлич, а где же мои кони? — спросил он.

— О Иисусе, Иисусе сладчайший! — простонал старик. — Люди Золотаренко забрали их, нас побили, изранили, рассеяли, гнали шестнадцать миль, еле мы живыми ушли от них. Ох, пресвятая владычица! Так мы и не смогли найти уже ни тебя, пан полковник, ни отряда. Загнали нас суда, в эти леса, на нужду и голод, в эту халупу, на эти болота. Ничего, бог милостив, вот и ты, пан полковник, жив и здоров, хоть, вижу, ранен... Не перевязать ли рану-то, не приложить ли трав, чтобы гной вытянуло. А сынки-то мои пошли отвалить бревна, да так и пропали. Что эти шельмы делают там? Готовы выломать дверь, только бы дорваться до меда. Один только голод тут и нужда! Грибами живем, но для твоей милости найдется и выпить и закусить... Отняли у нас тех коней, забрали. Что об них толковать! И мы лишились службы у тебя, пан полковник, на старости лет остался я без куска хлеба, разве только ты, пан полковник, пригреешь и снова примешь на службу.

— Все может стать! — ответил Кмициц.

В эту минуту вошли оба сына старика: Косьма и Дамиан, близнецы, дюжие увальни с огромными головами, поросшими невероятно густыми и жесткими, как щетина, волосами, которые неровными вихрами торчали из-

за ушей и по всей голове сваялись в причудливые космы. Войдя, они остановились у двери, не смея сесть в присутствии Кмищица.

— Мы бревна отвалили, — сказал Дамиан.

— Ладно, — бросил старый Кемлич, — пойду принесу меду. — Он многозначительно посмотрел на сыновей. — А тех коней забрали люди Золотаренко, — произнес он с ударением.

И вышел вон.

Кмищиц смотрел на стоявших у двери двоих литвинов, словно вырубленных наспех топором из колоды, и вдруг спросил:

— Что вы теперь делаете?

— Коней угоняем! — хором ответили близнецы.

— У кого?

— У кого придется.

— А больше всего?

— У людей Золотаренко.

— Это хорошо, у врага можно брать; но коль вы и у своих берете, то не шляхта вы, а разбойники. Что с конями делаете?

— Отец продает в Пруссии.

— А у шведов не случалось вам угонять? Ведь тут где-то недалеко шведские гарнизоны? На шведов не хаживали?

— Хаживали.

— Стало быть, на одиночек нападали или на маленькие отряды. А когда они отбивались, вы что тогда?

— Лупили их.

— Так! Стало быть, лупили! Ну тогда вы на заметке и у Золотаренко и у шведов. А ведь даром вам это, пожалуй, не пройдет, попадись вы только им в руки?

Косьма и Дамиан молчали.

— Опасный это промысел, не шляхте, а разбойникам пристало им заниматься. Верно, не обошлось дело и без суда за какие-нибудь старые грехи?

— Да уж что говорить! — ответили Косьма и Дамиан

— Я так и думал. Вы откуда родом?

— Здешние мы.

— Где отец жил раньше?

— В Боровичке.

— Он один владел деревенькой?

— Вместе с Копыстинским.

— А что случилось с Копыстинским?

— Зарубили мы его.

— И, наверно, бежали от суда. Плохо ваше дело, Кемличи, висеть вам на суку! Палач вам свечку засветит, как пить дать!

Но тут дверь скрипнула, и в избу вошел старик с сулеей меда и двумя чарками. Войдя, он с беспокойством посмотрел на сыновей и на Кмицица, а потом сказал:

— Ступайте завалите погреб.

Близнецы тотчас вышли; старик наполнил одну чарку, другую оставил пустую, ждал, позволит ли ему Кмициц выпить с собой.

Но Кмициц не мог пить, он даже говорил с трудом, так болела рана.

— Нейдет мед на рану, — сказал, увидев это, старик, — разве только самое залить, чтобы гной скорее выжечь. Позволь, пан полковник, я осмотрю ее и перевяжу, — в этом деле я не хуже цирюльника разбираюсь.

Кмициц согласился; Кемлич снял повязку и тщательно осмотрел рану.

— Пустое дело, царапина! Пуля кости не задела, а все-таки кругом напухло.

— Верно, потому и болит.

— Да ведь и двух дней не прошло. Мать честная! Ведь это кто-то в упор стрелял, да как близко.

— Почему ты так думаешь?

— Порох не успел весь сгореть, и дробины сидят под кожей, как чернушка. Они теперь так и останутся. А к ране надо только хлеба приложить с паутиной. Страх как близко кто-то стрелял, пан полковник, счастье, что не убил тебя!

— На роду еще не было мне написано. Намочи же хлеба с паутиной, пан Кемлич, да приложи поскорее, поговорить мне надо с тобой, а тут челюсти болят.

Старик бросил на полковника подозрительный взгляд, в сердце его закралось опасение, как бы разговор снова не зашел о лошадях, якобы захваченных казаками; однако он тотчас засуетился, намочил сперва хлеба в воде и размял его, набрал паутины, которой в хате было полно, и мигом перевязал Кмицицу рану.

— Теперь полегчало, — сказал пан Анджей. — Садись же, пан Кемлич.

— Слушаюсь, пан полковник, — ответил старик и присел на краешек лавки, спокойно повернув к Кмицицу седую щетинистую голову.

Но Кмициц не стал ни спрашивать, ни разговаривать, он сжал руками голову и глубоко задумался. Затем поднялся с топчана и заходил по хате; порой он останавливался перед Кемlichem и смотрел на него рассеянным

взглядом, видно, что-то обдумывал, боролся с самим собою. Так прошло около получаса; старик все беспокойней ерзал на лавке.

Вдруг Кмициц остановился перед ним.

— Пан Кемлич, — спросил он, — где тут недалёко стоят хоругви, что подняли мятеж против князя виленского воеводы?

Старик подозрительно заморгал глазами.

— Уж не хочешь ли ты, пан полковник, ехать к ним?

— Ты не спрашивай, а на спрос отвечай.

— Толковали, будто одна хоругвь станет на постой в Щучине, та, что недавно прошла туда из Жмуди.

— Кто толковал?

— Да люди из хоругви.

— Кто ее вел?

— Пан Володыёвский.

— Так. Кликни мне Сороку!

Старик вышел и через минуту вернулся с вахмистром.

— Нашлись письма? — спросил Кмициц.

— Нет, пан полковник, — ответил Сорока.

Кмициц щелкнул пальцами.

— Экая беда! Экая беда! Ступай, Сорока! Повесить вас мало за эти письма. Ступай! Пан Кемлич, нет ли у тебя бумаги?

— Пожалуй, найдется, — ответил старик.

— Хоть два листа да перья.

Старик исчез в дверях кладовой, которая была, видно, складом, где хранились всякие вещи; однако искал он долго. Кмициц тем временем расхаживал по хате.

— Есть ли письма, нет ли их, — говорил он сам с собою, — про то гетман не знает и будет опасаться, как бы я не разгласил их. Он у меня в руках, хитрость на хитрость! Припугну его, что пошлю эти письма витебскому воеводе. Да! Будем надеяться, что этого он побоится.

Дальнейшие размышления прервал старый Кемлич; выйдя из кладовой, он сказал:

— Бумаги три листа, а перьев и чернил нет.

— Нет перьев? А птицы-то есть в лесу? Из ружья бы подстрелить.

— Ястреб тут у нас подбитый под сараем.

— Давай крыло, да поживее!

Таким горячим нетерпением звучал голос Кмицица, что Кемлич опрометью бросился вон. Через минуту он вернулся с ястребиным крылом. Кмициц вырвал из крыла маховое перо и стал чинить собственным

кинжалом.

— Сойдет! — сказал он, рассматривая перо на свет. — Легче, однако, головы рубить с плеч, нежели перья чинить! А теперь чернил надо.

Он отвернул рукав, с силой уколол себя в руку и омочил перо в крови.

— Ступай, пан Кемлич, — сказал он, — оставь меня.

Старик вышел из хаты, а пан Анджей тотчас стал писать.

«Ясновельможный князь, отныне я тебе не слуга, ибо изменникам и отступникам я больше служить не хочу. А что поклялся я на распятии не оставить тебя, так господь бог простит мне мой грех, а и не простит, так уж лучше на том свете терпеть муку кромешную за свою слепоту, нежели за явную и злоумышленную измену отчизне и своему государю. Ты обманул меня, ясновельможный князь, и слепым мечом был я в твоих руках, всегда готовым пролить братскую кровь. На суд божий зову я тебя, пусть господь рассудит, на чьей стороне была измена, а на чьей чистые помыслы. А коли встретимся мы когда, то хоть и могущественны вы и смертелен может быть ваш укус не только для одного человека, но и для всей Речи Посполитой, а у меня лишь сабля в руке, но я своего не забуду и буду преследовать тебя, ясновельможный князь, для чего сил придадут мне горе мое и моя обида. А ты знаешь, что я из тех, кто может отомстить за обиду и без надворных хоругвей, без крепостей и пушек. Покуда жив я, будет угрожать вам моя месть, и не будете вы знать ни дня, ни часа покоя. Кровь моя, коею пишу я тебе, в том порукой. У меня твои письма, ясновельможный князь, они могут погубить тебя не только в глазах польского короля, но и шведов, ибо явна в них измена Речи Посполитой, как и то, что вы и шведов готовы покинуть, коль они споткнутся. Будь вы и вдвое сильнее, я могу вас погубить, ибо подпишам и печатям всяк поверит. Говорю тебе, ясновельможный князь: буде волос упадет с головы тех, кого я люблю и кто остался в Кейданах, письма сии и документы я отошлю пану Сапеге, а списки велю отпечатать и распространю повсюду. Выбирай же, ясновельможный князь: либо после войны, когда мир настанет в Речи Посполитой, ты отдашь мне Билевичей, а я тебе твои письма, либо пан Сапега, буде услышу я злую весть, тотчас покажет их Понтусу. Ты короны жаждешь, ясновельможный князь, но не знаю, будет ли на что возложить ее,

не упадет ли голова твоя под польской или шведской секирой. Сдается мне лучше нам обмен учинить, ибо и в последствии не перестану я мстить тебе, но будем мы тогда уже *privatim*^[145] квитаться. Поручил бы я тебя господу богу, ясновельможный князь, когда бы не то, что бесовские *auxilia*^[146] ты ставишь превыше божеских.

Кмициц.

Р. С. Конфедератов, ясновельможный князь, ты не отравишь, ибо найдутся такие, что, переходя со службы сатане на службу богу, упредят их, дабы ни в Орле, ни в Заблудове они пива не пили».

Кмициц вскочил с места и заходил по хате. Лицо его горело, собственное письмо распалило рыцаря, как огонь. Было это письмо как бы манифестом, которым он объявлял войну Радзивиллам, и в эту минуту он ощутил в себе небывалую силу и готов был хоть сейчас стать лицом к лицу с могущественным родом, который потрясал всей державой. Он, простой шляхтич, простой рыцарь, он изгнанник, преследуемый законом, ниоткуда не ждавший помощи и так всем досадивший, что его всюду почитали недругом, он, воитель, недавно потерпевший поражение, ощущал сейчас в себе такую силу, что как бы пророческим оком видел уже падение князей Януша и Богуслава и свою победу. Как будет он вести войну, где найдет союзников, каким образом победит — этого он не знал; более того, — не задумывался над этим. Он только глубоко верил, что делает то, что должен делать, что закон и справедливость, а стало быть, и бог на его стороне. Это наполняло его безграничной, беспредельной верой. На душе у него стало много легче. Как бы новые страны открывались перед ним. Вскочить только в седло и мчаться туда, и достигнет он почета, славы и Оленьки.

«Волос у нее не упадет с головы, — повторял он себе с лихорадочной радостью, — письма ее уберегут! Будет гетман стеречь ее, как зеницу ока, как стеречь бы я сам! Вот как избыл я беду! Червь я ничтожный, но убоятся они моего жала».

Вдруг его словно озарило:

«А что, если и ей написать? Гонец, который повезет письмо гетману, может тайно вручить письмо и ей. Как же не послать ей весточку о том, что порвал я с Радзивиллами, что иду искать другой службы?»

Эта мысль очень ему сразу пришлась по душе. Уколов еще раз себя в руку, он обмакнул перо и начал писать: «Оленька, я уже не слуга Радзивиллам, ибо прозрел наконец...»

Но тут он остановился, подумал с минуту времени, а потом сказал себе: «Отныне пусть свидетельствуют за меня не слова, но дела, не стану я писать ей!»

И он порвал лист бумаги.

Вместо этого на третьем листе написал Володыёвскому следующее короткое послание:

«Милостивый пан полковник! Нижеподписавшийся друг остерегает тебя: будьте со всеми полковниками начеку. Были от гетмана письма князю Богуславу и пану Гарасимовичу об том, чтобы вас отравить или велеть мужикам поубивать вас на постое. Гарасимовича нет, он с князем Богуславом в Пруссию уехал, в Тильзит; но такой приказ может быть и у прочих управителей. Берегитесь же их, ничего от них не принимайте и по ночам не спите без стражи. Знаю доподлинно, что гетман в скором времени выйдет с войском в поход на вас, ждет он только легкой конницы, коей полторы тысячи сабель должен прислать генерал де ла Гарди. Смотрите тогда, чтоб не застигнул он вас врасплох и не истребил поодиночке. А лучше всего пошлите верных людей к пану витебскому воеводе, дабы он поскорее приехал самолично и принял над всеми вами начальство. Доброжелатель дает вам совет, верьте ему! А покуда держитесь все вместе и хоругви поближе ставьте на постой, чтоб могли они прийти друг другу на помощь. У гетмана конницы мало, только драгун горсть да еще людей Кмицица, но те ненадежны. Самого Кмицица нет, его гетман услал с другим делом, ибо, сдается, больше ему не доверяет. Да и не такой Кмициц изменник, как молва об нем идет, обманут он только. Поручаю вас господу богу.

Бабинич».

Пан Анджей не захотел подписаться собственным именем, полагая, что оно может пробудить лишь неприязнь, а главное, недоверие. «Коль разумеют они, — думал он, — что лучше для них уходить от гетмана, а не

двигать все силы навстречу ему, тогда, увидев мое имя, заподозрят тотчас, что я с умыслом советую им собрать вместе все хоругви, чтобы гетман мог покончить с ними одним ударом, подумают, что это новая хитрость, а какого-то Бабинича скорее послушаются».

Бабиничем пан Анджей назвался по местечку Бабиничи, лежавшему неподалеку от Орши и с прадедовских времен принадлежавшему Кмицицам.

Заклучив послание робкими словами в свою защиту, он снова утешился при мысли о том, что оказывает первую услугу не только Володыёвскому и его друзьям, но и всем полковникам, которые не пожелали ради Радзивилла предать отчизну. Чувствовал он, что нитка на том не оборвется. Положение, в которое он попал, было и вправду тяжелым, прямо-таки отчаянным, а ведь вот же нашлось какое-то средство, какой-то выход, узкая какая-то тропа, которая может вывести его на дорогу.

Теперь, когда он как будто уберег Оленьку от мести князя воеводы, а конфедератов от неожиданного нападения, задался он вопросом, что же ему самому делать.

Он порвал с изменниками, сжег свои корабли, хотел теперь служить отчизне, принести на алтарь ее силы, здоровье, жизнь, но как это сделать? Что предпринять? К чему приложить руку?

И снова ему подумалось:

«Пойти к конфедератам...»

Но что, если они не примут его, если объявят изменником и срубят голову с плеч или, что еще горше, прогонят с позором?

— Уж лучше пусть голову срубят! — воскликнул пан Анджей, сгорая от стыда и собственного унижения. — Сдается, легче спасти Оленьку, легче спасти конфедератов, нежели свое собственное доброе имя.

Вот когда можно было впасть в отчаяние.

Но снова закипела юношеская его душа.

— Да разве не могу я учинять набеги на шведов, как учинял на Хованского? — сказал он себе. — Соберу ватагу, буду нападать на них, жечь, рубить. Мне это не впервой! Никто не дал им отпора, а я дам, покуда не придет такая минута, что вся Речь Посполитая будет вопрошать, как вопрошала когда-то Литва: кто этот молодец, что сам один смело идет в логово льва? Тогда сниму я шапку и скажу: «Поглядите, вот он я, Кмициц!»

И такая жгучая жажда ратных трудов охватила его, что он хотел выбежать из хаты, приказать Кемличам с их челядью и своим людям садиться по коням и трогаться в путь.

Но не успел он дойти до двери, как почувствовал, будто кто в грудь его

толкнул и отбросил назад от порога. Он остановился посреди хаты и смотрел в изумлении.

— Как? Ужели этим не искуплю я своей вины?

И он снова стал говорить со своею совестью.

«В чем же тут искупление? — вопрошала совесть. — Нет, иное тут что-то надобно!» — «Что же?» — вопрошал Кмициц. «Чем же еще можешь ты искупить вину, если не тяжкою, беззаветною службой, честною и чистою, как слеза? Разве это служба — собрать ватагу бездельников и вихрем носиться с нею по полям и лесам? Разве не потому тебе этого хочется, что пахнет тебе драка, как собаке жареное мясо? Ведь не служба это, а забава, не война, а масленичное гулянье, не защита отчизны, а разбой! Ты ходил так на Хованского и чего же добился? Разбойнички, что рыскают по лесам, тоже готовы нападать на шведские отряды, а откуда тебе взять иных людей? Ты не будешь давать покоя шведам, но и обывателям не дашь покоя, навлечешь на них месть врага, и чего же достигнешь? Не вину искупить хочешь ты, глупец, а уйти от трудов!»

Так говорила Кмицицу совесть, и Кмициц видел, что она права, и зло его брало, и обидно было ему, что собственная совесть такую горькую говорит ему правду.

— Что же мне делать? — сказал он наконец. — Кто даст мне совет, кто поможет?

И вдруг ноги сами под ним подогнулись, он упал у топчана на колени и стал громко молиться богу, от всей души просить его, от всего сердца.

— Господи Иисусе Христе, — говорил он, — сжался надо мною, как сжалился ты на кресте над разбойником. Жажду я очиститься от грехов моих, начать новую жизнь и честно служить отчизне, но не знаю я, глупец, как это сделать. И изменникам этим служил я, господи, не столько по злобе, сколько по глупости; просвети же меня и наставь, ниспошли мне утешение в скорби моей и спаси в милосердии своем, ибо погибаю я... — Голос задрожал у пана Анджея, он стал бить себя в широкую грудь, так что гул пошел по хате, и все повторял: — Буди милостив ко мне, грешному! Буди милостив ко мне, грешному. Буди милостив ко мне, грешному! — Затем сложил молитвенно руки и, воздев их, продолжал: — А ты, пресвятая владычица, еретиками поруганная в отчизне моей, заступись за меня перед сыном своим, спаси меня, не оставь в печали и скорби моей, и буду я служить тебе и оплачу за поношение твое, дабы в смертный час хранила ты несчастную душу мою!

Когда молился так Кмициц, слезы, как горошины, покатались у него из глаз; наконец склонил он голову на постель и застыл в молчании, как бы

ожидая, что же даст жаркая его молитва. Тишина воцарилась в хате, только сильный шум ближних сосен долетал со двора. Но вот скрипнули щепки под тяжелыми шагами за окном и послышались два голоса.

— Как ты думаешь, пан вахмистр, куда мы отсюда поедем?

— Да разве я знаю?! — ответил Сорока. — Поедем — и вся недолга! Может статься, далёко, к самому королю, что стонет под шведскою пятой!

— Ужели это правда, что все его оставили?

— Но господь бог его не оставил.

Кмициц внезапно встал; просветлен и спокоен был его лик; рыцарь направился к двери и, отворив ее, приказал солдатам:

— Коней держать наготове, пора в путь!

ГЛАВА III

Солдаты тотчас засуетились; они рады были выбраться из лесу в свет далекий, тем более что все еще боялись, как бы их не настигла погоня, посланная Богуславом Радзивиллом. Старый Кемлич направился в хату, рассудив, что понадобится Кмицицу.

— Хочешь ехать, пан полковник? — спросил он, входя в хату.

— Да. Выведешь меня из лесу. Ты здесь все тропы знаешь?

— Знаю, здешний я. А куда хочешь ехать, пан полковник?

— К королю.

Старик попятился в изумлении.

— Царица небесная! — воскликнул он. — К какому королю, пан полковник?

— Да уж не к шведскому.

Кемлич не то что не опомнился, а вовсе креститься стал.

— Ты, пан полковник, верно, не знаешь, что люди толкуют, — король, говорят, в Силезии укрылся, потому что все его оставили. Краков и тот в осаде.

— Поедем в Силезию.

— Да, но как же пробиться сквозь шведов?

— По-шляхетски ли, по-мужицки ли, в седле ли, пешком ли — все едино, лишь бы пробиться!

— Да ведь времени на это уйму надобно...

— Времени у нас довольно. Но я бы рад поскорее...

Кемлич перестал удивляться. Старик был слишком хитер, чтобы не догадаться, что есть какая-то особенная и тайная причина этого предприятия, и тотчас тысячи догадок зароились в его голове. Но солдаты Кмицица, которым пан Анджей приказал хранить молчание, ничего не сказали ни самому Кемличу, ни его сыновьям о похищении князя Богуслава, и старик решил, что скорее всего виленский воевода посылает молодого полковника к королю с каким-то поручением. Он потому утвердился в этой мысли, что знал Кмицица как горячего сторонника гетмана и слышал об его заслугах перед князем: на все Подляшское воеводство прокричали о них конфедератские хоругви, ославив Кмицица извергом и предателем.

«Гетман доверенного человека посылает к королю, — подумал старик, — стало быть хочет мириться с ним и отступить от шведов.

Знать, не вмоготу ему стало терпеть ихнюю власть. Зачем же иначе было посылать к королю?»

Старый Кемлич недолго над этим раздумывал, у него совсем другое было на уме, он помышлял уже о том, какую бы выгоду извлечь из этого дела. Коль послужит он Кмицицу, стало быть, послужит и гетману и королю, а уж они-то не оставят его без щедрой награды. Милость таких владык пригодится и на тот случай, если придется держать ответ за старые грехи. К тому же, наверно, будет война, вся страна запыхает, а тогда добыча сама пойдет в руки. Все это улыбалось старику, да и привык он повиноваться Кмицицу и по-прежнему боялся его как огня и в то же время питал к нему своего рода привязанность, которую пан Анджей пробуждал в подчиненных.

— Ведь тебе, пан полковник, — сказал он пану Анджею, — всю Речь Посполитую из конца в конец придется проехать, чтоб попасть к королю. Шведские гарнизоны — это пустое, города объехать можно, лесами пробираться. Беда, что и в лесах, как всегда в смутную пору, полно разбойничьих шаек, они нападают на путников, а у тебя людей мало.

— Поедешь, пан Кемлич, со мной вместе с сыновьями и челядью, вот и будет нас больше.

— Прикажешь, пан полковник, и я поеду, да только человек я бедный. Одна нужда тут у нас. Как же мне бросить все добро и крышу над головой?

— Коли сделаешь что — награду получишь, да и лучше вам ноги унести отсюда, покуда головы целы.

— Святые угодники! Что это ты говоришь, пан полковник? Да как же так? Что мне, ни в чем не повинному, может грозить здесь? Кому я стал на дороге?

— Знают вас здесь, разбойников! — ответил ему на это пан Анджей. — Была у вас деревенька с Копыстинским, так вы его зарубили, а потом от суда бежали и у меня служили, а потом угнали табунок, который я в добычу взял...

— О, господи! Пресвятая богородица! — воскликнул старик.

— Помолчи! А потом на старое логово воротились, стали рыскать кругом, как разбойники, лошадей угонять да добычу брать. Не отпирайся, я тебе не судья, а ты сам лучше знаешь, правду ли я говорю. Угоняете лошадей у Золотаренко — что ж, это хорошо, угоняете лошадей у шведов — и это хорошо. Но коли поймают они вас, так шкуру с вас спустят. Впрочем, это их дело.

— Очень хорошо мы делаем, очень хорошо, — сказал старик, — потому только у врагов угоняем.

— Неправда, вы и на своих нападаете, мне уже в этом твои сынки признались, а это просто разбой, позор для шляхетского звания. Стыдно вам, бездельники! Не шляхтой вам быть, а мужиками!

Покраснел при этих словах старый пройдоха.

— Обижаеть ты нас, пан полковник! Помним мы про наше звание и конокрадством, как мужики, не промышляем. Мы лошадей по ночам из чужих конюшен не сводим. Вот с луга угнать табунок или взять в добычу — это дело другое. Это дело дозволенное, и нет в том по военному времени для шляхтича ничего зазорного. А лошадь на конюшне — вещь святая, и сведет ее разве только цыган, жид или мужик, — не шляхтич! Мы этим, пан полковник, не занимаемся. Но война — это война!

— Пусть бы и десять войн было, ты можешь брать добычу только в бою, а ежели ты ее ищешь на большой дороге, разбойник ты!

— Бог свидетель, ни в чем мы не повинны.

— Но каши уже тут наварили. Короче, лучше вам уходить отсюда, потому рано или поздно не миновать вам веревки. Поедете со мной, верною службой искупите свою вину и доброе имя воротите. Беру вас на службу, а там и пожива будет получше, чем тут на лошадях.

— Поедем мы с твоей милостью, куда хочешь, и сквозь шведов тебя проведем, и сквозь разбойников, потому утесняют нас тут, сказать по правде, злые люди, — страшное дело. А за что? За что? За нашу бедность, за одну только нашу бедность! Может сжалится бог над нами и спасет от беды!

Старый Кемлич невольно потер тут руки, и глаза у него блеснули.

«Такое тут поднимется, — подумал он, — весь край будет кипеть, а тогда дурак только не попользуется».

Но Кмициц бросил на него быстрый взгляд.

— Только не пробуй изменить мне! — грозно сказал он. — Не выдержишь — один бог спасет тебя от кары!

— Мы не таковские! — угрюмо возразил Кемлич. — Накажи меня бог, коли мог я такое помыслить.

— Верю! — сказал после короткого молчания Кмициц. — Измена, она ведь горше разбоя, ни один разбойник такого не сделает.

— Что теперь твоя милость прикажет? — спросил Кемлич.

— Первым делом надо поскорее двоих гонцов послать с письмами. Нет ли у тебя расторопных парней?

— Куда ехать-то надо?

— Один к пану воеводе поедет, но самого князя ему видеть не надобно. Пусть отдаст письмо в первой же княжеской хоругви и воротится,

не дожидаясь ответа.

— Смолокур поедет, он парень расторопный и бывалый.

— Ладно. Второе письмо надо отвезти в Подляшье, разыскать там лауданскую хоругвь пана Володыёвского и письмо вручить самому полковнику.

Старик хитро подмигнул и подумал про себя:

«Да вы, я вижу, на все стороны, и с конфедератами снюхиваетесь. Жаркое будет дело, жаркое!»

Вслух он сказал:

— Пан полковник, коли письмо не такое спешное, не отдать ли его кому по дороге, когда выедем из лесу? Множество шляхты помогает конфедератам, и всяк охотно отвезет им письмо, а у нас лишний человек останется.

— Это ты умно рассудил! — ответил Кмициц. — Оно и лучше, если письмо доставит человек, который не будет знать, от кого оно. А скоро ли мы выедем из лесу?

— Да как твоя милость пожелает. Можно ехать и все две недели, можно выбраться и завтра.

— Ну об этом после, а теперь слушай меня, пан Кемлич, хорошенько!

— Словечка не пропущу, пан полковник!

— Во всей Речи Посполитой, — сказал Кмициц, — славили меня извергом, гетманским, а то и просто шведским прислужником. Когда бы знал король, кто я, он бы мог мне не поверить и презреть мой замысел, а намерения мои, видит бог, чистые! Слушай же, Кемлич!

— Слушаю, пан полковник!

— Так вот, зовут меня не Кмициц, а Бабинич, понял? Никто не должен знать моего настоящего имени. Попробуй только рот раскрой, попробуй только пикни! А станут спрашивать, откуда я, скажешь, по дороге пристал ко мне и не знаешь, а любопытно, так сам, мол, у него спроси.

— Понимаю, пан полковник.

— Сыновьям строго-настрога накажи и челяди тоже. Ремни станут из спины резать — зовут меня Бабинич. Вы мне за это головой отвечаете!

— Слушаюсь, пан полковник. Пойду скажу сыновьям, этим негодьям в голову не вдолбишь. Такое мне на старости утешение. Наказал господь за грехи. Да, вот что, пан полковник, позволь слово молвить!

— Говори смело.

— Мне сдается, что лучше ни солдатам, ни челяди не говорить, куда мы едем.

— Не скажем.

— Довольно и того, что они будут знать, что едет не пан Кмициц, а пан Бабинич. А потом, в такую дорогу едучи, лучше бы утаить твоё звание.

— Как так?

— Да ведь шведы важным особам дают грамоты, а у кого грамоты нет, того тащат к коменданту.

— У меня есть грамоты!

Хитрые глаза Кемлича удивленно блеснули, однако, подумав, старик сказал:

— А не позволишь ли, пан полковник, сказать, что я ещё думаю?

— Дело хочешь сказать, так говори, не тяни, ты, я вижу, человек дошлый.

— Коли грамоты есть, оно и лучше, можно в крайности и показать шведам, но коли едешь ты с таким делом, которое в тайне надо хранить, так лучше грамот не показывать. Не знаю я, на имя они Бабинича или пана Кмицица, но показать их — значит погоню навести на след.

— Это ты в самую точку попал! — воскликнул Кмициц. — Лучше грамоты до поры, до времени припрятать, коли иначе можно пробиться!

— Можно, пан полковник, надо только мужиком переодеться или худородным шляхтичем. Дело это простое, есть тут у меня кой-какая одежонка: и шапки, и тулупы простые, какие носит шляхта поплоче. Взявши табунок лошадей, можно поехать с ним будто бы по ярмаркам, ну и пробираться все дальше и дальше, до самого Ловича и Варшавы. Я, пан полковник, с твоего позволения, не раз это делал в мирное время и дороги знаю. Скоро как раз ярмарка в Собоце, народ туда съезжается издалека. Там мы узнаем, в каких городах ещё будут ярмарки, — ведь нам бы только ехать да ехать вперед! Шведы — они тоже на худородных меньше смотрят, на ярмарках их полно. А спросит нас какой комендант, мы так ему и растолкуем, ну а коль встретим отряд поменьше да благословят нас на то господь и пресвятая богородица, так и потоптать можно!

— А ну как отберут у нас лошадей? Ведь во время войны это дело обыкновенное.

— Либо купят, либо отберут. Купят, так мы поедem в Собоце будто за лошадьми, отберут, так поднимем шум и поедem с жалобой хоть в самую Варшаву и Краков.

— Хитер же ты! — заметил Кмициц. — Вижу я, вы мне пригодитесь. А заберут шведы табунок, найдется такой, кто заплатит тебе за него.

— Я и без того хотел ехать с ним в Элк, в Пруссию, так что все хорошо, потому и нам путь туда лежит. Из Элка мы вдоль границы поедem, потом повернем прямо на Остроленку, а оттуда через пуцу подадимся на

Пултуск и Варшаву.

— Где она, эта Собота?

— Недалёко от Пёнтка, пан полковник.

— Смейшься, Кемлич?^[147]5

— Да разве бы я посмел, — ответил старик, скрестив руки на груди и склонив голову, — это там местечки так чудно называются. Собота, пан полковник, за Ловичем, но от Ловича до нее далеконько.

— И большие ярмарки там?

— Ну не такие, как в Ловиче, но есть одна в эту пору, так лошадей даже из Пруссии пригоняют, народу съезжается пропасть. Верно, и в этом году будет не меньше, потому спокойно там, шведы всюду хозяйничают, и по городам стоят ихние гарнизоны. И захотел бы кто пошалить, так не дадут.

— Тогда сделаем, как ты советуешь! Поедем с лошадьми, а тебе я за них вперед уплачу, чтоб не понес ты убытку.

— Спасибо, пан полковник, за заботу.

— Ты только тулупы приготовь, чепраки да сабли простые, мы тотчас и выедем. А сынкам да челяди вдолби в голову, кто я, как зовут меня, что с лошадьми еду, а вас в помощь нанял. Ступай!

Когда старик повернулся уходить, пан Анджей еще раз напомнил:

— И чтоб никто не звал меня ни вельможным паном, ни начальником, ни полковником, а просто паном Бабиничем!

Кемлич вышел, и спустя час все уже сидели в седле, готовые тронуться в дальний путь.

Кмициц, переодетый в серую свиту убогого шляхтича, в такую же потертую баранью шапку, с лицом, перевязанным, будто после драки в корчме, стал совершенно неузнаваем: эдакий шляхтишка, что таскается себе с ярмарки на ярмарку. И люди были одеты примерно так же, вооружены простыми саблицами и длинными бичами, чтобы погонять лошадей, да арканами, чтобы ловить их, если разбегутся.

С удивлением смотрели солдаты на своего полковника, обмениваясь втихомолку замечаниями. Уж очень им было диковинно, что не Кмициц теперь их полковник, а Бабинич, что звать его они должны просто паном. Но больше всех пожимал плечами и топорщил усы старый Сорока; не сводя глаз с грозного полковника, он ворчал Белоусу:

— «Пан Бабинич»! Да у меня язык не повернется сказать такое. Разрази меня гром, коль не буду я звать его по-старому, как по чину положено!

— Приказ есть приказ! — возражал Белоус. — Ну и изменился же

полковник, страшное дело.

Не знали солдаты, что душа пана Анджея изменилась так же, как наружность.

— Трогай! — неожиданно крикнул Бабинич.

Щелкнули бичи, всадники окружили сбившийся в кучу табунок лошадей и тронулись в путь.

ГЛАВА IV

Подвигаясь вдоль самой границы между Трокским воеводством и Пруссией, шли они через необъятные дремучие леса по тропам, известным одним только Кемличам, пока не вступили в пределы Пруссии и не добрались до Лента, или, как называл его старый Кемлич, Элка, где от шляхты, которая с женами, детьми и пожитками укрылась под рукой курфюрста, узнали последние новости.

Ленг живо напоминал табор, верней сказать, шумный сеймик. Сидя в корчмах, шляхта попивала прусское пиво и вела между собой разговоры, а приезжие нет-нет да и привозили свежие новости. Никого ни о чем не спрашивая, только прислушиваясь к разговорам, Бабинич узнал, что Королевская Пруссия и богатые ее города решительно стали на сторону Яна Казимира и уже заключили договор с курфюрстом, чтобы в союзе с ним обороняться против любого врага. Однако ходила молва, будто самые крупные города, несмотря на договор, не хотят впустить гарнизоны курфюрста, опасаясь, как бы этот лукавый правитель, раз заняв их с оружием в руках, не вздумал потом оставить их за собой навсегда или в решительную минуту не соединился предательски со шведами, на что по природной хитрости он был способен.

Шляхта роптала на горожан за эту их недоверчивость; но пан Анджей, знавший, как сговаривались Радзивиллы с курфюрстом, язык закусил, чтобы не открыть все, что было ему известно. Его удерживало то, что выступать здесь открыто против курфюрста было небезопасно, да и не пристало серому шляхтичу, приехавшему с лошадьми на ярмарку, трактовать о таких тонких политических материях, над которыми тщетно ломали головы самые искушенные державные мужи.

Продав пару лошадей и прикупив вместо них новых, Пан Анджей продолжал свой путь вдоль прусской границы, но уже по большой дороге, ведущей из Ленга в Щучин, который лежал в самом углу Мазовецкого воеводства, между Пруссией с одной стороны, и Подляшским воеводством — с другой. Однако в самый Щучин пан Анджей не хотел заезжать, он узнал, что в городе стоит на постое конфедератская хоругвь полковника Володыевского.

Видно, Володыевский шел примерно тем же путем, каким ехал теперь Кмициц, и остановился в Щучине, на самой подляшской границе, то ли просто на привал, то ли на короткий постой, с тем чтобы раздобыть

провиант для людей и фураж для лошадей, что здесь легче было сделать, чем в разоренном Подляшье.

Но Кмициц не хотел встречаться сейчас со славным полковником, он полагал, что, не имея иных доказательств, кроме слов, не сумеет убедить Володыёвского в том, что обратился на правый путь и намерения его искренни. Поэтому в двух милях от Щучина он приказал свернуть в сторону Вонсоши, на запад. Письмо, которое он написал Володыёвскому, он решил послать с первой же надежной оказией.

А пока, не доезжая Вонсоши, путники остановились в придорожной корчме, под названием «Клич», и расположились на ночлег, который обещал быть удобным, так как в корчме не было никого, кроме пруссака-хозяина.

Не успел, однако, Кмициц с Кемличами и Сорокой сесть за ужин, как с улицы долетел стук колес и конский топот.

Солнце еще не село, и Кмициц вышел на крыльцо поглядеть, кто же это едет, уж не шведский ли разъезд; но увидел он не шведов, а бричку и позади нее две повозки, окруженные вооруженными людьми.

Он сразу понял, что к корчме подъезжает какая-то важная птица. Бричка была запряжена четверкой добрых прусских лошадей, костистых и седловатых; на одной из выносных сидел верхом фореитор, держа на своре двух отменных собак, на козлах восседал кучер, рядом с ним гайдук в венгерском платье, а на заднем сиденье подбоченился сам господин в волчьей епанче, застегнутой на большие золоченые пуговицы.

Сзади катили две повозки, груженные всяким добром, подле каждой скакало по четверо челядинцев, вооруженных саблями и мушкетонами.

Сам господин, хоть и важная персона, был, однако же, совсем еще молодой человек, лет двадцати с небольшим. Лицо у него было пухлое, румяное, и по всему было видно, что он большой охотник покушать.

Когда бричка остановилась, гайдук соскочил с козел, чтобы помочь господину сойти, а тот, увидев стоявшего на пороге Кмицица, поманил его рукавичкой и крикнул:

— Поди-ка сюда, приятель!

Вместо того чтобы подойти к нему, Кмициц шагнул назад, в корчму, такое вдруг взяло его зло. Не привык он еще ни к своей серой свите, ни к тому, чтоб манили его рукавичкой. Вернувшись, он уселся за стол и снова принялся за еду. Незнакомец вошел вслед за ним.

Войдя, он прищурил глаза, так как в корчме было темно, слабый огонь горел только в очаге.

— Что это никто навстречу не вышел, когда я подъехал? — спросил

незнакомец.

— Корчмарь ушел в кладовую, — ответил Кмициц, — а мы такие же путники, как и твоя милость.

— Вот спасибо, что сказал. А ты кто будешь?

— Шляхтич я, с лошадьми еду.

— А с тобой тоже шляхта?

— Худородная, но тоже шляхта.

— Тогда здорово, здорово, приятели. Куда путь держите?

— С ярмарки на ярмарку, табунок вот сбуть хотим.

— Коли тут заночуете, утром я погляжу, может, что и выберу. А покуда позвольте-ка присесть к столу.

Незнакомец и впрямь спрашивал позволения присесть, но таким тоном, точно был совершенно уверен в том, что ему не откажут. Он не ошибся, молодой барышник учтиво ответил:

— Милости просим, вельможный пан, хоть и нечем нам тебя потчевать, один только горох с колбасой.

— В коробах у меня найдется кое-что повкусней, — не без гордости сказал молодой господинчик, — но глотка у меня солдатская, и, по мне, нет ничего лучше, чем горох с колбасой, была бы только приправа хороша.

После этих слов, а говорил он весьма степенно, хоть глаза у него так и бегали, — он уселся на лавке, а когда Кмициц отодвинулся, чтобы дать ему место, прибавил снисходительно:

— Да ты не беспокойся, пан, не беспокойся! В дороге на чины не глядят, и хоть ты и локтем меня толкнешь, корона у меня с головы не слетит.

Кмициц, как уже было сказано, не привык еще к подобному обхождению, он непременно разбил бы об голову спесивца миску с горохом, которую как раз пододвигал ему, когда бы не позабавила его эта спесь; мигом совладав с гневом, он улыбнулся и сказал:

— Времена нынче такие, вельможный пан, что и с самых высоких голов короны летят: ехемрлун наш король Ян Казимир, который по праву должен две короны носить, а у него ни одной не осталось, разве только терновый венец...

Незнакомец бросил на Кмицица быстрый взгляд и со вздохом сказал:

— Времена нынче такие, что лучше об этом не говорить, разве только с друзьями. — Через минуту он прибавил: — Однако ты, пан, умно рассуждаешь. Верно, служил где-нибудь при дворах у людей политических, вот и по языку видно, что учен ты не по званию.

— Служить не служил, а так кое-что слышал промеж людьми.

- Откуда же ты родом, скажи, пожалуйста?
- Застянковый шляхтич я, из Трокского воеводства.
- Что застянковый — это пустое, был бы только шляхтич, вот что важно. А что слышно в Литве?
- По-прежнему в изменниках нет недостатка.
- В изменниках, говоришь? Что же это за изменники?
- А те, что отреклись от короля и Речи Посполитой.
- А как поживает князь виленский воевода?
- Хворает, говорят: удушье у него.
- Достойный человек! Дай ему бог здоровья!
- Для шведов достойный, потому настужь им растворил ворота.
- Ты, пан, я вижу, не его сторонник?

Кмициц заметил, что незнакомец спрашивает как будто добродушно, а на деле просто испытывает его.

— Что мне за дело до всего этого! — ответил он. — Пусть другие про то думают. Я вот боюсь, как бы шведы у меня лошадей не забрали.

— Надо было их на месте сбыть. Вот и в Подляшье стоят, сдается, хоругви, которые подняли мятеж против гетмана, лошадей-то у них, верно, не хватает?

— Я про то не знаю, не бывал у них, хотя один проезжий дал мне письмо к ихнему полковнику, просил вручить при okazji.

— Как же это проезжий мог дать тебе письмо, коли ты не едешь в Подляшье?

— Да тут в Щучине стоит одна конфедератская хоругвь, вот он и сказал мне: либо сам отдай, либо с оказией пошли, когда будешь проезжать неподалеку от Щучина.

— Вот и отлично, я ведь в Щучин еду.

— Ты, вельможный пан, тоже бежишь от шведов?

Вместо ответа незнакомец посмотрел на Кмицица и спросил невозмутимо:

— А почему это ты, пан, говоришь «тоже», коли сам не то что не бежишь от них, а едешь прямо к ним и лошадей станешь им продавать, если только они силой их не отберут?

Кмициц пожал плечами.

— Я потому сказал «тоже», — ответил он, — что в Ленге видал много шляхтичей, которые укрывались от шведов, а что до меня, так если бы им все так усердно служили, как я хочу служить, они бы, думаю, тут не засиделись.

— И ты не боишься говорить такие речи? — спросил незнакомец.

— Не боюсь, я тоже не трусливого десятка, да и ты, вельможный пан, едешь в Щучин, а в той стороне все говорят, что думают, дай-то бог, чтоб от слов да скорее перешли к делу.

— Я вижу, ты хоть и простой шляхтич, однако человек умный! — повторил незнакомец. — Но коль ты не любишь так шведов, почему же уходишь от хоругвей, которые подняли мятеж против гетмана? Разве они взбунтовались потому, что им жалованье задержали, или потому, что они смутьяны? Нет, они взбунтовались потому, что не хотели служить гетману и шведам! Бедные солдаты, им лучше было остаться у гетмана, а ведь вот же предпочли они, чтоб их бунтовщиками называли, предпочли голод, лишения и иную пагубу, а не выступили против короля. Что со шведами у них дело дойдет до войны — это как пить дать, а может и дошло бы уже, да не добрались шведы до этого угла. А ты погоди, доберутся, залезут сюда, тогда увидишь!

— И я так думаю, что война раньше всего здесь начнется, — сказал Кмициц.

— Но коль ты так думаешь, коль и впрямь не любишь шведов, — а я по глазам вижу, что ты говоришь правду, я ведь насквозь тебя вижу, — так почему же ты не пристанешь к этим честным солдатам? Разве не самое время для этого, разве не нужны им руки и сабли? Немало служит там честных людей, что не захотели променять своего короля на чужого, и будет их все больше и больше. Ты, пан, едешь из тех краев, где шведов еще не извели, но кто извел их, горькими плачет слезами. В Великой Польше, хоть она и добровольно сдалась, шведы уже ломают шляхте пальцы в курках мушкетов, и грабят народ, и добро отымают насильно, забирают все, что только могут. В здешнем воеводстве порядки не лучше. Генерал Стенбок издал манифест, чтобы люди спокойно сидели по домам, тогда, мол, солдаты ни их самих не тронут, ни ихнего добра. Какое там! Генерал свое долбит, а начальники поменьше свое, так что никто не может поручиться ни за завтрашний день, ни за целость и сохранность своего имущества. А ведь всяк хочет радоваться на свое богатство, спокойно владеть им и жить хорошо. А тут является какой-то чужак и говорит: «Дай!» Не дашь, так найдет вину за тобой, чтобы выкинуть тебя из твоего гнезда, а то и вины искать не станет, просто голову срубит с плеч. Много уже у нас таких, что горячие слезы льют, вспоминая прежнего своего государя, и все в горе с надеждой взирают на конфедератов, не принесут ли они спасения отчизне и гражданам...

— Ты, я вижу, вельможный пан, — заметил Кмициц, — не больше добра желаешь шведам, чем я.

Незнакомец с опаской оглянулся по сторонам, но тотчас успокоился и продолжал:

— Чтоб их чума передушила, вот чего я им желаю и не скрываю этого, потому вижу, ты человек порядочный, а коль нет, так все едино меня не свяжешь и к шведам не отвезешь, потому не дамся я, у меня челядь с оружием, да и сабля на боку.

— Можешь быть уверен, вельможный пан, что я этого не сделаю, напротив, мне по душе твоя смелость. Да и то мне понравилось, что не задумался ты оставить свое имение, — ведь враг в отместку не замедлит разорить его. Весьма похвальна такая любовь к отчизне.

— Да что я, дурак, что ли? У меня первое правило, чтоб мое не пропало, небось то, что бог дал, надо беречь. Я сидел тихо до жатвы и обмолота. А вот когда весь урожай, скот, орудия, все добро продал в Пруссии, тогда и подумал себе: пора в путь! Пусть теперь мстят, пусть забирают, что им понравится.

— Но землю-то и строения ты им, пан, оставил?

Кмициц невольно перешел на покровительственный тон и заговорил как начальник с подчиненным, не подумав о том, что такие речи могут показаться странными в устах худородного шляхтича-барышника; но незнакомец, видно, не обратил на это внимания, он только хитро подмигнул ему и ответил:

— Э, да я ведь у мазовецкого воеводы арендовал Вонсошское староство, и у меня как раз кончился контракт. Я и денег последних не уплатил за аренду и не уплачу, потому мазовецкий воевода держит, как я слышал, сторону шведов. Пусть же у него за это аренда пропадет, а мне денежки пригодятся.

Кмициц засмеялся.

— А чтоб тебя, милостивый пан! Вижу, ты не только храбр, но и ловок!

— Ну а как же! Ловкость всему голова! — ответил незнакомец. — Однако мы не о ловкости с тобой толковали... Почему ты, видя обиды, которые чинят враги отчизне и королю, не пойдешь в Подляшье к этим честным солдатам и не вступишь в хоругвь? И богу послужишь, да и самому может привалить счастье, — ведь сколько раз случалось, что худородный шляхтич кончал войну паном. Ты, я вижу, человек смелый и решительный, и коль род тебе не помеха, можешь за короткое время нажить какое ни на есть богатство, только бы бог добычу послал. Не трать только попусту, что в руки плывет, так и мощна у тебя будет полна. Не знаю, есть ли у тебя усадебка, а коль нет, так с мощной и имение арендовать нетрудно,

а там с божьей помощью и свое завести. Начавши так вот со стремянного, можешь кончить свои дни хорунжим, или при какой-нибудь должности в повете, только бы от работы не отлынивал, ибо кто рано встает, тому бог дает.

Такой смех разбирал Кмицица, что он только трясся да ус кусал, кривясь от боли в засохшей ране.

— Принять они тебя примут, — продолжал незнакомец, — люди им нужны. А впрочем, ты и мне пришелся по сердцу, беру тебя под свое покровительство, и теперь ты можешь быть уверен, что по службе пойдешь вперед.

Тут молодой незнакомец спесиво поднял пухлое лицо и стал горстью поглаживать ус.

— Хочешь быть моим оруженосцем? — спросил он наконец. — Будешь саблю за мной носить да за челядью смотреть.

Кмициц не выдержал и расхохотался с непритворным весельем, показав в смехе все зубы.

— Что это ты смеешься? — насупился незнакомец.

— Да очень рвусь к тебе на службу.

Но незнакомец оскорбился не на шутку.

— Дурак тот, кто научил тебя такому обхождению, — сказал он. — Ты смотри, с кем говоришь, да знай свое место.

— Ты уж прости, вельможный пан, — весело промолвил Кмициц, — я ведь не знаю, с кем имею честь говорить.

Незнакомец подбоченился.

— Я — пан Жендзян из Вонсоши, — сказал он надменно.

Кмициц раскрыл было рот, чтобы назвать свое вымышленное имя, но тут в корчму торопливо вошел Белоус.

— Пан нач... — И оборвал речь под грозным взглядом Кмицица, смешался, запнулся и наконец с усилием выдавил из себя: — Пан Бабинич, какие-то люди едут.

— Откуда?

— Из Щучина.

Кмициц смутился, однако тотчас овладел собой.

— Будьте начеку, — приказал он. — Много ли их?

— С десятков сабель.

— Мушкетоны держать наготове. Ступай!

После того как солдат вышел, Кмициц обратился к Жендзяну из Вонсоши:

— Уж не шведы ли?

— Да ведь ты к ним идешь, — ответил Жендзян, с удивлением глядя на молодого шляхтича. — Стало быть, рано или поздно должен с ними встретиться.

— Уж лучше со шведами, нежели с разбойниками, которых везде полно. Барышник должен быть при оружии и всегда начеку, потому лошади — это очень лакомый кус.

— Коли правда, что в Щучине стоит Володыёвский, — заметил Жендзян, — так это, наверно, его разъезд. Прежде чем стать на постой, полковник хочет разведать, безопасно ли тут, ведь бок о бок со шведами спокойно не усидишь.

Услышав такие речи, пан Анджей метнулся туда-сюда и забился в самый темный угол корчмы, где на конец стола падала густая тень от шатра печи. Тем временем со двора долетел топот, зафыркали кони, и через минуту в корчму вошло со двора несколько человек солдат.

Впереди выступал огромный мужичище, стуча деревянной ногой по половицам, которые ходуном ходили под ним. Кмициц бросил на вошедшего взгляд, и сердце заколотилось у него в груди.

Это был Юзва Бутрым, по прозвищу Безногий.

— А где хозяин? — спросил Юзва, остановившись посреди хаты.

— Здесь я! — ответил корчмарь. — К твоим услугам, милостивый пан.

— Корму лошадям!

— Нет у меня корму, разве вот паны дадут.

С этими словами корчмарь показал на Жендзяна и барышников.

— Что за люди? — спросил Жендзян.

— А сам ты кто?

— Староста из Вонсоши.

Собственные люди Жендзяна величали его так, как арендатора староства; в особо важных случаях он и сам называл себя старостой.

Видя, с какой высокой особой он имеет дело, Юзва Бутрым смешался, снял шапку и сказал примирительно:

— Здорово, вельможный пан! В потемках и не узнаешь, с кем говоришь.

— Что за люди? — подбоченясь, повторил Жендзян.

— Лауданцы мы, наша хоругвь была прежде пана Биллевича, а нынче пана Володыёвского.

— Боже мой! Так пан Володыёвский в Щучине?

— Собственной персоной и с прочими полковниками, которые пришли из Жмуди.

— Слава богу! Слава богу! — обрадовался староста. — А какие же

полковники с паном Володыёвским?

— Был пан Мирский, — ответил Бутрым, — да его по дороге удар хватил, остались пан Оскерко, пан Ковальский, два пана Скшетуских...

— Скшетуских? — воскликнул Жендзян. — Не из Бурца ли один из них?

— Откуда он, я про то не знаю, — ответил Бутрым, — знаю только, что герой Збаража.

— Боже! Да это мой пан!

Тут Жендзян спохватился, что такой возглас странно звучит в устах старосты, и прибавил:

— Я хотел сказать, мой пан кум.

Староста не солгал, он и в самом деле был вторым восприемником при крещении старшего сына Скшетуского, Яремки.

Тем временем у Кмицица, сидевшего в темном углу корчмы, мысли вереницей неслись в уме. В первую минуту душа его возмутилась при виде грозного сермяжника и рука невольно схватилась за саблю. Кмициц знал, что Юзва был главным виновником убийства его товарищей и самым заклятым его врагом. Прежний пан Кмициц тотчас бы приказал схватить его и разметать лошадьми, но теперешний пан Бабинич превозмог себя. Мало того, тревога овладела им при мысли о том, какие опасности могут грозить ему и всему его предприятию, если только шляхта сейчас узнает его. Он решил поэтому остаться неузнанным и все больше отодвигался в тень; наконец, опершись локтями на стол, положил голову на руки и притворился спящим.

Однако он успел шепнуть сидевшему рядом Сороке:

— Ступай на конюшню, лошадей держать наготове. В ночь едем!

Сорока поднялся и вышел вон.

Кмициц по-прежнему притворялся спящим. Воспоминания роем поднялись в его уме. Эти люди напомнили ему Лауду, Водокты и те короткие дни, что миновали, как сон. Когда Юзва сказал, что он из старой хоругви Биллевича, при одном этом имени сердце затрепетало в груди пана Анджея. И вспомнилось ему, что такой же был вечер и так же пылал огонь в очаге, когда он как снег на голову свалился в Водокты и в первый раз увидел в людской Оленьку среди прях.

Сквозь сомкнутые веки он видел теперь, как наяву, светлый и тихий ее образ, вспомнил все, что произошло, вспомнил, как хотела она быть его ангелом-хранителем, укрепить его в добре, защитить от зла, указать ему путь прямой и достойный. Ах, если бы он послушался ее, если бы он послушался ее! Она знала, что делать, на чью сторону стать, знала, где

честь, доблесть и долг, — она просто взяла бы его за руку и повела вперед, если бы только он захотел послушаться ее.

От этих воспоминаний любовь с новой силой вспыхнула в сердце пана Анджея, он готов был всю кровь отдать до последней капли, только бы упасть к ногам этой девушки, а в эту минуту готов был даже этого лауданского медведя, убившего его друзей, заключить в объятия только за то, что он был из тех краев, что вспоминал Биллевичей, что видал Оленьку.

Юношу вызвало из задумчивости его собственное имя, которое несколько раз повторил Юзва Бутрым. Арендатор из Вонсоши расспрашивал о знакомых, и Юзва рассказывал ему о том, что произошло в Кейданах с той поры, как гетман заключил памятный договор со шведами, толковал о сопротивлении войска, об аресте полковников, о ссылке их в Биржи и счастливом спасении. Ясное дело, что имя Кмицица повторялось в этих рассказах, как живое воплощение чудовищной жестокости и измены. Юзва не знал, что Володыёвский, Скшетуские и Заглоба обязаны Кмицицу жизнью, и вот как рассказывал о том, что произошло в Биллевичах:

— Поймал наш полковник этого изменника, как лиса в норе, и тотчас велел вести его на смерть. Сам я вел его, несказанно радуясь, что настигла его кара господня, и то и знай подносил ему фонарик к глазам, хотел посмотреть, не раскаивается ли он. Какое там! Шел смело, не глядя на то, что предстанет скоро перед судом всевышнего. Такой уж человек упорный! А как посоветовал я ему хоть лоб перекрестить, он мне ответил: «Замолчи, холоп, не твоего ума дело!» Поставили мы его за селом под грушей, и хотел уж я команду дать, а тут пан Заглоба, — он пришел вместе с нами, — велит обыскать его, нет ли при нем каких бумаг. Нашли письмо. Пан Заглоба говорит мне: «Ну-ка посвети!» — и тотчас давай читать. Только начал читать, как схватится за голову! «Господи Иисусе, веди его назад!» Сам вскочил на коня и умчался, ну а мы его повели, думали, перед смертью велят допросить под огнем. Да не тут-то было! Отпустили изменника на свободу. Не мое это дело, что они в том письме вычитали, но только я бы его не отпустил.

— Что же было в том письме? — спросил арендатор из Вонсоши.

— Не знаю, думаю только, что в руках князя воеводы были еще офицеры, и когда бы мы Кмицица расстреляли, он бы тотчас велел их расстрелять. А может, наш полковник сжалился над слезами панны Биллевич, — упала она будто без памяти, едва отходили. И все-таки осмелюсь сказать: плохо сделали, что отпустили этого человека, потому столько зла он сотворил, что впору разве Люциферу. Вся Литва на него сетует, а сколько вдов плачет, сколько сирот, сколько калек убогих — один

только бог знает! Кто его кончит, такую заслугу будет иметь перед богом и людьми, будто бешеную собаку убил!

Юзва снова стал рассказывать о Володыёвском, Скшетуских и о хоругвях, стоявших в Подляшье.

— С припасом худо, — говорил он, — имения князя гетмана вконец разорены, крошки не найдешь ни для себя, ни для коня, а шляхта там убогая, однодворцы живут в застанках, как у нас, в Жмуди. Положили полковники разделить хоругви на сотни и расставить на постой так, чтобы сотня от сотни была в миле или двух. Не знаю, что будет, когда зима придет.

Кмициц, который терпеливо слушал эти речи, пока разговор шел о нем, встрепенулся тут и даже рот раскрыл, чтобы сказать из своего темного угла: «Да вас гетман, когда вы так вот разделитесь, как раков из сака по одному рукой повыберет!»

Но в эту минуту отворилась дверь, и на пороге показался Сорока, которого Кмициц услал готовить в дорогу лошадей. Свет от очага падал прямо на суровое лицо вахмистра; поглядел на него Юзва Бутрым, пристально так посмотрел и спрашивает Жендзяна:

— Это твой человек, вельможный пан? Что-то он мне знаком!

— Нет, — ответил Жендзян, — это шляхтичи с лошадьми на ярмарку едут.

— Куда же это вы едете? — спросил Юзва.

— В Сobotу, — ответил старый Кемлич.

— Где это?

— Недалеко от Пёнтка.

Как раньше Кмициц, так теперь Юзва принял этот ответ за неуместную шутку и нахмурился:

— Отвечай, когда спрашивают!

— А по какому праву ты спрашиваешь?

— Могу тебе и это сказать: послан я в разъезд поглядеть, нет ли в округе подозрительных людей. Вот и вижу я, есть тут такие, что не хотят сказать, куда едут!

Опасаясь, как бы дело не кончилось дракой, Кмициц отозвался из своего темного угла:

— А ты не сердись, пан солдат. Пёнтеки и Сobotа — это города такие, там осенью, как и в других городах, бывают конные ярмарки. Не веришь, так спроби пана старосту, он должен знать.

— Ну как же! — подтвердил Жендзян.

— Это дело другое, — ответил Бутрым. — Но только зачем вам туда

ехать? Вы и в Щучине можете сбыть лошадей, нам их вот как не хватает, а те, что мы в Пильвишках взяли, негодны, все в ссадинах.

— Всяк туда держит путь, куда ему надобно, вот и мы знаем, куда нам лучше ехать, — возразил ему Кмициц.

— Куда тебе лучше, я не знаю, а вот нам никак не лучше, что ты угонишь табун к шведам да про нас им донесешь.

— Странно мне это! — заметил арендатор из Вонсоши. — Шведов эти люди ругают, а что-то уж очень к ним рвутся. — Тут он обратился к Кмицицу: — А ты тоже не больно похож на барышника, вон и перстень дорогой я видел у тебя на руке, такого бы и пан не постыдился.

— Коли так он твоей милости по вкусу пришелся, покупай его у меня, я в Ленге двадцать грошей за него заплатил, — ответил Кмициц.

— Двадцать грошей? Видно, поддельный, но хороша подделка. Покажи-ка!

— Бери, пожалуйста!

— А ты сам что, встать не можешь? Я к тебе должен подходить.

— Уж очень устал я.

— Э, братец! Можно подумать, ты лицо хочешь спрятать!

Услышав эти речи, Юзва, не говоря ни слова, подошел к очагу, выхватил пылающую головню и, держа ее высоко над головой, шагнул прямо к Кмицицу и поднес ее к его глазам.

В то же мгновение Кмициц поднялся во весь рост, и минуту они оба смотрели друг другу в глаза, — головня выпала внезапно из рук Юзвы, рассыпав по дороге тысячи искр.

— Господи Иисусе!! — воскликнул он. — Да это Кмициц!

— Я самый! — ответил пан Анджей, видя, что больше таиться нельзя.

Но тут Юзва стал кричать солдатам, оставшимся во дворе.

— Эй, сюда, сюда, держи его! — Затем он повернулся к Кмицицу: — Так это ты, дьявол, изменник?! Так это ты, исчадие ада?! Раз ушел из моих рук, а теперь переделся и пробираешься к шведам? Так это ты, Иуда, изверг рода человеческого? Теперь не уйдешь!

С этими словами он схватил пана Анджея за ворот, а пан Анджей схватил его; но еще раньше с лавки поднялись два молодых Кемлича, Косьма и Дамиан, достав косматыми головами чуть не до потолка, и Косьма спросил:

— Как, отец, лупить?

— Лупить! — ответил старый Кемлич, выхватывая саблю.

В эту минуту с треском повалилась дверь, и в корчму ринулись солдаты Юзвы, а вслед за ними, чуть не на плечах их, ворвалась челядь

Кемличей.

Левой рукой Юзва схватил пана Анджея за ворот, а правой уже держал обнаженную рапиру, размахивая ею с такой быстротой, что она молнией сверкала в воздухе. Хоть пан Анджей и не был такой непомерной силы, как Юзва, однако тоже как клещами сдавил ему шею. Глаза у Юзвы выкатились, рукоятью рапиры он хотел размозжить Кмицицу руку, но не успел, Кмициц раньше ударил его по голове эфесом сабли. Пальцы Юзвы, державшие ворот Кмицица, мгновенно разжались, сам он пошатнулся от удара и откинулся назад. Кмициц оттолкнул его от себя, чтобы сподручней было рубить, и со всего размаха полоснул саблей по лицу. Юзва, как дуб, повалился навзничь, ударившись головою об пол.

— Бей их! — крикнул Кмициц, в котором сразу проснулся прежний забияка.

Однако кричать уже не было надобности, в корчме кипел бой. Молодые Кемличи рубились саблями, а порой, как пара быков, бодались головами, за каждым ударом валя кого-нибудь наземь; сразу же за ними выступал старик: приседая раз за разом до самой земли и щуря глаза, он раз за разом тыкал острием сабли под рукой у сыновей.

Но наибольшее опустошение вносил в ряды противника Сорока, привычный к дракам в корчмах, в тесноте. Он так напирал на врагов, что те не могли достать его острием; расстреляв сперва пистолеты, он садил теперь рукоятями по головам, размозжал носы, выбивал зубы и глаза. Челядь Кемличей и два солдата Кмицица помогали своим.

Противники в схватке перекатились уже от стола в другой конец корчмы. Лауданцы отчаянно защищались; но когда Кмициц, повалив Юзву, ринулся в свалку и тут же распластал еще одного Бутрыма, победа стала склоняться на его сторону.

Слуги Жендзяна тоже вбежали в корчму с саблями и ружьями; но как ни кричал им Жендзян: «Бей их!» — они не знали, кого бить, так как лауданцы не носили мундиров и нельзя было разобрать, где свои и где чужие. В общей свалке им попадало и от тех и от других.

Жендзян держался осторожно, не ввязывался в драку, он только силился распознать Кмицица, чтобы показать своим, куда направить выстрел; но при слабом свете лучины Кмициц все время пропадал у него из глаз, то возникая, как огненный дьявол, то снова исчезая в полумраке.

Лауданцы с каждой минутой все слабей отражали удары, — сердце упало у них, когда они увидели сраженного Юзву и услышали страшное имя Кмицица. И все же они сражались упорно. Тем временем корчмарь тихонько проскользнул между дерущимися с ведром воды в руке и

выплеснул ее на огонь. В корчме воцарилась непроглядная тьма; противники сбились в такую тесную кучу, что могли только садить друг друга кулаками, через минуту стихли крики, слышно было только тяжелое дыхание и беспорядочный топот ног. Вскоре через выломанную дверь вырвались в сени слуги Жендзяна, за ними лауданцы, а уж за ними люди Кмищица.

Они стали преследовать друг друга в сенях, в зарослях крапивы, во дворе и в сарае. Раздалось несколько выстрелов, взвизгнули и заржали лошади. Бой закипел у повозок Жендзяна, под которыми укрылись его слуги; лауданцы тоже искали там убежища; слуги Жендзяна, приняв их за врагов, дали по ним несколько залпов.

— Сдавайтесь! — кричал старый Кемлич; тыча острием сабли между спицами колес, он вслепую колол спрятавшихся под повозкой людей.

— Стой! Сдаемся! — раздалось несколько голосов.

И слуги старосты из Вонсоши стали выбрасывать из-под повозки сабли и ружья, затем молодые Кемличи принялись вытаскивать за головы их самих, пока старик не крикнул:

— К телегам! Бери все, что попадет под руку! Живо! Живо! К телегам!

Молодым не надо было в третий раз повторять приказ, они бросились отстегивать пологи, из-под которых показали свои круглые бока короба Жендзяна. Они уж и короба стали скидывать, когда раздался голос Кмищица:

— Стой!

И Кмищиц, как бы в подтверждение приказа, стал хлестать их плашмя окровавленной саблей.

Косьма и Дамиан поспешно отскочили в сторону.

— Пан полковник, разве нельзя? — покорно спросил старик.

— Не смей! — крикнул Кмищиц. — Найди мне старосту!

Косьма и Дамиан в мгновение ока ринулись на поиски, а за ними бросился и отец; через четверть часа они снова появились, ведя Жендзяна, который, увидев Кмищица, сказал ему с низким поклоном:

— Обиду терплю я, вельможный пан, ни с кем я войны не искал, а что знакомых еду проведать, так это всяк волен делать.

Кмищиц, опершись на саблю, тяжело дышал и не говорил ни слова.

— Я, — продолжал Жендзян, — ни шведам, ни гетману не нанес никакой обиды, только ехал к пану Володыёвскому, так ведь он мой старый знакомый, и на Руси мы вместе с ним воевали. Чего это мне лезть на рожон?! Не был я в Кейданах, и нет мне дела до того, что там было. У меня

одно на мысли: ноги унести отсюда, да чтоб добро мое, что дал мне господь, не пропало. Я ведь не украл его, в поте лица заработал. Нет мне до всего этого дела! Отпусти ты только меня отсюда!

Кмициц тяжело дышал и все глядел словно бы рассеянно на Жендзяна.

— Покорнейше прошу, вельможный пан! — снова заговорил староста. — Ты же видел, не знаю я этих людей и отроду не был им другом. Напали они на твою милость, так получили по заслугам, но за что же я должен страдать, за что мое добро должно пропадать? Чем я провинился? Коли уж нельзя иначе, так откуплюсь я от твоих солдат, хоть человек я бедный и много дать не могу. Дам им по талеру, чтоб не зря они трудились... И по два дам, да и ты, вельможный пан, прими от меня...

— Закрывать телеги! — крикнул Кмициц. — А ты, пан, забирай своих раненых и езжай ко всем чертям!

— Покорнейше благодарю, ясновельможный пан! — сказал арендатор из Вонсоши.

Но тут подошел старый Кемлич, выпятил нижнюю губу и, обнажив гнилые пеньки, заскулил:

— Пан полковник, наше это добро! Зерцало правды, наше оно!..

Но Кмициц так на него взглянул, что старик согнулся в три погибели и слова не посмел больше вымолвить.

Слуги Жендзяна кинулись опроретью запрягать лошадей, а Кмициц снова обратился к старосте:

— Бери всех раненых и убитых, которые найдутся, отвези их к пану Володыёвскому и скажи ему от меня, что не враг я ему, как он думает, а может, лучший друг. Но не хотел я с ним повстречаться, потому не пришло еще время для такой встречи. Может, попозже и наступит такая пора, но сегодня ни он бы мне не поверил, ни я бы ни в чем не смог его убедить. Со временем, может. Да слушай хорошенько! Скажи, что это его люди напали на меня, а я принужден был обороняться.

— Так оно, молвить справедливо, и было, — подтвердил Жендзян.

— Погоди! Скажи еще пану Володыёвскому, чтоб держались они вместе, что Радзивилл хочет только дождаться от Понтуса конницы, а тогда тотчас двинется на них. Может, он уже в пути. Он и князь конюший строят ковы с курфюрстом, и стоять неподалеку от границы опасно. Но главное, пусть держатся вместе, не то погибнут напрасно. Витебский воевода хочет пробраться в Подляшье. Пусть идут навстречу ему и помощь окажут, коль понадобится.

— Все расскажу, будто деньги за то с тебя получил.

— Хоть Кмициц говорит, хоть Кмициц остерегает, пусть верит он мне,

пусть с другими полковниками посоветуется, — увидят они, что, собравшись вместе, будут сильнее. Говорю тебе еще раз, гетман уже в пути, а я пану Володыёвскому не враг.

— Будь у меня от твоей милости знак какой, оно было бы лучше, — заметил Жендзян.

— Зачем тебе знак?

— Да ведь и пан Володыёвский скорее поверит, что это ты по дружбе советуешь, верно, подумает он себе, что-то тут есть, коли знак он мне присылает.

— Что ж, возьми этот перстень, — промолвил Кмициц, — хоть на головах у людей, которых ты отвезешь пану Володыёвскому, и без того немало моих знаков осталось.

С этими словами он снял с пальца перстень. Жендзян торопливо взял перстень и сказал:

— Покорно благодарю, милостивый пан.

Спустя час Жендзян со своими повозками и со слугами, которые отделались испугом, спокойно направлялся в Щучин, увозя троих убитых и всех раненых, среди которых был Юзва Бутрым с рассеченным лицом и разбитой головой. Едучи, поглядывал Жендзян на перстень с камнем, который чудно переливался на лунном свете, и думал об удивительном и страшном человеке, который, сделав столько зла конфедератам и столько добра шведам и Радзивиллу, хотел, однако, спасти конфедератов от неминуемой гибели.

«Советы он от чистого сердца давал, — говорил себе Жендзян. — Всегда лучше держаться вместе. Но почему он их остерегает? Разве только из добрых чувств к пану Володыёвскому, который в Билевичах пощадил его жизнь. Разве только из добрых чувств! Да, но князю гетману худо может быть от этого! Удивительный человек: служит Радзивиллу, а сочувствует нашим!.. И едет к шведам!.. Что-то мне невдомек... — Через минуту он прибавил про себя: — Щедрый человек! Нельзя только поперек дороги ему становиться».

Так же долго и тщетно ломал себе голову старый Кемлич, пытаясь найти ответ на вопрос, кому же пан Кмициц служит!

«Едет к королю, а конфедератов бьет, которые стоят за короля. Что бы это могло значить? И шведам не доверяет, прячется от них... Что-то с нами будет?»

Не умея найти ответ, он со злостью набросился на сыновей:

— Негодяи! Подохнете без благословения! Ну не могли вы хоть убитых обшарить?

— Мы боялись! — ответили Косьма и Дамиан.

Один Сорока был доволен и весело трусил за своим полковником.

«Не глядел никто на нас дурным глазом, — думал он, — коль скоро мы их побили. Любопытно мне, кого же мы теперь будем бить?»

А было ему все равно, кого ни бить, куда ни ехать.

К Кмицицу никто приступить не смел, ни о чем не смел его спрашивать: молодой полковник ехал темный, как ночь. Терзался он страшно оттого, что пришлось побить людей, с которыми он хоть сейчас готов был стать в один строй. Но если бы он сдался и позволил отвести себя к Володыёвскому, что бы тот подумал, узнав, что его схватили, когда он под вымышленным именем пробирался к шведам и грамоты имел к шведским комендантам?

«Преследуют меня неотступно старые грехи, — говорил себе Кмициц. — Бежать надо отсюда прочь, ты же, господи, укажи мне путь».

И он стал жарко молиться, отгоняя прочь совесть, которая шептала ему: «Снова трупы остались у тебя позади, и своих людей, не шведов...» — «Боже, буди милостив ко мне, грешному! — молился Кмициц. — К своему государю я еду, там начнется моя служба...»

ГЛАВА V

Остановившись в корчме «Клич», Жендзян не думал заночевать там; от Вонсоши до Щучина было недалеко, и он хотел только дать отдохнуть лошадям, особенно тем, которые везли кладь. Когда Кмициц позволил ему продолжать путь, он не стал терять времени и спустя час, поздней ночью, въезжал уже в Щучин; ответив на оклик стражи, он расположился прямо на рынке, так как все дома были заняты солдатами и даже для них не хватило места. Щучин считался городом, хоть на деле городом не был, — не было еще тут ни валов, ни ратуши, ни судов, ни школы пиаров^[148], сооруженной только при короле Яне Третьем, да и домов было мало, так, по большей части хатенки; только потому и назывался он городом, что дома были построены в квадрат и образовали рыночную площадь, пожалуй, такую же грязную, как и пруд, на берегу которого он стоял.

Поспав под теплой волчьей епанчой, Жендзян дождался утра и тотчас направился к Володыёвскому; тот не видал его целую вечность, очень обрадовался и повел к Скшетуским и Заглобе. Жендзян расплакался при виде прежнего своего господина, которому столько лет служил верой и правдой, с которым столько пережил приключений, да и нажил богатство. Не стыдясь старой службы, он стал целовать руки Яну, повторяя растроганно:

— Мой дорогой пан! Мой дорогой пан! В какое время привелось снова встретиться!

Все стали жаловаться на тяжелые времена, пока Заглоба наконец не сказал:

— Но ты, Жендзян, у фортуны всегда за пазухой: смотри ты, паном стал. Ну не пророчил ли я тебе, ты только вспомни, что коль не повесят тебя, выбьешься в люди! Ну как же ты теперь?

— Мой дорогой пан, да за что же меня вешать, коль не согрешил я ни против бога, ни против закона? Служил верно, а коль случалось изменить кому, так одному разве недругу, что я себе только в заслугу могу поставить. А что я хитростью какого-нибудь разбойника изничтожил, мятежников, к примеру, или ту чаровницу, — помнишь, милостивый пан? — так это тоже не грех, а и грех, так не мой, а твой, потому хитрости я от тебя научился.

— Да ну! Нет, вы только поглядите на него! — воскликнул Заглоба. — Коль ты хочешь, чтобы я за гробом за грехи твои выл, так отдай мне при жизни их fructa. Один ты пользуешься богатствами, которые наградил у

казаков, так из одного тебя за это и шкварки в пекле вытопят!

— Бог не без милости, да и неправда это, будто я один пользуюсь, я ведь сперва лихих соседей тяжбами разорил и родителей обеспечил, они теперь спокойно живут в Жендзянах, никаких обид не терпят. Яворских-то я по миру пустил, ну а сам уж в отдалении потихоньку гоношу деньгу!

— Так ты уже не живешь в Жендзянах? — спросил Ян Скшетуский.

— В Жендзянах по-прежнему живут мои старики, а сам я в Вонсоше, и грех жаловаться, не обидел бог. Но как прослышал я, что вы в Щучине, не мог усидеть на месте, подумал себе: видно, снова пора в путь! Коли быть войне, что ж, пусть будет!

— Признайся же, — сказал Заглоба, — это ты из Вонсоши бежал, испугавшись шведов.

— В Визненской земле еще нету шведов, разве только маленькие разъезды туда заглядывают, да и то с опаской, потому очень на них мужики злы.

— Это ты мне хорошую новость привез, — сказал Володыёвский. — Я ведь вчера нарочно послал разъезд, чтобы разведать, где шведы стоят, не знал я, можно ли в Щучине спокойно стоять на постое. Верно, этот разъезд и привел тебя сюда?

— Этот разъезд? Меня? Это я его привел, а верней сказать, привез, у них ведь ни одного человека не осталось, кто бы мог сидеть в седле.

— Как так? Что ты болтаешь? Что с ними стряслось? — встревожился Володыёвский.

— Страх как их побили! — объяснил Жендзян.

— Кто побил?

— Пан Кмициц.

Скшетуские и Заглоба даже с лавок повскакали.

— Кмициц? Да как он сюда попал? — засыпали они Жендзяна вопросами. — Неужто сам князь гетман уже пришел? Да ну же, говори скорее, что случилось?

Володыёвский тем временем выбежал на улицу, чтобы собственными глазами увидеть, какой урон понесли его люди, и посмотреть их.

— Что я вам буду рассказывать? — ответил Жендзян. — Лучше подожду, куда пан Володыёвский воротится, это ведь больше его касается, не повторять же мне два раза одно и то же.

— Ты видел Кмицица своими глазами? — спрашивал Заглоба.

— Как вас вот вижу.

— И говорил с ним?

— Как же не говорить, коли мы повстречались с ним в корчме «Клич»,

что недалеко отсюда, я заехал, чтобы дать отдохнуть лошадям, а он остановился на ночлег. Чуть не час целый мы с ним проговорили, делать-то больше было нечего. Я жаловался на шведов, он тоже жаловался.

— На шведов? Он тоже жаловался на шведов? — спрашивал Скшетуский.

— Страх как, хоть сам ехал к ним.

— Много было с ним войска?

— Да никакого войска не было, всего несколько слуг, правда, при оружии и с такими свирепыми образинами, что таких не было, пожалуй, и у тех, что по приказу Ирода избивали невинных младенцев. Выдал он себя за простого шляхтича-однодворца, сказал, будто с лошадьми на ярмарку едет. Был у него табунок голов на двадцать, но я что-то ему не поверил: и с виду человек совсем не простой, и смел, не как барышник, и перстень дорогой видел я у него на руке. Да вот он!

Самоцвет сверкнул перед глазами слушателей, а Заглоба руками об полы хлопнул.

— Успел-таки выцыганить! — воскликнул старик. — Да я бы тебя по одному этому на другом конце света признал!

— Нет уж, позволь, милостивый пан, не цыганил я вовсе! Я ведь тоже шляхтич, ровня другим, не цыган, хоть и арендатор, покуда не дал господь своим именем обзавестись. А перстень этот дал мне пан Кмициц в знак того, что правду он мне говорил, а что он говорил — это я вам сейчас в точности повторю, потому сдается мне, речь идет об наших шкурах.

— Как так? — спросил Заглоба.

Но тут вошел Володыёвский, возмущенный до крайности, бледный от гнева; он швырнул шапку на стол и сказал:

— Неслыханное дело! Трое убиты, Юзву Бутрыма саблей так полоснули, что еле дышит!

— Юзву Бутрыма? Да ведь это человек медвежьей силы! — изумился Заглоба.

— На глазах у меня сам пан Кмициц его и полоснул! — вмешался в разговор Жендзян.

— Довольно с меня этого Кмицица! — в гневе вскричал Володыёвский. — Где бы этот человек ни появился, всюду он, как чума, сеет смерть. Довольно! Око за око, зуб за зуб! Но теперь у нас с ним новый счет! Людей мне изувечил, на добрых солдат напал. Я ему это попомню, мы еще встретимся!

— Сказать по правде, не он на них напал, а они на него, он ведь в самый темный угол забился, чтоб они его не признали, — сказал Жендзян.

— А ты чем моим помочь, еще его оправдываешь! — сердито оборвал его Володыёвский.

— Да я по справедливости. А что до помощи, так мои хотели помочь, да никак не могли, не знали в свалке, кого бить, кого щадить, и самим поэтому досталось. Да и я цел и невредим ушел со своими коробами только по великодушию пана Кмицица. Вы вот послушайте, как дело-то было.

И Жендзян стал подробно описывать драку в корчме, ничего не пропустил, а когда он рассказал наконец все, что Кмициц велел передать Володыёвскому, все просто остолбенели.

— Он сам тебе это сказал? — спросил Заглоба.

— Сам, — ответил Жендзян. — «Я, — толковал он мне, — пану Володыёвскому и конфедератам не враг, хоть они иначе думают. Придет время, все обнаружится, а покуда Христом-богом молю, пусть держатся вместе, не то виленский воевода их как раков из сака повыберет».

— И он сказал тебе, что воевода уже в походе? — спросил Ян Скшетуский.

— Нет, он говорил, что гетман только ждет подмоги от шведов, а тогда тотчас двинется в Подляшье.

— Что вы об этом думаете? — поглядел на товарищей Володыёвский.

— Странно мне все это! — воскликнул Заглоба. — То ли этот человек предает Радзивилла, то ли нам ловушку готовит. Но какую? Советует держаться вместе, а какой же от этого может быть вред для нас?

— А тот, что с голоду пропадем, — ответил Володыёвский. — Мне уже дали знать, что и Жеромский, и Котовский, и Липницкий должны разделить свои хоругви на отряды по несколько десятков сабель и расставить их на постой по всему воеводству, потому что вместе они не могут прокормиться.

— А что, как Радзивилл и впрямь придет, — промолвил Станислав Скшетуский, — кто тогда сможет дать ему отпор?

Никто не нашелся, что ответить, потому что ясно было как день, что если великий гетман литовский подойдет с войском и застанет силы конфедератов рассеянными, он легко их истребит.

— Странно мне все это! — повторил Заглоба. Помолчав с минуту времени, он продолжал: — И все-таки Кмициц уже доказал, что он искренне нам сочувствует. Я вот и подумал, не оставил ли он Радзивилла? Но тогда зачем ему пробираться переодетым, да еще куда? К шведам? — Тут он обратился к Жендзяну: — Он говорил тебе, что едет в Варшаву?

— Да! — ответил Жендзян.

— Но ведь там уже шведы.

— Да-да! — подтвердил Жендзян. — Коль он ехал всю ночь, так теперь уже должен был повстречать шведов.

— Ну видали ль вы когда такого человека? — воскликнул Заглоба, глядя на товарищей.

— Что зло смешалось в нем с добром, как плевелы с пшеницей, в том нет сомнения, — сказал Ян Скшетуский. — Но чтоб в совете, который он нам дает, таилась измена, с этим я решительно не могу согласиться. Не знаю я, куда он едет, почему пробирается переодетый, и не стану зря ломать над этим голову, — тут скрыта какая-то тайна. Но я готов поклясться, что совет он дает дельный, искренне нас предостерегает, и спасение наше в одном — послушаться его. Как знать, не обязаны ли мы опять ему жизнью.

— Господи! — воскликнул Володыёвский. — Да как же может прийти сюда Радзивилл, коль на его пути стоят люди Золотаренко и пехота Хованского. Мы — это дело другое! Одна хоругвь может проскользнуть, да и то в Пильвишках нам пришлось саблями прокладывать себе путь. И Кмициц — это дело другое, он пробивался с кучкой людей. Но как может пройти гетман с целым войском? Разве только сперва разгромит и Золотаренко и Хованского...

Не успел Володыёвский кончить, как дверь отворилась, и вошел стремянный.

— Гонец к пану полковнику с письмом, — сказал он.

— Неси письмо, — приказал Володыёвский.

Стремянный вышел и через минуту вернулся с письмом. Пан Михал торопливо сломал печать и начал читать:

— *«Пишу нынче про то, что вчера не успел рассказать арендатору из Вонсоши. Чтобы двинуться на вас, у гетмана и своего войска довольно; но он с умыслом ждет подмоги от шведов, дабы выступить против вас под покровительством шведского короля. Пусть только тронут тогда его московиты, им придется ударить и на шведов, а сие означало бы войну с шведским королем. Без приказа они не посмеют это сделать, ибо боятся шведов и не примут на себя ответ за начало войны. Они уже знают, что Радзивилл повсюду с умыслом подставляет им шведов: стоит им подстрелить или зарубить хоть одного шведа, и тотчас разгорится война. Не знают они сами теперь, что делать, ибо Литва отдана шведам, стоят потому на месте и выжидают, не воюя, что дальше будет. По этой причине они и Радзивилла не станут останавливать и перепон ему чинить не станут, и он пойдет прямо на вас и будет истреблять вас поодиночке, коль скоро вы не соберете вместе все свои силы. Христом-*

богом молю, сделайте это и зовите к себе поскорее витебского воеводу, ибо и ему легче пробиться сквозь московитов, откуда они стоят, словно ум потерявши. Хотел я под чужим именем вас остеречь, дабы вы скорее мне поверили, но коль скоро открылось, кто шлет вам вести, подписываюсь своим собственным. Беда, коль не поверите вы мне, ибо я уж не тот, каким прежде был, и, даст бог, совсем иные речи вы услышите обо мне.

Кмициц».

— Ты хотел знать, как придет к нам Радзивилл, вот тебе и ответ! — сказал Ян Скшетуский.

— Он прав! — воскликнул Володыёвский. — Умные слова!

— Не умные, а святые слова! — перебил его Заглоба. — Сомнений быть не может. Я первый разглядел этого человека, и хоть нет такого проклятия, какое не посылали бы на его голову люди, говорю вам, мы еще будем благословлять его. Мне довольно взглянуть на человека, чтобы узнать ему цену. А помните, как он мне полюбился в Кейданах? Сам он тоже нас любит, как истинных рыцарей, а когда в первый раз услышал мое имя, чуть не задушил меня от восторга в объятиях и благодаря мне спас всех вас.

— Ты, милостивый пан, совсем не изменился, — заметил Жендзян. — Ну почему это пан Кмициц должен был больше восторгаться тобой, чем моим паном или паном Володыёвским?

— Глупец! — ответил Заглоба. — Тебя-то он сразу раскусил, и коль звал арендатором, а не дураком из Вонсоши, так только из учтивости!

— Так, может, и тобою, милостивый пан, он восторгался тоже только из учтивости? — отрезал Жендзян.

— Нет, ты погляди на него, ишь как боднул! Сказано, богатый — что бык рогатый. А ты женись, пан арендатор, клянусь богом, вовсе рогачом станешь!

— Все это хорошо, — промолвил Володыёвский. — Но коль он от души нам сочувствует, то почему не приехал к нам, вместо того чтобы рыскать, как волку, вокруг нас и людей нам губить?

— Не твоя это забота, пан Михал, — ответил Заглоба. — Что мы решим, то и делай, и не ошибешься. Когда бы твой ум стоил твоей сабли, ты бы уже великим гетманом был вместо пана Реверы Потоцкого^[149]. А зачем было Кмицицу приезжать сюда? Уж не затем ли, чтобы ты так же ему не поверил, как не веришь его письму, и чтоб у вас с этим ершистым кавалером тотчас разгорелась страшная ссора? А когда бы ты даже поверил ему, то что бы сказали другие полковники: Котовский, Жеромский, Липницкий? Что бы сказали твои лауданцы? Разве не зарубили бы его, как

только бы ты отвернулся?

— Отец прав, — вмешался в разговор Ян Скшетуский, — он не мог сюда приехать.

— Так зачем же он едет к шведам? — повторил упрямый пан Михал.

— А черт его знает, к шведам ли едет он, а черт его знает, что могло этому шалому парню стрелкнуть в голову? Нам-то что до этого! Наше дело послушаться его совета, коль хотим мы унести ноги.

— Да тут и раздумывать нечего, — сказал Станислав Скшетуский.

— Надо поскорей упредить Котовского, Жеромского, Липницкого и того, другого, Кмицица, — промолвил Ян Скшетуский. — Пошли к ним, Михал, тотчас гонцов, только не пиши, кто нас остерег, а то они наверняка не поверят.

— Мы одни будем знать, чья это заслуга, и в свое время не замедлим открыть нашу тайну! — воскликнул Заглоба. — Ну, Михал, теперь живо!

— Сами мы двинемся в Белосток, — продолжал Ян Скшетуский, — там и общий сбор назначим. Дай бог, чтоб поскорее прибыл витебский воевода!

— Из Белостока, — подхватил Заглоба, — надо будет отправить к воеводе послов от войска. Даст бог, встанем мы против литовского гетмана с силами равными, а то и превосходными. Нам самим и думать нечего напасть на него, ну а витебский воевода — это дело другое. Сколь достойный, сколь доблестный муж! Другого такого не сыщешь в Речи Посполитой!

— Ты, милостивый пан, знаешь воеводу? — спросил Станислав Скшетуский.

— Знаю ли я его? Мальчишкой знавал, когда он росточком был не больше моей сабли. Но и тогда это был сущий архангел.

— Ведь он теперь, — сказал Володыёвский, — не только все имение отдал, не только все серебро и драгоценности, но и все бляхи с наборной сбруи в деньги перелил, только бы побольше войска набрать против врагов отчизны.

— Благодарение богу, хоть один такой нашелся! — заметил Станислав Скшетуский. — А то помните, как мы верили Радзивиллу?

— Ты кощунствуешь, пан Станислав! — крикнул Заглоба, — витебский воевода — это да! Да здравствует витебский воевода! А ты, Михал, в поход, живей в поход! Пусть пескари остаются в этом щучинском болоте, а мы поедем в Белосток, там, может, получше достанем рыбы. Да и халы там на шабаш евреи пекут отменные!.. Ну, теперь, по крайности, хоть война начнется, а то меня уже тоска берет! Тряхнем Радзивилла, тогда и за

шведов возьмемся. Мы им уже показали, чего стоим! В поход, Михал, ибо *periculum in mora!*

— А я пойду подниму на ноги хоругвь! — сказал Ян Скшетуский.

Спустя час десятка два гонцов мчались во весь опор в Подляшье, а вслед за ними тронулась вскоре и вся лауданская хоругвь. Начальники ехали впереди, советуясь и обсуживая дела, а солдат вел Рох Ковальский, помощник Володыёвского. Шли на Осовец и Гонёндрз, направляясь на Белосток, где надеялись встретить прочие конфедератские хоругви.

ГЛАВА VI

Письма Володыёвского о походе Радзивилла, разосланные во все концы Подляшского воеводства, нашли отклик у всех полковников. Одни из них, чтобы легче было перезимовать, уже разбили хоругви на небольшие отряды; другие позволили своим хорунжим разъехаться по приватным домам, так что под знаменами оставалось человек по двадцать хорунжих да по несколько десятков солдат. Полковники отпустили людей отчасти потому, что опасались голода, отчасти же потому, что им нелегко было поддержать порядок в хоругвях, которые, однажды подняв мятеж против властей, готовы были теперь по малейшему поводу отказать в повиновении и своим предводителям. Если бы нашелся достойный вождь, который сразу повел бы их в бой против одного из двух врагов отчизны, или даже против Радзивилла, дисциплина, наверно, сохранилась бы; но в Подляшье хоругви бездействовали, они только обстреливали крепостцы Радзивилла, грабили его поместья да вели переговоры с князем Богуславом, и солдаты поэтому совсем распустились. В этих условиях они приучались только своевольничать и притеснять мирных жителей. Часть их, особенно из числа тех, кого привела с собой шляхта, бежала из хоругвей и, сколотив шайки, промышляла разбоем на большой дороге. Так с каждым днем все больше разлагалось войско, которое не присоединилось ни к одному из врагов и составляло единственную надежду короля и патриотов. Раздел хоругвей на небольшие отряды довершил этот развал. Слов нет, если бы хоругви держались вместе, прокормиться им было бы трудно; но кое-кто, быть может, не без умысла, преувеличивал опасность голода: стояла осень, урожай выдался хороший, и, главное, никто из врагов не успел еще огнем и мечом опустошить воеводство. Опустошили его кое-где свои же конфедератские солдаты, как души их самих опустошила праздность.

Так удивительно сложились обстоятельства, что враг не тронул конфедератских хоругвей. Заливая край с запада и устремляясь на юг, шведы не дошли еще до того клина, который образовало Подляшье между Мазовецким воеводством и Литвой, а по другую сторону в бездействии и нерешимости стояли полчища Хованского, Трубецкого и Серебряного^[150] и не знали, что предпринять. Отряды Бутурлина и Хмельницкого по-прежнему носились по Червонной Руси; они разбили в это время под Гродеком часть войск, которой предводительствовал великий коронный гетман Потоцкий. Но Литва была под покровительством Швеции.

Опустошать ее, занимать новые ее земли означало, как справедливо писал Кмициц, то же, что объявлять войну страшным шведам, перед которыми трепетал весь мир. «Была короткая пора, когда присмирели московиты» и кое-кто из людей дальновидных пророчил даже, что в скором времени они, на этот раз как союзники Яна Казимира и Речи Посполитой, обратят оружие против шведского короля, могуществу которого, если бы он стал господином всей Речи Посполитой, не было бы равного в Европе.

Не трогал Хованский в ту пору ни Подляшья, ни конфедератских хоругвей; разбросанные по всему воеводству, они тоже никого не трогали, да без вождя и не могли тронуть, ничего не могли предпринять, кроме грабежа радзивилловских поместий. Зато и начался у них развал. Однако письма Володыёвского о походе Радзивилла пробудили полковников от спячки и бездействия. Они стали собирать хоругви, рассылать повестки солдатам с призывом вернуться под знамена и угрозой наказания за неявку. Первым, не мешкая, двинулся в Белосток Жеромский, самый уважаемый из всех полковников, чья хоругвь была в наилучшем состоянии; через неделю прибыл Якуб Кмициц, — правда, привел он всего лишь сто двадцать человек; затем стали собираться поодиночке и кучками солдаты Котовского и Липницкого. В ту пору в хоругви вступали охотники из окрестной застянковой шляхты: Зенцинки, Свидерские, Яворские, Жендзяны, Мазовецкие, и даже из Люблинского воеводства, например, Карвовские и Туры; время от времени являлся и шляхтич побогаче в сопровождении хорошо вооруженной челяди. От хоругвей по воеводству были посланы сборщики податей, чтобы взыскать по квитанциям припасы и деньги, — словом, повсюду поднялось движение, закипела работа, и когда подошел Володыёвский со своей лауданской хоругвью, под ружьем стояло уже несколько тысяч человек, которым недоставало только вождя.

Это была беспорядочная и нестройная толпа, но не такая беспорядочная и не такая нестройная, как великопольская шляхта, которая несколько месяцев назад должна была защищать от шведов переправы под Уйстем; все эти подляшане, люблинцы и литвины были люди, привычные к войне, и даже среди охотников не было ни одного человека, который не нюхал бы пороху и не угощался из «табакерки Марса». Все в своей жизни успели уже повоевать: кто против казаков, кто против турок, кто против татар; были и такие, что помнили еще шведские войны. Военным опытом и красноречием всех превосходил Заглоба, который очень обрадовался, очутившись в этом солдатском сборище, где не держали совета, не промочивши глотки.

Заслугами он подавлял самых заслуженных полковников. Лауданцы

рассказывали, что, не будь его, Володыёвский, Скшетуские, Мирский и Оскерко погибли бы от руки Радзивилла, так как их везли уже в Биржи на казнь. Сам он своих заслуг отнюдь не скрывал и воздавал себе должное полною мерой, чтобы все знали, с кем имеют дело.

— Не люблю я ни бахвалиться попусту — говаривал он, — ни болтать про то, чего вовсе не было, правда для меня — вещь святая, это и мой племянник может подтвердить.

Тут он поворачивался к Роху Ковальскому, который, высунувшись из-за его спины, говорил зычным, утробным голосом.

— Дядя... не... врет!

И, пыхтя, обводил глазами присутствующих, словно искал наглеца, который посмел бы ему возразить.

Но никто никогда не возражал, и Заглоба начинал рассказ о старых своих подвигах: о том, как еще при жизни Конецпольского стал виновником двух побед над Густавом Адольфом, как потом посрамил Хмельницкого и отличился при осаде Збаража, как князь Иеремия во всем на него полагался и поручал ему делать вылазки...

— После каждой такой вылазки, — рассказывал он, — как изрубим мы, бывало, тысяч пять, а то и все десять разбойников, Хмельницкий головой бьется об стенку и одно твердит в отчаянии: «Уж это, как пить дать, дело рук этого черта Заглобы!» Ну а как дошло дело до Зборовского трактата^[151], так сам хан глядел на меня, как на диво, и портрет просил дать ему, хотел султану послать в подарок.

— Нынче нам такие надобны, как никогда! — повторяли слушатели.

Многие и без того были наслышаны о необыкновенных подвигах Заглобы, ибо молва о них ходила по всей Речи Посполитой, а такие новые события, как освобождение полковников и клеванская битва со шведами утвердили былую славу рыцаря, и она все росла и росла, и светел и ясен, у всех на виду, ходил Заглоба в ее сиянье, как в лучах солнца.

— Нам бы тысячу таких на всю Речь Посполитую, и не постигла бы нас такая беда! — толковали в стане.

— Благодарение создателю, что хоть один такой нашелся у нас!

— Ведь это он первый крикнул, что Радзивилл изменник!

— И доблестных рыцарей вырвал из его рук, и такое поражение нанес по дороге шведам под Клеванами, что ни один враг не ушел.

— Первую победу он одержал!

— И, даст бог, не последнюю!

Полковники Жеромский, Котовский, Якуб Кмициц и Липницкий тоже с большим почтением смотрели на Заглобу. Его рвали друг у друга из рук, у

него во всем спрашивали совета, дивясь остроте его ума, едва ли не равной отваге.

А совет держали теперь по очень важному делу. К витебскому воеводе были посланы гонцы с просьбой прибыть и возглавить войско; но никто не знал толком, где теперь воевода, а гонцы уехали и как в воду канули. Прошел слух, будто их захватили разъезды Золотаренко, которые, грабя самочинно жителей, доходили до самого Волковыска.

Положили тогда полковники под Белостоком выбрать временно полководца, который до прибытия Сапеги предводительствовал бы всем войском. Нечего и говорить, что каждый полковник, кроме одного Володыевского, считал, что выбрать должны только его.

Зашумели все, заволновались. Войско объявило, что желает участвовать в выборах, и притом не через представителей, а на генеральном круге, который с этой целью тут же был созван.

Поговорив с товарищами, Володыевский очень настойчиво советовал выбрать Жеромского, человека достойного, всеми уважаемого, который уже одним своим благообразием и сенаторской бородой по пояс внушал почтение войску. К тому же он был опытный, искушенный воитель. Из чувства благодарности он посоветовал выбрать Володыевского; но Котовский, Липницкий и Якуб Кмициц твердили в один голос, что нельзя выбирать самого младшего годами, ибо полководец и у граждан должен пользоваться большим почетом.

— Кто же у нас самый старший? — спросили многочисленные голоса.

— Дядя самый старший! — крикнул вдруг Рох Ковальский таким зычным голосом, что все повернули головы в его сторону.

— Жаль вот только, что нет у него хоругви, — заметил Яхович, помощник Жеромского.

Но другие стали кричать:

— Ну и что же?! Мы что, обязаны непременно выбирать полковника? Разве не в нашей это власти? Разве не *in liberis suffragiis*? Королем и то можно выбрать любого шляхтича, не то что полководцем!

Тут взял слово Липницкий, который питал неприязнь к Жеромскому и хотел всеми силами помешать его избранию:

— Клянусь богом, вы можете голосовать за кого только пожелаете! А не выберете полковника, так оно и лучше, никому не будет досадно и обидно.

Шум тут поднялся невообразимый. Многочисленные голоса кричали:

— Голосовать! Голосовать!

Другие неистовствовали:

— Где муж столь славный, как пан Заглоба? Где рыцарь столь великий? Где воин столь искушенный? Просим пана Заглобу! Да здравствует пан Заглоба! Да здравствует полководец!

— Да здравствует пан Заглоба! Да здравствует пан Заглоба! — орало все больше глоток.

— На сабли тех, кто против! — кричали забияки.

— Нет никого против! Unanimitate!^[152] — отвечали толпы солдат.

— Да здравствует пан Заглоба! Он разбил Густава Адольфа! Он Хмельницкому залил сала за шкуру!

— И самих полковников спас!

— И шведов разбил под Клеванами!

— Vivat! Vivat Заглоба dux!^[153] Vivat! Vivat!

И толпы бросали в воздух шапки и бегали по стану и искали Заглобу.

В первую минуту он изумился и растерялся, ибо не искал почестей, хотел, чтобы выбрали Скшетуского, и никак не ждал, что дело примет такой оборот.

Дух у него занялся, когда тысячные толпы стали выкрикивать его имя, покраснел старик, как рак.

Но тут его окружили хорунжие; они пришли в восторг, увидев его смущение.

— Нет, вы только поглядите! — кричали они. — Раскраснелся, как девица! Скромность его равна его храбрости! Да здравствует пан Заглоба! Веди же нас к победе!

Тем временем подошли и полковники и, хоть рад, хоть не рад, стали поздравлять его, ну, а кое-кто может, и рад был, что соперники обойдены. Володыёвский только усы топорщил, дивясь не меньше Заглобы, а Жендзян — тот и рот разинул, и глаза раскрыл, глядя на Заглобу с недоверием, но вместе с тем и с почтением; ну, а Заглоба пришел понемногу в себя, подбоченился через минуту, голову поднял и с важностью, приличной высокому званию, стал принимать поздравления.

Первым от имени полковников поздравил его Жеромский, а затем от войска весьма цветистую речь сказал хорунжий Жимирский из хоругви Котовского, приведя изречения разных мудрецов.

Заглоба слушал, головой качал, когда же вития кончил, выступил со следующей речью:

— Братья! Когда бы кто пожелал истинную доблесть потопить в бездонном океане или засыпать ее горами Карпатскими, что поднялись за облака, она, словно будучи по природе маслом, всплыла бы наверх, из-под

земли пробилась наружу, дабы людям открыто сказать: «Вот она я перед вами, и не трепещу я света, и суда не боюсь, и награды жду». Но как самоцвет оправлен золотом, так добродетель должна быть оправлена скромностью, а посему спрашиваю я вас, стоя тут перед вами: разве не прятал я своих заслуг? Разве похвалялся я перед вами? Разве добивался той почести, коею вы украсили меня? Вы сами увидели мои заслуги, ибо я и сейчас готов отрицать их, готов сказать вам: есть лучше меня, такие, как пан Жеромский, пан Липницкий, пан Кмициц, пан Оскерко, пан Скшетуский, пан Володыёвский, столь великие кавалеры, что и древние народы могли бы ими гордиться! Почему же меня, а не кого-нибудь из них избрали вы своим полководцем? Есть еще время! Снимите же с плеч моих почетное звание и украсьте мантией более достойного!

— Нет! Нет! — взревели сотни, тысячи голосов.

— Нет! — подхватили полковники, обрадованные публичной похвалой и желавшие в то же время показать войску свою скромность.

— Вижу и я, что так должно быть! — ответил Заглоба. — Что ж, исполню вашу волю! Благодарю вас, братья, от всего сердца, думаю, что не обману я надежд, кои вы на меня возлагаете. Как вы за меня, так и я за вас клянусь стоять насмерть, и победу ли, гибель ли принесут нам непостижимые fata^[154], сама смерть не разлучит нас, ибо и после смерти будем мы делить нашу славу!

Небывалое воодушевление охватило всех собравшихся. Одни хватались за сабли, другие роняли слезы; у Заглобы лысина покрылась каплями пота, но пыл возрастал со все большею силой.

— Мы будем стоять за нашего законного короля, за нашего избранника и милую сердцу отчизну! — восклицал он. — Для них будем жить! Ради них умирать! Братья, с той поры, как стоит наша отчизна, никогда не обрушивались на нее такие бедствия! Изменники открыли ворота, и нет уже ни пяди земли, кроме этого воеводства, где не бесчинствовал бы враг. Вы — надежда отчизны, а я — ваша надежда, на вас и на меня обращены взоры всей Речи Посполитой! Покажем же ей, что не напрасно простирает к нам она руки. Как вы ждете от меня отваги и верности, так я требую от вас покорности и послушания, а когда мы будем единодушны, когда примером своим откроем глаза тем, кого обманул враг, — половина Речи Посполитой слетится к нам! Все, кто хранит в сердце бога и верность отчизне, присоединятся к нам, силы небесные укрепят нас, и кто же сможет тогда устоять против нас?!

— Так и будет! Ей-же-ей, так будет! Соломон говорит его устами! На бой! На бой! — гремели голоса.

А Заглоба простер руки на север и кричал:

— Приходи же теперь, Радзивилл! Приходи, пан гетман, пан еретик, воевода Люциферов! Мы ждем тебя, не рассеявшись, но собравшись вместе, не в раздоре, но в согласии, не с бумажками и трактатами, но с мечом в руке! Доблестное ждет тебя войско и я, его полководец! Ну же, выходи! Выходи на бой с Заглобой! Позови бесов на помощь, и давай схватимся! Выходи! — Тут он снова обратился к войску и продолжал кричать так, что эхо отдавалось во всем стане: — Клянусь богом, дорогие мои! Пророки мне вещают! Согласие, только согласие, — и мы побьем этих негодяев, эту немчуру, этих чулочников, рыбоедов и прочих вшивцев и бородачей, что летом в тулупах ходят и на санях ездят! Такого зададим им перцу, что они только пятки покажут. Все, в ком душа жива, бей собачьих детей! Бей, кто в бога верует, кому дороги отчизна и честь!

Мгновенно блеснули тысячи сабель. Толпы солдат окружили Заглобу, теснясь, толкаясь, давя друг дружку и крича:

— Веди нас! Веди!

— Завтра поведу! Готовьтесь! — крикнул Заглоба в пылу.

Выборы происходили утром, а в полдень был смотр войскам. Стройные ряды хоругвей во главе с полковниками и знаменосцами стояли на хорощанских лугах, а перед ними проезжал полководец под бунчуком, с золоченой булавой в руке и цапельным пером на шапке. Прямой гетман! Так делал он смотр хоругвям, озирая их, как пастырь озирает стадо, а солдаты воодушевлялись, видя величественную его осанку. Каждый полковник по очереди подъезжал к нему и с каждым он говорил, что-то хвалил, за что-то бранил, и даже те из них, что поначалу не рады были выбору войска, должны были сознаться в душе, что новый полководец в военном деле весьма искушен и не внове ему предводительствовать.

Один только Володыёвский как-то странно встопорщил усы на смотре, когда новый полководец, похлопав его при всех полковниках по плечу, сказал:

— Пан Михал, я доволен тобой, хоругвь у тебя — лучше нету. Продолжай так же и можешь быть уверен, что я тебя не забуду!

— Ей-же-ей, — шепнул Володыёвский Скшетускому, возвращаясь со смотра, — сам гетман лучше б не сказал!

В тот же день Заглоба отправил разъезды и туда, куда надо было послать, и туда, куда посылать вовсе не было надобности. Когда на следующий день утром люди вернулись, он внимательно выслушал все донесения, а затем отправился к Володыёвскому, который жил вместе со Скшетускими.

— На глазах у войска я должен соблюдать достоинство, — милостиво сказал он им, — но когда мы одни, мы можем по-прежнему быть на короткой ноге. Тут я не начальник, а друг! И хоть у меня у самого голова на плечах, однако вашим советом я тоже не пренебрегу, ибо знаю, что люди вы опытные и таких солдат немного найдешь во всей Речи Посполитой.

Они приветствовали Заглобу по-старому, и вскоре опять были с ним «на короткой ноге», один только Жендзян не осмелился держаться по-старому и сидел на самом краешке скамьи.

— Что ты думаешь делать, отец? — спросил Ян Скшетуский.

— Первым делом сохранить порядок, держать войско в повиновении и солдат занять, чтоб не испортились они от безделья. Я хорошо видел, пан Михал, как ты, будто сосунок, все что-то лепетал, когда я посылал разъезды на все четыре стороны света; но я должен был это сделать, чтобы втянуть людей в службу, потому они совсем обленились. Это раз. А теперь два: чего нам не хватает? Не людей, их довольно набралось и наберется еще больше. Шляхта, что бежала от шведов из Мазовецкого воеводства в Пруссию, тоже к нам придет. Людей и сабель будет вдосталь, а вот припасу мало, а без него на войне не продержится никакое войско. Так вот, у меня мысль приказать разъездам везти сюда все, что под руку попадет: скотину, овец, свиней, хлеб, сено, и из здешнего воеводства и из Визненской земли в Мазовии, где тоже покуда не видали врага и всего изобилие.

— Да ведь шляхта взвоет, если мы заберем у нее урожай и скотину, — заметил Скшетуский.

— Войско для меня важнее шляхты. Пусть себе воет! Да и даром мы брать не станем, я велю выдавать квитанции, за ночь я их столько наготовил, что можно забрать под них половину Речи Посполитой. Денег у меня нет, но, как кончится война и мы выгоним шведов, Речь Посполитая сполна заплатит. Да что толковать! Шляхте хуже, когда голодное войско учиняет наезды и грабит ее. У меня мысль и в лесах пошарить, слышал я, пропасть мужиков бежало туда со скотиной. Пусть же войско возблагодарит святого духа за то, что осенил он всех вас и вы выбрали меня полководцем, потому никто другой так бы с этим делом не справился.

— Что верно, то верно, — воскликнул Жендзян, — по уму, вельможный пан, ты прямой сенатор!

— Ну как? А? — спросил польщенный Заглоба. — А ты, шельма, тоже не промах. Вот увидишь, скоро назначу тебя помощником ротмистра, пусть только *vacans*^[155] освободится.

— Покорнейше благодарю, вельможный пан! — ответил Жендзян.

— Вот что я думаю! — продолжал Заглоба. — Сперва соберем столько

припасу, будто надо нам осаду выдержать, а потом построим и укрепим стан, а тогда пусть приходит Радзивилл хоть со шведами, хоть с самими чертями. Да будь я последний негодяй, коль не устрою тут второго Збаража!

— Клянусь богом, неплохая мысль! — воскликнул Володыёвский. — Но откуда мы возьмем пушки?

— У пана Котовского есть две гаубицы, у Кмицица пушчонка для салютов, в Белостоке четыре шестифунтовых пушки, их должны были отправить в Тыкоцинский замок. Вы ведь не знаете, что пан Веселовский приписал Белосток к Тыкоцинскому замку, и эти пушки еще в прошлом году были куплены на подати; мне об этом здешний управитель сказал, пан Стемпальский. Он говорит, что и пороху для каждой пушки найдется на сотню выстрелов. Ничего, друзья, справимся, только вы меня от всей души поддержите, да и про грешную плоть не забудьте, которая с удовольствием выпила бы чего-нибудь. Оно ведь и пора!

Володыёвский распорядился принести меду, и разговор продолжался уже за чарой.

— Вы думали, не полководец у вас будет, а одна видимость, — говорил Заглоба, прихлебывая старый мед. — *Nunquam!*[Никогда (лат.). Не просил я вас об этой чести, но коль вы меня выбрали, я требую порядка и повиновения. Знаю я, что такое чин, и до любого дорасту, попомните мои слова! Второй Збараж устрою тут, говорю вам, второй Збараж! Подавится Радзивилл, подавятся и шведы, прежде чем проглотят меня. Хотел бы я, чтоб и Хованский отважился ударить на нас, я б его так похоронил, что до второго пришествия не нашли бы. Они стоят недалеко, пусть приходят! Пусть попробуют! Меду, пан Михал!

Володыёвский налил чару, Заглоба выпил залпом, наморщил лоб, будто что-то припоминая, и сказал:

— О чем я, бишь, говорил? Чего еще хотел? Ах да, меду, пан Михал!

Володыёвский еще налил.

— Толкуют, — говорил Заглоба, — будто и пан Сапега любит выпить в хорошей компании. Оно и не удивительно! Каждый достойный человек любит выпить. Одни только изменники, которые злую думу таят против отчизны, боятся вина, чтобы спьяну не проболтаться. Радзивилл пьет березовый сок, а после смерти смолу будет пить. Истинно так, да поможет мне бог! Я уже вижу, что с паном Сапегой мы друг друга полюбим, потому схожи мы, как два конских уха или два сапога. К тому же оба мы полководцы, и уж я так распоряджусь, чтобы к его приезду все было готово.хлопот полон рот, да что поделаешь! Некому у нас в Речи Посполитой

мозгами пошевелить, так пошевели ты, старый Заглоба, покуда жив! Хуже всего, что нет у меня канцелярии.

— А зачем тебе, отец, канцелярия? — спросил Скшетуский.

— А зачем королю канцлер, зачем хранитель печати? А почему при войске должен быть войсковой писарь? Надо все равно послать в какой-нибудь город, чтобы мне изготовили печать.

— Печать? — в восторге повторил Жендзян, со все большим почтением глядя на Заглобу.

— А что ты, пан, будешь ею припечатывать? — спросил Володыёвский.

— В компании таких близких друзей можешь, пан Михал, по-старому называть меня запросто паном. Не я буду припечатывать, а мой хранитель печати! Вы себе это первым делом заметьте!

Тут Заглоба с такой важностью и спесью оглядел присутствующих, что Жендзян вскочил со скамьи, а Станислав Скшетуский пробормотал:

— *Honores mutant mores!*^[156]

— Зачем мне канцелярия? А вы вот послушайте! — продолжал Заглоба. — Надо вам знать, что, по моему мнению, беды обрушились на нашу отчизну только по причине распутства, по причине своеволия и излишеств, — меду, пан Михал! — да, излишеств, говорю я вам, которые пожирают нас, как чума. Но в первую голову всему виною еретики, они все смелее глумятся над истинной верой, понося владычицу нашу, которая за сию скверну могла справедливо прогневаться...

— Это ты верно говоришь! — хором подхватили рыцари. — Диссиденты первые перешли на сторону врагов и, как знать, не сами ли привели их сюда?!

— *Ehemplum* великий гетман литовский!

— Но и в этом воеводстве, где я полководец, тоже немало еретиков, к примеру, в Тыкоцине и в других городах; вот для начала, чтобы благословил нас господь на наше дело, мы издадим универсал, в коем потребуем, чтобы те, кто коснеет в еретической прелести, в три дня обратились в истинную веру, у тех же, кто этого не сделает, имущество будет конфисковано на нужды войска.

Рыцари переглянулись в изумлении. Они знали, что ума и хитрости Заглобе не занимать стать, но никак не думали, что такой из него державный муж и так замечательно может он решать государственные дела.

— И вы спрашиваете, — торжествующе продолжал Заглоба, — откуда мы возьмем денег на войско? А конфискации? А все радзивилловские

имения, которые тем самым перейдут в собственность войска?

— Будет ли на нашей стороне право? — вмешался в разговор Володыёвский.

— Времена нынче такие, что в чьей руке сабля, на той стороне и право! А по какому праву бесчинствуют в пределах Речи Посполитой шведы и все прочие наши враги?

— Это верно! — согласился пан Михал.

— Мало того! — воскликнул, распаляясь, Заглоба. — Мы издадим второй универсал, коим призовем в ополчение шляхту Подляшского воеводства и тех земель в соседних воеводствах, что еще не захватил враг. Шляхта должна вооружить челядь, чтобы у нас не было недостатка в пехоте. Я знаю, многие рады пойти с нами, только властей ждут да какой-нибудь грамоты. Будут у них и власти и универсалы.

— Клянусь богом, ты коронный канцлер по уму! — воскликнул Володыёвский.

— Меду, пан Михал! Третью грамоту мы пошлем Хованскому, чтоб убирался ко всем чертям, не то мы выкурим его изо всех городов и замков. Правда, московиты теперь спокойно стоят в Литве и замков не берут; но казаки Золотаренко грабят народ, рыскают по Литве целыми ватагами в одну, а то и две тысячи сабель. Пусть Хованский усмирит их, не то мы за них возьмемся.

— Мы и впрямь могли бы взяться за них, — заметил Ян Скшетуский, — и войско наше не своевольничало бы от безделья.

— Я тоже об этом думаю и еще сегодня пошлю разьезды под Волковыск; но *et haec facienda, et haec non omittenda*^[157]. Четвертое послание я хочу послать избраннику нашему, доброму нашему государю, дабы утешить его в печали, сказать, что есть еще люди, которые не оставили его, что есть еще сердца и сабли, готовые к бою по одному его мановению. Пусть же наш отец, наша кровь ягеллонская, наш дорогой государь, что принужден влачить скитальческую жизнь, имеет хоть это утешение на чужбине... пусть... пусть...

Тут Заглоба запнулся, потому что хмель его уже разобрал, и разревелся наконец, тронувшись королевскою участью, а пан Михал тотчас завторил ему потоньше, Жендзян тоже всхлипнул, а может, только делал вид, что всхлипывает; Скшетуские, подперев руками головы, сидели в молчании.

Минуту царила тишина, и вдруг Заглобу прорвало.

— Что мне курфюрст! — крикнул он. — Коль заключил он договор с прусскими городами, пусть не пляшет и нашим и вашим, а в бой идет против шведов, пусть сделает то, что должен сделать верный ленник, и

выступит на защиту своего государя и благодетеля.

— Как знать, не встанет ли он еще открыто на сторону шведов, — заметил Станислав Скшетуский.

— Встанет на сторону шведов? Я ему встану! Прусская граница недалеко, а у меня на первый клич готовы несколько тысяч сабель. Заглобу ему не обмануть! Да не будь я полководец доблестного нашего войска, коль не пойду зорить его огнем и мечом! Нет у нас припасу, не беда! Найдем довольно на прусских гумнах!

— Матерь божия! — воскликнул в восторге Жендзян. — Да ты, вельможный пан, готов в споре устоять и против коронованных голов!

— Я ему тотчас напишу: «Ясновельможный пан курфюрст! Довольно хвостом вертеть! Довольно хитрить и тянуть волюнку! Выходи против шведов! А нет, так я в пруссию нагряну! Кончено!» Подать чернила, бумагу, перья! Жендзян, поедешь с грамотой!

— Поеду! — сказал арендатор из Вонсоши, обрадованный новым посольским чином.

Но не успели подать Заглобе чернила, перья и бумагу, как на улице поднялся крик, и толпы солдат показались под окнами. Одни кричали: «Vivat!» — другие, как татары: «Аллах!» Заглоба вышел с друзьями поглядеть, что случилось.

Оказалось, везут те самые пушки, о которых говорил Заглоба, и это при виде их возрадовались сердца солдат.

Пан Стемпальский, белостокский управитель, подошел к Заглобе.

— Ясновельможный пан полководец, — обратился он к нему. — С той поры, как блаженной памяти пан маршал Великого княжества Литовского приписал белостокские имения к Тыкоцинскому замку, я, будучи сих имений управителем, все подати усердно и исправно употреблял на нужды замка, что реестрами могу доказать перед всей Речью Посполитой. Добрых два десятка лет трудился я и обеспечил замок порохом, пушками и припасом, долгом своим почитая каждый грош употребить по назначению, как повелел ясновельможный маршал Великого княжества Литовского. Но когда по воле изменчивой судьбы Тыкоцинский замок стал в нашем воеводстве главною опорой врагов отчизны, спросил я бога и собственную совесть, могу ли я и впредь увеличивать его силу, не должен ли я припасы и военное снаряжение, кои собрал на прошлогодние подати, отдать в руки твоей милости...

— Должен! — с важностью прервал его Заглоба.

— Об одном только прошу твою милость: при всем войске засвидетельствуй и квитанцию выдай мне, что ничего не обратил я в

собственную пользу, все сдал в руки Речи Посполитой, которую твоя власть, ясновельможный пан, достойно здесь представляет.

Заглоба кивнул головой в знак согласия и тотчас принялся просматривать реестр.

Оказалось, что, кроме шестифунтовых пушек, которые были спрятаны на чердаках амбаров, есть еще триста отменных немецких мушкетов, двести московских бердышей для пехоты, обороны стен и валов и шесть тысяч золотых деньгами.

— Деньги мы в войске разделим, — сказал Заглоба, — а вот мушкеты и бердыши...

Он огляделся по сторонам.

— Пан Оскерко, — сказал он, — возьми их и соберешь пешую хоругвь! Есть тут у нас пеших немного из радзивилловских беглецов, ну, а прочих наберешь из мельников.

Затем он обратился ко всем присутствующим.

— Братья! Есть у нас деньги, есть пушки, будут пехота и припас. Так начинаю я свое правление!

— Vivat! — крикнуло войско.

— А теперь всю челядь — в деревни за заступами, лопатами и мотыгами, да поживей! Будем строить укрепленный стан, второй Збараж! Но только хорунжий ты или не хорунжий, не стыдись, бери лопату в руки и за работу!

С этими словами пан полководец, сопровождаемый кликами войска, направился к себе на квартиру.

— Клянусь богом, голова, каких мало, — говорил Володыёвский Яну Скшетускому, — и дело у нас как будто идет на лад.

— Только бы Радзивилл сейчас не подошел, — вмешался в разговор Станислав Скшетуский. — Это воитель, равного которому нет в Речи Посполитой, а наш пан Заглоба годится на то, чтоб провиант запасти для стана, но куда ему меряться силами с таким военачальником.

— Это верно! — поддержал его Ян. — Когда дело дойдет до боя, мы будем помогать ему советом, он в военном деле менее искушен. Да и пан Сапега подойдет, и власть его тут же кончится.

— А тем временем он может сделать много хорошего, — заметил Володыёвский.

Войску конфедератов и в самом деле нужен был хоть какой-нибудь военачальник, пусть даже Заглоба, ибо со времени его избрания в стане стало больше порядка. На следующий же день начали насыпать валы над белостокскими прудами. Оскерко, служивший в иноземных войсках и

знавший искусство фортификации, руководил всеми работами. За три дня вырос сильный стан, который и впрямь немного напоминал збаражский, так как с боков и с тыла его защищали болотистые пруды. При виде его сердца солдат преисполнились отваги, все войско поняло, что есть у него почва под ногами. Но еще больше оно воодушевилось, когда крупные разъезды стали доставлять припасы. Каждый день в стан загоняли волов, овец, свиней, каждый день шли возы, груженные всяким хлебом и сеном. Некоторые обозы приходили из Луковской, иные даже из Визненской земли. Все больше прибывало мелкой, да и богатой шляхты, ибо люди, услышав о том, что есть уже власть, войско и полководец, поверили в дело. Жителям тяжело было кормить «целую дивизию»; но, во-первых, Заглоба их об этом не спрашивал, а во-вторых, лучше было отдать на войско половину и спокойно пользоваться всем остальным, чем ежеминутно ждать нападения разбойничьих шаек, которые отнимали все и, размножаясь, рыскали повсюду, как татары, так что Заглоба приказал разъездам преследовать их и уничтожать.

— Коли он окажется таким же гетманом, как и хозяином, — толковали в стане о новом полководце, — то не знает еще Речь Посполитая, сколь великого имеет она мужа.

Сам Заглоба с беспокойством думал о приходе Януша Радзивилла. Он вспоминал все победы Радзивилла, и гетман тогда представлялся новому полководцу истинным чудовищем.

«Да кто же может устоять против этого змея! — говорил он в душе. — Похвалялся я, что он мною подавится, — нет, это он меня проглотит, как сом утку».

И он клятвенно обещал себе не давать Радзивиллу генерального сражения.

«Будет осада, — думал он, — а это дело долгое. Можно будет и переговоры затеять, а тем временем подойдет Сапега».

В случае, если Сапега не подойдет, Заглоба решил слушаться во всем Яна Скшетуского, он помнил, как высоко ценил этого офицера и его военные таланты князь Иеремия.

— Ты, пан Михал, — говорил Заглоба Володыёвскому, — сотворен только для атаки, и с разъездом, даже большим, тебя можно послать, с этим делом ты справишься и нападешь на врага, как волк на овцу; но прикажи тебе предводительствовать целым войском, фу-фу! Лавки ты не откроешь, чтоб умом торговать, нет у тебя его на продажу, а вот Ян — голова, ему только войска водить, умри я, только он бы мог меня заменить.

Вести между тем приходили самые разноречивые: то будто Радзивилл

уже идет через курфюрстовскую Пруссию, то будто он, разбив войска Хованского, занял Гродно и движется оттуда с большою силой; были однако слухи, будто поражение Хованскому нанес вовсе не Радзивилл, а Сапега, и помог ему в этом князь Михал Радзивилл. Разъезды никаких достоверных вестей не привезли, кроме той, что к Волковыску подошла ватага Золотаренко в составе около двух тысяч сабель и угрожает городу. Вся округа уже полыхала огнем.

Через день после возвращения разъездов стали прибывать и беглецы; подтвердив весть об угрозе, нависшей над Волковыском, они сообщили, что горожане послали к Хованскому и Золотаренко послов с просьбой пощадить город. Но от Хованского они получили ответ, что под городом стоит ватага вольницы, которая с его войском не имеет ничего общего, а Золотаренко дал горожанам совет откупиться; однако им, людям бедным, после недавнего пожара и грабежей откупиться было нечем. Они просили пана полководца сжалиться над ними и поспешить на помощь, пока они ведут переговоры о выкупе, ибо после будет поздно. Заглоба отобрал полторы тысячи отборных солдат, среди них и лауданскую хоругвь, призвал Володыёвского и сказал ему:

— Ну, пан Михал, пора показать, на что ты способен! Иди под Волковыск и изруби мне эту ватагу, которая грозит беззащитному городу. Дело это для тебя не новое, и я думаю, ты почтешь за честь, что я тебе его доверил. — Затем он обратился к прочим полковникам: — Сам я должен остаться в стане, ибо я за все в ответе. Да и не приличествует мне при моем звании ходить в поход против вольницы. Вот Радзивилл подойдет, тогда в великой войне обнаружится, кто лучше: пан гетман или пан полководец.

Володыёвский охотно отправился в поход, он скучал уже в стане и жаждал кровавой сечи. Посланные против вольницы хоругви тоже уходили весело, с песнями, а полководец верхом на коне стоял на валу и благословлял уходящих, осеняя их на дорогу крестом. Кое-кто удивился, чего это пан Заглоба так торжественно провожает отряд; он, однако, помнил, что и Жулкевский^[158], и другие гетманы имели обыкновение осенять крестом уходящие в бой хоругви, к тому же он вообще любил во всем торжественность, так как это возвышало его в глазах солдат.

Не успели, однако, хоругви скрыться в туманной дали, как он начал о них беспокоиться.

— Ян, — обратился он к Скшетускому. — А не послать ли Володыёвскому еще горсть людей?

— Ну полно, отец! — ответил Скшетуский. — Володыёвскому идти в такой поход все равно, что съесть миску яичницы. Господи боже мой, да

ведь он всю жизнь ничего другого не делал.

— Да! А вдруг на него нападут с большой силой? Nec Hercules contra plures.

— Ну что толковать о таком солдате. Прежде чем ударить, он все разведает, а коли силы слишком велики, нанесет врагу урон, какой сможет, да и прочь уйдет, а нет, так сам пришет за подмогой. Можешь, отец, спать спокойно.

— Да! Я ведь тоже знал, кого посылаю, и должен тебе сказать, что пан Михал, верно, приворожил меня к себе, такая у меня к нему слабость. Никого я так не любил, кроме покойного пана Подбипенты да тебя. Как пить дать, приворожил меня к себе коротышка.

Прошло три дня.

В стан все время подвозили припасы, прибывали и новые охотники; но о пане Михале не было слуха. Заглоба все больше беспокоился и, несмотря на все уговоры Скшетуского, который так и не убедил старика, что Володыёвский не мог еще вернуться из Волковыска, отправил за вестями сотню тяжелой конницы Кмицица.

Но сотня ушла, и снова миновало два дня без вестей.

Только на седьмой день в сумраке тумана солдаты, которых снарядили за отавой в Бобровники, спешно воротились в стан и донесли, что за Бобровниками из лесов выходит какое-то войско.

— Пан Михал! — радостно воскликнул Заглоба.

Но солдаты твердили, что это чужие хоругви. Они не поехали навстречу по той причине, что увидели чужие знаки, каких не было в отряде Володыёвского. Да и сила шла великая. Солдаты, как солдаты, точно сказать не могли: одни говорили, тысячи три будет, другие — тысяч пять, а то и побольше.

— Я возьму двадцать конников и поеду навстречу, — сказал ротмистр Липницкий.

Он уехал.

Прошел час, другой, наконец дали знать, что приближается не разъезд, а целое большое войско.

Бог весть откуда, по стану вдруг пронеслось:

— Радзивилл идет!

Как электрическая искра пробежала эта весть и потрясла всех: солдаты взобрались на валы, страх изобразился на многих лицах; войска не становились в строй, одна только пехота Оскерко заняла указанное ей место. А среди охотников в первую минуту просто поднялся переполох. Из уст в уста передавались самые разноречивые вести.

— Радзивилл наголову разбил Володыёвского и разъезд Кмицица, — твердили одни.

— Не ушел ни один человек, — говорили другие.

— А теперь пан Липницкий как сквозь землю провалился.

— Где полководец? Где полководец?

Но тут прибежали полковники, стали наводить порядок, а так как в стане, кроме небольшого числа охотников, были одни старые солдаты, войско вскоре стояло в строю, ожидая, что же будет.

Когда до слуха Заглобы долетел крик: «Радзивилл идет!» — старик совсем растерялся, но в первую минуту не хотел этому верить. Что же могло случиться с Володыёвским? Разве он позволил бы окружить отряд, да так, чтобы ни один человек не прискакал с предупреждением? А второй разъезд? А Липницкий?

«Не может быть, — повторял про себя Заглоба, утирая взмокший лоб, — чтобы этот змей, этот мужегубитель, этот Люцифер успел уже подойти из Кейдан! Неужто пришел наш последний час?!»

Между тем отовсюду все громче неслись голоса: «Радзивилл! Радзивилл!» Заглоба перестал сомневаться. Опрометью бросился он к Скшетускому.

— Ян, помоги! Час приспел!

— Что случилось? — спросил Скшетуский.

— Радзивилл идет! Я все отдаю в твои руки, ведь князь Иеремия говорил, что ты прирожденный вождь. Я сам буду наблюдать, но ты уж советуй и в бой веди!

— Это не может быть Радзивилл, — сказал Скшетуский. — Откуда идет войско?

— От Волковыска. Говорят, они окружили Володыёвского и тот, другой разъезд, что я недавно послал.

— Это Володыёвский да чтоб дал себя окружить? Ты, отец, его не знаешь. Не кто иной это возвращается, как он сам.

— Да ведь говорят, будто сила великая.

— Слава богу! Видно, пан Сапега подошел.

— Господи боже мой! Ну что ты толкуешь? Ведь они дали бы знать. Липницкий поехал навстречу им.

— Вот и доказательство, что не Радзивилл это идет. Наши разведали, что за войско подходит, соединились с ним и вместе возвращаются. Пойдем, пойдем!

— Ну, не говорил ли я! — воскликнул Заглоба. — Все перепугались, а я подумал: не может быть! Сразу подумал! Пойдем! Живее, Ян, живей! А

они все растерялись! Ха-ха!

Оба торопливо вышли и, поднявшись на валы, где уже стояло войско, зашагали вдоль рядов; Заглоба сиял, то и дело останавливаясь, он кричал так, чтобы все его слышали:

— Вот и гости жалуют к нам! Только не падать духом! Коли это Радзивилл, я ему покажу дорогу назад, в Кейданы!

— Мы ему покажем! — кричало войско.

— Разжечь на валах костры! Мы не станем прятаться, пусть видят нас, мы готовы! Разжечь костры!

Солдаты мигом натаскали дров, и через четверть часа весь стан запылал так, что небо зардело, словно от зари. Отворачиваясь от огня, солдаты смотрели в темноту, в сторону Бобровников. Кто-то кричал, что слышит уже лязг оружия и конский топот.

Но вот в темноте раздались вдали мушкетные выстрелы. Заглоба схватил Скшетуского за полу.

— Открывают огонь! — с тревогой сказал он.

— Салютуют, — возразил Скшетуский.

После выстрелов слышались радостные клики. Сомнений больше не было; через минуту на взмыленных конях подскакало человек двадцать всадников с криком:

— Пан Сапега! Пан витебский воевода!

Как только солдаты услышали эти слова, они, как река в половодье, хлынули с валов и бросились навстречу войску с таким криком, что издали могло показаться, что это целый город кричит в минуту резни.

Заглоба сел на коня и во главе полковников тоже выехал на валы при всех своих регалиях: под бунчуком, с булавою и с цапельным пером на шапке.

Через минуту в круг света въехал витебский воевода во главе своих офицеров и с Володыёвским при своей особе. Это был уже немолодой, плотный мужчина, с лицом некрасивым, но умным и добродушным. Седые усы, ровно подстриженные над верхней губой, и такая же небольшая бородка делали его похожим на чужеземца, но одет он был на польский манер. Многими подвигами стяжал себе славу Сапега, но с виду больше был похож не на воителя, а на вельможу; те, кто знал его ближе, тоже говорили, что в лице воеводы Минерва преобладает над Марсом. Но, помимо Минервы и Марса, была в этом лице более редкая для тех времен красота, доброта души, которая отражалась в глазах, как луч солнца отражается в воде. С первого взгляда можно было признать в Сапеге мужа доблестного и справедливого.

- Ждали мы тебя, как отца родного! — кричали солдаты.
— Вот и пришел наш вождь! — растроганно восклицали другие.
— Vivat! Vivat!

Заглоба подскакал к Сапеге во главе полковников, а тот придержал коня и помахал им рысьим своим колпачком.

— Ясновельможный воевода! — начал Заглоба свою речь. — Будь я красноречив, подобно древним римлянам, или самому Цицерону, или, коль взять еще более древние времена, славному афинянину Демосфену, и то не сумел бы я выразить ту радость, коей преисполнились наши сердца при виде твоей особы. Вся Речь Посполитая ликует с нами, приветствуя мудрейшего сенатора и лучшего своего сына, и радость наша тем больше, что она неожиданна. Мы стояли на этих валах с оружием в руках, не приветствовать готовые, но сражаться. Не слезы проливать, но нашу кровь! Когда же стоустая молва разнесла, что не изменник это идет, но защитник отчизны, не великий гетман литовский, но воевода витебский, не Радзивилл, но Сапега...

Однако Сапеге хотелось, видно, скорее въехать в стан, потому что он махнул вдруг рукой с добродушной, хоть и барственной небрежностью и сказал:

- Идет и Радзивилл. Через два дня будет здесь!

Заглоба смешался и потому, что потерял нить, и потому, что весть о Радзивилле сильно его поразила. Минуту он стоял перед Сапегой, не зная, что говорить дальше; однако быстро овладел собой и, торопливо выхватив из-за пояса булаву, торжественно провозгласил, вспомнив, как бывало под Збаражем:

— Войско выбрало меня своим вождем, но я сей знак отдаю в более достойные руки, дабы младшим показать пример того, как pro publico bono^[159] надлежит отречься от величайших почестей.

Солдаты стали кричать, но Сапега только улыбнулся.

— Смотрите, пан брат, — сказал он, — как бы Радзивилл не заподозрил, что вы со страху отдаете булаву. Он бы вот как обрадовался!

— Уж он-то меня знает и в трусости не заподозрит, я ведь первый в Кейданах посрамил его и других увлек своим примером.

— Коли так, ведите меня в стан, — сказал Сапега. — Мне Володыёвский по дороге рассказывал, что хозяин из вас знаменитый и покушать у вас найдется, а мы устали и голодны.

С этими словами он тронул коня, за ним тронулись остальные, и все въехали в стан с неопишым ликованием. Заглоба вспомнил, что Сапега, по рассказам, и выпить не прочь, и попировать любит, и решил достойно

отпраздновать день прибытия воеводы. Он устроил такой богатый пир, какого в стане доселе не бывало. Все ели и пили. За чарою Володыёвский рассказывал о том, что произошло с ними под Волковыском: как окружил их внезапно гораздо больший отряд, который изменник Золотаренко прислал на подмогу своим, как совсем уж им конец пришел, когда внезапно подоспел Сапега, и отчаянная оборона сменилась полным торжеством.

— Задали мы им так pro metoia^[160], — говорил он, — что они теперь из стана носа не высунут.

Затем разговор перешел на Радзивилла. У витебского воеводы были самые свежие новости, от верных людей он знал все, что произошло в Кейданах. Он рассказал, что гетман литовский послал некоего Кмицица с письмом к шведскому королю и с просьбой сразу с двух сторон ударить вместе на Подляшье.

— Что за диво! — воскликнул Заглоба. — Ведь, не будь Кмицица, мы бы и по сию пору не собрали наши силы, и подожди только Радзивилл, съел бы он нас по одиночке, как седлецкие баранки.

— Мне пан Володыёвский об этом рассказывал, — промолвил Сапега, — из чего я заключаю, что Кмициц, верно, любит вас. Жаль, что не питает он такой любви к отчизне. Но люди, которые, кроме себя, знать никого не желают, никому не могут верно служить и каждого готовы предать, как этот ваш Кмициц Радзивилла.

— Но среди нас нет предателей, ясновельможный воевода, и мы при тебе готовы стоять насмерть! — сказал Жеромский.

— Я верю, что здесь у вас одни честные солдаты, — ответил воевода, — и никак не ждал найти у вас такой порядок и такое изобилие, за что нам следует поблагодарить пана Заглобу.

Заглоба покраснел от удовольствия, а то ему все казалось, что витебский воевода с ним, бывшим паном полководцем, обходится милостиво, но не с должным признанием и уважением. Он стал рассказывать, как правил, что сделал, какие собрал припасы, как пушки привез и составил пешую хоругвь, какую, наконец, обширную вел переписку.

Не без хвастовства упомянул он о письмах, посланных изгнанному королю, Хованскому и курфюрсту.

— После моего письма пан курфюрст должен ясно сказать, с нами он или против нас, — с гордостью сказал он.

Но витебский воевода был человек веселый, а может, и выпил немножко, он провел горстью по усам, улыбнулся не без яду и спросил:

— Пан брат, а цесарю вы не писали?

— Нет! — с удивлением ответил Заглоба.

— Какая жалость! — промолвил воевода. — Вот бы равный с равным побеседовал.

Полковники разразились громким смехом; но Заглоба сразу показал, что коли пан воевода пожелал быть косою, так тут коса нашла на камень.

— Ясновельможный пан, — сказал он, — курфюрсту я могу писать, ибо мы с ним оба избираем своих монархов: как шляхтич, я не так давно отдал свой голос за Яна Казимира.

— Ловко вывернулся! — улыбнулся витебский воевода.

— Но с таким монархом, как цесарь, я не состою в переписке, — продолжал Заглоба, — а то как бы кто-нибудь не вспомнил известное присловье, которое я слышал в Литве...

— Что же это за присловье?

— Голова-то неумна, знать, из Витебска она! — нимало не смущаясь, выпалил Заглоба.

Страх обнял полковников при этих словах; но витебский воевода так и покатился со смеху.

— Вот это убил! Дай обниму тебя! Бороду стану брить, у тебя язык займу!

Пир затянулся за полночь; прервали его шляхтичи, прибывшие из Тыкоцина; они привезли весть, что к городу подходят разъезды Радзивилла.

ГЛАВА VII

Радзивилл давно бы ударил на Подляшье, если бы по разным причинам не был принужден задержаться в Кейданах. Сперва он ждал шведских подкреплений, с присылкой которых умышленно тянул Понтус де ла Гарди. Узы родства соединяли шведского генерала с самим королем, но не мог он равняться с литовским магнатом ни знатностью рода, ни положением, ни обширными родственными связями; что ж до богатства, то хоть радзивилловская казна была сейчас пуста, однако половины княжеских имений хватило бы на всех шведских генералов и, поделив их между собою, они могли бы счесть себя богачами. Потому-то генерал, когда Радзивилл, по воле судеб, стал от него зависим, не мог отказать себе в удовольствии дать почувствовать князю эту зависимость и собственное свое превосходство.

Для того чтобы разбить конфедератов, Радзивилл вовсе не нуждался в подкреплениях, у него и своих сил было довольно, шведы нужны были ему по тем причинам, о которых в письме Володыёвскому упоминал Кмициц. От Подляшья Радзивилла отделяли полчища Хованского, которые могли преградить ему путь; но если бы он выступил с шведскими войсками и под эгидой шведского короля, всякий враждебный шаг со стороны Хованского надо было бы расценивать как вызов Карлу Густаву. В душе Радзивилл хотел этого и потому с таким нетерпением ожидал прибытия хотя бы одной шведской хоругви и, негодуя на Понтуса, не раз говорил своим придворным:

— Года два назад он бы за честь почел письмо от меня получить и детям бы его завещал, а сегодня спесивится, как вельможа.

Один шляхтич, известный во всей округе острослов, любивший резать правду в глаза, позволил себе однажды на это заметить:

— По пословице, ясновельможный князь, как постелешь, так и выспишься:

Радзивилл разгневался и приказал бросить шляхтича в темницу, однако на следующий день выпустил и золотую застезку подарил. Поговаривали, будто у шляхтича водились денежки, и князь хотел взять у него займы. Шляхтич застезку принял, а денег князю не дал.

Пришло наконец шведское подкрепление; отряд тяжелых рейтар в составе восьмисот сабель; три сотни пехоты и сотню легкой конницы Понтус послал прямо в Тыкоцинский замок, он хотел на всякий случай

иметь там собственный гарнизон.

Войска Хованского пропустили эти отряды, не оказав им никакого сопротивления, и в Тыкоцин шведы тоже прибыли благополучно, так как конфедератские хоругви были в ту пору еще разбросаны по всему Подляшью и только грабили радзивилловские поместья.

Все думали, что, дождавшись вождя подкрепления, князь тотчас двинется в поход; однако он все еще медлил. До него дошли вести о беспорядках в Подляшском воеводстве, об отсутствии единства у конфедератов и распрях между Котовским, Липницким и Якубом Кмицицем.

— Надо дать им время, — говорил князь, — чтоб они друг дружке в волосы вцепились. Сами перегрызутся, и сгинет их сила без войны, а мы тем временем ударим на Хованского.

И вдруг стали приходить совсем иные вести: полковники не только не передрались друг с другом, но сосредоточили все свои силы под Белостоком. Князь терялся в догадках, что бы могла означать эта перемена. Наконец его слуха достигло имя полководца Заглобы. Дали знать ему и о том, что конфедераты построили укрепленный стан, что войско снабжено провиантом и Заглоба раздобыл в Белостоке пушки, что силы конфедератов растут и в ряды их вливаются охотники из других воеводств.

Такой гнев обуял князя Януша, что неустрашимый Ганхоф сутки не решался к нему приступить.

Наконец хоругвям был дан приказ готовиться в поход. В течение дня в боевую готовность была приведена целая дивизия: один полк немецкой пехоты, два шотландской, один литовской; артиллерию вел Корф, Ганхоф принял начальство над конницей. Кроме драгун Харлампа и шведских рейтар была легкая хоругвь Невяровского и тяжелая княжеская хоругвь, в которой помощником ротмистра был Слизень. Это были большие силы, состоявшие из одних ветеранов. Во время первых войн с Хмельницким князь примерно с такими силами одержал победы, которые покрыли его имя бессмертною славой; с такими силами разбил он Полумесяц, Небабу^[161], наголову разгромил под Лоевом многотысячное войско преславного Кречовского^[162], вырезал всех жителей Мозыря и Турова, штурмом взял Киев и так прижал в степях Хмельницкого, что тот вынужден был искать спасения в переговорах.

Но, видно, закатывалась звезда могучего воителя, и злые предчувствия томили его душу. Он пытался заглянуть в будущее, но оно было темно. Двинется он в Подляшье, потопчет мятежников, велит шкуру содрать с

ненавистного Заглобы — и что же? Что дальше? Какая перемена произойдет в его судьбе? Разве ударит он тогда на Хованского, отомстит за поражение под Цибиховом и увенчает главу новыми лаврами? Да, говорил себе князь, но и сам сомневался в этом, ибо уже распространился слух о том, что полчища московитов, опасаясь роста шведского могущества, собираются прекратить войну и, быть может, даже заключат союз с Яном Казимиром. Сапега еще учинял на московитов набег, еще громил их, где мог, но в то же время вел уже с ними переговоры. Такие же намерения питал Госевский.

В случае ухода Хованского не станет для Радзивилла последнего поля, где бы он мог показать свою силу, а если Ян Казимир сумеет заключить союз с московитами и устремит на шведов своих нынешних врагов, тогда счастье может склониться на его сторону и изменить шведам, а тем самым и Радзивиллу.

Правда, из Коронной Польши доходили самые благоприятные вести. Успехи шведов превзошли все ожидания. Воеводства покорялись одно за другим; в Великой Польше шведы хозяйничали, как у себя дома, в Варшаве правил Радзеёвский; Малая Польша не оказывала сопротивления, с минуты на минуту должен был пасть Краков; король, покинутый войсками и шляхтой, утратив веру в свой народ, бежал в Силезию, и сам Карл Густав удивлялся той легкости, с какой он сокрушил державу, которая доньше в войнах со шведами всегда одерживала победы.

Но именно в этой легкости усматривал Радзивилл опасность для себя, ибо предвидел, что ослепленные успехами шведы не станут считаться с ним, не станут замечать его, тем более что он оказался вовсе не таким могущественным властелином Литвы, как думали все, в том числе и он сам.

Отдаст ли тогда ему шведский король Литву или хотя бы Белоруссию?! Не захочет ли кинуть восточный кусок Речи Посполитой вечно голодному соседу, чтобы развязать себе руки во всей остальной Польше?

Эти вопросы непрестанно терзали душу князя Януша. Дни и ночи томила его тревога. Он думал, что и Понтус де ла Гарди не посмел бы обходиться с ним с такой надменностью, почти пренебрежением, если бы не надеялся, что король одобрит его, или, что еще горше, не имел на то прямых указаний.

«Покуда я стою во главе нескольких тысяч солдат, — думал Радзивилл, — они еще будут со мною считаться, но что будет, когда иссякнут деньги и разбегутся наемные полки?»

А тут, как нарочно, не поступали доходы с огромных поместий;

большая часть их, рассеянная по всей Литве и дальше на юг, до самого киевского Полесья, лежала в развалинах, подляшские поместья были вконец разорены конфедератами.

Минутами князю казалось, что он стоит на краю пропасти. После всех трудов и козней одно лишь могло остаться ему — имя изменника, и ничего больше.

Страшил его и другой призрак — призрак смерти. Почти каждую ночь являлся он у полога его ложа и манил рукою, будто хотел сказать: идем во тьму, на тот берег неведомой реки!

Если бы он стоял на вершине славы, если бы мог хоть на день один, хоть на час один возложить на свою главу вожделенную корону, неустрашимым оком взирал бы он на ужасное, немое виденье. Но умереть и оставить по себе бесславие, презрение людей — это гордому, как сам сатана, властелину казалось адом на земле.

Не однажды, когда он оставался один или со своим астрологом, которому слепо верил, он сжимал виски и повторял сдавленным голосом:

— Горит, горит душа моя, горит!

Вот как собирался князь в поход на Подляшье, когда накануне выступления ему дали знать, что князь Богуслав выехал из Таурогов.

От одной этой вести воспрянул Радзивилл, еще не видя брата, ибо князь Богуслав вез с собою молодость, слепую веру в будущее. В нем должна была возродиться биржанская линия, только для него одного трудился теперь князь Януш.

Узнав, что брат приближается к Кейданам, князь непременно хотел выехать ему навстречу; но брат был моложе его, и такая встреча была бы нарушением этикета; князь послал только за Богуславом раззолоченную карету и целую хоругвь Немяровского для сопровождения, а с вала, насыпанного Кмицицем, и из самого замка приказал палить из мортир, как навстречу прибывающему королю.

Когда после приветственной церемонии братья наконец остались одни, Януш заключил Богуслава в объятия, повторяя взволнованным голосом:

— Молодость моя воротилась сейчас ко мне! И здоровье воротилось!

Но князь Богуслав пристально поглядел на брата и спросил:

— Ясновельможный князь, что с тобою?

— Что нам друг дружку величать, коль скоро нас никто не слышит! Что со мною? Болезнь меня точит, покуда не свалит совсем, как трухлявое дерево. Но довольно об этом! Как там супруга моя и Марыся?

— Они из Таурогов уехали в Тильзит. Обе здоровы, а Marie как розовый бутон. Дивная это будет роза, когда расцветет. Ma foi! Красивей

ножки нет ни у кого на свете, косы до полу...

— Так хороша она тебе показалась? Вот и отлично! Это бог тебя надоумил заглянуть сюда. Легче у меня на душе, когда я вижу тебя! Но что ты мне привез de publicis? Как курфюрст?

— Ты знаешь, что он заключил союз с прусскими городами?

— Знаю.

— Но они ему не очень доверяют. Гданск не хотел впустить его гарнизон. Нюх у немцев хороший.

— И это знаю. А ты не писал ему? Что он о нас думает?

— О нас? — рассеянно повторил князь Богуслав.

И стал озираться по покою, затем встал; князь Януш подумал, не ищет ли он чего-нибудь, но Богуслав подбежал к зеркалу, стоявшему в углу, и, откинув его, стал ощупывать пальцем правой руки все лицо.

— Кожа у меня в дороге немного обветрилась, — сказал он наконец. — Ничего, до утра пройдет... Что думает о нас курфюрст? Да ничего!.. Писал мне, что о нас не забудет.

— Как это не забудет?

— Письмо у меня с собой, я тебе его покажу. Пишет, если что случится, он о нас не забудет. И я ему верю, ведь это к его же выгоде. Речь Посполитая ему так же нужна, как мне старый парик, он бы охотно отдал ее шведам, когда бы мог заполучить Пруссию; но могущество шведов его уже тревожит, и на будущее он хотел бы иметь готового союзника, и он будет его иметь, коль ты воссядешь на литовский трон.

— Когда бы так оно было! Не для себя я жажду этого трона!

— Для начала, пожалуй, не удастся выторговать всю Литву, но хоть изрядный кус с Белоруссией и Жмудью.

— А шведы?

— Шведы тоже будут рады отгородиться нами от востока.

— Ты бальзам вливаешь мне в душу!

— Бальзам! Ах да! Какой-то колдун в Таурогах хотел продать мне бальзам, он уверял, что кто этим бальзамом помажется, того ни сабля не берет, ни шпага, ни копье. Я тут же велел смазать его и ткнуть копьем, представь, драбант проткнул его насквозь!

Князь Богуслав рассмеялся, обнажив белые, как слоновая кость, зубы. Но не по душе были Янушу эти речи, и он снова заговорил.

— Я послал письма шведскому королю и многим нашим вельможам, — сказал он. — Кмициц и тебе должен был вручить письмо.

— Постой! Ведь я отчасти и по этому делу приехал. Что ты думаешь о Кмицице?

— Горячая, шальная голова, опасный человек, не терпит никакой узды, но это один из тех немногих, кто верно нам служит.

— Куда как верно! — прервал его Богуслав. — Меня чуть не отправил к праотцам.

— Как так? — встревожился Януш.

— Говорят, что стоит растравить в тебе желчь, и у тебя тотчас начинается удушье. Обещай же, что выслушаешь меня спокойно и терпеливо, и я расскажу тебе кое-что о твоём Кмицице. Ты тогда его лучше узнаешь.

— Ладно! Буду терпелив, рассказывай!

— Только чудом ушел я от этого исчадия ада... — начал князь Богуслав.

И стал рассказывать обо всем, что произошло в Пильвишках.

Не меньшим чудом было то, что у князя Януша не началось удушье; казалось, его тут же хватит удар. Он весь трясся, скрежетал зубами, закрывал руками глаза, наконец хриплым голосом закричал:

— Ах, так?! Ладно же! Он только забыл, что его девка в моих руках!

— Ради бога, возьми себя в руки и слушай дальше, — остановил его Богуслав. — Я расчелся с ним по-кавалерски и не занес этого подвига в семейную хронику и хвастаться им не стану лишь по той причине, что мне стыдно. Подумать только, сам Мазарини говорил, что в интриге и коварстве равного мне нет даже при французском дворе, а я, как ребенок, дал обвести себя этому грубияну. Ну довольно об этом! Я сперва думал, что убил этого твоего Кмицица, а нынче знаю, что он все-таки отлежался.

— Пустое! Мы отыщем его! Откопаем! Из-под земли добудем! А куда я нанесу ему такой удар, что будет побольнее, чем если бы с живого велели шкуру содрать.

— Никакого удара ты ему не нанесешь, только повредишь своему здоровью. Послушай! По дороге сюда заметил я простолюдина верхом на пегой лошади, он все держался поблизости от моей коляски. Я и заметил его по этой пегой лошади и в конце концов велел подозвать к себе. «Куда едешь?» — «В Кейданы». — «Что везешь?» — «Письмо князю воеводе». Я велел дать мне письмо, а так как тайн между нами нет, прочитал его. Вот оно!

С этими словами он протянул князю Янушу то самое письмо Кмицица, которое тот писал в лесу, когда собирался с Кемличами в путь.

Князь пробежал глазами письмо, комкая его в ярости.

— О, боже, все правда, все правда! — вскричал он наконец. — У него мои письма, которые не только могут навлечь на нас подозрения шведского

короля, но и смертельно оскорбить его!..

Тут у князя поднялась икота и начался, как и следовало ожидать, приступ. Широко раскрытым ртом он жадно ловил воздух, руки рвали у горла одежду. Богуслав хлопнул в ладоши, вбежали слуги.

— Помогите князю, — приказал он, — а когда отдышитесь, попросите ко мне в покои, я покуда немного отдохну.

И вышел вон.

Спустя два часа князь Януш с налившимися кровью глазами, припухшими веками и синим лицом постучался к Богуславу. Богуслав принял его в постели; лицо его было смазано миндальным молоком для придания коже мягкости и блеска. Без парика, без румян и сурьмы он выглядел гораздо старше; но князь Януш не обратил на это внимания.

— Рассудил я, — начал он разговор, — что не может Кмициц предать эти письма гласности, — ведь тем самым он подписал бы смертный приговор своей девке. Он прекрасно понимает, что только этим держит меня в руках, но и я не могу отомстить ему, и так бешусь, словно разъяренный пес сидит у меня в груди.

— Надо, однако же, непременно добыть эти письма! — заметил Богуслав.

— Но quo modo?^[163]

— Ловкого человека надо подослать к Кмицицу; пусть отправится к нему, пусть войдет в доверие и при первом же удобном случае выкрадет письма, а самого пырнет ножом. Посулить за это надо большую награду.

— Кто же возьмется за такое дело?

— Будь это в Париже или даже в Германии, я бы в тот же день нашел сотню охотников, но в этой стране, пожалуй, не достать и такого товара.

— А послать надо своего человека, чужеземца он будет опасаться.

— Тогда предоставь это дело мне, я, может, найду кого-нибудь в Пруссии.

— Эх, захватил бы он его живьем да отдал мне в руки! Я бы за все зараз отплатил. Говорю тебе, в своей дерзости этот человек переступил всякие границы. Я и услал его потому, что он мною играл, как хотел, по всяким пустякам, как кошка, на меня бросался, во всем навязывал свою волю. Сто раз готов был сорваться у меня с губ приказ расстрелять его. Но не мог я, не мог!

— Скажи, он и впрямь сродни нам?

— Кишкам он и впрямь сродни, а стало быть, и нам.

— Сущий дьявол и очень опасный враг!

— Он? Да ты бы мог приказать ему поехать в Царьград и столкнуть с

трона султана или шведскому королю бороду оторвать и привезти ее в Кейданы! Что он тут вытворял во время войны!

— По всему видно. А мстить он нам поклялся до последнего вдоха. По счастью, я дал ему хороший урок, показал, что одолеть нас дело нелегкое. Сознайся, по-радзивилловски я расправился с ним. Когда бы таким подвигом мог похвастаться какой-нибудь французский кавалер, он бы врал об этом с утра до ночи, разве что во сне молчал бы, за обедом да за поцелуями. Уж они, если сойдутся, врут наперебой, так что солнцу и то стыдно на них глянуть!

— Это верно, что ты его поборол, но лучше, если бы ничего этого не было.

— Нет, уж лучше бы ты прислужников выбирал себе поосторожней, чтоб не ломали они радзивилловских костей.

— Эти письма! Эти письма!

Братья на минуту умолкли; первым прервал молчание Богуслав:

— Что это за девка?

— Панна Биллевич, ловчанка.

— Что ловчанка, что шляхтянка из застянка — одна цена. Ты заметил, что мне рифму подобрать все равно, что другому плюнуть. Да я не про то спрашиваю, а хороша ли она собою?

— Я на девок не гляжу, но только и польская королева не постыдилась бы такой красоты.

— Польская королева? Мария Людовика? Во времена Сен-Марса^[164] она, может, и была хороша собой, но сейчас собаки воют при виде этой бабы. Коль и твоя панна Биллевич такая красотка, побереги ее для себя. Но коль она и впрямь прелестна, отдай мне ее, я увезу ее в Тауроги, и мы там вместе обдумаем, как отомстить Кмицицу.

Януш на минуту задумался.

— Не дам я тебе ее, — сказал он наконец. — Ты силой ее приневолишь, а тогда Кмициц предаст огласке письма.

— Это я-то прибегну к силе против вашей прелестницы? Не хвлясь, скажу, не с такими доводилось иметь дело, и ни одной я не неволил. Один только раз во Фландрии... Глупая девка была, золотых дел мастера дочка. Пришла потом испанская пехота, им все дело и приписали.

— Ты этой девки не знаешь. Она из хорошего дома, ходячая добродетель, монашенка, можно сказать.

— Знаем мы толк и в монашенках.

— И к тому же ненавидит она нас, ибо *hic mulier*^[165], патриотка. Она и

Кмицица сбила с пути. Немного таких жен найдется у нас, мужской у нее ум, она ярая приверженка Яна Казимира.

— Так мы умножим число его защитников!

— Нельзя! Кмициц предаст гласности письма. Беречь я должен ее, как зеницу ока... до поры до времени. Потом отдам ее тебе или твоим драгунам, — мне все едино!

— Даю тебе слово кавалера, что не стану брать ее силой, а слово, которое я даю в приватном деле, я всегда свято держу. В политике — это дело другое. Стыдно было бы мне, когда б я сам не мог с нею сладить.

— Не сладишь.

— Ну, в крайнем случае даст она мне пощечину, от женщины это не бесчестье. Ты вот в Подляшье уходишь, что будешь с нею делать? С собой ведь не возьмешь и здесь не оставишь, сюда шведы придут, а надо, чтобы *comme otage*^[166] девка в наших руках оставалась. Ну не лучше ли будет, если я возьму ее в Тауроги, а к Кмицицу не разбойника пошлю, а гонца с письмом, в котором напишу: отдай письма, отдам тебе девку.

— Верно! — воскликнул князь Януш. — Это хорошее средство.

— А коль отдам ему ее не совсем такую, какую взял, — продолжал Богуслав, — то и мести будет начало положено.

— Но ты дал слово, что не станешь насильничать?

— Дал и еще раз повторяю, стыдно было бы мне...

— Тогда тебе придется взять с собой и ее дядю, россиенского мечника, он здесь у меня с нею.

— Не желаю. Шляхтич, наверно, по-вашему обыкновению, носит в сапогах подстилки из соломы, а я этого не терплю.

— Одна она не захочет ехать.

— Это мы еще посмотрим. Позови их сегодня на ужин, чтобы я мог поглядеть и решить, стоит ли попробовать ее на зубок, а тем временем я подумаю, как покорить ее сердце. Только не говори ты ей, ради Христа, о том, что сделал Кмициц, а то это возвысит его в ее глазах, и она останется верна ему. А за ужином, что бы я ни говорил, ни в чем мне не противоречь. Увидишь, как стану я ее покорять, вспомнишь свои молодые годы.

Князь Януш махнул рукой и вышел, а князь Богуслав подложил руки под голову и стал придумывать средства, как покорить сердце девушки.

ГЛАВА VIII

Кроме россиенского мечника с Оленькой на ужин позвали высших кейданских офицеров и кое-кого из придворных князя Богуслава. Сам он явился такой нарядный и такой красивый, что глаз не отведешь. Парик его был преискусно завит в волнистые букли, лицо нежностью и цветом было подобно кипени и розе, усы — чистому шелку, глаза — звездам. Он был весь в черном; разрезные рукава черного кафтана, сшитого из бархатных и матерчатых полос, были застегнуты по руке до плеч. Широкий отложной ворот из прелестнейших брабантских кружев, которым цены не было, обрамлял его шею, кисть украшали такие же манжеты. Золотая цепь ниспадала на грудь, а переброшенная через правое плечо на левый бок шпажная перевязь голландской кожи была вся осыпана брильянтами и переливалась, словно полоса солнечного блеска. Так же сверкала осыпанная брильянтами рукоять шпаги, а в бантах башмаков играли два самых крупных брильянта, величиною с лесной орех. Надменен осанкою, столь же благороден, сколь и прекрасен был с виду князь Богуслав.

В одной руке он сжимал кружевной платок, другою придерживал шляпу, надетую по тогдашней моде на рукоять шпаги и украшенную черными завитыми страусовыми перьями непомерной длины.

Все, не исключая князя Януша, смотрели на него с восторгом и восхищением. Князь воевода вспомнил свои молодые годы, когда он при французском дворе вот так же подавлял всех красотой и богатством. Далекие были это годы, но гетману казалось, что теперь он снова возродился в блистательном кавалере, носившем то же имя, что и он.

Развеселился князь Януш и, проходя мимо, коснулся указательным пальцем груди брата.

— Ты словно месяц ясный, — сказал он. — Уж не для панны Биллевич так нарядился?

— Месяц всюду проникнет, — хвастливо ответил Богуслав.

И продолжал разговор с Ганхофом, около которого, быть может не без умысла, остановился, чтобы показаться еще краше: Ганхоф был на редкость безобразен, лицо у него было темное, рябое, нос ястребиный, усы торчком; ангелом тьмы казался он, а Богуслав рядом с ним ангелом света.

Но вот вошли дамы: пани Корф и Оленька. Богуслав бросил на Оленьку быстрый взгляд и, небрежно поклонившись пани Корф, готов уже был прижать пальцы к губам, чтобы по кавалерской моде послать девушке

воздушный поцелуй; но, заметив гордую, величественную и тонкую ее красоту, мгновенно переменял тактику. Правой рукой он схватил свою шляпу и, приблизясь к девушке, поклонился так низко, что согнулся почти кольцом, букли парика упали по обе стороны плеч, шпага вытянулась вдоль, а он все стоял так, нарочно метя пол перьями шляпы в знак почтительного восхищения. Более изысканного поклона он не мог бы отвесить самой французской королеве. Оленька, которая знала об его приезде, сразу догадалась, кто стоит перед нею, и, прихватив кончиками пальцев платье, сделала такой же глубокий реверанс.

Все пришли в восторг, в одном этом поклоне увидев всю красоту и изысканность манер обоих, не очень знакомую Кейданам, так как княгиня Радзивилл, будучи валашкой^[167], больше любила восточную пышность, нежели изысканность, а княжна была еще маленькой девочкой.

Но тут Богуслав поднял голову, легким движением откинул на спину букли парика и, усиленно шаркая ногами, поспешил к Оленьке; бросив пажу свою шляпу, он в ту же минуту подал девушке руку.

— Глазам своим не верю... Уж не сон ли это? — говорил он, ведя ее к столу. — Скажи, прелестная богиня, каким чудом сошла ты с Олимпа к нам, в Кейданы?

— Хоть не богиня я, простая шляхтянка, — ответила Оленька, — но не так уж проста, чтобы не увидеть в твоих речах, ясновельможный князь, не более как обыкновенную учтивость.

— Будь я самым учтивым кавалером, твое зеркало скажет тебе больше, чем я.

— Скажет не больше, но прямей, — ответила она и сложила, по тогдашней моде, губы сердечком.

— Будь хоть одно в этом покое, я бы тотчас подвел тебя к нему! А покуда загляни мне в глаза, посмотришь, и ты увидишь, искренен ли их восторг!

Богуслав склонил голову, и перед Оленькой блеснули его большие глаза, бархатные, сладостные, пронзительные и жгучие. От их огня лицо девушки вспыхнуло ярким румянцем, она потупила взор и слегка отстранилась, почувствовав, что Богуслав легонько прижал к себе ее руку.

Так они подошли к столу. Он сел рядом с нею, и видно было, что красота ее в самом деле произвела на него необыкновенное впечатление. Он, верно, думал увидеть пригожую, как лань, шляхтяночку, визгливую, как сойка, хохотунью, с лицом, как маков цвет, а нашел гордую панну, у которой в изломе черных бровей читалась непреклонная воля, в глазах строгость и ум, во всем облике детское спокойствие и ясность, и притом

такое благородство в осанке, такое изящество и прелесть, что при любом королевском дворе она могла бы стать предметом обожания первых в стране кавалеров.

Восторг и желанье будила неизъяснимая ее красота; но было в этой красоте величие, смирявшее порыв страстей, так что Богуслав невольно подумал: «Слишком рано прижал я руку, такую наглостью не возьмешь, потоньше надо!»

Тем не менее он положил покорить ее сердце и испытал дикую радость при мысли о том, что придет минута, когда это девственное величие и эта чистая прелесть отдадутся на его милость. Грозное лицо Кмицица заслоняло его мечтанья; но для дерзкого кавалера это было лишь еще одною приманкой. Он весь запылал от этих чувств, кровь заиграла в его жилах, как у восточного скакуна, все движения необычайно оживились, он весь сиял, как его брильянты.

Разговор за столом стал общим, верней сказать, превратился в хор лести и похвал Богуславу, которым блестящий кавалер внимал с улыбкою, но без особого восторга, как речам привычным, обыденным. Заговорили прежде всего о ратных его подвигах и поединках. Имена побежденных князей, маркграфов, баронов сыпались, как из рога изобилия. Князь сам то и дело прибавлял небрежно какое-нибудь новое имя. Слушатели изумлялись, князь Януш довольно поглаживал свои длинные усы, наконец Ганхоф сказал:

— Даже если бы богатство твое и происхождение не были тому помехой, не хотел бы я, вельможный князь, стать на твоём пути. Одно мне только удивительно, что находятся еще смельчаки.

— Что ты хочешь, пан Ганхоф! — сказал князь. — Есть люди с грубыми лицами и взглядом свирепым, как у дикой кошки, один вид которых может утратить человека; но мне бог отказал в этом! Моего лица и панны не пугаются.

— И не боятся, как мошки факела, — игриво и жеманно промолвила пани Корф, — куда не стоят.

Богуслав рассмеялся, а пани Корф продолжала, все так же жеманясь:

— Рыцарям про поединки любопытно знать, а нам, женщинам, хотелось бы послушать, ясновельможный князь, и про твои амуры, молва о них дошла ведь и до нас.

— Выдумки все это, милостивая пани, одни выдумки! Много лишнего тут понаказали! Сватали мне принцесс, это правда. Ее величество королева французская была столь милостива...

— Сватала принцессу де Роган, — вставил Януш.

— И еще одну, де ла Форс, — прибавил Богуслав, — но сердцу и сам король не может приказать, а богатства нам, слава богу, нет нужды искать во Франции, потому-то ничего из сватовства и не вышло. Благовоспитанные были принцессы, ничего не скажешь, и собою хороши необыкновенно; но ведь у нас и краше найдешь!.. Из покоя выходить не надо...

Он бросил при этих словах долгий взгляд на Оленьку, но та, притворяясь, будто не слышит, стала что-то говорить россиенскому мечнику.

— Красавиц и у нас немало, — снова заговорила пани Корф, — но нет тебе ровни, ясновельможный князь, ни богатством, ни знатностью.

— Позволь не согласиться с тобою, милостивая пани, — с живостью возразил Богуслав. — Первое дело, не думаю я, чтобы польская шляхтянка была ниже каких-нибудь принцесс Роган и Форс, а потом, не впервой Радзивиллам жениться на шляхтянках, история знает тому много примеров. Уверяю тебя, милостивая пани, что шляхтянка, которая выйдет за Радзивилла, и при французском дворе будет выше тамошних принцесс.

— Вот это простой пан! — шепнул Оленьке россиенский мечник.

— Я всегда так думал, — продолжал Богуслав, — хоть и стыдно мне бывает за польскую шляхту, как посравню я ее с иноземным дворянством. Никогда бы там такое не случилось, чтобы все оставили своего государя, мало того, готовы были посягнуть на его жизнь. Французский дворянин совершит самый гадкий поступок, но государя своего не предаст!

Обменявшись взглядами, гости удивленно посмотрели на князя Богуслава. Князь Януш нахмурился, насупился, а Оленька впиалась своими голубыми глазами в лицо Богуслава с выражением восхищения и благодарности.

— Ты прости меня, ясновельможный князь, — обратился Богуслав к Янушу, который не успел еще овладеть собой, — знаю я, иначе ты не мог поступить, ибо вся Литва погибла бы, когда бы ты последовал моему совету; но хоть что я тебя как старшего и люблю как брата, не перестану я ссориться с тобой за Яна Казимира. Добрый, милостивый, набожный государь, не забыть нам его никогда, а мне он вдвойне дорог! Ведь это я первый из поляков сопровождал его, когда он вышел из французской темницы. Я был тогда почти ребенком, тем более памятен мне этот день. Жизнь свою я бы с радостью отдал, чтобы защитить его от тех, кто строит ковы против его священной особы.

Янушу, который понял уже игру Богуслава, она показалась слишком смелой и неосторожной ради столь ничтожной цели, и, не скрывая своего неудовольствия, он сказал:

— О боже, о каких умыслах на жизнь бывшего нашего короля толкуешь ты, ясновельможный князь? Кто их лелеет? Где сыщется такое monstrum^[168] в польском народе? Да в Речи Посполитой такого от сотворения мира не бывало!

Богуслав поник головою.

— Не далее как месяц назад, — сказал он с печалью в голосе, — когда ехал я из Подляшья в курфюрстовскую Пруссию, в Тауроги, ко мне явился один шляхтич... из хорошего дома. Не зная, видно, истинных чувств, кои питаю я к нашему государю, шляхтич решил, что враг я ему, как иные. За большую награду посулил он отправиться в Силезию, похитить Яна Казимира и живым или мертвым выдать его шведам...

Все онемели от ужаса.

— А когда я с гневом и отвращением отверг его предложение, — закончил Богуслав, — этот медный лоб сказал мне: «Поеду к Радзеёвскому, тот мне щедро золотом заплатит!»

— Я не друг бывшему королю, — сказал Януш, — но когда бы мне кто-нибудь сделал такое предложение, я приказал бы без суда поставить его к стенке, а напротив — шестерых мушкетеров.

— В первую минуту и я хотел так поступить, — ответил Богуслав, — но мы говорили один на один, и как же все стали бы тогда кричать о тиранстве и самовольстве Радзивиллов! Я только припугнул его, сказал, что и Радзеёвский, и шведский король, и даже сам Хмельницкий казнят его за это; словом, я довел этого преступника до того, что он отказался от своего умысла.

— Зачем? Живым не надо было отпускать! Посадить на кол злодея — вот чего достоин он! — вскричал Корф.

Богуслав обратился вдруг к Янушу:

— Я надеюсь, что кара его не минует, и первый предлагаю не дать ему умереть своею смертью; но казнить его можешь только ты один, ясновельможный князь, ибо он твой придворный и твой полковник!

— О, боже! Мой придворный? Мой полковник? Кто он? Говори, ясновельможный князь!

— Его зовут Кмициц! — сказал Богуслав.

— Кмициц?! — в ужасе повторили все присутствующие.

— Это неправда! — крикнула внезапно панна Билевич, вставая с кресла; грудь ее вздымалась, глаза сверкали гневом.

Воцарилось немое молчание. Одни не успели еще опомниться, ошеломленные страшной новостью, другие были потрясены дерзостью девушки, которая осмелилась бросить в лицо молодому князю обвинение

во лжи; россиенский мечник бормотал только: «Оленька! Оленька!» — а Богуслав, изобразив печаль на лице, сказал без гнева:

— Коли он родич или нареченный жених твой, милостивая панна, то мне жаль, что я рассказал эту новость; но выбрось его из сердца, ибо недостойн он тебя!

Минуту еще стояла она, пылая и дрожа от муки и ужаса; но краска медленно сошла с ее лица, и оно снова стало холодным и бледным; она опустилась в кресло и сказала:

— Прости, ясновельможный князь! Зря я тебе прекословила. От этого человека всего можно ждать!

— Пусть меня бог накажет, коль чувствую я что-нибудь еще, кроме жалости, — мягко ответил князь Богуслав.

— Это был нареченный жених панны Александры, — промолвил князь Януш. — Я сам их сватал. Человек молодой, горячая голова, натворил тут бог весть чего. Я спасал его от суда, ибо солдат он храбрый. Знал, что был он смутьян и смутьяном останется. Но чтобы шляхтич дошел до такой низости — этого я не ждал даже от него.

— Злой он был человек, я давно это знал! — сказал Ганхоф.

— И не остерег меня? Почему же? — с укоризною в голосе спросил Януш.

— Я боялся, ясновельможный князь, что ты меня в зависти заподозришь, — ведь он всегда и во всем был первым.

— *Horribile dictu et auditu*^[169], — сказал Корф.

— Не будем больше говорить об этом! — воскликнул Богуслав. — Коли вам тяжело слушать, то каково же панне Биллевич.

— Ясновельможный князь, не обращай на меня внимания, — сказала Оленька, — я все теперь готова выслушать.

Однако ужин подошел к концу; подали воду для рук, после чего князь Януш встал первым и подал руку пани Корф, а Богуслав Оленьке.

— Изменника господь уже наказал, ибо кто потерял тебя, потерял небо, — сказал он ей. — Нет и двух часов, как я с тобой познакомился, прелестная панна, а рад бы видеть тебя вечно не в скорби и слезах, а в радости и счастье!

— Спасибо, ясновельможный князь! — ответила Оленька.

Когда дамы ушли, мужчины снова вернулись к столу искать утехи в вине, и чары пошли по кругу. Князь Богуслав пил до изумления, потому что был доволен собой. Князь Януш беседовал с россиенским мечником.

— Утром я ухожу с войском в Подляшье, — сказал он ему. — В Кейданы придет шведский гарнизон. Бог один знает, когда я ворочусь. Ты

не можешь, милостивый пан, оставаться здесь один с девушкой среди солдат, это не прилично. Вы поедете с князем Богуславом в Тауроги, девушка может остаться там при дворе княгини.

— Ясновельможный князь! — ответил ему россиенский мечник. — Бог дал нам собственный угол, зачем же нам уезжать в чужие края? Великая это милость, что ты о нас помнишь. Но не хотим мы злоупотребить ею, и лучше бы нам воротиться под собственный кров.

Князь не мог объяснить мечнику всех причин, почему ни за что на свете не хочет он выпускать Оленьку из своих рук, но об одной из них он сказал ему со всей жестокой откровенностью магната:

— Коль хочешь счесть это за милость, что ж, тем лучше! Но я тебе скажу, что это и предосторожность. Ты будешь там заложником, ответишь мне за всех Билевичей, которые, я это хорошо знаю, не из числа моих друзей и готовы поднять против меня Жмудь, когда я уйду в поход. Посоветуй же им сидеть здесь смиренно, ничего против шведов не предпринимать, ибо за это вы мне головой ответите, ты и твоя племянница.

У мечника, видно, терпение лопнуло, он ответил с живостью:

— Напрасно стал бы я ссылаться на свои шляхетские права. Сила, ясновельможный князь, на твоей стороне, а мне все едино, где сидеть в темнице, — пожалуй, там даже лучше, нежели в Кейданах!

— Довольно! — грозно сказал князь.

— Ну что ж, довольно так довольно! — ответил мечник. — Но бог даст, кончатся насилия, и снова будет царствовать закон. Короче: не грози мне, ясновельможный князь, я тебя не боюсь.

Богуслав, видно, заметил, что молнии гнева бороздят лицо Януша, и торопливо приблизился к собеседникам.

— О чем это вы толкуете? — спросил он, встав между ними.

— Я сказал пану гетману, — сердито ответил мечник, — что, по мне, лучше темница в Таурогах, нежели в Кейданах.

— Нет в Таурогах темницы, там дом мой, и примут тебя там как родного. Я знаю, гетман хочет видеть в тебе заложника, но я вижу дорогого гостя.

— Спасибо, ясновельможный князь, — ответил мечник.

— Это тебе, милостивый пан, спасибо! Давай чокнемся да выпьем вместе, ибо дружбу, говорят, надо тотчас полить вином, чтобы не завяла она в самом зародыше.

С этими словами Богуслав подвел мечника к столу, и они стали чокаться, пить да знай подливать.

Спустя час мечник, покачиваясь, возвращался к себе.

— Простой пан! Достойный пан! — повторял он вполголоса. — Лучше его днем с огнем не сыщешь! Золото! Чистое золото! Я бы за него жизнь не пожалел!

Братья между тем остались одни. Им надо было поговорить, да и письма пришли, за которыми к Ганхофу был послан паж.

— Во всех твоих речах о Кмицице, — заговорил Януш, — само собою, ни слова правды?

— Само собою, ни слова! И ты это лучше меня знаешь. Ну, каково? Сознайся, не прав разве был Мазарини? Одним ударом жестоко отомстить врагу и пробить брешь в этой прелестной крепости! А? Кто еще так сумеет? Вот это интрига, достойная первого в мире двора! Нет, что за жемчужина эта панна Билевич, а как хороша, а как горда, как величава, прямо княжеской крови! Я думал, ума лишусь!

— Помни, ты дал слово! Помни, ты погубишь нас, если Кмициц предаст гласности письма.

— Какие брови! Какой царственный взгляд, да тут невольно станешь почтительным. Откуда в этой девке такое царственное величие? Видал я однажды в Антверпене искусно вышитую на гобелене Диану, которая натравливала псов на Актеона. Точь-в-точь она!

— Смотри, чтобы Кмициц не предал гласности письма, не то псы нас разорвут насмерть.

— Нет, это я обращу Кмицица в Актеона и насмерть затравлю псами. Дважды я уже разбил его наголову, а нам еще не миновать встретиться!

Дальнейший разговор прервал паж, который принес письмо.

Виленский воевода взял письмо в руки и перекрестил. Он всегда так делал, чтобы охранить себя от дурных вестей; затем, не вскрывая письма, стал тщательно его осматривать.

И вдруг переменялся в лице.

— На печати герб Сапег! — воскликнул он. — Это от витебского воеводы.

— Вскрывай скорее! — сказал Богуслав.

Гетман вскрыл письмо и стал пробегать глазами, то и дело прерывая чтение возгласами:

— Он идет в Подляшье! Спрашивает, нет ли у меня поручений в Тыкоцин! Глумится надо мною!.. Еще того хуже, ты только послушай, что он пишет: «Ты хочешь смуты, ясновельможный князь, хочешь еще одним мечом пронзить грудь матери-родины? Тогда приходи в Подляшье, я жду тебя и верю, что с божьей помощью собственной рукой покараю твою гордыню! Но коль есть в твоём сердце жалость к отчизне, коль совесть в

тебе пробудилась, коль сожалеешь ты о прежних злодеяньях и хочешь искупить свою вину, путь перед тобою открыт. Вместо того чтобы сеять смуту, созови ополчение, подними мужиков и ударь на шведов, покуда Понтус ничего не ждет и в усыпление позабыл о бдительности. Хованский не станет чинить тебе препон, ибо до меня дошли слухи, что московиты сами замышляют поход на Лифляндию, хоть держат это в тайне. А буде Хованский вознамерится что-либо предпринять, я сам наложу на него узду, и, коль смогу довериться тебе, сам буду всячески помогать тебе спасти отчизну. Все в твоих руках, ясновельможный князь, есть еще время стать на путь правый и искупить вину. Тогда выйдет наявь, что не корысти ради принял ты покровительство Швеции, но дабы отвратить неминуемое падение Литвы. Да вразумит тебя бог, ясновельможный князь, о чем ежедневно молю я его, хоть ты и винишь меня в ненависти.

Р. С. Слышал я, будто с Несвижа снята осада, и князь Михал, исправя разоренный замок, хочет тотчас соединиться с нами. Смотри, ясновельможный князь, как поступают достойные члены твоего рода, и с них бери пример и при всех обстоятельствах помни, что пред тобою выбор».

— Слышал? — спросил князь Януш, кончив читать письмо.

— Слышал! Ну и что же ты? — бросил на Януша быстрый взгляд Богуслав.

— Ведь это ото всего отречься, все оставить, своими же руками разрушить все свои труды...

— И поссориться с могущественным Карлом Густавом, а изгнаннику Казимиру обнять колени, и прощенья у него просить, и молить снова принять на службу, и пана Сапегу просить о заступничестве!

Лицо Януша налилось кровью.

— Ты заметил, как он пишет: «Искупи вину, и я прощу тебя», — как будто я ему подвластен!

— Он бы не то написал, когда бы ему стали грозить шесть тысяч сабель.

— И все-таки... — в угрюмой задумчивости проговорил князь Януш.

— Что все-таки?

— Для отчизны было бы, может, спасеньем сделать так, как советует Сапега?

— А для тебя? Для меня? Для Радзивиллов?

Януш ничего не ответил; подперев руками голову, он думал.

— Что ж, пусть будет так! — сказал он наконец. — Пусть свершится дело!

— Что решил ты?

— Завтра выступаю в Подляшье, а через неделю ударю на Сапегу.

— Вот это Радзивилл! — сказал Богуслав.

И они протянули друг другу руки.

Через минуту Богуслав отправился спать. Януш остался один. Раз, другой прошелся он тяжелым шагом по покою, наконец хлопнул в ладоши.

Паж, прислуживавший ему, вошел в покой.

— Пусть астролог через час придет ко мне с готовым чертежом, — приказал он.

Паж вышел, а князь снова заходил по покою и стал читать свои кальвинистские молитвы. Затем прерывистым голосом, задыхаясь, он тихонько запел псалом, глядя на звезды, мерцавшие на небосводе.

В замке понемногу гасли огни; но, кроме астролога и князя, еще одно существо бодрствовало у себя в покое, — это была Оленька.

Стоя на коленях у своей постели, она сжимала руками голову и шептала с закрытыми глазами:

— Смилуйся над нами! Смилуйся над нами!

Первый раз после отъезда Кмицица она не хотела, не могла за него молиться.

ГЛАВА IX

У Кмицица в самом деле были грамоты Радзивилла ко всем шведским начальникам, комендантам и правителям, коими предписывалось давать ему свободный проезд и не чинить препятствий; но он не решался воспользоваться ими. Он думал, что князь Богуслав еще из Пильвишек разослал во все концы гонцов с предупреждением и приказом схватить его. Потому-то и принял он чужое имя и даже новую личину надел. Минуя Ломжу и Остроленку, где шведы прежде всего могли получить приказ князя, он гнал лошадей с людьми на Пшасныш, откуда хотел через Пултуск пробраться в Варшаву.

Но и в Пшасныш он ехал окольным путем, вдоль прусской границы, на Вонсошь, Кольно и Мышинец, так как у Кемличей, досконально знавших тамошние леса и все лесные тропы, были свои «дружки» среди курпов^[170], которые в случае надобности могли прийти им на помощь.

Почти вся приграничная полоса была уже захвачена шведами; но они занимали только крупные города, не отваживаясь углубляться в дремучие, непроходимые леса, где обитал народ вооруженный, охотники, никогда не выходившие из пущи и столь дикие, что лишь за год до этого королева Мария Людовика повелела соорудить в Мышинце часовню и послала туда иезуитов учить обитателей пущи вере и смирять их нравы.

— Чем дальше не встретим мы шведов, — говорил старей Кемлич, — тем лучше для нас.

— В конце концов придется же встретиться с ними, — отвечал пан Анджей.

— Под большим городом не страшно, там они побаиваются обижать людей, в большом городе всегда и власти и комендант, которому можно пожаловаться. Я уж обо всем людей расспросил, знаю, что указы есть шведского короля народ не разорять и не своевольничать. Но маленькие разъезды, да подальше от глаз комендантов, те на указы не смотрят и грабят мирных жителей.

Так ехали они лесами, нигде не встречая шведов, ночуя в смолокурнях и лесных селеньях. Среди курпов о нашествии шведов ходили самые разные слухи, хотя никто из них не видал пока ни одного шведа. Одни толковали, что приплыл народ из-за моря, речи человеческой не понимает, ни в Христа, ни в богородицу, ни в святых не верует и кровожаден неслыханно. Другие рассказывали, что лаком враг до скотины, кож, орехов,

меду и сушеных грибов, а не дашь — лес подожжет. Иные же твердили, что это упыри, которые охотно жрут человечину, а верней сказать — девок.

Когда грозные вести дошли до самых глухих дебрей, стали все курпы пуцу «стеречь», в лесах перекликаться. Все те, кто поташ варил да курил смолу, кто хмель разводил, лес валил да рыбачил, ставя верши в зарослях Росоги, кто охотился да облавливал дичь, бортничал да бобров разводил, собирались теперь по большим селеньям, рассказывали новости и совет держали, как выгнать врага, коли вздумает он показаться в пуцу.

Продвигаясь со своим отрядом вперед, Кмициц не однажды встречал толпы этих людей в дерюжных рубахах и волчьих, лисьих или медвежьих шкурах. Не однажды преграждали они ему путь на тропах и переходах и спрашивали:

— Кто такой? Не швед будешь?

— Нет! — отвечал пан Анджей.

— Храни тебя бог!

Пан Анджей с любопытством смотрел на этих людей, которые постоянно жили в лесном мраке, чьи лица никогда не опаляло солнце; он поражался их росту, смелости взгляда, открытым речам и совсем не мужицкой отваге.

Кемличи, знавшие их, уверяли пана Анджея, что во всей Речи Посполитой не сыщешь лучше стрелков. Кмициц сам заметил, что все курпы вооружены отменными немецкими ружьями, которые они выменивали в Пруссии на шкуры. Он заставлял их показывать, как они стреляют, дивился их меткости и думал в душе:

«Случись мне отряд собирать, я бы сюда пришел».

В самом Мышинеце он застал их целые толпы. Больше сотни стрелков постоянно стояло на страже у дома ксендзов, — они опасались, как бы шведы первым делом не явились сюда, потому что остроленковский староста велел в свое время прорубить в лесах дорогу в Мышинец, чтобы ксендзы, поселившиеся там, имели «доступ в мир».

Хмелеводы, которые доставляли свой товар в Пшасныш знаменитым тамошним пивоварам и слыли поэтому людьми бывальыми, рассказывали, что Ломжа, Остроленка и Пшасныш кишат шведами, которые хозяйничают там, как у себя дома, и собирают с народа подати.

Кмициц стал подговаривать курпов ударить на Остроленку и начать войну, не дожидаясь, пока шведы придут в пуцу, и сам предлагал повести их в бой. Они очень охотно откликнулись на его призыв, но ксендзы отговорили их от этого безумного шага; велели ждать, пока не поднимется весь край, чтобы преждевременным выступлением не навлечь на себя

жестокою месть врага.

Пан Анджей уехал, сожалея об утраченной возможности. Одно оставалось ему утешение: он убедился в том, что стоит только кликнуть клич, и ни Речь Посполитая, ни король не останутся здесь без защитников.

«Коли так обстоит дело и в других местах, можно бы и начать!» — думал он.

Горячая его натура рвалась в бой; но рассудок говорил: «Одни курпы шведов не одолеют. Проедешь дальше, поглядишь, присмотришься, а там сделаешь, что повелит король».

И он ехал дальше. Выбравшись из непроходимых дебрей на лесные рубежи, в места, заселенные гуще, он увидел во всех деревнях необычайное движение. На дорогах было полно шляхты, которая в бричках, каретах, колымагах и верхами направлялась в ближайшие города и местечки к шведским комендантам, чтобы принести присягу на верность новому монарху. Тем, кто принес присягу, шведы выдавали охранные грамоты. В главных городах земель и поветов оглашали «капитуляции», в которых оговаривались свобода вероисповедания и привилегии для шляхетского сословия.

Не столь охотно, сколь поспешно ехала шляхта приносить эту принудительную присягу, ибо упорствующим грозили всяческие кары, главное — конфискации и грабежи. Толковали, что людям подозрительным шведы, как и в Великой Польше, уже начали ломать пальцы в курках мушкетов, со страхом уверяли, будто на тех, кто побогаче, умышленно возводят подозрения, чтобы ограбить их.

В деревнях было поэтому опасно оставаться, и шляхта побогаче направлялась в города, чтобы, находясь под непосредственным надзором шведских комендантов, избежать подозрений в кознях против шведского короля.

Пан Анджей прислушивался к разговорам и, хоть шляхта неохотно вступала в беседу с худородным, все же понял, что не только ближайшие соседи и знакомые, но даже друзья не ведут между собою откровенных разговоров о шведах и о новой власти. Все громко жаловались только на «реквизиции», а жаловаться и впрямь было на что, так как в каждую деревню, в каждое местечко приходили приказы комендантов доставить уйму зерна, хлеба, соли, скотины, денег; эти приказы часто превосходили возможности, тем более что, выбрав у людей одни припасы, шведы требовали других, а к тем, кто не платил, присылали карателей, которые взыскивали втройне.

Да, миновали старые времена! Всяк тянулся как мог, отрывал кусок

ото рта и давал и платил, жалуясь и ропща, а в душе думал, что раньше было не так. До времени все утешали себя тем, что вот кончится война, кончатся и реквизиции. Такие посулы давали и шведы. Они твердили, что, как только король покорит всю страну, он тотчас начнет по-отечески править народом.

Шляхте, которая изменила своему королю и отчизне, которая еще совсем недавно называла тираном добрейшего Яна Казимира, подозревая его в том, что он жаждет *absolutum dominium*, которая во всем противилась ему, протестуя на сеймах и сеймиках, и в своей жажде новшеств и перемен дошла до того, что без сопротивления признала государем захватчика, только бы дожидаться какой-нибудь перемены, стыдно было теперь даже жаловаться. Ведь Карл Густав освободил ее от тирана, ведь она добровольно предала своего законного монарха и дождалась столь вожделенной перемены.

Вот почему даже самые простодушные не говорили открыто между собой, что они думают об этой перемене, зато охотно слушали тех, кто твердил им, что и наезды, и реквизиции, и грабежи, и конфискации лишь временные и неизбежные *опера*^[171], которые сразу же кончатся, как только Карл Густав утвердится на польском троне.

— Тяжело, брат, тяжело, — говорил порою шляхтич шляхтичу, — но мы должны радоваться новому государю. Могущественный он властелин и великий воитель, усмирит он казаков, турок успокоит и московитов прогонит с наших границ, и будем мы процветать в союзе со Швецией.

— Да хоть бы мы и не радовались, — отвечал другой шляхтич, — разве против такой силы погрешь? С мотыгой на солнце не кинешься!..

Порою шляхтичи ссылались на новую присягу. Кмициц негодовал, слушая эти разговоры, а однажды, когда какой-то шляхтич вздумал толковать при нем на постоялом дворе, что он обязан быть верным тому, кому принес присягу, пан Анджей крикнул ему:

— У тебя, пан, знать, два языка подвешено: один для истинных присяг, другой для фальшивых, — ты ведь Яну Казимиру тоже присягал.

Случилось это неподалеку от Пшасныша, и было при этом много шляхты; все заволновались, услышав эти смелые речи, у одних изобразилось удивление на лицах, другие покраснели. Наконец самый почтенный шляхтич сказал:

— Никто тут присяги бывшему королю не нарушал. Сам он освободил нас от нее, потому бежал из нашей страны и не подумал оборонять ее.

— Чтоб вас бог убил! — воскликнул Кмициц. — А сколько раз

принужден был бежать король Локоток^[172], а ведь воротился же, ибо народ его не оставил, страх божий был еще в сердцах? Не Ян Казимир бежал, а продажные души от него бежали и теперь жалят его, чтобы обелить себя перед богом и людьми!

— Слишком уж смело ты говоришь, молодец. Откуда ты взялся, что нас, здешних людей, хочешь учить страху божьему? Смотри, как бы тебя не услышали шведы!

— Коли вам любопытно, скажу: я из курфюрстовской Пруссии, подданный курфюрста. Но родом я поляк, люблю отчизну, и стыдно мне за мой закоснелый народ.

Тут шляхта, позабыв о гневе, окружила его и с любопытством стала наперебой расспрашивать:

— Так ты, пан, из курфюрстовской Пруссии? Ну-ка расскажи нам все, что знаешь! Как там курфюрст? Не думает спасти нас от ига?

— От какого ига? Вы же рады новому господину, так чего же толковать об иге! Как постелешь, так и выспишься.

— Мы рады, потому нельзя иначе. Меч висит над нашей головою. А ты рассказывай так, будто мы вовсе не рады.

— Дайте ему выпить чего-нибудь, чтоб язык у него развязался. Говори смело, среди нас нет изменников.

— Все вы изменники! — крикнул пан Анджей. — Не хочу я пить с вами, шведские наймиты!

С этими словами он вышел вон, хлопнув дверью, а они остались, пристыженные и потрясенные; никто не схватился за саблю, никто не последовал за Кмицицем, чтобы отплатить за оскорбление.

Он же двинулся прямо на Пшасньш. В какой-нибудь версте от города его окружил шведский патруль и повел к коменданту. В патруле было только шестеро рейтар и седьмой — унтер-офицер, вот Сорока и трое Кемличей и стали поглядывать на них, как волки на овец, да глазами показывать Кмицицу, — дескать, не стоит ли ими заняться.

Пана Анджея это тоже очень соблазняло, тем более что неподалеку протекала Венгерка, берега которой заросли камышом; однако он совладал с собою и позволил шведам спокойно вести себя к коменданту.

Назвавшись, он сказал коменданту, что родом из курфюрстовской Пруссии, барышник, каждый год ездит с лошадьми в Сobotу. У Кемличей тоже были свидетельства, которые они раздобыли в хорошо знакомом им городе Ленге, так что комендант, который сам был немец из Пруссии, не стал чинить им препятствий, только все допытывался, каких лошадей они везут, и выразил желание посмотреть их.

Когда челядь Кмицица пригнала по его требованию табунок, он хорошенько его осмотрел и сказал:

— Так я куплю у тебя лошадей. У другого забрал бы так, но ты из Пруссии, и я тебя не обижу.

Кмициц растерялся: продашь лошадей — тогда под каким предлогом продолжать путь, — надо, стало быть, возвращаться в Пруссию. Он заломил поэтому за табунок чуть не вдвое больше настоящей цены. Сверх всяких ожиданий офицер не разгневался и не стал торговаться.

— Ладно! — сказал он. — Загоняйте лошадей в конюшню, а я сейчас вынесу деньги.

Кемличи в душе обрадовались; но пан Анджей, осердясь, стал браниться. Однако делать было нечего, пришлось загнать табунок в конюшню. В противном случае их бы тотчас заподозрили в том, что они барышничают только для виду.

Тем временем снова вышел офицер и протянул Кмицицу клочок исписанной бумаги.

— Что это? — спросил пан Анджей.

— Деньги, или то же, что деньги, — квитанция.

— Где же мне заплатят?

— На главной квартире.

— А где главная квартира?

— В Варшаве, — со злобной улыбкой ответил офицер.

— Мы только за наличные торгуем. Как же так? Что же это такое? — взвыл старый Кемлич. — Царица небесная!

Но Кмициц повернулся к старику и грозно на него поглядел.

— Для меня, — сказал он, — слово коменданта те же деньги, а в Варшаву мы с охотой поедем, там у армян можно отменных товаров достать, в Пруссии нам за эти товары дадут хорошие деньги.

Когда офицер ушел, пан Анджей сказал в утешение Кемличу:

— Молчи, шельма! Эти квитанции — самая лучшая грамота, мы с ними и до Кракова доедем, всюду будем жаловаться, что нам не хотят платить. Легче сыр из камня выжать, чем деньги из шведов. Это-то мне и на руку! Немчура думает, что обманул нас, а сам не знает, какую оказал нам услугу. А тебе за лошадей я из собственной шкатулки заплачу, чтоб не понес ты убытку.

Старик вздохнул с облегчением и уже только по привычке некоторое время скулил:

— Обобрали, разорили, по миру пустили!

Но пан Анджей рад был, потому что дорога перед ним была открыта;

он предвидел, что и в Варшаве ему не заплатят, а пожалуй, и вовсе нигде не отдадут денег, так что можно будет ехать себе вперед и вперед, искать, будто бы на шведах обиды хоть у самого ихнего короля, который стоял под Краковом и вел осаду прежней польской столицы.

А пока пан Анджей решил заночевать в Пшасныше, чтобы дать отдых лошадям и, не меняя нового имени, сменить все же худородную кожу. Он заметил, что к убогому барышнику все относятся с пренебрежением и всяк норовит напасть на него, не особенно опасаясь, что за бедняка могут притянуть к ответу. Худородному и к шляхте побогаче трудно было приступить, а стало быть, труднее узнать, что у кого на уме.

Он оделся прилично своему званию и положению и направился в корчму побеседовать с шляхетской братией. Однако не порадовали пана Анджея ее речи. На постоянных дворах и в шинках шляхта пила за здоровье шведского короля и со шведскими офицерами поднимала чары за его успехи и смеялась шуточкам, которые они позволяли себе над королем Яном Казимиром и Чарнецким.

Таковыми подлыми сделал людей страх за свою шкуру и свое добро, что они униженно заискивали перед захватчиками, наперебой стараясь развеселить их. В одном только не переходили они границ. Они позволяли смеяться над собою, над королем, над гетманами, над Чарнецким, но не над верой, и когда один шведский офицер заявил, что лютеранская вера так же хороша, как католическая, сидевший рядом с ним молодой шляхтич Грабковский не стерпел богохульства и ударил офицера обушком в висок, а сам, воспользовавшись суматохой, ускользнул из шинка и пропал в толпе.

Шведы бросились было преследовать его; но пришли вести, которые отвлекли от шляхтича общее внимание. Прискакали гонцы с донесением, что Краков сдался, что Чарнецкий в плену и рухнула последняя преграда на пути шведского владычества.

В первую минуту шляхта онемела; но шведы возликовали и стали кричать «ура». В костеле Святого духа, в костеле бернардинов и в недавно сооруженном пани Мостовской монастыре бернардинок было велено звонить в колокола. Пехота и рейтары, выйдя из пивных и цирюлен, в боевых порядках явились на рынок и давай палить из пушек и мушкетов. Затем для войска и горожан выкатили бочонки горелки, меду и пива, разожгли смоляные бочки, и пир шел до поздней ночи. Шведы вытащили из домов горожанок, чтобы плясать с ними, вольничать и веселиться. А в толпе загулявших солдат кучками прохаживалась шляхта, пила вместе с рейтарами и волей-неволей притворялась, что она тоже рада падению Кракова и поражению Чарнецкого.

Так мерзко стало от этого Кмицицу, что он рано ушел к себе на квартиру в предместье, но уснуть не мог. Жар его снедал, и душу терзало сомнение, не слишком ли поздно стал он на правый путь, когда вся страна уже в руках шведов. Он начинал думать, что все потеряно и Речь Посполитая никогда не воскреснет из праха.

«Это не неудачная война, — думал он, — которая может кончиться потерей какой-нибудь провинции, это безвозвратная гибель, ибо вся Речь Посполитая становится шведской провинцией. Мы сами тому виною, а я больше всех!»

Жгла его эта мысль, и совесть его грызла. Сон бежал с его глаз. Он сам не знал, что делать: ехать дальше, оставаться на месте или возвращаться назад? Если собрать ватагу и учинять набеги на шведов — они станут преследовать его не как солдата, а как разбойника. Да и на чужой он теперь стороне, где его никто не знает. Кто пойдет за ним? На его клич слетались неустрашимые люди в Литве, когда он сам был славен, а здесь если кто и слышал о Кмицице, то почитал его изменником и другом шведов, а о Бабинице, ясное дело, никто и не слыхивал.

Все напрасно, и к королю незачем ехать, слишком поздно! И в Подляшье незачем ехать, — конфедераты почитают его изменником, и в Литву возвращаться незачем, ибо там властвует Радзивилл, и здесь оставаться незачем, ибо нет тут для него никакого дела. Лучше уж смерть, чтоб не глядеть на свет божий и бежать от угрызений совести!

Но будет ли лучше на том свете тем, кто, нагрешив, ничем не искупил своей вины и со всем ее бременем предстанет перед судом всевышнего? Кмициц метался на своем ложе, как на ложе пыток. Такой кромешной муки не испытывал он даже в лесной хате Кемличей.

Он кипел здоровьем и силой, готов был на любое дело, душа его рвалась в бой, а тут все пути были заказаны, — хоть головой об стену бейся. Выхода нет, нет спасения и нет надежды!

Прометавшись ночь напролет, он вскочил еще до света, разбудил людей и тронулся в путь. Он ехал в Варшаву, сам не зная, зачем и для чего туда едет. С отчаяния он бежал бы в Сечь; но времена были уже не те, Хмельницкий с Бутурлиным разбили как раз под Гродеком великого коронного гетмана, огнем и мечом опустошая юго-восточные провинции Речи Посполитой и засылая свои разбойничьи ватаги даже под Люблин.

По дороге в Пултуск пан Анджей повсюду встречал шведские отряды, сопровождавшие подводы с припасом, зерном, хлебом, пивом и целые гурты скотины. Со стоном и слезами шли с ними толпы мужиков или мелкой шляхты, которых таскали с подводами миль за двадцать от дому.

Счастлив был тот, кто получал позволение вернуться с подводой домой, но не всегда это случалось: после доставки припасов шведы гнали мужиков и однодворцев на работы, — чинить крепости, строить сараи и амбары.

Видел Кмициц и то, что шведы под Пултуском хуже обращаются с народом, чем в Пшасныше; он не мог понять, в чем дело, и расспрашивал об этом встречных шляхтичей.

— Чем ближе к Варшаве, милостивый пан, — объяснил ему один из них, — тем больше шведы теснят народ. Там, куда они только пришли и где им еще может грозить опасность, они помягче, сами оглашают капитуляции и королевские указы против притеснителей; но там, где они уже утвердились, где заняли поблизости без боя какой-нибудь замок, они тотчас забывают все свои посулы и никого не щадят, грабят, обижают, обирают, поднимают руку на костелы, духовенство и даже на монахинь. Это все еще ничего, а вот что в Великой Польше творится — этого никакими словами не опишешь!

Тут шляхтич стал рассказывать, что творил жестокий враг в Великой Польше, какие грабежи, насилия, убийства совершал, как ломал пальцы в курках и каким жестоким подвергал пыткам, чтобы выведать, где деньги; как в самой Познани был убит ксендз провинциал^[173] Браницкий, а простой люд подвергался таким зверским пыткам, что при одном воспоминании волосы шевелились на голове.

— Везде так будет, — говорил шляхтич. — Божье попущение! Близок Страшный суд! Чем дальше, тем хуже, и ниоткуда не видно спасения!

— Человек я нездешний, — сказал Кмициц, — но только странно мне: что же это вы так терпеливо сносите все обиды, хоть сами шляхтичи и рыцари?

— С чем же нам выступить против них? — воскликнул шляхтич. — С чем? В их руках замки, крепости, пушки, порох, мушкеты, а у нас даже охотничьи ружьишки и те отняли. Была еще надежда на пана Чарнецкого, но он в оковах, а король в Силезии, так кто же может помыслить о том, чтобы дать отпор врагу? Руки у нас есть, да в руках нет ничего и вождя нет!

— И надежды нет! — глухо сказал Кмициц.

Они прервали разговор, так как наехали на шведский отряд, сопровождавший подводы, мелкую шляхту и реквизированную «добычу». Удивительное это было зрелище. На сытых, как быки, лошадях, с десятками гусей и кур, притороченных к седлам, ехали в облаках перьев усатые и бородатые рейтары, правой рукой в бок упершись и сбив набекрень шляпы. Глядя на их воинственные, надменные лица, нетрудно было догадаться, какими господами чувствуют они себя здесь, как весело

им и вольготно. А убогая, порою босая шляхта, свесив голову на грудь, шагала пешком у своих подвод, затравленная, испуганная, подгоняемая часто бичом.

Когда Кмициц увидел эту картину, губы затряслись у него как в лихорадке.

— Эх, руки у меня чешутся! Руки чешутся! Руки чешутся! — твердил он шляхтичу.

— Молчи, пан, Христом-богом молю! — остановил его тот. — Погубишь и себя, и меня, и моих деток!

Случалось, однако, что взору пана Анджея открывались иные картины. В отрядах рейтар он замечал порою кучки польской шляхты с вооруженной челядью; ехали они с песнями, веселые, пьяные и со шведами и немцами запанибрата.

— Как же так, — спрашивал Кмициц, — одних шляхтичей преследуют и теснят, а с другими дружбу заводят? Верно, те, кого вижу я среди солдат, подлые предатели?

— Нет, не подлые предатели, а хуже, еретики! — отвечал шляхтич. — Для нас, католиков, они тяжелее шведов, они больше всего грабят, жгут усадьбы, похищают девушек, мстят за личные обиды. Весь край они держат в страхе, ибо все сходит им с рук, и у шведских комендантов легче найти управу на шведов, нежели на своих еретиков. Только слово пикни, всякий комендант тебе в ответ: «Я не имею права преследовать его, не мой он, ступайте в ваши трибуналы!» А какие теперь трибуналы, какой суд, когда все в руках шведов? Куда швед сам не попадет, еретики его приведут, а на костелы и духовенство они их в первую голову excitant^[174]. Так мстят они матери-родине за то, что она дала им приют и свободу исповедания гнусной их веры, в то время как в других христианских странах их справедливо преследовали за кощунство и святотатство...

Тут шляхтич прервал речь и с беспокойством посмотрел на Кмицица.

— Ты, говоришь, из курфюрстовской Пруссии, так, может, и сам лютеранин?

— Господи, спаси и помилуй! — воскликнул пан Анджей. — Из Пруссии я, но мы спокон веку католики, в Пруссию из Литвы пришли.

— Ну, слава богу, а то я испугался. Дорогой мой пан, quod attinet^[175] Литвы, то и там немало диссидентов, и предводительствует ими могущественный Радзивилл, который оказался таким предателем, что сравниться с ним может разве что Радзеёвский.

— Чтоб черт унес его душу еще в этом году! — в ярости крикнул

Кмициц.

— Аминь! — сказал шляхтич. — И прислужников его, и подручных, и палачей, про которых мы и то наслышаны и без которых не посмел бы он посягнуть на отчизну!

Кмициц побледнел и не ответил ни слова. Он не спрашивал, не смел спрашивать, о каких это прислужниках, подручных и палачах толкует этот шляхтич.

Едучи нога за ногу, добрались они поздним вечером до Пултуска; там Кмицица вызвали во дворец епископа, alias замок, к коменданту.

— Я, — сказал пан Анджей коменданту, — поставляю лошадей войскам его милости шведского короля. Вот квитанции, с ними я еду в Варшаву за деньгами.

Полковник Израэль, — так звали коменданта, — ухмыльнулся в усы и сказал:

— Поторапливайся, пан, поторапливайся, а назад телегу возьми, чтобы было на чем везти деньги.

— Спасибо за совет, — ответил пан Анджей. — Я понимаю, что твоя милость смеется надо мной. Но я все равно поеду за своими деньгами, хоть до самого всемилостивейшего короля дойду!

— Езжай, езжай, своего не упускай! — сказал швед. — Куча денег тебе причитается.

— Придет время, вы мне заплатите! — ответил, выходя, Кмициц.

В самом городе он снова попал на торжества по случаю взятия Кракова, которые, как оказалось, должны были длиться повсюду три дня. Однако он узнал, что в Пшасныше, быть может, не без умысла, шведы несколько преувеличили свою победу: киевский Каштелян^[176] вовсе не был взят в плен, он получил право выйти из города с войском, оружием и зажженными пушечными фитилями. Говорили, что он намерен отправиться в Силезию. Небольшое это было утешение, а все же утешение.

В Пултуске стояли большие силы, которые Израэль должен был вести к прусской границе для устрашения курфюрста; поэтому ни в городе, ни в замке, весьма обширном, ни в предместьях не могло разместиться все войско. Здесь Кмициц и увидел впервые солдат, расположившихся на постой в костеле. В величественном готическом храме, сооруженном более двухсот лет назад епископом Гижицким, стояла наемная немецкая пехота. Внутренность храма пылала огнями, как на пасхальной заутрене, — это на каменном полу горели разожженные солдатами костры. На кострах дымились котлы. Около бочек пива толпились чужие солдаты, старые грабители, разорившие всю католическую часть Германии, которым,

наверно, не впервой было ночевать в костеле. Шум и гам стоял внутри храма. Солдаты хриплыми голосами распевали свои песни, визжали и веселились женщины, которые в те времена таскались обычно за войском.

Кмициц остановился в растворенных дверях; в облаках дыма, в огненном пламени увидел он красные, разгоряченные вином, усаые лица солдат, восседавших на бочках и распивавших пиво, игравших в кости или в карты, продававших ризы, обнимавших распутниц, разряженных в яркие платья. Визг, смех, звон кружек и лязг мушкетов, эхо, гремевшее под сводами, оглушили его. Голова у него закружилась, он не верил своим глазам, дыхание замерло у него в груди, зрелище ада потрясло бы его не больше.

Он схватился за волосы и выбежал вон, повторяя как безумный:
— Боже, заступись, боже, покарай, боже, спаси!

ГЛАВА X

В Варшаве уже давно хозяйничали шведы. Виттенберг, правитель города и начальник гарнизона, находился в это время в Кракове, и его замещал Радзеёвский. Не меньше двух тысяч солдат стояло и в самом городе, обнесенном валами, и в прилегающих к нему городских владениях магнатов и церкви, застроенных пышными дворцами и костелами. Замок и город не были разрушены, так как Вессель, маковский староста, сдал Варшаву без боя, а сам с гарнизоном бежал, опасаясь мести своего личного врага Радзеёвского.

Но когда Кмициц присмотрелся поближе, он на многих домах увидел следы разбойничьих рук. Это были дома жителей, которые бежали из города, не желая терпеть чужого господства, или оказали сопротивление, когда шведы врывались на валы.

Из дворцов, поднимавшихся за валами, прежний блеск сохранили лишь те, хозяева которых душой и телом предались шведам. Во всем великолепии высились и дворец Казановских, ибо охранял его сам Радзеёвский, и собственный дворец Радзеёвского, и дворец Конецпольского, и тот, который был сооружен Владиславом Четвертым и назван потом Казимировским; но дома духовенства были сильно разрушены, полуразрушен был дворец Денгофа, совершенно разграблен канцлерский дворец на Реформатской улице, или так называемый дворец Оссолинских. В окна выглядывали немецкие наемники, а дорогая утварь, которую покойный канцлер за большие деньги вывез из Италии: флорентинская кожа, голландские гобелены, изящные, выложенные перламутром столики, картины, бронзовые и мраморные статуи, венецианские и гданские часы, великолепные зеркала — либо валялись беспорядочной кучей во дворе, либо уже были увязаны и ждали, когда их отправят вниз по Висле в Швецию. Стража стерегла эти богатства, между тем как ветер и дождь разрушали их.

Такую же картину можно было наблюдать во многих других местах, и хоть столица сдалась без боя, тридцать огромных барж уже стояли на Висле, готовые к вывозу добычи.

Город казался чужеземным. Не польская, а чужая речь звучала чаще на улицах, на каждом шагу встречались шведские и немецкие солдаты, французские, английские и шотландские наемники в самых разных мундирах, в шляпах и в лодейчатых шлемах с гребнями, в кафтанах,

панцирях и полупанцирях, в чулках и в шведских ботфортах. Всюду чуждая пестрота, чуждая одежда, чуждые лица, чуждые песни. Даже лошади были каких-то иных статей, не таких, к которым привык глаз.

В город слетелось множество смуглолицых, черноволосых армян в пестрых ермолках, — эти явились скупать добычу.

Но больше всего поражали несметные толпы цыган, которые со всех концов Речи Посполитой бог весть зачем притащились вслед за шведами в Варшаву. Их шатры стояли перед Уядзовским дворцом и во владениях капитула, образуя в каменном городе как бы свой, особый полотняный город.

Среди этих разноязычных толп совершенно пропадали местные жители; безопасности ради они больше сидели по домам, а показываясь изредка, торопливо пробегали по улицам. Лишь порою через Краковское предместье к замку проносилась барская карета в сопровождении гайдуков или солдат в польских мундирах, напоминая о том, что это польский город.

Только по воскресным и праздничным дням, когда колокола сзывали в костел, толпы народа выходили из домов, и столица принимала прежний вид; но и тогда перед костелами выстраивались чужие солдаты, чтобы поглазеть на женщин, подергать их за платья, когда они, потупясь, проходили мимо, позубоскалить, а порой и затянуть непристойную песню как раз в ту минуту, когда в костеле звучало торжественное песнопение.

Как злые грезы, промелькнуло все это перед изумленным взором пана Анджея; но он недолго пробыл в Варшаве, никого он там не знал и некому было ему излить свою душу. Он не свел дружбы даже с той приезжей польской шляхтой, которая остановилась на постоянных дворах, построенных на Длугой улице еще при короле Сигизмунде Третьем. Правда, он заговаривал иной раз с шляхтичами, пытаясь узнать у них новости; но все они были заядлыми приверженцами шведов; ожидая возвращения Карла Густава, они заискивали перед Радзеёвским и шведскими офицерами в надежде получить староство, церковное или частное конфискованное имение и всякую иную добычу. Все они одного только стоили: плюнуть в глаза да отойти, что Кмициц, надо сказать, делал довольно охотно.

О горожанах Кмициц слышал только, что они сожалеют о былых днях, печалются о ввергнутой в пучину бедствий отчизне и добром своем короле. Шведы жестоко преследовали их, отнимали дома, налагали контрибуции, сажали в тюрьмы.

Ходила молва, будто цехи, — особенно оружейный, мясницкий, скорняжный и богатый сапожный, — тайно хранят оружие, что они ждут

возвращения Яна Казимира, не теряют надежды и при первой же помощи извне готовы ударить на шведов.

Слушая эти рассказы, Кмициц ушам своим не верил, в голове у него не укладывалось, что люди подлого сословия и подлого звания могут хранить верность своему законному монарху и больше любить отчизну, нежели шляхта, которая от пелен должна была питать эти чувства.

Но именно шляхта и магнаты становились на сторону шведов, а простой народ только о том и думал, как бы дать отпор врагу, и когда шведы сгоняли людей на работы по укреплению Варшавы, простолудин часто предпочитал кнут, тюрьму, даже смерть, только бы не содействовать укреплению шведского могущества.

За Варшавой страна кипела, как улей. Все дороги, города и местечки были запружены солдатами и челядью, которая сопровождала магнатов и шляхту, служившую шведам. Все было захвачено, усмирено, покорено, все было таким шведским, точно страна испокон веку была в руках шведов.

Пан Анджей не встречал никого, кроме шведов и их приспешников да людей отчаявшихся, равнодушных, проникшихся убеждением, что все уже пропало. Никто и не помышлял о сопротивлении, все смиренно и поспешно исполняли такие приказы, что и половина или даже десятая часть их в прежнее время была бы встречена бурей протестов. Такой обнял всех страх, что даже обиженные громко прославляли милостивого покровителя Речи Посполитой.

Прежде не раз бывало, что сборщиков гражданских и военных податей шляхтич встречал во главе вооруженной челяди, с ружьем в руках, а теперь шведы налагали подати, какие им вздумается, и шляхта платила их с такой же покорностью, с какой овцы отдают шерсть стригаям. Случалось, одну и ту же подать взыскивали дважды. Напрасно было предъявлять квитанции; хорошо еще, если офицер, производивший взыскание, не приказывал шляхтичу тут же съесть намоченную в вине квитанцию.

Но и это было шляхтичу нипочем! «Vivat protector!»^[177] — кричал он, а когда офицер уезжал, приказывал холопу тотчас лезть на крышу и смотреть, не едет ли другой. Но если бы дело ограничивалось одними только контрибуциями. Хуже шведа были повсюду предатели. Они мстили за старые обиды, сводили старые счеты, сравнивали с землей межевые знаки, захватывали луга и леса, и этим друзьям шведов все сходило с рук. Из них хуже всех были диссиденты. Но и этого мало. Люди отчаянные, неудачники, своевольники и смутьяны сколачивали вооруженные шайки и нападали на крестьян и шляхту. Им помогали шведские и немецкие мародеры и всякая вольница. Страна полыхала в пламени пожаров,

вооруженный солдатский кулак был занесен над городами, в лесах нападали разбойники. Никто и не помышлял о судьбах Речи Посполитой, о спасении ее, о свержении ига. Ни у кого не оставалось надежды...

Как-то раз шведские и немецкие разбойники осадили в собственном его имени Струги сохачевского старосту Луцевского. Человек воинственный, он, хоть и был уже стариком, упорно защищался. Как раз в эту пору в Струги приехал Кмициц, и именно тут, словно назревший нарыв, лопнуло его терпение. Он позволил Кемличам «лупить», и сам так стремительно ударил на разбойников, что разбил их наголову, изрубил, никого не щадя, и даже пленников велел утопить. Староста, которому эта помощь словно с неба свалилась, с благодарностью принял своего спасителя, тут же стал его потчевать, а пан Анджей, увидев вельможу, державного мужа, к тому же человека старого закала, открылся ему в своей ненависти к шведам и, надеясь, что староста прольет бальзам в его душу, стал спрашивать, что думает он о будущих судьбах Речи Посполитой.

Но староста на все события смотрел совсем не так, как думал Кмициц.

— Дорогой мой! — ответил он пану Анджею. — Не знаю, что сказал бы я тебе, спроси ты меня об этом в ту пору, когда усы у меня были рыжие и разум омрачен плотскими помышленьями. Но сегодня, когда мне семьдесят, усы у меня седые, умудрен я опытом и прозреваю будущие события, ибо одной ногой стою уже в могиле, скажу я тебе, что не только нам не сломить шведского могущества, даже если мы исправимся, но и всей Европе.

— Да как же так? Откуда эта напасть?! — воскликнул Кмициц. — Когда же Швеция была столь могущественна? Разве нас, поляков, не больше на свете? Разве не можем мы набрать больше войска? Разве мы когда-нибудь уступали в храбрости шведам?

— Нас, поляков, на свете в десять раз больше, богатства наши господь столь приумножил, что в моем Сохачевском старостве родится больше пшеницы, нежели во всей Швеции, что до храбрости, то я был под Кирхгольмом, где мы с тремя тысячами гусар разбили вдребезги восемнадцать тысяч отборного шведского войска.

— Так по какой же причине, — воскликнул Кмициц, у которого глаза заблестели при воспоминании о Кирхгольме, — мы и сейчас не можем их одолеть?

— Первое дело, — неторопливо ответил старик, — мы умалились, а они выросли и нашими же собственными руками покорили нас, как раньше собственными их руками покорили немцев. Такова воля господня, и, говорю тебе, нет такой силы, которая сегодня могла бы устоять против них!

— А коль опомнится шляхта и соберется на защиту своего государя, коль возьмутся все за оружие, что ты посоветуешь сделать тогда и как сам поступишь?

— Пойду на врага вместе со всеми и сложу свою голову и всякому посоветую сделать то же, ибо такие наступят времена, что лучше нам их не видеть!

— Горше, нежели теперь, быть не может! Клянусь богом, не может! Немыслимое это дело! — воскликнул Кмициц.

— Видишь ли, — молвил староста, — антихрист явится перед вторым пришествием, и сказано в Писании, что злые возьмут тогда верх над праведными, и антихрист будет ходить по свету, проповедовать против истинной веры и совращать людей в веру ложную. По божию попущению везде восторжествует зло, и так будет до той самой поры, когда ангелы трубным гласом возвестят о скончании века.

Староста откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и продолжал тихим, таинственным голосом:

— Сказано в Писании, что знамения будут. Знамения на солнце в виде меча и десницы уже были. Боже, буди милостив к нам, грешным! Злые одолевают праведных, ибо побеждает швед и его приспешники. Истинная вера в упадке, ибо возвышаются лютеране. Люди! Ужели вы не видите, что приближается *dies irae, dies illa*^[178]. Мне семьдесят лет, и стою я на берегу Стикса, перевозчика жду и челн... Я прозреваю будущее!

Староста умолк, а Кмициц в страхе смотрел на него, ибо мысли старика показались ему справедливыми и выводы верными, испугался он Страшного суда и крепко задумался.

Но староста не глядел на него, взор его был устремлен в пространство.

— Так как же победить шведов, — сказал он в заключение, — когда это божье попущение, воля господня, открытая и возвещенная в пророчествах?! В Ченстохову надо идти, в Ченстохову!

И он снова умолк.

Заходило солнце, косые лучи его, заглядывая в окна, преломлялись в стеклах, оправленных свинцом, и ложились на пол семицветною радугой. Покой погружался во мрак. Кмицицу становилось все страшней, минутами ему чудилось, что стоит только исчезнуть свету, и тотчас раздастся трубный глас ангелов, зовущих на суд.

— О каких пророчествах ты говоришь, милостивый пан? — спросил он наконец у старосты, ибо молчание показалось ему еще страшнее.

Вместо ответа староста повернулся к двери, ведущей в смежный покой, и позвал:

— Оленька! Оленька!

— О, боже! — воскликнул Кмициц. — Кого это ты зовешь?

В эту минуту он во все верил, верил и в то, что его Оленька, чудом перенесенная из Кейдан, явится его взору. И, забыв обо всем на свете, он впился глазами в дверь и ждал, затаив дыханье.

— Оленька! Оленька! — снова позвал староста.

Дверь отворилась, и вошла не панна Биллевич, а тоненькая, высокая, красивая девушка, строгостью и спокойствием, разлитым в лице, немного напоминавшая Оленьку. Она была бледна, быть может, даже нездорова, а может, напугана недавним нападением и шла, потупя взор, такой тихой и легкой стопою, будто несло ее легкое дуновение.

— Моя дочь, — сказал староста. — Сыновей дома нет. Они с краковским каштеляном при нашем несчастном короле.

Затем он обратился к дочери:

— Сперва, моя милая, поблагодари этого храброго кавалера за спасение, а потом прочти нам пророчество святой Бригитты.

Девушка поклонилась пану Анджею и вышла, а через минуту вернулась с печатным свитком в руке и, встав в радужной полосе света, стала читать голосом звучным и сладостным:

— Пророчество святой Бригитты: «Явлю тебе сперва пятерых королей и царства их: Густав, сын Эрика, осел ленивый, ибо, оставя истинное исповедание веры, перешел в ложное. Покинув веру апостольскую, утвердил в королевстве ересь аугсбургскую, стыд и срам почтя за славу себе. Зри Екклезиаст, в коем о Соломоне сказано, что посрамил он славу свою идолопоклонством...»

— Слышишь, милостивый пан? — спросил староста, показывая Кмицицу большой палец левой руки, а остальные держа наготове для счета.

— Слышу.

— «Эрик, сын Густава, волк, — читала девушка, — ненасытною алчностью навлек на себя ненависть всех людей и брата своего Яна. Сперва настиг Яна войною, заподозрив его в ковах с Даниею и Польшей, и, полонив с супругою, четыре года держал в подземелье. Спасенный из узилища, Ян одолел Эрика и, покровительствуемый изменчивой фортуною, лишил его короны и вверг навечно в темницу. Вот непредвиденный случай».

— Замечай! Это уже второй! — сказал староста.

Девушка продолжала:

— «Ян, брат Эрика, гордый орел, трикратно победивший Эрика,

датчанина и московита. Сын его Сигизмунд, избранный на польский престол, в чьей крови обитает храбрость. Слава его потомству!»

— Уразумел? — спросил староста.

— Многая лета Яну Казимиру! — воскликнул Кмициц.

— «Карл, король шведский: овен, ибо, как овны ведут стадо, так он вел шведов к беззаконию. Он же ополчился на праведных».

— Это уже четвертый! — прервал чтение староста.

— «Пятый, Густав Адольф, — читала девушка, — агнец убиенный, но не невинный, чья кровь была причиною бедствий и смут».

— Да! Это Густав Адольф, — сказал староста. — О Кристине нет упоминания, ибо перечислены одни мужи. Читай теперь, моя милая, конец, — это прямо о нынешних временах.

Девушка прочитала следующие строки:

— «Шестого явлю тебе: сушу и море он возмутит и малых сих смутит, и година возмездия моего будет в его руке. Коль не достигнет он скоро своего, сотворю суд мой над ним и царство ввергну в скорбь, и будет так, как написано: сеют смуту, а пожинают бедствия и муки. Не токмо сие королевство посещу, но города богатые и могущественные, ибо зван голодный пожрать достояние их. Много будет зла внутреннего и множиться будут раздоры. Глупцы будут царствовать, мудрецы же и старцы не подымут главы. Честь и правда падут, поколе не придет тот, кто мольбами смирит гнев мой и души своей не пощадит ради любви к правде».

— Вот видишь! — сказал староста.

— Все исполняется так, что только слепой мог бы усомниться! — воскликнул Кмициц.

— Потому и шведы не могут быть побеждены, — ответил староста.

— Поколе не придет тот, кто души не пощадит ради любви к правде! — воскликнул Кмициц. — Пророчество оставляет нам надежду! Стало быть, не суд ждет нас, но спасение!

— Содом был бы пощажён, когда бы нашлись в нём десять праведников, — возразил староста, — но и столько их не нашлось. Не найдется и тот, кто души своей не пощадит ради любви к правде, и пробьёт час суда.

— Пан староста, пан староста, быть этого не может! — воскликнул Кмициц.

Не успел староста ответить ему, как дверь отворилась, и в покой вошел немолодой уже человек в панцире и с мушкетом в руке.

— Пан Щербжицкий? — удивился староста.

— Да, — ответил вошедший, — я услышал, вельможный пан, что тебя

осадили разбойники, и поспешил с челядью на помощь.

— Без воли божьей волос не упадет с головы человека, — ответил старик. — Меня уже спас от разбойников этот вот кавалер. А ты откуда едешь?

— Из Сохачева.

— Что нового слышно?

— Новости одна другой хуже, вельможный пан староста. Новая беда!

— Что случилось?

— Воеводства Краковское, Сандомирское, Русское, Люблинское, Белзское, Волынское и Киевское сдались Карлу Густаву. Акт уже подписан и послами и Карлом.

Староста покачал головою и обратился к Кмицицу.

— Вот видишь! — сказал он. — И ты еще надеешься, что найдется тот, кто души своей не пощадит ради любви к правде.

Кмициц схватился за волосы.

— Горе! Горе! — повторял он в беспамятстве.

А Щебжицкий продолжал:

— Толкуют, будто остатки войск пана гетмана Потоцкого отказываются повиноваться ему и хотят идти к щведам. Гетман, опасаясь за свою жизнь, принужден согласиться.

— Сеют смуту, а пожнут бедствия и муки, — сказал староста. — Кто хочет покаяться в грехах, тому время!

Но Кмициц не мог больше слушать ни пророчества, ни вести, он хотел сесть поскорей на коня и остудить на ветру разгоряченную голову. Он вскочил и стал прощаться со старостой.

— Куда это ты так спешишь? — спросил староста.

— В Ченстохову, ибо грешник я!

— Тогда не стану тебя задерживать, хоть и рад бы попотчевать, но дело это неотложное, ибо суд уже близок.

Кмициц вышел, а вслед за ним вышла и девушка, чтобы вместо отца, который был уже слаб ногами, проводить гостя.

— Прощай, милостивая панна! — сказал ей Кмициц. — Не знаешь ты, как желаю я тебе добра!

— Коль желаешь ты мне добра, — ответила ему девушка, — сослужи мне службу. Ты едешь в Ченстохову, вот дукат, возьми его, пожалуйста, и закажи службу богоматери.

— За кого? — спросил Кмициц.

Пророчица потупила взор, горе изобразилось на ее лице, и щеки покраснели нежным румянцем; она ответила рыцарю тихим голосом,

подобным шелесту листьев:

— За Анджея, да наставит бог его на путь правый!

Кмициц попятился, вытаращил глаза и от изумления минуту не мог слова вымолвить.

— Раны Христовы! — воскликнул он наконец. — Что это за дом? Где это я? Одни пророчества, веления и предсказанья! Ты, милостивая панна, зовешься Оленькой и даешь на службу за грешного Анджея? Не простая это случайность, перст это божий... это... это... нет, я ума лишусь! Ради Христа, я ума лишусь!

— Что с тобою, милостивый пан?

Но он схватил вдруг ее руки и стал трясти их.

— Пророчье же мне дальше! Все скажи до конца. Коли этот Анджей обратится и искупит свою вину, останется ли Оленька верна ему? Говори же, отвечай же, я без этого не уеду!

— Что с тобою, милостивый пан?

— Останется ли Оленька верна ему? — повторил Кмициц.

У девушки вдруг покатались слезы из глаз.

— До последнего вздоха, до смертного часа! — рыдая, ответила она.

Не успела она кончить, как Кмициц повалился ей в ноги. Она хотела бежать, но он не пустил и, целуя ее стопы, повторял:

— И я грешный Анджей, жаждущий обратиться на путь правый. И у меня Оленька, возлюбленная моя. Пусть же твой Анджей обратится на путь правый, а моя Оленька останется верна мне! Да будут пророческими твои слова! Бальзам и надежду влила ты в мою душу! Да вознаградит тебя бог! Да вознаградит тебя бог!

Он бросился вон, сел на коня и уехал.

ГЛАВА XI

Слова дочери сохачевского старосты исполнили бодрости сердце Кмицица, три дня не выходили они у него из головы. Днем в седле и ночью на ложе думал он о том, что случилось, и всякий раз приходил к заключению, что неспроста все это, что перст это божий, пророчество, что если он устоит, если не собьется с того пути, который указала ему Оленька, то девушка останется верна ему и подарит его прежней любовью.

«Коль скоро дочь старосты, — размышлял пан Анджей, — хранит верность своему Анджею, который и не начинал еще исправляться, то и я могу еще надеяться, ибо искренне желаю послужить отчизне, вере и королю!»

Но и сомнения терзали душу пана Анджея. Желание его было искренним, но не слишком ли поздно взялся он за дело? Есть ли еще путь, есть ли средство? С каждым днем упадает Речь Посполитая, и трудно закрывать глаза на страшную правду: нет для нее спасения. Ничего не желал Кмициц, только ратных трудов, но не видел он охотников. Все новые люди, все новые лица мелькали в пути, но самый их вид, их разговоры и споры отнимали у него последнюю надежду.

Одни душой и телом предались шведам, ища в их стане собственных выгод; они пили, гуляли, пировали, как на тризне, в вине и разврате топили стыд и шляхетскую честь.

Другие в непостижимом ослеплении толковали о том, какую могущественную державу создаст Речь Посполитая в союзе со Швецией под скипетром первого в мире воителя; они-то и были наиболее опасны, ибо искренне были убеждены в том, что orbis terrarum^[179] должен склониться перед таким союзом.

Третьи, такие, как сохачевский староста, люди достойные и преданные родине, следили знамения на земле и на небе, повторяли пророчества и, усматривая во всем волю божью, неотвратимую руку провиденья, приходили к выводу, что близится конец света, стало быть, безумие помышлять не о царстве небесном, но о спасении отчизны.

Иные, наконец, укрывались в лесах или, спасая жизнь, уходили в чужие края.

Потому-то Кмициц встречал одних только бесшабашных гуляк и распутников, трусов и безумцев, но не встречал никого, кто сохранил бы веру в сердце.

А тем временем фортуна все больше покровительствовала шведам. Слух о том, что остатки коронных войск бунтуют, поднимают мятеж, грозятся гетманам и хотят перейти на сторону шведов, с каждым днем казался все верней. Как гром прогремела во всех концах Речи Посполитой весть о том, что хорунжий Конецпольский сдался со своей дивизией Карлу Густаву; она убила в сердцах последнюю веру, ибо Конецпольский был героем Збаража. За ним последовали яворовский староста и князь Димитрий Вишневецкий, которого не удержало даже имя его, покрытое бессмертною славой.

Люди стали уже сомневаться в маршале Любомирском. Те, кто хорошо его знал, утверждали, будто спесь подавляет в нем ум и любовь к отчизне, будто на стороне короля он стоял до сих пор по той причине, что лестно было ему, что все взоры обращены на него, будто завлекают и заманивают его и те и другие, внушая ему, что судьба отчизны в его руках. Но, видя успехи шведов, стал он медлить, колебаться и со всей своею надменностью все яснее давал почувствовать несчастному Яну Казимиру, что может спасти его или совсем погубить.

Король-скиталец оставался в Глоговой, и из горсточки верных слуг, разделивших его судьбу, кто-нибудь то и дело его покидал и переходил к шведам. В годину бедствий так легко сломить слабого, если даже первый порыв сердца велит ему пойти по честному, но тернистому пути. Карл Густав принимал беглецов с распростертыми объятиями, награждал, сулил золотые горы, а тех, кто хранил еще верность своему королю, соблазнял и сманивал, все шире распространяя свое владычество; сама фортуна устраняла с его пути все препоны, польскими силами покорял он Польшу, без боя ее побеждал.

Множество воевод, каштелянов, коронных и литовских сановников, целые толпы вооруженной шляхты, целые хоругви несравненной польской конницы стояли в его стане, засматривая в глаза новому господину, готовые повиноваться одному его мановению.

Остатки коронных войск все неотступней кричали своему гетману: «Иди, склони седую голову перед величием Карла! Иди, ибо мы хотим принадлежать шведам!»

— К шведам! К шведам!

И тысячи сабель сверкали в подтверждение этих слов.

В то же время по-прежнему пылала война на востоке. Страшный Хмельницкий снова осадил Львов, а полчища его союзников, обходя неприступные стены Замостья, разливались по всему Люблинскому воеводству, доходя до самого Люблина.

Литва была в руках шведов и Хованского. Радзивилл начал войну в Подлясье; курфюрст медлил, но в любую минуту мог нанести последний удар умирающей Речи Посполитой, а тем временем укреплялся в Королевской Пруссии.

К шведскому королю отовсюду устремились посольства, поздравляя его с благополучным покорением Польши.

Приближалась зима, листья опадали с деревьев, стаи воронья, покинув леса, носились над городами и весями Речи Посполитой.

За Петроковым Кмициц снова натолкнулся на шведские отряды, запрудившие все дороги и тракты. Некоторые из них после захвата Кракова маршировали в Варшаву; говорили, что Карл Густав, приняв присягу на верность от южных и восточных воеводств и подписав «капитуляции» их, ждет только, когда сдадутся остатки войск во главе с Потоцким и Лянцкоронским, после чего тотчас направится в Пруссию, а потому и высылает вперед свои войска. Шведы нигде не останавливали пана Анджея, ибо шляхта не возбуждала у них никаких подозрений и вместе с ними ехало множество польских панов с вооруженной челядью; одни направлялись в Краков к новому королю на поклон, другие за поживой, поэтому ни грамот, ни паспортов никто не спрашивал, тем более что Карл, изображавший из себя милостивого монарха, был недалеко, и шведы никого не смели беспокоить.

Последнюю ночь перед прибытием в Ченстохову пан Анджей провел в Крушине; не успел он расположиться на ночлег, как явились гости. Сперва подошел шведский отряд примерно в сто сабель, под начальством нескольких офицеров и важного какого-то капитана. Это был осанистый мужчина средних лет, рослый, крепкий, широкоплечий, с быстрыми глазами, одежда на нем была иноземная, да и с виду он казался иноземцем, однако, войдя в корчму, он обратился к пану Анджею на чистейшем польском языке и стал спрашивать, кто он и куда едет.

На этот раз пан Анджей решил сказаться шляхтичем из Сохачевского повета, так как офицеру могло бы показаться подозрительным, что подданный курфюрста забрался так далеко в глубь Польши. Узнав, что пан Анджей едет к шведскому королю с жалобой на шведов, которые не хотят уплатить ему причитающиеся деньги, офицер сказал:

— Молиться лучше всего перед главным алтарем, и ты, пан, правильно делаешь, что едешь к самому королю: хоть у него и тысячи дел, однако же он никого не откажется выслушать, а уж к вам, шляхте, так благоволит, что даже шведы вам завидуют.

— Только бы деньги были в казне...

— Карл Густав — это не бывший ваш король Ян Казимир, который даже у евреев принужден был занимать деньги, потому что все, что имел, отдавал первому же просителю. Впрочем, коль удастся одно предприятие, денег в казне будет довольно...

— О каком предприятии ты толкуешь, милостивый пан?

— Мы слишком мало знакомы, чтобы я мог открыть тебе эту тайну. Знай только, что через одну-две недели казна шведского короля будет так же полна, как султанская.

— Разве только какой-нибудь алхимик наделает ему денег, здесь их взять неоткуда.

— Здесь взять неоткуда? Довольно только руку смело протянуть! А смелости нам не занимать стать. Доказательство тому — наша власть.

— Верно, верно! — сказал Кмициц. — Мы вашей властью очень довольны, а коль вы да вдобавок еще научите нас средству деньги как навоз собирать.

— Было у вас одно средство, но вы бы с голоду предпочли умереть, нежели взять оттуда хоть денежку.

Кмициц бросил на офицера быстрый взгляд.

— Да ведь есть такие места, на которые и татарину страшно посягнуть! — сказал он.

— Очень ты догадлив, пан кавалер! — ответил ему офицер. — Помни, однако, и про то, что за деньгами ты едешь не к татарам, а к шведам.

Дальнейший разговор прервало прибытие нового отряда. Офицер, видно, ждал его, так как торопливо выбежал из корчмы. Кмициц вышел вслед за ним и остановился в дверях, чтобы поглядеть, кто же это приехал.

К корчме подъехала закрытая карета, запряженная четверней и окруженная отрядом шведских рейтар. Офицер, который вел разговор с Кмицицем, мигом бросился к карете и, отворив дверцу, отвесил приезжему низкий поклон.

«Видно, кто-то из сановных!» — подумал Кмициц.

Тем временем из корчмы вынесли пылающие факелы. Из кареты вышел важный сановник, одетый по-иноземному, в черном кафтане до колен на лисьем меху и в черной же шляпе с перьями.

Офицер выхватил фонарь из рук рейтара и с новым поклоном сказал:

— Сюда, досточтимый господин посол!

Кмициц поторопился назад, в корчму, а вслед за ним тотчас вошли и приезжий с офицером.

В корчме офицер отвесил третий поклон.

— Досточтимый господин посол, — сказал он, — я Вейгард

Вжещович, ordinarius prowiantmagister^[180] его королевского величества Карла Густава, посланный с эскортом навстречу вашей милости!

— Очень рад познакомиться со столь достойным кавалером, — ответил сановник в черном, отвечая на поклон.

— Ваша милость, изволите здесь отдохнуть или желаете тотчас ехать дальше? Его королевское величество хотел бы поскорее увидеться с вами.

— Я имел намерение остановиться в Ченстохове и побывать у обедни, — ответил приезжий, — однако в Велюне получил известие, что его королевское величество повелевает нам поторопиться, а потому мы только отдохнем немного и поедем дальше. А покуда отправьте старый эскорт и поблагодарите капитана, который вел его.

Офицер вышел, чтобы отдать соответствующие распоряжения. Пан Анджей остановил его по дороге.

— Кто это? — спросил он.

— Барон Лисола, посол цесаря, он из Бранденбурга направляется к нашему королю, — последовал ответ.

Офицер вышел; но через минуту вернулся.

— Ваши приказы исполнены, досточтимый господин посол, — доложил он барону.

— Спасибо, — ответил Лисола.

И с большой, хоть и барственной любезностью указал Вжещовичу место напротив.

— Что-то ветер завыл на дворе, — сказал он, — и дождь хлещет. Пожалуй, придется отдохнуть подольше. А покуда поговорим перед ужином. Что тут слышно у вас? Слышал я, будто малопольские воеводства покорились его королевскому величеству.

— Да, ваша милость. Его королевское величество ждет только, чтобы сдались остатки разбитого войска, после чего сразу же направится в Варшаву и Пруссию.

— Неужто они сдадутся?

— Посланцы от войска уже в Кракове. Да им ничего другого и не остается, нет у них выбора. Не перейдут к нам, так Хмельницкий истребит их до последнего человека.

Лисола склонил на грудь свою умную голову.

— Страшное, неслыханное дело! — промолвил он.

Разговор шел на немецком языке. Кмициц понимал все до последнего слова.

— Ваша милость, — сказал Вжещович, — чему быть, то и случилось.

— Оно, может, и так, нельзя, однако же, не сочувствовать

могущественной державе, которая пала у нас на глазах, кто не швед, тот должен сожалеть об ее участи.

— Я не швед, но коль скоро сами поляки не сожалеют, что же мне трогаться ее участью, — возразил Вжещович.

Лисола пристально на него посмотрел.

— Имя у вас и впрямь не шведское. Кто же вы?

— Я чех.

— Скажите на милость! Стало быть, подданный цесаря. Мы с вами подвластны одному монарху.

— Я на службе у всепресветлейшего шведского короля, — с поклоном возразил Вжещович.

— Я о вашей службе ничего дурного сказать не хочу, — ответил Лисола. — Но эта служба сегодня есть, а завтра нет ее, а коль скоро вы подданный нашего милостивого монарха, то где бы вы ни были, кому бы ни служили, никого другого вы не можете почитать прирожденным своим повелителем.

— Не спорю.

— Так вот я должен вам прямо сказать, что наш государь сострадает прославленной Речи Посполитой, сожалеет об участи ее достославного монарха и не может благосклонно взирать на своих подданных, кои содействуют окончательному падению дружественной нам державы. Что сделали вам поляки, что вы питаете к ним такую неприязнь?

— Досточтимый господин посол, я бы много мог сказать вам, но боюсь злоупотребить вашим терпением.

— Сдается мне, вы не только отличный офицер, но и умный человек, а мне моя должность велит смотреть и слушать и о причинах спрашивать; говорите же, пусть даже пространно, и не бойтесь злоупотребить моим терпением. Напротив, коль потом вы пожелаете поступить на службу к цесарю, чего я вам от души желаю, и кто-нибудь вздумает вменить вам в вину вашу нынешнюю службу, вы найдете во мне друга, который заступится за вас и во всем вас оправдает.

— Тогда я открою вам все, что думаю. Как многие младшие сыновья дворянских семейств, я принужден был искать счастья за пределами нашей родины, вот и приехал сюда, где и народ моему родствен, и иноземцев охотно берут на службу.

— Вас плохо здесь приняли?

— Мне дали управлять соляными копиями. Дорога к благосостоянию, к людям, к самому королю открылась передо мною. Сейчас я служу шведам, но когда бы кто-нибудь почел меня неблагодарным, я бы решительно отверг

это обвинение.

— По какой же причине?

— А с какой стати требовать от меня больше, нежели от самих поляков? Где сегодня поляки? Где, как не в шведском стане, сенаторы этого королевства, князья, магнаты, шляхта, рыцари? А ведь они первые должны знать, что надлежит им делать, в чем спасение и в чем гибель их отчизны. Я иду по их стопам, так кто же из них имеет право назвать меня неблагодарным? Почему я, иноземец, должен хранить верность польскому королю и Речи Посполитой, когда они сами ее не хранят? Почему должен я пренебречь службой, которой они сами домогаются?

Лисола ничего не ответил. Он подпер руками голову и задумался. Казалось, он слушает вой ветра и шум осеннего дождя, что сек уже в окошки корчмы.

— Продолжайте, — сказал он наконец. — Вы и впрямь говорите вещи необычайные.

— Я ищу счастья там, где могу найти, — продолжал Вжещович, — а про то, что этот народ погибает, мне нет нужды думать больше его самого. Да если бы я даже и думал, не помогло бы это, ибо он должен погибнуть!

— Это почему же?

— Первым делом потому, что поляки сами этого хотят, а еще потому, что они этого заслуживают. Ваша милость, есть ли на свете другая такая страна, где бы царили такой беспорядок и смута? Что здесь за правительство? Король не правит, ибо ему не дают править. Сеймы не правят, ибо их раздирают распри. Нет войска, ибо народ не хочет платить подати; нет повиновения, ибо повиновение противно свободе; нет правосудия, ибо некому приводить в исполнение приговоры и всяк, кто посильней, попирает их; нет верности, ибо все поляки оставили своего государя; нет любви к отечеству, ибо они отдали его шведам за посул не мешать им жить в прежних распрях. Где еще могло бы случиться такое? Какой народ в мире помог бы врагу покорить собственную землю? Кто оставил бы своего короля не за тиранство, не за злодеянья, а потому, что пришел другой король, более могущественный? Где еще есть люди, которые больше пеклись бы о собственном добре и попирали бы общее благо? Что у них за душой, ваша милость? Пусть назовут мне хоть одну добродетель: степенность ли, разум ли, осмотрительность, стойкость, воздержность? Что у них есть? Хорошая конница? Да! Но и только! Так ведь и нумидийцы прославились своей конницей, и у галлов, как можно о том прочесть у римских историков, были знаменитые наездники, а где все эти племена? Погибли, как должен погибнуть и этот народ. Кто хочет

спасти его, только время теряет попусту, ибо он сам не хочет себя спасти! Одни безумцы, своевольники, злодеи и предатели обитают в этой стране!

Такая ненависть дышала в этих последних словах, что странно было слышать их из уст иноземца, которому этот народ дал кусок хлеба; но Лисола не удивился. Искушенный дипломат, он изведаль свет и людей и знал, что тот, кто не умеет от чистого сердца отблагодарить своего благодетеля, усердно ищет в нем пороков, чтобы оправдать свою неблагодарность. А может, он соглашался в душе с Вжещовичем и потому не возражал.

— Господин Вейгард, — спросил он вдруг, — вы католик?

— Да, ваша милость, — ответил тот.

— Я в Велюне слышал, будто нашлись такие люди, которые уговаривают его королевское величество Карла Густава занять Ясногорский монастырь. Правда ли это?

— Ваша милость, монастырь лежит неподалеку от силезской границы, и Ян Казимир легко может получить оттуда помощь. Мы вынуждены занять его, дабы этому воспрепятствовать. Я первый обратил внимание на это обстоятельство, и поэтому его королевское величество поручил мне это дело.

Тут Вжещович внезапно оборвал речь, вспомнив, что в другом конце корчмы сидит Кмициц. Он подошел к нему и спросил:

— Ты, пан, понимаешь по-немецки?

— Хоть убей, ни слова! — ответил пан Анджей.

— Какая жалость! Мы хотели попросить тебя принять участие в нашей беседе.

Затем он снова вернулся к Лисоле.

— Тут чужой шляхтич, но он по-немецки не понимает, мы можем говорить свободно.

— Нет у меня никаких тайн, — ответил Лисола, — но и я католик и не хотел бы, чтобы пострадала святыня. Я уверен, что и всепресветлейший цесарь этого не желает, и потому буду просить его королевское величество пощадить монахов. А вы не торопитесь занимать монастырь, покуда не будет нового решения.

— Мне даны ясные, хотя и тайные указания; только от вас, ваша милость, я не таю их, ибо цесарю, моему повелителю, хочу всегда служить верой и правдой. Могу, однако, успокоить вас, святыня не будет осквернена. Я католик...

Лисола улыбнулся и, желая выведать правду у человека, менее искушенного, спросил шутливо:

— Но казну-то монашескую небось потрясете? Не без того? А?

— Все может стать, — ответил Вжещович. — Пресвятой богородице не нужны талеры в сундуке приора. Коль скоро все платят, пусть платят и монахи.

— А если они станут защищаться?

Вжещович рассмеялся.

— Никто в этой стране не будет защищаться, да сегодня уже и не может. У них было для этого время! Теперь поздно!

— Поздно! — повторил Лисола.

На этом разговор кончился. После ужина все уехали. Кмициц остался один. Для него это была худшая ночь из всех, какие пережил он после отъезда из Кейдан.

Слушая речи Вейгарда Вжещовича, он изо всех сил сдерживался, чтобы не крикнуть этому чеху: «Лжешь, собака!» — и не броситься на него с саблей. И не сделал он этого, увы, лишь потому, что чуял, узнавал правду в словах иноземца, страшную, жгучую, как огонь, но неподдельную правду.

«Что бы мог я сказать ему? — говорил он себе. — Чем опровергнуть его, кроме как кулаками? Какие привести доказательства? Правду лаял, чтоб его бог убил! Да и посол согласился, что все кончено, защищаться поздно».

Кмициц, быть может, и потому так страдал, что роковое слово «поздно» было приговором не только отчизне, но и личному его счастью. Довольно было с него этих мук, сил у него больше не было; целыми неделями он одно только и слышал: все пропало, уже не время, поздно. Ни единый лучик надежды не заронился в его душу.

Подвигаясь все вперед и вперед, он потому так торопился, потому ехал и днем и ночью, что хотел бежать от всех этих пророчеств, что хотел найти наконец такую обитель, такого человека, который влил бы в его душу хоть каплю утешения. А меж тем он видел кругом лишь все больший упадок, все большее отчаяние. Слова Вжещовича переполнили наконец чашу горечи и желчи, показали ему со всей ясностью то, что до сих пор он лишь смутно сознавал, — что отчизну погубили не столько шведы, московиты и казаки, сколько сам польский народ.

«Безумцы, своевольники, злодеи и предатели обитают в этой стране, — повторял он вслед за Вжещовичем. — Иных нет! Королю они не повинуются, сеймы их раздирают распри, податей они не платят, сами помогают врагу покорить свою землю. Они должны погибнуть!»

О, боже! Хоть бы один-единственный раз бросить ему обвинение во лжи! Неужели, кроме конницы, нет у нас ничего хорошего и никаких

добродетелей, одно лишь зло?»

Кмициц искал в душе ответа. Он был уже так измучен и дорогой, и невзгодами, и всем пережитым, что ум его мутился. Он почувствовал, что болен, и смертельная усталость овладела им. Все больший хаос носился в его голове. Мелькали знакомые и незнакомые лица, которые он знал давно и которые встречались в пути.

Целые сонмы их кричали, как на сейме, кого-то поучали, что-то вещали, и все рвались к Оленьке. Она искала спасения у него; но Вжещович держал его за руки и, глядя ему в глаза, твердил: «Позор! Что шведское, то шведское!» — а Богуслав Радзивилл смеялся и повторял эти слова. Затем все стали кричать: «Поздно! Поздно! Поздно!» — и, схватив Оленьку, скрылись с нею во тьме.

И чудилось Кмицицу, что Оленька и отчизна одно существо и что это он погубил их, добровольно предал в руки шведов.

И такое безумное сожаление охватывало тогда его, что он пробуждался и изумленными очами озирался вокруг или прислушивался к шуму ветра, который выл на разные голоса в трубе, в стенах, на крыше и играл во всех щелях, как на органе.

Но видения возвращались. Оленька и отчизна снова сливались в одно существо, которое Вжещович увлекал за собой со словами: «Поздно! Поздно!»

Так грезил пан Анджей ночь напролет. В минуты прояснения он думал, что тяжело заболел и хотел даже кликнуть Сороку, чтобы тот пустил ему кровь. Но забрезжил свет, пан Анджей вскочил с постели и вышел на крыльцо.

Первые проблески зари только рассеивали мрак, день обещал быть погожим; станицей, вереницей тянулись на западе тучи, но восток был чист; в небе, понемногу бледневшем, мерцали не подернутые дымкою звезды. Кмициц разбудил людей, сам оделся в свое праздничное платье, так как день был воскресный, и отряд тронулся в путь.

После дурно проведенной бессонной ночи пан Анджей был утомлен и телом и душой.

Это осеннее утро, бледное, но свежее, инеистое и светлое, не могло рассеять печали, которая легла на сердце рыцаря. До последнего стебелька выжгло в его сердце надежду, она угасла, как светильник, в котором кончилось масло. Что принесет ему этот день? Ничего! Те же печали, те же беды, скорее прибавит тяжести на душе, и, уж конечно, не принесет облегчения.

Он ехал в молчании, вперя взор в какую то точку, ярко сверкавшую на

небосклоне. Лошади фыркали, что было предвестником хорошей погоды, люди сонными голосами запели утреннюю молитву.

Между тем светало все больше, бледное небо зеленело и золотилось, а точка на небосклоне сверкала так ярко, что глаза щурились от ее блеска.

Люди перестали петь, все смотрели в ту сторону.

— Что за чудеса? — сказал наконец Сорока. — Ведь там запад, а будто солнце всходит?

Свет и впрямь рос на глазах, точка стала уже кружком, кружок диском, издали казалось, что кто-то подвесил над землей огромную звезду, струившую ярчайший блеск.

Кмициц со своими людьми в изумлении смотрел на это сияние, трепетное, лучезарное, сам не зная, что же это открылось его взору.

Но вот их нагнал мужик, ехавший из Крушины на хлебной телеге. Обернувшись, Кмициц увидел, что он держит в руках шапку и, глядя на сияние, молится.

— Эй! — окликнул его пан Анджей. — А что это там так светится?

— Ясногорский костел, — ответил мужик.

— Слава пресвятой богородице! — воскликнул Кмициц и снял шапку, а за ним обнажили головы и его люди.

После стольких дней невзгод, сомнений и разочарований пан Анджей внезапно ощутил, что с ним творится нечто удивительное. Не успели слова «Ясногорский костел!» — отзвучать в его ушах, как все горе и уныние как рукой сняло.

Неизъяснимый, благоговейный трепет обнял рыцаря и вместе с тем радость неизведанная, великая, светлая. Этот костел, пламеневший в вышине в первых лучах солнца, вливал надежду в сердце, которой Кмициц давно не знал, бодрость, которой он тщетно искал, непобедимую силу, на которую он жаждал опереться. Слово новую жизнь вдохнул он в него, и заструилась она вместе с кровью по его жилам. Он вздохнул глубоко, как больной, пробудившийся от горячки и забытья.

А костел пламенел все ярче и ярче, точно вобрал в себя весь солнечный блеск. Вся страна лежала у его подножия, а он взирал на нее с высоты, словно страж ее и покровитель.

Кмициц долго не мог отвести глаз от этого сияния, и наслаждался, и душу врачевал его зрелищем. Лица его спутников были суровы, проникнуты трепетом.

Но вот голос колокола прозвучал в тихом утреннем воздухе.

— С коней! — крикнул пан Анджей.

Все спешили и, опустившись на колени посреди дороги, начали

молиться. Кмициц читал акафист, солдаты отвечали хором. Подъезжали новые телеги: крестьяне, видя на дороге молящихся, присоединялись к ним; толпа становилась все больше.

Когда они кончили наконец молиться, пан Анджей поднялся с колен, за ним поднялись и солдаты; но дальше они шли уже пешком, ведя коней под уздцы, и пели; «Поклон вам, светлые врата...»

Пан Анджей шел такой бодрый, будто крылья выросли у него за плечами. На поворотах дороги костел то пропадал из глаз, то снова показывался. Когда его заслоняли холмы или стены оврагов, Кмицицу казалось, что меркнет весь свет, когда же он снова сверкал впереди, прояснялись все лица.

Долго шли они так. Костел, монастырь и стены, окружавшие их, вырисовывались вдали все ясней, становились все больше и величественней. Путники увидели наконец и город вдали, а под горою порядки домов и хат, которые на фоне огромного костела казались не более птичьих гнезд.

Было воскресенье, и когда солнце поднялось высоко, дорогу запрудили телеги и толпы богомольцев, спешивших к обедне. На высоких звонницах ударили в колокола, большие и маленькие, и воздух наполнился торжественным звоном. Силой, беспредельным величием и вместе с тем покоем дышало это зрелище и медные эти голоса. Совсем не схож был этот уголок земли у подножия Ясной Горы с остальной страной.

Толпы народа темнели вокруг стен костела. Под горой стояли сотни телег, бричек, колясок, двуколок; шум голосов мешался с ржанием лошадей, привязанных к коновязям. Правее, вдоль главной дороги, ведущей на гору, тянулись ряды, где торговали металлическими и восковыми фигурками, которые богомольцы жертвовали на алтарь, свечами, образами и ладанками. Всюду свободно текла людская волна.

Врата были растворены настежь, кто хотел, входил в монастырь, кто хотел, выходил; на стенах, у пушек, совсем не было солдат. Сама святость места хранила, видно, костел и монастырь, а быть может, монахи верили грамотам Карла Густава, в которых он обещал им безопасность.

ГЛАВА XII

От крепостных ворот мужики и шляхта, мещане из окрестных городов, люди обоего пола, всех возрастов и всякого звания, с пением псалмов на коленях ползли к костелу. Очень медленно текла людская эта река, и течение ее то и дело приостанавливалось, когда тела сбивались слишком плотно. Хоругви всеми цветами радуги переливались на нею. Порой песнопенья смолкали, толпы людей начинал читать молитву, и тогда из конца в конец перекатывался гром голосов. Между молитвами и песнопеньями люди в молчании били поклоны или простирались ниц на земле; слышались только молящие, пронзительные голоса нищих, что сидели по обе стороны людской реки, обнажив перед всеми свои изуродованные члены. Их крик мешался со звоном монет, падавших в жестяные и деревянные чашки. И снова текло море голов, и снова звучали псалмы.

По мере того как волна приближалась к дверям костела, восторг обращался в исступление. Руки простирались к небу, глаза устремлялись ввысь, лица бледнели от волнения или пылали от молитвы.

Исчезла разница между званиями: крестьянские армяки смешались с кунтушами, солдатские колеты — с желтыми кафтанами мещан.

В дверях костела давка стала еще больше. Людские тела образовали уже не реку, а мост, сбитый так плотно, что, казалось, можно пройти по головам и плечам, не коснувшись стопой земли. Не хватало воздуха груди, пространства телу; но дух, ожививший их, придал им железную стойкость. Все молились, никто ни о чем больше не думал; каждый влек на себе толпу, всю ее тяжесть, но никто не падал, и, подталкиваемый тысячами, ощущал в себе силу тысяч, и, погруженный в молитву, в упоении и восторге с этой силой стремился вперед.

Кмициц полз со своими людьми в первых рядах и до костела добрался с первыми богомольцами; затем поток внес его в придел, где стояла чудотворная икона; здесь толпа с рыданием пала ниц, распростерев руки и целуя в исступлении пол. И пан Анджей лежал ниц, когда же он осмелился наконец поднять голову, то едва не лишился чувств от восторга, счастья и вместе с тем смертельного страха.

В приделе царил красный полумрак, который не могли рассеять огоньки свечей, пылавших перед алтарем. Свет струился и сквозь цветные витражи, и блики его, красные, фиолетовые, золотые, трепетали, пламеня,

на стенах, скользили по статуям, изгибам, пронизывали самую глубину придела, выхватывая из мрака смутные очертания предметов, как бы погруженных в сон. Таинственные блики рассеивались и сливались с мраком так незаметно, что исчезала грань между светом и тьмой. Свечи на алтаре пылали в золотых нимбах. Фимиам камильниц застилал придел багряною дымкой; на белой ризе монаха, служившего литургию, слабо мерцали переливы красок. И этот полусвет, и этот полумрак — все было неземным: неземными были блики, неземными — тени, таинственные, торжественные, благословенные, проникнутые молитвой, восторгом, священным трепетом.

Из главного корабля костела долетал слитный шум человеческих голосов, словно гул моря, а здесь царила глубокая тишина, прерываемая лишь голосом монаха, певшего молитву.

Завеса на иконе была еще задернута, и от ожидания замирало дыханье в груди. Видны были только глаза молящихся, устремленные в одну точку, неподвижные лица, словно отрешенные от земной жизни, руки, молитвенно сложенные у губ, как у ангелов на образах.

Пению монаха вторил орган, и мягкие, сладостные его звуки плыли будто от райских флейт. Они то струились, как вода в роднике, то падали тихие и густые, как обильный майский дождь.

Но вот ударили трубы и литавры — и трепет обнял сердца.

Завеса над иконой раздернулась надвое, и дождь алмазных искр хлынул сверху на молящихся.

Стоны, рыдания, крики раздались в приделе.

— *Salve, Regina!*^[181] — кричала шляхта. — *Monstra Te esse matrem!*^[182] Пресвятая богородица! — зывали крестьяне. — Дева Мария! Царица небесная! Всех скорбящих радость! Спаси, помоги, смилуйся над нами!

И долго звучали эти возгласы вместе с рыданием женщин, стонами несчастных, мольбами о чуде больных и калек.

Кмициц был как труп бездыханный, он чувствовал только, что перед ним разверзлась бесконечность, которой не обнять, не постигнуть, перед которой все падает ниц. Чем были сомнения перед этою верой, которую не могло вместить существо, чем были невзгоды перед этим утешением, чем было могущество шведов перед такою защитой, людская злоба перед таким покровительством?

Мысли в нем замерли, одни чувства остались; в самозабвении, в исступлении он забыл, кто он и где находится. Ему чудилось, что он умер, что душа его уносится ввысь с голосами органа, сливается с фимиамом

кадильниц; он воздел руки, привыкшие к мечу и кровопролитию, и стоял, коленопреклоненный, в восторге, в исступлении.

Тем временем литургия кончилась. Пан Анджей сам не заметил, как снова очутился в главном корабле костела. Ксендз читал с амвона проповедь; но пан Анджей долго еще ничего не слышал, ничего не понимал, как человек, пробужденный ото сна, не сразу сознает, где кончается сон и начинается явь.

Первые слова, которые он услышал, были: «Здесь изменятся сердца и души исправятся, и шведы не одолеют силы сей, как блуждающие во тьме не победят света истины!»

«Аминь!» — сказал Кмициц в душе и стал бить себя в грудь, ибо теперь ему показалось, что он тяжко грешил, когда думал, что все кончено и нет больше надежды.

После окончания службы он остановил первого попавшегося монаха и сказал, что хочет видеть приора по делу, касающемуся костела и монастыря.

Приор тотчас принял его. Это был человек немолодой, жизнь его уже близилась к закату. Необыкновенно светел был его облик. Черная густая борода окаймляла его лицо, глаза были голубые, спокойные и проницательные. В своем белом монашеском одеянии он походил на святого. Кмициц поцеловал рукав его рясы, он же обнял рыцаря и спросил, кто он и откуда прибыл.

— Я приехал из Жмуди, — ответил пан Анджей, — дабы служить пресвятой богородице, обездоленной отчизне и покинутому государю, против которых грешил я доньше, в чем на духу покаюсь, ничего не утаив, и прошу я о том, чтобы еще сегодня или завтра до света мог я исповедаться, ибо сожалею я о грехах моих. Настоящее свое имя я открою тебе, преподобный отче, лишь под тайною исповеди, ибо вооружает оно людей против меня и может помешать моему исправлению. Для людей хочу я зваться Бабиничем по названию поместья моего, захваченного врагом. Важную привез я весть, отче, выслушай же меня терпеливо, ибо речь идет о сей святой обители и костеле!

— Хвалю твое намерение, сын мой, и желание исправить жизнь свою, — ответил ему ксендз Кордецкий. — Что до исповеди, то неленостно исполню я твою просьбу, а теперь слушаю тебя.

— Долго я ехал, — сказал Кмициц, — много видел и сокрушался много. Повсюду укрепился враг, повсюду еретики поднимают голову, мало того, — сами католики переходят во вражеский стан, и потому столь дерзостен стал враг, что, покорив обе столицы, вознамерился поднять

святотатственную руку на Ясную Гору.

— От кого ты это узнал? — спросил ксендз Кордецкий.

— Последнюю ночь провел я в Крушине. Туда приехали Вейгард Вжещович и посол цесаря Лисола, который из Бранденбурга направлялся к шведскому королю.

— Шведского короля уже нет в Кракове, — прервав Кмицица ксендз, устремив на него пронизательный взгляд.

Но пан Анджей не опустил глаз.

— Не знаю я, там ли король или нет, — продолжал он, — но знаю, что Лисола ехал к нему, а Вжещовича прислали сменить эскорт и сопровождать дальше посла. Оба они разговаривали при мне по-немецки, не опасаясь моего присутствия; не думали они, что я могу понять, о чем они говорят, а я с малых лет знаю немецкий язык, как польский, вот и понял, что Вейгард наущал короля занять монастырь и до казны добратся и получил уже на то позволение.

— И ты слышал это собственными ушами?

— Вот как стою здесь.

— Да будет воля господня! — спокойно сказал ксендз.

Кмициц испугался. Он подумал, что волей господней ксендз почел приказ шведского короля, что не помышляет он о сопротивлении, и потому сказал в замешательстве:

— Я видел в Пултуске костел в руках шведов, солдаты в святыне играли в карты, бочки пива стояли на алтарях, бесстыжие девки гуляли с солдатами.

Ксендз по-прежнему в упор смотрел на рыцаря.

— Удивительное дело, — сказал он, — искренность и правду читаю я в твоих очах...

Кмициц вспыхнул.

— Чтоб мне с места не сойти, коли я говорю неправду!

— Так или иначе, важные это вести, надо бы о них посоветоваться. Позволь же мне, милостивый пан, позвать старейших отцов да кое-кого из почтенных шляхтичей, что живут сейчас у нас и в жестокое это время поддерживают нас своим советом. Так, с твоего позволения...

— Я охотно все перескажу им.

Ксендз Кордецкий вышел и через пятнадцать минут вернулся с четырьмя старейшими отцами.

Вслед за ними вошел Ружиц-Замойский, серадзский мечник, человек суровый; Окельницкий, велюньский хорунжий; Петр Чарнецкий, молодой рыцарь с грозным, воинственным лицом, рослый и крепкий как дуб, и еще

несколько шляхтичей разных лет. Ксендз Кордецкий представил им Бабинича из Жмуди, затем пересказал привезенные рыцарем новости. Удивлены все были чрезвычайно и устремили на рыцаря испытующие, недоверчивые взгляды, а так как никто не хотел говорить первым, слово взял ксендз Кордецкий.

— Я не подозреваю этого рыцаря в злонамеренности или во лжи, избави бог, — сказал он, — но вести, которые он принес, показались мне столь неправдоподобными, что я почел за благо обсудить их с вами. Питая самые благие намерения, рыцарь мог ошибиться, или ослышаться, или плохо понять, да и кто-нибудь из еретиков мог умышленно ввести его в заблуждение. Они рады-радехоньки исполнить сердца наши страхом, вызвать смятение в святой обители, помешать службе божией, и по злобе своей никто из них, наверно, не откажется это сделать.

— Сдается мне, очень это похоже на правду, — заметил отец Нешковский, самый старший из всех присутствующих.

— Надо бы сперва узнать, не еретик ли сам пан? — сказал Петр Чарнецкий.

— Католик я, как и ты! — ответил Кмициц.

— Взвесить надо сперва все обстоятельства дела, — промолвил Замойский.

— Обстоятельства такие, — прервал его ксендз Кордецкий, — что, верно, господь бог и пресвятая богородица с умыслом ослепили врага, дабы преступил он всякие границы в своем беззаконии. Иначе никогда не дерзнул бы он поднять меч на сию святую обитель. Не собственными силами покорил он Речь Посполитую, сыны ее помогли ему в том; но как ни низко пал наш народ, как ни погряз он во грехах, есть, однако, предел и греху, коего не посмеет он преступить. Государя своего он оставил, Речь Посполитую предал, но мать Божию, заступницу свою и владычицу почитать не забыл. Глумится над нами враг, вопрошая с презрением, что осталось у нас от прежних добродетелей. И отвечаю я: все погибли, но одна осталась, вера осталась, поклоненье пресвятой деве, и на сем основании созиждутся прочие. И провижу я, что, когда хоть одна шведская пуля пощербит сии священные стены, самые закоренелые отвернутся от шведов, из друзей станут недругами, на них поднимут меч. Но и шведы видят, где таится их погибель, и хорошо сие разумеют. А посему, коль не наслал на них господь с умыслом слепоту, как я говорил уже, никогда не посмеют они напасть на Ясную Гору, ибо день сей станет поворотным днем, когда им изменит счастье, мы же опомнимся.

С изумлением внимал Кмициц словам ксендза Кордецкого, которые

были как бы ответом на те речи, что лаял Вжещович против польского народа. Однако, придя в себя, он сказал ксендзу:

— Преподобный отче, как же не поверить, что бог наслал слепоту на врагов? Вспомним об их гордыне и алчности, вспомним о несносном иге и поборах даже с духовенства, и мы тотчас поймем, что не останутся они ни перед каким святотатством.

Ксендз Кордецкий ничего не ответил Кмицицу, он обратился ко всем собравшимся:

— Рыцарь говорит, что он видел посла Лисолу, который ехал будто бы к шведскому королю; но как могло это случиться, когда от краковских папулинов^[183] я доподлинно знаю, что короля нет уже ни в Кракове, ни во всей Малой Польше, ибо после сдачи Кракова он сразу же выехал в Варшаву...

— Не может быть! — воскликнул Кмициц. — И вот вам лучший довод: король ждет, покуда сдастся и принесет присягу на верность ему наше войско во главе с паном Потоцким.

— Присягу от имени короля должен принять генерал Дуглас, — возразил приор. — Так пишут мне из Кракова.

Кмициц умолк, он не знал, что сказать.

— Допустим, однако, — продолжал приор, — что шведский король не хотел видеть посла и предпочел умышленно разминуться с ним. Карл это любит: неожиданно приехать, неожиданно уехать; к тому же его гневит посредничество цесаря, так что я охотно верю, что он уехал, притворясь, будто не знает о прибытии посла. Мало удивляет меня и то, что с эскортом послали графа Вжещовича, — быть может, такой почестью хотели позолотить послу пилюлю; но как поверить тому, что граф Вжещович ни с того ни с сего стал тут же открывать свои замыслы барону Лисоле, католику, нашему да и всей Речи Посполитой и изгнанника короля благожелателю?

— Немыслимое дело! — воскликнул отец Нешковский.

— И у меня это что-то в голове не укладывается, — подхватил серадзский мечник.

— Вжещович сам католик и наш благодетель, — прибавил другой pater^[184]

— И ты, пан, говоришь, что все слышал собственными ушами? — жестко спросил Петр Чарнецкий.

— Вспомните и про то, — прервал его приор, — что у меня охранная грамота Карла Густава, стало быть, никто не смеет занять монастырь и

костел, и мы навсегда свободны от постоя.

— Скажем прямо, — сурово промолвил Замойский, — слова рыцаря плохо вяжутся одно с другим: и напасть на Ченстохову для шведов не корысть, а потеря, и короля нет, — стало быть, Лисола не мог к нему ехать, — и Вжещович не мог Лисоле открыться, да и не еретик Вжещович, а католик, не враг церкви, а благодетель, да и не посмел бы он учинить нападение вопреки воле короля и его охранной грамоте, искушай его хоть сам сатана. — Тут он обратился к Кмицицу: — Что же это за басни ты рассказываешь и зачем, для какой цели понадобилось тебе устрашать и нас, и преподобных отцов?

Кмициц стоял, как преступник перед судом. С одной стороны, отчаяние овладело им оттого, что ему не верят и монастырь может поэтому стать добычей врага; с другой стороны, он сгорал со стыда, ибо сам видел, что все говорит против него и его легко могут счесть за лжеца. Гнев обуял его при одной мысли об этом, снова пробудился его природный необузданный нрав, возмутилась оскорбленная гордость, проснулся в нем прежний полудикий Кмициц. Но он боролся с самим собою, пока не поборол себя, и, призвав на помощь все свое терпение, твердя про себя: «За грехи мои! За грехи мои!» — ответил, меняясь в лице:

— Повторяю еще раз все, что слышал: Вейгард Вжещович должен напасть на монастырь. Срока я не знаю, но думаю, что должно это случиться в скором времени. Я вас предупредил, не слушаете меня, вам в ответе быть.

Услышав такие речи, Петр Чарнецкий произнес с ударением:

— Потихе, пан, потихе! Не повышай голоса! — Затем обратился к собравшимся: — Позвольте мне, преподобные отцы, задать несколько вопросов этому пришельцу...

— Милостивый пан, ты не имеешь права оскорблять меня! — крикнул Кмициц.

— Я вовсе не имею такого желания, — холодно ответил пан Петр. — Но дело касается монастыря, пресвятой девы, ее обители. Потому отбрось, пан, в сторону обиду, ну не отбрось, так отложи на время, ибо будь уверен, я всегда дам тебе удовлетворение. Ты принес нам вести, мы хотим проверить их, желание наше законно, и дивиться тут нечему, а не пожелаешь ты ответить нам, мы вправе будем подумать, что ты боялся, как бы не запутаться.

— Ладно, спрашивай! — процедил сквозь зубы Бабинич.

— То-то! Так ты, говоришь, из Жмуди?

— Да.

— И приехал сюда, чтобы не служить шведам и изменнику Радзивиллу?

— Да.

— Но ведь есть там такие, что не служат ему и выступили на защиту отчизны, есть хоругви, которые отказали Радзивиллу в повиновении, есть наш Сапега, почему же ты не присоединился к ним?

— Это мое дело!

— Ах, вот как, это твое дело! — сказал Чарнецкий. — Тогда, может, ты ответишь мне и на другие вопросы?

Руки у пана Анджея тряслись, он впился глазами в тяжелый медный колокольчик, стоявший перед ним на столе, а с колокольчика перевел взгляд на голову Чарнецкого. Им овладело безумное, непреодолимое желание схватить этот колокольчик и запустить в голову Чарнецкому. Прежний Кмициц все больше торжествовал над набожным и сокрушенным Бабиницем. Однако он снова превозмог себя и сказал:

— Спрашивай!

— Коль ты из Жмуди, то должен знать, что творится при дворе изменника. Назови нам тех, кто помог ему довести отчизну до гибели, назови полковников, которые стоят на его стороне.

Кмициц побледнел как полотно, однако назвал несколько имен.

Чарнецкий выслушал и сказал:

— Есть у меня друг, королевский придворный, пан Тизенгауз, он мне рассказывал еще об одном, самом знаменитом. Ты про этого вора из воров не знаешь!

— Не знаю...

— Как же так? Ты не слыхал про того, кто, как Каин, проливал братскую кровь? Будучи в Жмуди, ты не слыхал про Кмицица?

— Преподобные отцы! — трясясь как в лихорадке воскликнул пан Анджей. — Пусть духовное лицо меня спрашивает, я все стерплю! Но не давайте, ради Христа, этому шляхтишке терзать меня!

— Оставь, пан Петр! — обратился к Чарнецкому приор. — Не в этом рыцаре дело.

— Еще только один вопрос! — промолвил серадзский мечник. И, обратившись к Кмицицу, спросил: — Ты не ждал, что мы не поверим твоим вестям?

— Клянусь небом! — ответил пан Анджей.

— Какой же награды ты ждал за них?

Вместо ответа пан Анджей лихорадочно сунул обе руки в кожаный мешочек, висевший у него спереди за поясом, и швырнул на стол две

полные горсти жемчугов, изумрудов, бирюзы и иных драгоценных камней.

— Вот! — сказал он прерывистым голосом. — Не за деньгами я пришел сюда! Не за вашими наградами! Вот жемчуга и иные камни! Все они — добыча, все сорваны с боярских колпаков! Вот каков он я! Так ужель я требую награды? Пресвятой деве я хотел пожертвовать самоцветы, но после исповеди, с чистым сердцем! Вот они! Вот как нуждаюсь я в вашей награде! Больше есть у меня! Да ну вас!

Все умолкли в изумлении; зрелище драгоценных камней, которые легко, как песок, посыпались из мешочка, сильно поразило присутствующих, все невольно спрашивали себя, зачем лгать этому человеку, коль не нужна ему награда?

Петр Чарнецкий растерялся, ибо такова натура человеческая, что вид чужого богатства и чужого могущества ослепляет ее. Да и подозрения его оказались напрасны, нельзя было и подумать, чтобы этот богач, который мог сорить так драгоценностями, стал бы устрашать монахов из корысти.

Присутствующие переглянулись, а пан Анджей стоял над своими камнями, подняв голову, похожую на голову разъяренного орленка, с огнем в очах и пылающим лицом. Незаживший шрам через весь висок и щеку посинел у него, и страшен был Бабинич, устремивший свой грозный и хищный взор на Чарнецкого, на которого обратился весь его гнев.

— Уже самый твой гнев показывает, что не ложны твои речи, — сказал ксендз Кордецкий, — но самоцветы спрячь, ибо не может пресвятая богородица принять дар, принесенный во гневе, пусть даже справедливым. Да и сказал я уже, не о тебе тут толк, но о вестях, которые исполнили наши сердца страхом и трепетом. Бог один знает, нет ли тут недоразумения или ошибки, но ведь и ты видишь, что слова твои плохо вяжутся с правдой. Как же изгнать нам богомольцев, не дать им молиться пресвятой богородице и держать день и ночь на запоре врата обители?

— Держите врата на запоре, Христом-богом молю, на запоре держите! — крикнул Кмициц, ломая руки так, что пальцы хрустнули в суставах.

Голос его звучал таким неподдельным отчаянием, что присутствующие невольно затрепетали, точно опасность была уже близка.

— Мы и без того зорко стережем все окрест и крепостные стены чиним, — сказал Замойский. — Днем мы можем пускать богомольцев на службу; но надо соблюдать осторожность хотя бы по той причине, что король Карл уехал, а Виттенберг, сдается, железной рукой правит в Кракове и духовных преследует не меньше, чем светских.

— Не верю я, что шведы могут напасть на монастырь, но осторожность не помешает, — заметил Петр Чарнецкий.

— А я пошлю к Вжещовичу монахов, — сказал ксендз Кордецкий, — и велю спросить его, ужели королевская охранная грамота не имеет больше никакой цены.

Кмициц вздохнул с облегчением.

— Слава богу! Слава богу! — воскликнул он.

— Да вознаградит тебя бог за доброе твое намерение! — сказал ему ксендз Кордецкий. — Коль справедливо ты нас предостерег, памятна будет заслуга твоя перед богородицей и отчизной; но не дивись, что мы встретили твои слова с недоверием. Не единожды пугали нас тут: одни — из ненависти к нашей вере, дабы не дать люду поклоняться пресвятой богородице; другие — из алчности, дабы получить выгоду; третьи — из одного честолюбия, дабы, принеся весть, возвыситься в глазах людей; были, может статься, и такие, которых просто обманул враг, как мы вот и о тебе подумали. Ополчился сатана на сию обитель, все старания прилагает, чтобы помешать службе божией, не допустить к нам верующих, ибо ничто не повергает силы ада в такое отчаяние, как зрелище поклонения той, что сокрушила главу змия. А теперь пора к вечерне. Будем молить пресвятую деву о милости, под ее покров себя предадим, и пусть каждый спокойно отойдет ко сну, ибо где же еще быть спокойствию и безопасности, как не под ее крылом?

И все разошлись.

Когда кончилась вечерня, сам ксендз Кордецкий пригласил в исповедальню пана Анджея и долго его исповедовал в пустом костеле, после чего до полуночи ниц лежал пан Анджей у закрытых врат придела.

В полночь вернулся он в келью, разбудил Сороку и велел перед сном бичевать себя так, что окровавились у него спина и плечи.

ГЛАВА XIII

На следующий день с самого утра странное, необычное движение поднялось в монастыре. Врата были, правда, открыты, и никто не мешал богомольцам входить в монастырь, служба шла своим чередом; но после службы всем посторонним было велено уйти из монастыря. Сам ксендз Кордецкий в сопровождении серадзского мечника и Петра Чарнецкого тщательно осматривал палисады и эскарпы, поддерживавшие крепостные стены изнутри и снаружи. Было указано, где и что надо починить, кузнецам в городе велено изготовить багры и копья, насаженные на длинные древка, косы, надетые ребром на косовища, тяжелые булавы и палицы, набитые подковными гвоздями. Все знали, что в монастыре и без того большой запас этих орудий, и весь город сразу заговорил о том, что монахи ждут, видно, в непродолжительном времени вражеского нападения. Все новые и новые распоряжения, казалось, подтверждали этот слух.

К ночи у монастырских стен работало уже двести человек. Двенадцать тяжелых орудий, присланных краковским каштеляном Варшицким еще до осады Кракова, были поставлены на новые лафеты, и теперь их накатывали на насыпь.

Из монастырских погребов монахи и служки выносили ядра и складывали их у орудий, выкатывали пороховые ящики, развязывали связки мушкетов и раздавали их гарнизону. На башнях и бастионах была поставлена стража, которая день и ночь стерегла рубежи; кроме того, в окрестности Пшистайни, Клобуцка, Кшепиц, Крушины и Мстова были посланы люди в разведку.

В амбары и кладовые монастыря, которые и без того были полны, поступал припас из города, из Ченстоховки и других деревень, принадлежавших монастырю.

Весть о нападении как гром разнеслась по округе. Горожане и крестьяне стали собираться, советоваться. Многие не хотели верить, что враг может посягнуть на Ясную Гору.

Толковали, будто занять должны только Ченстохову; но и это взволновало умы, особенно когда люди вспомнили, что шведы еретики, что ни в чем они не знают удержу и готовы злоумышленно предать поношенью пресвятую деву.

Люди то колебались и сомневались, то снова верили. Одни ломали руки, ожидая страшных знамений на земле и на небе, видимых знаков гнева

божия, другие предавались безысходному немому отчаянию, третьи пылали таким нечеловеческим гневом, словно головы их обняло лютое пламя. А уж раз люди дали волю воображению и развернуло оно крылья для полета, то и пошли кружить слухи, один другого нелепей, несуразней и страшней.

И закипели город и окрестные деревни, словно муравейник, когда сунет в него кто-нибудь палку или жару кинет: высыплет тогда сразу множество муравьев, и суетятся они, и разбегаются, и снова сбегаются.

Пополудни толпы горожан и крестьян с бабами и детьми окружили с воплями и рыданиями монастырские стены и держали их как в осаде. Солнце клонилось к закату, когда к ним вышел ксендз Кордецкий; вмешавшись в толпу, он спрашивал:

— Чего вы хотите, люди?

— В монастырь хотим, богородицу оборонять! — кричали мужики, потрясая цепами, вилами и всяким деревенским дрекольем.

— В последний раз на пресвятую деву глянуть хотим! — вопили бабы.

Ксендз Кордецкий поднялся на высокий уступ скалы и сказал:

— Врата адовы не одолеют небесных сил. Успокойтесь и ободритесь. Не ступит нога еретика в сии священные стены, не будет лютеранская или кальвинистская ересь справлять свой шабаш в сей обители веры и благочестия. Не знаю я, придет ли сюда дерзкий враг, но знаю, что коль придет, то отступит со стыдом и позором, ибо сокрушит его сила большая, будет сломлена злоба его, уничтожено могущество, и счастье изменит ему. Не предавайтесь унынию! Не последний раз видите вы нашу заступницу и узрите ее в еще большей славе, и новые явит она чудеса. Ободритесь, отрите слезы и укрепитесь в вере, ибо говорю вам, — и не я, но дух божий вещает вам через меня, — не войдет швед в сии стены, благодать снизойдет на нас, и тьма так же не погасит света, как ночь, что близится нынче, не помешает завтра встать солнцу, светилу небесному!

На закате это было. Тьма уже окутала окрестности, лишь костел пламенел в последних лучах солнца. Видя это, опустились люди вокруг стен на колени, и бодрость влилась в сердца. Тем временем на башнях зазвонили, начинался «Angelus»^[185]. Ксендз Кордецкий запел, и вся толпа подхватила молитву; шляхта и солдаты, стоявшие на стенах, присоединили свои голоса; большие и малые колокола вторили им, и казалось, вся гора поет и гудит, как огромный орган, чьи звуки несутся на все четыре стороны света.

Пели допоздна; когда расходились, ксендз Кордецкий благословил всех на дорогу и сказал:

— Кто служил на войне, умеет обращаться с оружием и духом смел,

завтра утром пусть приходит в монастырь.

— Я служил! Я был в пехоте! Я приду! — кричали многочисленные голоса.

И толпа помалу растеклась. Ночь прошла спокойно. Все проснулись с радостным возгласом: «Шведа нет!» Однако мастера весь день свозили заказанное им оружие.

Торговцам, которые держали лавки в рядах у восточной стены монастыря, было велено внести товары в монастырь, а в самом монастыре по-прежнему кипела работа на стенах. Защитники заделывали «лазы», узкие ходы в стенах, которые воротами не были, но могли служить для вылазок. Ружиц-Замойский приказал заложить их бревнами, кирпичом, навозом так, чтобы в случае надобности их легко было разобрать изнутри.

Целый день тянулись повозки с припасом; съехались в монастырь и шляхетские семейства, испуганные слухом о приближении врага.

Около полудня вернулись люди, посланные накануне в разведку; никто из них не видел шведов, а если и слышал, так только о тех, что стояли ближе всего, в Кшепицах.

Однако работы в монастыре не прекратились. По приказу ксендза Кордецкого в монастырь явились горожане и крестьяне, служившие раньше в пехоте и знакомые с военной службой. Их отдали под начало Зигмунту Мосинскому, охранявшему северо-восточную башню. Замойский весь день расставлял людей, учил, что кто должен делать, либо держал с отцами в трапезной совет.

С радостью в сердце смотрел Кмициц на военные приготовления, на муштру, на пушки, горы мушкетов, копий и багров. Это была его родная стихия. Среди этих грозных орудий, в суматохе, трудах и горячке хорошо было ему, легко и весело. Тем легче и веселей, что он покаялся в грехах, содеянных за всю жизнь, как делают умирающие, и сверх всякого ожидания получил отпущение, так как капеллан принял во внимание благие его намерения, искреннее желание исправиться и то обстоятельство, что он вступил уже на стезю добродетели.

Так избавился пан Анджей от бремени, под тяжестью которого он уже просто падал. Епитимью наложили на него суровую, и каждый день под плетью Сороки спину его обагряла кровь; велено было ему смирять дух свой, а это было еще тяжелей, ибо не было в его сердце смирения, но спесь и гордыня; велено было ему, наконец, искупить свою вину добрыми делами; но это для него было легче всего. Ничего больше он сам не желал, ни к чему больше не стремился. Всей своей молодой душой рвался он на подвиг, ибо под добрыми делами разумел он войну и избиение шведов с

утра до ночи, без отдыха и срока, без пощады. И как же прекрасна, как величественна была дорога, которая открывалась перед ним! Избивать шведов не только для защиты отчизны, не только для защиты государя, которому он присягнул на верность, но и для защиты владычицы ангельских сил, это было счастье, которого он не заслуживал.

Где было то время, когда он стоял как бы на распутье, вопрошая самого себя, куда же направить стопы, где было то время, когда он не знал, что предпринять, когда душу его непрестанно терзали сомнения и сам он начал терять надежду?

Ведь эти люди, эти монахи в белых одеждах, и эта горсть крестьян и шляхты готовились к обороне, к битве не на жизнь, а на смерть. Это был единственный такой уголок в Речи Посполитой, и, по счастью, именно сюда он попал, будто привела его путеводная звезда. Ибо он свято верил в победу, даже если бы все шведские силы окружили эти стены. Молитвою, веселием и благодарностью было переполнено его сердце.

В таком умиротворенном состоянии духа, с просветленным лицом ходил он по стенам, приглядывался, присматривался и видел, что все идет хорошо. Искушенным оком он сразу узнал, что укрепляют монастырь люди опытные, которые сумеют показать себя и тогда, когда дело дойдет до битвы. Его удивляло спокойствие ксендза Кордецкого, перед которым он преклонялся, удивляло достоинство, с каким держался серадзский мечник; даже на Чарнецкого не бросал он косых взглядов, хоть и гневался на него.

Но сам этот рыцарь сурово смотрел на него и, столкнувшись с ним на стене на следующий день после возвращения монастырской разведки, сказал:

— Что-то не видать шведов; коль не придут они, твое доброе имя собаки съедят.

— Коль оттого, что придут они, пострадает святая обитель, так пусть уж лучше мое доброе имя собаки съедят! — ответил Кмициц.

— Ты бы предпочел не нюхать ихнего пороху. Знаем мы таких рыцарей, что сапоги у них заячьей шкуркой подшиты!

Кмициц глаза опустил, как девица.

— Ты бы уж лучше не ссорился! — сказал он. — Чем я перед тобой провинился? Забыл я про свою обиду, забудь и ты про свою.

— Обозвал ты меня шляхтишкой, — резко сказал пан Петр. — А сам ты кто? Чем Бабиничи лучше Чарнецких? Тоже мне сенаторы!

— Мой дорогой, — весело возразил ему Кмициц, — кабы не велено мне было на исповеди смирать дух свой, кабы не батожки, что за старые шалости каждый божий день спину мне полосуют, я бы тебя сейчас и не

так еще обозвал, да боюсь, как бы не впасть в прежний грех. А кто лучше, Бабиничи или Чарнецкие, видно будет, когда шведы придут.

— А какой же чин надеешься ты получить? Уж не думаешь ли, что тебя комендантом назначат?

Кмициц посуровел.

— То вы меня в корысти подозревали, а теперь ты мне про чины толкуешь. Знай же, не за почестями я сюда приехал, в другом месте получил бы чин и повыше. Останусь я простым солдатом, хоть бы и под твоим начальством.

— Почему это «хоть бы»?

— Да ты ведь сердит на меня, стало быть, рад будешь допечь.

— Гм! Вот это дело, ничего не скажешь! Очень похвально с твоей стороны, что ты хочешь остаться хоть бы и простым солдатом, потому я ведь вижу, нет тебе удержу и смирение для тебя дело нелегкое. Небось рад бы в драку ввязаться?

— Я уж сказал, это видно будет, когда шведы придут.

— Ну, а что, коль не придут они?

— Знаешь что? Пойдем тогда искать их? — сказал Кмициц.

— Люблю друга! — воскликнул Чарнецкий. — Можно добрую ватагу собрать! Тут недалеко Силезия, мигом бы набрали солдат. Начальники, вот как и дядя мой, те дали слово, ну, а простых солдат шведы и спрашивать не стали. Стоит только кликнуть клич, и слетится их пропасть!

— И другим бы подали хороший пример! — с жаром сказал Кмициц. — У меня тоже есть горсть людей! Ты бы видел их за работой!

— Ну-ну! — сказал пан Петр. — Дай-ка я тебя поцелую!

— И я! — сказал Кмициц.

И, не долго думая, они бросились друг другу в объятия.

В эту минуту мимо проходил ксендз Кордецкий; увидев обнимающихся рыцарей, он благословил их, а они тотчас открыли ему все, о чем уговорились. Ксендз только улыбнулся спокойно и направился дальше, бормоча про себя:

— Немоцный на пути к исцелению.

К вечеру кончились все приготовления, крепость была совершенно готова к обороне. Всего было здесь в избытке: и припасу, и пороху, и пушек, в одном только недостаток: стены были недостаточно крепки и гарнизон малочислен.

Ченстохова, верней, Ясная Гора, хоть и была твердыней, созданной и самой природой, и руками человека, однако в Речи Посполитой почиталась одной из маленьких и слабых крепостей. Что до гарнизона, то стоило

только кликнуть клич, и народу набежало бы сколько угодно; но монахи умышленно держали небольшой гарнизон, чтобы хватило надолше запасов.

Были, однако, такие солдаты, особенно среди немцев-пушкарей, которые полагали, что Ченстохова не сможет выдержать осаду.

Глупцы! Они думали, что ее защищают одни стены, и не знали, что такое сердца, вдохновленные верой. Опасаясь, как бы они не стали сеять сомнения, ксендз Кордецкий удалил их из монастыря, кроме одного, который считался мастером своего дела.

В тот же день к Кмицицу пришел старый Кемлич со своими сыновьями и стал просить отпустить их.

Гнев обуял пана Анджея.

— Собаки! — сказал он. — Вы по доброй воле отказываетесь от такого счастья, не хотите защищать богородицу! Ладно, быть по-вашему! За лошадей вы получили, вот вам остальное!

Он вынул из ларца кису и швырнул наземь.

— Вот ваша плата! Вы хотите искать добычи по ту сторону стен! Не защитниками девы Марии хотите быть, а разбойниками! Прочь с моих глаз! Вы недостойны того, чтобы оставаться здесь, вы недостойны христианского братства, недостойны погибнуть смертью, какая ждет здесь нас! Прочь! Прочь!

— Недостойны! — развел руками старик и склонил голову. — Недостойны мы взирать на ясногорское благолепие. Царица небесная! Пресвятая богородица! Всех скорбящих радость! Недостойны мы, недостойны!

Он склонился низко, так низко, что согнулся кольцом, и в ту же минуту хищной тощей рукой схватил лежавшую на полу кису.

— Но и за стенами монастыря, — продолжал он, — не перестанем мы служить тебе, вельможный пан! В случае чего дадим знать! Пойдем, куда потребуется! Сделаем все, что потребуется! За стенами у тебя, пан полковник, будут наготове слуги!..

— Прочь! — повторил пан Анджей.

Они вышли земно кланяясь своему полковнику, такой взял их страх и так они были счастливы, что все обошлось благополучно. К вечеру их уже не было в крепости.

Ночь спустилась темная и дождливая. Было восьмое ноября. Надвигалась ранняя зима, и вместе со струями дождя на землю падали хлопья мокрого снега. Тишину нарушали только протяжные голоса караульных, кричавших от башни к башне: «Послушива-а-ай!» — да в

темноте мелькала там и тут белая ряса ксендза Кордецкого. Кмициц не спал, он был на крепостной стене с Петром Чарнецким и вел с ним разговор о минувших войнах. Рассказывал о том, как шла война с Хованским, и само собой разумеется, ни словом не обмолвился о том, какое сам принимал в ней участие, а пан Петр все толковал о стычках со шведами под Пшедбожем, Жарновцами и в окрестностях Кракова, ну и хвалился при этом немножко.

— Старались, как могли, — говорил он. — Я вот зарублю, бывало, шведа и тотчас на перевязи узелок завяжу. У меня уже шесть узелков, даст бог, будет и больше! Потому-то и сабля торчит чуть не под мышкой. Скоро и перевязь станет ни к чему; но узелков я не стану развязывать, велю в каждый вправить по бирюзовому камушку и после войны повешу в костеле. А у тебя есть ли хоть один швед на счету?

— Нет! — ответил со стыдом Кмициц. — Неподалеку от Сохачева разбил я ватагу; но это была вольница.

— Зато московитов, верно, целая куча наберется?

— Ну, тех бы немало нашлось!

— Со шведами труднее, редко какой из них не колдун! Это они у финнов колдовать научились, и каждому всегда два-три беса служат, а некоторым целых семь. В бою бесы зорко их стерегут. Но коль шведы придут сюда, тут бесы им не помогут, тут по всему окоему, откуда только наши башни видать, бесовская сила не властна. Ты об этом слыхал?

Кмициц не ответил, покачал головой и стал чутко прислушиваться.

— Идут! — сказал он вдруг.

— Что? Господи, что это ты говоришь?

— Конницу слышу!

— Это ветер шумит и дождь.

— Раны Христовы! Не ветер это, кони! Ухо у меня очень чуткое. Много конницы идет... и уже близко, ветер глушил конский топот. Бей сполох! Бей сполох!!

Этот крик разбудил переязбших караульных, дремавших поблизости; но не успел он смолкнуть, как внизу в темноте загремели пронзительно трубы и стали играть протяжно, жалобно, страшно. Все повскакали, ничего не понимая спросонок и в ужасе спрашивая друг друга:

— Уж не на Страшный ли суд зовут трубы в эту глухую ночь?

Монахи, солдаты, шляхта высыпали на площадь. Звонари бросились на звонницы, и вскоре ударили, как на пожар, все колокола; большие, средние, маленькие, смешав свой стон с громом труб, которые играли не переставая.

В смоляные бочки, нарочно для этого приготовленные и привязанные на цепях, были брошены зажженные факелы, затем их подняли вверх. Пламя озарило подножие горы, и ясногорцы увидели конных трубачей, которые стояли с трубами у губ, а позади них длинные и глубокие ряды рейтар с развевающимися знаменами.

Трубачи играли еще некоторое время, словно в медных звуках хотели передать всю шведскую мощь и вконец утратить монахов; наконец они смолкли; один из них отделился от рядов и, помахивая белым полотнищем, приблизился к воротам.

— Именем его королевского величества, — крикнул трубач, — всемиловейшего короля шведов, готов и вандалов, Великого князя Финляндии, Эстонии, Карелии, Бремена, Вердена, Щецина, Померании, Кашубии и Вандалии, князя Ругии, господина Ингрии, Висмарка и Баварии, графа Палатината Рейнского, Юлиха, Клеве, Берга... отворите!

— Пустите его! — раздался голос ксендза Кордецкого.

Трубачу отворили, но только дверцу в воротах. Он минуту колебался, однако слез с коня, вошел в монастырь, и заметив кучу монахов в белых рясах, спросил:

— Кто из вас настоятель?

— Я! — ответил ксендз Кордецкий.

Трубач подал письмо, запечатанное печатями.

— Господин граф, — сказал он, — будет ждать ответа у костела святой Барбары.

Ксендз Кордецкий тотчас созвал в советный покой иноков и шляхту.

— Пойдем с нами! — сказал Кмицицу мимоходом Чарнецкий.

— Я только из любопытства пойду, — ответил пан Анджей. — Нечего мне там делать. Не языком хочу я отныне служить пресвятой богородице!

Когда все сели в советном покое, ксендз Кордецкий взломал печати и стал читать письмо:

— «Не тайна для вас, достойные отцы, сколь благосклонно и сколь сердечно относился я всегда к сей святыне и к вашей братии, сколь усердно я вам покровительствовал и какими осыпал вас благодеяниями. А посему желаю я, дабы утвердились вы в мысли, что и в нынешние времена пребуду я неизменно благосклонным к вам и добрые буду питать чувства. Не как враг, но как друг прибываю я ныне, отдайте же без страха под мое покровительство вашу обитель, как того требуют время и обстоятельства. Так обретете вы покой, коего жаждете, и безопасность. Торжественно обещаю вам, что святыня останется неприкосновенной, имущество ваше не будет разорено, сам понесу я все траты, мало того — ваше приумножу

достояние. Рассудите же здраво, сколь много корысти будет вам, коль исполните вы мою просьбу и вверите моему попечению вашу обитель. Памятуйте и о том, что горшее бедствие может постигнуть вас, коль придет грозный генерал Миллер, коего приказы будут тем суровей, что еретик он и враг истинной веры. Вы принуждены будете тогда покориться необходимости и сдаться на его волю; тщетно, с болью душевною и телесною будете вы сожалеть о том, что пренебрегли благим моим советом».

Вспомнив о недавних благодеяниях Вжещовича, очень растрогались иноки. Были среди них такие, что верили в его благосклонность, думали, что, вняв его совету, избавятся от бед и скорбей.

Но никто не брал слова, все ждали, что скажет ксендз Кордецкий; он же молчал минуту времени, только губами шевелил, творя тихую молитву.

— Ужели, — начал он, — истинный друг пришел бы ночной порою и громовым трубным гласом стал утрашивать спящих слуг господних? Ужели пришел бы он во главе тысяч вооруженных воинов, что стоят ныне у стен обители? Ведь не приехал же он ни впятером; ни вдесятером, когда бы ждала его как благодетеля радостная встреча? Что означают сии свирепые полчища, как не угрозу на тот случай, когда бы мы не пожелали отдать им обитель? Любезнейшие братья мои, вспомните и то, что нигде враг не держал ни своего слова, ни клятвы, не соблюдал своих охранных грамот. И у нас королевская грамота, которую шведы по доброй воле прислали нам, давши твердое обещание, что никто не будет занимать обители, а ведь вот же стоят они уже у наших стен, собственную ложь вещая грозными медными звуками. Любезнейшие братья мои, горе вознесите сердца, дабы осенил вас дух святой, и говорите, что велит кому совесть и забота о благе святой обители.

Наступило молчание.

Но вот раздался голос Кмицица:

— Слыхал я в Крушине, как спрашивал Лисола: «Казну-то монашескую небось потрясете?» — на что Вжещович, тот самый, что стоит ныне у стен, отвечивал: «Пресвятой богородице не нужны талеры в сундуке приора». А сегодня тот же Вжещович пишет вам, преподобные отцы, что сам понесет все траты, мало того — ваше приумножит достояние. Подумайте же, чисты ль его помыслы?

Ксендз Мелецкий, один из старейших иноков, к тому же в прошлом солдат, ответил на эти слова:

— В бедности мы живем, а золото во славу пресвятой богородицы сияет пред ее алтарями. Но когда мы снимем его с алтарей, дабы купить

безопасность святой обители, кто поручится нам, что сдержат они слово, что святотатственной рукою не сорвут дары богомольцев и священные ризы, не заберут костельную утварь? Можно ли верить лжецам?

— Без провинциала, коему мы повинuemся, мы ничего решить не можем! — сказал отец Доброш.

А ксендз Томицкий прибавил:

— Не наше это дело война, послушаем же, что скажут нам рыцари, кои под крыло пресвятой богородицы укрылись в нашей обители.

Тут все взоры обратились на Замойского, самого старшего годами, чином и званием, он же встал и вот что сказал им:

— Судьба ваша решается, преподобные отцы. Взгляните же, сколь могуч враг, подумайте, какой отпор можете вы дать ему с вашими силами и средствами, и поступайте сообразно с вашей волей. Какой же совет можем дать вам мы, ваши гости? Но коль спрашиваете вы нас, что делать, отвечаю вам: покуда не вынудит к тому необходимость, не помышляйте о сдаче. Ибо позор это и бесчестье постыдной покорностью покупать у вероломного врага ненадежный мир. По собственной воле укрылись мы в обители с женами и детьми, прибегнув под покров пресвятой богородицы, и положили жить с вами, храня неколебимую верность, а коль будет на то воля божья, то и умереть вместе. Поистине лучше смерть, нежели позорный плен или зрелище поруганной святыни! О, наверно, пресвятая богородица, вдохнувшая в нашу грудь жажду защищать ее от безбожных еретиков, изрыгающих хулу на господу бога, придет на помощь смиренным стараниям рабов своих и поддержит справедливое дело защиты!

Умолк мечник серадзский, все же обдумывали его слова, воодушевляясь их значеньем; а Кмициц, который долго никогда не раздумывал, вскочил с места и прижал к губам руку старейшего рыцаря.

Ободрились все, увидев добрый знак в этом юношеском порыве, и все сердца возгорелись желанием защитить обитель. Тут явлен был еще один добрый знак: за окном внезапно раздался дребезжащий голос костельной нищенки, старой Констанции, певшей духовный стих:

Напрасно, гусит, нам готовишь могилу,
Напрасно скликаешь бесовскую силу,
Напрасно и ядра ты мечешь и палишь —
Нас не раздавишь!
И пусть басурманы слетятся роями,
И змеи крылами пусть машут над нами,
Ни меч, ни огонь, ни войска не помогут —

Нас не поборют!

— Вот предвозвестие, — сказал ксендз Кордецкий, — ниспосланное нам богом устами старой нищенки. Будем же защищаться, братья, ибо никогда еще осажденные не имели такой помощи, какую мы будем иметь!

— С радостью отдадим мы свою жизнь! — воскликнул Петр Чарнецкий.

— Не верить лукавым! Не верить еретикам и католикам, что перешли на службу сатане! — кричали другие голоса, не давая слово вымолвить тем, кто хотел возражать.

Положили также послать двоих ксендзов к Вжещовичу, дабы объявить ему, что врата останутся закрытыми и осажденные будут обороняться, на что дает им право королевская охранная грамота.

Все же послы должны были просить Вжещовича оставить свое намерение или, по крайности, отложить на время, пока иноки не испросят соизволения провинциала, отца Теофиля Броневского, который в это время находился в Силезии.

Послы, отец Бенедикт Ярачевский и отец Марцелий Томицкий, вышли из врат обители; прочие с бьющимся сердцем ожидали их в трапезной, ибо страх обнял души иноков, непривычных к войне, при мысли о том, что пробил тот час и пришла та минута, когда выбирать надлежит им между долгом и гневом и мезтью врага.

Но не прошло и получаса, как отцы снова предстали перед советом. Головы их поникли на грудь, на бледных лицах читалась скорбь. Молча подали они ксендзу Кордецкому новое письмо Вжещовича; тот принял письмо и прочитал вслух. Это были восемь пунктов капитуляции, на которых Вжещович призывал иноков сдать монастырь.

Кончив читать, приор устремил долгий взгляд на собравшихся и наконец воскликнул торжественным голосом:

— Во имя отца, и сына, и святого духа! Во имя пресвятой богородицы! На стены, дорогие братья!

— На стены! На стены! — раздался в трапезной общий клик.

Через минуту яркое пламя осветило подножие монастыря. Вжещович отдал приказ поджечь дома и строения при костеле святой Барбары. Пожар, охватив старые дома, разгорался с каждой минутой. Вскоре столбы красного дыма с яркими языками пламени взвились к небу. Наконец, сплошное зарево обняло тучи.

При свете огня видны были отряды конных солдат, носившихся туда и

сюда. Начались обычные солдатские бесчинства. Рейтары выгоняли из коровников скотину, которая металась в испуге, оглашая жалобным ревом окрестности; овцы, сбившись в кучу, шли, как слепые, в огонь. Запах гари разнесся кругом и достиг монастырских стен. Многие защитники монастыря впервые видели лик войны, и сердца их застыли от ужаса при виде людей, которых гнали и рубили мечами солдаты, при виде женщин, которых они за косы волочили по площади. А в кровавом зареве пожара все было видно как на ладони. Крики, даже отдельные слова явственно долетали до слуха осажденных.

Еще молчали монастырские пушки, и рейтары поэтому, соскочив с лошадей, подходили к самому подножию горы, потрясая мечами и мушкетами.

Рослый парень в желтом рейтарском колете то и дело подбегал к самой скале и, сложив ладони у губ, бранился и грозил осажденным, которые терпеливо слушали его, стоя у пушек и зажженных фитилей.

Кмициц стоял с Чарнецким как раз напротив костела святой Барбары и отлично все видел. Лицо его побагровело, глаза горели, как две пылающих свечи; в руке он держал отменный лук, полученный в наследство от отца, который взял его у некоего славного аги в бою под Хотимом. Слушал пан Анджей угрозы и брань, слушал, но когда рейтар снова подбежал к самой скале и стал неистово что-то кричать, он обратился к Чарнецкому:

— Ради Христа! Он хулу изрыгает на деву Марию! Я понимаю по-немецки... Хулу страшную! Нет мочи терпеть!

И пан Анджей стал натягивать свой лук; но Чарнецкий ударил по нему рукой.

— Господь покарает шведа за богохульство, — сказал он, — а ксендз Кордецкий не велел нам стрелять, разве только они начнут первыми.

Не успел он кончить, как рейтар поднес к лицу мушкет, грянул выстрел, и пуля, не долетев до стен, пропала где-то в расселинах скалы.

— Теперь можно? — крикнул Кмициц.

— Можно! — ответил Чарнецкий.

Кмициц, как истый воитель, вмиг успокоился. Рейтар, заслонив ладонью глаза, следил еще полет своей пули, а он натянул лук, провел пальцем по тетиве так, что она запела, как ласточка, затем высунулся из-за стены и закричал вороном:

— Карк! Карк!

В то же мгновение жалобно просвистела страшная стрела, рейтар выронил мушкет, поднял обе руки, запрокинул голову и повалился навзничь. Минуту он кидался, как рыба, выброшенная на берег, и бил

ногами землю, но вскоре вытянулся и затих.

— Вот и первый! — сказал Кмициц.

— Завяжи узелок на перевязи! — сказал пан Петр.

— Колокольной веревки не хватит на всех, коль позволит бог! — крикнул пан Анджей.

Тут над трупом склонился другой рейтар, он хотел посмотреть, что случилось с товарищем, а может, и кошелек забрать у него; но просвистела новая стрела, и он упал на грудь товарища.

В ту же минуту заревели полевые пушчонки, которые привез с собою Вжещович. Не мог он сокрушить ими крепость, как не мог и помыслить о том, чтобы с одной только конницей взять ее штурмом; однако для устрашения монахов приказал палить. Так началась осада Ясной Горы.

Ксендз Кордецкий подошел к Чарнецкому; с ним был ксендз Доброш, который в мирное время начальствовал над монастырской артиллерией и в праздники палил из пушек, по какой причине слыл среди монахов отменным пушкарем.

Приор перекрестил пушку и указал на нее ксендзу Доброшу; тот засучил рукава и стал наводить на то место между двумя домами, где носилось человек двадцать рейтар и между ними офицер с рапирой в руке. Долго целился ксендз Доброш, ибо речь шла об его пушкарской славе. Наконец он взял фитиль и ткнул в запал.

Гром потряс воздух, и дым окутал все. Однако через минуту его развеял ветер. В пространстве между домами не было уже ни одного всадника. Несколько человек лежало с лошадьми на земле. Остальные рассеялись.

Монахи стали петь на стенах. Грохот рушащихся домов у костела святой Барбары вторил их песне. Стало темнеть, бесчисленные снопы искр, выброшенных вверх при падении балок, взметнулись в воздух.

Снова загремели трубы в рядах Вжещовича; но отголоски их стали удаляться. Пожар догорал. Тьма окутала подножие Ясной Горы. Там и тут раздавалось ржание лошадей, но все дальше и все слабей. Вжещович отступал к Кшепицам.

Ксендз Кордецкий опустился на стене на колени.

— Дева Мария! Матерь бога единого! — произнес он сильным голосом. — Сотвори чудо, дабы тот, кто придет после этого, с таким же позором удалился и напрасным гневом в душе.

Когда он так молился, тучи внезапно разорвались над его головой, и луна осветила башни, стены, коленопреклоненного приора и пепелище, оставшееся от домов, сожженных у костела святой Барбары.

ГЛАВА XIV

На следующий день тишина воцарилась у подножия Ясной Горы, и монахи, воспользовавшись этим, еще усерднее занялись приготовлениями к обороне. Люди кончали чинить стены и куртины, готовили новые орудия для отражения штурмов.

Из Здебова, Кроводжи, Льготы и Грабовки явилось еще человек двадцать мужиков, служивших когда-то в крестьянской пехоте. Их приняли в гарнизон крепости и влили в ряды защитников. Ксендз Кордецкий разрывался на части. Он совершал богослужения, заседал на советах, не пропускал дневных и ночных хоралов, а в перерывах обходил стены, беседовал с шляхтой, крестьянами. И при этом лицо и вся фигура его дышали тем покоем, какой бывает разве только у каменных изваяний. Глядя на его лицо, побледневшее от усталости, можно было подумать, что он погружен в сладкий легкий сон; но тихое смирение и чуть ли не веселость, светившиеся в очах, губы, шевелившиеся в молитве, свидетельствовали о том, что он и чувствует, и мыслит, и жертву приносит за всех. Эта душа, всеми помыслами устремленная к богу, источала спокойную и глубокую веру; полными устами пили все из этого источника, и тот, чью душу снедала боль, исцелялся. Там, где белела его ряса, прояснялись лица, улыбались глаза, и уста повторяли: «Добрый отец наш, утешитель, заступник, упование наше». Ему целовали руки и край одежды, а он улыбался светлой улыбкой и шел дальше, а над ним витали вера и тишина.

Но не забывал он и о земных средствах спасения: отцы, заходившие в его келью, заставляли его если не коленопреклоненным, то склонившимся над письмами, которые он слал во все концы. Он писал и Виттенбергу, главному коменданту Кракова, умоляя пощадить святыню, и Яну Казимиру, прилагавшему в Ополе последние усилия, чтобы спасти неблагодарный народ, и киевскому каштеляну, которого шведы держали в Севеже как на цепи, связав его словом, и Вжещовичу, и полковнику Садовскому, чеху и лютеранину, который служил у Миллера и, будучи человеком благородной души, старался отговорить грозного генерала от нападения на монастырь.

Два мнения столкнулись на совете у Миллера. Вжещович, разгневанный сопротивлением, оказанным ему восьмого ноября, прилагал все усилия, чтобы склонить генерала к походу, сулил в добычу несметные сокровища, твердил, что во всем мире есть лишь несколько храмов, которые могли бы сравниться богатством с Ченстоховским vel Ясногорским

костелом. Садовский не соглашался с ним.

— Генерал, — говорил он Миллеру, — вам, покорителю стольких славнейших твердынь, что немецкие города справедливо зовут вас Полиорцетесом^[186], известно, каких жертв может стоить, сколько потребовать времени осада даже самой слабой крепости, если осажденные готовы бороться не на жизнь, а на смерть.

— Да будут ли монахи бороться? — спрашивал Миллер.

— Думаю, что будут. Чем богаче они, тем упорней будут защищаться, веря не только в силу оружия, но и в святость места, которое, по католическому суеверию, почитается во всей этой стране как *inviolatum*^[187]. Вспомним германскую войну. Как часто монахи подавали тогда пример отваги и стойкости в обороне там, где надежду теряли даже солдаты. Так будет и на сей раз, тем более что крепость вовсе не так уж слаба, как хочет представить граф Вейгард. Она расположена на скалистой горе, в которой трудно рыть подкопы; стены ее, если они даже не были в исправности, теперь уж наверно починены, что до запасов оружия, пороху и провианта, то в таком богатом монастыре они неисчерпаемы. Фанатизм воодушевляет сердца, и...

— И вы думаете, полковник, что они вынудят меня отступить?

— Нет, не думаю, но полагаю, что нам придется очень долго простоять у стен крепости, придется послать за тяжелыми пушками, которых у нас здесь нет, а ведь вам, ваша милость, надобно выступить в Пруссию. Нужно подсчитать, сколько времени можно нам уделить осаде Ченстоховы, ибо король может раньше отозвать нас ради более важных прусских дел, и монахи тогда непременно рассеют слух, что они вынудили вас отступить. Подумайте, ваша милость, какой урон будет нанесен вашей славе Полиорцетеса, не говоря уж о том, что мятежники поднимут голову во всей стране! Да одно только намерение, — тут Садовский понизил голос, — осадить монастырь, если только оно разгласится, и то произведет самое дурное впечатление. Вы не знаете, ваша милость, и ни один иноземец, ни один непапист не может знать, что такое Ченстохова для этого народа. Мы очень нуждаемся и в шляхте, которая так легко нам сдалась, и в магнатах, и в постоянном войске, которое вместе с гетманами перешло на нашу сторону. Без них нам бы не достичь того, чего мы достигли. Наполовину, — какое наполовину! — чуть не вовсе их руками захватили мы эту землю; но пусть только раздастся хоть один выстрел под Ченстоховой, — как знать, быть может, ни один поляк не останется с нами. Столь велика сила суеверия, что может разгореться новая ужасная война!

Миллер в душе сознавал, что Садовский прав, к тому же монахов вообще, а ченстоховских в особенности, он считал чернокнижниками, а чернокнижия шведский генерал боялся больше, чем пушек; однако, желая уязвить полковника, а быть может, просто продолжить обсуждение, он сказал:

— Вы, полковник, говорите так, точно вы и есть ченстоховский приор или... первый из тех, кто получил от него выкуп.

Садовский был смелым и горячим солдатом и знал себе цену, поэтому он легко оскорблялся.

— Больше я не скажу ни слова! — проговорил он надменно.

Эта надменность, в свою очередь, возмутила Миллера.

— А я вас об этом и не прошу! — отрезал он. — С меня довольно и графа Вейгарда, он эту страну лучше знает.

— Что ж, посмотрим! — сказал Садовский и вышел вон.

Вейгард и впрямь занял его место. Он принес письмо от краковского каштеляна Варшицкого, просившего не трогать монастырь; но вывод из письма этот черствый душой человек сделал прямо противоположный.

— Знают, что не защититься им, вот и просят, — сказал он Миллеру.

На следующий день в Велюне было принято решение о походе на Ченстохову.

Решения этого даже не держали в тайне, поэтому профос велюньского монастыря, отец Яцек Рудницкий, вовремя успел отправиться в Ченстохову с вестью о походе. Бедный монах и в мыслях не имел, что ясногорцы смогут защищаться. Он хотел только предупредить их, чтобы они не растерялись и выговорили хорошие условия сдачи. Весть удручила братию. Некоторые монахи совсем пали духом. Но ксендз Кордецкий ободрил их, жаром собственного сердца согрел их хладующие души, дни чудес им обещал, даже само зрелище смерти изобразил приятным и такое вдохнул в них мужество, что они невольно стали готовиться к осаде, как привыкли готовиться к большим церковным праздникам, то есть радостно и торжественно.

В то же время светские начальники гарнизона, мечник серадзский и Петр Чарнецкий, тоже занялись последними приготовлениями. Были сожжены все торговые ряды, что лепились снаружи к крепостным стенам и могли облегчить неприятелю штурм, не пощадили даже домов, стоявших у подножия горы, так что весь день крепость пылала в огненном кольце. Когда от палаток, бревен и досок осталось одно пепелище, перед монастырскими пушками открылось пустое и чистое пространство. Черные жерла их свободно глядели вдаль, словно выжидали нетерпеливо врага,

желая поскорее приветствовать его своим громовым раскатом.

Тем временем быстро надвигались холода. Дул резкий северный ветер, грязь замерзла, вода в лужах подергивалась по утрам тонкой ледяной корочкой. Ксендз Кордецкий, потирая посиневшие руки, говорил:

— Бог морозы пошлет нам в помощь! Трудно будет насыпать батареи, рыть подкопы, к тому же вы, сменяясь, будете уходить в тепло, а им аквилоны скоро отобьют охоту к осаде!

Именно по этой причине Бурхард Миллер хотел поскорее закончить осаду. Он вел с собой девять тысяч войска, преимущественно пехоты, и девятнадцать орудий. Были у него также две хоругви польской конницы; однако на них он не мог рассчитывать, во-первых, потому, что конницу он не мог употребить в дело при взятии крепости, стоящей на горе, во-вторых, потому, что поляки шли неохотно и заранее предупредили, что никакого участия в осаде не примут. Шли они больше для того, чтобы в случае падения крепости охранить ее от алчных победителей. Так, по крайней мере, толковали солдатам полковники. Шли они, наконец, потому, что приказывал швед, а войско польское было все в его стане и вынуждено было ему подчиняться.

Из Велюня в Ченстохову путь недолгий. Восемнадцатого ноября должна была начаться осада. Шведский генерал полагал, что на осаду понадобится каких-нибудь два дня и крепость он займет путем переговоров.

Тем временем ксендз Кордецкий готовил человеческие души. Службы начинались, как в светлый праздник, и если бы не тревога, которая читалась на побледневших лицах, можно было бы подумать, что близится ликующее и торжественное Alleluja^[188]. Сам приор совершал литургию, звонили во все колокола. После литургии служба не кончалась: на крепостные стены выходил крестный ход.

Ксендза Кордецкого, который нес ковчежец со святыми дарами, вели под руки серадзский мечник и Петр Чарнецкий. Впереди выступали служки в стихарях, с кадьницами на цепочках, ладаном и миррой. Перед балдахином, который несли над головою приора, и позади его шествовала рядами монашеская братия с устремленными горе очами, люди разного возраста, начиная от дряхлых старцев и кончая юношами, едва вступившими на послушание. Желтые огоньки свечей колебались на ветру, а они шли с песнопениями, всецело предавшись богу, словно позабыв обо всем на свете. За ними виднелись подбритые чуприной головы шляхтичей, лица женщин, заплаканные, но, невзирая на слезы, спокойные, вдохновленные надеждой и верой. Шли и мужики в семягах,

длинноволосые; подобно первым христианам; маленькие дети, девочки и мальчики, смешавшись с толпой, присоединяли свои тоненькие голоса к общему хору. И бог внимал этой песне, этим открытым сердцам, уносившимся от уз земных под единственную защиту крыл господних. Ветер стих, успокоился воздух, небо поголубело, и осеннее солнце разлило на землю мягкий светло-золотистый, еще теплый свет.

Обойдя стены, процессия не возвратилась в костел и не разошлась, шествовала дальше. На лицо приора падали отблески от ковчежца, и оно, как бы золотясь, казалось лучезарным. Ксендз сомкнул вежды, губы его улыбались неземною улыбкою счастья, радости, упоения; душа его витала в небе, в сиянии, в вечном веселии, в безмятежном покое. Но словно послушный велению свыше, он не забывал о земной сей обители, о людях, и о твердыне, и о том часе, который должен был скоро наступить, и останавливался порою, открывал глаза, возносил ковчежец и благословлял толпу.

Он благословлял народ, войско, хоругви, которые процвели, как цвет, и переливались, как радуга, потом благословлял стены и гору, глядевшую на окрестные долины, потом благословлял пушки, маленькие и большие, ядра, свинцовые и железные, пороховые ящики, настилы для пушек, горы страшных орудий для отражения приступа, потом благословлял деревни, лежавшие в отдалении, благословлял полуночь и полудень, восход и заход, словно хотел на всю эту округу, на всю эту землю простереть могущество божие.

Пробило два часа пополудни, а процессия все еще была на стенах. Но вот на подернутом синей дымкой окоеме, где небо, казалось, сливалось с землей, замаячило, задвигалось что-то в тумане, выступили какие-то сперва смутные очертания, которые понемногу становились все явственней. В конце процессии внезапно раздался крик:

— Шведы! Шведы идут!

Затем воцарилась тишина, словно сердца остановились и замерли языки, только звонили по-прежнему колокола. Но вот в тишине прозвучал голос ксендза Кордецкого, громкий, но спокойный:

— Возрадуйтесь, братья, ибо приблизилась година побед и чудес. — И через минуту: — Под твой покров прибегаем, богородица, царица небесная!

Тем временем тучи шведов растянулись, словно змея непомерной длины, которая подползла еще ближе. Видны уже были ее страшные кольца. Она то извивалась, то снова вытягивалась, то сверкала на свету стальной чешуей, то снова темнела и ползла, ползла, выплывая из

отдаления.

Вскоре глаза, глядевшие со стен, могли уже все различить. Впереди шла конница, за нею пехота; каждый полк вытянулся в длинный прямоугольник, над которым поднимался лес копий, образуя другой прямоугольник, поменьше; дальше, позади пехоты, влеклись пушки с жерлами, обращенными назад и опущенными к земле.

Ленивые тела их, черные и желтые, зловеще сверкали на солнце; за ними тряслись на неровной дороге пороховые ящики и бесконечная вереница повозок с шатрами и военным снаряжением.

Грозным и прекрасным было это зрелище боевого войска в походе; словно в устрашение ясногорцам текла перед ними за ратью рать. Но вот конница оторвалась от пехоты и артиллерии и помчалась рысью, покачиваясь, как волна, колеблемая ветром. Вскоре она разделилась на отряды, большие и маленькие. Одни из них поскакали к крепости, другие в погоне за добычей рассыпались в мгновение ока по окрестным деревушкам; иные, наконец, стали объезжать крепость, осматривать стены, изучать местность, занимать ближние строения. Отдельные всадники все время носились между крупными отрядами конницы и пехотой, давая знать офицерам, где можно расположить солдат.

Конский топот и ржание, призывные крики, гул нескольких тысяч голосов и глухой стук орудий явственно долетали до слуха осажденных, которые все еще спокойно, как на представлении, стояли на стенах, глядя удивленными глазами на это шумное и беспорядочное движение вражеских войск.

Наконец подошли и пехотные полки и стали рыскать вокруг крепости в поисках места получше, где можно было бы закрепиться. Тем временем конница ударила на Ченстоховку, прилегающий к монастырю фольварк, где никакого войска не было, одни только мужики позапирались в своих хатенках.

Полк финнов, который дошел туда первым, яростно обрушился на безоружных мужиков. Их вытаскивали за волосы из хатенок, сопротивлявшихся просто приканчивали; всех остальных выгнали из фольварка; конница ударила на них и разогнала на все четыре стороны.

Еще раньше у монастырских врат затрубил парламентар с призывом Миллера сдаться; но защитники, видевшие резню и зверства солдат в Ченстоховке, ответили орудийным огнем.

Теперь, когда местные жители были изгнаны из всех близлежащих домов и строений и в них расположился враг, надо было в первую голову разрушить строения, чтобы шведы из-за прикрытия не могли наносить

урон монастырю. Стены монастыря окутались дымом, будто борта корабля, окруженного в бурю разбойниками. Рев орудий потряс воздух, задрожали монастырские стены, зазвенели стекла в костеле и в домах. Огненные ядра, описывая зловещие дуги, белыми облачками летели на убежища шведов, ломали стропила, кровли, стены и тотчас столбы дыма поднимались там, куда они падали.

Пламя обнимало постройки.

Едва расположившись в них, шведы стремглав бросились вон и заметались, не зная, где укрыться. Смятение началось в их рядах. Солдаты откатывали еще не установленные пушки, чтобы спасти их от ядер. Миллер пораился: он никак не ждал такого приема и не думал, что на Ясной Горе могут быть такие пушкари.

Тем временем приближалась ночь, надо было навести порядок в войске, и Миллер выслал трубача с просьбой о перемирии.

Отцы охотно дали на это согласие.

Однако ночью был сожжен еще один огромный амбар с большим запасом провианта, где стоял вестландский полк.

Пламя так быстро обняло амбар, ядра так метко падали одно за другим, что вестландцы не успели унести ни мушкетов, ни пуль, которые тоже взорвались в огне, разметав далеко вокруг пылающие головни.

Ночью шведы не спали, они укрепляли стан, насыпали батареи для орудий, наполняли землю плетеные, из ивняка, корзины. Как ни закален был солдат за многие годы войн и битв, как ни храбр и стоек по природе, однако невесело ждал он наступления нового дня. Первый день принес поражение.

Монастырские орудия нанесли шведам такой большой урон, что военачальники совсем потерялись, — они решили, что войска окружили крепость без должной предосторожности и слишком близко подошли к крепостным стенам.

Но и утро, даже если бы оно принесло шведам победу, не сулило им славы, ибо что могло значить взятие небольшой крепости и монастыря для покорителей стольких славных и стократ лучше укрепленных городов? Только жажда богатой добычи поддерживала шведов, однако трепет, с каким польские союзные хоругви подходили к преславной Ясной Горе, как-то передался и им, с той лишь разницей, что поляки трепетали при мысли о святотатстве, а шведы боялись какой-то непостижимой, недоступной их разуму силы, которую они называли общим именем чар. Верил в чары сам Бурхард Миллер, как же было не верить солдатам?

Они тотчас заметили, что, когда Миллер подъезжал к костелу святой

Барбары, конь под ним прынул внезапно, раздул храп, прижал уши и, тревожно фыркая, не хотел идти вперед. Старый генерал ничем не выдал своего страха; однако на следующий день он перевел на эту позицию князя Гессенского, а сам отошел с крупными орудиями к северной стороне монастыря, к деревне Ченстоховке. Там всю ночь рыли шанцы, чтобы утром ударить с валов по монастырю.

Едва забрезжил свет, начался артиллерийский бой; однако на этот раз первыми заревели шведские пушки. Враг не надеялся пробить сразу бреши в стенах и пойти на приступ, он хотел только устрашить осажденных, засыпать ядрами костел и монастырь, разжечь пожары, вывести из строя орудия, перебить людей, внести смятение в ряды защитников.

На монастырские стены снова вышел крестный ход, ибо ничто не воодушевляло так защитников, как зрелище святых даров и спокойно шествующих с ними монахов. Громом на гром, молнией на молнию отвечали монастырские орудия, насколько хватало огневой мощи, сил и дыхания в груди. Казалось, земля содрогается в самом своем основании.

Что за минуты, что за зрелище для людей, — а таких было много в твердыне, — которые никогда в жизни не видели кровавого лика войны!

Непрестанный рев, молнии и дым, вой ядер, разрезающих воздух, страшный хохот гранат, визг снарядов при ударе о мостовую, глухой гул при ударе о стены, звон разбитых стекол, взрывы фитильных бомб, свист их, треск и грохот настила, хаос, разрушение, ад...

И все это время ни минуты отдыха, ни минуты передышки, чтобы вдохнуть воздух в полузадушенную дымом грудь, все новые стаи ядер, и в этом смятении пронзительные голоса со всех концов крепости, костела и монастыря:

— Пожар! Воды! Воды!

— На крыши с баграми! Ряден побольше, ряден!

На стенах крики разгоряченных сраженьем солдат:

— Выше орудие! Выше! Между домами! Огонь!

Около полудня смертный бой разгорелся с новой силой. Казалось, когда уляжется дым, шведы на месте монастыря увидят лишь груды ядерных и гранатных осколков. Известковая пыль от оббитых ядрами стен уносилась вверх и, мешаясь с дымом, заслоняла свет. Ксендзы вышли с мощами, чтобы молитвою рассеять эту завесу, мешавшую защитникам.

Прерывистым стал рев пушек и частым, как дыханье задохнувшегося крылатого змея.

Внезапно на башне, вновь отстроенной после прошлогоднего пожара, раздались голоса труб, величественные звуки песнопенья. Они плыли с

вершины, и слышно их было окрест, слышно повсюду, даже на шведских батареях. К звукам труб присоединились вскоре человеческие голоса, и среди рева, свиста и крика, грохота и грома мушкетов полились слова:

Пресвятая, преблагая,
Богородица Мария!

Но тут взорвалось сразу десятка два гранат, и на мгновение слух поражен был треском крыш и стропил, криком: «Воды!» Но вот снова полилась песня:

Бога-сына, господина,
Попроси и пошли
Хлебный год, щедрый год.

Стоя на стене у пушки напротив деревни Ченстоховки, где была позиция Миллера и откуда шведы вели ураганный огонь, Кмициц отстранил менее искусного пушкаря и начал стрелять сам.

На дворе стоял ноябрь, и день выдался холодный; но пан Анджей стрелял так усердно, что вскоре сбросил нагольную лисью шубу, сбросил жупан и остался в одних шароварах и рубахе.

У людей, незнакомых с войною, сердца наполнялись отвагой при виде этого прирожденного солдата, которому все, что творилось кругом, — рев пушек, град пуль, разрушение и смерть, — казалось такой же привычной стихией, как саламандре огонь.

Он брови сунул, глаза его горели огнем, на щеках рдел румянец, и дикой радостью пылало лицо. Каждую минуту наклонялся он над орудием, весь поглощенный наводкой, весь охваченный пылом сражения, целился самозабвенно, наведя наконец пушку, кричал: «Огонь!» — и когда Сорока прикладывал фитиль, бежал на вал поглядеть и кричал оттуда:

— Наповал! Наповал!

Орлиным взором пронзал он тучу дыма и пыли; завидев где-нибудь сбившиеся в кучу шляпы или шлемы, тотчас крушил и рассеивал их метким огнем, как громом.

Порою, когда разрушение было больше обычного, он разражался смехом. Ядра пролетали мимо и над головой, а он глазом не повел. Внезапно после выстрела взбежал на насыпь, впился глазами в даль и

крикнул:

— Мы пушку разбили! Только три теперь ревут!

До полудня он и духу не перевел. Пот заливал ему лоб, от рубахи шел пар, все лицо было в саже, глаза сверкали.

Сам Петр Чарнецкий дивился его меткости и в перерывах повторял:

— Война тебе не внове! Сразу видно! Где это ты так научился?

В третьем часу на шведской батарее умолкла вторая пушка, разбитая метким выстрелом Кмицица. Оставшиеся две, шведы через некоторое время скатили с насыпи. Видно, решили, что эту батарею удержать нельзя.

Кмициц вздохнул с облегчением.

— Отдохни! — сказал ему Чарнецкий.

— Ладно! Есть хочу, — ответил рыцарь. — Сорока, дай чего-нибудь!

Старый вахмистр справился мигом. Он принес водки в жестяной кружке и вяленой рыбы. Кмициц стал с жадностью есть, то и дело поднимая глаза и глядя, как на ворон, на пролетающие мимо гранаты.

А летело их много, и притом не со стороны деревни Ченстоховки, а вовсе с противоположной, это они перелетали через костел и монастырь.

— Плохи у них пушкари, слишком высока наводка, — сказал пан Анджей, не переставая есть. — Посмотрите, опять перелет, все ядра на нас летят!

Слушал его молодой послушник, семнадцатилетний паренек, который только поступил в монастырь. Он перед этим все подносил ядра и не уходил, хотя войну видел впервые и от страха у него поджилки тряслись. Видя спокойствие Кмицица, он трепетал от восторга и теперь, услышав эти слова, невольно прижался к нему, точно желая найти защиту под крылом столь могучего рыцаря.

— Неужто они могут попасть в нас с той стороны? — спросил он.

— Отчего же нет? — ответил пан Анджей. — Что, милый, испугался?

— Милостивый пан, — дрожа, ответил послушник, — я слышал, что на войне страшно, но никак не думал, что может быть так страшно!

— Ну, не всякого пуля берет, а то бы и людей не осталось на свете, матери не успели бы народить.

— Больше всего я боюсь этих огненных ядер, этих гранат. Почему они рвутся с таким треском? Матерь божия, спаси и помилуй! И почему так страшно калечат людей?

— А я вот растолкую тебе, голубь ты мой, ты сразу и поймешь. Ядро это железное, в середине полое, начинено порохом. В одном месте у него просверлено очко, а в очке трубка сидит, бумажная, а то и деревянная.

— Иисусе Назарейский! Трубка сидит?

— Да! А в трубке клок пакли, пропитанный серой, он-то при выстреле и загорается. Граната трубкой должна на землю упасть, чтобы в середину ядра ее вбить, тогда огонь дойдет до пороха и разорвет снаряд. Много гранат падает и не на трубку, но это ничего, — коль огонь дойдет до пороха, граната все равно взорвется...

Вдруг Кмициц протянул руку и быстро произнес:

— Смотри, смотри! Вон туда! Вот тебе и пример!

— Иисусе Христе! Дева Мария! — крикнул послушник, увидев летящую прямо на них гранату.

Между тем граната шлепнулась на раскат и, шипя и поднимая пыль, заскакала по мостовой, а за нею потянулась струйка голубого дыма; перевернувшись раз, другой, граната подкатилась к самой стене, упала на кучу мокрого песка, насыпанную до самого палисада, и, совсем потеряв силу, осталась лежать неподвижно.

К счастью, она упала трубкой вверх; но клок, видно, не погас, так как тотчас взвился дым.

— На землю! Падай ничком! — закричали испуганные голоса. — На землю! На землю!

Но Кмициц в ту же минуту соскользнул по куче песка вниз, молниеносным движением ухватил трубку, дернул ее, вырвал из очка и, подняв руку с пылающим клоком, закричал:

— Вставайте! Все равно что собаке зубы вырвал! Сейчас она и мухи не убьет!

С этими словами он ткнул ногой корпус гранаты. Все замерли, увидев этот геройский подвиг; некоторое время никто слова не мог вымолвить, наконец Чарнецкий крикнул:

— Безумец! Ведь если бы она взорвалась, ни синь пороха от тебя не осталось бы!

Но пан Анджей разразился таким неподдельным смехом, что зубы блеснули у него, как у волка.

— Небось порох остался бы! А разве он нам не нужен? Начинили бы ядра, и я бы еще после смерти набил шведов!

— Чтоб тебя громом убило! И где в тебе страх?

Молодой послушник сложил руки и с немым восторгом смотрел на Кмицица. Но подвиг рыцаря видел и ксендз Кордецкий, который как раз направлялся к ним. Он приблизился, обеими руками обнял голову пана Анджея, затем благословил его.

— Такие не сдадут Ясной Горы! — сказал он. — Но я запрещаю тебе подвергать опасности свою жизнь, она нужна нам. Пальба уже стихает, и

враг уходит с поля битвы; возьми же эту гранату, высыпь из нее порох и отнеси ее богоматери. Милей будет ей этот дар, чем все жемчуга и самоцветы, что ты подарил ей!

— Отец! — воскликнул растроганный Кмициц. — Ну что тут такого! Да я для пресвятой девы... Нет, слов у меня не хватает! Да я муку, смерть готов принять! Я не знаю, что готов совершить, только бы послужить ей!

И слезы блеснули на глазах пана Анджея, а ксендз Кордецкий сказал:

— Иди же к ней с этими слезами, покуда они не обсохли! Ниспошлет она тебе свое благословение, успокоит тебя, утешит, честью и славой увенчает!

С этими словами он взял пана Анджея под руку и повел в костел; Чарнецкий некоторое время смотрел им вслед, а затем сказал:

— Много видал я на своем веку храбрецов, которые ни во что не ставили *pericula*; но этот литвин сущий ч...

Тут пан Петр ударил себя по губам, чтобы черным словом не обмолвиться в святыне.

ГЛАВА XV

Артиллерийская перестрелка не мешала монахам вести переговоры. Святые отцы положили всякий раз прибегать к ним, чтобы обмануть неприятеля и, протянув время, дожидаться какой-нибудь помощи или хотя бы наступления суровой зимы. Миллер же по-прежнему был уверен, что они просто хотят выторговать более выгодные условия.

Вечером, после той пальбы, он снова послал к монахам полковника Куклиновского с предложением сдаться. Приор показал Куклиновскому охранную грамоту и сразу заставил его замолчать. Но у Миллера был более поздний приказ короля о занятии Болеславья, Велюня, Кшепиц и Ченстоховы.

— Отнесите им этот приказ, — сказал он полковнику, — думаю, теперь они не найдут больше уловок.

Однако он ошибся.

Ксендз Кордецкий заявил, что коль уж в приказе упомянут город Ченстохова, что ж, пусть генерал к вящей своей славе его занимает, он может быть уверен, что никаких препятствий монастырь ему в том чинить не станет; но Ченстохова это не Ясная Гора, а она в приказе не упомянута.

Услышав этот ответ, Миллер понял, что имеет дело с дипломатами, более искушенными, чем он: это ему не хватило разумных доводов, остались одни пушки.

Однако ночь еще длилось перемирие. Шведы усердно возводили более сильные укрепления, ясногорцы проверяли, нет ли где повреждений после вчерашней пальбы, и, к своему удивлению, не обнаружили их. Кое-где обрушились крыши и стропила, кое-где валялись куски сбитой штукатурки — вот и весь урон. Убитых не было, никто не был даже изувечен. Обходя стены, ксендз Кордецкий с улыбкою говорил солдатам:

— Вот видите, не так страшен враг и его бомбарды, как о них говорили. После богомолья часто бывает больше повреждений. Хранит нас господь бог, и десница его нас бережет, надо только выстоять, и мы узрим еще большие чудеса!

Пришло воскресенье, праздник введения. Служба шла без помех, так как Миллер ждал окончательного ответа, который монахи обещали прислать после полудня.

Тем временем, памятуя слова Писания о том, что израильтяне для устрашения филистимлян обносили ковчег вокруг стана, монахи снова

пошли крестным ходом со святыми дарами.

Письмо они отослали во втором часу, но и на этот раз сдаться не согласились, а подтвердили лишь ответ, который был дан Куклиновскому: костел и монастырь называются, мол, Ясной Горой, а город Ченстохова к монастырю не принадлежит.

«Потому слезно просим вашу милость, — писал ксендз Кордецкий, — благоволите в мире оставить нашу братию и наш костел, сей престол господень и обитель пресвятой богородицы, дабы и впредь возносилась в нем хвала богу и могли мы молить всемогущего о ниспослании здоровья и благоденствия всепресветлейшему королю. А покуда мы, недостойные, принося вам нашу просьбу, поручаем себя милосердию вашему и на доброту вашу и впредь уповаем...»

При чтении этого письма присутствовали: Вжещович, Садовский, Горн, правитель кшепицкий, де Фоссис, славный инженер, наконец, князь Гессенский, человек молодой и весьма надменный, который, хоть и был в подчинении у Миллера, однако любил показать ему свое превосходство. Он язвительно улыбнулся и повторил с ударением последние слова:

— «На доброту вашу уповаем»... Так монахи приговаривают, когда ходят со сбором на церковь, генерал. Я, господа, задам вам один только вопрос: что монахи лучше делают — просят или стреляют?

— И верно! — заметил Горн. — За первые дни мы потеряли столько людей, что и в доброй сече столько не потеряешь!

— Что до меня, — продолжал князь Гессенский, — то деньги мне не нужны, слава тоже, а ноги в этих хатенках я отморожу. Какая жалость, что не пошли мы в Пруссию: богатый край, веселый, и города один другого лучше.

Миллер, который действовал всегда скоропалительно, но был страшным тугодумом, только в эту минуту понял смысл письма.

— Монахи смеются над нами, господа! — сказал он, побагровев.

— Намерения у них такого не было, но получается, что так! — ответил Горн.

— Тогда к орудиям! Мало им было вчерашнего!

Приказы вмиг разлетелись по всем шведским линиям. Шанцы окутались синим дымом, монастырь тотчас ответил сильной пальбой. Однако на этот раз шведские орудия были наведены лучше и нанесли больший ущерб. Сыпались бомбы, чиненные порохом, за которыми тянулась грива пламени. Бросали шведы и пылающие факелы, и клочья пакли, пропитанной смолою.

Как порой станицы журавлей, устав от долгого лёта, усеивают высокие

холмы, так рои этих огненных посланцев усеивали купол костела и деревянные крыши строений. Все, кто не принимал участия в бою, кто не был при орудиях, был на крыше. Одни черпали из колодцев воду, другие поднимали на веревках ведра, третьи тушили пожар мокрыми рядами. Кое-где бомбы, пробив крышу, падали на чердаки, и дома мгновенно наполнялись запахом гари. Но и на чердаках стояли защитники с бочками воды. Самые тяжелые бомбы пробивали даже потолки. Несмотря на нечеловеческие усилия, несмотря на бдительность, казалось, что пламя рано или поздно охватит весь монастырь. Кучи факелов и пакли, сбитых кольями с крыш, пылали у стен. Окна трескались от огня, а женщины и дети, запертые в домах, задыхались от дыма и жара.

Не успевали люди погасить одни бомбы, не успевала стечь с кровель вода, как летели новые тучи пылающих ядер, горящих тряпок, искры бушующего огня. Весь монастырь обняло пламя, словно небо разверзлось над ним и тысячи молний обрушились на него; однако он горел, но не сгорал, пылал, но не обращался в пепел; мало того, в этом море огня он запел, как некогда отроки в печи огненной.

Это с башни, как и накануне, под звуки труб полилась песнь. Для людей, которые стояли на стенах у орудий и каждую минуту могли думать, что за спиной у них все уже пылает и рушится, эта песнь была как целительный бальзам: непрестанно и неустанно возвещала она, что монастырь стоит, что костел стоит, что огонь не победил их усилий. Отныне вошло в обычай звуками песнопений умерять скорбь осажденных и женские уши ласкать ими, дабы не слышали они страшных криков разъяренных солдат.

Но и на шведский стан эта песнь и эта музыка произвели немалое впечатление. Солдаты на шанцах внимали им сперва с удивлением, потом с суеверным страхом.

— Как? — говорили они между собою. — Мы бросили на этот курятник столько огня и железа, что не одна могучая твердыня поднялась бы уже с пеплом и дымом на воздух, а они себе весело поют и играют? Что за знак?

— Чары! — отвечали одни.

— Ядра не берут тамошних стен. Гранаты катятся с крыш, точно мы караваи хлеба швыряем. Чары! Чары! — повторяли солдаты. — Ничего хорошего нас здесь не ждет.

Начальники готовы были даже приписать этим звукам какой-то таинственный смысл. Лишь некоторые все истолковали иначе, и Садовский с умыслом сказал так, чтобы его услышал Миллер:

— Видно, неплохо им там, коли так веселятся. Ужели зря извели мы столько пороху...

— Которого у нас не так уж много осталось, — подхватил князь Гессенский.

— Зато вождь у нас Полиорцетес, — прибавил Садовский таким тоном, что трудно было понять, смеется он над Миллером или хочет польстить ему.

Но тот решил, видно, что это насмешка, и закусил ус.

— А вот поглядим, будут ли они еще петь через час! — сказал он, обращаясь к своему штабу.

И приказал удвоить огонь.

Однако пушкари, выполняя приказ, переусердствовали. Второпях они слишком высоко наводили орудия, и ядра снова стали перелетать. Некоторые, пронесаясь над костелом и монастырем, долетали до противоположных шведских шанцев, крушили там настилы, раскидывали корзины с землей, убивали людей.

Прошел час, другой. С костельной башни по-прежнему лилась торжественная музыка.

Миллер стоял с подзорной трубой в Ченстохове. Долго смотрел.

Присутствующие заметили, что у генерала все больше дрожит рука, в которой он держит трубу, наконец он повернулся и крикнул:

— Выстрелы не приносят костелу никакого вреда!

Дикий, неукротимый гнев обуял старого воителя. Он швырнул на землю трубу, так что она разлетелась вдребезги.

— Я сбещусь от этой музыки! — рявкнул он.

В эту минуту к нему подскакал инженер де Фоссис.

— Генерал! — крикнул он. — Подкоп рыть нельзя. Под слоем земли камень. Нам нужны горные работники.

Миллер выругался, но не успел он кончить проклятье, как подскакал офицер с ченстоховского шанца и, отдав честь, сказал:

— Разбита самая большая пушка! Прикажете привезти из Льготы другую?

Огонь и в самом деле несколько ослаб, а музыка звучала все торжественней.

Не ответив офицеру ни слова, Миллер уехал к себе на квартиру. Однако он не отдал приказа остановить бой. Принял решение измотать осажденных. Ведь в крепости не было и двух сотен гарнизона, а он располагал свежими силами на смену.

Наступила ночь, орудия ревели, не умолкая; однако и монастырские

живо им отвечали, пожалуй, живее, чем днем, так как шведы своими залпами указывали им готовую цель. Бывало и так, что шведские солдаты не успевали рассесться у костра с подвешенным котелком, как из темноты, словно ангел смерти, прилетал вдруг монастырский снаряд. Сноп искр взвивались над разметанным костром, солдаты разбежались с дикими воплями и либо искали укрытия у товарищей, либо блуждали во мраке, озябшие, голодные, перепуганные.

Около полуночи огонь с монастырских стен настолько усилился, что на расстоянии пушечного выстрела нечего было и думать разжечь костер. Казалось, осажденные языком орудий говорят врагам: «Хотите нас измотать? Попробуйте! Мы сами вас вызываем!»

Пробило час ночи, два. Пошел мелкий дождь, кроя землю холодной, пронизывающей мглой, которая то уносилась столбами ввысь, то перекидывалась арками, рдея от огня.

Сквозь эти удивительные арки и столбы проступали по временам грозные очертания монастыря и, меняясь на глазах, то казались выше, чем обыкновенно, то словно тонули в бездне. От шанцев и до самых стен воздвигались из мрака и мглы зловещие своды, под которыми, неся смерть, пролетали пушечные ядра. Порой все небо над монастырем яснило, словно озаренное молнией. Тогда высокие стены и башни явственно выступали из тьмы, а там снова гасли.

Угрюмо, с суеверным страхом смотрели солдаты на эту картину. То и дело кто-нибудь из них толкал локтем соседа и шептал:

— Видал? Монастырь то появится, то опять пропадет. Нечистая это сила!

— Я кое-что получше видал! — говорил другой. — Мы целились из той самой пушки, которую у нас разнесло, и тут вся крепость заходила вдруг ходуном, затряслась, точно кто на канате стал ее то вверх поднимать, то вниз опускать. Попробуй возьми ее на прицел, попади!

Солдат швырнул орудийный банник и через минуту прибавил:

— Не выстоять нам тут! Не понюхать нам ихних денежек! Брр! Холодно! У вас там лагунка со смолой, разожгите, хоть руки погреем!

Один из солдат стал разжигать смолу пропитанными серой нитками. Разжег сперва ветошку, затем начал медленно погружать ее в смолу.

— Погасить огонь! — слышался голос офицера.

Но в то же мгновение раздался свист снаряда, затем короткий, внезапно оборвавшийся вскрик, и огонь погас.

Ночь принесла шведам тяжелые потери. Много народу погибло у костров; солдаты разбежались, некоторые полки в смятении так и не

собрались до самого утра. Осажденные, словно желая доказать, что они не нуждаются в сне, вели все более частый огонь.

Заря осветила на стенах измученные лица, бледные от бессонной ночи, но оживленные. Ксендз Кордецкий ночь напролет лежал ниц в костеле, а как только рассвело, появился на стенах, и слабый его голос раздавался у пушек, на куртинах, у врат:

— Бог дал день, чада мои! Да будет благословенно небесное светило! Нет повреждений ни в костеле, ни в домах. Огонь потушен, и никто не утратил жизни. Пан Мосинский, огненный снаряд упал под колыбель твоего младенца и погас, не причинив ему никакого вреда. Возблагодари же пресвятую богородицу и послужи ей!

— Да будет благословенно имя ее! — ответил Мосинский. — Служу как могу.

Приор направил стопы свои дальше.

Уже совсем рассвело, когда он подошел к Чарнецкому и Кмицицу. Кмицица он не увидел, тот перелез на другую сторону стены, чтобы осмотреть настил, немного поврежденный шведским ядром. Ксендз тотчас спросил:

— А где Бабинич? Уж не спит ли?

— Это чтоб я да спал в такую ночь! — ответил пан Анджей, громоздясь на стену. — Что, у меня совести нет! Лучше недреманным стражем быть у пресвятой богородицы!

— Лучше, лучше, верный раб! — ответил ксендз Кордецкий.

Но в эту минуту пан Анджей увидел блеснувший вдали шведский огонек и тотчас крикнул:

— Огонь там! Огонь! Наводи! Выше! По собакам!

При виде такого усердия улыбнулся ксендз Кордецкий, как архангел, и вернулся в монастырь, чтобы прислать утомленным солдатам вкусной пивной похлебки, приправленной сыром.

Спустя полчаса появились женщины, ксендзы и костельные нищие, неся дымящиеся горшки и жбаны. Мигом подхватили их солдаты, и вскоре на всех стенах слышно было только, как смачно они хлебают да знай похваляют суп.

— Не обижают нас на службе у пресвятой богородицы! — говорили одни.

— Шведам похуже! — говорили другие. — Нелегко им было нынче ночью сварить себе горячего, а на следующую — еще хуже будет!

— Поделом получили, собаки! Пожалуй, днем дадут отдохнуть и себе и нам. Верно, и пушчонки их поохрипли, вишь, надсаживаются!

Но солдаты ошиблись, день не принес им отдыха.

Когда утром офицеры явились к Миллеру с донесением о том, что ночная пальба ничего не дала, что, напротив, сами шведы понесли значительный урон в людях, генерал рассвирепел и приказал продолжать огонь.

— Устанут же они в конце концов! — сказал он князю Гессенскому.

— Пороху мы потратили пропасть, — заметил офицер.

— Но ведь и они его тратят?

— У них, наверно, неистощимый запас селитры и серы, а уж угля мы им сами подбавим, — довольно один домишко поджечь. Ночью я подъезжал к стенам и даже в грохоте пальбы явственно расслышал шум мельницы, — молоты они могли только порох.

— Приказываю до захода солнца стрелять так же, как вчера. Ночью отдохнем. Посмотрим, не пришлют ли они послов.

— Ваша милость, известно ли вам, что они послали к Виттенбергу?

— Известно. Пошлю и я за тяжелыми кулевыми. Коль нельзя будет устроить монахов или поджечь монастырь, придется пробивать брешь.

— Вы надеетесь, что фельдмаршал одобрит осаду?

— Фельдмаршал знал о моем намерении и ничего не сказал, — резко ответил Миллер. — Коль меня по-прежнему будут преследовать неудачи, он меня не похвалит, осудит и всю вину не замедлит свалить на меня. Король примет его сторону, я это знаю. Немало уж натерпелся я от сварливого нрава нашего фельдмаршала, точно моя это вина, что его, как говорят итальянцы, *mal francese*^[189] снесает.

— В том, что он на вас свалит всю вину, я не сомневаюсь, особенно, когда обнаружится, что Садовский был прав.

— Что значит «прав»? Садовский так заступает за этих монахов, точно он у них на жалованье! Что он говорит?

— Он говорит, что эти залпы прогремят на всю страну, от Балтики до Карпат.

— Пусть тогда милостивый король прикажет спустить шкуру с Вжещовича, а я пошлю ее в дар монахам, — ведь это он настоял на осаде.

Миллер схватился тут за голову.

— Но кончать надо любой ценой! Что-то мне сдается, что-то говорит мне, что пришлют они ночью кого-нибудь для переговоров. А покуда огня! Огня!

Так прошел еще один день, похожий на вчерашний, полный грохота, дыма и пламени. Много еще таких дней должно было пролететь над Ясной Горой. Но осажденные тушили пожары и стреляли с не меньшим

мужеством. Половина солдат уходила на отдых, другая половина была на стенах у орудий.

Люди начали привыкать к неумолчному реву, особенно когда убедились, что большого урона враг им не наносит. Менее искушенных укрепляла вера; к тому же среди защитников крепости были старые солдаты, знакомые с войной, для кого служба была ремеслом. Они ободряли крестьян.

Сорока снискал себе большое уважение, ибо, проведя большую часть жизни на войне, он так привык к грохоту, как старый шинкарь привыкает к пьяным крикам. Вечером, когда пальба затихала, он рассказывал товарищам об осаде Збаража. Сам он там не был, но знал все доподлинно из рассказов солдат, которые пережили осаду.

— Столько, — рассказывал он, — набежало туда казаков, татарвы да турок, что одних куховаров было больше, нежели тут у нас шведов. И все-таки наши не дались им. Да и то надо сказать, что бесы тут не имеют силы, а там они только по пятницам, субботам да воскресеньям не помогали разбойникам, а во все прочее время пугали наших по целым ночам. Посылали на валы смерть, и она являлась солдатам, чтоб пропала у них охота сражаться. Я об этом от такого солдата знаю, который сам ее видал.

— Смерть видал? — спрашивали крестьяне, сбившись толпой около вахмистра.

— Собственными глазами! Шел это он от колодца, который они рыли, потому воды им не хватало, а прудовая была вонючая. Идет это он, идет, глянь — навстречу кто-то в черном покрывале.

— В черном, не в белом?

— В черном, на войне она в черном ходит. Смеркалось! Подошел солдат. «Кто там?» — спрашивает. Она — молчок. Потянул он за покрывало, смотрит: скелет: «Ты чего тут?» — «Я, — говорит она, — смерть и приду за тобой через неделю». Подумал солдат, плохо дело. «Почему же это, говорит, только через неделю? Раньше нельзя?» А она ему: «Раньше я тебе ничего сделать не могу, нельзя, такой приказ». Солдат себе думает: «Никуда не денешься! Но коль она мне сейчас ничего не может сделать, дай я хоть вымещу ей за себя». Закрутил он ее в покрывало и давай костями об камни молотить! Она в крик, просит: «Через две недели приду!» — «Шалишь!» — «Через три, четыре, через десять недель приду, после осады, через год, через два, через пятнадцать лет!» — «Шалишь!» — «Через пятьдесят лет приду!» Смекнул солдат, что ему уже пятьдесят. «Пожалуй, думает довольно будет!» Отпустил он ее. А сам жив, здоров и по сию пору. В бой как в пляс идет, все ему нипочем!

— Испугайся он, тут бы ему и конец?

— Нет ничего хуже, чем смерти бояться! — с важностью ответил Сорока. — Солдат этот и другим добро сделал, так ее излупил, так ее умучил, что три дня худо ей было, и потому никто в стане не был убит, хоть и делали вылазку.

— А мы не выйдем как-нибудь к шведам?

— Не наша это забота, — ответил Сорока.

Услышав эти последние слова, Кмициц, который стоял неподалеку, хлопнул себя по лбу. Поглядел на шведские шанцы. Ночь уж была. На шанцах уже добрый час стояла мертвая тишина. Усталые солдаты спали, видно, у пушек.

Далеко, на расстоянии двух пушечных выстрелов, мерцали кое-где огоньки; но около шанцев царил непроглядный мрак.

— Им ведь невдомек, и в голову такое не придет, и в мыслях такого не будет! — шепнул про себя Кмициц.

И направился прямо к Чарнецкому, который, сидя у лафета, перебирал четки и стучал озябшими ногами.

— Холодно, — сказал он, увидев Кмицица, — и голова тяжелая от этого грохота, — ведь уже два дня и ночь палят без перерыва. В ушах звенит.

— Как же не звенеть, когда такой стон стоит! Но сегодня мы отдохнем. Уснули шведы крепко. Как медведя в берлоге, можно их обложить. Не знаю, проснутся ли даже от ружейной стрельбы.

— О! — поднял голову Чарнецкий. — О чем это ты думаешь?

— О Збараже думаю, о том, что вылазками осаженные не раз наносили разбойникам жестокий урон.

— А у тебя, как у волка ночью, все кровь на уме?

— Ну прошу тебя, давай сделаем вылазку! Людей порубим, пушки загвоздим. Они там не чают беды.

Чарнецкий вскочил.

— То-то завтра взбеленятся! Они, может, думают, что совсем нас напугали и мы только о сдаче и помышляем. Вот и будет им наш ответ. Клянусь богом, замечательная мысль, и дело настоящее, достойное рыцарей! И как мне это в голову не пришло! Надо только ксендзу Кордецкому сказать. Он тут всем правит!

Они пошли к приору.

Тот в советном покое держал совет с серадзским мечником. Услышав шаги, поднял голову и, отодвигая свечу, спросил:

— Кто там? Не с вестями ли?

— Это я, Чарнецкий, — ответил пан Петр. — Со мной Бабинич. Не спится нам что-то обоим, страх как хочется шведов пощупать. Отец, горячая голова этот Бабинич, все ему нейдет. Не сидится на месте, не сидится, уж очень хочется выйти за валы, к шведам в гости, поспрошать, все так же они будут завтра стрелять или, может, дадут нам и себе передышку?

— Как? — с нескрываемым удивлением спросил ксендз Кордецкий. — Бабинич хочет выйти из крепости?

— Не один, не один! — поспешил ответить пан Петр. — Со мной да с полусотней солдат. Шведы, сдается, спят в шанцах как убитые: огня не видать, стражи не видать. Уж очень они уверены в нашей слабости.

— Пушки загвоздим! — с жаром прибавил Кмициц.

— Ну те-ка дайте мне сюда этого Бабинича! — воскликнул мечник. — Я его обнять хочу! Жало у тебя свербит, шершень ты этакий, рад бы и ночью жалить. Большое вы дело задумали, много оно может дать. Одного нам господь литвина послал, зато уж лют, зато зубаст. Я ваше намерение одобряю, и никто вас тут не заругает, я сам готов с вами идти!

Ксендз Кордецкий поначалу просто в ужас пришел, так он боялся кровопролития, особенно когда не подвергалась опасности его собственная жизнь, но, пораздумав, решил, что дело это достойное защитников девы Марии.

— Дайте мне помолиться! — сказал он.

И, преклонив колена перед образом богоматери и воздев руки, молился с минуту времени, наконец поднялся с просветленным лицом.

— Помолитесь теперь вы, а там и ступайте!

Через четверть часа все четверо вышли на улицу и направились на стены. Шанцы спали в отдалении. Ночь была очень темная.

— Сколько же человек хочешь ты взять? — спросил у Кмицица ксендз Кордецкий.

— Я? — удивился пан Анджей. — Я тут не начальник и местности не знаю так, как пан Чарнецкий. Я с саблей пойду, а людей пусть пан Чарнецкий ведет и меня вместе со всеми. Я бы только хотел, чтобы мой Сорока пошел, он лихой рубака!

Понравился этот ответ и Чарнецкому и приору, который усмотрел в нем явный знак смирения. Все тотчас усердно принялись за дело. Отобрали людей, приказали им соблюдать полную тишину и стали вынимать из лаза в стене бревна, камни и кирпичи.

На это ушло около часу. Наконец проход был готов, и люди стали нырять в узкую щель. При них были сабли, пистолеты, кое у кого ружья, а у

мужиков косы, насаженные на ребро, — оружие для них самое привычное.

Очутившись по ту сторону стены, посчитали, все ли на месте. Чарнецкий встал в голове отряда, Кмициц в хвосте, и все тихо двинулись вдоль вала, затаив дыхание, как волки, крадущиеся к овчарне.

Но порою звякали, стукнувшись, косы, камень скрипел под ногой, и по этим звукам можно было узнать, что отряд подвигается вперед. Спустившись с горы, Чарнецкий остановился. У подножия ее, совсем недалеко от шанцев, он оставил часть людей под начальством венгерца Янича, старого, выдавшего виды солдата, и велел им залечь, а сам взял немного правей и повел свой отряд дальше уже побыстрее, так как под ногами был мягкий грунт и шагов не было слышно.

Он принял решение обойти шанец, ударить на спящих шведов с тыла и гнать их к монастырю на людей Янича. Эту мысль подал ему Кмициц; идя теперь рядом с Чарнецким с саблей в руке, пан Анджей шептал:

— Шанец, наверно, выдвинут так, что между ним и главным станом пустое место. Стража, коль они ее поставили, не позади шанца стоит, а впереди, стало быть, мы их свободно обойдем и ударим с той стороны, откуда они меньше всего ждут нападения.

— Ладно, — ответил Чарнецкий, — ни один швед не должен уйти живым.

— Коли кто окликнет нас, когда мы будем входить, — продолжал пан Анджей, — позволь мне ответить. Я по-немецки, как по-польски, болтаю, вот они и подумают, что это кто-нибудь из стана пришел, от генерала.

— Только бы стражи не было позади.

— А коль и будет, мы окликнем шведов и сразу на них бросимся. Они ахнуть не успеют, а мы уже будем сидеть у них на плечах.

— Пора сворачивать, уж виден конец вала, — сказал Чарнецкий.

Он повернулся и тихо сказал:

— Направо, направо!

Солдаты в молчании стали сворачивать направо. Тут луна чуть посеребрила край тучи, стало светлей. Солдаты увидели пустое пространство позади вала.

Стражи, как и предполагал Кмициц, на всем этом пространстве не было никакой, да и зачем было шведам расставлять караулы между собственными шанцами и главной силой, стоявшей чуть подалее. Самому пронизательному военачальнику не могло бы прийти в голову, что с той стороны может грозить какая-нибудь опасность.

— А теперь тсс! — сказал Чарнецкий. — Уже видны шатры.

— И в двух горит свет. Там еще не спят. Верно, офицеры.

— Сзади подступ должен быть поудобней.

— Ясное дело, — ответил Кмициц. — Оттуда накатывают орудия и проходят войска. О, вот уже и вал. Смотрите теперь, чтоб не звякнуть оружием.

Они дошли до горки, аккуратно насыпанной позади шанца. Там стоял ряд артиллерийских ящиков.

Но подле ящиков не было никого, и миновав их, они без труда стали взбираться на шанец; подъем, как они и думали, был пологий и хорошо укатанный.

Так они дошли до самых шатров и остановились, держа наготове оружие. В двух шатрах и в самом деле мерцал огонек, и Кмициц, перемолвись двумя словами с Чарнецким, сказал:

— Я сперва пойду к тем, которые не спят. Ждите теперь моего выстрела, а тогда — на них!

С этими словами он двинулся к шатрам.

Успех вылазки был обеспечен, поэтому пан Анджей и не старался идти особенно тихо. Он миновал несколько шатров, погруженных во мрак; никто не проснулся, никто не спросил: «Кто идет?»

Ясногорские солдаты слышали скрип его смелых шагов и биение собственных сердец. Он дошел до освещенного шатра, поднял полог и, войдя, остановился с пистолетом в руке и саблей, спущенной на цепочке.

Остановился он потому, что его ослепил огонь: на полевом столе стоял подсвечник, в котором ярко пылали шесть свечей.

За столом, склонившись над планами, сидели три офицера. Один из них, тот, что сидел посредине, так пристально разглядывал их, что длинные его волосы упали на белые листы. Заметив, что кто-то вошел, он поднял голову и спокойно спросил:

— Кто там?

— Солдат, — ответил Кмициц.

Тут повернули головы и два других офицера.

— Что за солдат? Откуда? — спросил первый. Это был инженер де Фоссис, главный руководитель осадных работ.

— Из монастыря, — ответил Кмициц.

В голосе его прозвучала страшная угроза.

Де Фоссис внезапно поднялся и прикрыл ладонью глаза. Кмициц стоял выпрямившись, недвижимый, как призрак, только лицо его, грозное, ястребиное, говорило о внезапно нависшей опасности.

Но у де Фоссиса молнией промелькнула мысль, что это, быть может, беглец из монастыря, и он еще раз спросил, но уже с беспокойством:

— Чего тебе надо?

— Вот чего! — крикнул Кмициц.

И выстрелил из пистолета прямо ему в грудь.

Тут же на шанце раздались страшные крики и пальба. Де Фоссис рухнул, как сосна, сраженная громом, другой офицер бросился на Кмицица со шпагой, но тот полоснул его саблей между глаз так, что клинок заскрежетал от удара о кость; третий офицер решил спастись бегством и нырнул под парус шатра, но Кмициц подскочил к нему, ногой наступил на спину и пригвоздил острием к земле.

Тихая ночь обратилась между тем в кромешный ад. Дикие крики: «Бей! Коли! Руби!» — смешались со стонами и пронзительными воплями шведов, звавших на помощь. Обезумев от ужаса, люди выбегали из шатров, не зная, куда броситься, в какую сторону бежать. Одни солдаты, не сообразив сразу, откуда совершенно нападение, мчались прямо на ясногорцев и гибли от сабель, кос и секир, не успев даже крикнуть: «Пардон!» Другие в темноте кололи шпагами своих же товарищей; иные, безоружные, полуодетые, без шляп, поднимали руки вверх и замирали на месте, или, наконец, падали наземь посреди опрокинутых шатров. Горсточка солдат пыталась обороняться; но ослепшая толпа увлекла их за собой, смяла и растоптала. Стоны умирающих, раздирающие душу мольбы о пощаде усиливали замешательство.

Когда наконец стало ясно, что нападение совершено не со стороны монастыря, а с тылу, со стороны шведских войск, дикая ярость овладела шведами. Они, видно, решили, что на них внезапно напали польские союзные хоругви.

Толпы пехоты, спрыгивая с вала, устремились к монастырю, точно пытаясь найти укрытие в его стенах. Но тут раздались новые крики — это шведы наткнулись на солдат венгерца Янича, которые приканчивали их у самых стен крепости.

Между тем ясногорцы, рубя, коя и топча шведов в стане, дошли до пушек. Часть солдат мгновенно бросилась к ним с гвоздями, остальные продолжали сеять смерть в рядах противника. Мужики, которые в открытом поле не смогли бы устоять против обученных шведских солдат, кучками бросались на целые толпы шведов.

Отважный полковник Горн, правитель кшепицкий, попытался собрать своих разбежавшихся солдат; бросившись за угол шанца, он стал звать их в темноте и размахивать шпагой. Шведы узнали своего полковника и кинулись было к нему; но на плечах противника и вместе с ним набежали поляки, которых в темноте трудно было отличить от своих.

Внезапно раздался страшный свист косы, и голос Горна внезапно смолк. Кучка солдат бросилась врассыпную, как от гранаты. Кмициц, Чарнецкий и с ними человек двадцать солдат ринулись на шведов и изрубил всех до последнего человека.

Шанец был взят.

В главном шведском стане уже трубили тревогу. Но тут заговорили ясногорские пушки, и со стен полетели огненные снаряды, чтобы осветить дорогу возвращающемуся отряду. Люди шли, задыхаясь от усталости, все в крови, как волки, которые, прирезав в овчарне овец, уходят, заслышав голоса стрелков. Чарнецкий шагал впереди. Кмициц замыкал поход.

Через полчаса они нашли людей Янича; но венгерец не ответил на зов, — он один поплатился жизнью за вылазку: собственные солдаты застрелили его из ружья, когда он гнался за шведским офицером.

При отблесках пламени, под рев пушек входили в монастырь солдаты. У прохода их встречал ксендз Кордецкий; он считал людей по мере того, как головы их показывались в щели. Недосчитался он одного только Янича.

За ним тотчас ушли два человека, через полчаса они принесли мертвого венгерца, — ксендз Кордецкий хотел с почестями предать земле его прах.

Раз прерванная ночная тишина уже не наступила до утра. На стенах ревели пушки, а в шведском стане царило крайнее замешательство. Не зная толком, какой урон они понесли, не представляя себе, откуда мог напасть противник, шведы бежали из шанцев, расположенных ближе к монастырю. Целые полки в ужасном смятении блуждали до самого утра, часто принимая своих за чужих и стреляя друг в друга. Даже в главном стане солдаты и офицеры покинули шатры и всю эту ужасную ночь провели под открытым небом, ожидая, когда же она кончится. Тревожные слухи носились по стану. Кто толковал, что это к осаждению пришло подкрепление, кто твердил, что все ближайшие шанцы захвачены врагом.

Миллер, Садовский, князь Гессенский, Вжещович и все высшие чины принимали героические меры, чтобы навести порядок в охваченных смятением полках. На выстрелы с монастырских стен они ответили зажигательными бомбами, чтобы рассеять мрак и успокоить своих разбежавшихся солдат.

Одна из бомб попала на крышу придела, где стояла чудотворная икона; но, коснувшись только карниза, она с шипеньем и треском вернулась во вражеский стан, рассыпавшись в воздухе дождем искр.

Кончилась наконец эта шумная ночь. Монастырь и шведский стан утихли. Утро посеребрило шпили костела, крыши начали алеть — светало.

Тогда Миллер во главе своего штаба подъехал к шанцу, в который ночью ворвались ясногорцы. Из монастыря могли заметить старого генерала и открыть огонь; но он не посмотрел на это. Собственными глазами хотел он увидеть все разрушения, узнать, сколько убито людей. Штаб следовал за ним, все удрученные, с сумрачными, скорбными лицами. Доехав до шанца, офицеры спешили и стали подниматься на вал. Следы боя виднелись повсюду, валялись опрокинутые шатры, некоторые стояли еще открытые, пустые и безмолвные.

Груды тел лежали везде, особенно между шатрами; полуголые, ободранные трупы, с вывалившимися из орбит глазами, с ужасом, застывшим в мертвых зеницах, представляли страшное зрелище. Видно, все эти люди были захвачены в глубоком сне, некоторые были необуты, мало кто сжимал в мертвой руке рапиру, почти все были без шлемов и шляп. Одни лежали в шатрах ближе к выходу, они, видно, едва успели проснуться; другие у самых парусов, настигнутые смертью в минуту, когда хотели спастись бегством. Столько тел валялось повсюду, а в некоторых местах такие горы их, точно солдаты были убиты в минуту стихийного бедствия, и только глубокие раны, нанесенные в голову и в грудь, да черные лица от выстрелов в упор, когда порох не успевает сгореть, непреложно свидетельствовали, что все это дело рук человеческих.

Миллер поднялся выше, к орудиям: они стояли безгласные, забитые гвоздями, не более грозные, чем бревна; на одном из них, перевесясь через лафет, лежало тело пушкаря, рассеченное чуть не надвое страшным ударом косы. Кровь залила лафет и образовала под ним большую лужу. Хмурясь, в молчании обозревал Миллер эту картину. Никто из офицеров не решался нарушить молчание.

Да и как было утешать старого генерала, который по собственной оплошности был разбит, как новичок? Это было не только поражение, это был позор, ибо сам генерал называл крепость курятником и сулил стереть монахов в порошок, ибо у него было девять тысяч войска, а в монастыре — гарнизон в двести человек, ибо, наконец, он был прирожденным солдатом, а ему противостояли монахи.

Тяжело начался для Миллера этот день.

Тем временем пришли пехотинцы и стали уносить тела. Четверо из них, держа на рядне труп, остановились без приказа перед генералом.

Миллер взглянул и закрыл глаза.

— Де Фоссис! — глухо сказал он.

Не успели отойти эти солдаты, как подошли другие; на этот раз к ним направился Садовский и крикнул издали штабу:

— Горна несут!

Горн был еще жив, и впереди его ждали долгие дни страшных мучений. Мужик, который сразил его косою, достал его лишь острием, но удар был такой страшной силы, что вся грудь была разворочена. Однако раненый даже не потерял сознания. Заметив Миллера и штаб, он улыбнулся, силясь что-то сказать; но только розоватая сукровица показалась у него на губах, он сильно замигал глазами и лишился чувств.

— Отнести его в мой шатер! — приказал Миллер. — Пусть его сейчас же осмотрит мой лекарь! — Затем офицеры услышали, как генерал бормочет про себя: — Горн! Горн! Я его нынче во сне видел... сразу же с вечера... Ужас, непостижимо!

Уставя глаза в землю, он погрузился в глубокую задумчивость; вызвал его из задумчивости испуганный голос Садовского:

— Генерал! Генерал! Посмотрите, пожалуйста! Вон туда! Туда! На монастырь.

Миллер поглядел и замер.

Уже встал погожий день; только земля была подернута дымкой, а небо было чистое и румяное от утренней зари. Белый туман застлал самую вершину Ясной Горы; по законам природы он должен был закрыть и костел, но, по странной ее игре, костел вместе с колокольней, словно оторвавшись от своего основания и повиснув в синеве под небесами, высоко-высоко возносился не только над горою, но и над туманною дымкой.

Подняли крик и солдаты, тоже заметившие это явление.

— От тумана это нам мерещится! — воскликнул Миллер.

— Туман стоит под костелом, — возразил Садовский.

— Что за диво, костел в десять раз выше, чем был вчера, он парит в воздухе, — проговорил князь Гессенский.

— Выше летит! Выше! Выше! — кричали солдаты. — Пропадает из глаз!

И в самом деле, туман, нависший над горою, стал огромным столбом подниматься к небу, а костел, словно утвержденный на вершине этого столба, уносился, казалось, все выше и выше, курился в кипени облаков, расплывался, таял, пока наконец совсем не пропал из глаз.

Удивление и суеверный страх читались в глазах Миллера.

— Признаюсь, господа, — сказал он офицерам, — ничего подобного я в жизни не видывал. Явление, совершенно противное природе! Уж не чары ли это папистов?..

— Я сам слышал, — промолвил Садовский, — как солдаты кричали:

«Как же стрелять по такой крепости?» Я и сам не знаю как!

— Позвольте, господа, а как же теперь? — воскликнул князь Гессенский. — Есть там, в тумане, костел или нет его?

Изумленные офицеры еще долго стояли в безмолвии.

— Даже если это естественное явление природы, — прервал наконец молчание князь Гессенский, — оно не сулит нам добра. Вы только подумайте; с той поры, как мы сюда прибыли, мы не сделали ни шагу вперед!

— Когда бы только это! — воскликнул Садовский. — А то ведь мы, надо прямо сказать, терпим поражение за поражением, и нынешняя ночь горше всех. У солдат пропадает охота сражаться, они теряют мужество, трусят. Вы не можете представить, что за разговоры ведут они в полках. Да и другие странные дела творятся у нас в стане: с некоторых пор наши солдаты не то что в одиночку, но даже вдвоем не могут выйти из стана, а тот, кто на это отважится, бесследно пропадает. Точно волки бродят подле Ченстоховы. Недавно я сам послал в Велюнь хорунжего с тремя солдатами привезти теплую одежду, и с тех пор о них ни слуху ни духу.

— Наступит зима, еще хуже будет; и теперь уже ночи бывают неносные, — прибавил князь Гессенский.

— Мгла редет! — сказал вдруг Миллер.

И в самом деле ветер поднялся, и туман стал рассеиваться. Что-то будто обозначилось в клубившейся мгле; это солнце взошло наконец и воздух стал прозрачен.

Крепостные стены выступили из мглы, потом показался костел, монастырь. Все стояло на прежнем месте. Твердыня была тиха и спокойна, словно в ней и не жили люди.

— Генерал, — обратился к Миллеру князь Гессенский, — попытайтесь снова начать переговоры. Надо кончать!

— А если переговоры ничего не дадут, вы что, господа, посоветуете мне снять осаду? — угрюмо спросил Миллер.

Офицеры умолкли. Через минуту заговорил Садовский.

— Вы, генерал, лучше нас знаете, что делать.

— Знаю, — надменно ответил Миллер, — и одно только скажу вам: я проклинаю тот день и час, когда пришел сюда, и тех советчиков, — он при этом пронзил взглядом Вжещовича, — которые настаивали на осаде. Но после того, что произошло, я не отступлю, так и знайте, покуда не обращу эту крепость в груды развалин или сам не сложу голову!

Неприятность изобразилась на лице князя Гессенского. Он никогда не питал особого уважения к Миллеру, а последние слова генерала счел

просто солдатской похвальбой, неуместной в этом разрушенном шанце, среди трупов и забитых гвоздями пушек; он повернулся к Миллеру и заметил с нескрываемой насмешкой:

— Генерал, вы не можете давать таких обещаний, потому что отступите по первому же приказу его величества или маршала Виттенберга. Да и обстоятельства умеют порой повелевать не хуже королей и маршалов.

Миллер нахмурил свои густые брови, а Вжещович, заметив это, поспешил вмешаться в разговор:

— А покуда мы попытаемся возобновить переговоры. Монахи сдадутся. Непременно сдадутся!

Дальнейшие его слова заглушил веселый голос колокола в Ясногорском костеле, звавший к утренней службе. Генерал со штабом направился в Ченстохову, но не успел он доехать до главной квартиры, как прискакал на взмыленном коне офицер.

— Это от маршала Виттенберга! — сказал Миллер.

Тем временем офицер вручил ему письмо. Генерал торопливо взломал печать и, пробежав письмо глазами, сказал с замешательством:

— Нет! Это из Познани... худые вести. В Великой Польше поднимается шляхта^[190], к ней присоединяется народ. Во главе движения стоит Кшиштоф Жегоцкий, он хочет идти на помощь Ченстохове.

— Я говорил, что эти выстрелы прогремят от Карпат до Балтики, — пробормотал Садовский. — Народ тут горячий, изменчивый. Вы еще не знаете поляков; вот придет время, тогда узнаете.

— Что ж, придет время, тогда узнаем! — ответил Миллер. — По мне, лучше открытый враг, нежели коварный союзник. Они сами нам покорились, а теперь оружие поднимают. Ладно! Узнают они цену нашему оружию!

— А мы ихнему! — прорычал Садовский. — Генерал, давайте кончим дело в Ченстохове миром, примем любые условия. Ведь не в крепости суть, а в том, быть или не быть его величеству государем этой страны.

— Монахи сдадутся, — сказал Вжещович. — Не сегодня-завтра они сдадутся.

Такой разговор вели они между собою, а в монастыре между тем после ранней обедни все ликовало. Кто не ходил во вражеский стан, расспрашивал участников вылазки, как было дело. Те возгордились страшно, похвалялись своей храбростью, расписывали, какой урон нанесли шведам.

Любопытство одолело даже монахов и женщин. Белые монашеские

рясы и женские платья замелькали повсюду на стенах. Чудесный и веселый выдался день. Женщины, окружив Чарнецкого, кричали: «Спаситель наш! Защитник!» Он отмахивался от них, особенно когда они пытались целовать ему руки, и, показывая на Кмицица, говорил:

— Не забудьте и его поблагодарить! Бабинич он, но уж никак не баба! Руки он себе целовать не даст, они у него еще от крови липнут, но ежели которая помоложе захочет в губы поцеловать, думаю, не откажется.

Молодые девушки и в самом деле бросали на пана Анджея стыдливые, но в то же время прельстительные взгляды, дивясь гордой его красоте; но он не отвечал на немой их вопрос, ибо девушки эти напомнили ему Оленьку.

«Ах ты, моя бедняжечка! — думал он. — Если б ты только знала, что служу я уже пресвятой деве, в защиту ее выступаю против врага, которому, к моему огорчению, раньше служил...»

И он обещал себе, что сразу же после осады напишет Оленьке в Кейданы письмо и пошлет с ним Сороку. «Ведь не голые это будут слова и посулы, есть уж у меня подвиги, которые я без пустой похвальбы, но точно опишу ей в письме. Пусть же знает, что ее рук это дело, пусть порадует!»

Он и сам так обрадовался этой мысли, что даже не слышал, как девушки, уходя, говорили:

— Красавец, но, знать, одна война у него на уме, бирюк, людей сторонится.

ГЛАВА XVI

Согласно пожеланиям своих офицеров Миллер возобновил переговоры. Из вражеского стана в монастырь явился знатный польский шляхтич, человек уже немолодой и весьма красноречивый. Ясногорцы приняли его гостеприимно, думая, что он только поневоле, для виду, станет уговаривать их сдаться, а на деле ободрит, подтвердит проникшие даже в осажденный монастырь вести о восстании в Великой Польше, о вражде, возгоревшейся между регулярным польским войском и шведами, о переговорах Яна Казимира с казаками, которые будто бы изъявили ему покорность, наконец, о грозном предупреждении татарского хана, который объявил, что идет на помощь^[191] королю-изгнаннику и поразит огнем и мечом всех его врагов.

Но как обманулись монахи в своих ожиданиях! Посол и впрямь принес много вестей, но ужасных, способных охладить пыл самых воинственных, сломить решимость самых стойких, поколебать самую горячую веру.

В советном покое его окружили монахи и шляхта; в молчании внимали они послу; казалось, сама правда и сожаление об участи отчизны говорят его устами. Как бы желая сдержать порыв отчаяния, он сжимал руками седую голову, со слезами на глазах взирал на распятие и протяжным, дрожащим голосом вот что говорил собравшимся:

— О, до каких времен дожила несчастная отчизна! Нет больше спасения, надо покориться шведскому королю. Воистину, ради кого вы, преподобные отцы, и вы, братья шляхтичи, взялись за мечи? Ради кого не щадите ни сил, ни трудов, ни крови, ни мук? Ради кого, упорствуя, — увы, напрасно! — подвергаете и себя и святыню сию мести непобедимых шведских полчищ? Ради Яна Казимира? Но он сам забыл о нашем королевстве. Разве вы не знаете, что он уже сделал выбор и хлопотливой короне предпочел веселые пиры и мирные забавы, отрекся от престола в пользу Карла Густава? Вы не хотите оставить его, а он сам вас оставил; вы не хотели нарушить присягу, а он сам ее нарушил; вы готовы умереть за него, а он ни о вас, ни о нас не думает! Карл Густав теперь наш законный король! Смотрите же, не навлеките на себя не только гнев короля, и месть, и разрушение, но и гнев господень за грех против небес, против креста и пресвятой девы, ибо не на захватчика поднимаете вы дерзновенную руку, но на собственного государя!

Тишина встретила эти слова, словно пролетел ангел смерти.

Ибо что могло быть страшнее вести об отречении Яна Казимира? Трудно было поверить ужасным этим речам; но ведь старый шляхтич говорил перед распятием, перед образом Марии, со слезами на глазах.

Но если это правда, то дальнейшее сопротивление и впрямь было безумством. Шляхтичи закрыли руками глаза, иноки надвинули капюшоны, и все длилось гробовое молчание; один только ксендз Кордецкий начал усердно шептать побелевшими губами молитву, а глаза его, спокойные, глубокие, светлые и пронизательные, были упорно устремлены на шляхтича.

Тот чувствовал на себе взгляд приора, и нехорошо, не по себе было ему под этим испытующим взглядом; он хотел сохранить благостную личину души достойной, истерзанной горем и питающей лишь добрые чувства, но не мог: глаза его беспокойно забегали, и через минуту вот что сказал он преподобным отцам:

— Нет ничего горше, чем разжигать злобу, слишком долго испытывая терпение. Лишь одно может произойти от вашего упорства: святой храм сей будет разрушен, а вы, — спаси вас боже! — сдадитесь на волю жестокой и страшной силы, коей вам придется поклониться. Отречение от дел мирских, уход от них — таково оружие иноков. Что вам до бранных бурь, вам, кому иноческий чин повелевает молчание и пустынножителство. Братья мои любезнейшие, отцы преподобные, не берите на душу греха, не берите на совесть свою столь тяжкой ответственности! Не вы зиждители сей святой обители, не вам одним должна она служить! Пусть же цветет она многие лета и ниспосылает благословение на землю сию, дабы сыны наши и внуки могли радоваться за нее!

Тут изменник воздел руки и вовсе прослезился; шляхтичи молчали, отцы молчали; сомнение овладело всеми, измученные сердца были близки к отчаянию, свинцом легла на душу мысль о тщете всех их усилий.

— Я жду вашего ответа, отцы! — поникнув головою, сказал почтенный изменник.

Но тут встал ксендз Кордецкий и голосом, в котором не было ни тени сомнения, ни тени колебания, произнес, словно в пророческом наитии:

— То, что ты говоришь, вельможный пан, будто Ян Казимир нас оставил, будто отрекся уже и права свои Карлу передал, — это ложь! Надежда пробудилась в сердце изгнанного нашего государя, и никогда еще не трудился он столь усердно, как в эту минуту, дабы спасти отчизну, вновь воссесть на трон и нам, угнетенным, прийти на помощь!

Личина тотчас спала с лица изменника, злоба и разочарование столь

явно изобразились на нем, будто змеи выползли вдруг из недр его души, где дотоле таились.

— Откуда эти слухи? Откуда эта уверенность? — спросил он.

— Вот откуда! — показал ксендз Кордецкий на большое распятие, висевшее на стене. — Иди, положи пальцы на перебитые голени Христовы и повтори еще раз то, что ты сказал!

Изменник скорчился, будто под тяжестью железной длани; страх изобразился на его лице, словно новая змея выползла из недр души.

А ксендз Кордецкий стоял величественный и грозный, как Моисей; сияние, казалось, окружало его чело.

— Иди, повтори! — не опуская руки, сказал он таким могучим голосом, что даже своды задрожали и повторили эхом, словно объятые ужасом. — Иди, повтори!..

Наступила минута немого молчания, наконец раздался приглушенный голос пришельца:

— Я умываю руки...

— Как Пилат! — закончил ксендз Кордецкий.

Изменник встал и вышел вон. Он торопливо миновал монастырское подворье, а когда очутился за воротами обители, пустился чуть не бегом, точно невидимая сила гнала его прочь из монастыря к шведам.

Тем временем к Чарнецкому и Кмицицу, которые не были на совете, пришел Замойский, чтобы рассказать им обо всем происшедшем.

— Не принес ли добрых вестей этот посол? — спросил пан Петр. — Лицо у него приятное...

— Избави нас бог от такой приятности! — ответил серадзский мечник. — Сомнения он принес и соблазн.

— Что же он говорил? — спросил Кмициц, поднимая вверх зажженный фитиль, который держал в руке.

— Говорил, как изменник, продавшийся врагу.

— Верно, потому и бежит теперь так! — сказал Петр Чарнецкий. — Поглядите, чуть не бегом припустился к шведам. Эх, и послал бы я ему пулю вдогонку!..

— Ну что ж, вот и пошлем! — сказал вдруг Кмициц.

И прижал к запалу фитиль.

Не успели Замойский и Чарнецкий опомниться, как грянул выстрел. Замойский за голову схватился.

— Боже мой! Что ты наделал! — крикнул он. — Ведь это посол!

— Беды наделал, — ответил Кмициц, глядя вдаль, — потому промахнулся! Он уже встал и бежит дальше. Эх, ушел! — Тут он

повернулся к Замойскому: — Вельможный пан мечник, когда бы я даже в зад ему угодил, они бы не доказали, что мы с умыслом стреляли в него, а я, слово чести, не мог фитиль удержать в руках. Сам он у меня выпал. Никогда не стал бы я стрелять в посла, будь он шведом, но как завиху поляка-изменника, прямо с души воротит!

— Да ты подумай только, какой беды ты бы натворил, ведь они бы нашим послам стали наносить обиды.

Но Чарнецкий в душе был доволен; Кмициц слышал, как он ворчал себе под нос:

— Уж во всяком случае, этот изменник в другой раз не пойдет послом. Услышал эти слова и Замойский.

— Он не пойдет, другие найдутся, — ответил старик, — а вы не мешайте вести переговоры и самовольно их не прерывайте, потому чем дольше они тянутся, тем больше нам пользы. И подмога успеет подойти, коль пошлет нам ее господь, да и зима идет суровая, все тяжелее будет шведам вести осаду. Время на нас работает, а им сулит потери.

С этими словами старик вернулся в советный покой, где после ухода посла все еще продолжался совет. Речь изменника взволновала умы и робостью постигла души. Правда, никто не поверил, что Ян Казимир отрекся от престола; но посол показал, сколь велико могущество шведов, о чем они все за последние счастливые дни успели забыть. Теперь оно вновь представилось им во всей своей грозной силе, которой испугались и не такие крепости и не такие города. Познань, Варшава, Краков, не считая множества крепостей, открыли победителю свои ворота, — как же могла устоять в этом бедствии, в этом потоке Ясная Гора?

«Продержимся мы неделю, две, три, — думал кое-кто из шляхтичей и монахов, — а дальше что, какой ждет нас конец?»

Вся страна была как корабль, уже погрузившийся в пучину, и только один этот монастырь, как мачта корабля, возвышался над волнами. Могли ли люди, потерпев кораблекрушение и держась за эту мачту, думать не только о собственном спасении, но и о том, чтобы вырвать из пучины вод затонувший корабль?

По-человечески — не могли.

Однако именно в ту минуту, когда Замойский вошел в советный покой, ксендз Кордецкий говорил:

— Братья мои! Бодрствую и я, когда вы бодрствуете, молюсь и я нашей заступнице о спасении, когда вы воссылаете ей свои моления. Падаю и я от усталости, изнеможения, слабости, как вы падаете, несу и я такую же ответственность, как вы, а может, и большую, — отчего же я верю, а вы,

сдается, уже сомневаетесь? Загляните в души ваши, ужели ваши глаза, ослепленные земным могуществом, не видят силы большей, нежели шведская? Ужели вы думаете, что не поможет больше никакая защита, что ничьей руке не одолеть этой силы? Коли так, братья, то греховны ваши помыслы и хулите вы милосердие божие, всемогущество господя нашего, силу заступницы нашей, чьими рабами вы себя именуете. Кто из вас дерзнет сказать, что владычица небесная не может нас охранить и ниспослать нам победу? Так будем же просить ее, молить денно и ночью, не щадя жизни, умерщвляя плоть, покуда стойкостью, смирением, слезами не смягчим ее сердца, не вымолим прощения за содеянные грехи!

— Отец! — сказал один из шляхтичей. — Не думаем мы ни о наших жизнях, ни о женах наших и детях, но трепещем при мысли о том, на какое поругание отдан будет чудотворный образ, коль неприятель возьмет крепость приступом.

— И не хотим быть за это в ответе! — прибавил другой.

— Ибо никто не может брать на себя за это ответ, даже приор! — присовокупил третий.

И росло число противников приора, и смелели они, тем более что многие иноки молчали.

Вместо того чтобы дать прямой ответ сомневающимся, приор снова начал молиться.

— Мать сына единого! — молился он, воздев руки и устремив очи горе. — Коль для того ты нас посетила, дабы мы в обители твоей подали другим пример стойкости, мужества, верности тебе, отчизне и королю, коль избрала ты святыню сию, дабы пробудить совесть человеческую и спасти весь наш край, смилуйся над тем, кто восхотел унять источник твоего милосердия, воспрепятствовать твоим чудесам, воспротивиться святой твоей воле!

Минуту он молчал в молитвенном восторге, затем обратился к инокам и шляхте:

— Кто возьмет на свои рамена такое бремя? Кто дерзнет помешать чудесам Марии, ее милосердию, спасению королевства и веры католической?

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — раздалось несколько голосов. — Боже нас упаси!

— Не найдется такого! — воскликнул Замойский.

Те иноки, которых перед этим обуревали сомнения, стали бить себя в грудь, ибо страх их обнял немалый. И никто в совете не помышлял уже в тот вечер о сдаче.

Но хоть укрепились сердца старейших иноков и шляхты, все же губительный посев предателя принес отравленные плоды.

Весть о том, что Ян Казимир отрекся от престола и неоткуда больше ждать помощи, дошла через шляхту до женщин; те обо всем рассказали челяди, а челядь распространила слух в войске, на которое он произвел самое тяжелое впечатление. Крестьяне не очень испугались; но опытные солдаты, выдавшие виды, для кого война была ремеслом, кто привык на судьбы ее смотреть со своей колокольни, стали сходиться кучками, толковать о том, что оборона напрасна, жаловаться на упорствующих монахов, которые ничего не смыслят в военном деле, сговариваться, наконец, и шептаться между собою.

Один пушкарь, немец, неизвестно какой веры, наущал солдат взять дело в свои руки и сговориться со шведами о сдаче крепости; другие подхватили эту мысль. Однако нашлись такие, которые не только решительно восстали против изменников, но тотчас предупредили о заговоре ксендза Кордецкого.

Ксендз Кордецкий, который с величайшею верой в силы небесные сочетал величайшую земную предусмотрительность и осторожность, в самом зародыше подавил бунт, который тайно ширился в войске.

Прежде всего он изгнал из монастыря вожаков во главе с пушкарем, нимало не испугавшись, что они могут донести шведам о состоянии крепости и уязвимых ее местах; затем удвоил месячное жалованье гарнизону и заставил его дать присягу, что он будет защищать монастырь до последней капли крови.

Но удвоил он также и бдительность, положив еще зорче смотреть за наемными солдатами, шляхтой и даже своими монахами. Старшие иноки были назначены в ночные хоры; младшие, кроме службы церковной, стали нести службу и на стенах. На следующий день был дан смотр пехоте; на каждую башню был назначен шляхтич со всей его челядью, десять монахов и два надежных пушкаря. Все они день и ночь должны были охранять вверенные им посты.

На северо-восточной башне поставили Зигмунта Мосинского, того самого доброго солдата, у которого чудом был спасен младенец, когда огнеметный снаряд упал подле колыбели. Вместе с Мосинским на страже стоял отец Гилярий Славошевский. На западной башне поставили отца Мелецкого, а из шляхтичей Миколая Кшиштопорского — человека угрюмого и малоречивого, но отваги неустрашимой. Юго-восточную башню заняли Петр Чарнецкий с Кмицицем, а с ними отец Адамус Стыпульский, который служил когда-то в сторожевой хоругви. В случае

нужды он охотно засучивал рукава своей монашеской рясы и наводил пушку, а на пролетающие ядра обращал не больше внимания, чем старый вахмистр Сорока. Наконец, на юго-западную башню назначили Скужевского и отца Даниэля Рыхтальского, который отличался тем, что две-три ночи мог совсем не спать без ущерба для сил и здоровья.

Начальниками стражи поставили Доброша и отца Захариаша Малаховского. Неспособных к бою назначили на крыши; оружейни и все военное снаряжение были отданы под надзор отцу Ляссоте. Вместо ксендза Доброша он был назначен также начальником огневой службы. Ночью он должен был освещать стены, чтобы вражеская пехота не могла приблизиться к ним. На башнях он утвердил также железные жаровни и укрепления, и по ночам в них горели лучины и факелы.

Ночь напролет, как один огромный факел, пылала теперь каждая башня. Правда, огонь облегчал шведам прицельную стрельбу, но если бы к осажденным подошла подмога, он мог послужить для нее знаком, что крепость еще защищается.

Так не только не удалась попытка сдать крепость, но усилилась ее оборона. На следующий день ксендз Кордецкий ходил по стенам, как пастырь по овчарне, видел, что все хорошо, и улыбался кротко, хвалил начальников и солдат, а придя к Чарнецкому, сказал, сияя взором:

— И пан мечник серадзский, дорогой наш военачальник, всем сердцем радуется вместе со мною, ибо говорит, что теперь мы вдвое сильнее, нежели были раньше. Новый порыв овладел сердцами, остальное пресвятая дева свершит в своем милосердии, я же тем временем снова возобновлю переговоры. Будем медлить и тянуть, дабы меньше пролить людской крови.

— Эх, отче преподобный! — воскликнул Кмициц. — Что там эти переговоры! Зря только время терять! Лучше нынче ночью опять сделать вылазку и порубить этих собак!

Но ксендз Кордецкий, который был в добром расположении духа, улыбнулся, как улыбается мать шаловливому ребенку, поднял соломенный жгут, лежавший у орудия, и стал шутя бить Кмицица по спине.

— Будешь мне нос совать не в свои дела, негодный литвин, — приговаривал он, — будешь мне, как волк, лакать кровь, будешь подавать пример непослушания! Вот тебе! Вот тебе!

Кмициц, развеселясь, уклонялся то вправо, то влево и нарочно, будто для того, чтобы подразнить приора, повторял:

— Бить шведов! Бить! Бить! Бить!

Так они забавлялись, а души их пылали любовью к отчизне, и ей

отдавали они свои сердца. Но переговоров ксендз Кордецкий не оставил, ибо видел, что Миллер хватается за любой повод, чтобы возобновить их. Это радовало ксендза Кордецкого, догадывался он, что не очень-то легко врагу, коль стремится он поскорее кончить осаду.

И потекли дни один за другим, когда не молчали, правда, ни пушки, ни ружья, но больше работали перья. Осада затягивалась, а зима становилась все суровой. На вершинах Татр тучи в гнездах пропастей выводили целые стаи метелей, снегов и морозов и мчались на Польшу, ведя за собой свое ледяное потомство. По ночам шведы жались у своих костров, предпочитая погибать от монастырских ядер, чем зябнуть.

Земля промерзла, и трудно стало насыпать шанцы и рыть подкопы. Осада не подвигалась ни на шаг. Не только у офицеров, но у всего войска на устах было одно только слово: «переговоры».

Монахи сперва притворялись, будто хотят сдаться. К Миллеру явились послы отец Марцелий Доброш и ученый ксендз Себастиан Ставицкий. Они недвусмысленно намекнули генералу, что братия хочет мира. Услышав такие речи, тот от радости готов был заключить их в объятия. Не в Ченстохове было уже дело, речь шла обо всей стране. Сдача Ясной Горы лишила бы патриотов последней надежды, окончательно толкнула бы Речь Посполитую в объятия шведского короля, тогда как стойкость, притом стойкость непобедимая, могла произвести поворот в сердцах и умах и вызвать новую жестокую войну. Признаки этого замечались повсюду. Миллер знал об этом и отдавал себе отчет в том, в какое ввязался он дело, какую страшную ответственность взвалил на свои плечи, знал он, что ждет его либо королевская милость, маршальская булава, почести и титулы, либо окончательное падение. Он и сам уже начал убеждаться в том, что не по зубам ему этот «орешек», а потому принял отцов с необыкновенной любезностью, словно посланников цесаря или султана. Пригласив их на пир, он сам поднимал чару за их здоровье, а также за здоровье приора и серадзского мечника; монастырю он послал рыбы, предложил, наконец, столь мягкие условия сдачи, что ни минуты не сомневался в том, что они будут с поспешностью приняты.

Отцы поблагодарили его со смирением, как и приличествует инокам, взяли письмо и ушли. Миллер требовал, чтобы в восемь часов утра ворота обители были открыты. Ликование в шведском стане царило неопишное. Солдаты покинули шанцы и валы, подходили к стенам и завязывали с осажденными разговоры.

Но из монастыря дали знать, что для решения столь великого дела Приор должен обратиться ко всей братии, а потому монахи просят

отсрочки еще на один день. Миллер согласился без колебаний. Тем временем в советном покое до поздней ночи заседал совет.

Хотя Миллер был старым и искушенным воителем, хотя во всей шведской армии не было, пожалуй, генерала, который вел бы больше переговоров с разными городами, чем этот Полиорцетес, однако у него беспокойно забилось сердце, когда на следующий день утром он увидел две белых монашеских рясы, приближавшихся к его квартире.

Это были уже другие иноки: впереди, держа письмо с печатью, выступал ксендз Мацей Блешинский, ученый философ, за ним, скрестив на груди руки и поникнув головою, следовал бледный отец Захариаш Малаховский.

Генерал принял послов в окружении штаба и всех славных полковников и, любезно ответив на смиренный поклон отца Блешинского, торопливо взял у него из рук письмо и начал читать.

Лицо его внезапно страшно изменилось, кровь ударила ему в голову, глаза вышли из орбит, шея побагровела и волос под париком стал дыбом от страшного гнева. На минуту он даже потерял дар речи, только рукой показал на письмо князю Гессенскому; тот пробежал глазами письмо и, обратившись к полковникам, спокойно сказал:

— Монахи объявляют только, что не могут отречься от Яна Казимира, покуда примас не объявит нового короля, иными словами, они отказываются признать Карла Густава.

Князь Гессенский рассмеялся, Садовский устремил на Миллера насмешливый взгляд, а Вжещович стал в ярости теревить свою бороду. Грозный, негодующий ропот пробежал по толпе офицеров.

Но Миллер хлопнул рукой по колену и крикнул:

— Эй, кто там! Сюда!

В дверях показались усатые лица четырех мушкетеров.

— Взять этих бритоголовых и запереть! — крикнул генерал. — Полковник, — обратился он к Садовскому, — протрубить у стен монастыря, что, если они дадут хоть один выстрел, я прикажу тотчас повесить обоих монахов!

Стража увела обоих ксендзов, отца Блешинского и отца Малаховского; по дороге солдатня осыпала их насмешками и улюлюкала. Мушкетеры нахлобучивали им на глаза свои шляпы и нарочно вели их так, чтобы они натыкались на всякие препятствия, когда же кто-нибудь из них спотыкался или падал, в толпе солдат тотчас раздавался взрыв хохота, а упавшего монаха поднимали прикладами и, будто поддерживая, били по спине и по шее. Другие солдаты швыряли в отцов конским навозом, иные, набрав

горсть снега, растирали его на тонзурах или запихивали монахам за ворот. Отвязав шнуры от рожков, солдаты накинули их на шею отцам, схватились за концы и, выкрикивая цену, стали представлять, будто гонят на ярмарку скот.

В безмолвии, со скрещенными на груди руками и с молитвой на устах шли оба монаха. Их заперли, наконец, в риге, дрожащих от холода, униженных; вокруг встала стража с мушкетами.

У монастырских стен уже протрубили приказ Миллера, верней, его угрозу.

Испугались святые отцы, замерло в ужасе все войско. Пушки умолкли; на совете не знали, что предпринять. Нельзя оставить отцов в руках варваров. Послать других? Но Миллер их снова задержит. Через несколько часов генерал прислал в монастырь посла с вопросом, что думают предпринять монахи.

Ему ответили, что пока он не отпустит отцов, ни о каких переговорах и речи быть не может, ибо можно ли верить, что он выполнит условия, если, вопреки главнейшему закону народов, заключает в темницу послов, неприкосновенность которых блюдут даже варварские народы.

Не скоро пришел ответ от генерала; страшная неизвестность нависла над монастырем, охладив пыл его защитников.

А шведские войска, задержав пленников и обеспечив себе безопасность, лихорадочно работали, чтобы подобраться поближе к неприступной доселе крепости. Они поспешно рыли новые шанцы, ставили корзины с землей, устанавливали пушки. Дерзкие солдаты подходили к стенам на расстояние в половину ружейного выстрела. Они грозили костелу, защитникам. Поднимая руки, полупьяные солдаты кричали:

— Сдавайте монастырь, не то ждет ваших монахов веревка!

Другие изрыгали страшную хулу на богородицу и католическую веру. Осажденные, чтобы сохранить жизнь отцов, принуждены были терпеливо слушать богохульников. Кмициц задыхался от ярости. Он тербил волосы, рвал на себе одежду и, ломая руки, повторял Чарнецкому:

— Ну не говорил ли я, не говорил ли я, что ни к чему эти переговоры со злодеями! Теперь вот стой, терпи! А они лезут, а они богохульствуют! Матерь божия, смилуйся надомною, дай мне силы стерпеть! Господи, да они скоро на стены полезут! Не пускайте же меня, закуйте, как разбойника, в цепи, нет моей мочи!

А шведы подходили все ближе и кощунствовали все наглей.

Тем временем произошло новое событие, которое повергло

осажденных в отчаяние. Киевский каштелян, сдавая Краков, выговорил условие, что он выйдет из города со всем войском и останется с ним в Силезии до конца войны. Из этого войска семьсот человек пешей королевской гвардии под начальством полковника Вольфа стояло неподалеку, на самой границе, и, веря договорам, не принимало мер предосторожности.

Вжещович подговорил Миллера захватить это войско. Тот послал самого Вжещовича с двумя тысячами рейтар, которые, перейдя ночью границу, напали на спящих и захватили их всех до единого. Когда гвардейцев пригнали в шведский стан, Миллер умышленно приказал провести их вокруг стен крепости, чтобы показать монахам, что войско, от которого они ждали помощи, он употребит для покорения Ченстоховы.

Осажденные были потрясены, увидев, как ведут вокруг стен блестящую королевскую гвардию, никто не сомневался, что Миллер ее первую принудит идти на штурм монастыря.

В войске снова началось смятение; некоторые солдаты стали ломать оружие, кричать, что спасения больше нет, надо скорее сдаваться. Шляхта тоже пала духом.

Ксендза Кордецкого стали просить сжалиться над детьми, над святыней, над образом и над братией. Всю власть пришлось употребить приору и Замоискому, чтобы успокоить волнение.

Кордецкий теперь только об одном помышлял, как бы освободить заключенных отцов. Способ для этого он избрал самый верный: написал Миллеру, что для блага церкви без колебаний пожертвует жизнью обоих братьев. Пусть генерал приговаривает их к смерти, все увидят тогда, чего можно от него ждать и какова цена его посулам.

Миллер был весел, он думал, что дело близится к концу. Не вдруг поверил он, что Кордецкий готов пожертвовать жизнью своих монахов. Одного из них, ксендза Блешинского, он послал в монастырь, взяв с него предварительно клятву, что он добровольно вернется в стан, независимо от того, какой будет ответ. Генерал заставил также ксендза дать клятву, что он расскажет инокам о могуществе шведов и представит им всю бессмысленность сопротивления. Монах на совете все повторил точно; но глаза его говорили иное, и в заключение он сказал:

— Но жизнь имеет для меня меньшую цену, нежели благо братии; я жду вашего решения, и что вы постановите, то и передам врагу с совершенною точностью.

Ему велели ответить, что монахи хотят вести переговоры, но не могут верить генералу, который ввергает в темницу послов. На следующий день в

монастырь пришел другой монах, отец Малаховский, и удалился с таким же ответом.

Тогда им обоим был объявлен смертный приговор.

Было это на квартире Миллера в присутствии штаба и высших офицеров. Все они испытующе смотрели на монахов, с любопытством ожидая, какое впечатление произведет на них приговор. К величайшему своему удивлению, они увидели на их лицах такое неизъяснимое, такое неземное блаженство, словно им возвестили величайшую радость. Побледневшие лица покрылись внезапно румянцем, глаза засияли, и отец Малаховский сказал дрожащим от волнения голосом:

— О, почему не сегодня мы умираем, коль суждено нам отдать жизнь за бога и короля!

Миллер приказал немедленно их увести. Офицеры стали переглядываться, наконец один из них заметил:

— С таким фанатизмом трудно бороться.

Князь Гессенский прибавил:

— Так верили только первые христиане. Вы это хотели сказать? — Затем он обратился к Вжещовичу: — Господин Вейгард, хотел бы я знать, что вы думаете об этих монахах?

— Мне нет нужды думать о них, — дерзко ответил Вжещович, — это сделал уже генерал!

Но тут на середину покоя выступил Садовский.

— Генерал, — обратился он решительно к Миллеру, — вы не казните этих монахов!

— Это почему?

— Потому что тогда и речи быть не может о переговорах, потому что тогда гарнизон крепости восплает жаждой мести, потому что эти люди скорее погибнут все до единого, но не сдадут крепости!

— Виттенберг шлет мне тяжелые орудия.

— Генерал, вы не сделаете этого, — с силой сказал Садовский. — Это послы, они пришли сюда, веря вам!

— Я не на вере прикажу их повесить, а на веревке.

— Слух об этом поступке разнесется по всей стране, он возмутит и оттолкнет от нас все сердца!

— Оставьте меня в покое со своими слухами! Слыхал я уже сто раз эту песню.

— Генерал, вы не сделаете этого без ведома его величества!

— Полковник, вы не имеете права напоминать мне о моих обязанностях по отношению к королю!

— Но я имею право просить уволить меня со службы, а причины представить его величеству. Я хочу быть солдатом, не палачом!

Князь Гессенский также вышел на середину покоя и торжественно произнес:

— Полковник Садовский, дайте мне вашу руку. Вы дворянин и достойный человек.

— Это что такое? Что это значит? — рявкнул Миллер, срываясь с места.

— Генерал, — холодно проговорил князь Гессенский, — я позволил себе счесть полковника Садовского порядочным человеком, полагаю, в этом нет нарушения дисциплины.

Миллер не любил князя Гессенского; но эта барственная манера разговора, холодная, чрезвычайно учтивая и вместе с тем небрежная, на него, как и на всех людей, не принадлежавших к знати, производила неотразимое впечатление. Он очень старался перенять эту барственную манеру, но это ему никак не удавалось. Однако генерал подавил вспышку гнева и спокойно сказал:

— Завтра монахов вздернут на виселицу.

— Это меня не касается, — промолвил князь Гессенский. — Но, генерал, прикажите в таком случае еще сегодня ударить на те две тысячи поляков, что стоят в нашем стане; если вы этого не сделаете, завтра они ударят на нас. И без того шведскому солдату безопаснее повстречаться с волчьей стаей, нежели с ними у их шатров. Вот все, что я хотел сказать, а засим позвольте пожелать вам всего наилучшего.

С этими словами он вышел вон.

Миллер понял, что зашел слишком далеко. Однако он не отменил своего приказа, и в тот же день на глазах у всего монастыря начали ставить виселицу. В то же время шведы, пользуясь заключенным перемирием, стали еще ближе подходить к стенам, не переставая глумиться, ругаться, кощунствовать и обзывать поляков. Целые толпы их карабкались на гору; они сбивались такими плотными кучами, точно решили идти на приступ.

Но тут Кмициц, которого не заковали в цепи, как ни просил он об этом, совсем потерял терпение и так метко ахнул из пушки в самую большую кучу, что уложил наповал всех солдат, которых взял на прицел. Это явилось как бы сигналом, тотчас безо всякого приказа, напротив, вопреки ему, заревели все пушки, грянули ружья и дробовики.

Шведы, оказавшись всюду в поле огня, с воплем и криком бросились наутек, устилая трупами дорогу.

Чарнецкий подскочил к Кмицицу.

— А ты знаешь, что за это пуля в лоб?

— Знаю, мне все едино! Пусть!

— Тогда хорошо целься!

Кмициц хорошо целился.

Вскоре, однако, ему не во что стало целиться. Между тем в шведском стане поднялось страшное смятение: но было совершенно очевидно, что шведы первые нарушили перемирие, и сам Миллер признал в душе, что ясногорцы правы.

Мало того, Кмициц и не предполагал, что своим выстрелом он может спасти жизнь отцов, а между тем именно после его выстрела Миллер окончательно убедился, что ясногорцы, если довести их до крайности, могут и впрямь пожертвовать двумя своими собратями для блага церкви и монастыря. Уразумел генерал и то, что если волос упадет с головы послов, ничего, кроме такой пальбы, он от монастыря больше не услышит.

На следующий день он пригласил обоих заключенных монахов на обед, а на третий день отпустил их в монастырь.

Ксендз Кордецкий плакал, увидев их, все их обнимали, и все диву давались, когда узнали, что именно выстрелу Кмицица отцы обязаны своим спасеньем. Приор, который до этого гневался на пана Анджея, тотчас кликнул его и сказал:

— Гневался я, ибо думал, что ты погубил их; но, видно, пресвятая дева тебя вдохновила. Знак это милости, радуйся!

— Отец дорогой мой, благодетель, больше не будет переговоров? — спрашивал Кмициц, целуя ему руки.

Но не успел он кончить, как у врат снова раздался рожок, и в монастырь вошел новый посол от Миллера.

Это был Куклиновский, полковник хоругви охотников, которая таскалась повсюду за шведами.

Отъявленные смутьяны, люди без чести и совести служили в этой хоругви, да еще диссиденты: лютеране, ариане, кальвинисты. Потому-то и была у них дружба со шведами; но в стан Миллера их больше всего привлекла жажда грабежа и добычи. Эта шайка, состоявшая из шляхтичей, приговоренных к изгнанию, бежавших из тюрем и от руки палача, да их слуг, сплошных висельников, ушедших от петли, напоминала старую ватагу Кмицица, — только у пана Анджея люди дрались, как львы, эти же предпочитали грабить, насиловать в усадьбах шляхтянок, разбивать конюшни да сундуки. Зато уж сам Куклиновский вовсе не был похож на Кмицица. Годы посеребрили его голову, лицо у него было помятое, надменное и наглое. Глаза, очень выпуклые, и хищный взгляд выдавали

нрав необузданный. Это был один из тех солдат, у кого от распутной жизни и постоянных войн совесть была выжжена дотла. Много таких шаталось после Тридцатилетней войны по всей Германии и Польше. Они готовы были служить кому угодно, и не однажды простой случай решал, на чью сторону они станут.

Отчизна, вера, — словом, все святое, было им чуждо. Они признавали только войну, в ней искали утех, наслаждений, корысти, забвения. Однако, избрав какой-нибудь стан, они верно служили хозяину и из своеобразной солдатско-разбойничьей чести, и для того, чтобы не нажить худой славы. Таков был и Куклиновский. За бесшабашную отвагу и крайнюю жестокость был он в почете у смутьянов. Вербовать людей ему было легко. За всю жизнь он служил во многих родах войск и во многих станах. В Сечи был атаманом, водил полки в Валахию, в Германии, во время Тридцатилетней войны, вербовал охотников и снискал себе славу как предводитель конницы. Кривые, дугою, ноги показывали, что большую часть жизни он провел в седле. Худ он был при этом, как щепка, и скрючился весь от распутной жизни. Много лежало на его совести крови, пролитой не только на войне. Однако по натуре он не был совсем уж злым человеком, знал и благородные порывы, но был до мозга костей распутник и самодур. В пьяной компании он и сам говаривал: «Не одно на моей совести темное дело, гром бы должен убить меня, а ведь вот же не убил».

Эта безнаказанность привела к тому, что не верил он не только в суд божий и возмездие в земной жизни, но и за гробом, — иначе говоря, не верил в бога, зато верил в черта, колдунов, астрологов и алхимиков.

Одевался он на польский манер, полагая, что коннику польский убор идет больше всего; только усы, еще черные, подстригал по-шведски, закручивал вверх торчком и распушивал кончики. В разговоре он, как младенец, то и дело употреблял ласковые слова, что в устах этого исчадия ада, изверга и кровопийцы звучало просто дико. Он любил поговорить, побахвалиться, мнил, видно, себя особой знаменитой, первейшим в мире полковником конницы.

Миллер, который и сам принадлежал к числу людей того же покроя, только что позначительней, очень его ценил и особенно любил сажать с собой за стол. Теперь Куклиновский сам навязал генералу свои услуги, поручившись, что своим красноречием он мигом успокоит монахов.

Еще раньше, когда серадзский мечник Замойский, сразу же после ареста монахов, сам собрался в стан к Миллеру и потребовал заложника, генерал послал в монастырь Куклиновского; но Замойский и ксендз Кордецкий не приняли полковника, сочтя его особой, не соответственной

по званию.

Самолюбие Куклиновского было уязвлено, и с этого времени он смертельно возненавидел защитников Ясной Горы и положил вредить им всеми средствами.

Он и послом отправился не только почета ради, но и затем, чтобы все обсмотреть и посеять, где возможно, семя раздора. Он давно уже был знаком с Чарнецким, поэтому направился к тем воротам, где тот стоял на страже; но Чарнецкий в эту пору спал, вместо него стоял Кмициц, он и пропустил гостя, и повел его в советный покой.

Куклиновский глазом знатока окинул пана Анджея, ему тотчас очень приглянулись не только вся стать молодого рыцаря, но и его прекрасные доспехи.

— Солдатик солдатика мигом признает, — промолвил он, поднося руку к колпаку. — Вот не ждал, чтоб у монашков да служили такие славные офицеры. А как тебя звать, милостивый пан?

Кмициц, как всякий новообращенный, пылал ревностью и просто трясся от негодования, когда видел поляка, служившего шведам; вспомнив, однако, как разгневался на него недавно ксендз Кордецкий и какое значение придавал он переговорам, ответил холодно, но спокойно:

— Бабинич я, бывший полковник литовского войска, ныне охотник на службе у пресвятой девы.

— А я Куклиновский, тоже полковник, да ты обо мне, наверно, слыхал, не на одной войне поминали это имечко да эту вот сабельку, — тут он хлопнул себя по боку, — и не в одной только Речи Посполитой, но и за границей.

— Здорово! — ответил Кмициц. — Слыхал.

— Так ты, пан Бабинич, из Литвы? И там есть славные солдаты. Мы это по себе знаем, ибо трубы славы гремят по всему свету. А знавал ли ты там некоего Кмицица?

Вопрос был настолько неожиданным, что пан Анджей остановился как вкопанный.

— А ты почему о нем спрашиваешь?

— Люблю его, хоть и незнаком, потому мы с ним два сапога пара! Я всем твержу: два настоящих солдата, — прошу прощенья, милостивый пан, — есть в Речи Посполитой: я в Короне да Кмициц в Литве. Пара голубков, а?! Знавал ли ты его?

«Чтоб тебя громом убило!» — подумал Кмициц.

Вспомнив, однако, что говорит с послом, ответил:

— Нет, не знавал... Входи же, милостивый пан, совет уже ждет.

С этими словами он показал на дверь, из которой навстречу гостю вышел один из монахов. Куклиновский направился с монахом в советный покой, но прежде еще раз повернулся к Кмицицу.

— Мне будет очень приятно, — сказал он пану Анджею, — коли ты и назад меня проводишь.

— Я подожду тебя здесь, — ответил Кмициц.

И остался один. Через минуту он быстрым шагом заходил по двору. Он весь кипел, черная злоба клочкотала в его сердце.

— Смола не липнет так к одежде, как дурная слава к имени! — ворчал он про себя. — Этот негодяй, этот пройдоха, эта продажная шкура осмеливается звать меня братом, за товарища почитает. Вот до чего я дожил! Все висельники льнут ко мне, и ни один достойный человек не вспомнит обо мне без отвращения. Мало я еще сделал, мало! Хоть бы проучить как-нибудь этого негодяя! Надо непременно взять его на заметку!

Совет тянулся долго. Стемнело.

Кмициц все ждал.

Наконец показался Куклиновский. Лица его Кмициц не мог разглядеть: но, видно, не удалось полковнику посольство и не по вкусу пришлось, так тяжело он сопел, даже охоту поговорить потерял. Некоторое время они шли в молчании; решив вызнать у Куклиновского правду, Кмициц сказал, притворясь, будто сочувствует ему:

— Должно быть, милостивый пан, ни с чем возвращаешься... Наши ксендзы упрямый народ, и, между нами говоря, — тут он понизил голос, — плохо делают, ведь не можем же мы век обороняться.

Куклиновский остановился и взял его за рукав.

— А, так ты, милостивый пан, думаешь, ты думаешь, что они плохо делают? Стало быть, ты с умком, с умком! Монашков мы сотрем в порошок! Даю слово! Куклиновского не хотят слушать, так послушают его меча.

— Мне до них, как видишь, тоже дела нет, — сказал Кмициц. — Святая обитель — это другой разговор! Ведь чем позже они сдадут ее, тем тяжелее будут условия... А правду ли говорят, будто волнение поднимается у нас повсюду, будто наши шведов начинают бить и хан идет нам на подмогу? Коли так, Миллеру придется отступить.

— Скажу тебе, как другу: всех в Польше разбирает охота пустить кровцу шведам, сдается, и войско того же хочет! Ну, и про хана толк идет! Но Миллер не отступит. Дня через два придут тяжелые орудия. Выкурим мы этих лисов из норы, а там будь что будет! Но ты, милостивый пан, с умком!

— О, вот и ворота! — сказал Кмициц. — Тут я должен с тобой попрощаться... А может, спуститься с тобой с горы?

— Давай, давай! А то дня два назад вы тут по послу стреляли!

— Ну что ты это болтаешь?!

— Может, нечаянно... Однако ты лучше спустись со мной. К тому же я хочу сказать тебе несколько слов.

— Да и я тебе.

Они вышли за ворота и потонули во мраке. Куклиновский остановился и снова схватил Кмицица за рукав.

— Послушай, милостивый пан, — заговорил он, — сдается мне, человек ты ловкий, смелый, да и чую я в тебе солдатскую косточку. Ну на кой черт тебе не со своим братом военным, а с ксендзами якшаться, в ксендзовских наймигах ходить? У нас за чарой, да за игрою в кости, да с девками не в пример веселей и лучше!.. Понял, а? — Он сжал ему плечо. — Этот корабль, — показал он пальцем на крепость, — тонет, а тот дурак, кто не бежит с тонущего корабля. Ты, может, боишься, что тебя изменником окричат? А ты плюнь на тех, кто станет кричать! Пойдем к нам! Я, Куклиновский, тебе это предлагаю. Хочешь — слушай, не хочешь — не слушай, сердиться не стану. Генерал хорошо тебя примет, даю слово, а мне ты по сердцу пришелся, и я тебе это по дружбе говорю. Развеселый у нас народишка, право слово, развеселый! Для солдата вся вольность в том, чтоб служить, кому вздумается. Что тебе до монахов! Честишка тебе помеха, так ты ее выхаркай! Помни и про то, что у нас тоже порядочные люди служат. Столько шляхты, столько магнатов, гетманы... Чем ты лучше их? Кто еще держится нашего Казимирчика? Да никто! Один только Сапега Радзивилла теснит.

Любопытство Кмицица было возбуждено.

— Сапега, говоришь, Радзивилла теснит?

— Да. Крепко он его потрепал в Подляшье, а теперь осадил в Тыкоцине. А мы не мешаем!

— Как же так?

— А шведскому королю лучше, чтоб они друг дружку сожрали. Радзивилл никогда не был надежен, о себе только думал. К тому же он, сдается, еле держится. Уж если взяли в осаду, дело плохо... считай, уж он погиб!

— И шведы нейдут ему на помощь?

— А кто пойдет? Сам король в Пруссии, потому там сейчас дела поважней. Курфюрстик все старался отвертеться, ан уж не отвертится. В Великой Польше война. Виттенберг в Кракове нужен, у Дугласа с горцами

хлопот полон рот, вот они и предоставили Радзивилла самому себе. Пусть его Сапега сожрет. Вознесся Сапежка, это правда! Но придет и его черед. Только бы нашему Каролеку с Пруссией справиться, он сотрет Сапеге рог. Теперь его не одолеть, за него вся Литва стоит.

— И Жмудь?

— Жмудь Понтусик под свою лапу зажал, а лапа у него тяжелая, я его знаю!

— Неужто так пал Радзивилл, тот самый Радзивилл, что силой равен был государям!

— Закатилась его звезда, закатилась...

— Пути господни неисповедимы!

— Военное счастье — оно переменчиво. Однако довольно об этом! Ну так как же ты насчет моего предложения? Не надумал? Не пожалеешь! Переходи к нам. Коль сегодня рано, — что ж, подумай до завтра, до послезавтра, покуда тяжелые орудия придут. Монахи тебе, видно, доверяют, коль ты можешь из монастыря выходить, как вот сейчас. А то с письмами приходи, ну и не воротись больше...

— Ты меня на шведскую сторону тянешь, потому ты шведский посол, — сказал вдруг Кмициц. — Иначе тебе нельзя, хотя кто его знает, что у тебя на уме. Есть ведь и такие, что шведам служат, а сами им зла желают.

— Слово кавалера, — ответил Куклиновский, — что говорю я от чистого сердца, а не потому, что посол. За воротами я уже не посол, и коли так тебе хочется, добровольно слагаю с себя звание посла и говорю тебе как особа приватная: брось ты, к черту, эту поганую крепость!

— Так ты это мне говоришь как особа приватная?

— Да.

— И я могу ответить тебе как особе приватной?

— Ясное дело, я сам тебе предлагаю.

— Так послушай же, пан Куклиновский! — наклонился Кмициц и посмотрел забияке прямо в глаза. — Изменник ты, негодяй, мерзавец, ракалия и подлый пес! Довольно с тебя, или мне еще в глаза тебе плюнуть?

Куклиновский до такой степени был поражен, что на минуту потерял дар речи.

— Что такое? А? Да не ослышался ли я?

— Довольно с тебя, собака, или хочешь, чтобы я в глаза тебе плюнул?

Сабля сверкнула в руке Куклиновского; но Кмициц сжал его руку своим железным кулаком, выкрутил в плече и, вырвав саблю, закатил полковнику такую пощечину, что звон пошел в темноте ночи, потом хватил

по другой щеке, завертел его, как волчок, и, пнув изо всей силы ногою, крикнул:

— Не послу отвечаю, приватной особе!

Куклиновский покатился вниз, как камень, выброшенный из пращи, а пан Анджей спокойно направился к воротам.

Все это произошло на уступе скалы, за поворотом, так что со стен их трудно было заметить. Однако у ворот Кмицица поджидал ксендз Кордецкий; он тотчас отвел его в сторону и спросил:

— Что это ты там так долго делал с Куклиновским?

— По душам с ним беседовал, — ответил пан Анджей.

— Что же он тебе говорил?

— Говорил, что про хана все правда.

— Слава всевышнему, что обращает сердца язычников и из недруга делает друга.

— Говорил и про то, что Великая Польша волнуется...

— Слава всевышнему!

— Что наше войско против воли стоит со шведами, что в Подляшье витебский воевода Сапега разбил изменника Радзивилла и на его стороне все достойные граждане. Что вся Литва встала с ним, кроме Жмуди, которую захватил Понтус...

— Слава всевышнему! Ну а больше вы ни о чем с ним не беседовали?

— Нет, почему же! Он уговаривал меня перейти на сторону шведов.

— Так я и думал! — воскликнул ксендз Кордецкий. — Лихой он человек. И что же ты ему ответил?

— Да он, преподобный отче, так мне сказал: «Я, мол, слагаю с себя посольское звание, оно и без того за воротами кончилось, и уйти тебя уговариваю как особа приватная». Ну для верности я еще раз его переспросил, могу ли отвечать ему как особе приватной. «Да!» — говорит. Ну я тогда...

— Что ты тогда?

— Я тогда ему оплеуху дал, и он кубарем покатился вниз.

— Во имя, отца, и сына, и святого духа!

— Не гневайся, отче! Я это очень политично сделал, он там и словом не обмолвится!

Ксендз помолчал с минуту времени.

— Я знаю, ты это сделал из добрых чувств! — сказал он через минуту. — Одно меня огорчает, что нажил ты себе нового врага. Это страшный человек!

— Э, одним больше, одним меньше! — промолвил Кмициц. — Затем

наклонился к уху ксендза. — Вот князь Богуслав, — сказал он, — это враг!
Что мне там какой-то Куклиновский! Плевать я на него хотел!

ГЛАВА XVII

Тем временем отозвался грозный Арвид Виттенберг. Высший офицер привез монахам письмо со строжайшим приказом сдать Миллеру крепость. «Коль не перестанете вы чинить сопротивление, — писал Виттенберг, — и не пожелаете покориться упомянутому генералу, ждет вас суровая кара, что другим послужит примером. Повинны в том вы будете сами».

Получив это письмо, отцы решили по-прежнему медлить, каждый день представляя все новые и новые доводы. И снова потекли дни, когда рев пушек то прерывал переговоры, то снова смолкал.

Миллер объявил отцам, что хочет ввести свой гарнизон в монастырь, чтобы охранить его от разбойничьих шаек.

Отцы ответили, что коль скоро их гарнизон оказался достаточным, чтобы защитить крепость от такого могучего военачальника, как генерал, тем более достаточен он для защиты от разбойничьих шаек. Они заклинали Миллера всем, что есть святого на свете, обителью, коей покланяется народ, Христом-богом и девой Марией уйти в Велюнь или куда он только пожелает. Однако и у шведов лопнуло терпение. Смирненность осажденных, которые в одно и то же время молили о пощаде и все сильнее палили из пушек, привела в ярость генерала и его войско.

У Миллера сперва просто не могло уложиться в голове, почему же обороняется одна эта обитель, когда вся страна покорилась, какая сила ее поддерживает, во имя чего не хотят покориться эти монахи, к чему они стремятся, на что надеются?

Быстротечное время приносило все более ясный ответ на этот вопрос. Сопротивление, начавшись в Ченстохове, ширилось по стране, как пожар.

Хоть и туповат был генерал, однако постиг в конце концов, чего хотел ксендз Кордецкий, да и Садовский растолковал ему это весьма недвусмысленно: не об этом скалистом гнезде думал приор, не об Ясной Горе, не о сокровищах, накопленных Орденом, не о безопасности братии, но о судьбах всей Речи Посполитой. Миллер увидел, что смиренный ксендз знает, что делает, и понимает свое предназначенье, что восстал он как пророк, дабы примером озарить всю страну, дабы трубным гласом воззвать на восход и на закат, на полуночь и на полудень: *sursum corda!*^[192], — дабы победой своей или смертью и жертвой пробудить спящих ото сна, очистить грешников от грехов и светоч возжечь во тьме.

Увидев это, старый воитель просто испугался и этого защитника, и

собственной своей задачи. Ченстоховский «курятник» показался ему внезапно высочайшей горю, которую защищает титан, сам же он показался себе ничтожеством и на войско свое впервые в жизни взглянул как на кучу жалких червей. Им ли поднять руку на эту страшную, таинственную, уходящую в небо твердыню? Испугался Миллер, и сомнение закралось в его душу. Зная, что всю вину свалят на него, он сам стал искать виноватых, и гнев его обрушился прежде всего на Вжещовича. Раздоры начались в стане, и распря стала ожесточать сердца, отчего неминуемо пострадало дело.

Но за долгую жизнь Миллер привык подходить к людям и событиям со своей грубой солдатской меркой и не мог поэтому не утешать себя порой надеждою, что крепость все-таки сдастся. По законам человеческим иначе и быть не могло. Ведь Виттенберг слал ему шесть самых тяжелых осадных пушек, которые уже под Краковом показали свою мощь.

«Кой черт, — думал Миллер, — не устоять этим стенам против таких кулеврин, а когда это гнездо страхов, суеверия и колдовства взлетит на воздух, дело примет иной оборот и вся страна успокоится».

В ожидании больших пушек он приказал стрелять из малых. Снова вернулись дни битв. Но напрасно огнемётные снаряды падали на крыши, напрасно старались самые меткие пушкари. Всякий раз, когда ветер развеивал облака дыма, монастырь показывался нетронутым, как всегда, величественный и гордый, с башнями, которые спокойно уходили в синеву небес. Тем временем происходили события, которые вселяли в шведов суеверный страх. То ядра, перелетев через гору, разили шведских солдат, стоявших по другую сторону монастыря, то пушкарь, занятый наводкой, падал вдруг замертво; то дым, клубясь, принимал причудливые и страшные формы, то в ящиках внезапно вспыхивал порох, точно подожженный невидимой рукой.

Кроме того, все время пропадали солдаты, выходившие поодиночке, вдвоем или втроем из стана. Подозрение пало на польские хоругви, которые, кроме полка Куклиновского, решительно отказывались принять участие в осаде и все свирепей глядели на шведов. Миллер пригрозил полковнику Зброжеку предать его людей суду; но полковник при всех офицерах в глаза ему ответил: «Попробуйте, генерал!»

Польские хорунжие нарочно шатались по шведскому стану, с презрением глядя на солдат и затевая ссоры с офицерами. Дело доходило до поединков, в которых шведы, менее искусные в фехтовании, чаще всего становились жертвами. Миллер приказом строго-настрого запретил поединки и в конце концов не разрешил хорунжим являться в стан. Оба

войска противостояли теперь друг другу как враги, выжидающие только удобного случая, чтобы начать войну.

А монастырь защищался все лучше и лучше. Оказалось, что пушки, присланные краковским каштеляном, ни в чем не уступают тем, которые были в распоряжении Миллера, а пушкари от постоянного упражнения стали такими искусными, что каждым выстрелом косили врагов. Шведы объясняли это чарами. Пушкари прямо говорили офицерам, что не их это дело бороться с той силой, которая хранит монастырь.

Однажды утром поднялся переполох в юго-восточном окопе: в облаках явилась перед солдатами жена в голубых ризах, приосенявшая костел и монастырь. Ниц поверглись они перед этим видением. Напрасно прискакал к ним сам Миллер, напрасно толковал, что это дым и туман приняли такую форму, напрасно, наконец, грозил судом и карами. В первую минуту никто не хотел его слушать, тем более, что и сам он не мог скрыть своего смятения.

Вскоре после этого случая во всем войске распространился слух, будто никто из участников осады не умрет своей смертью. Многие офицеры тоже поверили в это, да и сам Миллер не был свободен от страха; по его приказу в стан привезли лютеранских пасторов, и генерал велел им отвести чары. С пением псалмов и шептаньем ходили пасторы по стану; но так велик был страх, что многие солдаты говорили им: «Не в ваших это силах, не в вашей власти!»

Под гром пальбы вошел в монастырь новый посол Миллера и предстал перед ксендзом Кордецким и членами совета.

Это был Слядковский, подстолий равский; шведские разъезды захватили его, когда он возвращался из Пруссии. Хотя лицо у подстолия было приятное и взор ясный, как небо, монахи приняли его холодно и сурово, ибо они привыкли уже к приятным лицам изменников. Однако он нимало не смутился оказанным ему приемом и, быстро поглаживая светлую чуприну, сказал:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков! — хором ответили собравшиеся.

А ксендз Кордецкий тут же присовокупил:

— Да будут благословенны служащие ему!

— И я ему служу, — ответил подстолий, — а что верней, нежели Миллеру, это вы сейчас сами увидите... Гм! позвольте же мне, досточтимые и любезнейшие отцы мои, отхаркаться, надо же мне сперва ихнюю пакость выплевать! Так вот прислал меня Миллер, чтоб уговорил я вас — тьфу! — сдать! А я для того согласился, чтобы сказать вам:

защищайтесь, не помышляйте о сдаче, ибо шведы уже на волоске висят, и на наших глазах их лихо берет.

Изумились и монахи, и светские мужи, видя такого посла, а серадзский мечник воскликнул:

— Клянусь богом, это честный человек!

И, кинувшись к Слядковскому, стал жать ему руку, а тот свободной рукой опять пригладил свою чуприну и продолжал:

— Что не плут я никакой, это вы тоже сейчас сами увидите. Я для того еще согласился пойти от Миллера послом, чтобы новости вам рассказать, да такие хорошие, что, право же, так бы вам все одним духом и выпалил! Возблагодарите создателя и деву Марию, что избрали они вас сосудом обращения людских сердец! Край наш, наученный вашим примером, вашей защитой, свергает с себя шведское иго! Да что тут толковать! Бьют шведов в Великой Польше и в Мазовии, истребляют небольшие отряды, занимают дороги и рубежи. Уже в нескольких местах здорово их поколотили. Шляхта садится на коней, мужики в ватаги собираются и как поймают где шведа, ремни из спины режут. Пыль столбом, дым коромыслом! Вот оно дело какое, вот до чего дошло! А кто виновник? Вы!

— Ангел, ангел глаголет его устами! — восклицали шляхтичи и монахи, воздевая руки.

— Не ангел, а, к вашим услугам, Слядковский, подстолий равский! Это еще ничего! Вы послушайте дальше! Хан, памятуя благодеяния государя нашего, законного короля Яна Казимира, — дай бог ему здоровья и многие лета нами править! — идет на подмогу и уже вступил в пределы Речи Посполитой, казаков, которые поднялись против, изрубил и с ордою в сто тысяч человек валит на Львов, а Хмельницкий *volens polens*^[193] с ним вместе.

— О, боже! О, боже! — повторяли голоса, ошеломленные от счастья.

Слядковский даже вспотел весь и, все сильнее размахивая руками, кричал:

— Это еще что! Пан Чарнецкий почел себя свободным от слова, данного шведам, потому что они первые нарушили условия и захватили его пехоту с Вольфом, и уже садится на конь. Король Казимир собирает войско и со дня на день должен вступить в Польшу, а гетманы, — слушайте, отцы! — гетманы, пан Потоцкий и пан Лянцкоронский, и с ними все войско ждут только, когда король вступит в Польшу, чтобы оставить шведов и обратить сабли на них. А куда они ведут переговоры с паном Сапегой и ханом. Шведы в страхе, вся страна полыхает, вся страна в огне войны... все, в ком душа жива, выходят на бой!

Не рассказать, не описать, что творилось в сердцах монахов и шляхты. Одни плакали, другие падали на колени, иные восклицали: «Не может быть! Не может быть!» Услышав эти слова, Слядковский подошел к большому распятию, висевшему на стене, и сказал:

— Возлагаю руки на голени сии Христовы, гвоздями перебитые, и клянусь, что истинную и непреложную говорю правду. Одно только вам скажу; защищайтесь, держитесь, не доверяйте шведам, не надейтесь, что, смирясь и сдавшись, вы будете в безопасности. Никаких условий они не блюдут, никаких договоров. Вы взаперти тут и не знаете, что творится во всей стране, как притесняют шведы народ, какие чинят насилия, как убивают монахов, оскверняют святыни и попирают закон. Они дают вам посулы, но они ничего не выполняют. Все королевство отдано на поток и разграбление распутным солдатам. Даже те, кто еще стоит на стороне шведов, не могут уйти от обид. Вот кара господня изменникам за то, что нарушили они присягу королю. Медлите! Коль останусь я жив, коль сумею уйти от Миллера, тотчас двинусь в Силезию к нашему государю. В ноги ему повалюсь и скажу; «Милостивый король! Спасай Ченстохову и самых верных твоих слуг!» Но вы держитесь, отцы мои дорогие, ибо в вас спасение всей Речи Посполитой! — Голос Слядковского задрожал, и на глазах показались слезы. — Ждут вас еще тяжкие минуты, — продолжал он, — из Кракова идут осадные пушки и с ними двести человек пехоты. Одна кулеврина особенно большая. Жестокие начнутся штурмы. Но будут они последними. Надо выстоять, ибо час спасения близок. Клянусь вам сими кровавыми ранами Христовыми, что на помощь своей заступнице придут король, гетманы, вся Речь Посполитая! Вот что говорю я вам: спасение, избавление, слава, вот-вот... уже недолго...

Тут расплакался добрейший шляхтич, и все разрыдались.

Ах, эта усталая горсть защитников, эта горсть верных и смиренных слуг уже давно заслужила добрую весть, слово утешения от своей отчизны!

Ксендз Кордецкий встал, подошел к Слядковскому и раскрыл ему свои объятия.

Слядковский бросился на шею приору, и они долго обнимали друг друга; последовав их примеру, упали и прочие друг другу в объятия и стали целоваться и поздравлять друг друга так, будто шведы уже отступили. Наконец ксендз Кордецкий сказал:

— В костел, братья, в костел!

И вышел первый, а за ним остальные. В приделе зажгли все свечи, так как на дворе уже темнело, и раздернули завесу над чудотворной иконой, и тотчас хлынул дождь сладостных искр. Ксендз Кордецкий преклонил на

ступенях колена, за ним иноки, шляхта и простой народ; пришли и женщины с детьми. Побледневшие от усталости лица и заплаканные глаза поднялись к иконе; но сквозь слезы все улыбались лучезарной улыбкой счастья. Минуту длилось молчание, наконец ксендз Кордецкий начал:

— «Под твой покров прибегаем, пресвятая богородица!..»

Но слова замерли у него на устах: усталость, давние страдания, тайные тревоги и теперь эта радостная надежда на спасение могучей волной захлестнули его душу, грудь его потрясли рыдания, и муж, подъявший на свои рамена судьбы всей страны, склонился, как слабое дитя, пал ниц и со страшным рыданием смог только вымолвить:

— О, Мария, Мария, Мария!

Вместе с ним плакали все, а образ с высоты струил яркое сиянье...

Только поздней ночью разошлись монахи и шляхта на стены, а ксендз Кордецкий ночь напролет лежал ниц в приделе. В монастыре боялись, как бы он не слег от изнурения, но утром он показался на башнях, ходил среди солдат, веселый, отдохнувший, и все повторял:

— Чада мои! Еще покажет пресвятая дева, что сильнее она осадных кулеврин, а там уж кончатся ваши горести и труды!

В то же утро Яцек Бжуханский, ченстоховский мещанин, переодевшись шведом, подобрался к стенам и подтвердил весть о том, что из Кракова подходят большие пушки, но и хан приближается со своей ордой. Кроме того, он кинул монахам письмо из Краковского монастыря, от отца Антония Пашковского, который, описывая страшные зверства шведов и грабежи, заклинал ясногорских отцов не доверять посулам врага и стойко защищать святыню от дерзостных безбожников.

«Ибо нет никакой веры у шведов, — писал ксендз Пашковский, — никакой религии. Нет для них ничего святого и неприкосновенного; не привыкли они ни соблюдать договоры, ни держать обещания, данные публично».

Это был день непорочного зачатия. Человек двадцать офицеров и солдат из вспомогательных польских хоругвей после настойчивых просьб получили разрешение Миллера пойти в монастырь к обедне. То ли Миллер надеялся, что они сведут знакомство с гарнизоном и, принеся весть об осадных орудиях, посеют страх в сердцах защитников, то ли не хотел отказом разжечь страсти, от которых отношения между шведами и поляками становились и без того все более опасными, — так или иначе, пойти он позволил.

Вместе с поляками в монастырь пришел некий татарин, был он из польских татар, мусульманин. К общему удивлению, он стал уговаривать

монахов не сдавать святыни недостойным людям, стал уверять, что шведы скоро отступят со стыдом и позором. То же самое говорили им и поляки, подтвердившие все слова Слядковского. Все это настолько воодушевило осажденных, что они нимало не испугались мощных кулеврин, напротив, солдаты стали подсмеиваться над ними между собой.

После службы обе стороны открыли огонь. Был у шведов один солдат, который постоянно подходил к стенам и зычным голосом изрыгал хулу на богородицу. Осажденные стреляли по нему, но безуспешно; у Кмицица, когда он однажды целился в него, лопнула тетива. Солдат становился все дерзче и своей удалью подавал пример другим. Говорили, будто служат ему семь бесов, стерегут они будто его и охраняют.

В тот день он снова пришел богохульствовать; но осажденные, веря, что в день непорочного зачатия чары будут иметь меньшую силу, положили непременно его наказать. Они долго стреляли в него безуспешно; но вот наконец пушечное ядро, отлетев от обледенелого вала и подскакивая, как птица, на снегу, поразило его в самую грудь и разорвало надвое. Обрадовались защитники и стали кричать, похваляться: «Ну-ка, кто еще хочет изрыгнуть хулу на богородицу?» Но солдаты рассеялись в страхе и бежали до самых своих окопов.

Шведы вели огонь по стенам крепости и крышам. Но ядра их не уstraшили защитников.

Старая нищенка Констанция, обитавшая в расселине, разгуливала по всему склону горы, словно издеваясь над шведами, и собирала в подол ядра, то и дело грозя солдатам своею клюкой. Приняв ее за колдунью, те испугались, как бы она не сотворила им зла, особенно когда заметили, что ее не берут пули.

Целых два дня безуспешно стреляли шведы. Они бросали на крыши один за другим пропитанные смолой корабельные канаты, которые летели, как огненные змеи. Стража работала образцово и вовремя предупреждала опасность. Но вот спустилась ночь такая темная, что, несмотря на костры, смоляные бочки и огнеметные снаряды ксендза Ляссоты, осажденные не видели ни зги.

А у шведов между тем суматоха поднялась необыкновенная. Слышен был скрип колес, гул голосов, порою конское ржание, крики. Солдаты на стенах сразу догадались, что там творится.

— Это уж как пить дать, пушки прибыли! — говорили одни.

— И шведы шанцы насыпают, а тут тьма кромешная, пальцев у себя на руке не разглядишь.

Начальники советовались, не сделать ли вылазку; эту мысль подал

Чарнецкий, но серадзский мечник воспротивился, справедливо полагая, что враг, занявшись таким важным делом, наверно, принял все меры предосторожности и держит пехоту наготове. Поэтому осажденные вели только огонь по северной и южной сторонам стана, откуда долетал самый сильный шум. Разглядеть в темноте, что дала эта стрельба, они не могли.

Но вот и день встал, и при первых его лучах взору открылись работы шведов. На севере и на юге выросли шанцы; их рыли несколько тысяч человек. Валы поднялись так высоко, что осажденным показалось, будто гребни их лежат на одном уровне с монастырскими стенами. Из бойниц, прорезанных в гребнях на равном расстоянии, торчали огромные жерла пушек; позади виднелись солдаты, издали похожие на рой желтых ос.

В костеле еще не кончилась утренняя служба, когда чудовищный грохот потряс воздух, задребезжали стекла и, вывалившись от сотрясения из рам, с пронзительным звоном разбились о каменный пол; весь костел наполнился пылью от осыпавшейся штукатурки.

Тяжелые кулевиры заговорили.

Начался ураганный огонь, какого еще не видели осажденные. После окончания службы все бросились на стены и крыши. Прежние штурмы показались защитникам игрушкой по сравнению с этим яростным пиром огня и железа.

Орудия меньшего калибра вторили осадным. Летели огромные пушечные ядра, гранаты, тряпье, пропитанное смолой, пылающие факелы и канаты. Двадцатифунтовые ядра сносили зубцы стен, ударяли в самые стены; одни застревали в них, другие пробивали огромные бреши, отрывая штукатурку, глину и кирпич. Стены кругом монастыря стали давать трещины и раскалываться, а град все новых и новых ядер грозил вовсе их обвалить. Море огня обрушилось на монастырские сооружения.

На башнях защитники слышали, как под ногами ходит ходуном крепостная стена. Костел сотрясался от беспрестанных залпов; в алтарях кое-где попадали с подсвечников свечи.

Потоки воды, которой осажденные заливали начинавшиеся пожары, горящие факелы, канаты и огнеметные снаряды, соединяясь с дымом и пылью, поднялись такими густыми облаками пара, что света не стало видно. Начали рушиться крепостные стены и дома. В громе залпов и свисте пуль все чаще раздавался крик: «Горим!» На северной башне были разбиты два колеса у орудия, умолкла поврежденная пушка. Огнеметный снаряд, угодив в конюшню, убил трех лошадей, вспыхнул пожар. Не только ядра, но и обломки гранат градом сыпались на крыши, башни и стены.

Тотчас послышались стоны раненых. Одним ударом были сражены

трое юношей, звавшихся Янами. Защитники, носившие то же имя, пришли в смятение; все же отпор был дан врагу, достойный штурма. На стены вышли даже старики, женщины и дети. В дыму и огне, под градом пуль солдаты неустрашимо стояли на стенах и яростно отвечали на вражеский огонь. Одни хватались за колеса, чтобы подкатить пушки в самые опасные места, другие сталкивали в бреши камни, дерево, балки, навоз и землю.

Женщины с распущенными волосами, с пылающими лицами, подавали пример отваги; люди видели, как они с ведрами воды бегали за скачущими, готовыми вот-вот взорваться гранатами. Воодушевление росло с каждой минутой, точно запах пороха и дыма, рев орудий, шквал огня и железа обладали свойством усиливать его. Все действовали без команды, ибо слова тонули в ужасающем грохоте. Только песнопения, доносившиеся из костела, заглушали даже голоса пушек.

Около полудня огонь затих. Все вздохнули с облегчением; но вскоре у ворот загремел барабан, и трубач, присланный Миллером, приблизившись к воротам, стал спрашивать, не довольно ли с отцов, не хотят ли они немедленно сдаться? Сам ксендз Кордецкий ответил, что они подумают до завтра. Не успел ответ дойти до Миллера, как шведы снова открыли огонь, и пальба стала вдвое сильнее.

Время от времени пехота шеренгами подвигалась под огнем к горе, точно пытаясь пойти на приступ; но, понеся тяжелый урон от пушечного и ружейного огня, всякий раз в беспорядке откатывалась к собственным батареям. И как морская волна, ударив прибоем о берег и снова отхлынув, оставляет на песке водоросли, раковины и выброшенные пучиной обломки, так каждая шведская волна, отхлынув, оставляла раскиданные по склону трупы.

Миллер приказал вести огонь не по башням, а по стенам, где сопротивление бывает самым слабым. Кое-где были пробиты бреши, однако они не были настолько велики, чтобы пехота могла проникнуть в крепость.

Неожиданно произошло событие, которое помешало штурму.

День клонился к вечеру. Пушкарь одного из шведских орудий, стоя с зажженным фитилем, собрался уже поднести его к запалу, когда в грудь ему угодило монастырское ядро; прилетело оно не прямо, а трижды отскочив от ледяных глыб, лежавших на валу, и поэтому только отбросило пушкаря с горящим фитилем шагов на двадцать от орудия. Но упал он на открытый ящик, где еще оставался порох. Мгновенно раздался ужасающий грохот, и облако дыма окутало шанец. Когда дым улегся, оказалось, что пять пушкарей убиты, колеса орудия поломаны, уцелевшие солдаты перепуганы

на смерть. Пришлось немедленно прекратить огонь на шанце, а так как густой дым заволок и без того потемневшее небо, пришлось прекратить огонь и на всех остальных шанцах.

На следующий день было воскресенье.

Лютеранские пасторы совершали в окопах свое богослужение, и пушки молчали. Миллер снова тщетно вопрошал отцов: не довольно ли с них? Ему ответили, что ничего, выдержат и не такое.

А тем временем в монастыре осматривали повреждения. Кроме потерь убитыми, было обнаружено, что местами пострадали стены. Страшнее всех оказалась мощная кулеврина, стоявшая с южной стороны. Она совершенно оббила стену, поотрывала много камня и кирпича, и нетрудно было предугадать, что если огонь продлится еще два дня, значительная часть стены обвалится и рухнет.

Брешь, которая тогда образуется, не заложишь ни бревнами, ни землей, ни навозом. Озабоченным взглядом озирал Кордецкий опустошения, которые он не в силах был предотвратить.

Между тем в понедельник снова началась пальба, и мощная кулеврина продолжала расширять брешь. Однако и шведов ждали беды. В тот день в сумерках шведский пушкарь уложил на месте племянника Миллера, которого генерал любил, как родного сына, которому все хотел завещать: и имя, и воинскую славу, и состояние. Тем большей ненавистью к врагам запылало сердце старого воителя.

Стена в южной части дала уже такие трещины, что ночью шведы решили готовиться к приступу. Чтобы пехоте легче было подобраться к крепости. Миллер приказал насыпать в темноте до самого склона горы целый ряд небольших шанцев. Однако ночь выдалась светлая, и на белом ярком снегу были видны движения врага. Ясногорские пушки рассеивали землекопов, сооружавших парапеты из фашин, плетней, корзин и бревен.

На рассвете Чарнецкий увидел готовую осадную машину, которую уже подкатывали к стенам. Но осажденные без труда разнесли ее орудийным огнем; при этом было убито столько народу, что день этот защитники крепости могли бы назвать днем победы, если бы не кулеврина, которая непрерывно с непреодолимой силой разрушала стену.

На следующий день началась оттепель и такая непроглядная мгла окутала все кругом, что ксендзы приписали это действию злых чар. Не разглядеть было ни военных машин, ни парапетов, ни осадных работ. Шведы приближались к самым монастырским стенам. Когда приор вечером обходил, по обыкновению, стены, Чарнецкий отвел его в сторону и сказал вполголоса:

— Плохо дело, преподобный отче. Наша стена выдержит не долее дня.

— Может, туман и им помешает стрелять, — заметил ксендз Кордецкий. — А мы покуда как-нибудь починим стену.

— Не помешает им туман. Эту кулеврину достаточно раз навести, и она и в темноте будет сеять свой губительный огонь. А тут обломки валяются и валяются без конца.

— Будем уповать на господа бога и пресвятую деву.

— Так-то оно так! Ну, а если бы все-таки сделать вылазку? Людей бы им побить да загвоздить эту дьявольскую пушку?

В эту минуту в тумане замаячила чья-то фигура, — это подошел Бабинич.

— Слышу, кто говорит, а лиц в трех шагах не разглядишь, — сказал он. — Добрый вечер, преподобный отче! О чем это вы беседуете?

— Да вот о кулеврине толкуем. Пан Чарнецкий советует сделать вылазку. Бесы туман напускают, я уж велел молитвы творить об изгнании их.

— Отче, дорогой мой! — сказал пан Анджей. — С той самой минуты, как эта кулеврина стала разбивать нам стену, не выходит она у меня из головы, и кое-что я уж надумал. Вылазка тут не поможет... Пойдемте, однако, в дом, я расскажу вам, какой обдумал я замысел.

— Ну, что ж, — согласился приор, — пойдём ко мне в келью.

Вскоре они сидели за сосновым столом в убогой келье приора. Ксендз и Петр Чарнецкий уставились в молодое лицо Бабинича.

— Вылазка тут не поможет, — повторил он. — Заметят шведы и отобьют. С делом один человек должен справиться!

— Да как же? — спросил Чарнецкий.

— Должен он пойти один и взорвать кулеврину порохом. Покуда стоит такой туман, это можно сделать. Лучше пойти переодетому. У нас есть колеты, похожие на шведские. Не удастся подобраться к кулеврине, он проскользнет к шведам и смешается с ними, ну а коли с той стороны шанца, откуда торчит жерло кулеврины, не окажется людей, так и вовсе хорошо.

— Господи, да что же там один человек может сделать?

— Ему надо будет только сунуть в жерло рукав с порохом да поджечь шнур. Когда порох взорвется, кулеврина разлетится к ч... я хотел сказать: треснет.

— Э, милый, ну что ты это толкуешь? Мало, что ли, пороху суют ей каждый божий день в жерло, однако же она не трескается?

Кмициц рассмеялся и поцеловал ксендза в плечо.

— Отче, дорогой мой, великое у вас сердце, геройское, святое...

— Ах, оставь, пожалуйста! — прервал его ксендз.

— Святое, — повторил Кмициц, — но в пушках вы не разбираетесь.

Одно дело, когда порох сзади взрывается, — он выбрасывает тогда ядро, и вся сила через жерло уходит вон; но коль заткнуть жерло да поджечь порох, то нет пушки, которая могла бы такое выдержать. Спросите у пана Чарнецкого.

— Это верно. Любой солдат это знает! — подтвердил Чарнецкий.

— Так вот, — продолжал Кмициц, — ежели эту кулеврину взорвать, так все прочие плевка не стоят!

— Что-то мне сдается, неподходящее это дело! — промолвил ксендз Кордецкий. — Прежде всего кто за него возьмется?

— Да есть один такой отчаянный бездельник, — ответил пан Анджей, — но решительный кавалер, Бабинич по прозванию.

— Ты? — в один голос крикнули ксендз и Петр Чарнецкий.

— Э, преподобный отче, ведь я у тебя на исповеди был и во всех своих делах покался. Ну а среди них были и почище. Что же тут сомневаться, возьмусь ли я за это дело? Разве вы меня не знаете?

— Да, он герой, рыцарь над рыцарями, клянусь богом! — воскликнул Чарнецкий. И, обняв Кмицица за шею, продолжал: — Дай я поцелую тебя за одно то, что ты хочешь пойти, дай поцелую!

— Укажите иное *remedium*^[194], и я не пойду, — сказал Кмициц, — но сдается мне, справлюсь я с этим делом. Вы и про то вспомните, что я по-немецки говорю так, точно век целый только и делал, что в Гданске клепкой торговал. Это очень много значит, — ведь стоит мне только переодеться, и шведам нелегко будет узнать, что я не из ихнего стана. Но только думается мне, никто у них там перед пушкой не стоит, потому опасно это, так что они оглянуться не успеют, как я сделаю свое дело.

— Пан Чарнецкий, что ты на это скажешь? — неожиданно спросил приор.

— На сотню разве только один воротится с такого дела, — ответил пан Петр, — но *audaces fortuna juvat*^[195].

— Бывал я и в худших переделках! — сказал Кмициц. — Ничего со мною не станется, я счастливый! Эх, дорогой отче, да и разница ведь какая! Раньше я ради пустой славы шел на опасное дело, побахвалиться хотел, а теперь иду во славу пресвятой девы. Коль и голову придется сложить, — а не думаю я, чтоб могло такое статься, — скажите сами, можно ли пожелать более славной смерти?

Ксендз долго молчал.

— Я бы тебя не пустил, я бы тебя просил, молил и заклинал не ходить, — сказал он наконец, — когда бы ты только к славе стремился; но ты прав, дело идет о пресвятой деве, о нашей святой обители, обо всей нашей стране! Тебя же, сын мой, счастливо ли ты воротишься или мученический примешь венец, слава ждет, вечное блаженство, вечное спасение. Против воли говорю я тебе: иди, я тебя не держу! Молитвы наши будут с тобою и господь, наша защита!

— Тогда и я пойду смелее и с радостью сложу голову!

— Воротись же, ратай божий, воротись счастливо, полюбили мы тебя ото всего сердца. Пусть же святой Рафал проведет тебя и назад приведет, чадо мое возлюбленное, сынок мой!

— Так я тотчас и собираться начну, — весело сказал пан Анджей, обнимая ксендза. — Переоденусь в шведский колет, ботфорты надену, пороху наготовлю, а вы, отче, покуда не творите молитв против бесов, потому туман шведам нужен, но нужен он и мне.

— А не хочешь ли ты поисповедаться на дороге?

— А как же? Без этого я и не пошел бы, дьяволу легче было бы тогда ко мне приступиться!

— Так ты с этого и начни.

Пан Петр вышел из кельи, а Кмициц опустился на колени у ног ксендза и покаялся в грехах. Потом, веселый, как птица, ушел собираться.

Часа через два, уже глухой ночью, он снова постучался в келью приора, где его ждал и Чарнецкий.

Пан Петр с приором насилу его признали, такой знаменитый получился из него швед. Усы он закрутил чуть не под самые глаза и кончики распустил, шляпу сбил набекрень и стал прямой рейтарский офицер знатного рода.

— Право, завидишь такого, невольню за саблю схватишься! — сказал пан Петр.

— Свечу подальше! — крикнул Кмициц. — Я вам покажу одну штуку!

И когда ксендз Кордецкий торопливо отодвинул свечу, он положил на стол рукав длиною в полторы стопы и толщиною в руку богатыря, сшитый из просмоленного полотна и туго набитый порохом. С одного его конца свисал длинный шнур, свитый из пакли, пропитанной серой.

— Ну, — сказал он, — как суну я кулеврине в пасть это зелье да подожду шнурочек, небось брюхо у нее лопнет!

— Да тут Люцифер и то бы лопнул! — воскликнул Чарнецкий.

Вспомнив, однако, что лучше не поминать черта, он хлопнул себя по

губам.

— Чем же ты подпалишь шнуручек? — спросил ксендз Кордецкий.

— В этом-то и *regiculum*, потому огонь надо высечь. Кремень у меня хороший, трут сухой, огниво из отменной стали; но ведь шум подниму, и шведы могут насторожиться. Шнур они, надеюсь, не погасят, он у пушки уже с бороды свесится, его и приметить будет нелегко, да и тлеть он будет быстро, а вот за мной могут в погоню удариться, а я прямо в монастырь не могу бежать.

— Почему же не можешь? — спросил ксендз.

— Убить меня может при взрыве. Как только я увижу искорку на шнуре, мне тотчас надо метнуться в сторону и, пробежав с полсотни шагов, упасть под шанцем на землю. Только после взрыва кинусь я стремглав к монастырю.

— Боже, боже, сколько опасностей! — поднял к небу глаза приор.

— Отче, дорогой, я так уверен, что ворочусь, что даже тревоги нет в моей душе, а ведь должна бы она быть. Все обойдется! Будьте здоровы и молитесь, чтобы господь послал мне удачу. Проводите только меня до ворот.

— Как? Ты уже хочешь идти? — воскликнул Чарнецкий.

— Не ждать же мне, покуда рассветет или туман рассеется! Что мне, жизнь не мила?

Но в ту ночь Кмициц не пошел, так как тьма, когда они подошли к воротам, стала, как назло, редеть. К тому же с той стороны, где стояла тяжелая кулеврина, доносился какой-то шум.

На следующее утро осажденные увидели, что шведы откатали ее на новое место.

Видно, кто-то донес им, что чуть подальше, на изгибе, около южной башни, стена очень слаба, и они решили направить огонь в ту сторону. Может, это было дело рук самого ксендза Кордецкого, потому что накануне видели, как из монастыря выходила старая Костуха, которую посылали к шведам главным образом тогда, когда надо было рассеять среди них ложный слух. Так или иначе, это была ошибка шведов, потому что осажденные смогли тем временем, починить сильно поврежденную стену на старом месте, а для того, чтобы пробить брешь на новом, нужно было несколько дней.

Стояли по-прежнему ясные ночи и шумные дни. Шведы вели ураганный огонь. Дух сомнения снова витал над осажденными. Нашлись среди шляхты такие, что просто хотели сдаться; пали духом и некоторые монахи. Снова подняли голову, и набрались дерзости противники ксендза

Кордецкого. С непобедимой стойкостью боролся с ними приор; но здоровье его пошатнулось. А к шведам тем временем шли из Кракова все новые подкрепления и припасы, в их числе особенно страшные огненные снаряды в виде железных трубок, чиненных порохом и свинцом. Снаряды эти не столько урону нанесли осажденным, сколько нагнали на них страху.

После того как Кмициц решил взорвать порохом кулеврину, стал он томиться в крепости. Каждый день с тоскою глядел он на набитый порохом рукав. Подумав, он сделал его еще больше, и рукав стал теперь длиною в целый локоть, а толщиною с сапожное голенище.

По вечерам пан Анджей бросал со стены хищные взгляды в ту сторону, где стояло орудие, потом небо разглядывал, как астролог. Все было напрасно: ясно светила луна, озаряя снег.

И вдруг наступила оттепель, тучи заволокли окоем, и ночь спустилась темная, хоть глаз выколи. Пан Анджей так повеселел, будто кто на султанского скакуна его посадил, и, едва пробил полночь, предстал перед Чарнецким в мундире рейтара и с пороховым рукавом под мышкой.

— Пойду! — сказал он.

— погоди, я скажу приору.

— Ладно. Ну, пан Петр, дай я тебя поцелую, и ступай!

Чарнецкий сердечно поцеловал пана Анджея и отправился за приором. Не прошел он и тридцати шагов, как впереди забелела ряса. Это приор сам догадался, что Кмициц пойдет к шведам, и шел проститься с ним.

— Бабинич готов. Ждет только тебя, преподобный отче.

— Спешу, спешу! — ответил ксендз. — Матерь божия, спаси его и помилуй!

Через минуту они подошли к пролому в стене, где Чарнецкий оставил Кмицица, но того и след простыл.

— Ушел! — удивился ксендз Кордецкий.

— Ушел! — повторил Чарнецкий.

— Ах, изменник! — с сожалением сказал приор. — А я хотел надеть ему ладанку на шею...

Они оба умолкли; тишина царила кругом, ночь была такая темная, что никто не стрелял. Внезапно Чарнецкий с живостью прошептал:

— Клянусь богом, он даже не старается идти потише! Слышишь шаги, преподобный отче? Снег хрустит!

— Пресвятая дева, храни же раба своего! — произнес приор.

Некоторое время они прислушивались, пока быстрые шаги и скрип снега под ногою не смолкли совсем.

— Знаешь, преподобный отче, — зашептал Чарнецкий, — иногда мне

сдается, что ждет его удача, и я совсем за него не боюсь. Нет, каков шельмец, — пошел себе, как в корчму горелки выпить! Что за удаль! Либо голову ему прежде времени сложить, либо гетманом быть. Гм... кабы не знал я, что служит он деве Марии, подумал бы, что сам... Дай бог ему счастья, дай бог, потому другого такого молодца не сыщешь во всей Речи Посполитой!

— Темень-то, темень какая! — промолвил ксендз Кордецкий. — А шведы с той вашей ночной вылазки стали очень осторожны. Оглянуться не успеет, как напорется на целую кучу их...

— Не думаю! Пехота стоит на страже, я знаю, и зорко стережет, но ведь стоит она не перед шанцами, не перед жерлами собственных пушек, а на самих шанцах. Коль не услышат шведы его шагов, он легко подберется к шанцу, а там его сам вал прикроет... Уф!

Тут Чарнецкий совсем задохся и оборвал речь, от страха и ожидания сердце у него заколотилось и захватило дух.

Ксендз стал осенять крестом темноту.

Внезапно около них вырос кто-то третий. Это был серадзский мечник.

— Что случилось? — спросил он.

— Бабинич пошел охотником взрывать порохом кулеврину.

— Как? Что?

— Взял рукав с порохом, шнур, огниво... и пошел.

Замойский сжал руками голову.

— Господи Иисусе! Господи Иисусе! — воскликнул он. — Один?

— Один.

— Кто ему позволил? Это немислимо!

— Я! Всемогущ господь бог, в его власти счастливо воротить его назад! — ответил ксендз Кордецкий.

Замойский умолк. Чарнецкий задыхался от волнения.

— Помолимся! — сказал ксендз.

Они опустили на колени и начали молиться. Но от тревоги волосы шевелились у рыцарей. Прошло четверть часа, полчаса, час, бесконечный, как вечность.

— Пожалуй, ничего уж не выйдет! — сказал Петр Чарнецкий.

И глубоко вздохнул.

Вдруг в отдалении взвился огромный сноп пламени и раздался такой грохот, будто грома небесные обрушились на землю и потрясли стены, костел и монастырь.

— Взорвал! Взорвал! — вскричал Чарнецкий.

Новый грохот прервал его речь.

А ксендз бросился на колени и, воздев руки, воскликнул:

— Пресвятая богородица! Заступница наша и покровительница, вороти же его счастливо!

Шум поднялся на стенах. Солдаты не знали, что случилось, и схватились за оружие. Из келий выбежали монахи. Никто уже больше не спал. Женщины и те повскакали с постелей. Со всех сторон градом посыпались вопросы, возгласы, ответы.

— Что случилось?

— Приступ!

— Разорвало шведскую пушку! — кричал кто-то из пушкарей.

— Чудо! Чудо!

— Разорвало самую тяжелую пушку! Ту самую кулеврину!

— Где ксендз Кордецкий?

— На стенах! Молится! Он все устроил!

— Бабинич взорвал орудие! — кричал Чарнецкий.

— Бабинич! Бабинич! Слава пресвятой деве! Больше они нам не будут вредить!

Между тем отголоски смятения донеслись и из шведского стана. На всех шанцах сверкнули огни.

Шум все возрастал. При свете костров было видно, как мечутся в стане толпы солдат; запели рожки, все время били барабаны; до стен долетали крики, в которых звучали ужас и страх.

Ксендз Кордецкий по-прежнему стоял на стене, преклонив колена.

Вот уж и ночь стала бледнеть, а Бабинич все не возвращался в крепость.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Огнем и мечом»](#)

Примечания

1

(или Миндовг) — великий князь Литвы (ум. в 1263 г.), успешно боровшийся против Тевтонского ордена.

в XV — XVI веках основная военная сила Польши; к XVII веку роль ополчения (посполитого рушения) существенно уменьшилась, и хотя в середине XVII века оно неоднократно созывалось, костяк вооруженных сил Речи Посполитой составляли профессиональные наемные войска.

представитель одного из крупнейших магнатских родов. Род Радзивиллов имел две основные ветви: несвижско-ольцкую, владения которой располагались в основном в Белоруссии и Украине, и биржанско-дубинковскую, владевшую землями главным образом в Литве.

(1609 — 1672) — польский король из династии Ваза, был избран на престол в 1648 году после смерти своего старшего брата Владислава IV. Время правления Яна Казимира ознаменовано тяжелыми поражениями в войнах против Русского государства, Швеции и ее союзников, оппозицией магнатов попыткам Яна Казимира укрепить королевскую власть. В 1668 году Ян Казимир отрекся от престола.

в воеводствах, землях и поветах выборный шляхтич, рассматривавший межевые споры между землевладельцами.

6

поселения мелкой, неимущей шляхты.

Стефан Баторий — трансильванский князь, в 1575 — 1586 годах — польский король. В годы правления Батория, выдающегося организатора и полководца, Речь Посполитая добилась перелома в Ливонской войне против Русского государства. В 1581 году Баторий осаждал Псков. Заключенный в начале 1585 года Ям-Запольский договор был большим успехом Речи Посполитой, закрепившей за собою Ливонию.

Успешная для руководимых Янушем Радзивиллом литовских войск битва под Лоевом, городом у впадения Сожа в Днепр, произошла 31 июля 1649 года. Руководивший казачьим отрядом, действовавшим в Белоруссии, Михаил Кричевский был захвачен раненым в плен и вскоре умер. Вновь под Лоевом произошел бой между литовскими войсками и казаками 6 июня 1651 года. Вероятно, в тексте имеется в виду первая битва.

В феодальной Речи Посполитой основной административно-территориальной единицей было воеводство. Такую единицу представляла собою и Жмудь (польское название Жемаитии — западной части Литвы), но по традиции за ней закрепилось название староства (княжества). Жмудский староста был равен воеводе. Особенностью было то, что жмудский староста, в отличие от воевод (кроме витебского и полоцкого), не назначался королем, а избирался шляхтой. В романе не один раз еще будет встречаться титул «староста» (например, калушский староста Ян Замойский и др.), но в этом случае он означает пожизненного владельца комплекса королевских имений (староства).

В августе 1654 года Януш Радзивилл потерпел поражение в битве против русских войск под Шепелевичами, деревней к западу от лежащего на Днепре города Шклова.

Гетманы, командующие войском, были отдельные в обеих частях государства — коронные (в Королевстве Польском) и литовские (в Литве). В Короне и Литве было по два гетмана — великий и польный (от слова поле, пограничье). Первоначально обязанностью польного гетмана была охрана границ, но к XVII веку это был заместитель великого гетмана.

то есть под Шепелевичами (см. прим. к Вступл.)

дочь ловчего. Ловчий — придворная должность; первоначально — лицо, ведавшее королевской (княжеской) охотой, к XVII веку, как и иные придворные должности (конюший, кравчий, подстолий, мечник и т. п.), звание ловчего стало лишь почетным титулом. Эти формальные должности существовали во всех воеводствах, и в Литве и в поветах (уездах), в данном случае речь идет об Упитском повете Троцкого воеводства.

знаменосец (хоругвь — войсковое знамя), кроме того, почетная должность, подобно ловчому, кравчому и т. п. Хорунжими, или товарищами, называли также шляхтичей, которые служили в войске рядовыми.

Зависть, ненависть (лат.).

Смоленск был занят русскими войсками осенью 1654 года.

Сбор, встреча (лат.).

королевское оповещение о созыве посполитого рушения (всеобщего ополчения) шляхты. За грамотами (универсалами) закрепилось старинное название, обозначающее зеленые ветви, которые посланцы возили по деревьям как знак военной тревоги. Созыв посполитого рушения производился тремя последовательными универсалами (предупреждение, непосредственная готовность, выступление в поход), отсюда формула — первые, вторые, третьи вицы.

Подлый (литов.).

Под Берестечком 18 — 20 (28 — 30) июня 1651 года произошла битва между польскими войсками и армией восставшего украинского народа. Из-за предательства «союзника» повстанцев — крымского хана, который захватил Богдана Хмельницкого и в разгар боя увел свои войска, битва завершилась тяжелым поражением украинской армии.

Пример (лат.).

Наследник (лат.).

Да здравствует! Ура! (Лат.)

Изгнанники (лат.).

Помощи, подкрепления (лат.).

Удовольствие, радость (лат.).

государственный казначей. Винцентий Александр Госевский совмещал должности литовского подскарбия и литовского польного гетмана.

Иван Андреевич, по прозвищу Тараруй — боярин, руководитель стрелецкого бунта 1682 года. Хованский участвовал в русско-польской войне 1654 — 1667 годов, но не командовал войсками и вообще в годы, описываемые в романе, никакой существенной роли не играл.

то есть войны против восставшего украинского народа. Война эта началась в 1648 году. В 1654 году после воссоединения Украины с Россией «казацкая война» слилась с «московской», то есть русско-польской войной 1654 — 1667 годов.

Ян Казимир, государь (лат.).

Начало гибели государства (лат.).

Эти претензии Радзивиллов основывались на том, что они были имперскими князьями (см. прим. к Гл. XII)

Януш Радзивилл был кальвинистом.

бояре, командовали русскими войсками, действовавшими на Украине. Бутурлин был представителем царя на Переяславской раде 1654 года.

выдающийся польский полководец, прославившийся в годы «потопа», в 1655 году был назначен киевским каштеляном, под конец жизни — в 1665 году — стал польным коронным гетманом.

Похищение девушки (лат.).

мелкие землевладельцы, которые не получили прав и привилегий шляхты, но оставались лично свободными.

Алексей Никитыч — князь, воевода, командовавший в 1654 — 1655 годах русскими войсками, действовавшими на юге Белоруссии.

В самую суть (лат.).

места боев в 1648 году войск Иеремии Вишневецкого против отдельных казацких отрядов; в крепости Збараж летом 1649 года польские войска были осаждены Богданом Хмельницким. Упоминаемые события описываются в романе Сенкевича «Огнем и мечом».

В промедлении опасность (лат.).

Тягостен, тяжестей (лат.).

О делах государственных (лат.).

Павел Ян Сапега. Два сильнейших в Великом княжестве Литовском магнатских рода Радзивиллов и Сапег издавна враждовали между собой.

45

Предмет (лат.).

незаселенные степи в нижнем течении Днепра, отделявшие в XVI — XVII веках Украину от Крымского ханства.

успешные для польской стороны битвы в войнах со Швецией; под Кирхгольмом — 27 сентября 1605 года, под Пуцком — 16 апреля 1627 года, под Тшцяной — 17 июня 1629 года.

королевский уполномоченный (по функциям подобный наместнику) в великопольских воеводствах — Познанском и Калишском.

коронный подканцлер в 1651 — 1652 годах, вошел в острый личный конфликт с королем Яном Казимиром и бежал в Швецию.

50

К 27-му числу текущего месяца (лат.).

Не оставят отчизны (лат.) — подразумевается: в беде.

то есть Тридцатилетняя война 1616 — 1648 годов, имела черты религиозной войны блока протестантских (лютеранских) государств против государств католических. Определение это весьма условно, так как оплотом протестантской стороны наряду со Швецией была католическая Франция.

Абсолютную власть Польская шляхта и в особенности магнаты ревниво оберегали свои вольности, опасаясь установления в Польше королевского абсолютизма. В абсолютистских планах шляхта не без основания подозревала королеву Марию Людвику.

Огнем и мечом (лат.).

польский король в 1492 — 1501 годах. Шляхетское общественное мнение обвиняло короля в гибели значительной части шляхетского посполитого рушения во время похода в Молдавию в 1497 году, что нашло отражение в приводимой в тексте поговорке.

Республику (лат.) — то есть Речь Посполитую.

Отец Яна Казимира Сигизмунд III Ваза был королем Польши (с 1587 г .) и Швеции (с 1592 г .), но уже с 1599 года фактически, а с 1604 года и формально Сигизмунд был лишен шведского престола, на котором утвердилась другая ветвь династии Ваза. Польские короли — сам Сигизмунд III и его сыновья Владислав IV и Ян Казимир — сохраняли в своем титуле звание шведских королей, что служило постоянным поводом польско-шведских конфликтов. По условиям Оливского мирного договора 1660 года, завершившего описываемую в романе войну, Ян Казимир отказался от претензий на шведский престол и от титулования себя шведским наследственным королем.

Отсутствует; здесь: дезертир (лат.).

Юрий Алексеевич — князь, боярин и воевода, командовавший русскими войсками, действовавшими в 1654 — 1655 годах в Белоруссии.

то есть войну Речи Посполитой с Русским государством, развернувшуюся в Литве, Белоруссии и на Украине.

Да здравствует король Карл Густав! (Лат.)

Запрещаю! (Лат.) По установившемуся обычаю, все решения в польском сейме требовали единогласия. Доведенный до своего логического завершения, этот принцип (либерум вето — свободное запрещение) давал право одному депутату (послу) своим несогласием сорвать всю работу сейма. Впервые такой срыв сейма одним послом имел место в 1652 году; виновником срыва сейма был посол от Упитского повета Владислав Сицинский, действовавший по наущению Януша Радзивилла.

Сочтено — взвешено — измерено (халдейск.).

Привычка — вторая натура (лат.).

65

Откуда мог вторгнуться враг (лат.).

Устал (лат.).

(польск. Инфлянты) — территория современной северной части Латвии и южной части Эстонии, из-за которой в XVII веке неоднократно возникали польско-шведские войны. В 20-х годах большая часть Лифляндии была захвачена Швецией, закрепившей эту территорию за собой по Оливскому миру 1660 года.

Ян (1530 — 1584) — крупнейший поэт польского Возрождения.

короткие, остроумные эпиграммы.

Триарий (лат.) — в римских легионах воин-ветеран; триарии стояли в третьем ряду и в решающий момент вступали в бой.

В несчастье (лат.).

Избирательный голос (лат.) — В данном случае — при избраниимонарха.

В 1547 году канцлер литовский Миколай Радзивилл получил от германского императора Карла V княжеский титул.

Фридрих Вильгельм, курфюрст Бранденбурга в 1640 — 1688 годах, был в качестве князя (герцога) прусского вассалом польского короля. Благодаря лавированию между Речью Посполитой и Швецией в годы, описываемые в романе, Фридрих Вильгельм по Велявско-Быдгоцским договорам 1657 года освободился от ленной зависимости. Апологеты возвышения Бранденбурга — Пруссии именовали Фридриха Вильгельма «великим курфюрстом».

шляхетский бунт, мятеж против короля. В Речи Посполитой шляхта имела право в случае нарушения королем ее привилегий отказывать ему в повиновении. Одним из крупнейших выступлений шляхты против короля был упоминаемый здесь рокош Зебжидовского в 1606 — 1607 годах.

Со времен Ливонской войны Курляндия (южная часть Латвии, Задвинское княжество) была вассальным княжеством (герцогством) Речи Посполитой под властью династии Кетлеров. В период польско-шведских войн XVII века курляндские герцоги (в годы, описываемые в романе, герцогом был Якуб Кетлер) лавировали между борющимися сторонами, находясь, по существу, в зависимости от утвердившейся в Восточной Прибалтике Швеции.

член рыцарского Ордена иоаннитов, владением которого с 1530 года был остров Мальта.

Голос (лат.).

Прощай, брат (франц.).

То есть выступить против русских войск, овладевших в это время столицей Великого княжества Литовского (см. прим. к Гл. XIX). Утверждение, будто город при взятии его русскими войсками был сожжен, было либо ложным слухом, либо намеренным искажением событий со стороны Радзивилла.

Защитник родины (лат.).

Врагам (лат.).

Повторяю (лат).

Друзья (лат.).

Сколько угодно (лат.).

Отличнейшие (лат.).

Испытания, опасности (лат.).

Редкая птица (лат.).

Да погибнут враги! (Лат.)

Великий князь Литвы Ягайло (в польском произношении Ягелло) получил при принятии христианства имя Владислав. Став королем Польши после брака с Ядвигой, Владислав II Ягелло (1386 — 1434) положил начало династии Ягеллонов. Сигизмунд Август — последний король из династии Ягеллонов. Делом Владислава и Сигизмунда Августа полковник Станкевич называет польско-литовскую унию.

Магнус (Сенкевич ошибочно называет его Понтусом) (1622 — 1686) — шведский полководец, происходивший из осевшего в Швеции французского рода, основателем которого был Понтус де ла Гарди.

Ракоци — князя Семиградья (Трансильвании). В 1657 году Дёрдь II Ракоци вмешался в польско-шведскую войну на стороне Швеции, но был разбит.

Отступить (лат.).

О, трижды и четырежды блаженны (лат.).

Спасение (лат.).

Восточное Поморье, называвшееся так со времени Торунского мира 1466 года, когда оно было возвращено Польше из-под власти Тевтонского ордена. Оставшаяся под властью Тевтонского ордена, признавшего вассальную зависимость от польского короля, территория получила в XVI веке (после секуляризации Ордена и превращения его в светское Прусское княжество) название Княжеской Пруссии.

«Я вас!» (лат.) — грозный окрик Нептуна, обращенный к ветрам (Вергилий, Энеида).

Никого не заключим под стражу (лат.) (*Neminum captivabimus nisi iure victum*) — первые слова привилея, данного шляхте королем Владиславом Ягелло в Бресте в 1425 году. Привилей этот гарантировал личную неприкосновенность шляхтича до решения, вынесенного по его делу судом.

Змея (лат.).

100

Пицца (лат.).

Или, или! (Лат.)

Рассудок (лат.).

Плоды (лат.).

Ненависть, вражда, неприязнь (лат.).

И Геркулес бессилен против многих (лат.).

высокая военная должность; в обязанности обозного входило поддержание порядка в войске.

В трудную минуту (лат.).

Случай (лат.).

Содержание (лат.).

110

Легко, скоро (лат.).

Исправно (лат.).

Общее благо (лат.).

Украшение, гордость (лат.).

114

Ответ (лат.).

Препятствия, помехи (лат.).

Начало (лат.).

Черный — польский рыцарь во времена Владислава Ягелло, нарицательный образец рыцарских добродетелей.

Владения бранденбургского курфюрста состояли из Бранденбургского маркграфства и Прусского княжества. В качестве князя прусского курфюрст был вассалом польского короля. Участие курфюрста в войне сначала на стороне Швеции, а затем переход его на сторону Яна Казимира, обеспечило ему освобождение от вассальной зависимости, что было закреплено Велявско-Быдгоцскими договорами 1657 года.

Перечисляются города, где происходили бои литовских и польских (под Берестечком) войск в 1649 — 1651 годах.

Тайны (лат.).

121

Все надо испытать! (Лат.)

Эти бои со шведами происходили в сентябре 1655 года.

123

Опасна (лат.).

Лично (лат.).

Маршал (польск. маршалок) — высокий придворный чин. Великий маршал осуществлял административную и судебную власть в столице, председательствовал в сенате.

Memento — помни (лат.). Memento mori — помни о смерти.

Здесь: ясно (лат.).

Извините (франц.).

По дружбе (лат.).

130

Искатель ссор, задира, забияка (франц.).

131

Скрытно, не открывая своего имени (лат.).

Право же (франц.).

Касательно помощи и убежища (лат.).

Голову (лат.).

Иначе, в другое время, в другом месте (лат.).

В свободном голосовании (лат.).

Тебе бога хвалим (лат.).

Магнаты (от лат. *magnus* — великий, большой).

жители Крайнего Севера, буквально — живущие за царством Борея, владыки северного ветра. В романе гиперборейцами именуются русские.

Стой! (От нем. — halt.)

Необходимость, нужда (лат.).

Чудовища (лат.).

Слово (лат.).

Лихорадка (лат.).

В частном порядке (лат.).

Здесь: силы, воинство (лат.).

Собота и пѣнтек — по-польски: суббота и пятница.

(или пияры) — монашеский Орден, существовавший с конца XVI века. Пиары организовывали школы, образование в которых имело менее теологический, более приближенный к потребностям жизни характер, чем в позднейших школах.

Станислав Потоцкий, по прозвищу Ревера, был в 1654 — 1667 годах великим коронным гетманом.

Имя русского полководца XVI века, участника Ливонской войны князя Серебряного названо в романе ошибочно.

заклучен в августе 1649 года под Зборовом между Яном Казимиром и Богданом Хмельницким. По Зборовскому трактату Украина (в границах Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств) получила фактическую автономию, на ее территорию не могли вступать польские войска. Условия Зборовского договора, не удовлетворявшего обе стороны, оказались не долговечны, в 1651 году война возобновилась.

Единодушно (лат.).

Полководец (лат.).

Судьбы (лат.).

155

Вакансия, место (лат.).

Почести меняют нравы (лат.).

И это дело надо сделать, и того не упустить (лат.).

польный коронный гетман с 1588 года и великий гетман с 1613 года, выдающийся полководец, погиб в 1620 году в битве с турками под Цецорой.

Для блага общества (лат.).

Для памяти (лат.).

Полумесяц — синоним мусульманства, здесь имеются в виду крымские татары. Мартин Небаба — казацкий черниговский полковник, погиб в бою с литовскими войсками в 1651 году.

(правильно: Кричевский) — см. прим. к Вступл.

Каким образом? (Лат.)

фаворит Людовика XIII, был обвинен в заговоре против кардинала Ришелье и казнен в 1642 году, герой романа Альфреда да Виньи. Принцессе Марии Людовике Гинзага, позднейшей польской королеве, жене Владислава IV, а после его смерти жене Яна Казимира, приписывали роман с Сен-Марсом.

165

Се жена (лат.).

Как заложница (франц.).

Жена Януша Радзивилла Мария была дочерью молдавского господаря (князя) Василия Лупу. Валахами в Польше называли жителей как Валахии, так и Молдавии.

Чудовище (лат.).

Страшно говорить и слушать (лат.).

жители лесных пущ северной Мазовии.

Тягости (лат.).

Владислав I Локоток, князь, а с 1320 года король Польши, вел упорную борьбу за восстановление единства польских земель. Коронация Владислава I знаменовала упрочение польской независимости и суверенитета короля над всеми польскими землями.

глава монашеского Ордена на территории провинции. В большинстве монашеских Орденов территория Речи Посполитой составляла одну либо две (Корона и Литва) провинции.

Натравливают (лат.).

Что касается (лат.).

Стефан Чарнецкий, оборонявший в это время Краков от шведов.

Да здравствует покровитель (лат.).

День гнева, сей день (лат.).

Земной круг, мир (лат.).

Зауряд-провиантмейстер (смесь лат. и нем.).

Радуйся, царица! (Лат.)

Яви нам, что наша ты мать! (Лат.)

второстепенный по значению монашеский Орден, возник в XIII веке в Венгрии. Основным центром паулинов в Польше был Ясногорский монастырь.

Отец (лат.).

«Ангел» (лат.). — Здесь: название молитвы.

иначе: Полиоркет (греч.) — осаждающий города, прозвище македонского царя Деметрия I (конец IV — начало III в. до н. э.).

Нерушимое, неприкосновенное (лат.).

Аллилуйя (буквально: «хвалите бога» (древнееврейск.) — возглас в пасхальных песнопениях.

Французская болезнь (итал.) — сифилис.

Сопротивление шведам в Великой Польше возникло в первые же месяцы оккупации, а упомянутый Сенкевичем отряд Жегоцкого действовал уже в октябре 1655 года, то есть до осады Ченстоховы.

Крымский хан выступил как союзник польского короля еще в 1654 году, его нападение на Украину было актом мести за решение Переяславской рады о воссоединении Украины с Россией. В ноябре 1655 года татары осадили лагерь Богдана Хмельницкого под Езерной и вынудили казацкого гетмана подписать обязательство об оказании помощи Польше. Эти события и имеются, очевидно, в виду в романе. Хмельницкий не оказал помощи Яну Казимиру, он не одобрял поворот в политике правительства Алексея Михайловича от войны с Речью Посполитой к перемирию с нею и войне со Швецией, считая главным противником и Украины и России польских феодалов.

Горе подьемлем сердца (лат.).

Волей-неволей (лат.).

Лекарство, средство (лат.).

Смелому служит счастье (лат.).

Воеводство Русское в Речи Посполитой включало в себя часть земель древней Червонной Руси (земли Саноцкая, Перемышльская, Львовская, Галицкая и Холмская). Воеводой русским в 1646 — 1651 годах был князь Иеремия Вишневецкий. Под его командой служили герои романа «Огнем и мечом», среди них и Михал Володыёвский.

Золотаренко Иван Никифорович — в 1654 — 1655 годах был наказным атаманом казачьих войск, действовавших совместно с русской армией на территории Белоруссии.

Русские войска вступили в Вильно 8 августа 1655 года.

Конфедерация — союз, заключаемый шляхтой для достижения какой-либо политической цели. По мере упадка центральной власти, особенно когда применение «либерум вето» стало приводить к частому срыву сеймов, возросла роль конфедераций, во время которых решения принимались большинством голосов и «либерум вето» не применялось. Конфедерации образовывались («завязывались») либо с согласия и при участии короля, либо самостоятельно, иногда они были направлены против короля, в этом случае конфедерация называлась рокошем (см. прим. к Гл. XII) Обычно конфедерации назывались по месту подписания акта конфедерации; далее в романе упоминается Тышовецкая конфедерация, образованная для борьбы со шведскими захватчиками в конце 1655 года в Тышовцах.